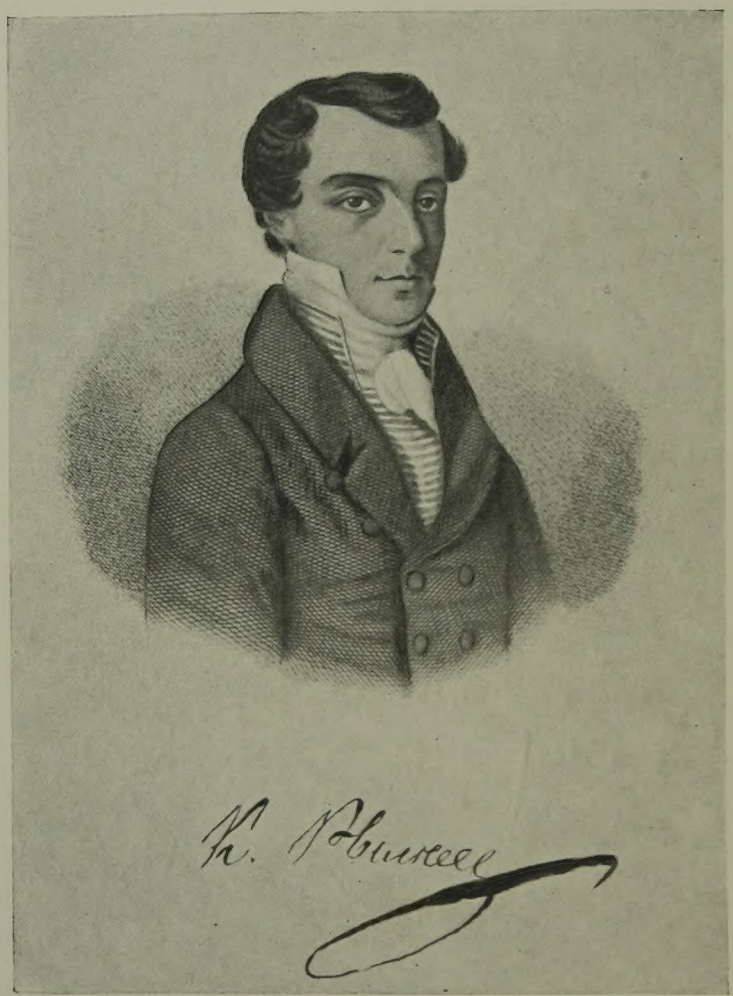
Ф
162641

ДЕКАБРИСТЫ
И ИХ ВРЕМЯ

J 952

kn. 162641
93

Тюменская Центральная
БИБЛИОТЕКА
Абонемент



К. Ф. РЫЛЕЕВ.

Гравюра неизвестного художника. Восходит к миниатюре, принадлежавшей Н. М. Рылеевой. (См. № 136).

891
Д 28
Т 84.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ДЕКАБРИСТЫ
И ИХ ВРЕМЯ

МАТЕРИАЛЫ и СООБЩЕНИЯ

Кн. 162641

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. П. АЛЕКСЕЕВА И Б. С. МЕЙЛАХА

Тюменская Центральная
БИБЛИОТЕКА
Абонемент

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1951

ОТ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Этот сборник посвящен декабристам — первым русским революционерам, которых В. И. Ленин назвал в числе выдающихся деятелей прошлого, составляющих гордость русской нации.

В сборник вошли материалы, представляющие интерес преимущественно для изучения деятельности декабристов-литераторов и хранящиеся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, а также в некоторых других архивах.

Недавно обнаруженные письма К. Ф. Рылеева и неизданные воспоминания о нем дополняют некоторыми штрихами биографию вождя Северного общества и самого выдающегося представителя декабристского литературного движения. Публикуемая впервые серия писем одного из виднейших поэтов-декабристов В. К. Кюхельбекера почти вдвое увеличивает известный ранее фонд его эпистолярного наследия. Они содержат данные для характеристики его интересов периода крепости и ссылки.

Статья М. А. Брискмана посвящена только что обнаруженным агитационным песням декабристов. Новые факты для истории литературных объединений и литературной политики декабристов сообщает в своей статье И. Н. Медведева.

Статья М. В. Нечкиной освещает историю «Священной артели», имеющую существенное значение и для изучения истоков мировоззрения юного Пушкина.

Другие сообщения и публикации посвящены как непосредственно декабристам, так и связанным с их именами или идеями фактам общественной и литературной борьбы.

Статья Л. А. Мандрыкиной дает сводку сведений о выступлениях «агитаторов» 20—30-х годов, своеобразных продолжателей декабристских методов агитации. Среди вновь обнаруженных материалов здесь наиболее существенны стихотворения, гневно обличающие Николая I — палача декабристов, — и прокламация, в которой звучит призыв к мести за Рылеева и других героев 14 декабря.

Сборник заключается обзором произведений, писем, документов декабристов, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом). Второй обзор характеризует декабристский фонд изобразительных материалов Литературного музея этого же института.

Иллюстрации, помещенные в сборнике, воспроизведены с оригиналов, описание которых включено в обзор этого фонда.

ПИСЬМА К. Ф. РЫЛЕЕВА

Публикация Н. И. Мордовченко

1. К. К. Родофиникину

‹Петербург, 15 марта 1824 г.›

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь.

Осужденный болезнию оставаться дома еще не на одну, может быть, неделю, я лишен приятной возможности быть лично на нынешних губернских выборах. Что поставляет меня в необходимость утруждать Ваше Превосходительство покорнейшею просьбою просить г.г. Дворян Софийского уезда и г-на Предводителя об исключении меня из списка избираемых. Почитая службу по выборам самою лестною, самою приятною для каждого гражданина, я с величайшим бы удовольствием и признательностию остался бы и на следующее трехлетие, когда бы почтеннейшее дворянство почтило меня снова своим избранием, но осужденный болезнию и обстоятельствами семейными оставить Столицу и не надеясь скоро возвратиться, я должен искать решительного от выборов увольнения, а потому вторично прошу Ваше Превосходительство быть в сем случае моим милостивым ходатаем и вместе с тем взять на себя труд изъявить мою душевную, глубочайшую признательность достопочтеннейшему Дворянству Софийского уезда за сделанную мне честь избранием на прошлом выборе своим Членом в Палату Уголовного Суда. Смею сказать, что я старался оправдать сию лестную для каждого гражданина доверенность на деле и мог успеть в том, имея в достойном Председателе Палаты и прекрасный пример и прекрасного Начальника. Примите уверение моей истинной к Вам преданности и глубочайшего высокопочитания, с которыми честь имею быть Вашего Превосходительства Милостивого Государя Покорнейший слуга Кондратий Рылеев.

Марта 15 дня 1824.

2. В. Н. Берху

‹Петербург, 25 апреля 1825 г.›

Милостивый Государь, Василий Николаевич.

Г.г. Директоры поручили мне препроводить к вам п о с е м и экземпляров Полярной Истории и Берингова путешествия. За три же экземпляра каждой из сих книг, взятых для Колоний и Главного правления,

всего девяносто рублей при сем имею честь приложить, в получении коих покорнейше прошу доставить расписку.

Его Высокопревосходительство Николай Семенович Мордвинов не находит у себя правил, составленных временным Комитетом при Компании, в коем и Вы были Членом: доставив мне хотя черновой список с оных, Вы много обяжете имеющего быть с должным почтением и готовностью к услугам Милостивого Государя Ваш покорный слуга

Кондратий Рылеев.

Апреля 25 дня 1825.

Его Высокоблагородию Милостивому
Государю Василию Николаевичу Берху.

* * *

В «Полном собрании сочинений» К. Ф. Рылеева, изданном в 1934 г. под редакцией А. Г. Цейтлина, были объединены и все известные к тому времени в печати письма поэта-декабриста (всего 85 писем). За 1938—1947 гг. обнаружено и опубликовано еще четыре письма Рылеева: 1) совместное письмо А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева к А. Ф. Воейкову от 15 сентября 1824 г. (публикация Н. И. Мордовченко в «Литературном архиве» (I, М.—Л., 1938, стр. 422—424); 2) два письма К. Ф. Рылеева к П. А. Вяземскому от апреля—мая 1822 г. и от 20 января 1825 г. [в «Литературной газете» (1945 г., №41 от 29 сентября)]; 3) записка К. Ф. Рылеева к С. И. Селивановскому от начала декабря 1824 г. [в книге К. Пигарева «Жизнь Рылеева» (М., 1947, стр. 137)]. К собранию писем Рылеева теперь присоединяются еще два не известных до сих пор в печати письма, официального характера.

Первое письмо печатается по копии, сделанной покойным исследователем декабризма С. Я. Гессеном (1903—1937); подлинник письма к К. К. Родофиникину хранится в архиве с.-петербургского дворянства (II отд. Юридической секции, серия II, д. № 732). Второе письмо печатается по копии, находящейся в Рукописном отделе Пушкинского Дома Академии Наук СССР, подлинник письма — в Гос. Историческом музее в Москве.

Первое из публикуемых писем, адресованное К. К. Родофиникину, петербургскому губернскому предводителю дворянства, вызвано отказом Рылеева выставить свою кандидатуру на перевыборах в члены Петербургской палаты уголовного суда. Рылеев был избран на эту должность 24 января 1821 г. и состоял членом палаты в течение трех лет. Болезнь Рылеева, на которую он ссылается в письме, — ранение на дуэли с кн. К. Я. Шаховским, состоявшейся 22 февраля 1824 г. (см. об этом: Памятная книжка А. А. Бестужева 1824 г. Памяти декабристов, I, Л., 1926, стр. 64 и 95). Ссылка Рылеева на предстоящий отъезд его из Петербурга вряд ли имела реальные основания: весной 1824 г. по рекомендации адмирала Н. С. Мордвинова Рылеев был назначен правителем канцелярии Российско-американской торговой компании, привлекавшей и других декабристов перспективой налаживания связей с оппозиционно настроенной частью купечества.

Второе из публикуемых писем адресовано В. Н. Берху (1781—1834), собирателю исторических материалов и автору многих исторических сочинений (Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны, 2 ч. СПб., 1821—1823; Хронологическая история открытия Алеутских островов. СПб., 1823; Первое Морское путешествие россиян. СПб., 1823, и др.). Письмо связано со служебной работой Рылеева в Российско-американской торговой компании.

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ ДЕКАБРИСТОВ

(Новые материалы)[1]

Сообщение М. А. Брискмана

Подлинно научное исследование декабристской литературы, развернувшееся в годы советской власти, привело к решительному пересмотру всего развития русской литературы первой четверти XIX в. Руководствуясь ленинскими высказываниями о роли и месте декабристов в истории русского революционного движения, советские литературоведы сумели показать истинное значение, политическое содержание и общественную роль декабристской литературы и, в частности, декабристской поэзии. Совершенно в ином масштабе предстало перед советскими читателями поэтическое творчество К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, И. А. Одоевского, В. К. Кюхельбекера, В. Ф. Раевского.

Глубине изучения декабристской поэзии способствовало широкое привлечение архивных материалов, недоступных исследователям до Великой Октябрьской социалистической революции. Именно это облегчило советским исследователям изучение такого политически острого и привлекающего особое внимание советского читателя материала, как агитационные песни Рылеева и Бестужева.

В арсенале подпольной политической пропаганды декабристов эти песни занимали одно из первых мест. Не случайно так усиленно добивалась Следственная комиссия по делу декабристов выяснения авторов и текстов подозрительных песен и стихов. Насколько боялся Николай I этой политической пропаганды, видно хотя бы из того, что он распорядился изъять из дел и сжечь все «возмутительные» стихи. Даже для секретных архивов он не решился их сохранить.

Об агитационных песнях А. А. Бестужев в своих показаниях Следственной комиссии писал: «Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо оная не может быть не кровопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собою. . . В народ и между солдатами никогда их не пускали; это бы, кроме нравственного вреда

---

[1] Настоящее сообщение прочитано в виде доклада на заседании Сектора новой литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР 4 ноября 1950 г. Приведенные в докладе новые тексты песен декабристов были опубликованы в «Литературной газете» 26 декабря 1950 г. по тем же текстам из фондов Центрального Государственного литературного архива, на которые ниже даны мною ссылки.

нашей цели, могло скоро нас обнаружить, а осторожность была нашим девизом».[1]

В этом показании А. А. Бестужева, несмотря на его явную нарочитость, есть, конечно, значительная доля истины. «Страшно далеки они от народа», — так определил существо позиции декабристов В. И. Ленин. И даже наиболее радикальная группа членов Северного общества не решилась развернуть подлинно массовую агитацию. Тем не менее, аудитория декабристской пропаганды была достаточно широка и — особенно в последние месяцы перед восстанием — не была ограничена кругом дворянской интеллигенции.

Имеются и доказательства распространения агитационных песен. Так, например, в воспоминаниях Н. А. Бестужева, одного из самых правдивых и вдумчивых мемуаристов, мы читаем: «Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. . . Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками . . . В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет капонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева».[2]

Известно, что песни Рылеева и Бестужева распространялись не только в Петербурге, но доходили и до Южного общества.

Агитационные песни Рылеева и Бестужева и после поражения восстания декабристов продолжали оставаться одним из самых популярных и острых средств подпольной революционной пропаганды. Уже во второй половине 20-х годов запрещенные стихи Рылеева (и в том числе агитационные песни) рассматривались жандармами Николая I как «источник заразы» и жестоко преследовались. Популярность этих песен в революционных кругах, в среде студенческой молодежи и участников революционных кружков предшествовала их появлению в печати — хотя бы нелегальной.

В 1859 г., в пятой книге «Полярной звезды», под общим заглавием «Стихотворения Рылеева и Бестужева» были впервые напечатаны песни: «Царь наш, немец прусский», «Ах, где те острова» и «Ах, тошно мне». Через два года в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» напечатано было «пропущенное стихотворение Рылеева» — «Уж как шел кузнец». На протяжении всей истории русского революционного движения не было почти ни одного «вольного песенника», почти ни одного сборника революционных стихов, где бы отсутствовали эти ранние образцы русской политической поэзии, эти стихотворные прокламации декабристов. В многочисленных копиях расходились они по рукам, заучивались наизусть.

Почти за сто лет, прошедших со дня первой публикации песен Рылеева и Бестужева, неоднократно печатались разные варианты их текстов; для тех или иных песен отвергалось авторство Рылеева и Бестужева и, наоборот, им приписывались другие, аналогичные. Изучение агита-

[1] Восстание декабристов, т. I, стр. 458.
[2] Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 79.

ционных песен декабристов крайне затруднено. Уничтожение их правительством, уничтожение их, ради осторожности, и владельцами списков привело к тому, что до сих пор не было найдено ни одного автографа, ни одной современной копии (за одним исключением, о котором ниже). Большинство сведений о песнях Рылеева и Бестужева добыто косвенными путями. Тем не менее, редакторская работа советских литературоведов над множеством «вольнолюбивых» стихотворений, ходивших под именем декабристов (и главным образом Рылеева), определила круг стихов, несомненно им принадлежащих — или, по крайней мере, с полным основанием им приписываемых.

К настоящему времени можно считать установленным авторство Рылеева и Бестужева лишь для опубликованных в «Полярной звезде» и в сборнике «Русская потаенная литература» агитационных песен «Ах, где те острова», «Ты скажи, говори» (включавшаяся ранее в предыдущую), «Царь наш, немец прусский», «Ах, тошно мне» и «Уж как шел кузнец» (причем наиболее достоверно с именем Рылеева связаны песни «Царь наш, немец прусский» и «Ах, тошно мне»). Так, по крайней мере, определяет круг этих произведений «Библиотека поэта» (изд. «Советский писатель»: К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, Л., 1934; К. Рылеев, Стихотворения, Малая серия, изд. 2-е, Л., 1947; А. А. Бестужев-Марлинский, Собрание стихотворений, Л., 1948).

Правда, в «Полном собрании сочинений» К. Ф. Рылеева (М., 1934) авторство его для песен «Царь наш, немец...» и «Уж как шел кузнец» отвергнуто. Но доводы редактора издания А. Г. Цейтлина были мало убедительны.[1]

Самый же текст всех этих песен остается достаточно предположительным, восходя в основном к зарубежным публикациям XIX в. Только одна «Ах, тошно мне» печатается по копии с автографа Рылеева.

Вместе с тем совершенно ясно, что нам было известно не все, написанное Рылеевым и Бестужевым «в простонародном духе». Это было ясно прежде всего потому, что А. А. Бестужев, отвечая на вопрос Следственной комиссии, показал: «Я не знаю, по наученью ли общества сделал сие Рылеев, только однажды в 1822-м году, в конце, в забавном расположении духа, пригласил он меня написать что-нибудь народным языком либеральное, и песню *Ах, скучно мне* написали мы вместе, а некоторые *подблюдные* я один».[2] О том же читаем в воспоминаниях Н. А. Бестужева: «особенно песни, составленные им ‹Рылеевым› с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных припевов».[3] Именно эти песни, вероятно, имел в виду и декабрист А. М. Муравьев: «Алекс. Бестужев писал песни, которые производили впечатление».[4]

Действительно ли «подблюдные» песни были написаны одним Бестужевым или он отводил авторство Рылеева, не желая отягощать его вины, — решить трудно. Но, во всяком случае, при всей неопределенности его показания, из слов А. А. Бестужева очевидно, что песен этих было сочинено несколько.

---

[1] Впоследствии он сам от них отказался. Статья А. Г. Цейтлина «Агитационно-сатирические песни Рылеева и Бестужева» (Известия Академии Наук СССР. Отд. литературы и языка, т. IX, в. 6) вышла в свет в то время, когда настоящий сборник находился в печати.

[2] Восстание декабристов, т. I, стр. 457—458.

[3] Воспоминания Бестужевых, стр. 79.

[4] А. М. Муравьев. Мой журнал. В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, стр. 121.

Кроме того, известны слова А. Мицкевича о «жестоких» песнях, распевавшихся на собраниях северных декабристов и приводивших «в ужас» «польских заговорщиков, бывших в это время» в Петербурге.[1]

Однако из перечисленных выше стихотворений к «подблюдным» и «жестоким» песням может быть отнесено лишь одно.

«Ах, где те острова» и «Царь наш, немец прусский» вообще представляют другую группу, не столько революционного, сколько вольнодумно-эпиграмматического характера. «Ах, где те острова» была рассчитана на замкнутую литературную аудиторию; «Царь наш, немец прусский» — на столь же замкнутую офицерскую — и даже уже, гвардейскую, — аудиторию. Песня «Ты скажи, говори», хотя и значительно острее политически, также никак не может быть названа написанной «в простонародном духе» [хотя А. Г. Цейтлин, по какому-то недоразумению, называет ее (в комментарии к изд. 1934 г. «подблюдной»].[2]

Более широкому кругу слушателей адресована песня «Ах, тошно мне». Это — подлинно революционное произведение, явно рассчитанное на распространение в войсках, развертывающее целую систему декабристских идей и посвященное, главным образом, описанию ужасов крепостного права, бесправию народа перед судом и властями. Содержание песни даже в деталях соответствует тем оценкам русской действительности, которые мы находим в показаниях, письмах и сочинениях декабристов. Но все же, при всей значительности и революционности своего содержания, она лишь намекала на необходимые выводы.

Написана песня, как известно, в подражание романсу Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Ох, тошно мне на чужой стороне» — вернее, его распространенной переделке. Наконец, в показании А. А. Бестужева эта песня прямо противопоставлена «подблюдным».

Таким образом, только «Уж как шел кузнец», с ее припевом: *Слава*, с ее прямым призывом к расправе с помещиками, чиновниками и самим царем, могла рассматриваться как дошедшая до нас «подблюдная», полностью соответствуя и характеристике Бестужева, и характеристике Мицкевича.

Однако характер этой песни, ее недвусмысленный призыв к расправе с помещиками, чиновниками и с царем говорит о том, что «подблюдные» А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева должны рассматриваться как важное свидетельство, уточняющее наше представление об идеологии северных декабристов, о их колебаниях по вопросу о возможности участия народа в военной революции. Но для постановки этого вопроса необходима уверенность в том, что песня «Уж как шел кузнец» — не случайность. Более того — необходима уверенность в том, что известный нам ее текст, с его идеологическим и политическим смыслом, действительно является текстом поэтов-декабристов, а не позднейшей переделкой.

Поэтому поиски остальных «подблюдных» песен или, по крайней мере, некоторых из них представлялись нам одной из важных задач изучения декабристской поэзии.

---

[1] Ср.: A. M i c k i e w i c z. Les Slaves, t. III. Paris, 1849, стр. 289.

[2] Именно к этим песням, вероятно, относится известное место в воспоминаниях Греча: «Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т. п. было дело очень обыкновенное. . . После шампанского давай читать стихи, а там и петь рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искренно смеялись» (Н. И. Г р е ч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, стр. 547).

Следственная комиссия очень интересовалась также стихотворением «Вдоль Фонтанки реки квартируют полки. Слава!» и упорно ставила вопрос о нем перед рядом декабристов. Казалось, что это и есть еще одна «подблюдная». Но текст ее до сего времени оставался неизвестным.

Можно было только предполагать, что в этой песне были строки:

Как ни свет ни заря
Для потехи царя
Рьяно
У Фонтанки реки
Собирались полки
Piano.

Строки эти находятся в одном из списков (гр. Ростопчиной) песни «Ты скажи, говори».[1] К содержанию песни «Ты скажи, говори» строки эти как будто не имеют никакого отношения. Однако взятые сами по себе они были мало понятны; совершенно неясен был смысл третьей и шестой строк; слово piano к тому же никак не подходит для песни, предназначенной к распространению среди солдат. Да и почему бы «для потехи царя» собираться piano? Ясно было, что здесь что-то впоследствии переделано или спутано.

К вопросу об этом стихотворении мы еще вернемся ниже.

Но «некоторые подблюдные» А. А. Бестужева, как явствует из приведенных выше его показаний, не могли ограничиваться ни одной, ни даже двумя песнями.

Внимание советских исследователей к выявлению архивных данных, связанных с декабристами вообще, к выявлению произведений поэтов-декабристов в частности, достижения в этом направлении особенно последних двух десятилетий, в результате чего можно было считать обследованными важнейшие архивы и рукописные отделения библиотек, фонды следственных органов и частных собраний;[2] отсутствие при этом новых — не говорим автографов, но хотя бы современных списков агитационных песен (за исключением, как мы уже указывали, копии с автографа «Ах, тошно мне», да и то напечатанной ранее, хотя и с ошибками, А. К. Бороздиным) — все это, казалось бы, делало поставленную нами задачу бесплодной.

Однако оставалось одно большое рукописное собрание, далеко еще не разработанное в должной мере, — кн. П. А. Вяземского. Мы имеем в виду б. Остафьевский архив. Различные публикации материалов из этого собрания наталкивали на предположение о возможности нахождения в нем неизвестных материалов, связанных с декабристами; среди ворохов бумаг П. А. Вяземский мог решиться сохранить «крамольные» произведения, мог и просто позабыть о них после 14 декабря. А в том, что они должны были доходить до него в свое время, не могло быть никаких сомнений.

Основная часть б. Остафьевского архива хранится ныне в Центральном Государственном литературном архиве (ф. 195, Вяземских). Среди многочисленных произведений неустановленных авторов, имеющихся в этом фонде, нам удалось обнаружить чистовой текст более пол-

[1] На связь этих строк с песней «Вдоль Фонтанки реки. . .» впервые указано было А. Г. Цейтлиным, отвергавшим, впрочем, на основании показаний Рылеева его авторство для этой песни.

[2] Хотя, впрочем, основное следственное дело декабристов полностью еще не издано.

ного варианта песни «Царь наш, немец. . . » и цикл «Подблюдные песни» (ед. хр. 5612, лл.97—100).

В обнаруженном варианте песни «Царь наш, немец. . .» насчитывается двенадцать куплетов вместо известных пяти. В цикле «Подблюдные песни» мы находим вариант «Как идет кузнец. . .», полный текст «Вдоль Фонтанки реки. . .» и пять совершенно неизвестных песен.

Приводим обнаруженные тексты.

Песня

(на голос: мезерду)[1]

Царь наш, немец руской,
Носит мундир узкой.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царствует он где же?
Всякой день в манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Прижимает локти,
Прибирает в когти.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царством управляет,
Носки выправляет.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Школы все казармы,
Судьи все жандармы.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А Волконский баба
Начальником Штаба.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А другая баба
Губернатор в Або.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А Потанов дурный
Генерал дежурный.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за комплименты
Голубые ленты.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

[1] «Мезерду» — мотив распространенной в 20-х годах песенки; см. стр. 16.

Трусит он законов,
Трусит он масонов.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Подблюдные песни

1

Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Чтобы правде ее не изменяться,
Ее первым друзьям не состариться,
Их саблям, кинжалам не ржаветься,
Их добрым коням не изъезживаться.
Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Да и будет она Православным дана. Слава!

2

Как идет мужик из Новàгородà,
У того мужика обрита борода;
Он ни плут, ни вор, за спиной топор;
А к кому он придет, тому голову сорвет.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется. Слава!

3

Вдоль Фонтанки реки квартируют полки,
Их и учат, их и мучат, ни свет ни заря!
Что ни свет ни заря, для потехи царя!
Разве нет у них рук, чтоб избавиться мук?
Разве нет штыков на князьков голяков?
Да Семеновский полк покажет им толк.
А кому сбудется, не минуется. Слава!

4

Сей, Маша, мучицу, пеки пироги:
К тебе будут гости, к тирану враги,
Не с иконами,[1] не с поклонами,
А с железом да с законами.
Что мы спели, не минуется ему,
И в последний раз крикнет: быть по сему!

5

Уж как на небе две радуги,
А у добрых людей две радости:
Правда в суде, да свобода везде,
Да и будут они Россиянам даны. Слава!

6

Уж вы вейте веревки на барские головки,
Вы готовьте ножей на спятельных князей;
И на место фонарей поразвешивать князей.
Тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!

---

[1] Первоначально: «блинами».

7

Как идет кузнец из кузницы, слава!
Что несет кузнец? Да три ножика:
Вот уж первой то нож на злодеев вельмож,
А другой то нож на судей на плутов;[1]
А молитву сотворя: третий нож на царя!
Кому выпется, тому сбудется,
Кому сбудется, не минуется. Слава!

Тексты эти написаны аккуратным почерком начала XIX в., на двух половинках одного листа с водяным знаком 1817 г.

Ни имени автора, ни, тем более, подписи, ни даты записи на листках нет. Нет также никаких данных о происхождении этих листков. Никак не связаны они и с соседствующими с ними материалами.

При таком отсутствии всякой документации обнаруженных нами текстов можем ли мы с достаточным основанием утверждать, если не принадлежность их именно Рылееву и Бестужеву, то, во всяком случае, их принадлежность декабристским кругам? Можем ли мы утверждать, что обнаруженные тексты песен — это тексты именно преддекабрьских лет, а не позднейшее подражание и переделка?

Утверждать это есть все основания.

Оставляя в стороне такое — само по себе недостаточное, хотя и существенное — соображение, как наличие водяного знака 1817 г., остановимся на некоторых деталях содержания песен.

Начнем с песни «Царь наш, немец. . .». Как сказано, здесь, по сравнению с известным текстом, семь новых куплетов.

Думать, что после 1825 г. подражания и переделки могли попрежнему иметь в виду Александра I, было бы просто нелепо. Очевидно, что новые куплеты должны были бы метить в Николая I. Допустим, что такие куплеты, как

Царством управляет,
Носки выправляет.
. . . . . .
Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
. . . . . .
А за комплименты
Голубые ленты,

могут с равным правом относиться и к Александру и к Николаю. Труднее допустить это для куплетов:

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев.
. . . . . .
Трусит он законов,
Трусит он масонов.

Эти намеки в царствование Николая I были уже мало актуальны. Но куплеты

А другая баба
Губернатор в Або.
. . . . . .
А Потанов дурный
Генерал дежурный

[1] Первоначально: «глупцов».

да еще при сохранении куплета

А Волконский баба
Начальником штаба [1]

не только связаны с конкретными деятелями александровского царствования, но относятся к событиям, интересовавшим офицеров петербургской гвардии в момент, определяемый с точностью до полугода.

Песня «Царь наш, немец. . .» до сих пор датировалась не позднее начала 1823 г., так как, указывали комментаторы, с 30 апреля 1823 г. кн. П. М. Волконский был заменен в должности начальника Главного штаба И. И. Дибичем. Дибич, однако, с 30 апреля 1823 г. лишь «исправлял должность». Хотя, по существу, смена Волконского была уже, по настоянию Аракчеева, почти предрешена, но Волконский попрежнему до 6 апреля 1824 г. числился начальником штаба, будучи в отпуску за границей. До весны 1824 г. офицерам гвардии было еще неясно, окончательно ли ставленник Аракчеева, Дибич, сменил Волконского, и следы этого мы находим в «Памятной книжке» А. А. Бестужева на 1824 г.[2]

В этой «Памятной книжке», в печатный текст ее (т. е. в роспись чинов) рукою Бестужева внесен ряд изменений, в соответствии с перемещениями в должностях, но сведения о начальнике штаба Волконском и исправляющем должность Дибиче не тронуты.

С другой стороны, А. Н. Потапов назначен был дежурным генералом Главного штаба 30 августа 1823 г. Отсюда и устанавливаемая нами датировка куплетов — между сентябрем 1823 и апрелем 1824 г.

Остается куплет о губернаторе в Або.

Почему авторы этой песни (безразлично — до 1825 г. или после) могли интересоваться губернаторами в Або, назначавшимися из местных финских уроженцев и ни в какой мере не связанными ни с царем, ни с его окружением, ни с Главным штабом? Куплет этот наводит как будто на мысль о случайности его появления в тексте песни и, тем самым, о механическом соединении в публикуемом варианте разнородных эпиграмм. Но в действительности этот куплет имеет в виду не губернатора, а генерал-губернатора. Он не только соответствует соседним, но и проливает свет на их подлинный смысл.

Потапов сменил в должности дежурного генерала креатуру Волконского, другого врага Аракчеева, А. А. Закревского, назначенного в сентябре 1823 г. генерал-губернатором Финляндии. Назначение это было воспринято как своеобразная ссылка и последовало в результате еще большего усиления влияния Аракчеева. Появление Закревского в песне поэтому вполне мотивировано. То же, что он назван «губернатором в Або», объяснимо и, главное, является еще одним доказательством датировки текста преддекабрьскими годами. Або до начала 1820-х годов был резиденцией финляндского сената и генерал-губернатора. По существу же он продолжал оставаться главным городом Финляндии до 1827 г., Поэтому поэтическая вольность авторов песни — подмена Гельсингфорса Або

---

[1] В позднейших переделках строки о Волконском либо вовсе исчезали, либо соответствующим образом видоизменялись (ср., например, в сб. «Свободные русские песни», Кронштадт <Берн>, 1863).

[2] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 604, № 24 (5724).

(принимая во внимание соблазнительность рифмы и трудность введения в короткие строки такого длинного слова, как Гельсингфорс) — нам представляется вполне допустимой.[1]

Соображения эти подкрепляются вариантом песни, который мы находим в записках А. О. Смирновой:

А Закревский баба
Управляет в Або,
А другая баба
Начальником штаба.[2]

Все четыре куплета (включая куплет об Аракчееве) оказываются связанными между собой: речь идет о неудачной борьбе двух «баб», Волконского и Закревского, с Аракчеевым.

В целом, публикуемый вариант песни имеет, таким образом, гораздо более законченный вид и далеко не похож на случайное собрание куплетов, каким выглядит обычно печатаемый. Надо, однако, сказать, что и в публикуемом тексте вероятны пропуски. Так, между 10-м и 11-м куплетами, возможно, находились два куплета, приводимые Н. А. Маркевичем в его неопубликованных «Воспоминаниях» (хранятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома):

Только за парады
Раздает награды.
. . . . . .
А за правду матку
Прямо шлет в Камчатку.

Существенно также отметить в первой строке разночтение с обычным текстом: «Царь наш, немец русский» вместо «Царь наш, немец прусский», что совпадает с единственным упоминанием этой песни в мемуарах декабристов[3] и с вариантами А. О. Смирновой и Н. А. Маркевича.

В указании на мотив песни («на голос: мезерду») подразумеваются песенки из водевиля П. М. Семенова «Удача от неудачи», шедшего в Петербурге в конце 10-х—начале 20-х годов. Одна из песенок, с припевом, представляющим лишенный смысла набор слов («мезерду и т. д.»), была долго популярна. На ее мотив, по свидетельству Н. А. Маркевича, напевал песню «Царь наш, немец русский» и А. С. Пушкин.[4]

Все эти детали убеждают, что обнаруженный вариант не является поздней переделкой и дает более авторитетный текст. Но — что для нас особенно важно — это позволяет отнести примерно к тому же времени и написанные на второй половине того же листа «подблюдные песни».

Дает ли рассмотрение этих песен какие-либо дополнительные доказательства принадлежности их кругу декабристов?

В публикуемом цикле мы находим вариант песни «Уж как шел кузнец». Но, в сущности, и известный вариант приписывался Рылееву и Бестужеву на основании косвенных данных — только лишь

---

[1] Да и вообще, в связи с переводом столицы Финляндии, современники не раз путали между собой Або и Гельсингфорс.

[2] А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. Неизданные материалы. М.—Л., 1931, стр. 208.

[3] Д. Завалишин. Записки декабриста. Изд. 2-е [1910], стр. 50.

[4] А. Глумов. Музыкальный мир Пушкина. М.—Л., 1950, стр. 160. В статье А. Глумова «Революционные песни декабристов», напечатанной в журнале «Советская музыка», 1950, № 12, приведен мотив этой песни. В статье приведен и мотив песни. В части, не специально музыковедческой, статья отличается исключительной небрежностью.

Е. П. Якушкин упоминал среди «нескольких песен политического содержания, написанных Рылеевым совместно с Бестужевым», песню «Кузнец».

Ключом для нас явится «Вдоль Фонтанки реки квартируют полки».

Как указывалось выше, Следственная комиссия перед рядом декабристов ставила вопрос об этой песне. В литературе уже отмечалось, что Рылеев отвергал не только свое авторство, но даже знакомство с ней и что, с другой стороны, И. И. Пущин 6 мая 1826 г. подтвердил, что он ее слышал и знает «изложенные два стиха и что впоследствии идет речь о ножах для властей. Кто сочинил ее, мне неизвестно».[1]

Знакомства с этой песней не отрицал и Е. П. Оболенский. Но сопоставление показаний других декабристов приводит к выводу, что авторство этой песни определяется совершенно точно.

6 февраля 1826 г. С. И. Муравьев-Апостол показал, что им были получены от брата, М. И. Муравьева-Апостола (в свою очередь, получившего их в Петербурге), «две народные песни, одна — относящаяся к состоянию крестьян, на голос: скучно мне на чужой стороне, другая — возмутительная, на голос подблюдных. . . Наверное не знаю, чьего они сочинения, а слыхал, кажется, что они сочинения Рылеева».[2] Путем исключения А. Г. Цейтлин устанавливал, что второй песней была «Ах, где те острова», а Ю. Г. Оксман предполагал «Гражданина»,[3] хотя, казалось бы, более верным путем было обратиться к показаниям М. И. Муравьева-Апостола.

Возможно, что это не было сделано в связи с тем, что следственное дело М. И. Муравьева-Апостола до последнего времени еще не было издано. Но даже в изданной части дел декабристов, в сводке показаний против Рылеева, мы читаем: «*Мат. Муравьев.* Матв. Муравьев получил от Рылеева две песни 1-я. Ах скучно мне (Рыл.) 2-я. Вдоль Фонтанки реки квартируют полки слава (Але. Бесту.)».[4] Показание М. И. Муравьева-Апостола и было, очевидно, источником вопросов Следственной комиссии об этой песне.[5]

Очевидно, доверять показанию Рылеева в этом случае нет оснований. И до обнаружения нами текста «Вдоль Фонтанки реки. . .» казалось странным, как мог Рылеев отрицать даже знакомство с этой песней, раз она была знакома, по крайней мере, И. И. Пущину и Е. П. Оболенскому. Теперь же это не кажется странным и можно понять, что руководило Рылеевым. В течение всего следствия Рылеев пытался отвести от себя обвинение в умысле на «истребление царской фамилии» и, в частности, на убийство Николая. В первое время он вообще отрицал это обвинение; в конце следствия, вынужденный частично его признать, он объяснял мысль об убийстве Николая желанием предохранить Россию от междоусобной войны, приурочивал это соображение лишь к последним дням перед восстанием, утверждал, что мыслями этими ни с кем не делился, за исключением одного разговора с Каховским вечером 13 декабря. Понятно поэтому, что Рылеев не хотел связывать свое имя со стихотворением, где предлагалось солдатам петербургской гвардии поднять штыки на их начальников — «князьков» (совершенно очевидно, что под «князьками» подразумевались великие князья — Николай и Михаил Павловичи).

[1] Восстание декабристов, т. II, стр. 288.
Восстание декабристов, т. I, стр. 289.
[3] См. в комментариях к указанным выше изданиям 1933 г., стр. 514 и 677.
[4] Восстание декабристов, т. I, стр. 210.
[5] Что подтверждается и текстом самого следственного дела, опубликованного в 1951 г. («Восстание декабристов», т. IX).

Государственная Центральная ... БИБЛИОТЕКА ...

Рылеева Комиссия обвиняла только в том, что он передал эту песню М. И. Муравьеву-Апостолу. Перед Бестужевым же, в соответствии с показанием Муравьева-Апостола, вопрос был поставлен совершенно иначе. Комиссия положительно утверждала, что песня сочинена им (вместе с Баратынским). Ответ Бестужева мы уже приводили выше (стр. 9). Далее шло приведенное нами также на стр. 7 утверждение о том, что песни эти «певали только между собой», и заключение: «Я прилагаю, что знаю, особо».[1]

Как видим, Бестужев, хотя и не подтвердил прямо своего авторства песни (хотя, возможно, он ее и приложил «особо»), но во всяком случае от него и не отказался. Но может быть, все же, публикуемый нами текст песни, сохраняя известные нам по следственному делу декабристов первые строки, дает в следующих строках более поздние переделки или подражания?

Длительные и мучительные учения войск гвардии, расположенных вдоль Фонтанки, присутствие на учениях императора могли быть, конечно, темой вольнодумного стихотворения и позже, при Николае I. Но упоминание о ненавидимых начальниках («разве нет штыков на князьков голяков?») уже характерно лишь для начала 20-х годов. И совсем уже невероятно, чтобы в позднейших подражаниях, после восстания 14 декабря, как образец и пример в пропагандистских целях приводилось возмущение Семеновского полка без упоминания о восстании 14 декабря. В то же время для декабристской пропаганды строка о возмущении Семеновского полка не только логична, но просто необходима. Можно даже сказать, что если бы эта строка отсутствовала в публикуемом тексте, это одно поставило бы все наши остальные доказательства под сомнение. И интересно, что действительно, как недавно установлено, в очень сходных вариантах интересующей нас песни, распространявшихся в Москве с именем Рылеева после восстания декабристов, Семеновский полк уже не фигурировал.

Л. А. Мандрыкиной документально установлено, что варианты эти распространялись уже в середине 1826 г. Это с еще большим правом позволяет отнести публикуемый нами текст к преддекабрьскому периоду.[2]

---

[1] Восстание декабристов, т. I, стр. 457—458. Все стихи, как уже указывалось, из следственных дел были изъяты, а кое-что, находившееся непосредственно на страницах дел, было густо замазано.

[2] Зная теперь текст «Вдоль Фонтанки реки...», мы можем понять, как нам кажется, и смысл его позднейшей переделки, и присоединение ее к песне «Ты скажи, говори» (список гр. Ростопчиной). Напомним этот текст:

Говори, говори
И всю правду скажи,
Бабка.
Кто сердит, пусть кричит,
А на воре горит
Шапка.
Говори, говори,
Как в России цари
Правят.
Говори поскорей,
Как в России царей
Давят.
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо;
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.
Как курносый злодей
Сел на троне за ней
Вскоре
И немецкий мундир
Он надел на весь мир.
Горе!

Таким образом, подводя итог, мы можем констатировать:

1) М. И. Муравьев-Апостол показал, что получил от Рылеева песню «Вдоль Фонтанки реки квартируют полки» и что автор ее — А. Бестужев;

2) А. А. Бестужев не отрицал своего авторства этой песни;

3) отрицание Рылеевым знакомства с ней легко объяснимо;

4) содержание песни соответствует обстановке 1824—1825 гг. и характеру декабристской пропаганды;

5) после восстания декабристов песня написана быть не могла;

6) документально установлено распространение близких к публикуемому тексту вариантов в середине 1826 г.

Такой цепи взаимно подкрепляющих друг друга доказательств мы не знаем даже ни для одной из песен, прочно вошедших в собрания сочинений Рылеева и Бестужева (за исключением, опять-таки, «Ах, тошно мне»). Мы просто вынуждены принять для данного текста авторство А. А. Бестужева (а может быть, и Рылеева).

Но если сам А. А. Бестужев говорил о н е с к о л ь к и х «подблюдных», если о «подблюдных песнях», написанных Рылеевым совместно с А. Бестужевым, вспоминал Н. А. Бестужев, если перед нами такой цикл из семи песен, если в этот цикл входит «Вдоль Фонтанки реки», авторство Бестужева для которой нами установлено, а текст не вызывает сомнений, если здесь же мы находим вариант «Как идет кузнец», если на второй половине листа находится более полный, несомненно относящийся к концу 1823—началу 1824 гг. текст песни «Царь наш, немец. . .», авторство Рылеева для которой безусловно, то напрашивается вывод о принадлежности всех этих песен Бестужеву (возможно совместно с Рылеевым) или, во всяком случае, автору из круга декабристов.

Противоречит ли содержание остальных песен взглядам и оценкам рылеевской группы в 1824—1825 гг.?

«Правда в суде, да свобода везде». Эту строку из пятой песни можно было бы поставить эпиграфом ко всему циклу, и этот эпиграф в такой же мере соответствовал бы идеологии Северного общества, как, скажем, характеристика состояния крестьян в песне «Ах, тошно мне» соответствует системе декабристских взглядов на современную им русскую действительность. Правда и свобода — в первой и пятой песне, ненависть к Аракчееву и его военным поселениям — во второй песне, к помещикам-крепостникам, к лихоимцам-судьям, к вельможной аристократии —

Где ни свет ни заря
Для потехи царя,
Рьяно,
У Фонтанки реки
Собирались полки
Piano.
(Недра, кн. 6, 1925, стр. 208).

Разночтения этого варианта с обычным текстом песни «Ты скажи, говори» нас сейчас не интересуют. Остановимся только на строках из «Вдоль Фонтанки реки. . .».

Описание повседневной тяжелой жизни солдат гвардии заменено в этой переделке указанием на какое-то определенное событие, в котором принимали участие войска близ Фонтанки. Хотя строка «Их и учат и мучат» исключена, но слова «для потехи царя» остались. Очевидно, в них вложен другой смысл. А поскольку строки эти присоединены к рассказу о том, «как в России царей давят», иначе говоря, к перечню дворцовых переворотов, то не заключала ли интересующая нас переделка намека на неудавшуюся революцию в 1825 г.? При этом толковании каждый элемент переделки становится ясен. «У Фонтанки реки собирались полки. . .» — восставший Московский полк, казармы которого, как известно, выходили воротами на Фонтанку, «для потехи царя» приобретает иронический смысл; даже «рьяно» и «piano» могут быть поняты. Поэтому можно сделать вывод, что вся эта переделка (и песни «Ты скажи, говори», и песни «Вдоль Фонтанки реки . . .») была приноровлена «на 14 декабря».

в шестой и седьмой песнях, наконец, сочетание призывов к ликвидации самодержавия и цареубийству и к соблюдению законности — в четвертой и седьмой песнях — вот содержание публикуемого цикла. Взглядам и мыслям группы членов Северного общества, вождем которой был Рылеев, он вполне соответствует. Можно с уверенностью сказать, что публикуемый цикл отражает революционный пафос этой группы в последние два года перед восстанием.

Противоречит ли публикуемый цикл характеристике, данной А. А. Бестужевым его «подблюдным» и характеристике А. Мицкевича, данной им «жестоким» песням декабристов? Ясно, что характеристикам Бестужева и Мицкевича он не только не противоречит, но и вполне соответствует.

Если утверждение о принадлежности песен авторам из числа декабристов представляется нам бесспорным, то для доказательства того, что именно эти тексты были написаны Бестужевым (и Рылеевым?) требуются дальнейшие разыскания. Однако в пользу последнего предположения можно привести, кроме показания Бестужева о нескольких написанных им «подблюдных», следующие соображения.

Мы знаем, что, говоря о песнях, распевавшихся декабристами, А. Бестужев указывал: «Впрочем, переходя по рукам, многое к ним прибавлено, и каждый на свой лад перевертывал», а Е. П. Оболенский развивал эту же мысль еще подробнее: «Сочинением же оных никто не занимался особенно (сколько мне было известно), но каждый куплет имел своего автора; и вообще они были плоды веселых часов досуга поэтов и литераторов наших, членов и нечленов Общества, во время свиданий их между собою».[1]

Но слова эти полностью применимы ведь и ко всем известным до сих пор текстам агитационных песен декабристов, что не мешает рассматривать их все же, в основном, как произведения Рылеева и Бестужева.

Больше того, анализ публикуемого цикла дает основание предположить, что как раз в данном случае такое коллективное авторство наименее вероятно. Этому противоречит стройная и обдуманная композиция цикла.

Первая песня представляет явное введение к циклу. Наиболее абстрактная, она вместе с тем намечает центральную для всего цикла тему о «свободе на всей земле», заканчиваясь характерной обобщающей строкой «Да и будет она православным дана. Слава!». Далее идут две совершенно конкретные песни, связанные с солдатской темой, — о военных поселениях и о петербургской гвардии. Заканчивается первая половина цикла картиной будущей революции. Вторая половина цикла — крестьянская. Начинается она пятой песней — ослабленным повторением темы первой песни, с прибавлением важной для крестьянства темы о суде (ср. место, уделенное этой теме в песне «Ах, тошно мне») и с последней строкой, варьирующей первую песню «Да и будут они россиянам даны. Слава!». Затем призыв крестьян к бунту и, наконец, вновь картина будущей революции с цареубийством.

Такая композиция цикла исключает, как нам кажется, коллективное авторство, хотя вполне возможно, что отдельные строки и видоизменялись, «переходя по рукам».[2]

Характерно также, как неслучайно размещены традиционные припевы «подблюдных» песен — «кому выпется, тому сбудется, кому сбудется,

[1] Восстание декабристов, т. I, стр. 458 и 267.

[2] В частности, очевидно, неисправны строки: А с железом <железами?> да с законами; Как идет кузнец <да?> из кузницы; А другой то нож на судей на плутов <рифма?>.

не минуется». Припевы эти мы находим лишь там, где идет речь о возмездии определенным лицам — Аракчееву (вторая песня), великим князьям (третья песня), царю (четвертая и седьмая песни). В остальных песнях этого припева нет. Тем самым он получает совершенно конкретный, угрожающий смысл. И это обстоятельство говорит о единстве плана цикла.

Метод приноровления к целям политической пропаганды народных песен в большинстве песен публикуемого цикла один и тот же (и аналогичен методу песни «Ах, тошно мне»). Обычно, помимо сохранения размера и мотива, почти целиком используются первые строки источника, но с наполнением их принципиально противоположным смыслом; далее, посреди нового, революционного содержания время от времени проскальзывают либо отдельные строки, либо хотя бы рифмы из первоисточника.

Приведем примеры:

Ах, тошно мне На чужой стороне.	Ах, тошно мне И в родной стороне.
***	
Против воли В тяжкой доле Буду жить без тебя.	Все в неволе, В тяжкой доле Видно век вековать?
***	
Слава богу на небе, слава! Государю нашему на сей земле.	Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
***	
Чтоб нашему государю не состариться, Его цветному платью не носиться, Его добрым коням не изъезживаться, Его верным слугам не изменяваться.	Чтобы правде ее не изменяваться, Ее первым друзьям не состариться, Их саблям, кинжалам не ржаветься, Их добрым коням не изъезживаться.
***	
Уж как на небе две радуги, У богатого мужика две радости. И он сына то женит, дочь замуж выдает.	Уж как на небе две радуги, А у добрых людей две радости: Правда в суде, да свобода везде.
***	
Щука шла из Новагорода.	Как идет мужик из Новагорода.
***	
Ах! ты сей, мати, мучицу, пеки пироги, ... К тебе будут гости, ко мне женихи.	Сей, Маша, мучицу, пеки пироги: К тебе будут гости, к тирану враги.

Оговариваемся, что мы лишь иллюстрируем здесь свою мысль. Именно ли эти варианты подблюдных песен были использованы Рылеевым и Бестужевым, или другие — сказать трудно. В отдельных случаях можно даже быть уверенным, что другие. Мы привели именно эти варианты лишь потому, что они напечатаны в наиболее близких хронологически к 1824—1825 гг. песенниках.

Все сказанное приводит нас к убеждению, что показание Оболенского относилось скорее к песням типа «Ах, где те острова» и «Царь наш, немец. . .». В таких песнях, действительно, нет какого-либо определенного композиционного стержня, куплеты могут следовать один за другим почти в любом порядке, и коллективное авторство участников дружеских пирушек для них вполне вероятно. Да они и больше подходят к характеристике Оболенского («плоды веселых часов досуга поэтов и литераторов наших, членов и нечленов Общества»). Можно ли представить себе «нечленов Общества», участвующих в коллективном сочинении песен, призывающих к убийству царя?

А если считать цикл «подблюдных песен» принадлежащим, в основном, одному-двум лицам, то возникает закономерный вопрос: кто же еще, кроме Рылеева и Бестужева, мог быть их авторами? А. И. Одоевский? В. К. Кюхельбекер? Едва ли. Или участники вольных обществ, поэты и литераторы, группировавшиеся вокруг основного декабристского ядра, но чуждые его революционному пафосу? Это еще менее правдоподобно. Таким образом, есть достаточно оснований для постановки и дальнейшего изучения вопроса о возможной принадлежности вновь обнаруженных «подблюдных песен» и варианта песни «Царь наш, немец. . .» Рылееву и Бестужеву. Но, независимо от того, как решать этот вопрос, — бесспорно, что перед нами новые, яркие образцы декабристской агитационной поэзии, явно рассчитанные на солдатскую массу.

На вопрос, поставленный в начале нашего сообщения, — не является ли песня «Уж как шел кузнец» случайностью, единичным явлением? — можно дать отрицательный ответ. Идеологический и политический смысл публикуемого цикла «подблюдных песен» должен быть учтен при дальнейших исследованиях и уточнениях идейной эволюции северных декабристов. Вот почему столь важно было убедиться, что эти, лишенные всякой документации тексты — действительно декабристские тексты.

ВОСПОМИНАНИЯ О РЫЛЕЕВЕ И. Н. ЛОБОЙКО

Публикация В. В. Данилова

Автор воспоминаний о Рылееве — Лобойко Иван Николаевич (1786—1861 гг.), родом украинец, окончил Харьковский университет. С 1821 г. занимал кафедру русской литературы и истории России в Виленском университете, имел звание заслуженного профессора. С 1833 г. вел преподавание тех же предметов в Виленской Медико-хирургической академии. Выйдя в отставку в 1840 г., Лобойко поселился в Митаве, где и умер.

До переселения в Вильно Лобойко жил в Петербурге, преподавал в Военно-учительском институте и состоял членом Вольного общества любителей российской словесности, где занимал должности библиотекаря и одного из «цензоров» (как именовались в Обществе редакторы). Несколько раз выступал в нем с чтением своих сочинений.

Интересы Лобойко относились к области исторических дисциплин, и потому его участие в Вольном обществе, где главными деятелями были поэты, рядом с К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестужевым, А. А. Дельвигом, В. К. Кюхельбекером, Ф. Н. Глинкою, — было незаметным. От Лобойко сохранился сравнительно большой архив, состоящий из читанных им университетских курсов и записных тетрадей с мемуарными заметками, и находящийся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 154.

Знакомство Лобойко с декабристами и, в частности, с Рылеевым не прошло бесследно для его общественно-политических воззрений. Сравнительно с политическими идеями декабристов, особенно их левого крыла, взгляды Лобойко весьма умеренны. Но сквозь них пробиваются мысли, являющиеся эхом радикальных мнений. Так, по поводу дела Петрашевского Лобойко пишет в одной из своих записных книжек: «Я желал бы, чтобы правительство почувствовало свои обязанности и нужды народа не в открытии заговоров, но в свободе каждому благовоспитанному человеку доводить до сведения доверенных государя лиц свои мнения, замечания и советы».

Мысль, начатая Лобойко в радикальном тоне, сведена им к умеренной практике в официальных рамках. Впрочем, для мрачного режима «Незабвенного», как впоследствии декабристы в переписке друг с другом иронически называли Николая I, не желая даже упоминать его имени, и такая практика, ограниченная «благовоспитанными» людьми, была бы радикализмом: «Мысль эта, — продолжает Лобойко, — нашему начальству может показаться безумною. . .».

Для общественно-политического облика Лобойко характерно его рассуждение о «вольнодумстве», в связи с тем же делом Петрашевского:

«Наказывая народ за каждое неосторожное, необдуманное слово, а иногда, при нестерпимых притеснениях, вырвавшееся выражение, оно <правительство> погружает людей в мертвое уныние, заставляет скрывать свои жалобы и казаться слепыми и немыми; а этим можно только довести народ до отчаяния. Надобно страданиям народным, мнимым или истинным, дать выход, и правительство может сделать это осторожно и безвредно для государства. Пусть оно терпит вольнодумство в народе. . .

«Но, кроме того, есть другой род вольнодумства, который правительство почитает уже опасным и потому его преследует и наказывает, как скоро где-либо оно хоть и несколько обнаружится. Это вольнодумство ученых людей, писателей, людей, получивших высшее образование, людей, способных действовать на правительство и на общественное мнение, людей, убежденных в важности своих наблюдений, в своей опытности и проницательности, оскорбленных тем, что правительство их вовсе не замечает, а иногда даже угнетает и преследует.

«Этому вольнодумству правительство не дает ни малейшего выхода: оно думает, что для него довольно подавить его тотчас, как скоро оно обнаружится. Но пра-

вительство не хочет знать, что этот род вольнодумства, если он иногда и обнаруживается под пером писателей или в обществе высшего круга, то это только искры из того пламени, который кроется в недрах земли, во чреве Эреба. Этот пламень тем более охлаждается и слабеет, чем он приметнее и чем более дают ему движения и простора по указанному пути. Но он тем яростнее, чем долее тлеет под пеплом в местах скрытых и недоступных.

«Все те, которые думают или мечтают преобразовать правительство или предохранить его от опасностей своими советами и замечаниями, прежде всего хотят, чтоб оно их выслушало».[1]

Эти строки с очевидностью говорят, что Лобойко, конечно, ни в какой мере не революционер. Однако в нем продолжали жить отголоски связей с участниками декабрьского восстания, но с опасливою оглядкою на III отделение. Под таким настроением Лобойко написаны воспоминания о Рылееве, и отсюда — их общественно-политическая двойственность и в отдельных местах нарочито подчеркнутая благонамеренность.

Лобойко неправильно объясняет распад Вольного общества любителей российской словесности. Оно закрылось вследствие разгрома его руководящего ядра и ареста руководителей Общества: Рылеева, А. Бестужева, Ф. Глинки, А. Корниловича и др. Имеются у Лобойко и некоторые неверные суждения, например утверждение о зависимости «Дум» Рылеева от Юлиана Немцевича опровергается предисловием к «Думам» Рылеева, где говорится о том, что этот жанр с древних времен присущ русской литературе.

Некоторым отзвуком декабристских идей было у Лобойко также его уважение к польскому народу, его истории и литературе. Это послужило поводом к привлечению Лобойко к следствию по делу филаретов в Виленском университете. Этот эпизод, хотя и окончившийся благополучно, расстроил его здоровье. Воспоминания Лобойко о Следственной комиссии, во главе которой был Н. Н. Новосильцев, о борьбе последнего с Адамом Чарторижским, о скрытых пружинах и обстановке следствия — ценны для истории русской и польской общественной жизни.

Воспоминания Лобойко о Рылееве, впервые публикуемые, имеют известный интерес для изучения истории Вольного общества любителей российской словесности и биографии Рылеева.

В записных тетрадях Лобойко вспоминает также об А. Мицкевиче, историке Лелевеле, археологе Доленге Ходаковском, А. С. Шишкове, В. Н. Каразине, Н. И. Грече, В. А. Жуковском и других литературных деятелях.

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В ПЕТЕРБУРГЕ В 1824 г. ПЕРЕД ЕГО КОНЧИНОЙ[2]

Труды сего Общества, выходившие под именем «Соревнователь просвещения и благотворения», начатые с 1818 года, прекратились в ноябре 1825 года, на 31-м томе. В 1824 году Общество было в полном цвете и никто из членов, кроме участников в заговоре, обнаружившемся в декабре 1825 года, не воображал, чтобы его существование было так непродолжительно.

Собираясь возвратиться из Петербурга в Вильну, я посетил Общество и нашел многих членов, занимавшихся изданием своих сочинений. Между ними наиболее отличался Рылеев, оканчивавший тогда свою поэму «Войнаровский». Злосчастной его памяти я посвящаю это воспоминание.

В летописях заговора имя Рылеева, вместе с Александром Бестужевым, встречается в том самом году, как они начали издавать «Полярную Звезду» на 1823-й год. Этот альманах принят был русскою публикою с самым лестным для них вниманием, а потому он издан был и на 1824 и на 1825-й год. Охотники до литературных редкостей ищут их и теперь платят за них дорого. В 1828 г. три эти книжечки в 16° стоили уже 100 р.

То, что замечено во всеподданнейшем докладе 30-го мая 1826 года, мы уже прежде видели за два пред тем года, что издатели тесно связаны были приязнию, единомыслием и сходством вкуса и занятий. В трудах

[1] Тетрадь воспоминаний, лл. 13 об.—16.

[2] Карандашом приписано: «пред его кончиной», VII тетрадь воспоминаний, лл. 15—29.

соревнователей означено вступление каждого члена. Кондрат Рылеев вступил в литературное наше общество в 1820 году, Александр Бестужев прежде. В это время начали появляться в «Сыне Отечества» Думы Рылеева. Образцами для него были Думы польского элегического поэта Юлиана Немцевича, из коих самыми патриотическими почитаются Duma o Zolkiewskim — o Stefanie Potockim — o Michale Glinskim. — Жизнь Немцевича во всех ее обстоятельствах: его пребывание в Англии в 1787 году, его участие в Польской революции с 1791—93 ‹годов›, его двухлетнее заключение в Шлиссельбургскую крепость, освобождение его оттуда в 1796 году государем императором Павлом I и переселение его в Америку, равно как и сочинения Немцевича, издаваемые вполне в Варшаве с 1805 ‹года› — были Рылееву известны. Он напитан был их республиканским духом и чувствованиями; но это было нам понятно только впоследствии.

Хотя общество соревнователей охотно принимало поэтов, но оно не торопилось избранием Рылеева. Он предложен был в члены Гречем, в журнале коего печатались его думы.[1] Президент общества Ф. Н. Глинка равнодушно принял это предложение (верно, только притворно) и оставил его на волю другим. По прочтении одним из членов новой думы Рылеева, назначенной в распоряжение общества, я, высоко ценивший по первым опытам поэтический его талант, поддержал его в выборе своим мнением, с которым согласились и другие.

После этого Рылеев, во все время, пока я был в Петербурге, любил в литературных наших собраниях хвалиться мне прежде всех новыми своими стихотворениями.

Из Вильны два раза летом приезжал я, в 1823 и 1824 году, в Петербург и, после заседаний нашего общества, давал ему волю наговориться о своих поэтических идеалах и декламировать те стихи, кои его самого наиболее восхищали. Рылеев в 1823 году квартировал на Васильевском острову и приглашал меня к себе обедать, записав в моей книжке свою квартиру; но, по отдаленности ее, я ни разу не воспользовался этим приглашением.

В 1824 году Рылеев получил в Северо-Американской компании место правителя дел и занимал квартиру в доме ее у Синего моста, в нижнем этаже. В это время оканчивал он свою поэму «Войнаровский». Летом, по выходе из заседания литературного нашего общества, ночью, в 11 часов, пригласил он меня к себе на квартиру дослушать окончание своей поэмы. Я восхищался; никто не мешал нам, хотя Рылеев был уже женат. Несколько флотских офицеров показывались в конце зала и исчезали, не говоря ни слова. Чтение продолжалось до трех часов ночи в огромном зале, в котором раздавался звучный его голос; нас было только двое. По окончании чтения, я спросил его, где эта поэма будет напечатана? Рылеев отвечал: «В Москве». — «Отчего же не здесь, в Петербурге?». — «Разве вы не знаете, что за мною подсматривают? Оттого окна моей квартиры в нижнем этаже, выходят на Мойку. Я их не закрываю, и полицейские агенты могут всегда чрез окна видеть, чем я занимаюсь и кто у меня бывает». — «Да за что же вас подозревают?». — «Разве вам неизвестно, что я навлек на себя гнев графа Аракчеева?». Я не знал, по какому поводу, и Рылеев объяснил мне его следующим образом: «Вы знаете, что я напечатал в ‹„Невском Зрителе“›[2] Проперция сатиру в переводе стихами, под заглавием: „Временщику“?

[1] Дума Рылеева «Богдан Хмельницкий» напечатана в «Сыне отечества» 1822 г., № 23, стр. 130. ‹Примечание Лобойко›.

[2] В подлиннике: в «Сыне отечества».

«Граф Аракчеев принял ее на свой счет, и она во всем Петербурге сделалась гласною. То те, то другие стихи, которые можно было обратить в укор Аракчееву, повторялись. Аракчеев, оскорбленный в своем грозном величии неслыханною дерзостию, отнесся к министру народного просвещения князю Голицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Аракчееву такой ответ: „Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?“.

«Тургенев очень верно рассчитал, что граф Аракчеев после этого замолчать должен, ибо если бы он поставил министру на вид эти выражения, они не только бы раздались в столице, но и во всей России, ненавидевшей графа Аракчеева».

Рылееву, казалось, было тогда не более 30 лет; он был небольшого роста, худощав, приятного лица, черняв, с пылким взором; в обращении с нами был скромен; в разговорах никогда не горячился; никогда не намекал ни о политике, ни о преобразовании и, декламируя свои стихи, кажется, забывал все на свете.

Это происходило в августе 1824 ‹года›, и это было последним моим свиданием с Рылеевым и с литературным обществом, в котором я с ним встречался . . .

Рылеев увлек за собою в погибель из членов Общества российской словесности Александра Бестужева, старшего его брата Николая, капитан-лейтенанта, Вильгельма Кюхельбекера, Александра Корниловича и барона Владимира Штейнгеля. Более сих никто из членов участником в заговоре не был и не навлек на себя и тени подозрения правительства, хотя число членов доходило до 60. А потому правительство не закрывало Общества; но после открытия возмущения в столице и в армии мысли и чувствования каждого обращены были на опасности, которым подвергались престол и отечество, на судьбу подсудимых, в ожидании приговора, последовавшего 13 июля 1826 года, и на глубокое уныние, поразившее их семейства; а потому Общество с декабря 1825 года и замолкло.

В 1852 году я имел удовольствие видеться с Андреем Афанасьевичем Никитиным, бывшим секретарем Общества. На вопрос мой, кому достался архив нашего Общества, отвечал он: «Все, что только принадлежало Обществу, хранится у меня».[1] А. Аф. Никитин, будучи теперь статс-секретарем, конечно, не имеет досуга составить историческую записку этого достопамятного Общества, которое в устройстве своем могло бы быть образцом и для позднейших времен. Оно продолжалось не более семи лет, но ознаменовало существование свое необыкновенною деятельностию и участием отличных людей, вышедших из юных университетов и других высших заведений и достигших чести быть сенаторами, статс-секретарями, тайными советниками, губернаторами и т. п. Для всех их была дорога память этого Общества, а еще более для истории русской литературы и отечественного просвещения.

---

[1] Архив Вольного общества любителей российской словесности хранится в Институте русской литературы Академии Наук СССР.

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР В КРЕПОСТЯХ И В ССЫЛКЕ

(Новые материалы)

Публикация В. Н. Орлова

Из эпистолярного наследия В. К. Кюхельбекера до настоящего времени выявлено примерно 150 писем, опубликовано же из них всего 57. Ввиду того, что появившиеся в печати письма декабриста нигде до сих пор полностью не зарегистрированы,[1] считаем небесполезным привести здесь краткую библиографическую справку об имеющихся публикациях (располагая сведения в алфавитном порядке адресатов Кюхельбекера).[2]

Между тем известно, что В. К. Кюхельбекер вел обширную переписку — как в ранние годы жизни, до декабрьского восстания, так и позже — из крепостей и из ссылки. Письма его к друзьям, литературным соратникам и политическим единомышленникам в большей части утрачены, очевидно, безвозвратно. Лучшая судьба постигла

---

[1] Существенные пропуски и неточности имеются в наиболее подробном библиографическом справочнике по декабристам, составленном Н. М. Ченцовым (М.—Л., 1929). Неполна также справка о письмах Кюхельбекера, составленная Б. Л. Модзалевским (сб. «Декабристы. Неизданные материалы и статьи». Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук, М., 1925, стр. 157).

[2] А. Х. Бенкендорфу — 2 письма 1836 г. (Восстание декабристов. Материалы, т. VIII. Алфавит декабристов, Л., 1925, стр. 338—339; Русская старина, 1902, № 4, стр. 96—97); В. Д. Вольховскому — 1 письмо 1822 г. (Д. Кобеко. Императорский царскосельский лицей. СПб., 1911, стр. 485); Гёте — 1 письмо 1820 г. (Литературное наследство, № 4—6, 1932, стр. 382); Н. Г. Глинке — 1 письмо 1838 г. (Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина, ч. VIII, М., 1901, стр. 244—246; также — Русский архив, 1901, II, стр. 239); А. С. Грибоедову — 1 письмо 1828 г. (Исторический вестник, 1902, № 5, стр. 596); А. А. Дельвигу — 1 письмо 1830 г. (Русский архив, 1881, I, стр. 140); В. А. Жуковскому — 6 писем 1823—1846 гг. (Русский архив, 1871, I, стбц. 0170—0180; Русская старина, 1902, № 4, стр. 45; Русский архив, 1872, I, стбц. 1004—1008); Д. Н. Завалишину — 1 письмо (Русская старина, 1881, т. 32, стр. 388 и 427); С. Д. Комовскому — 3 письма (К. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 76 и 85—88); Ю. К. Кюхельбекер — 2 письма (Литературный вестник, 1902, кн. 2, стр. 168; Отчет Публичной библиотеки за 1889 г., стр. 39); Е. П. Оболенскому — 3 письма 1839—1841 гг. (Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925, стр. 158—161); В. Ф. Одоевскому — 6 писем 1825—1845 гг. (Русская старина, 1904, № 2, стр. 378—384; Д. Кобеко. Императорский царскосельский лицей. СПб., 1911, стр. 488; Отчет Публичной библиотеки за 1893 г., стр. 69); А. Ф. Орлову — 1 письмо 1845 г. (Русская старина, 1902, № 4, стр. 110—111); А. С. Пушкину — 5 писем 1828—1836 гг., — одно из них адресовано к А. С. Пушкину и А. С. Грибоедову (Сочинения Пушкина, изд. Академии Наук, Переписка, тт. II—III, СПб., 1908—1911, №№ 364, 479, 974, 1057 и 1082); ректору Дерптского университета — 1 письмо 1820 г. (Д. Кобеко. Императорский царскосельский лицей. СПб., 1911, стр. 484); В. И. Туманскому — 1 письмо 1821 г. (Русская старина, 1890, № 8, стр. 383). Кроме того, в недавнее время было опубликовано 21 письмо Кюхельбекера к родным (матери, сестрам и племянницам) за период с 1805 по 1841 г. (Декабристы. Летописи Государственного Литературного музея, кн. III, М., 1938, стр. 156—184).

письма Кюхельбекера к родным, особенно многочисленные за годы его заточения и ссылки. В числе прочих рукописей Кюхельбекера они бережно хранились в семье и в начале 1870-х годов были частично использованы для биографического очерка о Кюхельбекере, написанного его дочерью Ю. В. Косовой (при участии племянницы поэта — А. Г. Глинки) и опубликованного в «Русской старине» 1875 г. (т. XIII, стр. 333—354), с приложением сохранившихся в семейном архиве писем к Кюхельбекеру от Н. И. Гнедича, А. Ф. Воейкова, А. А. Дельвига, А. С. Грибоедова, Е. А. Энгельгардта, В. А. Жуковского, В. Ф. Одоевского, П. А. Плетнева, В. И. Туманского, Е. А. Баратынского и С. Н. Бегичева.

Много позже, в недавнее уже время, богатый архив Кюхельбекера попал к известному коллекционеру А. Е. Бурцеву. Впоследствии бо́льшая часть этого архива была приобретена исследователем жизни и творчества Кюхельбекера — Ю. Н. Тыняновым и в настоящее время находится в частных руках. Но еще до того от архива откололись две пачки писем Кюхельбекера к родным. Одна из них — в количестве 21 письма — поступила в б. Государственный Литературный музей и в 1938 г. была опубликована в упомянутых выше «Летописях» Музея; другая — 1 письмо 1823 г. и 28 писем от 1828—1840 гг., а также несколько писем, адресованных Кюхельбекеру, — в архив Института русской литературы Академии Наук СССР. Кроме того, несколько писем Кюхельбекера к родным, относящихся ко времени его крепостного заключения, были обнаружены в 1949 г. среди остатков коллекции А. Е. Бурцева и в настоящее время готовятся к публикации Центральным литературным архивом.

Об общем количестве сохранившихся писем Кюхельбекера к родным можно судить по тому, что сверх 21 письма, опубликованного в «Летописях» Литературного музея, и 29 писем, хранящихся в архиве Института русской литературы, еще свыше 60 писем, охватывающих время с 1814 по 1845 г., были частично процитированы (или упомянуты) в биографическом очерке о Кюхельбекере, написанном его дочерью (Русская старина, 1875, т. XIII), и в работах Ю. Н. Тынянова: «В. К. Кюхельбекер» (вступительная статья в издании: В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, Л., 1939), «Пушкин и Кюхельбекер» (Литературное наследство, № 16/18, 1934, стр. 321—378) и «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» (Литературное наследство, № 33/34, 1939, стр. 331—378). Эти письма ждут публикации, равно как и дневник В. К. Кюхельбекера (изданный лишь в выборках) и другие ценные материалы его архива, имеющие важное значение для истории русской литературы и общественной мысли 1810—1840-х годов.

Ниже публикуются 28 писем Кюхельбекера, 1 письмо к Кюхельбекеру и 1 письмо жены Кюхельбекера (из собрания Института русской литературы Академии Наук СССР) с необходимыми к ним пояснениями. После каждого письма указан шифр. Переводы иноязычных текстов выполнены Е. П. Мясоедовой.

I. ИЗ КРЕПОСТЕЙ

В. К. Кюхельбекер, приговоренный Верховным уголовным судом по I разряду — к смертной казни, по «высочайшей конфирмации» 10 июля 1826 г. был осужден в каторжные работы сроком на двадцать лет. Через две недели, 25 июля, он был вывезен из Петропавловской крепости (где содержался с 25 января 1826 г.) и доставлен в Шлиссельбург 22 августа; при общем пересмотре Николаем I приговоров декабристам, срок наказания, определенный Кюхельбекеру, был сокращен до 15 лет.

Однако этим судьба Кюхельбекера еще не была решена. В отличие от других декабристов, он не был отправлен в восточно-сибирские рудники. По ходатайству родных каторга была заменена ему одиночным заключением в крепости. «Милостью» этой он был обязан, очевидно, брату царя — великому князю Михаилу Павловичу, к которому обратились родные осужденного. Отец Кюхельбекера в свое время долго и исправно служил при Павле I (управлял его личным имением — Павловском), и к Михаилу Павловичу по наследству перешла роль официального покровителя семьи Кюхельбекеров. Роль эту великий князь продолжал играть и после того, как два брата Кюхельбекеры впали в «государственное преступление». Больше того: Михаил Павлович продолжал «покровительствовать» Вильгельму Кюхельбекеру, несмотря на то, что на Сенатской площади тот целился из пистолета не в кого иного, как именно в великого князя (этот эпизод ставился Кюхельбекеру в особую вину и сыграл важную роль при определении ему меры наказания), а может быть, как раз в силу этого обстоятельства великий князь и пожелал эффектно продемонстрировать христианское «забвение зла», выступая ходатаем за человека, покушавшегося на его жизнь.

12 октября 1827 г. Кюхельбекер по «высочайшему повелению» был отправлен вместо Сибири в арестантские роты при Динабургской крепости (Динабург-Двинск, ныне Даугавпилс в Латвийской ССР). Начались долголетние скитания Кюхельбекера по крепостным казематам. Они сразу же ознаменовались драматическим происшествием.

14 октября 1827 г. Кюхельбекер, которого везли под конвоем из Шлиссельбурга в Динабург, на глухой почтовой станции Залазы, возле Боровичей, случайно повстречался с Пушкиным, ехавшим из Михайловского в Петербург. Они не виделись перед этим в течение семи с половиной лет, — с 6 мая 1820 г., когда Пушкин был выслан из Петербурга на юг.

Общеизвестна заметка Пушкина, в которой он на следующий же день (15 октября 1827 г.) описал эту волнующую встречу: «. . . вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. „Вероятно, поляки?" — сказал я хозяйке. „Да, — отвечала она, — их нынче отвозят назад". Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели. . . Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».[1]

Сохранился рапорт фельдъегеря Подгорного, сопровождавшего Кюхельбекера, об этом чрезвычайном происшествии. В рапорте, датированном 28 октября 1828 г., уточнены некоторые детали встречи. Фельдъегерь сообщал дежурному генералу Главного штаба А. Н. Потапову, что «некто г. Пушкин. . . вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру и начал после поцелуев с ним разговаривать». После того как их растащили, Пушкин хотел передать Кюхельбекеру деньги, но фельдъегерь этого не разрешил. «Тогда он, г. Пушкин, — рапортовал фельдъегерь, — кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству как за недопущение проститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того, не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин, между угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет».[2]

Сам Кюхельбекер несколько позже — 10 июля 1828 г. — в общем письме к Пушкину и Грибоедову писал: «Свидание с тобою, Пушкин, в век не забуду».[3] А через два с лишним года — 20 октября 1830 г. — в другом письме к Пушкину снова вспомнил об этой необыкновенной встрече: «Помнишь ли наше свидание в роде чрезвычайно романтическом: мою бороду? Фризовую шинель? Медвежью шапку? Как ты, через семь с половиною лет, мог узнать меня в таком костюме? вот чего не постигаю!».[4]

Письма к Пушкину пересылались Кюхельбекером тайно, через верных людей. С самого начала своего заключения Кюхельбекер пускался на серьезный риск, всеми доступными для него средствами стараясь наладить нелегальную связь с внешним миром вопреки строгому крепостному режиму.

Для этого у него имелись кое-какие возможности. В Динабургской крепости служил дивизионный командир генерал-майор Егор Криштофович — родственник смоленских помещиков Криштофовичей, с которыми семья Кюхельбекера (старшая его сестра Ю. К. Глинка и ее дети) находилась в тесных дружеских отношениях. Сам Кюхельбекер в 1822 г., проводя лето в смоленском поместье Глинок — Закупе, по соседству с имением Криштофовичей, сдружился с поэтом-дилетантом Евмением Осиповичем Криштофовичем и посвятил ему несколько прочувствованных стихотворений.[5]

Не приходится сомневаться, что родные Кюхельбекера при посредстве смоленских Криштофовичей завязали сношения с динабургским генералом и просили его приложить старания к тому, чтобы по возможности облегчить участь узника. Из материалов семейного архива выясняется, что Егор Криштофович выхлопотал Кюхельбекеру разрешение читать и писать, доставлял ему книги, добился для него позволения прогуливаться по плацу, «вообще смягчил для него строгие постановления относительно заключенных» и даже устроил ему в своей квартире свидание с матерью.[6]

Главное, чего добивался Кюхельбекер, — разрешения заниматься литературным трудом и переписываться с родными. В начале заточения — в Петропавловской крепости (с января по июль 1826 г.) — он имел только священное писание; в Шлиссель-

---

[1] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII, 1949, стр. 20—21.

[2] Рапорт фельдъегеря Подгорного опубликован в «Русской старине» (1901, II, стр. 578). Подлинное дело «О поступке г. Пушкина при встрече с преступником Кюхельбекером» хранится в рукописном отделе Института русской литературы Академии Наук СССР (инв. № 338/672).

[3] Сочинения Пушкина, Переписка, т. II, СПб., 1908, стр. 68.

[4] Там же, стр. 180.

[5] См.: В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, Л., 1939, стр. 70—72.

[6] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 349.

бурге он получал некоторые книги и даже самостоятельно выучился читать по-английски. В Динабурге же первое время ему не давали ни книг, ни пера, ни чернил. Но, повидимому, уже в конце 1827 или в самом начале 1828 г., благодаря ходатайству Егора Христофовича, ему было в официальном порядке разрешено читать и писать. 10 июля 1828 г. в общем письме к Пушкину и Грибоедову он сообщает: «Я здоров и, благодаря подарку матери моей — Природы, легкомыслию, не несчастлив. Живу du jour au jour,[1] пишу. — Пересылаю вам некоторые безделки, сочиненные мною в Шлиссельбурге».[2]

Труднее было получить право на переписку. В том же 1828 г. переписка была разрешена, но только с ближайшими родственниками — с матерью и сестрами. Были ограничены не только объем, но и содержание переписки: касаться можно было лишь семейных дел и отвлеченных тем. Сам Кюхельбекер в своих письмах непрестанно призывает своих корреспондентов к сугубой осторожности, намекая на то, что переписка может быть в любой момент и по любому поводу запрещена.[3] Вместе с тем Кюхельбекер, повидимому самовольно, расширил круг своих корреспондентов, включив в их число, кроме матери и сестер, также племянниц и племянников.

Переписка, действительно, носила нейтрально-семейный характер. Первое по времени письмо Кюхельбекера из нашей коллекции адресовано его любимой племяннице — Наталье Григорьевне Глинке. Письмо не датировано (написано на бумаге с водяным знаком 1826 г., которой Кюхельбекер пользовался в течение нескольких лет), но, судя по воспоминаниям о Шлиссельбурге, было написано вскоре после отъезда оттуда, вероятнее всего в 1828 г. Вот это письмо.

1. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Милый друг, Наташинька.

Твое любезное письмо меня очень, очень обрадовало: особенно мне приятно было видеть твой красивый, четкий почерк; я не мог налюбоваться им. — Матушка твоя ко мне писала, да и Семен мне говорил, что ты не так-то здорова: это меня очень озабочивает. Буду за тебя молиться богу: он, надеюсь, укрепит тебя и возвратит тебе силы, чтоб ты могла быть подпорою и утешением твоей матушки, нашею всех радостию и помощницею тетушки и матушки в воспитании младших сестер твоих.— Благодарю вас всех за расположение к моему бедному Семену. — Зная, как ты любишь все живое: птиц, собак, кошек, скажу тебе, что и меня воробьи и голуби чрезвычайно тешили в моем шлиссельбургском заточении; я для них всегда собирал крохи с моего обеда и даже оставлял и ломтик хлеба, потому что ел довольно мало. После обеда, бывало, отворю форточку и кормлю их: голуби так были не робки, что ели из рук. Только досадно мне было, когда они дерутся: и между ними страсти: зависть, жадность, недоброжелательство. Что? Есть ли у тебя еще канарейки? Жива ли твоя верная, старая Моська? — Если бы она только поняла, что это значит, я бы тебя попросил кланяться ей: мне все то, что вы, мои милые, любите, что принадлежит вам, дорого.— Семен мне говорил, что ты уже верхом ездишь: жалею очень, что не могу быть твоим провожатым в твоих прогулках. Полагаю, что я теперь, если бы меня посадили на лошадь, едва ли усидел: а ты помнишь, как я рыскал по горам и долинам. — Прости, любезный друг! Будь здорова и помни твоего старого дядю, который тебя никогда не забудет. Обнимаю и целую тебя.

В. К.

Р. I, оп. 12, № 258.

Наиболее интересно в этом письме упоминание о Семене. Это Семен Титович Балашов — «крепостной человек» и верный друг Кюхельбекера, находившийся при нем с середины 1824 г. Судьбы их тесно переплелись в день 14 декабря, и в очень сложных

[1] день за днем.
[2] Пушкин, Переписка, т. II, стр. 68.
[3] В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, стр. XLVI—XLVII.

условиях Семен Балашов — молодой неграмотный крестьянин (ему было 22 года) — проявил в отношении Кюхельбекера большое человеческое благородство и настоящую преданность.

К вечеру 14 декабря, когда Николай I рассеял повстанцев картечным огнем, Кюхельбекер пришел к себе на квартиру (он жил возле Сенатской площади, на Почтамтской улице) и велел Балашову «тотчас одеваться и итти за собою», а на вопрос его, кому поручить квартиру и имущество, сказал: «Бросай все, голова дороже имения». В тот же вечер Кюхельбекер с Балашовым вышли за петербургскую заставу, а потом то на лошадях, то пешком добрались до села Горки в Великолуцком уезде. Здесь, в имении П. С. Лаврова (дальнего родственника Кюхельбекера), беглецы прожили пять или шесть дней, после чего на тройке, которую дал Лавров, поехали через Великие Луки в деревню другого родственника Кюхельбекера — И. Л. Альбрехта, а оттуда добрались до имения Ю. К. Глинки — Закупа. Остановились они не в самом имении, а в соседней деревне Загусино. Здесь Кюхельбекер узнал, что в Закупе уже побывала разыскивающая его полиция и, произведя тщательный обыск, удалилась. Кюхельбекер с Балашовым добрались до Закупа только 28 декабря, и за эти две недели, что прошли со дня восстания, след их был потерян.

В тот же день Кюхельбекер имел краткое свидание со старшей сестрой — Ю. К. Глинкой (от матери и других родных его появление в Закупе скрыли). Ю. К. Глинка проявила при этом большое присутствие духа и распорядительность. Она переодела брата в крестьянские рубаху, тулуп, лапти и шапку, вручила ему подложный «вид» на имя плотника Ивана Подмастерникова, а Семену Балашову — такой же «вид» на имя отставного солдата из дворян Матвея Закревского (а кроме того, отпускное свидетельство «для свидания с родными в Минскую и Могилевскую губернию»), снабдила деньгами и отправила на подводе с парой лошадей в сопровождении верного дворового, Григория Денисова. В биографическом очерке Кюхельбекера, написанном на основании семейных воспоминаний, сказано, что «дворовые люди», помогавшие скрыться государственному преступнику, были схвачены полицейскими властями и посажены в острог в г. Духовщине, «но ни один из них несмотря ни на какие угрозы. . . даже не проговорился».[1]

Кюхельбекер имел в виду бежать за границу и держал путь к границам Пруссии. Опасаясь погони, он со своими спутниками пробирался глухими проселочными дорогами. 3 января 1826 г., остановившись в корчме где-то за Оршей, он отпустил обратно в Закуп Григория Денисова и послал с ним письмо к сестре (оно до нас не дошло), в котором прощался с нею и просил дать вольную Григорию Денисову, когда тот возвратится в Закуп.[2]

Добравшись до пограничного района, в деревне около м. Цехановцы Белостокской области 14 января 1826 г. Кюхельбекер вынужден был расстаться и с Семеном Балашовым. Местные жители запросили у него за переправку через границу до двух тысяч рублей, тогда как он располагал только двумя стами. Поэтому, как показывал на следствии Балашов, убедившись, что «чрез границу двум человекам на лошади пробраться без узаконенного паспорта невозможно»,[3] Кюхельбекер решил пойти в Варшаву, где служили его родственник (двоюродный брат по матери) генерал А. И. Альбрехт, лицейский товарищ С. С. Есаков и барон Моренгейм — «давнишний приятель» семьи Кюхельбекера, — с тем чтобы раздобыть у них деньги, необходимые для перехода границы (в показаниях на следствии Кюхельбекер из тактических соображений утверждал, что отправился в Варшаву, чтобы «прибегнуть к ходатайству и покровительству» цесаревича Константина).

19 января Кюхельбекер был задержан в Варшаве на улице унтер-офицером Григорьевым, узнавшим его по приметам, распубликованным ко всеобщему сведению (Кюхельбекер неосторожно расспрашивал прохожих о том, где стоит конная артиллерия, в частях которой служил С. С. Есаков).

Накануне, 18 января, в местечке Слоним был задержан Семен Балашов, который, после того как 14 января расстался с Кюхельбекером, пробирался в Закуп с подводой и двумя лошадьми. Фальшивый паспорт ему не помог, так как указанный в нем возраст отставного солдата Закревского (50 лет) очевидным образом не соответствовал наружности 22-летнего Балашова. Балашов был посажен в тюрьму в Гродно, затем переправлен в Варшаву, где подвергся допросам, а 24 января в кандалах был увезен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, где уже находился Кюхельбекер.

Каким-то образом Кюхельбекер узнал о судьбе Балашова (может быть, о поимке его сказали Кюхельбекеру во время допросов) и был этим глубоко взволнован.

---

[1] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 348.

[2] См.: Восстание декабристов. Материалы. Центрархив, т. II, М.—Л., 1926, стр. 175.

[3] Там же, стр. 150.

В начале февраля 1826 г. в одном из обращений к следствию он писал: «Много я говорил о себе, а забыл о верном слуге своем Семене Балашове, не бросившем меня в злополучии. — Il se trouve — à ce que j'ai entendu — retenu à Grodno: j'ose le recommander à la bonté et la grâce de son altesse impériale de grand duc Michel. . .».[1]

Когда Семен Балашов был выпущен из Петропавловской крепости и подвергся ли каким-либо мерам наказания — не выяснено. Из публикуемого письма Кюхельбекера к Н. Г. Глинке устанавливается, что он имел случай видеться с Балашовым в Динабурге, куда тот, очевидно, посылался из Закупа с письмами и посылками для узника. Кюхельбекер и в дальнейшем беспокоился о «своем бедном Семене». Как сообщает Ю. Н. Тынянов, «крепостные и сибирские письма Кюхельбекера пестрят вопросами и беспокойством об участи Семена. Судя по письмам, «Семен» потом опустился, пил».[2]

Второе письмо Кюхельбекера к Н. Г. Глинке также не датировано, но относится, вероятно, к 1828—1829 гг. Оно адресовано в Павловск, где проводила лето семья Глинок.

2. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Милая Наташинька.

Не могу не писать к тебе, когда пишу почти ко всем моим родным, тем более, что очень желаю знать кое-что о твоем здоровии, которое прошлого году не слишком было завидно. Ветреницы сестрицы твои об этом ничего не упоминают; но как и маминька ваша о нем умалчивает, то полагаю, что оно хорошо, ибо в противном случае Юстина Карловна [3] верно бы меня не оставила без известия о том, что возбуждает мое живейшее участие.—Следуй, друг мой, моему примеру: вот и я весь почти прошлый год хворал, а теперь, слава богу, так здоров, как давно не бывал. Павловская ферма у вас под рукою: навещай ее почаще, да пей побольше молока. Что касается до молока, я немного похож на почтенного доктора Санградо:[4] как он водою, так мне от всего хочется лечить молоком. Дело-то в том, что сам пью молоко, сколько могу, и уверяю себя, что это мне преполезно. Впрочем, может быть, я и не совсем не прав.

Но полно говорить вздор. — Главное: здорова ли ты? — Пожалуйста: уведомь меня об этом. Что твои зубы?

Есть ли, мой друг, какое-нибудь известие от наших любезных, отправившихся к водам? Прибыли ли они в Любек? — Впрочем, я только предполагаю, что они отправились; верно же этого ничуть не знаю. — В последний раз твоя маминька писала мне, что они должны были отправиться; но потом о них ни слова.[5] — В нынешнем письме она упоминает об Анне Андреевне [6] и говорит: Ich habe mich von ihr getrennt; [7] разве Анна Андреевна была не при месте, а жила у вас? — Прошлого году сестрица Улинька [8] мне писала, что она ей достала хорошее место с тысячью рублей жалованья. — Впрочем, хотя мне и очень жаль, что Анна Андреевна без места, по крайней мере радуюсь на счет матушки, что в бытность вашу в городе она жила с вами. Она женщина отлично умная и, если у нее и есть кое-какие небольшие слабости, без которых впрочем нет никого на свете, — достойна всякого уважения. Сверх того матушка

[1] «Он, поскольку я слышал, находится под арестом в Гродно; имею смелость его рекомендовать доброте и милости е. и. в. вел. кн. Михаила» (Восстание декабристов. Материалы, т. II, стр. 158).

[2] В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, стр. XLV.

[3] Глинка, старшая сестра Кюхельбекера.

[4] Персонаж романа Лесажа «Жиль-Блаз».

[5] О ком идет речь — не установлено.

[6] Сестра Г. А. Глинки, зятя Кюхельбекера.

[7] Я с ней рассталась.

[8] Младшая сестра Кюхельбекера, Юлия Карловна.

ее любит; а я не могу не любить тех, которые ей приятны. — Если, милая Наташинька, тебе вздумается ко мне писать, не забудь упомянуть о книгах, какие читаете. Особенно мне хотелось бы знать: нет ли какой-нибудь русской новинки? Без сомнения, любезная моя крестная сестрица Устинья Васильевна [1] или Юлия Гавриловна,[2] или кто-нибудь другой из ваших знакомых доставляет вам время от времени книги занимательные: мне бы приятно было по вашим отзывам узнать, что вам более нравится. — Из тех книг, о которых мне случалось упоминать в письмах своих, удалось ли вам прочесть что-нибудь? — Напр<имер>: Klein Zaches или das Majorat или Das Fräulein Scüdery?[3] — Прощай, любезная Наташинька; целую твои ручки!

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I. оп. 12, № 258.

Приведенные письма с достаточной отчетливостью свидетельствуют о нейтрально-семейном характере переписки Кюхельбекера с родными. Однако кое-что не дозволенное полицейским надзором все же порою просачивалось между строк. Так, например, сохранилось письмо к Кюхельбекеру младшей его сестры Юлии Карловны от 27 апреля 1829 г., адресованное в крепость Динабург на имя Аникия Осиповича Троцкого — «плац-майора и кавалера». Письмо написано в ответ на не известное нам письмо Кюхельбекера от 12 февраля, незначительно по содержанию, заполнено известиями о матери, о болезни племянника и разными другими семейными новостями. Но тут же вскользь сообщаются и гораздо более ценные и важные для Кюхельбекера сведения, а именно, что Е. Ф. Брейткопф (близкая приятельница Кюхельбекера и всей его семьи) переслала в Закуп письмо из Сибири, от кн. Е. И. Трубецкой (жены декабриста, последовавшей за ним в Сибирь), которая извещала, что брат Вильгельма Карловича — Михаил Карлович, находившийся в Нерчинских рудниках, — «здоров, получил письма и белье» и «с нетерпением ожидает весны, чтобы начать работать в их ‹Трубецких› огороде». Кюхельбекер был лишен права переписываться с братом и переживал это лишение с большой остротой. Даже такое беглое известие о нерчинском каторжанине, дошедшее через третьи руки, приобретало для него важное значение.

***

Следующие два письма Кюхельбекера адресованы к его старшей сестре — Ю. К. Глинке. Они отражают литературные интересы узника и содержат ценные сведения о его творческих занятиях, которые единственно доставляли ему «веселие и счастье» в крепостном каземате. Творческая деятельность Кюхельбекера в годы его заточения поражает своей интенсивностью и размахом: он не ограничивается сочинением лирических стихов, но обращается к эпическим и драматическим жанрам и к переводу крупных литературных произведений.

Первой большой литературной работой Кюхельбекера, выполненной в Динабургской крепости, был перевод трех первых актов шекспирова «Макбета». Перевести эту трагедию Кюхельбекер задумал еще в начале 20-х годов и предлагал В. А. Жуковскому сообща заняться этим делом. Жуковский отказался, предоставив Кюхельбекеру одному «приняться за этот подвиг» в уверенности, что «удача будет верная».[4] Осуществить свой давний замысел Кюхельбекеру удалось лишь в 1828 г. Перевод был доставлен Дельвигу, который начал хлопотать о его издании.[5] Следующими большими работами, начатыми в Динабурге, были перевод шекспирова «Ричарда II» и поэма «Давид», о которых речь идет в публикуемом ниже письме. По упоминанию об этих работах письмо датируется 1829 г.

---

[1] Зиновьева (ум. в 1897 г.), близкая знакомая Кюхельбекеров и Глинок.

[2] Лицо не установленное.

[3] «Крошка Цахес», «Майорат», «Мадемуазель Скюдери» — повести Э.-Т.-А. Гофмана, творчество которого Кюхельбекер ценил высоко.

[4] Русская старина, 1902, т. 110, стр. 178.

[5] В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, стр. XLIX. Копия перевода имелась в собрании Ю. Н. Тыняпова.

3. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Глинке

22 сентяб‹ря› ‹1829›.

Любезнейшая сестрица, Юстина Карловна.

Давно я к тебе не писал: виноват перед тобою. Но, полагая, что все мои письма к Улиньке писаны, как будто ко всем вам, надеюсь, что простишь меня. — Я это время был очень прилежен и следственно весел и счастлив, как всегда бываю, когда занят: самый отдых для меня теперь в наслаждение. В 5 недель я кончил Ричарда II; не помню еще, чтобы когда-нибудь с такою легкостию работал; сверх того это первое большое предприятие, мною совершенно конченное; итак оно снимает некоторым образом с меня упрек, что не умею кончить начатого. — Что из моего Давида будет? не знаю; но я намерен продолжать его. Выбраться бы мне только поскорее из седьмой книги, которая для меня поистине die böse Sieben! [1] — Ричард II переведен мною, сколько я мог, ближе к подлиннику: стих в стих. Кроме того все особенности, метафоры, иногда довольно странные сравнения Шекспира, я старался выразить или, по крайней мере, заменить равносильными: более свободы я себе позволял там, где этих оттенков моего автора нет. Тут держался я только смысла. — Где у него стихи рифмованные, и у меня такие же. Ты видишь из всего этого, что это труд не маловажный. У нас нет еще ни одной трагедии Шекспира, переведенной как должно. Король Лир, или, как он назван переводчиком, Леар, в прозе и, сдается, переделан Гнедичем. О Гамлетах Сумарокова и Корса́кова и говорить нечего.

Теперь читаю я книгу, которую ты должна мне дать слово, что купишь для дочерей своих. — Ее сулила мне добрая генеральша Криштафовичева; ее заглавие: Gesammelte Briefe von Julie,[2] без имени автора. Не знаю лучшей книги для молодых девушек в Наташиных летах, но и сама ты ее прочтешь с наслаждением. Слог прелестный, чистый, ясный и не без огня. Наставления почерпнуты из самой зрелой опытности и из глубины теплого, доброго сердца, что редко бывает соединено. — Полагаю, что это превосходное творение написано женщиною: вероятно, Каролиною Пихлер.[3] Непременно, друг мой, выпиши эту книгу. Одна подобная, особенно читанная при глазах матери, объясняемая тобою, лучше тысячи других. — Если бы я только был бы способен к тому роду, я бы ее переделал, приспособил несколько к нашему русскому домашнему быту: но лучше не браться за то, чего не исполнишь. — Я, слава богу, себя чувствую лучше: полагаю, что работа много способствовала к моему поправлению. — Целую мамины ручки: радуюсь от всей души, что получаете известия от брата. Бог даст, быть может, и он еще увидит матушку!

Обнимаю и целую тебя, Julie и детей.

Твой друг и брат
Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 261.

Перевод «Ричарда II» не был последней работой Кюхельбекера в области переложения на русский язык трагедий Шекспира. В дальнейшем он перевел также обе части «Генриха IV», «Ричарда III» и первое действие «Венецианского купца». Глубокий инте-

[1] Злющая женщина, фурия.

[2] «Собрание писем Юлии».

[3] Немецкая писательница (1769—1843), автор многочисленных моралистических произведений, пользовавшихся в свое время довольно широкой известностью.

рес Кюхельбекера к Шекспиру выразился в написании фундаментального сочинения «Подробный разбор исторических драм Шекспира», до сих пор остающегося не изданным (равно как и самые переводы трагедий).

Отрицательная оценка, которую дает Кюхельбекер в письме старым переводам из Шекспира, вполне справедлива. Работа Н. И. Гнедича (Леар. СПб., 1808) представляла собою не перевод с подлинника, а переделку, причем по французской перелицовке трагедии, выполненной посредственным литератором Дюсси в духе стиля и поэтики классицизма. «Гамлет» А. П. Сумарокова, появившийся еще в 1748 г., представляет собою весьма свободную вариацию на шекспировский сюжет; сам Сумароков подчеркивал: «Гамлет мой, кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на шекспирову трагедию едва-едва походит». Говоря о «Гамлете» Корсакова, Кюхельбекер ошибся — ему изменила память. Речь идет, конечно, о ремесленнической переделке «Гамлета» (по тому же Дюсси), сделанной С. П. Висковатовым (поставлена на сцене в 1810 г., издана в 1811 г. и переиздана в 1829 г.).

Поэма «Давид», о которой сообщает Кюхельбекер сестре, была закончена им вскоре — 13 декабря 1829 г. Это одно из самых значительных произведений Кюхельбекера, к сожалению, до сих пор не опубликовано целиком.[1] Замысел поэмы был подсказан Кюхельбекеру Грибоедовым. «Монументальная поэма (около 8000 строк) отразила сюжетные моменты, близкие автору по окраске (изгнание, смерть друга, плач Давида над Ионафаном, отражающий получение известия о смерти Грибоедова); поэма наполовину состоит из прямых лирических отступлений, естественно и составляющих главную ее основу. Поэма написана терцинами, отступления — разнообразными строфами (вплоть до сонета). Отступления — лирика заключенного; прямые обращения к друзьям — Пушкину, Грибоедову — касаются главной лирической и жизненной темы Кюхельбекера, культивировавшего лирику дружбы».[2]

Следующее письмо Кюхельбекера к Ю. К. Глинке относится к 1829 или 1830 г. Оно открывается стихотворением «Закупская часовня», написанным по просьбе Ю. К. Глинки («мой брат и друг, отец семьи мне драгоценной», упоминаемый в 5-й строфе, — это муж Ю. К. Глинки — профессор Григорий Андреевич Глинка, скончавшийся в 1818 г. и похороненный в Закупе). Кстати сказать, письмо позволяет установить дату этого стихотворения, в собрании сочинений Кюхельбекера безосновательно отнесенного к 1823 г.[3]

Дмитрий, Николай и Боринька, упомянутые в письме, — дети Ю. К. Глинки: Дмитрий Григорьевич (1808—1883) — дипломат и юрист; Николай Григорьевич (1810—1839) — офицер; Борис Григорьевич (1810—1895) — также офицер, впоследствии крупный военный деятель. Следует отметить не известный прежде факт: Д. Г. Глинке удалось снабдить Кюхельбекера предметами первой необходимости при отправке его из Петропавловской крепости в Шлиссельбург.

4. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Глинке

Закупская часовня

1

Кресты, часовня и холмы
Задумчивостью полнят взоры;
Но смежно с царством вечной тьмы
Владычество роскошной Флоры.

2

Священный сердцу уголок!
Там дышит все благоуханьем,
Там с розы сорванный листок
Кружится ветерка дыханьем.

---

[1] Отрывки помещены в издании «Лирика и поэмы», стр. 240—264.

[2] Ю. Н. Тынянов. В. К. Кюхельбекер (в издании «Лирика и поэмы», стр. LIV—LV).

[3] См. там же, стр. 68—69 и 458. — Сравнительно с опубликованным текстом стихотворение в помещенной ниже редакции содержит еще одну строфу (6-ю по счету) и некоторые варианты.

3

На легких носятся листках
Не души ли младенцев чистых?
Не их ли почивает прах
Под хладной тенью древ душистых?

4

Они! — Средь полночи немой,
Как бы зефирову шептанью,
Не эхо ль вторит над рекой
Их сладостному лепетанью?

5

Но там же спит мой брат и друг,
Отец семьи мне драгоценной:
Все тихо, все молчит вокруг, —
Он встал, незапно пробужденный. . .

6

На небо выплыла луна,
Померкло мирное селенье;
Но он воздвигся ото сна,
Он чадам шлет благословенье!

7

Услышь, о друг! мою мольбу:
В обители твоей спокойной,
Когда свершу мою судьбу,
Пусть отдохну от жизни знойной!

Любезный друг, Юстина Карловна.

Исполняя твое желание насчет стихов о твоей каплице, прошу тебя покорно извинить, что они не лучше: я долго откладывал; хотелось прислать нечто хорошее: не удалось; чем богат, тем и рад. — За твое любезное письмо покорнейше благодарю; только мне обидно, что ты можешь думать, будто бы известия о моих милых племянниках и племянницах могут быть мне скучны: они твои дети! Если бы только и это, было бы довольно; но вместе они таковы, каких мало. Все, что бы ты об них ни писала, будет для меня всегда и везде занимательно и дорого. Они родились, выросли, старшие возмужали в моих глазах: каждый день о них думаю; одно меня огорчает, что не могу ни в чем, ни в чем им быть полезным.

Очень меня радует, что Дмитрий и Николай учат своих сестер: это, быть может, полезнее для них самих, чем думают. Приноравливаясь к понятиям и способностям детей, они научатся выражаться проще, естественнее; постараются быть, сколько возможно, ясными. Если же к тому привыкнут, необходимо почувствуют и в будущем благое от того следствие. Кроме того, научатся терпению: а терпение не последняя добродетель. Моему любезному доброму Митиньке прошу от меня поклониться. Никогда не забуду, как он меня снабдил из последнего всем необходимым при отправке моей из С.-Петербурга. В моем белье по сю пору несколько его полотенцов: не могу смотреть без особенного чувства на D. G., намеченные на краях.

Надеюсь, что Боринька будет часто писать: прошу тебя сообщать мне его письма, хотя в выписках.

Вчера мне что-то было очень грустно: даже ваши письма меня печалили. Сегодня я здоров и весел и в полной мере чувствую счастие получать от вас известия. — Мне теперь и не так-то уже совестно перед несчастным братом моим: ведь и он не вовсе лишен этого наслаждения; хотя, правда, получает ваши письма и реже.

Теперь слово о моих занятиях: я учусь по-польски. Никогда не прощу себе, что, бывши в Италии, Персии и Финляндии, я не научился ни по-итальянски, ни по-персидски, ни по-шведски. По крайней мере теперь не упущу польского языка: поэты их Немцевич, Одынец, Мицкевич достойны всякого уважения. Последнего знаю по переводам: его Крымские сонеты дивно хороши, даже в наших нестихотворных переложениях: что же в подлиннике? Скажи от меня Николиньке, чтоб он не пренебрегал родными братьями русского языка — польским и малороссийским. Много слов, которых корни у нас потеряны, объясняются словами этих наречий. — Одынца я прочел одну балладу: Л у н а т и к, которая мне очень полюбилась; я ее, быть может, переведу. Выучиться же по-польски всякому русскому очень легко: главное — привыкнуть к их латинскому письму. — Слова не русские у них большею частию немецкие или латинские: стало, уже известные знающему эти два языка.

Я бы желал для Николиньки создать, выдумать как можно более занятий, чтоб он не скучал в деревне: скука — злейший враг пылких душ. Бо́льшую часть моих проступков я должен приписать скуке.

Прости, любезный друг Юстина Карловна! Я счастлив твоим счастием: молю бога, чтоб он продлил его, чтоб отвратил все беды, все скорби от милых тебе. Целую, обнимаю тебя!

Твой друг и брат

В. К.

Р. 123, оп. 1, № 461.

Значительный интерес представляет в этом письме упоминание Кюхельбекера о чтении им польских поэтов. Несколько позже, в письме к Пушкину от 20 октября 1830 г., он назвал те же три имени: «Усовершенствоваться бы только в польском: Мицкевича читаю довольно свободно, Одынца тоже; но Немцевич для меня трудненек».[1]

Немцевич (1758—1841), один из известнейших польских писателей — поэт, драматург, прозаик, историк, — был видным деятелем польского национально-освободительного движения, соратником Костюшки. Особенной популярностью в передовых кругах пользовались его «Исторические песни» (1816). Они были хорошо известны и в России, в кругу декабристов. Пропагандистом поэзии Немцевича выступал К. Ф. Рылеев, назвавший его в предисловии к «Думам» «одним из лучших поэтов Польши». Это предисловие открывалось цитатой из Немцевича: «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета». Это высказывание Немцевича осмыслялось Рылеевым в свете его революционных идей применительно к тем агитационно-пропагандистским целям, которые он преследовал в своих «Думах». Процитировав польского поэта, Рылеев продолжал: «Так говорит Немцевич о священной цели своих „Исторических песен“ (Spiewy Hystoryczne); эту самую цель имел и я, сочиняя „Думы“».[2] С 1822 г. Рылеев находился в переписке с Немцевичем. В одном из писем он писал ему: «. . . вы во все продолжение жизни своей, как Тиртей, высокими песнями возбуждали в сердцах сограждан любовь к оте-

[1] П у ш к и н, Переписка, т. II, стр. 181.

[2] К. Ф. Р ы л е е в, Полное собрание сочинений, под ред. А. Г. Цейтлина. М.—Л., 1934, стр. 120.

честву, усердие к общественному благу, ревность к чести народной и другие благородные чувства».[1] Естественно, что и Кюхельбекер воспринимал поэзию Немцевича в таком же свете, а воспоминания о Рылееве должны были еще больше усилить его интерес к польскому поэту.

Одынец (1804—1885) — польский поэт и драматург, близкий друг Мицкевича; перевел ли Кюхельбекер его балладу «Лунатик» — неизвестно.

Адам Мицкевич (1798—1855) в 1824 г. был выслан в Россию за участие в студенческой организации филоматов и филаретов; в Петербурге он сблизился с К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым (Кюхельбекер в это время был в Москве, а когда вернулся в Петербург, уже не застал Мицкевича, в январе 1825 г. уехавшего в Одессу). Кюхельбекер упоминает о «Крымских сонетах» Мицкевича (1826), переведенных на русский язык (прозой) П. А. Вяземским.[2] Стихотворные переложения «Крымских сонетов», выполненные Ю. Познанским (Московский вестник, 1828), И. Козловым (журналы и альманахи 1828 г.), А. Илличевским (Северные цветы, 1828), В. Щастным (Альбом северных муз, 1828), и отдельные издания «Крымских сонетов» в переводах И. Козлова (1829) и В. Любича-Романовича (1829) — Кюхельбекеру еще не были известны.

Вопрос о занятиях Кюхельбекера польским языком и о чтении им польских поэтов приобретает особое значение, потому что, как явствует это из следующего публикуемого нами письма, у него нашлись в Динабурге собеседники, которые помогали ему в этих занятиях и знакомили его с новинками польской литературы.

* * *

С трудом полученное право переписываться только с ближайшими родственниками не удовлетворяло Кюхельбекера, и он предпринимал попытки разными путями завязать сношения с литературными друзьями. С одной стороны, он делал это при посредстве тех же родственников, передавая им разного рода поручения к Пушкину и Дельвигу. С другой стороны, он пытался наладить с друзьями и непосредственную связь, действуя нелегально. В частности, из цитированного выше письма Кюхельбекера к Пушкину и Грибоедову выясняется, что он писал также к С. Н. Бегичеву (общему приятелю его и Грибоедова) и даже переслал ему какие-то свои литературные произведения.

Одна из попыток Кюхельбекера нелегальным путем установить связь с внешним миром имела весьма серьезные последствия.

Соседом Кюхельбекера по камере в Динабургской цитадели оказался кн. С. С. Оболенский — отставной гусарский штабс-ротмистр, посаженный в крепость за вольное поведение и за «грубое и дерзкое» обращение к начальству. В апреле 1828 г. он был отправлен — в порядке репрессии — рядовым на Кавказ. По дороге Оболенский наскандалил (повздорил с сопровождавшим его урядником и даже нанес ему ранение) и был обыскан. При обыске у него нашли несколько шифрованных записок и следующее письмо, адресованное к неизвестному лицу:

«Я долго колебался, писать ли к тебе. Но, может быть, в жизни мне не представится уже другой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя попрежнему: и не ты ли был лучшим моим другом? Хочу верить в человечество, не сомневаюсь, что ты — ты, тот же, что мое письмо будет тебе приятно: ответа не требую — к чему? Прошу тебя, мой друг, быть, если можешь, полезным вручителю: он был верным, добрым товарищем твоего В. . . в продолжении шести почти месяцев; он утешал меня, когда мне нужно было утешение; он тебя уведомит, где я и в каких обстоятельствах. Прости! До свидания в том мире, в который первый вновь заставил меня верить. В. К.»

Следствие без труда установило, что автором письма был Кюхельбекер. Начальство всполошилось, дело дошло до царя. Николай приказал: «Иметь за Оболенским строжайший присмотр и допросить Кюхельбекера». Допрошенный Кюхельбекер показал, что письмо писано к Грибоедову. На докладе об этом Бенкендорфа Николай 13 февраля 1829 г. наложил резолюцию: «Поставить на вид динабургскому коменданту, что не должно было ему давать писать». А насчет С. С. Оболенского 28 апреля 1830 г. был вынесен приговор военного суда: «Лишив дворянства и княжеского достоинства, также воинского звания, как вредного для службы и нетерпимого в обществе, — сослать в Сибирь на поселение».[3]

---

[1] К. Ф. Рылеев, Полное собрание сочинений, под ред. А. Г. Цейтлина, М.—Л., 1934, стр. 468.

[2] Переводы П. А. Вяземского в сопровождении его статьи о Мицкевиче были напечатаны в «Московском телеграфе» (1827, № 4).

[3] См.: А. Безродный. В. К. Кюхельбекер и А. С. Грибоедов. Из дела Главного военного суда 1829, № 14 (Исторический вестник, 1902, № 5, стр. 596 и сл.).— Письмо Кюхельбекера к А. С. Грибоедову сохранилось в деле. Следы С. С. Оболенского в дальнейшем теряются.

После резолюции Николая I, в феврале 1829 г., предоставленное Кюхельбекеру право переписываться с родными было отменено. Однако 5 августа того же 1829 г. ему снова разрешили время от времени писать матери; постепенно он вернул себе право писать и другим родственникам — сестрам, племянницам и племянникам, и даже приятельницам — Э. Ф. и Н. Ф. Брейткопф (выдавая их за родственниц). Вместе с тем, невзирая на печальные последствия, которые повлекла за собой передача письма С. С. Оболенскому, Кюхельбекер продолжал тайно переписываться с друзьями. В этом ему помогали некоторые лица, проживавшие в Динабурге и каким-то образом имевшие возможность общаться с узником.

Так, например, письмо свое к Пушкину от 20 октября 1830 г. Кюхельбекер заключил следующими словами: «Не рекомендую тебе подателя этого письма, уверенный, что ты его полюбишь и за дружбу, которую он мне оказал, будучи в Динабурге>. . .». Кто именно был подателем письма — в точности не известно; но в том же письме, сообщая о своих литературных занятиях, Кюхельбекер писал: «У меня здесь нет судей: Манасеин уехал, да и судить-то ему не под стать. Шишков мог бы, да также уехал, а в бытность свою здесь слишком был измучен всем тем, что деялось с ним. — Напиши, говорю, разумеется не по почте, а отдашь моим, авось они через год, через два или десять найдут случай мне переслать».[1] В другом нелегально отправленном письме — к А. А. Дельвигу от 18 ноября 1830 г., — пересылая ему рукопись первой части своей драматической поэмы «Нжорский», Кюхельбекер также писал: «Если можешь, напиши мне на имя Манасеина,. . . но не поминай ни имени, ни фамилии моей. Податель мне письмо доставит не скоро, зато верно». Тут же Кюхельбекер просил Дельвига в случае, если «Нжорский» будет издан (под псевдонимом), пять экземпляров книги раздать петербургским друзьям, а двадцать — переслать в Динабург, также «через подателя сего».[2]

Таким образом, выясняется, что к нелегальной переписке, которую вел из Динабургской крепости Кюхельбекер, ближайшее отношение имел Манасеин и, может быть, Шишков. Что это за лица?

Первый из них — это Петр Манасеин, мелкий поэт-переводчик (сотрудничал в «Сыне отечества» и позже — в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду»). В это время он жил в Динабурге и каким-то образом общался с Кюхельбекером. Впоследствии, уже в Свеаборгской крепости, 29 июня 1833 г. Кюхельбекер сочувственно вспомнил о П. П. Манасеине в дневнике, в числе своих «любезных именинников».[3]

Шишков — это известный своей драматической судьбой Александр Ардальонович Шишков 2-й (1799—1832), офицер и вольнодумный поэт, тесно связанный с декабристской средой, старинный приятель Кюхельбекера и Пушкина еще с лицейских времен. В 1822 г. Кюхельбекер встречался с Шишковым в Грузии, куда тот был удален в 1818 г. за какую-то «провинность», носившую, очевидно, политический характер. В новейшей работе об А. А. Шишкове, основанной на архивных материалах, сообщается, что в бумагах Шишкова после ареста его в 1827 г. были обнаружены два письма Кюхельбекера (одно из них было адресовано Пушкину), которые «подтверждают дружбу Шишкова с Кюхельбекером, а также свидетельствуют о том, что он был посредником в связях Пушкина и Кюхельбекера в бытность первого в ссылке на юге. В объяснениях по поводу этих писем Шишков писал, что встречался с Кюхельбекером в 1817 г. в Царском Селе и в 1825 <следует: 1822 — *В. О.*> в Тифлисе».[4]

А. А. Шишков жил трудно, часто подвергаясь правительственным репрессиям, а в промежутках находясь под бдительным полицейским надзором как человек с прочно установившейся репутацией вольнодумца. В 1826 г. он был арестован по подозрению в принадлежности к тайному обществу, но вскоре выпущен за недостатком улик. Осенью 1827 г. Шишкова снова арестовали в связи с распространением его «возмутительных стихов». Мерой наказания, на сей раз определенной Шишкову, было назначение в пехотный полк с оставлением под надзором. 7 сентября 1827 г. он был доставлен в Динабург, в распоряжение уже упомянутого генерала Егора Криштофовича.[5] Примерно через полтора месяца в Динабург был доставлен и Кюхельбекер. Шишков находился в Динабурге не в качестве арестанта, но служил в крепостном гарнизоне,

---

[1] Пушкин, Переписка, т. II, стр. 181—182 (в подлиннике — по-французски) и 180—181.

[2] Русский архив, 1881, I, стр. 140—141.

[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, Л., 1929, стр. 113.

[4] М. Н. Мальцев. А. А. Шишков и А. С. Пушкин. Ученые записки Саратовского Государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, т. XX. Выпуск филологический, 1948, стр. 111. — Письма Кюхельбекера к А. А. Шишкову и сохранившееся в бумагах последнего письмо Кюхельбекера к Пушкину в печати не появлялись.

[5] Там же, стр. 113.

оставаясь поднадзорным. Очевидно, при содействии Криштофовича он получил возможность повседневно общаться с Кюхельбекером.

Общение это продолжалось, вероятно, два года с лишним. Судьба продолжала преследовать Шишкова и в Динабурге. Именно об этих преследованиях писал Кюхельбекер Пушкину, упоминая о том, что Шишков был «измучен всем тем, что деялось с ним». В феврале 1829 г. Шишков был предан военному суду «за нетрезвое поведение и произведенную ссору с отставным офицером», по окончании суда возвращен в гарнизон «до воспоследования конфирмации», а 7 января 1830 г. высочайшим приказом был уволен от службы «за неприличные званию офицерскому поступки».[1] После увольнения Шишков был поселен в Твери под строгим надзором и без права въезда в столицы. Здесь 27 сентября 1832 г. он погиб при довольно темных обстоятельствах (был зарезан в ссоре).

Новые материалы позволяют расширить круг лиц, которые служили посредниками в сношениях Кюхельбекера с его петербургскими друзьями.

До нас дошло письмо некоего Ф. Э. Скржадлевского, адресованное Кюхельбекеру в крепость (из Риги). В письме упоминается, кроме П. П. Манасеина и А. А. Шишкова, еще несколько человек (Николаев, Тихонов, Рыпинский), которые, как и сам Ф. Э. Скржадлевский, общались с Кюхельбекером в Динабурге, относились к нему в высшей степени дружески, были в курсе его литературных дел и хорошо знали его произведения. Кто эти люди — установить трудно, но можно предположить, что все они были офицерами Динабургского гарнизона. Скржадлевский и Рыпинский — поляки; главная тема в письме Скржадлевского — польская поэзия. Отсюда ясным становится, что именно они сыграли существенную роль в занятиях Кюхельбекера польским языком и в ознакомлении его с творчеством польских поэтов.

Вот это интересное письмо. Оно датируется (по содержанию) августом 1830 г.

5. Ф. Э. Скржадлевский — В. К. Кюхельбекеру

Дражайший Вильгельм.

И совестно и грустно мне, что я доселе к Вам не писал, но не имел случая, уже хотел с Николаевым писать. Но к счастью Тихонов пришел ко мне в полатку. — Однако ж я Вас всякой почти день напоминаю с милым А. А. Бернгофом, стар‹шим› учителем русской словесности в Рижской гимназии. Дельвиг ему читал 17 июля сего года Ижорского, и он не опомнится поныне с восхищения и уверяет, что Вы только можете разделять славу с Мицкевичем! — А если бы он прочел Давида? — Слыхал он от меня про него, но я не в состоянии описать подробностей пиитических. — Ни даже самого сюжета. — А. Пушкин женится на Гончаровой и, увидев Бернгофа, сказал:

Я очарован,
Ог‹о›чарован.

А в альбоме Шимановской написал:

Одна любовь заменяет музыку,
Но и любовь мелодия.

П. П. Манасе‹и›на перевод Фариса ближе всех. Щастного теперь читаю в Подснежнике: где вот 3 сцены Ижор‹ского›, — только мне кажется что-то пропущено, и‹а›п‹ример›:

Домовые
. . . . . .
Звон услышали — слетелись.

И все об домовых.
Вот начало хорошее:

[1] Алфавит декабристов, стр. 425. — Дата предания А. А. Шишкова суду, указанная в работе М. Н. Мальцева (стр. 113), — 24 января 1828 г. — не верна.

Фарис

Кассида (в честь эмира Таджу'л Фехер)

Под сим именем известен в Аравии граф Вацлав Ржевуский. Тадж'ул' Фехер значит по-арабски — Венец славы.

Как радостно освобожденный челн,
Красуясь, лебедем по влаге реет ясной,
И веслами ее объемлет сладострастно
И выею возносится средь волн. . .
и проч.

Ветер — также напечатан в Подснеж‹нике›.[1]

Воображаю, сколько там прибыло у Вас новых прелестей.

Посылаю кой-что новое Мицкевича Рылинскому, пусть он с Вами их прочтет. Между прочим в альбоме М. Шимановской мне очень нравится также экспромпт А. Ходзки [2] к А. Мицке‹вичу› — очень мил, даже хорош. Продолжение баллады Паши Твардовская [3] преоригинальное в своем роде. — Скучаю среди чухонщины. Одни только родные, которых я нашел здесь, меня несколько привязуют к Риге, а впрочем чорт ее возьми.

Скоро увидимся. Ваш душою
Скржадлевский.

Извините такое писание глупое.

Беренгоф приехал с Петербурга 2-го августа, потому-то я вам и сообщаю сии известия, может они еще новы будут в Динабурге.

Сейчас мне на гаубвахту прислал мой доброй Беренгоф 7-ю часть Онегина — у вас уж верно есть она.[4] Уведомьте меня при случае что-нибудь насчет Шишкова, где он и жив ли?

Мне немного совестно посылать к Вам такое письмо, но Вы знаете, что я беспорядочной человек и еще не исправился.

Друг и слуга
Ф. Э. Скржадлевский.

Р. I, оп. 12, № 268.

Кюхельбекер послал А. А. Дельвигу первую часть своего «Ижорского» только 18 ноября 1830 г.,[5] но уже до этого в руках Дельвига находились отрывки из этой драматической поэмы. Очевидно, эти отрывки и читал Дельвиг рижскому учителю А. А. Берингофу. Еще до того Дельвиг анонимно опубликовал три сцены из «Ижорского» в составленном им (совместно с Е. Аладьиным) альманахе «Подснежник» на 1829 г. (стр. 90—113).[6] Об этой публикации Ф. Э. Скржадлевский также упоминает в своем письме.

---

[1] «Ветер» — стихотворение Кюхельбекера, анонимно напечатанное Дельвигом в альманахе «Подснежник» на 1829 г. (стр. 227—229), вместе с «19 октября 1828 года» и «Любовью узника». В «Лирике и поэмах» это стихотворение неправильно отнесено к «первой половине 1830 гг.» и помещено как печатаемое впервые. Кроме того, Дельвиг в том же 1829 г. напечатал еще три стихотворения Кюхельбекера («Ночь», «Луна» и «Смерть») в альманахе «Северные цветы» (за подписью: К.).

[2] Ходзка — Александр Ходзько-Борсйко (1804—1891) — польский поэт, друг А. Мицкевича; собрание его стихотворений было издано в Петербурге в 1828 г. («Poézye Alex. Chodzki»).

[3] «Паши Твардовская» — баллада А. Мицкевича; письмо Ф. Э. Скржадлевского позволяет установить верную дату этого произведения. В последнем русском издании «Собрания сочинений» А. Мицкевича (т. I, М., 1948, стр. 293) эта баллада условно отнесена к 1821 г.

[4] Седьмая часть «Евгения Онегина» вышла в свет в январе 1830 г.

[5] См.: Русский архив, 1881, I, стр. 146.

[6] Еще раньше — в «Сыне отечества» (1827 г., № 1, стр. 91—102) был напечатан «Отрывок из драматической поэмы „Ижорский“» (1-е явление 1 действия), с подзаголовком: «Сообщено от неизвестного».

Слух о женитьбе А. С. Пушкина на Н. Н. Гончаровой распространился в обществе в связи с его помолвкой, имевшей место 6 мая 1830 г. Через три с лишним месяца — 28 августа — Пушкин вернул Н. Н. Гончаровой ее слово. Кюхельбекер об этом не знал, когда писал Пушкину 20 октября 1830 г., основываясь, очевидно, на известии, сообщенном Ф. Э. Скржадлевским: «Я слышал, друг, что ты женишься: правда ли? . .».[1] Свадьба Пушкина с Н. Н. Гончаровой несколько раз откладывалась и состоялась только 18 февраля 1831 г.

Экспромт, якобы сказанный Пушкиным по поводу его женитьбы на Н. Н. Гончаровой, известен в передаче современников Пушкина в разных редакциях. Наиболее раннее упоминание об экспромте — в письме Е. Н. Ушаковой от 28 апреля 1830 г., где он приписан брату Пушкина — Льву Сергеевичу, и звучит так:

Он прикован,
Очарован,
Он совсем огончарован.[2]

В печати экспромт появился впервые в воспоминаниях А. Н. Муравьева (Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, стр. 11) в такой редакции: «Я влюблен, я очарован, словом, я огончарован».

Запись Пушкина в альбом известной польской пианистки Марии Шимановской (1790—1833) датируется 1 марта 1828 г. Ф. Э. Скржадлевский цитирует эту запись напамять, не точно. Подлинный текст следующий:

. . . Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия. . .[3]

Эти стихи потом вошли в текст «Каменного гостя». Альбом М. Шимановской был заполнен автографами знаменитых литературных и музыкальных деятелей. П. А. Вяземский посвятил этому альбому специальную статью.[4]

«Фарис» — широко известная баллада А. Мицкевича (1828). Граф Ваплав Ржевуский (1765—1831), известный под именем эмира Тадж-уль-Фахра, — исследователь малоазиатской старины и собиратель восточных рукописей, знаток языка и обычаев арабских племен, среди которых он долго жил. Его романтические приключения в Аравии были описаны им самим и послужили темой для многих польских поэтов. «Фарис» Мицкевича одновременно появился в двух русских переводах: В. Н. Щастного (альманах «Подснежник» на 1829 г.) [5] и динабургского знакомца Кюхельбекера — П. П. Манасеина (Сын отечества, 1829, ч. I, стр. 290—298; ч. VI, стр. 241—247; перевод датирован: «Мая 30 дня. К‹репость› Динабург»). В 1834 г., читая «Сын отечества» за прошлые годы, Кюхельбекер записал в дневнике: «В „Фарисе“, переведенном Манасеиным, несколько очевидных опечаток: такое небрежение к труду молодого поэта, сверх того — поэта с дарованием, со стороны гг. издателей „Сына Отечества“ истинно непростительно».[6]

* * *

Весной 1831 г. в жизни Кюхельбекера произошли серьезные перемены. В связи с польским восстанием было решено перевезти его из Динабурга в Ревель. 10 апреля «высочайшее повеление» об этом было передано дежурным генералом Главного штаба динабургскому коменданту. Кюхельбекер в это время хворал, лежал в крепостной больнице. Несмотря на болезненное состояние, 15 апреля его вывезли из Динабурга «под строжайшим присмотром» и через Ригу доставили в Ревель, где посадили в Вышгородский замок (19 апреля). Здесь 25 апреля Кюхельбекер начал вести свой «Дневник узника» (сохранились записи лишь с 10 декабря 1831 г.).

Перевод в Ревель сильно ухудшил положение Кюхельбекера: он лишился всех льгот, которыми пользовался в Динабурге благодаря заступничеству генерала

---

[1] Пушкин, Переписка, т. II, стр. 180.

[2] См.: Н. Л. Бродский. А. С. Пушкин. Биография, М., 1937, стр. 565.

[3] См. репродукцию пушкинского автографа в статье П. Д. Эттингера «Пушкин и Мария Шимановская» (Красная нива, 1929, № 24, стр. 12).

[4] Об альбоме г-жи Шимановской. Московский телеграф, 1827, № 18 [перепечатано в «Полном собрании сочинений кн. П. А. Вяземского» (т. II, СПб., 1879, стр. 59—66)].

[5] В. Н. Щастный в примечании к своему переводу указал: «Стихотворение сие, недавно написанное г. Мицкевичем, до напечатания на польском языке переведено по желанию почтенного автора с его рукописи».

[6] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 159.

Е. Криштофовича, лишился общения с теми немногими людьми, с которыми ему удавалось встречаться. Сразу же по переводе Кюхельбекера в Ревель перед тамошним начальством возник вопрос: как содержать его — в отдельной камере или вместе с другими «государственными преступниками», употреблять ли в работу, облечь ли его в арестантскую одежду и брить ли ему голову? Кюхельбекер настаивал на содержании в отдельной камере, на освобождении от работ, на партикулярном платье, на праве читать, писать и переписываться с родными, а также — кормиться на собственные деньги, ссылаясь на то, что все это дозволялось ему в Динабурге. Так как никаких ясных указаний на сей счет ревельскому начальству сделано не было, оно запросило высшие инстанции в Петербурге. Там, в свою очередь, засуетились и стали выяснять, на каком основании Кюхельбекеру был смягчен в Динабурге арестантский режим. В результате длительной ведомственной переписки выяснилось, что это было сделано с разрешения царя. Только 8 июня 1831 г. дежурный генерал Главного штаба сообщил генералу Опперману, в ведении которого находились все русские крепости, что Николай I приказал Кюхельбекера и на новом месте «держать как в Динабурге».[1]

Между тем, еще 25 апреля 1831 г. Николай I распорядился перевести Кюхельбекера в Свеаборгскую крепость (в Финляндии). Дело затянулось, так как переправить Кюхельбекера было приказано морем, на попутном судне. Только 7 октября он был вывезен на корабле «Юнона» и 14 октября доставлен в Свеаборг, где содержался в течение трех с лишним лет — до 14 декабря 1835 г.[2]

В Ревеле Кюхельбекер, очевидно, был лишен возможности продолжать переписку с родными и вернул себе это право только в Свеаборге. Во всяком случае, до нас не дошло писем его за 1831 г. Все публикуемые нами ниже письма крепостного периода написаны уже из Свеаборга.

Самое раннее из них — письмо к Н. Г. Глинке — относится либо к концу 1831, либо к началу 1832 г. Устанавливается это на основании упоминания о племяннике Дмитрии, отправившемся в Копенгаген: Д. Г. Глинка служил в русском посольстве в Копенгагене с 1831 по 1837 г. Кюхельбекер переписывался с ним и в феврале 1833 г. послал ему свое стихотворное переложение одной из притч св. Дмитрия Ростовского в сопровождении посвящения, в котором дана превосходная поэтическая характеристика древней Дании как земли викингов и скальдов:

Ты далеко от нас: в стране чужой,
Ты там, где в старину король морской,
Бывало, спустит в пенистые волны
Коней пучины — дерзостные челны,
И отплывет с дружиной удалой
В седую даль, на славу и разбой!

Ты там, где голос скальдов вдохновенных
И вещий строй полночных арф гремел,
И юный витязь трепетал, кипел
От пламенных стихов певцов священных
И в дождь бросался кровожадных стрел

В отчизне ты и песней и отваги,
В земле Одена, Бальдера и Браги,
В земле, которой чародейный дух
Великого очаровал поэта,
И он склонил к ее преданьям слух,
И завещал бессмертию Гамлета.[3]

Николинька, упоминаемый в письме, — Ник. Григ. Глинка, в 1831 г. принимавший участие в польской кампании.

6. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Любезная Наташа.

Если получишь самое бестолковое письмо, пеняй не на меня, а на мои зубы: болят, — хоть бы кричать. Ты сама знаешь, каково это. — За письмо твое целую тебя. Теперь станем говорить о бабушке: поцелуй

[1] Ведомственная переписка по этому поводу хранится в архиве Института русской литературы Академии Наук СССР.

[2] Документы о переводе Кюхельбекера в Свеаборг хранятся там же.

[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 94—95.

у нее от меня ручки, скажи ей, что я, слава богу, здоров и, как сама видишь из писем моих, — доволен и весел.

Получаю от вас известия: чего ж мне более?

Долго ли вы еще останетесь в колонии? Извести меня, когда переберетесь и куда? Будешь писать к Дмитрию, скажи ему, чтоб описал тебе Копенгаген, сравнил с Петербургом etc. Спроси, как ему понравился датский язык и схож ли с немецким? Море? Не укачало ли? — Все это очень любопытно и нужно знать. Первые впечатления самые резкие и по ним много можно узнать и о многом догадаться. — Извини мое маранье; взял для тебя большой лист, вдвое больше тех, на чем писал к твоим сестрам, — отложил письмо к тебе напоследки, потому что хотел разговориться; — но мочи моей нет, — так и запевают зубы, а музыка их пренесносная, — брата твоего Николиньки ядра поют веселее, по крайней мере басом, а это пренегодный сопрано. Прощай!

Твой друг
В. К.

Р. I, оп. 12, № 258.

Следующее письмо Кюхельбекера (к сестре Юлии Карловне), посвященное лирическому воспоминанию о Закупе, относится к весне 1833 г. (перед пасхой).

7. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Кюхельбекер

Милая Julie.

Только несколько слов. Я, слава богу, здоров и прошу господа, чтоб он послал и тебе здоровие и утешение в твоей утрате.[1] — Писавши к матушке, к Юстине Карловне, к брату, не могу не присовокупить несколько строчек и к тебе, хотя по моим каракулам ты и должна видеть, что я крепко устал. — Считаю большим счастием, что иногда могу писать ко всем вам вместе: мне тогда кажется, будто бы я с вами опять свиделся, будто бы говорю то с матушкою, то с тобою, то с сестрицею, то с братом, вижу, как вы меня слушаете, слышу голос ваш, ваши ответы. Когда пишу к матушке, я всегда думаю об остальных трех моих милых; я словно тогда в Закупе за чайным столиком — кажется только что приехал к вам из Москвы или Грузии; рассказываю что-то матушке, а между тем ты сидишь возле меня и держишь меня за руку, как бывало, — Юстина же Карловна, разливая чай, смотрит на меня, — а брат вмешивает в рассказ мой свои оригинальные замечания. Не считая детских лет и первой молодости, это счастие вполне было мне только раз в жизни; только раз в жизни я был со всеми вами вместе и — это непосредственно перед разлукою со всеми вами. Но жить будет это время для меня, жить в бессмертном воспоминании;—и оно, так сказать, воскресает, когда пишу ко всем вам.

Близок день пасхи: помнишь ли, друг, как проводили мы с тобою страстную неделю? — Помнишь ли, что мы тогда читали? — страсти

[1] Речь идет о смерти кн. Варвары Сергеевны Долгоруковой (род. в 1793 г., ум. 31 января 1833 г.), в доме которой жила Ю. К. Кюхельбекер в качестве воспитательницы ее детей. Кюхельбекер записал в дневнике, что В. С. Долгорукову он «мало знал, но почитал и любил, раз потому, что она того стоила, а во-вторых, что она была искренним другом сестры моей Юлии» (Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 164). На смерть В. С. Долгоруковой Кюхельбекер в феврале 1834 г. написал стихотворение, посвященное Юлии Карловне (Лирика и поэмы, стр. 152—154). В. С. Долгорукова была известна своей благотворительной деятельностью (См.: А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882, стр. 59—60).

спаспителевы я тогда читал с тобою, чтоб оживить для себя время, которое уже тогда было для меня минувшим, время, когда мне мой незабвенный [1] читал сии же страсти и заливался слезами; а я смотрел на него с чувством вместе и зависти и благоговения. И ныне, когда читаю те евангелия, воспоминаю его, но вместе и тебя, которая мне его замешила.[2] Обнимаю и целую тебя.

Твой друг и брат
В. К.

Р. I, оп. 12, № 262.

Следующее письмо Кюхельбекера — к племянницам А. Г. и Ю. Г. Глинкам — отразило те религиозно-моралистические настроения, которые с годами все более овладевали им в условиях крепостного заключения. В Свеаборге Кюхельбекер лишился даже тех ограниченных возможностей общения со свободными людьми, которые были у него в динабургские годы. Здесь допускались только свидания заключенного с пастором, который снабжал его сочинениями немецких проповедников.[3] Биограф Кюхельбекера пишет: «Нельзя сказать, чтобы эти посещения и эта плоская литература не оставили никакого следа в занятиях и настроениях заключенного, временами испытывавшего упадок сил. Любимым занятием, — повидимому, необходимым в качестве поддерживающего его силы режима, — были регулярное чтение и писание. Кюхельбекер занимался и переписыванием всего, чего угодно, в том числе и проповедей. Так возникли и стихотворные переложения духовных мотивов, представляющие наиболее слабую часть его наследия».[4]

8. В. К. Кюхельбекер — А. Г. и Ю. Г. Глинкам

29 янв‹аря› 1834.

Милые Сашинька и Тишинька.

Вчера не полагал я, что успею к вам писать; я думал, что письмо мое к брату [5] будет подлиннее, чем вышло на самом деле, — а писать к нему я поставил себе в обязанность каждый месяц. — Благодарю вас, мои милые, добрые, за ваш подарок! Что живо чувствую всю цену его, — вы могли видеть из письма моего к Наташе. Но искренно признаюсь, что вы привели меня несколько в затруднительное положение: не знаю,

---

[1] А. С. Грибоедов.

[2] К сестре своей Юлии Карловне Кюхельбекер относился с чувством глубокой любви, постоянно отмечая ее высокие нравственные достоинства. В стихотворении «Закуп» (1823) он посвятил ей следующие строки:

В образе доброй сестры мне посланный ангел-хранитель,
Или забуду тебя, Юлия, сладостный друг?
В скорбях не ты ль утешаешь меня; мои бури смиряешь?
Я ж, безрассудный, не раз жестокою платой тебе —
Словом суровым платил: угрюм, из очей твоих светлых
Плач выжимал и терзал нежную душу не раз!

[3] «Примечательный день: был у меня в первый раз молодой пастор, имя ему Савенпус. Получил я от него Рейнгардовы проповеди», — записал Кюхельбекер в дневнике 6 марта 1833 г. (Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 97).

[4] Ю. Н. Тынянов. В. К. Кюхельбекер (Лирика и поэмы, стр. XLVII).

[5] Право переписываться с братом Михаилом Карловичем, находившимся на каторге, Кюхельбекер получил в конце 1831 г. «Сегодняшнее число я должен считать одним из счастливейших дней моей жизни, — записал он в дневнике 15 июня 1832 г., — я получил шесть писем от родных и, в числе их, ответ брата на письмо, которое я к нему писал прошлого года в декабре месяце. Получив первое письмо от него, я еще сомневался: позволят ли быть между нами настоящей переписке; теперь вижу, что могу пользоваться этим благодеянием» (Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 59—60). Из переписки братьев сохранились письма М. К. Кюхельбекера к Вильгельму Карловичу за 1840—1845 гг. (Архив Института русской литературы Академии Наук СССР).

что бы такое сделать, чтоб принесло вам хоть десятую долю того удовольствия, которое вы мне доставили своими рисунками. — Не говорю уже о настоящем своем положении; нет, если бы я был и на свободе и в столице, я все-таки не знал и не ведал бы, как изъявить вам свою признательность. — Впрочем быть у вас в долгу мне вовсе не тягостно; напротив, — даже приятно. У меня странные причуды: одна из них та, что считаю знаком уважения, когда соглашаюсь кем-нибудь одолжаться. Впрочем и это относится более к чужим, нежели к вам. Счесться с вами всеми одолжениями, какие вы мне оказывали и оказываете, было бы делом довольно трудным и бесполезным. Главное и важнейшее для меня то, что вы любите, бережете, уважаете мою родимую. Малейшая ласка, какую вы ей окажете, для меня дар неоцененный. — Вчера я прочел превосходную проповедь Диттера, при которой я живо вспомнил свою старушку. Эта проповедь 7-ая в 8-ом томе Bibliothek der deutsch‹en› Kanzelberedsamkeit.[1] (Эта отметка не для одних вас, но и для маминьки и бабушки вашей, если им случится взять у кого-нибудь сию книгу для прочтения).[2]

Перед тем в начале проповеди Диттер говорит о других причинах, по которым с стариками должно обращаться гораздо бережнее, нежели с людьми в цветущей силе.[3]

Как справедливы последние слова, я живо чувствую, хотя и не стар; положение мое несколько похоже на беззащитную старость. Надеюсь, мои милые корреспондентки, что нынешняя выписка, хотя несколько и в важном роде, вам будет приятна. Мне же нужно было поделиться с кем-нибудь наслаждением, какое принесла мне эта истинно превосходная проповедь. — Не считаю нужным напомнить вам, чтоб вы этого письма не читали бабушке: у ней, конечно, душа высокая, мощная, юная даже на 77-ом году; но все, мне по кр‹айней› мере так кажется, с н а ш е й стороны, как-то было неприличным рассуждать вслух при ней о том, что она может же приноровить к себе; хотя точно едва ли позволительно ее сравнивать с обыкновенными стариками и старушками. Сверх того, чтоб в ы берегли ее, о том и помнить не должно и не нужно. Однако я нынешний пакет надписываю на имя Николая: это как-то лучше. — Целую ваши ручки, ручки вашей маминьки и Наташи. Поклон мой бабушке пусть исправит Николай.

Ваш друг В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. № 12, 256.

Не следует, однако, думать, что Кюхельбекер в переписке с младшими племянницами ограничивался по преимуществу моральными поучениями. 27 апреля того же 1834 г. он послал тем же А. Г. и Ю. Г. Глинкам большое, в высшей степени содержательное письмо, заполненное рассуждениями на литературные темы.[4] Такой же характер носят и многие другие его письма к молодым Глинкам.

В их числе — письмо к Николаю Григорьевичу Глинке, которого он считал самым одаренным из своих племянников и которому предрекал блестящую будущность. С ним он делился своими самыми заветными мыслями, старался передать ему свои убеждения, называл его своим «питомцем» и «сыном своей души». Н. Г. Глинка безвременно погиб в 1839 г. на Кавказе (умер от ран, полученных в стычке с гор-

---

[1] Библиотека немецкого духовного красноречия.

[2] Опускаем как не представляющую интереса большую выписку на немецком языке из проповеди Диттера, помещенной в 8 книге «Bibliothek der deutschen Kanzelberedsamkeit».

[3] Опускаем продолжение цитаты из той же книги.

[4] См.: Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея, кн. III, М., 1938, стр. 170—172.

цами). Кюхельбекер чрезвычайно тяжело пережил эту потерю (см. ниже, стр. 81—82).

Публикуемое здесь письмо Кюхельбекера к Н. Г. Глинке не датировано, но в свое время несколько строчек из этого письма («Для меня уже нет мира существенного: поэзия создает мне мир мечтательный. . .» и т. д.) были процитированы родными Кюхельбекера в посвященном ему биографическом очерке, где письмо отнесено к 1834 году.[1]

Тема, затронутая в публикуемом письме, служила постоянным предметом в переписке Кюхельбекера с Н. Г. Глинкой. Так, например, он писал ему: «Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве, — об искусстве, которому посвятил жизнь свою, посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы? Конечно, если разуметь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою: имя мое забудется (говорю о моих литературных грехах, как будто бы о произведениях другого), ибо, хотя, может быть, я и был бы чем-нибудь со временем, но все мои произведения незрелы, несовершенны. Несмотря на то, никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, которые мне доставляла поэзия в течении моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, — довольно, говорю, для меня и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего. . . Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее».[2] Родными Кюхельбекера это письмо отнесено к 1827 или 1828 г. Думается, это ошибка. Вторая фраза публикуемого нами письма, кажется, ясно показывает, что оно было написано вслед за только что процитированным.

9. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Любезный друг Николай Григориевич.

Меня очень обрадовало письмо твое. Но не думай, мой друг, что мое предыдущее было писано для того, чтоб тебя самого сделать поэтом. Поэзия точно доставляет наслаждения необыкновенные; но она похожа на опиум. За восторгами следуют страдания живые, мучительные; не всякий готов перенесть их. Спроси матушку твою и сестру мою Улиньку: они знают, в какое впадаю уныние после продолжительного вдохновения. Это состояние прелестно Ламартин изображает. Вот тебе строфа из его Enthousiasme:

Muse, contemple ta victime!
Ce n'est plus ce front inspiré,
Ce n'est plus ce regard sublime
Qui lançait un rayon sacré;
Sous ta dévorante influence,
A peine un reste d'éxistence
A ma jeunesse est échappé;
Mon front, que la pâleur efface
Ne conserve plus que la trace
De la foudre qui l'a frappé.[3]

[1] См.: Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 352.
[2] Там же, стр. 351.
[3] Муза, созерцай свою жертву!
Это больше не то вдохновенное чело,
Это больше не тот величественный взор,
Который бросал священный луч
Под твоим поглощающим влиянием;
И едва остаток бытия
Утрачен моей юностью,
Как мое чело, покрытое бледностью,
Хранит только след
Поразившей его молнии.

Сочувственная ссылка Кюхельбекера на оду Ламартина «Энтузиазм» противоречит его устойчивому осудительному отношению к французскому поэту. В 1825 г

Для меня уже нет мира существенного: поэзия создает мне мир мечтательный. Если бы я не был поэтом, я бы едва мог перенесть мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие. Но ты молод: жизнь перед тобою во всем ее цвете, во всей ее роскоши; наслаждайся; тебе не нужны обманы. Кроме того спокойствие лучше, предпочтительнее восхищений минутных, за которыми следуют дни, недели, месяцы тоски. К тому же

. . . ce flambeau qu'on nou senvie
S'allume au feu des passions! [1]

Твой долг думать не только о собственном счастии, но и о счастии твоей матери. Итак сердечно радуюсь, что ты поэзии предпочел науки точные: они остепенят тебя. Быть же просто стихотворцем, каких дюжины — ты сам не захочешь. Здесь особенно справедливо: aut Caesar, aut nihil![2]

Мое письмо только имело целию доказать тебе, что небо справедливо; что, если оно кого лишает благ земных, оно дарует ему в богатую замену другие блага, — которые иной конечно назовет несущественными; но что же в бедном нашем мире существенно?

Прости, любезный друг! Помни, люби меня. Обнимаю и целую тебя.

Твой В. К.

Р. I, оп. 12, № 259.

***

он называл Ламартина «лжеромантиком» (Сын отечества, 1825, ч. 103, № 17, стр. 77,— примечание), в 1833 г. указывал на его «темный и сбивчивый» слог (Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 148).

В Свеаборге Кюхельбекер целиком погрузился в творчество. Одно за другим он создает монументальные эпические и драматические произведения. В январе 1832 г. он начинает писать драматическую сказку «Иван, купецкий сын» (законченную лишь десять лет спустя), в апреле — поэму «Агасфер» (окончательная редакция относится к 1840—1842 гг.), в мае переводит «Короля Лира», в июне—августе — «Ричарда III», в августе же задумывает поэму, в которую должны были войти «исторические воспоминания» о 1812 годе и других событиях,[3] в ноябре начинает писать обширнейшую поэму «Юрий и Ксения» на сюжет из древней русской истории. В том же 1832 г. Кюхельбекером была написана большая статья «Рассуждение о восьми исторических драмах Шекспира и в особенности о „Ричарде III"». В первую половину 1833 г. Кюхельбекер занят напряженной работой над поэмой «Юрий и Ксения» (закончена 4 мая) и «окончательною выправкою» поэмы «Семь спящих отроков» (к ней он возвращался и в 1834 г.), 16 октября 1833 г. он начинает писать новую большую поэму «Сирота» и заканчивает ее в феврале 1834 г. В мае 1834 г. замысел «Агасфера» заново «ожил в одежде драматической мистерии».[4] В июне Кюхельбекер приступает к роману в прозе — «Итальянец» (впоследствии — «Последний Колонна», закончен в 1842 г.), разрабатывает план драмы «Архилох» и пишет хор к ней (драма была закончена только в 1845—1846 гг.). В августе 1834 г. Кюхельбекер переводит «Венецианского купца» Шекспира. Наконец, с 1 октября по 21 ноября 1834 г. он с необыкновенным подъемом работает над одним из самых значительных своих произведений — народно-исторической трагедией «Прокофий Ляпунов» (пять актов трагедии, написанной белым пятистопным ямбом, были созданы в 52 дня).

В разгар работы над «Ляпуновым» были написаны два следующих письма Кюхельбекера к племянницам.

---

[1] Факел, которому завидуют,
Загорается от огня страстей!
[2] Или цезарь, или ничто!
[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 72.
[4] Там же, стр. 186.

10. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

19 октября 1834.

Милый друг Наташинька.

Сердечно благодарю тебя за твои письма от 8 и 9 октября и за хорошенькие рисунки, которые служат им виньетками. — Если бы еще и одолевала меня хандра, кажется, довольно бы было этих писем, чтоб унять злодейку. Но, слава богу, с тех пор, как сочиняю, я опять совершенно здоров: врач мой не только позволил, но предписал мне пить кофе, и это мне очень приятно. Он, правда, сказал мне: ein Glas,[1] а я, признаться, пью anderthalb,[2] иногда же и zwei; [3] да как по окончании Ляпунова намерен приняться за чай и оставить до поры — до времени свой любимый напиток, надеюсь, что это не повредит мне.

Слава богу, что наша Julie возвращается! [4] Беспокоят меня только бури и позднее время года; в этом пакете будет письмецо и к ней. Обрадуется же наша старушка![5]

Признаться, и мне отрадно, что сестра теперь не в тех отношениях, в каких была в долгоруковском доме.

Как бы то ни было, а быть воспитательницею, надзирательницею — тяжкое бремя. — Несмотря на возвращение моей Julie, — я все же прошу тебя, милый друг мой, — позволь мне иногда тебе исповедаться: ты у меня будешь вторая Julie; вдвоем вам и легче будет читать мои перемиады. Надеюсь, что редко нужно будет прямо отвечать на них: обыкновенно при получении ответа на письмо, к вам отправленное, я уже не в том расположении духа, в каком был, когда принимался за перо, чтоб писать к вам. Но все же великое благодеяние — отводить порою душу: только (уговор, как говорится, лучше денег) такие письма не должны попадаться на глаза братцам, а о бабушке уж и не говорю.

Ваське [6] моему большая честь: на днях я его прозвал Василием Васильевичем Кацеусом, а если мало-мальски будет себя вести добропорядочно, к новому году закажу ему ошейник из красного сукна, что, надеюсь, при белизне его шеи весьма послужит к его украшению и возбудит в нем благородное честолюбие. — За печати гения — спречь чернильные пятна — распрысканные по письму моему — не сердись: рад бы писать постарательнее, — но, право, разучился. — Мамиьке твоей и сестрицам целую ручки. Что касается до сукна, платья etc., отпишу об этом в следующий раз. Поныне мои попечители не успели приценяться к сукну: итак ничего не знаю; но по моему предположению истинно было бы довольно денег, какие имею, на все расходы до января.

Целую твои ручки —
Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 258.

---

[1] один стакан.
[2] полтора.
[3] два.
[4] В 1833—1834 гг. Ю. К. Кюхельбекер путешествовала по Европе в качестве компаньонки графини В. П. Полье.
[5] Мать Кюхельбекера — Юстина Яковлевна (1757—1841).
[6] Кот, которого держал Кюхельбекер в своей камере (см. следующее письмо).

11. В. К. Кюхельбекер — Ю. Г. Глинке

13 нояб‹ря› 1834.

Милая Тиня, — благодарю тебя покорно за письмецо твое и за исправность, с какою ты всякий раз меня извещаешь о наших родственниках. Очень приятно то, что говоришь о Дмитрии:[1] дай бог ему всегда пользоваться веселым, ясным расположением души, которое, — по моему мнению, — едва ли не важнее еще здоровья! — Но жаль, жаль мне бедной Надежды Андреевны:[2] я, было, уж надеялся, что ее болезнь с летами совершенно прошла и не будет уж возвращаться. Где она? И кто при ней?

И я, друг мой, страдал довольно сильным припадком хандры, который, однако, — слава богу — совершенно прошел. Хотя моя болезнь и не может сравниться с недугом Надежды Андреевны; ибо умственные способности у меня остаются такими же, как и всегда: я даже в состоянии судить и рассуждать о своей болезни, знаю, что тоска пройдет, что мир и предметы совершенно не таковы, каковыми мне кажутся в временном мрачном расположении духа etc. etc.; — однако все же живее, чем, быть может, другой, должен соболезновать я страданиям тех, которые бывают подвержены совершенному расстройству души, ибо и хандра, — что ни говори, — все-таки душевное расстройство.

Ты пишешь, что получила продолжение выписок из Отроков; надеюсь, что и Наташа получила начало этих выписок (о чем однако прошу меня уведомить). Перепишу для тебя еще несколько куплетов:

Не все в том сонме чтители христовы
Решились умереть, а устоять.
Ужасен слабым властелин суровый;
Неверных покидает благодать.
Но семеро дерзают на оковы,
Дерзают за Христа на смерть и срам:
Прошли, не жертвуя глухим богам.

Пример героев тягостный и важный
Превысит легкий, суетный пример
Толпы ничтожной, робкой и продажной.
Но тем и дале царь свой гнев простер,
Тем боле подвиг гласный и отважный,
Сразивший взоры сонма римских сил
Строптивый дух Деокла раздражил.

В темнице юноши. И в самом горе —
Страдающий за истину блажен:
С лучом веселья в вдохновенном взоре
Он носит узы; — ада муки, плен
Тому лишь, кто с самим собой в раздоре,
Пред кем вины пугающий призра́к
Сугубит ужасы и хлад и мрак.

В цепях не знают отроки боязни;
А смерть взирала ж из очей паря!
Он слух отво́рит яду неприязни;
Для них, погибших, скорбная заря
Займется, бле́ща по железу казни;
Но в трепет их не приведет топор,
Не страхом их напитан разговор.

---

[1] Д. Г. Глинка.
[2] Рачинская (1784—1838), родственница Глинок (сестра Г. А. Глинки).

Меж тем в чертоге пышном беспокоен,
Враждующими чувствами томим,
Враждующими думами расстроен,
То местию, то жалостью борим, —
Душою болен вещеносный воин:
Он то их судия, то их отец; —
И затворен для всех его дворец.

Теперь пойдут строфы позанимательнее; до сих пор было, так сказать, одно введение:

И вот дневное рдяное светило
Земли дотронулось, кровавый шар,
И вдруг исчезло; землю тьмой покрыло;
Восстал с полей заснувших хладный пар,
И звезд златое стадо выходило
И, в ризу дымную облечена,
По небу стала их пасти луна.

И некто в шлеме ратника простого,
В простом плаще, но грозен и высок,
По сонным стогнам города немого
Идет средь тьмы всеобщей одинок.
Куда? — встает из сумрака ночного,
Разрезав белый, тягостный туман,
Седая башня, черный великан. . .

К ней он подходит; над глубоким мраком
Два мига носит окрыленный взор:
Все спит; и вот без слов, единым знаком
Подъял ревнивый, тягостный запор,
И — нет его. Сравню его с призраком:
Мелькнет, — глядишь, склоняешь чуткий слух,
А уж во мгле растаял легкий дух!

Проснулся гул; под сводами глухими
В угрюмой тишине раздался звук.
Молчанье ужаса шагами чьими
Незапно прервалось? Что значит стук,
Передаваемый стенами сими?
И ближе, ближе — и расторгнул он
Страдальцев юных беспокойный сон.

Святые узники на шум нежданный
Подъемлются без трепета с одра:
«Теперь ли примем мы венец желанный?
Готово сердце и душа бодра:
Тебя мы жаждем, бог, за нас закланный!».
И се — небесным пламенем объят,
Молиться стал за брата каждый брат.

И вот с дверей отдвинулись затворы,
Гремит замок — и входят. Но кого
Их изумленные узнали взоры?
Ужель они владыку своего,
Ужель того увидели, который
Когда-то к ним был без предела благ,
А ныне ненавистник их и враг?,

Он! точно он: вошел и с плеч широких
Пред ними плащ бросает на помост;
Движенье бровей его высоких,
Его лицо, чело, брада и рост,
Очей его сверканье, не жестоких,
Но пламенных. . . все, все вещает им:
«Пред ним вы, пред властителем своим!».

Вот тебе, милая Тиня, и продолжение Отроков.[1] Если получишь, уведомь. — Напрасно ты похвалила моего Ваську: он сегодня ведет себя очень дурно, сидит за окном теперь уж 8-ой час; я его: и Васиньки и кисиньки, и кисиньки и Васиньки! — а злодей и ухом не ведет; а между тем погода упаси боже! правда шуба на нем изрядная.[2]

Целую и обнимаю тебя.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 260.

В следующем письме Кюхельбекера — к Ник. Г. Глинке, от 9 декабря 1835 г. — отразилось его увлечение творчеством Н. Кукольника, которое он воспринимал в аспекте своих исходных романтических представлений об искусстве. В законсервированной атмосфере одиночного заключения, оторванный от общественной и политической жизни, с запозданием знакомясь с литературным движением по старым журналам, Кюхельбекер в иных случаях впадал в преувеличения и допускал прямые ошибки в своих оценках литературных явлений. Только случайностью и разрозненностью литературных впечатлений, невозможностью охватить единым взглядом весь литературный процесс, протекавший в России в тридцатые годы, и осмыслить этот процесс во всем его объеме и в перспективе его развития — объясняется то, что Кюхельбекеру иногда изменяло столь присущее ему острое критическое чутье. Этим, в частности, можно объяснить и тот факт, что, создавая «Прокофия Ляпунова» с его глубокой социальной проблематикой и ясно выраженной установкой на народность, на реалистическую характерность языка и образов, Кюхельбекер в то же самое время весьма высоко расценивал ходульно-риторическое творчество Кукольника.

Получив в мае 1834 г. драму Кукольника «Торквато Тассо», о которой он до тех пор знал лишь по упоминаниям в журналах, Кюхельбекер нашел в ней «много, много превосходного» и, «читая многие места, невольно плакал». «Судить о творении Кукольника я еще не в состоянии; но у него талант великий, хотя, кажется, и не совсем драматический», — записал он в дневнике.[3] Нужно добавить также, что на Кюхельбекера произвел сильное впечатление самый сюжет кукольниковской драмы: он любил сравнивать свою судьбу с судьбой Тассо: «Не стыжусь, что трагедия меня сильно встревожила: в моем ли положении не принять участия в страданиях Тасса, хотя бы эти страдания были изображены человеком без малейшего таланта? А в Кукольнике, напротив, талант. . .».[4] В октябре 1834 г. Кюхельбекер лестно отозвался об отрывке из «драматической фантазии» Кукольника «Джакобо Санназар», который прочитал в журнале.[5] В апреле 1835 г. Кюхельбекер в дневнике снова возвращается к «Тассо» — подробно разбирает это «лучшее создание нашего молодого поэта». Делая по поводу драмы ряд критических замечаний, находя, что в ней «слишком много оперного», а «народные сцены вообще слабы», он тем не менее приходит к выводу, что «красоты в этой фантазии первой степени и далеко перевешивают недостатки» и что произведение Кукольника — «лучшая трагедия на русском языке, не исключая и „Годунова“» Пушкина, который, нет сомнения, — гораздо умнее и зрелее, гораздо более обдуман, мужественнее и сильнее в создании и в подробностях, но зато. . . слишком чужд того самозабвения, без которого нет истинной поэзии».[6] Он называет Кукольника, наряду с Пушкиным и Марлинским, «надеждой и подпорой нашей словесности».[7]

---

[1] Сюжет поэмы «Семь спящих Отроков» — гонение на христиан в Риме в IV веке, при императоре Диоклетиане (Деокле). Строфы, которые сообщил Кюхельбекер племяннице, входят в первую часть поэмы (строфы 20—31).

[2] Кюхельбекер вскоре лишился своего кота Васьки. В дневнике под 18 декабря 1834 г. читаем: «Сегодня помер мой котенок. Очень мне понятна скорбь Гофмана о его Муре: я своего Васьки никогда не забуду». И на следующий день: «Весь день протосковал по своем Ваське: пусть смеются! а я раза два сегодня даже принимался плакать, вспоминая своего котика. Подадут есть, — не с кем делиться; — отворю фортку, — некого впустить в комнату. — Жаль мне своего Васеньки!» (Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 222).

[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 187. — Через два дня он, впрочем, отметил, что в «Тассо» — «стихов прекрасных много, но целое — слабо» (там же, стр. 188).

[4] Там же, стр. 188.

[5] Там же, стр. 215.

[6] Там же, стр. 232—233.

[7] Там же, стр. 235.

Увлечение Кукольником не оставляло Кюхельбекера и в последующие годы, хотя и значительно умерилось. В августе 1836 г. он писал Пушкину (которому были известны письма Кюхельбекера к родным): «Не слишком ли ты строг и к Кукольнику? — К т е б е я конечно писал бы о нем несколько иначе, чем к племянникам. . . Язык Кукольник знает плохо, стих его слишком изнежен, главный порок его — болтовня; но все же он стоит, чтобы напр. ты принял его в руки: в нем мог бы быть путь; дай ему более сжатости, силы, бойкости: мыслей и чувства у него довольно, особенно (не во гнев тебе) если сравнить его кое с кем из наших сверстников и старших братий».[1] Впоследствии Кюхельбекер, очевидно, в корне пересмотрел свой взгляд на Кукольника, который стал присяжным бардом николаевской монархии, писавшим в духе самодержавия, православия и официальной «народности». В дневнике 1843 г. он отметил «приторность» Кукольника и его «патриотические сентиментальные niaiseries» (глупости, околесицы).[2]

12. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

9 декабря 1835.

Друг Николай. Собрался я писать к тебе в твои имянины: не удалось. — Впрочем три дня — разница небольшая. — Нынче моя корреспонденция говеет, т. е. постится и вдобавок великим постом. Получаю письма очень редко: с последнего до нынешнего от сестры Julie прошло 6 недель, а пишет ко мне почти одна она. Спасибо, что хоть она не забывает рифмача-анахорета. — Кстати о рифмачах, или, лучше сказать, стихотворцах, потому что о н творит большею частию стихи белые. Прочел я прелестный отрывок (в С‹ыне› О‹течества› на 34 год) из фантазии Кукольника: Д ж у л и о М о с т и. Тут между прочим на сцене Д о м и н и к и н о - д и т я. Это уж совсем не то, что влюбленный осмилетний Kopfhänger [3] Саназар; нет, тут настоящее, милое, прекрасное резвое дитя; но вместе и рождающийся гений: монолог его бесподобен. Сверх того мальчик Доминикино именно должен был быть таким: я видел картины этого единственного живописца; в них та же бессмертная молодость, то же божественное ребячество, которые в стихах, какие ему влагает в уста наш Кукольник. Расцеловал бы я поэта за эти стихи.[4] Вышел ли Мости? Если вышел, — сделай милость, пришли.[5] — Да ты когда-то хотел мне доставить трагедию Хомякова, — только не Ермака, а другую: справился бы я, какую именно, только некогда.[6]

Что тебе сказать о моем Жиде? Идет голубчик вперед: что-то будет? — Тут-то, брат, набегп не на причуды и слабости и глупости столичные

---

[1] П у ш к и н, Переписка, т. III, стр. 361.

[2] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 290.

[3] повесивший голову

[4] Доменикино (Цампиери) — итальянский живописец и архитектор (1581—1641), действует в драме Кукольника «Джулио Мости». Впоследствии Кукольник изобразил его в особой «драматической фантазии» — «Доменикино в Риме». Кюхельбекер мог видеть картины Доменикино в Эрмитаже и, во время заграничного путешествия, в Лувре и в Дрезденской галлерее.

[5] Драма Н. Кукольника «Джулио Мости» была целиком напечатана в 1836 г. в «Библиотеке для чтения» (т. XV) и тогда же вышла отдельным изданием.

[6] Трагедия Хомякова, изданная после его «Ермака» (1832), — «Димитрий Самозванец», вышедшая в 1833 г. Кюхельбекер заинтересовался этой трагедией после того, как ему рекомендовал ее в одном из своих писем Ник. Г. Глинка. Прочитав отзыв о «Димитрии Самозванце» в «Библиотеке для чтения», он записал в дневнике 19 октября 1834 г.: «К Хомякову рецензент просто, кажется, несправедлив. Приведенная им сцена между Марфою и Антоном бесподобна: равной силы нет ни одной у Кукольника» (Дневник, стр. 214). Познакомиться с «Димитрием Самозванцем» Кюхельбекеру, во всяком случае в ближайшее время, не удалось; в августе 1836 г. он писал Пушкину: «Трагедию Хомякова (только не Ермака) Ник. Глинка мне расхвалил: точно ли она хороша?» (П у ш к и н, Переписка, т. III, стр. 361).

и уездные, как в мистерии,[1] а почти на все, что мудрость, отметающая веру, привыкла выдавать нам за славу и доблесть и высокое. В 3-м отрывке дело идет о Траяне и его почтенном панегиристе — Плинии Вот тебе портрет Плиния:

Вельможа Плиний во всей силе слова:
Любезность, величавость, ум и вкус
Поступков и речей его основа.
Он вместе и питомец муз,
Философ и оратор;
Однако и в светилище наук
Всем барин: царедворец и сенатор.

Далее отношения Плиния к христианам:

Известно всем, что отвечал Траян,
Когда, поверив клеветам безумья,
Пренебрегая вникнуть в злой обман,
Пугаясь хло́пот лишнего раздумья,
Чернить и Плиний вздумал христиан:
«Ты их не трогай, — говорит властитель, —
А разве сами явятся они;
Но явных исповедников казни».
И был Траян не Нерон, не мучитель;
Да так-то рассуждали в эти дни
И лучшие.

Вот портрет Траяна:

При нем народные злодеи, —
Наушники, — не растравляли ран
Отечества; патрициев со львами
Он в цирк не выводил; не думал созывать
Сената, чтоб с почтенными отцами
О саусе к осетрине рассуждать.
А не без слабостей был царственный воитель:
Остатка стран не римских притеснитель,
Он превратил свои народы в рать
И метил в Бахусы и Сезотрисы.
Да! к слову: в Б а х у с ы. Не потрясались тисы
Пред ним толпою бешеных менад
(Нет! Это было бы уж слишком не в попад
В столетье Тацита и Ювенала),
Однако летопись не умолчала:
Герой бывал хмелен от Вакховых отрад.
Он, правда, знал себя. . . Спасибо! раз не пьяный,
Указ похвальный, хоть немножечко и странный,
Послал в сенат: «Обязываю вас
Не исполнять, что под веселый час
Траяну приказать случится». — Дело!
А лучше было бы — не пить.

Следует еще кое-что; если знаешь историю Траяна, догадаешься и сам. Заключение:

Он был великий муж, но грешник сладострастный,
Не изверг, не тиран,
Но, полководец самовластный,
Под треск щитов, под завыванье стрел
Д л я с л а в ы крови не жалел.

---

[1] Мистерия — «Пжорский».

Ты видишь, что мой Агасвер (позволь выразиться по-профессорски) хочет быть тем же по части истории, чем Child-Harold [1] по части географии и статистики. Однако тут есть разница: Child только разрушает, а ничего не зиждет, а у Агасвера, надеюсь, всегда будет перед глазами неискаженное учение того, его же «царствие несть от мира сего». — Агасвер отверг это учение, — но тысячелетия должны убедить Иудея, что оно истинно; вот почему он и странствует из века в век. — À propos! [2] — Ты видишь, что я не неизлечим; вот вычеркнул же о н о г о. В некотором отношении Сенковский и прав: в разговоре о н ы й точно не годится.[3] Да только это все же не канцелярское слово; напротив, — оно иногда в высокой степени слово поэтическое. В стихах: «оные дни», «оные годы» — иногда превосходно. — Пиши, ради бога, друг Никола! — Преврати ответом на это маранье и мои святки в настоящие.

Прощай; обнимаю тебя.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

NB. Сестра пишет, что ее комиссионеры плохи, а я полагаю: напротив; — потому что ты же хотел, было, принять на себя, где нужно, хлопотать о моих надобностях.

Р. I, оп. 12, № 259.

Поэма «Вечный жид» («Агасфер»), фрагменты которой Кюхельбекер сообщил Ник. Г. Глинке, по замыслу автора должна была представить собою как бы обзор всемирной истории (в восьми отрывках, посвященных изображению различных исторических эпох), выполненный в философско-сатирическом духе. В мае 1834 г. Кюхельбекер следующим образом раскрывал содержание своего замысла: «В воображении моем означились уже четыре главные момента различных появлений Агасвера: первым будет разрушение Иерусалима, вторым — падение Рима, третьим — после битвы после Бородинского или Лейпцигского побоища, четвертым — смерть его последнего потомка, которого мне вместе хотелось бы представить и вообще последним человеком. Но между третьим и вторым должны быть непременно еще вставки, например, изгнание жидов из Франции в XIV, если не ошибаюсь, столетии. . . Если удастся, — „Вечный жид“ мой будет чуть ли не лучшим моим сочинением».[4] В одном из предшествующих писем к Ник. Г. Глинке (от 21 октября 1835 г.) Кюхельбекер подчеркивал сатирический, «ювеналовский» характер поэмы: «Второй отрывок я уже начал. Слог его будет сжат, с притязаниями на силу и глубину, не чуждый антитезов и даже декламации, — словом, это будет нечто вроде слога Ювенала, Тацита, Сенеки-трагика. Предмет — падение Иерусалима; источник — Эгезипп и Иосиф Флавий. — Что такое выберу для третьего, не знаю. Прошу у тебя совета! — Падение Римской империи? Гонения, каким жиды подвергались в средние века? Крестовые походы? Наполеонов l'homme rouge? [5] — все это мелькает передо мною, — да к несчастью зыбко, мутно, без заманчивости. . . Ты, милый друг, можешь видеть, как я уже далек от счастливого возраста поэтических самозабвений. Дорого бы я дал, если бы мог воскресить это золотое время; но теперь я к несчастию только тогда совершенно забываюсь, когда принимаюсь за розги Ювенала».[6]

Фрагменты «Агасфера», приведенные в письме, за исключением стихов: «Он был великий муж, но грешник сладострастный. . .» и т. д., вошли (с некоторыми переправками) в III отрывок окончательного текста поэмы (1840—1842), опубликованного в 1878 г. («Русская старина», т. XXI, март, стр. 404—462).

Письма Кюхельбекера цензуровались крепостным начальством; поэтому из осторожности он заменил в приведенных фрагментах некоторые вольномысленно звучав-

---

[1] Чайльд-Гарольд.

[2] Кстати.

[3] Смысл замечания Кюхельбекера насчет слова «оный» — в том, что двумя строчками выше он вычеркнул «. . . убедить в истине оного» и написал «убедить Иудея». О. И. Сенковский с крайней запальчивостью возражал против употребления слова «оный» и не допускал его в своем журнале «Библиотека для чтения».

[4] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 186—187.

[5] Красный человек.

[6] Лирика и поэмы, стр. LIX.

шие эпитеты: вместо «. . . народные злодеи, — наушники, — не растравляли ран Отечества» нужно читать: «. . . ран р е с п у б л и к и»; вместо «Остатка стран не римских притеснитель» — «. . . стран с в о б о д н ы х притеснитель». Что следовало в характеристике Траяна после стиха: «А лучше было бы — не пить», — неизвестно. В окончательном тексте поэмы дальше читаем три строчки:

Все выскажу ли смело?
Диона Кассия вы можете купить. . .
Я исчисленья прерываю нить.

Очевидно, Кюхельбекер исключил из характеристики Траяна некоторые детали, которые должны были дополнительно продемонстрировать «слабости» этого «добродетельного» и «благонравного» цезаря, и ограничился ссылкой на историка Диона Кассия.

В «Агасфере» отразились религиозные и пессимистические настроения, постепенно овладевавшие Кюхельбекером (не случайно поэма заканчивалась им в годы болезни и упадка душевных сил). Намеченная в письме к Ник. Г. Глинке параллель между Агасфером и Чайльд-Гарольдом Байрона была в том же смысле подчеркнута в предисловии к окончательной редакции поэмы, датированном 1842 г: «Агасвер путешествует из века в век, как Байронов Чайльд-Гарольд из одного государства в другое; перед ним рисуются события, и неумирающий странник на них смотрит не беспристрастно, не с упованием на радостную развязку чудесной драмы, которую видит, но как близорукий сын земли, ибо он с того начал свое поприще, что предпочел земное — небесному. Небо, разумеется, всегда и везде право. . .».[1]

***

Следующие два письма Кюхельбекера к племянницам Юстине и Наталии не поддаются датировке, но относятся еще к крепостному периоду его жизни.

13. В. К. Кюхельбекер — Ю. Г. Глинке

7 ноября.

Моей миленькой Тинпиньке сегодня опять коротенькое только письмецо! — Я много писал и к матушке твоей и к братцу Борису: итак, ты меня извинишь — не правда ли? — Очень я рад, что вы опять сблизились с Петром Степановичем [2] и что утешили своим посещением бедную Любушку.[3] Воображаю, как она, сердечная, вам обрадовалась и как ей горько было опять с вами расстаться! Напиши мне когда-нибудь и о Володе: [4] бывает ли он у вас? Скоро ли выйдет в офицеры? Довольны ли им в корпусе? — Что сад Петра Степановича? Мне не удалось его видеть летом; но признаюсь, что ваш Закупский, несмотря на затеи Петра Степановича, мне нравится более: он проще, а главное — сытнее. В Горках много, слишком много для столь небольшого имения, употреблено на украшения: но о с н о в а т е л ь н о г о ничего нет; основательным же называю, что не только приятно для глаз, да и в домашнем быту не без пользы. У Петра Степановича, напр<имер>, паркет, а не простой пол, а порядочной бани нет. — Но не нам его учить; и повторяю, я душевно рад, что вы опять с ним сблизились. Дай бог, чтобы это не осталось без пользы для нашей доброй Софьи Андревны! [5] — Быть может, он и послушается, если маминька твоя п р и с л у ч а е вздумает усо-

[1] Русская старина, 1878, т. XXI, март, стр. 405.

[2] Лавров, родственник Глинок, псковский помещик, владелец имения Горки, где Кюхельбекер скрывался в течение нескольких дней после того, как бежал из Петербурга 14 декабря 1825 г.

[3] Лицо не установленное; может быть, дочь П. С. Лаврова.

[4] Сын П. С. Лаврова.

[5] Жена П. С. Лаврова, урожд. Глинка (сестра Г. А. Глинки, зятя Кюхельбекера).

вестить его. — Вы теперь, мои милые, опять в Петербурге, опять с моею старушкою: не могу тебе сказать, как это для меня утешительно! Теперь я касательно ее совершенно спокоен, потому что знаю, есть кому беречь ее, ухаживать за нею. . . Буду к вам, ко всем трем писать обстоятельнее, когда будет более времени, а теперь прошу сказать от меня сестрицам, что целую их ручки; целую заочно и твои.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 260.

14. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Милая Наташинька.

Благодарю тебя покорно за твое письмо: но твое молчание знаком нерасположения ко мне не считал и никак не считаю. — Сам я знаю, как в твоих летах неохотно пишут письма. Сверх того и самонадеянность заставляет меня думать, что вы все не сомневаетесь в неограниченной моей любви к вам, а потому за нее платите мне также дружбою. — Вот почему не могу быть взыскательным, если вы ко мне и не часто пишете. — В ваших увеселениях по случаю свадьбы Наталии Васильевны [1] принимаю живое участие; я никогда не был охотником до танцев, но вот случай, в котором и я, несмотря на мои седые волосы, пустился бы с тобою в кадриль или экосез; но только не в котильон, потому что ему нет конца.

Обними от меня нашего воина [2] и сестриц. Целую тебя.

Твой друг
К.

Р. I, оп. 12, № 258.

II. ИЗ ССЫЛКИ

В конце 1835 г. Кюхельбекер был досрочно выпущен из крепости и «обращен на поселение» в Восточную Сибирь, в глухой заштатный городок Баргузин. 14 декабря 1835 г. Кюхельбекера вывезли из Свеаборга; 20 января 1836 г. он был доставлен в Баргузин, где встретился с жившим там с 1831 г. на поселении братом Михаилом.

Освобождение из крепости Кюхельбекер встретил как начало новой жизни, с окрыляющими надеждами, которым не суждено было осуществиться. Надежды сосредоточивались прежде всего на возможности вернуться к широкой литературной деятельности (хотя бы под псевдонимом). Кюхельбекер полон литературных замыслов, и ему не терпится приступить к их реализации. Еще не доехав до места назначения, он просит Ник. Г. Глинку прислать ему книги и бумагу и только дополнительно упоминает о деньгах, ибо остался «без гроша» (письмо из Иркутска, от 16 января 1836 г.).[3]

Первые письма из Баргузина проникнуты радостным чувством человека, после долгих лет заточения находящегося «почти на свободе», жадно вбирающего новые впечатления, оживленного встречей с братом и его семьей. Вскоре же по приезде в Баргузин — 12 февраля — Кюхельбекер пишет Пушкину: «Мое заточение кончилось: я на свободе, т. е. хожу без няньки и сплю не под замком». В большей части длинного письма он делится с Пушкиным своими этнографическими и филологическими наблюдениями, подробно рассказывает о «Забайкальском крае или Даурской Украйне», о местных нравах и обычаях, о бурятах и тунгусах, о местном наречии, о сибирской природе.[4] На следующий день — 13 февраля — Кюхельбекер в таком же умиротворенном и радостном тоне пишет племяннице Наталье.

---

[1] Лицо не установленное.
[2] Наш воин — Ник. Григ. Глинка.
[3] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 353.
[4] П у ш к и н, Переписка, т. III, стр. 278—280.

15. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Баргузин. 13 февраля 1836.

Друг Наташа.

Давно я к тебе не писал, — и вот теперь сажусь потолковать с тобою заочно, уже не в келье своей, не за замком и затворами, нет, — почти на свободе; — не с шведской границы, а с китайской получишь ты эти строки. Распространяться об этом не стану: но согласись, что скачок изрядный. — Здесь, в Баргузине, нашел я много примечательного, — только ничего не полюбил я так, как Мишелеву малютку:[1] c'est une maitresse-fille, aussi jolie qu'on le peut être à son âge, espiègle, gentile, polisonne et semble promettre d'avoir un jour de l'esprit.[2] Она белокура, глазки у нее голубые, более похожа на мать, чем на отца. Le papa[3] ее очень любит, да и нельзя не любить: некоторые черты показывают ее доброе сердце. Так, напр<имер>, раз она ушиблась об стену, рассердилась и ударила стену, — потом вдруг стало жаль и ну! принялась гладить и целовать; собаки и кошка отнимают у нее хлеб, говядину, рыбу, — она никогда за это не сердится, — отдает им и остальное и вообще нисколько не жадна и не скупа. Это в ребенке, который еще не говорит и не ходит, надеюсь, достойно всякого почтения; и скажу искренно, что многие взрослые умники могли бы в этом отношении брать с нее пример. Меня, кажется, малютка также полюбила.

Невестка моя добрая, простая женщина и вообще брат счастлив семейством своим. — Что сказать тебе о самом себе? Право, не знаю: пользы брату я еще не принес никакой; это одно меня несколько сокрушает; но авось бог поможет! — Der Weile las ich mich pflegen.[4] — Целую ручки ваши, т. е. вашей мамиьки, твои и сестриц твоих. — Скажи от меня усерднейший поклон твоим тетушкам Катерине и Надежде Андреевнам.[5] — Не забывайте старика.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

М. г. Анисью Давыдовну,[6] которой при сем свидетельствую искреннее мое почтение, прошу покорно прочесть это письмецо матушке.

Р. I, оп. 12, № 258.

Следующие три письма к племянницам почти целиком посвящены литературным вопросам. Как и прежде, из крепости, Кюхельбекер продолжает заочно руководить литературным воспитанием молодых Глинок. В первом письме дана развернутая характеристика Вольтера, к которому Кюхельбекер издавна относился отрицательно, как и ко всей французской литературе XVIII в. вообще,[7] отмечая ее сухой рацпона-

---

[1] Мишелева малютка — Аннушка (Annette), прижитая М. К. Кюхельбекером до брака с баргузинской мещанкой Анной Степановной Токаревой, о которой речь идет в следующих строках этого же письма. Об обстоятельствах этого брака, состоявшегося 3 июня 1834 г. и имевшего для М. К. Кюхельбекера тяжелые последствия, см. в письме В. К. Кюхельбекера к А. Х. Бенкендорфу от 28 июня 1836 г. (Алфавит декабристов, стр. 338—339; там же — дополнительные данные).

[2] Это бой-девка, мила так, как только можно быть в ее возрасте, проказлива, изящна, шаловлива и, кажется, обещает стать в свое время умницей.

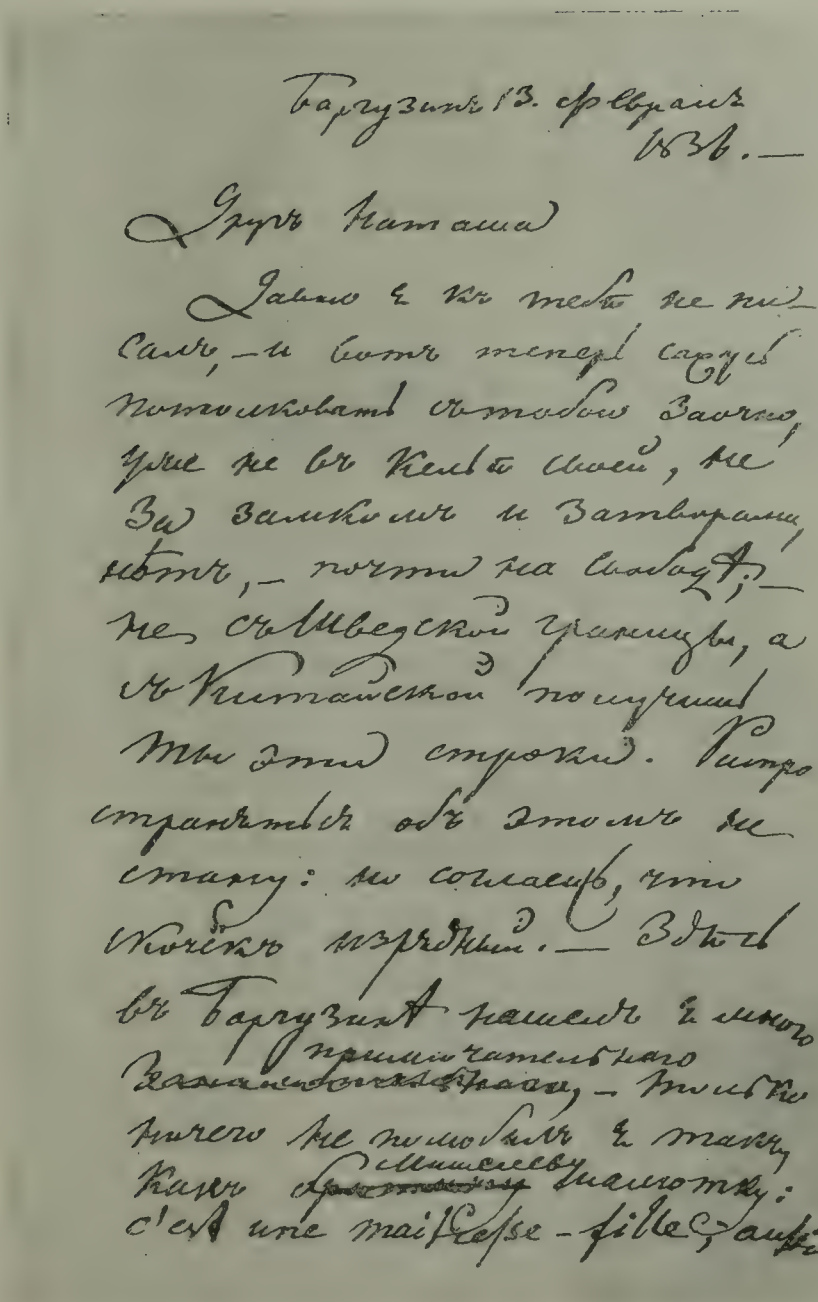
[3] Папаша.

[4] По временам я разрешаю обо мне заботиться.

[5] См. о них выше.

[6] Лицо не установленное.

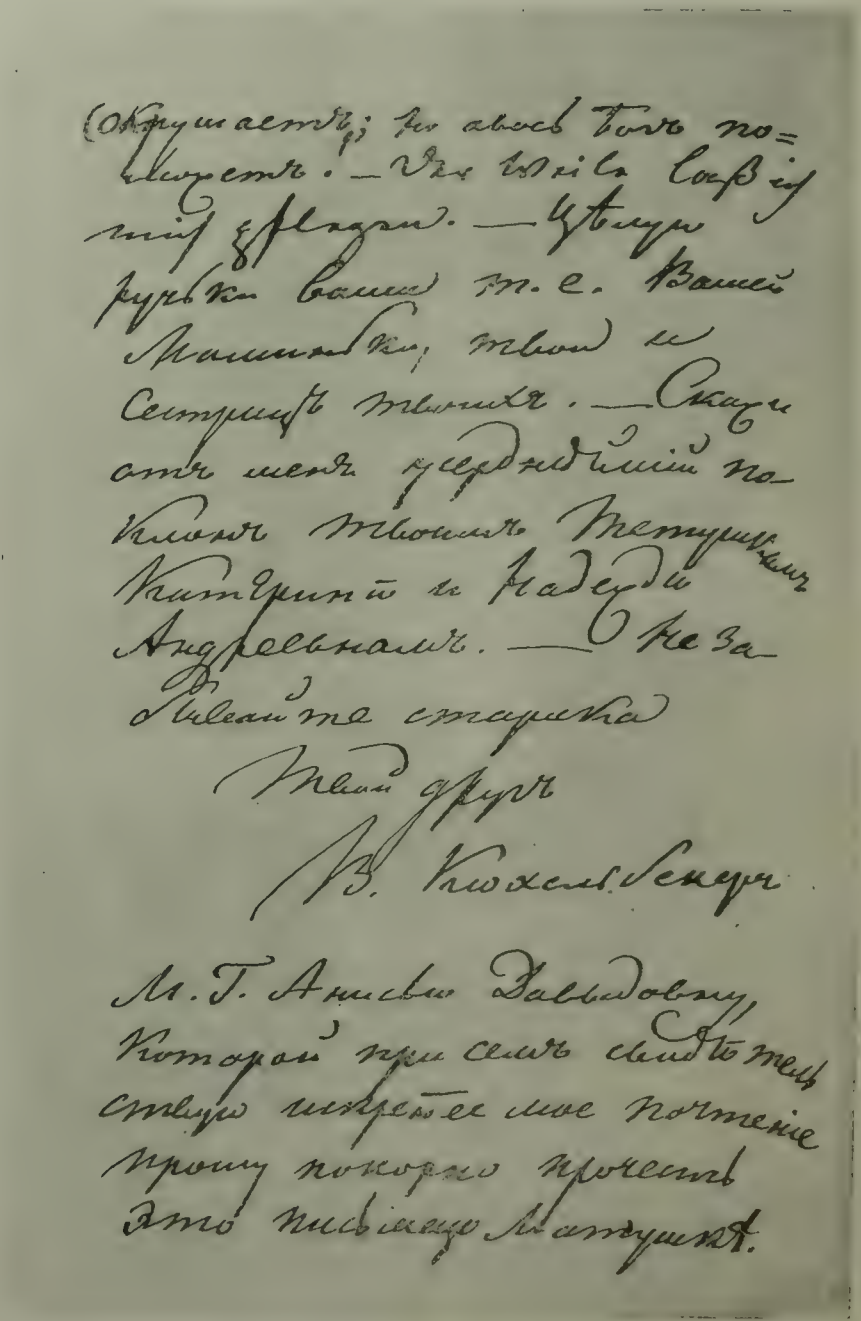
[7] См., например, его «Европейские письма» (Невский зритель, 1820, ч. I, февраль, стр. 35—45); Дневник, стр. 172—173.



Барузин 13. февраля
1836.—

Друг Наташа

Давно я к тебе не пи-
сал, — и боюсь теперь сразу
попросить отпуска Зачем,
уже не в Кельне моей, не
За замками и затворами
живу, — почти на свободе; —
не с шведской границы, а
к Китайской поступил
Ты этим строгий. Хотя
странно об этом не
стану: не согласен, что
Кюхель изрядный. — Здесь
в Барузине нашем я много
примечательного
Заметил, — только
ничего не полюбил я так,
Как Мишеневы пампоты:
c'est une maîtresse-fille, Сашка



ПИСЬМО В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА К М. Г. ГЛИНКЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1836 г.

Страница последняя.

лизм, метафизичность, нежизненность. В годы заключения и ссылки, в связи с ростом религиозных настроений Кюхельбекера, еще более укрепился его протест против «безверия» Вольтера.

16. В. К. Кюхельбекер — А. Г. Глинке

Баргузин. 28 фев‹раля› 1836 года.

Милая Саша.

Вчера получил я большой пакет писем; что я им чрезвычайно обрадовался, — можешь сама вообразить, тем более, что они очень милы, особенно ваши, — и первые, присланные мне в Баргузин. Ты спрашиваешь, почему не желаю, чтоб вы прочли или перечли трагедии Вольтера, — и полагаешь, что в них нет ничего безнравственного. — Безнравственность писателей бывает двоякая. Одна откровенная, искренняя или, если угодно, бесстыдная. Эта гораздо менее опасна, потому что сама по себе отвратительна. Книги, в которых господствует она, сами выпадут из рук ваших и д л я в а с едва ли могут быть вредны. Ею напитаны Вольтеровы сказки, его Кандид[1] etc. etc. — В трагедиях он все тот же Вольтер, но гораздо чопорнее и осторожнее. Тут у него третье слово v e r t u, h u m a n i t é[2] и пр. Между тем и тут он проповедник безверия; и тут вооружается в так называемых v e r s à r e t e n i r[3] противу всего, что удерживает и обуздывает человеческие страсти. Его Альзира энциклопедист, переряженный и довольно неловко в американку. Магомет написан с тем, чтоб выставить напоказ всю пагубность религиозного энтузиазма. Заира, чтоб доказать, как противуестественны некоторые постановления латинской церкви.[4] Не вступаюсь за эти постановления, — но из всего сказанного видишь, каково направление его трагедий и самых даже лучших. — Везде философия 18 века, везде сам Вольтер: природы, действующих ж и в ы х лиц, сердца человеческого — не ищи; они изредка только, почти противу воли автора, являются в стихах, где Вольтер, человек с огромным талантом, забывается, где на минуту из его памяти изглаживается, что он оракул и патриарх своих приверженцев и поклонников. — Не верь, чтобы тот, кто сегодня черен, мог вчера или завтра быть белым. — Впрочем ложные правила нравственные повредили и самой поэтической красоте его трагедий: все они более теоремы, которые хотят д о к а з а т ь то и то, нежели свободные излияния души, не скованной никакими предубеждениями. Удивлялся я уже давно странной цензуре, которой подвергают матушки книги, какие дают дочерям своим или какие отнимают у них. Сто раз случалось мне видеть, что прятали от молодой девушки, как можно далее, иной роман, в котором много любви, восторгов, о х о в и а х о в и глупостей, но вообще нет ничего худого, ничего ложного и вредного. «Il ne faut pas monter la tête à une petite fille»,[5] — говаривали они. Очень хорошо. Но отчего же вы им позволяете и даже приказываете читать и твердить наизусть Заиру, Андромаху, Федру?[6] Разве тут нет любви, да еще какая любовь? — И разве одна любовь вредна сердцу девушки, сердцу человеческому? — Питать страсти конечно не должно; но я испытал и видал часто, что ложные правила гораздо опаснее сильных страстей. — Энту-

[1] «Кандид, или Оптимизм» (1759) — философский роман Вольтера.
[2] добродетель, человечность.
[3] стихи, предназначенные для запоминания
[4] «Альзира» (1736), «Магомет-пророк, или Фанатизм» (1741), «Заира» (1732) — трагедии Вольтера.
[5] Не надо кружить голову маленькой девочке.
[6] «Андромаха» (1667) и «Федра» (1677) — трагедии Расина.

зназма у вас в свете боятся и стыдятся пуще порока. Я согласен, что энтузиаст редко бывает счастлив, т. е. что у вас называют б ы т ь с ч а с т л и в ы м. Но ужели нет большего несчастия для человека того, что свет называет несчастием? — Разочарование, эгоизм, омертвение души — ужели ничего не значат?

Не удивляюсь, что Шамфоров Мустафа [1] тебе не пришел по нутру. — Искренно скажу, что кроме Расина и Корнелева Сида,[2] — все французские, классические трагедии я читал и плакал, да только не потому, чтоб они очень сильно шевелили меня, — а что дóлжно было их почесть. — Что сказать тебе о Жан-Поле? [3] — Не спорю, что есть у него местами кое-что и не совершенно согласное с хорошим вкусом. Но Жан-Поль (человек, а не автор) душа высокая, прекрасная; он обожает все то, что в природе и в человеке божественно, и потому едва ли может быть для вас вредным, особенно, если будете его читать под руководством вашей маминьки. Вдобавок не забудьте, что Жан-Поль писал не для одних девушек и женщин. Иное, что с первого взгляду несколько возмутит вкус и чувство молодые, нежные, — нужно нашему брату старику, которого нервы уже успели притупиться и подают голос только при сильном потрясении. — Должно еще признаться, что вообще немецкие остроты почти всегда несколько натянуты, — а к несчастию Рихтер там, где хочет остриться, самый немецкий немец. Зато возьми места, где он часто Поэт, где увлечен потоком картин, чувств и видений! — Заметь еще, что иное в с в я з и очень хорошо, а в виде отрывка теряет более половины своей силы и значения. В хрестоматии, которая у вас, иное прямо приписано Жан-Полю, что сам он только пересказывает, как толмач своих героинь и героев.

Благодарю вас, душеньки, за халат и одеяло, которые мне шьете. — О брате и его семье здесь не пишу; зато собираюсь тем подробнее поговорить о них в других письмах. —

Целую твои ручёнечки. За вид Смоленска не знаю кому изъявить признательность, тебе ли или Наташе. — Поклон мой Катерине и Надежде Андреевнам. Еще раз, прощай!

Твой старик
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 255.

В письме к другой племяннице Кюхельбекер от разбора французских трагедий переходит к разбору русских.

17. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

Барг‹узин›. 3 марта 1836.

Друг Наташа.

Твое описание Загусинской [4] свадьбы очень, очень мило. Тут пропасть тонких черт и хороших шуток. Поздравляю тебя: у тебя истинное даро-

[1] Шамфоров Мустафа — «Mustapha et Zéangir» («Мустафа и Зеанжир», 1776) — трагедия Шамфора (1741—1794).

[2] «Сид» (1636) — трагедия Корнеля. Кюхельбекер считал Расина и Корнеля, наряду с Мольером, «лучшими, истинными поэтами» Франции (см.: О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. Мнемозина, 1824, ч. II, стр. 39).

[3] Жан-Поль — литературный псевдоним немецкого писателя И.-П. Рихтера (1763—1825), ценившегося Кюхельбекером (см. многочисленные отзывы о Жан-Поле в «Дневнике»).

[4] Загусино — деревня вблизи поместья Глинок — Закупа.

вание для этого роду. Сделай милость, пересылай мне и вперед подобные начерки смоленских нравов и обычаев. Быть может, удосужусь и поменяюсь с тобою кое-чем о причудах и образе жизни жителей благополучного города Баргузина, который, однако, к вашей Духовщине [1] почти в том же отношении, касательно вкуса и просвещения, в каком Духовщина или Москва (тут это почти все равно) — к Петербургу. — Теперь покуда поговорю с тобою о книге, о которой хотел я потолковать в письмах к вам, будучи еще в своей С‹веаборг›ской келье. Первый том так называемого Россiйского Феатра почти последнее, что я читал в Финляндии. — Тут перечел, а отчасти вновь прочел я несколько трагедий Сумарокова. Это, надеюсь, стóит вашего Шамфорова Мустафы. — Так; — но между тем я рад, что следы этого чтения остались, если и не в памяти моей, по кр‹айней› мере в моем дневнике. Разница между Сумароковым и Озеровым вовсе не так велика, как обыкновенно воображают; Княжнина же, Хераскова etc. он далеко превосходит. — Гамлет, напр‹имер›, не из лучших трагедий Сумарокова, но гораздо выше Княжнинского Рослава. Конечно от старика Александра Петровича,[2] воспитанного во всех предрассудках французской старой школы, никто и ожидать не станет, чтоб он передал хоть тень настоящего Шекспировского Гамлета. Однако уж и то хорошо, что его действующие лица не совсем мертвые куклы, что тут есть что-то похожее на страсти, не одни пухлые фразы и порою стихи, которые и теперь могли бы показаться в люди, потому что истинны, а истина не стареет. — У Княжнина же везде и во всяком случае des machines à phrases [3] и только. Вот тебе несколько и стихов:

Гам‹лет›. Арман! в сей час, когда с тобою говорю,
Я тень на облаках в воздушном мраке зрю
И слышу, как она по ветрам возглашает:
«Я стражду, — а мой сын еще не отомщает».

Гертруда терзается угрызениями совести; Арман, которым нашему поэту рассудилось заменить Шекспирова Горацио, говорит ей:

Как грех твой ни велик, его щедрота боле:
. . . глас к небу вознеси
И со смирением прощения проси. . .
Гер‹т›р‹у›д‹а›. Господь из скверных уст молитвы не приемлет, —
Стенанию сердец злодейских он не внемлет.
Арм‹а›н. Взведи к нему свои ты руки и взови!
Гертр‹уда›. Они омочены в супруговой крови.

Трагически, естественно, прекрасно! Это разговор не где-то кого-то с кем-то, в небывалой земле и в небывалое время, а христианина с христианкой, — настоящей, пришедшей в ужас грешницы с человеком, который точно хочет обратить ее к богу. — Во 2 действии Гертруда говорит Клавдию:

Помысли, Клавдий, как всевышний терпелив:
И я жива, и ты еще по всем том жив.

---

[1] Духовщина — уездный город Смоленской губернии; Закюи находился в Духовщинском уезде.
[2] Сумароков.
[3] говорящие автоматы.

А потом Полонию, qui y est la bête noire: [1]

Он терпит, но терпеть когда-нибудь престанет
И в час, когда не ждешь, в твою погибель грянет.

Вот еще кое-что из других трагедий; из Синава и Трувора:

Где должность говорит или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду.

Или:

Наш век есть некий путь, к покою нас ведущий
И зло и благо нам местами подающий;
Хоть что худое в нем, мы все должны сносить
И сладкие плоды и горькие вкусить.

Это конечно сентенции, но они тут кстати и совсем не то, что выкраденные из фр‹анцузских› трагиков vers à retenir [2] в Рославе. Трувор изгнан и прощается с Гостомыслом:

Тебе несчастную любовницу вручаю.
Ты ей отец: храни ты дочь; в ней кровь твоя!
Ты друг мне: в ней душа останется моя.

Надеюсь, что это прекрасно и что не только у Озерова, а и у наших новейших драматургов не слишком много стихов, более говорящих сердцу. — Не извиняюсь, что занял тебя стариком Сумароковым. Вероятно, ты читать его не станешь, а иметь о нем понятие все-таки не мешает. — Не знаю, буду ли теперь так же часто рассуждать с вами о литературе, как доселе. По кр‹айней› мере еще я не привел в порядок своего времени. Занимаюсь кое-чем, довольно и читаю, но почти так же, как Онегин в 8 главе,[3] т. е. вижу строки, а между тем воображением за тридевять земель. Однако пора! а то из рук вон избалуешься. У брата немецкая Etui-Bibliothek; [4] итак примусь за немцев, особенно за стариков, писателей 16 и 17 столетия. Здоровье мое хорошо: февраль прошел для меня счастливо, — а я обыкновенно хвораю в феврале месяце. — Прошу не забывать меня и почаще радовать меня письмами на стать последних твоих. Прошу кланяться всем, кто меня помнит. Обнимаю и целую тебя.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 258.

В тот же день было послано письмо третьей племяннице.

---

[1] как ненавистному человеку.
[2] стихи, предназначенные для запоминания.
[3] Имеются в виду XXXV—XXXVI строфы VIII главы «Евгения Онегина»:

Стал вновь читать он без разбора ...
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко:
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.

[4] Библиотека в футляре.

18. В. К. Кюхельбекер — Ю. Г. Глинке

Баргузин. 3 марта 1836.

Милая Тиня.

Давно я не писал ко всем к вам трем вместе. Между тем было бы почти бессовестно, если бы я не отвечал каждой из вас порознь на ваши любезные письма. Тебя, как обыкновенно, я должен благодарить за известия о родных, друзьях и знакомых. Особенно интересно то, что Прасковья Николаевна в родстве с Зиновьевыми.[1] — Ты говоришь, чтоб я не пересылал к вам стихов, которые я написал вам несколько лет тому назад, потому что вы их нашли в Закупе. Между тем я их уже перед отъездом отправил. Это не мешает. — Сегодня же намереваюсь переписать для тебя первые стихи, которые написал, или лучше сказать, перевел здесь, в Баргузине. Вам когда-то мои келейные произведения, кажется, порою нравились. Желаю подобной участи и тем, которые, — авось даст бог, — напишу и здесь на свободе. — Вот тебе для почину:

Венец небесный

(Легенда, перевод с Гердера)

Нет, богоугодная Премудрость,
Цвет души, не в гордых, праздных думах,
А в трудах, полезных человекам,
А в самозабвении смиренном.

Много размышляв о серафимах,
Много и глубоко о Фаворе,
Возмечтал отшельник Пиотерий,
Будто славен и велик пред богом.

И объемлет сон его незапный,
И во сне ему вещает ангел:
«Пиотерий, поспеши в Тавенну:[2]
Там увидишь, на кого всевышний
Возложил венец небесной славы!»

Он восстал и поспешил в Тавенну,
И его игуменья встречает,
Девы инокини вместе с нею.
Им пустынник молвил: «Здесь не все вы;
Той не нахожу, которой образ
Ангел мне явил в святом виденьи». —

«Нет одной, — игуменья сказала; —
Но безумна, — нас почти бесчестит:
Самый низкий труд ей — наслажденье;
День и ночь служить она готова
Всем, хотя бы был то жид или язычник.
Имя ей юродивой мы дали;
Нам она едва и отвечает,
Только вечно весела и втрое,
Если кто окажет ей презренье».

[1] Зиновьевы — Устинья Васильевна (ум. в 1897 г.), Петр Васильевич (1812—1868) и Павел Васильевич (1818—1871) — родственники Брейткопфов, близкие друзья семьи Кюхельбекеров. Петр Зиновьев, с конца 1830-х годов неоднократно приезжая в Сибирь по служебным делам, тайно навещал ссыльных декабристов, привозил им письма и деньги от родных.

[2] В Тавенне (Tabennia) в Египте был девичий монастырь. (Примечание Кюхельбекера. — *В. О.*).

«Призовите!» — говорит отшельник,
И предстать ему ей повелели.

В ризе грубой, бедной Порфирита,
Покрывала нет, распущен волос,
Лишь опрятность украшенье девы.

Что ж? пред ней склонил колена старец:
Лик ее сиял сияньем дивным,
Тем, который он узрел в виденьи:
Чистотой, смиреньем и любовью.

И он рек: «Благослови, святая!
На тебе венец небесной славы».

У Гердера эта легенда несколько длиннее; я конца не перевел, потому что он мне показался лишним. — Безрифменный размер подлинника я сохранил, чтоб вместе с тем не удалиться и от его безискусственной простоты.[1] — В письмах моих к Наташе и Саше рассуждения о литературе; зато они немного и пространнее этого. В замену я хотел тебя угостить блюдом собственной стряпни. Не знаю: в выигрыше ли ты?

Сердечно радуюсь, что вы принялись за Закупский сад. Он и прежде был хорош; теперь воображаю, что будет еще лучше.

Ухаживайте особенно за розами: я их, смерть, как люблю. — Здесь, вероятно, никогда не увижу ни одной: потому и надеюсь, что перешлете мне портрет одной из ваших. Я его вставлю в рамку и повешу в своей комнате. — Adieu.[2]

Целую тебя.
Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 260.

Упоминаемая в этом письме Прасковья Николаевна — Ахвердова (ум. в 1851 г.), вдова начальника артиллерии Отдельного Кавказского корпуса генерала Ф. И. Ахвердова, близкая приятельница А. С. Грибоедова. Кюхельбекер познакомился с П. Н. Ахвердовой в бытность свою в Тифлисе в 1822 г. Впоследствии, живя в Петербурге, П. Н. Ахвердова поддерживала тесные отношения с семьей Кюхельбекера. В крепостном дневнике 1832 г. Кюхельбекер записал: «Получил письмо от матушки. . . Бесценно для меня то, что она тотчас посетила друга моего — Прасковью Николаевну Ахвердову, как только узнала, что Ахвердова в Петербурге; могу вообразить их разговор! не раз они тут помянали и моего Грибоедова, в этом нет сомнения. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним жил в Тифлисе — сколько перемен!».[3]

* * *

Вскоре тон и содержание писем Кюхельбекера резко меняются. Надежды, с которыми ехал он в Сибирь, улетучиваются с каждым днем, сменяются жестокими разочарованиями. Настойчивые просьбы хлопотать о разрешении печататься (под псевдонимом «Гарденко»),[4] которыми Кюхельбекер забрасывает родных, ни к чему не приводят. С такими же просьбами он обращается и к Пушкину, соглашаясь писать для его «Современника» по 24 печатных листа в год, кроме мелких стихотворений, и надеясь, что Пушкину удастся получить дозволение напечатать поэму «Юрий и Ксения».[5]

---

[1] Письмо позволяет уточнить дату стихотворения «Венец небесный»: в собрании стихотворений Кюхельбекера оно помечено неточной датой: 1830-е годы (см.: Лирика и поэмы, стр. 466).

[2] Прощай.

[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 38.

[4] Под этим псевдонимом были без разрешения напечатаны три больших стихотворения Кюхельбекера в «Библиотеке для чтения» в 1834 и 1835 гг.

[5] Пушкин, Переписка, т. III, стр. 360—361. Рукопись «Юрия и Ксении» была послана Пушкину 5 августа 1836 г. (см. ниже — письмо № 19).

Тут было не только естественное желание писателя, страстно преданного своему делу, довести свое творчество до читателя, но и материальный расчет. Литература могла быть для Кюхельбекера единственным, по существу, источником средств существования. Физически слабый, болезненный, истощившийся за десять лет крепостного заключения, он был неприспособлен к тяжелому труду, которым кормились ссыльные. В первые же недели пребывания в Баргузине он убедился в своей беспомощности и очень огорчался, что не может реально помогать брату, целиком погруженному в хозяйственные дела. Михаил Карлович оказался человеком практической складки. Все деньги, получаемые от родных, и те, которые умудрялся сам зарабатывать, он вкладывал в свое хозяйство. Сверх отведенного ему казенного надела, он своими руками расчистил и обработал 11 десятин земли,[1] построил избу со службами, завел 13 голов скота, занимался рыбной ловлей. Вильгельму Карловичу все это было не под силу. Он старался быть полезным, таскал из лесу бревна, работал в поле, но все у него валилось из рук.

В жизни Кюхельбекера наступает пора тяжелой нужды, повседневной борьбы за существование, беспокойства о куске хлеба и о крове над головой. Живет он в бане, в условиях, исключающих возможность заниматься творческим трудом. Положение нахлебника в семье брата становится для него невыносимым. Он глубоко страдает от грубости и косности окружающей его среды; в частности, осложняются его отношения с невесткой — Анной Степановной, которая по первому впечатлению показалась ему «доброй, простой женщиной».

Отягощенный заботами, предоставленный самому себе, втянутый в мелочные житейские дрязги, Кюхельбекер начинает ж а л е т ь о своей крепостной камере. «Ты хочешь, чтоб я тебе говорил о самом себе, — пишет он Пушкину 3 августа 1836 г. — Н ы н е это мне еще совершенно невозможно: в судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду, куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрыпу замков, ни шопота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своем уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчет людей и того, что можно от них требовать. . .».[2]

Эта же тема разочарования в «воле» и сожаления о «заточении» красной нитью проходит сквозь сибирскую лирику Кюхельбекера. В тюрьме поэта, по крайней мере, не покидало «святое вдохновенье»:

Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфрапл. . .

Здесь же — погинулась «вялых дней безжизненная нить», и —

. . . бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты. . .

«Вопль глухой нужды» звучит во всех последующих письмах Кюхельбекера. В первом, которое мы публикуем, — к Нат. Г. Глинке, — он сравнивает себя с Овидием, в изображении Пушкина (в «Цыганах»), — с Овидием, забытым и беспомощным в своей ссылке. Этот мотив, очевидно полюбившийся Кюхельбекеру, потом повторяется в другом письме к Нат. Г. Глинке, от 14 марта 1838 г.: «Я не Овидий, но здесь точь в точь похож на Пушкинского Овидия между цыганами. — Прав Пушкин,

не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.

И про меня непременно будут здесь говорить:

Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди для него
Зверей и рыб ловили в сети.
. . . . . .
И он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог».[3]

---

[1] Б. К у б а л о в. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925, стр. 81.
[2] П у ш к и н, Переписка, т. III, стр. 359.
[3] Лирика и поэмы, стр. LXIX.

19. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

5 августа 1836 года.

Друг милый Наташа.

Ты расспрашиваешь меня про Анну Степановну:[1] чего в ней недостает, увидишь, когда прочтешь письмо мое к твоей матушке. Впрочем у ней много и хорошего, а главное любовь искренняя и, могу сказать, горячая к мужу; сверх того неограниченная к нему доверенность, которую он и вполне заслуживает. — Грамота ей что-то не дается: до сих пор все было некогда то ей, то мне. Но скоро я переберусь совсем к ним, и тогда увидим. — И мне она довольно предана: это я видел напр‹имер› на днях, когда против ее ожидания, оставив лошадь на сенокосе, воротился довольно усталый домой пешком: она в тот вечер меня истинно тронула своею заботливостию. — Впрочем, я здесь точь в точь Пушкинский Овидий, о котором цыгане рассказывают, что он ровно ни за что не умел приняться. — Благодарю вас, милые мои, за ваш щегольский халат: я теперь в нем пишу к тебе. Одно только: он слишком для меня хорош. — За одеяло я также целую ваши ручки. А затем опять просьба: месяца четыре тому назад матушка прислала мне чулки; к несчастию прачка изволила их утопить почти все в реке, так что теперь опять и я и брат почти босы. — Снабдите же нас, друзья мои, опять носками, которых здесь не купишь ни за какие деньги.

С трепетом, друг мой, отправляю сегодня одно из любимых чад моих к Пушкину в Петербург, а именно Ксению. Дойдет ли? — Я ее очень сократил: из второй песни выкинул около 100 стихов; из других вместе по кр‹айней› мере столько же. Впрочем черновая у меня и, если Ксения доживет до второго издания, кое-что опять восстановится. — Que fait votre Zacoup?[2] У нас работы вдоволь: завтра отправлюсь с бабами на жатву; j'y prendrai sur moi le rôle d'Anna Степановна, qui est maintenant hors d'état d'inspecter ces travaux. — Si dieu lui donne un petit ou une petite, je prendrai Annette chez moi et alors je ferai le métier de bonne. — Elle est jolie, comme tout et ressemble beaucoup plus à votre mère, qu'à nous autres: elle a même quelqu'unes de ses manières, par exemple elle hausse sa tête tout-à-fait comme Юстина Карловна, quand elle va à la rencontre de quelqu'un. C'est dommage, qu'elle ne parle pas encore: elle voudrait dire tant de choses. — Il vous embrasse, ma chère, ma bonne amie, et aussi vos soeurs de tout mon coeur.

Votre ami
Guillaume.[3]

Р. I, оп. 12, № 258.

Осенью 1836 г. Кюхельбекер пришел к мысли о необходимости как-то наладить свою личную жизнь.

---

[1] Жена М. К. Кюхельбекера (см. выше, стр. 58).

[2] Что делает ваш Закуп?

[3] Я возьму роль Анны Степановны, которая теперь не в состоянии наблюдать за работами. Если бог пошлет ей маленького или маленькую, я возьму к себе Анюту и буду исполнять обязанности няни. Она очень мила и походит на вашу мать больше, чем на всех нас: у нее есть даже некоторые ее манеры, например она поднимает голову совершенно как Юстина Карловна, когда идет к кому-нибудь навстречу. Жаль, что она еще не говорит: она хотела бы сказать так много. Целую вас, моя дорогая, мой добрый друг, а также ваших сестер от всего сердца.

Ваш друг
Вильгельм.

В свое время у него была невеста — Авдотья Тимофеевна Пушкина (по некоторым свидетельствам, родственница А. С. Пушкина). Познакомились они в 1822 г., свадьба несколько раз откладывалась из-за необеспеченности и неустроенности Кюхельбекера. В 1832 г., из крепости, он справлялся у родных о невесте, передавал ей привет и возвращал свободу.[1] Тем не менее, в Сибири у него снова возникла надежда на возможность брака с А. Т. Пушкиной. До нас дошло известие, основанное, несомненно, на семейном предании, что Кюхельбекер «сохранил к невесте своей чувство глубокой любви. . . и, прибыв в Сибирь, вызывал ее туда; но Авдотья Тимофеевна, также очень его любившая, по слабости характера не решилась разделить судьбу поселенца».[2]

9 октября 1836 г. Кюхельбекер известил мать о том, что намерен жениться на Дросиде Ивановне Артеновой — молоденькой (род. в 1817 г.) дочери баргузинского почтмейстера, — предупреждая, однако, что это «не роман».[3]

Дросида Ивановна, по семейной версии, была девушкой, «одаренной добрым сердцем и настолько здравым смыслом, что старалась войти в исключительное положение мужа и всегда была для него доброй, любящей и внимательной женою».[4] Версия эта нуждается, по меньшей мере, в уточнении. Семейная жизнь Кюхельбекера оказалась отнюдь не идиллической — и не только из-за вечной нужды, но в значительной степени также из-за некультурности, мещанских повадок и сварливого характера жены. Дросида Ивановна была неграмотна (подписывалась крестом) и «мужиковата» (по словам знавшего ее И. И. Пущина). Кюхельбекер настойчиво и увлеченно занялся ее воспитанием, научил грамоте, но по всей видимости так и не сумел приобщить ее, хотя бы отчасти, к своим духовным интересам. В 1842 г. он записал в дневнике, адресуя свои строки к сыну: «. . . научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ты ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя».[5] Впрочем, в другом месте он отозвался о жене гораздо мягче: «Хотя жена не всегда меня понимала, я всегда отдавал справедливость многим ее прекрасным качествам».[6]

Свадьба состоялась 15 января 1837 г. В период своего жениховства Кюхельбекер, со столь свойственной ему способностью увлекаться, идеализировал свою невесту, поэтически рисуя ее облик — и в собственном воображении, и в письмах к близким. Так, например, 18 октября 1836 г. он писал о ней Пушкину в таком восторженном тоне (вспоминая при этом героиню комедии Шекспира «Много шуму из ничего»): «Grande nouvelle![7] Я собираюсь — жениться; вот и я буду Benedick the married, а моя Beatrix почти такая же little shrew, как и в Much Ado старика Willy.[8] — Что-то бог даст? Для тебя, Поэта, по крайней мере важно хоть одно, что она в с в о е м роде очень хороша: черные глаза ее ж г у т д у ш у; в лице что-то младенческое и вместе что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие».[9] В посланном Пушкину при письме стихотворении «19 октября» (на лицейскую годовщину) затронута волновавшая Кюхельбекера тема поздней любви и запоздалого личного счастья:

И, друг, хотя мой волос побелел,
А сердце бьется молодо и смело,
Во мне душа переживает тело; —
Еще мне божий мир не надоел.
Что́ ждет меня? Обманы — наш удел.
Но в эту грудь вонзилось много стрел,
Терпел я много, обливался кровью. . .
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

К этим строкам Кюхельбекер сделал приписку: «Размысли, друг, этот последний вопрос и не смейся, потому что человек, который десять лет сидел в четырех стенах

---

[1] Лирика и поэмы, стр. LXVII.
[2] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 348.
[3] Лирика и поэмы, стр. LXVII. Ср. в письме Кюхельбекера к В. А. Жуковскому от 24 мая 1838 г.: «Я женился, потому что я христианин, потому что в жилах моих кровь горячая, потому что не понадеялся я на себя; а спотыкнуться после 10 лет затворничества было бы уже из рук вон» (Русский архив, 1871, стбц. 0176).
[4] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 353.
[5] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 283.
[6] Русская старина, 1875, т. XIII, стр. 353.
[7] Большая новость!
[8] Бенедик, женатый человек, а моя Беатриса почти такая же маленькая строптивица, как и в «Много шуму» старика Вилли.
[9] П у ш к и н, Переписка, т. III, стр. 385.

и способен еще любить довольно горячо и молодо, — ей богу! достоин некоторого уважения».[1]

Переживания и размышления, связанные с предстоящей женитьбой, соображения о будущем воспитании жены и детей и беспокойство о том, чем их прокормить, — и составляют содержание следующих трех писем Кюхельбекера к племянницам и к сестре Юлии Карловне, написанных накануне женитьбы, в октябре—декабре 1836 г.

20. В. К. Кюхельбекер — А. Г. Глинке

19 октября 1836.

Друг Саша. — С неделю или, быть может, и более я получил твое милое письмецо — и поныне не отвечал на него. — Хлопоты, о которых распространяться не стану, но причину которых ты вероятно уже знаешь, — причиною этой оплошности. — Je suis, ma bonne amie, sur le point de faire une grande folie; [2] да кто же избегал когда судьбы своей? — Если бы я нашел здешних людей мне близких несколько иначе, если бы меня не разделяли с ними вкусы и понятия, совершенно противоположные моим, я, поверь мне, никогда бы не думал о связи, которая — искренно сказать — меня несколько пугает.— Но мои требования довольно умерены: в мою пользу молодость и неиспорченность той, которую я выбрал в товарищи остатка своей жизни. — Впрочем повторю то же, что уже сказал Емилии Феодоровне: [3] не берусь за настоящее воспитание будущей жены своей; 19 лет не шутка; дай-то только бог, чтоб хоть в дочери взростил я себе друга, существо, которое бы понимало меня, любило и было в состоянии участвовать в м о и х скорбях и радостях. Парней отдам их дяде: пусть будут тем, что з д е с ь может составить их счастие.

Любовь отца к дочери уступает разве только самоотвержению, с которою ‹sic› мать и одна только мать в состоянии любить единственного сына. Если и есть что романическое в моих нынешних мечтах, то все в будущем. Жену свою я только желаю поставить на такую ногу, чтоб она не мешала мне. — Что пишу к тебе, — быть может, покажется иному и смешным, — но, друг, не смейся: мне нужно сердце, которое бы было отголоском моего собственного. Сверх того я уже дал себе обещание, что mon enfant de prédilection [4] не останется здесь. Рано или поздно я ее отправлю к вам — и она будет новою связью между вами и вашим изгнанником: — в этом случае принесу жертву тяжкую, но необходимую ее счастию. — Сестрам твоим буду писать в другое время; а между тем целую их и тебя и целую ручки твоей маминьке. — Прости.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 255.

21. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

11—‹12› нояб‹ря› 1836 года.

Друг Наташа. — Я у тебя в долгу: сегодня отвечаю на два письма, которые от тебя получил непосредственно, одно после другого.

---

[1] Пушкин, Переписка, т. III, стр. 386—387.
[2] Дорогой друг, я готов совершить большое безумство.
[3] Брейткопф.
[4] мое любимое дитя.

Не понимаю, милый друг мой, с чего ты взяла, что не хочу говорить с тобою о литературе. Напротив: я тебя прошу, позволь мне о ней беседовать с тобою попрежнему, а буде можно, и чаще прежнего. — Шутки брата насчет вашей учености ты также поняла криво: он только шутил, не более. Что касается лично до меня, я высоко ценю и уважаю истинно образованную женщину и всегда негодовал на глупую систему, в силу которой непременно хотят, чтоб вы были вечно младенцами. — Наши жены, настоящая брата, а моя будущая, совсем иное дело: образовать их слишком поздно; но по кр‹айней› мере я желаю, чтоб хоть одна дочь, если бог мне даст детей, была мне истинным другом и была в состоянии вполне понимать душу своего отца. — Ты, может быть, любезная Наташа, заранее за меня пугаешься при мысли, что женюсь на девушке без всякого образования и что даже не хочу и надеяться образовать ее со временем. — Но, если и отказываюсь напр‹имер› выучить ее грамоте, это не значит, что стану пренебрегать развитием в ней всего могущего быть средством, чтоб сделать из нее хорошую христианку и добрую жену: а это всего важнее. — Главным моим правилом в рассуждении жены будет оставлять ее, как можно менее, праздною; — а при ее врожденном трудолюбии и при нашем хозяйстве это будет легко. Сверх того она охотница слушать сказки, а под видом сказок можно будет ей передать и кое-какие правила. — Если у вас есть le Magazin des Enfants,[1] вы меня обяжете, когда перешлете мне его: этою книгою я намерен руководствоваться. При помощи божией, она узнает от меня священную историю и учение евангельское: будет с нее покуда и этого. Утешает меня великая ее охота расспрашивать о том, о другом, о третьем: вопросы-то ее истинно младенческие, но они все-таки показывают охоту узнать кое-что. — Но полно: я с некоторого времени слишком много надеюсь; не худо вспомнить о прежних своих неудачах, чтоб приготовиться к новым, если господу угодно будет послать их мне.

Мои занятия? Надеюсь и желаю приняться опять за что-нибудь, а между тем откровенно признаюсь, что я шибко изменился. — Прерываю письмо свое; завтра прибавлю еще кое-что.

12 ноября. Ты знаешь, что у меня теперь крестница, Тининька,[2] дочь брата. — Анна Степановна[3] теперь несколько напоминает мне вашу матушку, когда она сама кормила грудью Сашу,[4] а я приходил к вам в Павловске из Царского Села. По моей просьбе Анна желает ребенка сама вскормить; только та беда, что малютка не берет груди. Увидим, — кажется придется приняться за рожок.

Между тем скажу, что не знаю на земле ничего святее матери, питающей грудью младенца своего. — Это зрелище всегда исполняло меня благоговения, всегда умиляло меня и, если бы я был способен к вражде и мщению, жена моего врага с младенцем у груди среди самого жестокого пыла негодования и ненависти могла бы остановить руку и волю мою. — Целую тебя, друг мой Наташа; кланяйся своим сестрам и обними их от меня.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 258.

---

[1] «Детский магазин».
[2] Дочь М. К. Кюхельбекера — Юстина, родившаяся 2 ноября 1836 г.
[3] Жена М. К. Кюхельбекера.
[4] Александра Григорьевна Глинка.

22. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Кюхельбекер

31 декабря 1836.

Милый друг Julie. — От многого, к чему я привык в заключении, я здесь по необходимости отстал. Вот почему и радуюсь, что могу исполнить хоть то, что вменял себе в долг в конце каждого года, т. е. пишу к вам. — Ныне о многом я должен известить тебя.

Раз: — если вы точно желаете, чтоб я женился, — знайте, что 15 января будет, только бы было угодно богу, моя свадьба с Дросидой Теновой ‹sic› (которую — прошу par parenthèse [1] — звать просто Дронюшкой и т ы, а не в ы, если удостоишь ее писать к ней).

О своей дикарке скажу, что она хорошенькая, добрая девушка, что ей 19 лет, но вот и всё. — Ростом она почти с тебя; глаза черные, зубы белые, как слоновая кость, а личико совершенно детское. — Теперь финансы: за нею беру, разумеется, — нуль.

Свадьба, как ни жмись, все мне будет стоить около 100 рублей; 50 рублей я был должен прежде, а дом, который купил я, обошелся мне недостроенный в 450; достройка обойдется мне по смете брата рублей в 300. — Итак, мой друг, всячески мне в первую половину года необходимы 1000 рублей. — Сделай милость, одолжи мне их взаймы, а сверх т о г о н е ч а с т и ц а м и, но в раз. — Qui veut le but, veut les moyens:[2] — если т о ч н о желаете, чтоб я женился, — доставьте мне средства жить, и не займами, не подарками, а выхлопочи мне позволение кормиться своим ремеслом. Напиши великому князю; [3] употреби все средства, какие знаешь, но употреби их д е й с т в и т е л ь н о, а не томи меня, мой друг, обещаниями. — Извини, что пишу к тебе откровенно. — Роман,[4] о котором пишешь, можно со временем в самом деле отработать. — Но кроме того: у меня готовых сочинений по крайней мере на 10 000 рублей; да пользы в них мало, если им суждено пролежать на моем письменном столе.

Обнимаю и целую тебя и желаю тебе всякого счастия к новому году.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Брат, обе Анны [5] и Тининька [6] здоровы и целуют тебя. — À propos,[7] — пришли мне фуражку.

С следующею почтою пришлю тебе рукопись. Только дойдет ли? — Отселе эта третья.

Р. I, оп. 12, № 262.

***

«Романтические мечты», в которых признавался Кюхельбекер, в последнем письме, как видим, снова уступают место прозаическим расчетам. Женитьба заставила его с еще большей настойчивостью просить о дозволении «кормиться своим ремеслом».

9 октября 1836 г., т. е. в тот самый день, когда он известил мать о решении жениться, Кюхельбекер обратился с официальным письмом к Бенкендорфу. Здесь он писал: «Я подал просьбу о дозволении мне жениться на любимой мною девушке.

[1] в скобках.
[2] Кто желает цели, тот желает средств.
[3] Имеется в виду в. кн. Михаил Павлович (см. выше, стр. 28).
[4] «Итальянец», начатый в 1832 г., законченный в 1842 г. и в окончательной редакции получивший другое заглавие: «Последний Колонна» (издан в 1938 г.).
[5] Жена и дочь М. К. Кюхельбекера.
[6] Дочь М. К. Кюхельбекера.
[7] Кстати.

Я должен буду содержать жену, но следует вопрос: каким образом? Рана пулею в левое плечо [1] и недостаток телесных сил будут мне всегдашним препятствием к снискиванию пропитания хлебопашеством или каким-либо рукоделием. — Осмеливаюсь прибегнуть к вашему снятельству с просьбою оказать милость исходатайствованием мне у государя императора дозволения питаться литературными трудами, не выставляя на них моего имени». В заключение Кюхельбекер писал, что будет ожидать ответа «с чувством страха», которое должно быть понято как «последствие столь многих несбывшихся надежд».

Дозволения не последовало. На прошении Кюхельбекера стоит короткая резолюция: «Нельзя».[2]

Отказ произвел на Кюхельбекера весьма тяжелое впечатление. Но как раз в это время стало известно, что в Сибирь едет путешествующий по России наследник (впоследствии Александр II). Известие это пробудило множество надежд в сосланных декабристах, — распространился слух о предстоящей в связи с приездом наследника амнистии. Кюхельбекер возлагал особые надежды на В. А. Жуковского, находившегося в свите наследника

Жуковский был убежденным монархистом, и ни о каком сочувствии его политическому делу декабристов, разумеется, говорить не приходится. Однако в силу своих религиозно-моральных убеждений, повинуясь внушениям своей совести, он склонялся к христианскому прощению «преступников», филантропически радел о них и в меру своих возможностей пытался облегчить их положение. Под влиянием советов Жуковского наследник направлял Николаю I робкие просьбы «облегчить судьбу несчастных». Сам Жуковский в письмах к императрице, делясь своими впечатлениями о декабристах, виденных им в Кургане, преднамеренно и преувеличенно сообщал об их «раскаянии» и «кротости», «смиренной покорности судьбе своей и якобы полном «признании вины». Все это писалось, разумеется, в расчете на то, что станет известно Николаю I. Жуковский даже отважился обратиться непосредственно к царю. В обширном письме от 8 июня 1837 г. он верноподданнически «повергнул к стопам» Николая «некоторые мысли» касательно декабристов, играя как на самолюбии, так и на «великодушии» царя и обосновывая свои соображения с точки зрения интересов самого самодержавия. «Государь, даруйте всепрощение несчастным, осужденным и достойно наказанным по заговору 1825 года, — писал Жуковский. — Пускай этот акт, в котором выразится самодержавие во всей свойственной ему красоте и силе, ознаменует первое посещение Сибири сыном царским».[3]

Николай I не отказал себе в удовольствии выказать «милосердие»: 22 июля 1837 г. был издан указ Сенату, объявляющий, по ходатайству наследника, «некоторые облегчения и милости» тем политическим ссыльным, которые заслужили их своим «поведением». Милости были ничтожны и декабристов коснулись лишь в самой незначительной мере. Только очень немногим из них были сокращены сроки наказания, а «наименее виновным» было разрешено вступить либо рядовыми в войска Кавказского корпуса, либо (вследствие слабости здоровья и по рекомендации местного начальства) — в гражданскую службу в Сибири.

Кюхельбекер, осужденный по I разряду, к числу «наименее виновных» не принадлежал, и никаких «облегчений» для него не воспоследовало.

Тем не менее он все еще не терял окончательно надежды на помощь со стороны Жуковского и из года в год со все возрастающей настойчивостью обращался к нему с прежней просьбой. В мае 1838 г., апеллируя к дружбе, которой «удостоивал» его Жуковский с 1817 г., и к памяти Пушкина, он писал: «Исходатайствуйте мне позволение вырабатывать хлеб насущный литературными безъименными трудами. . . Теперь речь не о славе, о которой хлопотал я, когда переслал вам — помните ли? — из Смоленской губернии своих Аргивян; а, повторяю, о хлебе насущном».[4] И на сей раз просьба осталась безрезультатной.

Через год Кюхельбекер опять пишет Жуковскому. Тот переслал просьбу его Бенкендорфу и со своей стороны поддержал ее: «Мне кажется, что было бы несправедливо отказать в этом Кюхельбекеру».[5] Однако отказали. Николай I на докладе Бенкендорфа написал: «Дослужил ли он до офицерского чина?». Резолюция была вполне бессмысленной, ибо Кюхельбекер не состоял на военной службе (в данном случае память изменила Николаю, который прекрасно помнил все, что касалось его «друзей 14 декабря»). Когда царю доложили, — как и следовало ожидать, — что Кюхельбекер до офицерского чина не дослужил, — «высочайшего соизволения» на его прошение не воспоследовало.

---

[1] Очевидно, последствие дуэли с Н. Н. Похвисневым в Тифлисе, в 1822 г.
[2] Русская старина, 1902, т. 110, апрель, стр. 96—97.
[3] Там же, стр. 101.
[4] Русский архив, 1871, I, стбц. 0174—0176.
[5] Русская старина, 1902, т. 110, апрель, стр. 107.

Между тем Кюхельбекеру в эти годы жилось все труднее. Кое-как он наладил свое хозяйство, но вел его плохо, неумело. Его одолевала нужда, он входил в неоплатные долги. Жизнь осложнялась неладами с невесткой, с родней жены (тесть вымогал у Кюхельбекера деньги), неуменьем и нежеланьем приспособиться к окружающей мещанской, торгашеской среде. В эти годы Кюхельбекер почти ничего не пишет; изредка только поправляет и дорабатывает старое. Утрата творческой энергии переживается им очень тяжело. Страшным ударом была для него смерть Пушкина. Письма его к родным полны горьких сетований на суровость судьбы. «Прозябаю, а не живу,— пишет он в октябре 1837 г. — Нам выпал нынче не красненький годочек. Все не удается и везде горе. Утешает меня только добрая жена, но при мысли и об ней забота сосет сердце. Часто гляжу я на портреты моих покойных друзей. . . Постыло мне в свете: мочи нет, как долго живу; дожить до хорошего едва ли удастся».[1] В другом письме он признается, что, если бы был эгоистом, то просил бы правительство снова его «запереть», но, имея на руках жену, «может только молить бога о заточении».[2]

Из-за беспрерывных засух в Баргузине три года сряду случались неурожаи. Зима 1837/38 г. была очень тяжела, а следующие — еще тяжелее: не было ни хлеба, ни сена, начался падеж скота. У Кюхельбекера нехватает средств закончить постройку дома, живет он в какой-то каморке.

Всеми этими обстоятельствами определяются, в основном, темы и содержание следующих шести баргузинских писем.

23. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

1 июня 1839 года.

Милый друг Наташа.

Твое февральское письмецо меня обрадовало, но вместе и опечалило: пишешь, что немогла; — слава богу, что выздоровела, да от чего мне не писали, что ты была больна? Радуюсь, что виделись вы с Борисом Григорьевичем.[3] Очень благодарен ему за участие и ласки, какие оказывал он матушке. — Помнит ли еще меня?

Мы в своем Баргузине почти перетерпели очень тяжкий год: не было ни хлеба, ни сена; скотина наполовину примерла. Теперь уже идет, кажется, к лучшему; вот почему и написал я: *почти перетерпели*. Скот стал поправляться; хлеба обещают привезти, и надежда хоть не питает, по крайней мере поддерживает. — Между тем дошло до того, что выдают из запасного магазейна только по 10 фунтов, по ½ пуда, и не свыше 30 фунтов на семью. Но, слава богу, есть хоть рыба, да уже и молоко: с голоду не умрем. — К нам с братом бог был милостив: у него пала только одна корова, а у меня кобыла выкинула; прочий наш скот цел. — Высеял я нынешний год 6 пудов пшеницы, 3 ярицы (яровой ржи) и 2 ячменю. — Всходы хороши, да завелся какой-то червь по полям и покосам, который очень вредит растениям.

Однако не станем терять надежды: не до конца же бог на нас прогневался.

Наташинька, друг мой! Вот, кажется, самая прозаическая проза; но надобно же рассказать тебе кое-что и поэтическое. Сеял я из половины, т. е. семена мои, труды моего товарища, крестьянина Уринского селения, а жатва пополам. — Сеяли мы пшеницу 1 мая рано поутру, только что солнышко взошло; нас на обширной Читканской равнине было только четверо: я, он с братом и сестрою. Горы освещались самым прекрасным бледнорозовым цветом; кругом глубокое молчание — и вдруг перед началом посева мой товарищ стал креститься на восход солнца,

---

[1] Лирика и поэмы, стр. LXVIII.
[2] Там же.
[3] Глинка, племянник Кюхельбекера.

я и брат его и сестра также, он стал кланяться в землю, мы за ним. Признаюсь, давно никакая молитва не производила на меня такого впечатления: мне казалось, что ожило время патриархов, время Авраама, когда под открытым небом приносили жертву всемогущему.

Благодарю тебя, мой друг, что ты всякий раз шлешь поклон моей Дроне! Этот знак внимания, поверь мне, мне очень дорог. — Вот и просьба: шапочки, которые Вы мне прислали, и которые я, в числе детских вещей, получил уже, когда моего Фединьки [1] не стало, я против воли жены раздал; теперь она опять беременна, — так сделай милость, пришли хоть две такие же: авось бог даст, что и моему дитяти приведется носить вашу работу!

Михайла Карловича дети очень милы: наша большая фаворитка — Тиня; но я насчет Анпушки все же часто спорю с женою: не знаю, почему мне этого ребенка так жаль. — Она и теперь немножко в загоне: один отец к ней не переменился; il l'aime comme ses yeux.[2] Прежде ее баловали, а теперь часто очень несправедливо ей предпочитают Тиню. — Das arme Kind hat etwas stilles und sinniges, was sie sehr rührend macht: sie wird, glaube ich, nicht glücklich werden.[3] Тинюшка, напротив, бойдевка: здоровая, решительная, веселая, tant soit [4] упряма, т. е. что французы называют maitresse-fille.[5] За нее нечего бояться. In meinen Augen ist die Aelteste schöner, die jüngste hübscher.[6] Я ныне не живу в своем доме: у меня выштукатурили, да еще сохнет. — В огороде я посадил 12 гряд картофелю, гряду моркови, гряду свеклы, гряду горчицы; капусты, огурцов, табаку я еще не садил. С полдюжины гряд я сам вскопал; прочие с найма по 15 копеек за гряду. — Весна у нас была довольно мокрая; но теперь сухие, сильные ветры и дождя недели с три как нет.

Прочел я недавно Ревизора. Я от этой комедии ожидал больше. Веселости в ней довольно, но мало оригинального: это довольно недурная Коцебятина и только. — Горе от ума и Недоросль, по моему мнению, не в пример выше. Даже кое-какие пиэсы Шаховского, а между фарсами Хвастун и Чудаки Княжнина чуть ли не требовали большего таланта и соображения. — Только язык, который бракует Библиотека и даже Современник, мне показался довольно легким и даже правильным. — Впрочем нам ли, сибирякам, судить о легкости языка? — Прости, обнимаю тебя и сестриц твоих.

Твой друг
В. Кюхельбекер.

Р. I. оп. 12. № 258.

Отзыв о «Ревизоре», свидетельствующий о полном непонимании Гоголя, объясняется известной законсервированностью литературных вкусов и мнений Кюхельбекера, до конца оставшегося на своих исходных эстетических позициях. В целом ряде случаев он принимал и восторженно приветствовал молодую литературу тридцатых—сороковых годов, — так, например, он очень высоко оценил лирику и роман Лермонтова, заинтересовался стихами Хомякова, Кольцова и Огарева и т. д. Но реализм Гоголя оказался недоступен Кюхельбекеру по самой природе его романтических взглядов на искусство, как это случилось и с другими русскими романтиками, сформировавшимися в 1820-е годы (ближайший пример — Николай Полевой).

[1] Первенец Кюхельбекера (родился мертвым 12 июня 1838 г.).
[2] он ее любит как зеницу ока.
[3] В бедном ребенке наблюдается нечто тихое и задумчивое, что придает ей трогательный вид. Я думаю, что она не будет счастлива.
[4] порядочно.
[5] бой-девка.
[6] На мой взгляд, старшая красивее, младшая милее.

Этот упрямый романтизм, в высшей степени характерный для Кюхельбекера в течение всей его жизни, определял собою не только его художественные вкусы и литературные убеждения, но своеобразно окрашивал и отношение его к жизни, к людям, служил для него своего рода нормой и правилом — даже в сфере житейской, бытовой. Выразительным примером этого является следующее письмо Кюхельбекера, в котором он жалуется на «отсутствие поэзии в брате» (к тому времени между ними начались трения, чем и объясняются упреки Вильгельма Карловича по адресу брата за то, что он, якобы, отчуждается от него).

24. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

10 июня 1839 года.

Друг Наташа.

В день моего рождения пишу к тебе, мой милый друг, из нашей глуши, из стороны, в которой никто, ровно никто не хочет знать: примечателен ли этот день для меня или нет. — Тот, с кем бы я всего больше желал разделить подобные дни, всего меньше на этот счет со мною одного мнения. Он не любит, он сердится, если напр<имер> даже его жене скажешь: вот именины, вот день рождения брата. — Своей жене я и сказал бы, что сегодня верно обо мне вспоминают в Петербурге: но для нее не существует мое минувшее. — Брата особенно в подобных случаях мне жаль, не могу сказать, как жаль. Им совершенно овладел тот дух отрицания, который издевается надо всем, что греет сердце: для него нет ни праздников, ни поэзии, ничего того, что необходимо для меня, чтобы жизнь мне не казалась бездушным прозябанием. Сколько должно было пройти по его душе страданий, чтоб сделать его до такой степени равнодушным ко всему! — Мое письмо, быть может, покажется тебе опять жалобою: но, ей богу, не хочу жаловаться, а только не могу не говорить о нем, потому что особенно сегодня именно он занимает все мои мысли. Буду совершенно откровенным: у меня даже в глубине души таится очень слабая, правда, надежда, что он хоть под вечер вспомнит обо мне, что, преодолевая свое отвращение ко всему, что называет предрассудками, пустяками, скажет мне хоть приветливое слово, точно так, как взрослый иногда потакнет ребенку только, чтоб ребенок не плакал. — Но этому не быть: он верно едва ли знает, начался ли или нет июнь месяц.

Все мое прошедшее передо мною; ваши присылки будто разбудили это время, которого уж нет. Между прочим, Ижорский и Шуйские вызвали живо для меня те обстоятельства, при которых я писал их. — В Шуйских [1] много длиннот, много лишнего; но есть жар истинный, но есть что-то такое, чего нет в позднейших моих созданиях: хоть не молодость, все же отголоски этой молодости. Ляпунов в художественном отношении выше, но тот, кто написал Шуйских, был мягче и лучше автора Ляпунова.

Да, чтоб ты меня не поняла криво! — Если я жалуюсь на отсутствие поэзии в брате, пожалуйста, не думай, что я досадую на него за то, что не сходит с ума от моих стихов! Нет, — я поэзиею называю все нематериальное, все неутилитарное в нашем быту, и этого-то я желал бы видеть в нем побольше, потому что он тогда, кажись, был бы счастливее: — ведь материальный мир представляет нам обоим очень, очень мало наслаждений. — У него — (и рад я, что вспомнил!) — у него

[1] Имеется в виду не дошедшая до нас стиховая драма Кюхельбекера «Падение дома Шуйских», главным героем которой являлся Михаил Скопин-Шуйский. Аналогичный отзыв об этой драме см. в другом письме к Н. Г. Глинке, от 29 июня 1839 г. (Декабристы, Летописи Гос. Литературного музея, кн. III, стр. 182).

любовь к цветам: по-моему, и это поэзия. Самое отрадное для него чувство, самая лучшая в нем черта — любовь к детям, особенно к Аннушке: а ей, бедненькой, любовь отца теперь необходима. — Когда гляжу на него, как он подчас с ними занимается, играет, — учит их, — я благодарю бога, что есть и для него в мире радости. Но для чего ж я ему совершенно стал чужим? — Прощай, Наташа!

В. К.

Р. I, оп. 12, № 258.

25. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Кюхельбекер

2 августа 1839 года.

Милый друг, сестра и кума Ульяна Карловна.

По заглавным словам этого письма ты уже видишь, что мы теперь с женою уже втроем. На ночь с 28 на ‹2› 9 июля господь мне дал сына. Заочными кумовьями нарек я тебя и Владимира Андреевича; [1] а принимали младенца от святой купели вместо Вас брат Михайло Карлович и девица Ульяна Ерыгина, дочь здешнего поверенного. Имя твоего крестника Михайло; именины 6 сентября. — Вот тебе, ma bonne Julie,[2] гостинец к приезду твоему из-за границы! Не знаю только, будешь ли довольна гостинцем? — Я благодарю бога не только за сына, но в особенности и за то, что его рождение меня сблизило опять с ним, моим вечным утешителем и подателем отрады. — Давно я не молился так пламенно и с такою верою, как когда жена мучилась. — Описать тебе не могу: какое на меня сделал впечатление первый крик младенца! Тут было все: и радость, и страх, и боль, и сострадание!

Извини, кумушка, что не говорю о твоем путешествии, не расспрашиваю, как и когда Вы приехали и пр.?

Влюбленным в жену я никогда не был: мои лета уж не те. Но я ее искренно и от всей души любил как помощницу в делах житейских и товарища на поприще земном. Теперь же она мне втрое милее как мать моего дитяти. — Она своим детищем не налюбуется. Смех и умиление берет, когда ее подслушаешь, как она с ним разговаривает и его ласкает. Нельзя сказать, чтоб ребенок был красив. Авось либо, и выправится; но покамест он черен и мизерен; да самое его безобразие для нее причина жалости и повод к нежностям. «И черненький ты мой и черномазенький-то и страшненький!» — приговаривает она и вместе уверяет, что и за мильоны его не отдаст. Голос-то у него молодецкий: кричать он мастер. — Вот, мой друг, теперь мои занятия: ночью я вожусь и с матерью и ребенком и очень мало сплю; благодарю бога, что у меня сон легкий. Бабка занемогла; зато Степановна [3] сегодня у нас ночевала. — Тинюшка с нею к нам пожаловала: «Я пришла, дядюшка, качать твоего Мишку». — Разумеется, что ей не дали. Зато, просыпаясь от его крику, она его всякий раз передразнивала. — Аннушка также у нас пробыла целый день — субботу. — Михайло Карлович ласков и к крест-

[1] Глинка (1790—1862) — брат Григ. Андр. Глинки, мужа старшей сестры Кюхельбекера — Юстины Карловны. В молодости член Союза Благоденствия, В. А. Глинка сделал успешную военно-бюрократическую карьеру; с 1837 г. в чине генерал-лейтенанта он состоял главным начальником горных заводов на Урале. В. А. Глинка помогал Кюхельбекеру, в частности прислал ему денег на постройку дома.

[2] моя добрая Юлия.

[3] Анна Степановна, жена М. К. Кюхельбекера.

нику и к куме своей. — Мне кое-что надарили на крестины: между прочим корову и жеребенка. — Вообще я очень доволен баргузятами: они приняли в моей радости искреннее участие, которое я впрочем постарался поддержать — дарами всероссийского Бахуса: к несчастию, без этих даров здесь радоваться не умеют.

Теперь, слава богу, все притихло. — Я сижу и пишу к Вам, мои милые, незабвенные; но в первый раз в жизни принял откровенное участие в здешнем пировании. Кажется, это простительно. — Все у меня были, кроме любезнейшей мачихи жены. Она на что-то сердится. Сам не знаю, за что. Тесть уверяет, что ее злость давит. Бог с нею! — Да, чтобы не забыть: — у меня были две кумы и два кума; — брат и Ульяна Зосимовна заступали твое и Владимира Андреевича место; а в другой паре стояли здешний исправник и купчиха, тетка Дронюшкина. — Для последней пришли мне какой-нибудь подарок и напиши ей письмецо. Ее зовут Анною Егоровною. — Она редкой доброты женщина. — Прости, милый друг Julie! — в следующем письме напишу тебе о моих проектах и предположениях насчет будущего. — Теперь надобно кончить и проведать почту, которая, кажется, пришла. Целую и обнимаю тебя, сестрица-кумушка! Дронюшка целует ручки своей большой кумы, как здесь называют ту, которая принимала ребенка. Слава богу, что ты опять у нас под русским небом, хотя и за 7000 верст от меня. Прощай.

Твой В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 262.

Следующее письмо в нашей коллекции, в отличие от остальных писем этого периода, носящих по преимуществу бытовой характер, посвящено суждениям о литературе.

26. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

13 сентября 1839 года.

Друг Наташа. — Давно, давно я к тебе не писал; все дожидался Ваших писем и — не дождался. Между тем я стал отцом; да это ты уж знаешь. Миша мой истинно благословенное дитя: с его рождения вокруг меня будто просветлело.

Маминька твоя прислала мне Менцеля и Марбаха,[1] — да поручила поговорить с тобою об обоих. Начну с Менцеля. Я его от всей души полюбил, хотя и не совсем согласен с его литературными мнениями или, лучше сказать, суждениями о различных писателях.

Особенно он расположен к Лессингу и Тамазиусу; [2] а нападает преимущественно на Гёте, Иоанна фон-Мюллера [3] и Чокке.[4] — Не вступлюсь за последних двух, потому что (и это признание в моем положении не при-

[1] Марбах (1810—1890) — немецкий писатель-прозаик и драматург. Кюхельбекер получил от сестры, очевидно, 2-е издание сочинений Марбаха, вышедшее в 1838 г. (под псевдонимом «Silenius Minor»).

[2] Тамазиус — Христиан Томазиус (1655—1728), немецкий философ и юрист, оказавший существенное влияние на писателей и мыслителей XVIII в., в частности, на Лессинга.

[3] Мюллер Иоганн (1743—1828) — немецкий писатель-романист.

[4] Чокке — Цшокке (Zschokke, 1771—1848) — немецкий писатель-прозаик и драматург, автор пользовавшихся в свое время широкой популярностью назидательно-моралистических произведений. Цшокке выступал и в качестве популяризатора религиозно-философских идей, — в частности в сборнике очерков религиозного рационализма «Stunden der Andacht» (1809—1816; книга выдержала большое число изданий), на который ссылается Кюхельбекер.

носит стыда) или не читал их, или худо помню. — Только чоккевы Stunden der Andacht [1] напрасно совершенно им втоптаны в грязь: в них *много* истинно хорошего, нравственного и *христиански* нравственного. Не понимаю: почему проповедник не может писать для всех исповеданий, и насмешливое предположение Менцеля, что Чокке скоро напишет Stunden der Andacht для магометан, ничего не значит. Разумеется, что в такой книге не найдешь догматов христианских, — но и в ней может быть чистое христианское нравоучение, и в этом-то и состоит преимущество христианского нравоучения, что отвергнуть его невозможно; и потому-то Христос и есть истина и свет, а слово его — хлеб жизни, и то становится для меня самою утешительною уверенностию, что без того было бы тяжко для сердца и разума, а именно, что вне его церкви, вне его *учения* нет спасения, т. е. что, не следуя его примеру и наставлениям, никто не может приобресть мир душевный. Следовать же этому учению может, если только не будет противиться голосу внутреннему, и жид и магометанин. Впрочем еще раз не вступаюсь за Чокке и рационалистов: они, право, не мои герои. — Гёте, как человека и поэта, он судит безжалостно строго. — Сам я знаю и, может быть, прежде Менцеля, говаривал, что тщеславие Гёте, его султанские замашки, его кокетство, его вечное коленопреклонение перед самим собою довольно. . . смешны. Но это человек, а не поэт; да тут все же еще нет ни вольтеровского кощунства, ни бесстыдства Ж. Ж. Руссо, который признается и в воровстве и в клевете на невинную девушку и бог знает еще в чем, а между тем говорит: je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas de meilleur homme que moi.[2] — Не считаю Гёте нравственным писателем, но и не безнравственным. — Дело поэта предаваться впечатлениям, передавать их читателям, но не проповедовать. Счастие его, если он человек чистый, каков например был Шиллер, каков наш Жуковский. — Но это редко бывает. Все же всякий *истинный* поэт (а что поэт — Гёте, в том нет сомнения) полезен человечеству, потому что вдыхает любовь к изящным наслаждениям. Человек, который поймет Гёте и Шекспира, разумеется, поэтому еще не сделается добрым семьянином, верным сыном Отечества, православным христианином; но мне почти не возможно вообразить, чтобы такой человек мог совершенно утратить любовь к прекрасному, мог бы стать гнусным скрягою, бесстыдным развратником, необтесанным грубияном с женщинами,[3]

Р. I, оп. 12, № 258.

Сказавшееся в этом письме благосклонное отношение к Менцелю (хотя и с оговоркой о неполном согласии с ним) принадлежит к числу глубочайших заблуждений Кюхельбекера, находящих объяснение прежде всего в оторванности его от общественно-литературной жизни тридцатых годов, в недостаточно ясном представлении его о расстановке и борьбе общественных сил. Вольфганг Менцель (1798—1873) — немецкий публицист и литературный критик, в начале своей деятельности стоявший на либеральных позициях, в тридцатые годы выступал как наиболее воинствующий и озлобленный представитель крайнего реакционного направления в немецкой литературе, как заклятый враг всего, что было в ней передового и прогрессивного, как политический доносчик, сыгравший важную роль в организации гонений на Гейне и других писателей «Молодой Германии». Кюхельбекер впервые познакомился со статьями Менцеля в 1834 г. (по переводам в русских журналах); впоследствии, в 1841 г., прочитав в «Отечественных Записках» статью В. Г. Белинского «Менцель — критик Гёте», он высказался по поводу этой статьи в дневнике.[4] Менцель был изве-

[1] «Часы благоговения».
[2] внутренне я уверен, что нет человека лучше меня.
[3] Конец письма не сохранился.
[4] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 195 и 275.

степ ожесточенными нападками на Гёте, которого он обличал в «язычестве» и «эгоизме», исходя из своей архиреакционной христианско-монархической и шовинистической идеологии. Книга Менцеля, которую Кюхельбекер получил в 1839 г. от сестры, — очевидно, второе издание (1836 г.) его «Die deutsche Litteratur».[1]

В приведенном письме наиболее интересно высказывание Кюхельбекера о Гёте. В молодости Кюхельбекер был восторженным поклонником и пропагандистом творчества немецкого поэта. В 1819—1820 гг. он тщательно изучал «Западно-Восточный диван» Гёте и составил подробный конспект прозаической части этой книги. В 1820 г., во время заграничного путешествия, Кюхельбекер лично познакомился с Гёте, несколько раз навещал его, беседовал с ним о русской и немецкой литературе, получил от него в подарок книгу и обратился к нему с письмом, в котором именовал Гёте «учителем, коему столь многим обязан в воспитании своей души», наконец, написал в его честь дифирамбическое стихотворение «К Прометею». В 1824 г. Кюхельбекер прославил «великого Гёте» в статьях «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» и «Разговор с Ф. В. Булгариным» (Мнемозина, кн. II и III); много лет спустя он сам охарактеризовал свое увлечение немецким поэтом как «царствование Гёте» над ним. Но впоследствии, в годы заточения, отношение Кюхельбекера к Гёте претерпевает существенные изменения. Он начинает переоценивать творчество Гёте, осуждая «холодную чопорность», «притворную простоту» и «бесстыдный эгоизм» произведений его, написанных во второй, так называемый, «олимпийский» период его творческой жизни. «Олимпийскому» Гёте, подпавшему под влияние немецкой реакции, он противопоставляет, — с положительным знаком, — молодого Гёте, эпохи «бури и натиска», автора «мученика мятежного» — «Вертера». Через полгода после замечаний о Гёте, высказанных в письме к Н. Г. Глинке, Кюхельбекер окончательно сформулировал свое отношение к немецкому поэту в следующей записи в дневнике (от 27 марта 1840 г.): «Когда раз разочаруешься насчет кого бы то ни было, трудно даже быть справедливым к этому лицу. Царствование Гёте кончилось над моею душою, . . . мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и как то заставил пасть со мною всю Россию. Я дал им золотого тельца, они по сию пору преклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого; только я уже в тельце не вижу бога».[2]

* * *

Следующие письма Кюхельбекера связаны с вопросом о переезде его из Баргузина в Акшу. Причины, побудившие Кюхельбекера уехать из Баргузина, изложены в самих письмах. Кроме того, имелось еще одно важное обстоятельство: в Акшу звал Кюхельбекера тамошний пограничный начальник — майор А. И. Разгильдеев, нуждавшийся в учителе для дочерей. Дружески относившийся к Кюхельбекеру, он обещал ему улучшить условия его существования, сулил ему (по словам М. К. Кюхельбекера) «полное содержание и другие золотые горы».[3]

27. В. К. Кюхельбекер — Ю. К. Кюхельбекер

14 сентября 1839 года.

Ma bonne Julie.[4] Надеюсь, что это письмо тебя уж застанет в России. Давно я не получал от вас никаких известий; между тем, в моем быту произошли некоторые перемены, а произойдут вероятно еще кое-какие. — Я уже писал к тебе, что бог даровал мне сына: заочными кумовьями назначил я тебя и В. А. Глинку. Мальчик мой здоров; только с самого рождения у него насморг. — Тебя, кумушка-голубушка, прошу на всякий случай прислать мне некоторые детские лекарства и книги о детских и женских болезнях. На этот счет Герцог или Розе [5] не откажутся помочь нам. — Далее: grande nouvelle! [6] — вероятно, не останусь в Баргузине.

[1] «Немецкая литература».

[2] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 252. — Вопрос об отношении Кюхельбекера к Гёте освещен в исследовании С. Дурылина «Русские писатели у Гёте в Веймаре» [Литературное наследство, № 4/6 (1932), стр. 374—403].

[3] Письмо М. К. Кюхельбекера Е. П. Оболенскому. Декабристы, Сборник Пушкинского Дома, М., 1925, стр. 163.

[4] Моя добрая Юлия.

[5] Петербургские врачи.

[6] большая новость!

Я подал в июне месяце прошение о переводе к Акшу, крепость в Нерчинском уезде, в климате гораздо лучшем, нежели баргузинский, и вдобавок в такое место, где народу мало, стало быть, не станут мне мешать заниматься своим ремеслом. Если говорю, что там народу мало, то разумеется русских: там все народонаселение — бурятское, а это страх как хорошо для меня и семьи моей. Прошу тебя осторожно уведомить об этом матушку. Впрочем от Баргузина не буду же слишком далеко — верст каких-нибудь 700. Здесь останется у меня дом и скот: я их не продам, и жена, если ей угодно будет, может по моей смерти опять перебраться на родину, где у ней останется пристанище и кое-какое имущество. — Отъезд наш не может быть ближе января, по мореставу,[1] а то пришлось бы ехать верст 200 верхом, что с грудным младенцем и женою затруднительно.

Если можно, так пришли своей куме теплый (хоть старенький) капот, да теплую шапку и шубенку крестнику. Мне не надо ничего: у меня теплая медвежья шуба. — Заказал бы, хоть на свой счет, и клок для Дронюшки: она у меня добрая, да все же женщина; так нельзя же, чтоб несколько не завидовала невестке, у которой два клока, между тем как у моей нет и клокова клочка. Но это не необходимость, потому и не прошу, а буде заведутся свои деньжонки, то можно будет написать к Вам, чтоб купили.

Пожалуйста, не браните меня за намерение переселиться: право, иначе нельзя — необходимость. Да прежде и вы того желали; — может быть, со временем удастся склонить и брата к тому же, когда увижу, что мне будет в Акше хорошо. С некоторого времени у меня воображение опять очень деятельно; только все же не могу собраться писать: не дают. — Право, жаль! — Если будешь писать к Justine,[2] отправь приложенное здесь письмо к Наташе; [3] скажи сестре, что целую ее и ее милых девушек, да прошу, чтоб она переслала к тебе письмо, которое я написал к Жуковскому: [4] тебе скорее можно будет ему передать это письмо, которое для меня чрезвычайно важно; оно доставлено к Вам по начальству.

Обнимаю и целую тебя! Михайло Карлович здоров; деточки также. Аннушку начну зимой учить грамоте.

В. Кюхельбекер.

Р. I, оп. 12, № 262.

Следующее письмо Кюхельбекер начинает с упоминания о безвременной смерти любимого племянника — Николая Глинки, погибшего на Кавказе от ран, полученных в бою с «немирными» горцами. Горе свое Кюхельбекер выразил в стихотворении, написанном в октябре 1839 г.:

Ты жил, ты подавал блестящие надежды;
Ты вдруг исчез, — ты не исполнил их. . .
О, мой питомец, сын души моей!
Ужели даром я, Поэт, тебя взлелеял?
От плевел заблужденья и страстей
Я самого себя пред всюду сущим взвеял
И в грудь твою из собственной своей
Все лучшее, что было в ней,
С болезненной любовью сеял. . .
И это все напрасно? — ты

[1] Морестав — на Байкале (сибиряки называют Байкал «морем»).
[2] Юстина Карловна Глинка.
[3] Письмо от 13 сентября (№ 26 нашей публикации).
[4] Письмо к Жуковскому от 1839 г. до нас не дошло; но, может быть, имеется в виду письмо от 24 мая 1838 г. (опубликовано в «Русском архиве», 1871, I, стбц. 1074—1076).

Сокрылся в лоно темноты! —
А думал я: «Мое моленье
Угодно будет благостной судьбе;
Без слабостей и пятен обновленье
Себе предвижу: возрожусь в тебе».
Но одного еще удара
Недоставало мне, — и он меня сразил!
Единой не было средь милых мне могил, —
И вот над нею, как отец Оскара,
Сижу я, одинок, оспротелый бард!
И даже звуков погребальных
Не извлеку из струн своих печальных. . .

Со свойственной ему способностью впадать в преувеличения, Кюхельбекер писал в дневнике в 1840 г.: «Николай Глинка, который бы был великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным».[1]

28. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. Глинке

29 декабря 1839 года.

Друг Наташа.

Давно я к Вам не писал; известие о смерти нашего Николая тому первая причина. . . Скажи, что мог я написать к Вам, когда не менее живо вас чувствовал всю тягость этой потери? — Общие фразы, утешения, которые только тогда могут иметь кое-какой вес, когда хоть живой голос, выражение живого лица сопровождает их? — Я от вас далеко; я не мог даже присесть к Вам и вместе с Вами плакать. Вот почему я вовсе к Вам не писал. Надеюсь, вы поняли, что значило мое молчание. Сверх того мне предстоит перемена в судьбе моей: уезжаю из Баргузина в Акшу. — Будет ли мне лучше в Акше, не знаю. Но оставаться здесь я никоим образом не могу. Здесь, во 1-х, все так дорого, что по нынешним годам и на один хлеб не хватит моих доходов. — Далее, климат здесь самый суровый, напр‹имер›, теперь уже третья неделя, как б е з п е р е р ы в у стоят морозы свыше тридцати градусов; — а здоровье у меня с года на год плоше. Пожить же еще хочется по кр‹айней› мере до поры, как сын мой хоть несколько будет в состоянии прокармливать мать свою. Вот некоторые причины, по которым я перепросился в Акшу, где и климат лучше и хлеб впятеро дешевле, чем здесь. — То, что я в четыре года скопил, конечно теперь в мой переезд истратится; но больших долгов здесь не оставлю, а сверх того имею в виду в Акше поменее издерживать. — Может быть, со временем буду даже в состоянии делиться с братом. На всякий случай оставил я здесь свой домишко не проданным. Как знать, когда меня не будет, жене и вздумается перебраться назад на родину; в противном же случае удастся, быть может, отдать дом в наймы. Пишу к тебе подробно и уж не стану повторять того, что пишу, в письмах к Julie и бабушке, потому что ведь они прочтут же это.

Живу теперь в доме брата. Мишиньку моего невестка [2]

Р. I, оп. 12 № 258.

В середине января 1840 г. Кюхельбекер с семьей покинул Баргузин. По дороге он навестил (19 января) декабриста Е. П. Оболенского, в селении Итанец, и в конце января приехал в крепостцу Акша, расположенную возле китайской границы.

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 255.
[2] Конец письма не сохранился.

Первые впечатления на новом месте были благоприятны. Разгильдеевы встретили Кюхельбекера радушно. Местный казачий атаман Истомин также пригласил его в учителя к сыну. Кюхельбекер воспрянул духом. «Новая жизнь для меня началась. — пишет он племяннице через несколько дней после приезда (6 февраля 1840 г.), — У меня сердце теперь расцвело: четыре года прожил я между дикарями грубыми, необтесанными, распутными; здесь что-то похожее. . . на ваше мне бесценное семейство».[1]

В Акше Кюхельбекер возвращается к творчеству, угасшему было за четыре года тяжелой баргузинской жизни. Он начинает писать третью — заключительную — часть «Нжорского», обрабатывает роман «Итальянец» («Последний Колонна»), обдумывает план трагедии о Дмитрии Самозванце.

Очень утешали Кюхельбекера участившиеся в Акше встречи со свежими, заезжими людьми. За долгие годы заточения и ссылки он не утратил своей общительности, жадного интереса к людям и способности быстро сходиться с ними. В июне 1840 г. он встречается и проводит неделю с доктором Михаилом Афанасьевичем Дохтуровым, человеком разнообразных и ярких способностей и с необыкновенной биографией. Племянник известного по войне 1812 года генерала Д. С. Дохтурова, воспитанник трех университетов — Дерптского, Берлинского и Гейдельбергского, знаток европейских и восточных языков, поэт-дилетант, он каким-то образом побывал в плену у турок (в Стамбуле), был знаком с Байроном (тот упоминает о Дохтурове, называя его «маленьким русским доктором»). В 1837—1838 гг. М. А. Дохтуров служил лекарем в Одессе. С какой целью приезжал он в Нерчинские заводы (а оттуда — в Акшу) — не выяснено. Кюхельбекер охарактеризовал этого любопытного человека в следующих выражениях: «. . . пишет стихи, рисует, стреляет метко из пистолета, фигурка маленькая, черномазенькая, сыплет анекдотами, либеральничает немножечко и философствует, умен, любезен, вспыльчив, благороден, скуп. . .».[2]

Кюхельбекер обратился к М. А. Дохтурову с дружеским посланием. Тот, в свою очередь, ответил стихами, исполненными глубокого уважения и сочувствия к ссыльному декабристу:

Минута жизни, но удалой,
Отрадней многих тяжких лет;
И лучше гибнуть, но со славой,
Чем прозябать без бурь и бед.

О, не жалей же о свободе,
Ни о былом, знакомец мой,
Ты вечен в памяти народа,
А я все в гроб возьму с собой.

Эти строфы Кюхельбекер переписал в дневник, сопроводив их следующим замечанием: «Одна истинно прекрасная, другая, которая, если она внушена только искренностью, должна меня очень и очень утешать».[3]

Встречался Кюхельбекер и с другими время от времени заезжавшими в Акшу лицами, с которыми мог отвести душу. Так, например, в июле 1840 г. он видится с гражданским губернатором Восточной Сибири А. В. Пятницким — «старым знакомцем» по Петербургу; в сентябре — с камер-юнкером Л. Д. Львовым, приехавшим в Акшу прямо из столицы. Кюхельбекер поддерживает связь с живущими неподалеку — в Селенгинске — братьями Бестужевыми, пересылает им свои сочинения и дневник. Его на время оставляет тяжелая тоска, давившая его в Баргузине. Он записывает в дневнике, что на вечеринке «плясал без отдыху кадрили, мазурки, вальсы».[4]

Здесь, в Акше, Кюхельбекеру суждено было пережить последнюю любовь. Он влюбился в свою ученицу — Аннушку Разгильдееву, совсем молоденькую девушку (род. в 1825 г.). В июле 1840 г. он пишет родным: «Моим единственным утешением теперь и вообще, когда тяжко, — добрая моя Аннушка»; в другом письме он называет ее своим «настоящим ангелом-утешителем».[5]

Этими первыми, еще радужными и обнадеживающими, акшинскими впечатлениями продиктовано было последнее в нашей коллекции письмо Кюхельбекера (с припиской Аннушки Разгильдеевой).

---

[1] Лирика и поэмы, стр. LXX.
[2] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 257.
[3] Там же, стр. 258.
[4] Там же, стр. 264.
[5] Лирика и поэмы, стр. LXX—LXXI. Ср. Дневник, стр. 269.

29. В. К. Кюхельбекер — Н. Г. и А. Г. Глинкам

14 сент‹ября› 1840 году. Акша.

Милые, незабвенные мои Наташинька и Сашинька.

Ваши майские письма и посылку я после долгого ожидания наконец получил. — Сестру сердечно благодарю за шерсти, иглы и книги; и матушку вашу и бабушку за подарки Мише. — Деньги за книги вышлются Вам немедленно. С цветными карандашами мы собственно не знаем что делать; но авось кто-нибудь научит. Цены им вы не напи‹сали›. — Хочу предпринять небольшой увраж, который, может быть, Вам покажется занимательным: Историю русс‹кой› словесности в письмах к девушке. — Вообще я здесь что-то деятельнее, чем в Баргузине: четыре года я почти вовсе ничего не писал; здесь в августе месяце меня опять после долгой разлуки посетил мой Исфранл и гостил у меня почти 5 недель. Теперь он опять улетел; однако оставил же мне гостинец, с которым, быть может, когда-нибудь и поделюсь с Вами. . . У меня есть здесь с кем побеседовать о своих любимых занятиях и — о Вас. — Старшая дочь здешнего командира, Анна Александровна, милое, превосходное создание по уму и сердцу: она еще очень молода; ей нет и 15 лет. Но она мне истинный товарищ, несмотря на мои седые волоса: странно, что я, несмотря на все, мною перетерпенное, никак не могу постареть душою. — Аннушка тебя, мой милый друг Наташа, что-то особенно полюбила и каждый раз, когда узнает, что к Вам пишу, шлет тебе поклоны.

Здоровие мое хорошо, — но Миша и жена здесь бывали больны и даже опасно. — Наша Сибирская Италия, т. е. Акша, таки порядочно сибирская: теперь здесь уж такие бывают утренники, что вода в лужах застывает. Зато лето было самое благодатное: хлеб, овощь, сено — все родилось как нельзя лучше. Оставляю местечко Аннушке; может быть, она припишет к Вам строчки две. — Целую вас и Тинюшку.

Ваш друг В. К.

Р. I, оп. 12, № 257.

Доставил мне приятный случай ваш дядинька В. К. познакомиться с вами заочно. Прошу принять мое душевное почтение, а вместе с тем и мою усердную просьбу. Нам очень нужно французскую грамматику, как для меня, так и для меньшой сестры, то сделайте милость, пришлите ее.

Любящая вас
А. Разгильдеева.

***

Надеждам Кюхельбекера на «новую жизнь» в Акше не суждено было осуществиться. Оправдалось предсказание, которым напутствовал его из Баргузина брат Михаил Карлович: «Ему вообще труднее меня уживаться с людьми. . . не знаю, выиграет ли бедный брат перемещением, а мне кажется, что навряд!». [1] В материальном отношении жилось Кюхельбекеру в Акше не легче, чем в Баргузине. Ему приходилось много трудиться по хозяйству, между тем средств нехватало, и он должен был входить в долги. Личная жизнь также осложнилась. Как сообщает биограф Кюхельбекера, основываясь на неопубликованных материалах, мать Аннушки Разгильдеевой сама увлеклась Кюхельбекером и настраивала дочь против него; в результате — «происходит полувынужденный разрыв».[2]

[1] Письмо М. К. Кюхельбекера к Е. П. Оболенскому. Декабристы, стр. 163.
[2] Лирика и поэмы, стр. XXI.

В июне 1841 г. Кюхельбекер еще сообщает Е. П. Оболенскому, что «не кается покуда», «забившись» в Акшу: «Своими ученицами я очень доволен; с Разгильдеевой я теперь в приятельских отношениях; она, кажется, теперь оценила мои старания и верит, что я свое дело знаю. . . Аннушка и Васинька [1] составляют истинное м утешение».[2] Но уже в конце года тон его писем и дневниковых записей резко меняется: «Ни один год моей жизни не начинался так тяжело, как нынешний. . .» — записывает он 9 января 1842 г.[3] Его угнетают безденежье, долги, смерть второго сына Ивана (род. 21 декабря 1840 г., ум. 27 марта 1842 г.), «совершенный и конечный разры со старшей Разгильдеевой (запись в дневнике 25 мая 1842 г.), ревность жены и т. д. Конец своего платонического романа с Аннушкой Кюхельбекер пережил очень тяжело: «Бог с тобою, Анна Александровна! — записывает он в дневнике 6 ноябр 1842 г. — Ты была моею последнею любовью, и как это все кончилось глупо и гадко! А я тебя любил со всем безумием последней страсти: в твоем лице я любил еще людей. Теперь прилечь бы и заснуть!».[4]

Остается коротко сказать о последних пяти годах жизни Кюхельбекера.

В октябре 1842 г. он безуспешно просит начальство перевести его либо в Урик либо в Иркутск. Разгильдеевы переселились из Акши в Кяхту, — и в марте 1843 г Кюхельбекер просится туда же (или в Туринск). Ему в этом отказывают. Между тем, новый командир в Акше стал чинить Кюхельбекеру всякого рода притеснения, мешать его переписке и т. д. В январе 1844 г. Кюхельбекер начинает, при содейст В. А. Глинки, хлопотать о переводе в Западную Сибирь, в Курган. Разрешение пр ходит в августе; 2 сентября Кюхельбекер уезжает из Акши. По пути он гостит у брата в Баргузине, у Волконских — в Иркутске,[5] у И. И. Пущина — в Ялуторовске Только 22 марта 1845 г. он прибыл на поселение в назначенное ему место — Смолинскую слободу, расположенную вблизи Кургана.

И. И. Пущин описал свою встречу с лицейским другом после почти двадцатилетней разлуки в письме к Е. А. Энгельгардту: «Три дня прогостил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал только с проседью в голове. Зачитал меня стихами до нельзя. . . Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. . . Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как называет ее муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой».[6]

В Кургане Кюхельбекер встречается с декабристами Н. В. Бассаргиным, Н. А. Аппенковым, А. Ф. Бриггеном, Н. С. Повало-Швейковским, Д. А. Щепиным Ростовским, Ф. М. Башмаковым и с проживавшими там ссыльными поляками; поддерживает связь с И. И. Пущиным, Е. П. Оболенским, А. Н. Штейнгелем, П. Н. Свистуновым.

Условия жизни на новом месте оказались суровыми. Доходов не было никаких Кюхельбекер болел туберкулезом. К тому же у него начала развиваться слепота Он предпринимает новые отчаянные попытки добиться разрешения печататься - пишет по этому поводу новому шефу жандармов гр. А. Ф. Орлову, обращается за содействием к В. Ф. Одоевскому и В. А. Жуковскому.

Слепота быстро прогрессирует: 11 октября Кюхельбекер пишет последнее своеручное письмо, 4 ноября заносит последнюю запись в дневник.

В январе 1846 г. гр. Орлов уведомляет сибирское начальство, что на просьбу Кюхельбекера о позволении напечатать его сочинения последовал отказ. Начальство не разрешает Кюхельбекеру переехать на жительство в Тобольск, где он мог бы найти врачебную помощь. Только после долгих ходатайств ему дозволили прибыть в Тобольск на время лечения (при этом он был взят под строгий полицейский надзор).

Умирающий, слепой Кюхельбекер 7 марта приезжает в Тобольск. Он чувствовал, что дни его уже сочтены. По дороге, снова навестив И. И. Пущина в Ялуторовске, он продиктовал ему свое литературное завещание, сделав распоряжения насчет всех своих произведений — что печатать, что «пересмотреть», что «истребить».

11 июня 1846 г. Кюхельбекер диктует последнее свое письмо В. А. Жуковскому. Это — волнующий человеческий документ. Рассказав о всех своих просьбах о печа-

---

[1] Васса Разгильдеева — сестра Аннушки.
[2] Декабристы, стр. 160.
[3] Дневник В. К. Кюхельбекера, стр. 283.
[4] Там же, стр. 283.
[5] См.: Архив декабриста С. Г. Волконского, т. I, П., 1918, стр. XXXI.
[6] И. И. Пущин, Записки о Пушкине и письма, М.—Л., 1927, стр. 155

тании и отказах гр. Орлова, Кюхельбекер писал: «Мои дни сочтены: ужели пущу по миру мою добрую жену и милых детей? Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: Я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно так же, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне. . . эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!».[1]

Через два месяца, 11 августа 1846 г., Кюхельбекер умер. Находившиеся в Тобольске декабристы (Е. П. Оболенский, П. Н. Свистунов, П. А. Анненков, Ф. Б. Вольф, П. С. Бобрищев-Пушкин) на руках отнесли его на кладбище.

В заключение публикуем (по копии, сохранившейся в семейном архиве) письмо вдовы Кюхельбекера — Дросиды Ивановны к дочери — Юстине Вильгельмовне, собиравшей биографические сведения об отце. Письмо, судя по его слогу и стилю, нужно думать, было продиктовано Дросидой Ивановной, а затем — литературно обработано (Ю. В. Кюхельбекер-Косовой или А. Г. Глинкой, предоставившими биографические материалы о Кюхельбекере редакции журнала «Русская старина»). Письмо это содержит некоторые не известные досели подробности о жизни Кюхельбекера, но в то же время показывает, как м а л о могла вспомнить о нем его вдова (правда, писала она через 23 года после смерти мужа).[2]

Прежде чем привести это письмо, укажем, что после смерти Кюхельбекера дети его — Михаил и Юстина — перешли в попечение тетки Ю. К. Глинки, которая получила разрешение взять их на воспитание и в августе 1847 г. с дочерью Натальей приезжала за ними в Ялуторовск, к И. И. Пущину.[3] Дети воспитывались под фамилией Васильевых; в 1856 г. им были возвращены отцовская фамилия и дворянское звание. Сын учился на юридическом факультете Петербургского университета, впоследствии был офицером, умер в 1879 г.

Дросида Ивановна, согласившаяся отдать детей Глинкам, чтобы обеспечить их будущность, жила одиноко в Иркутске, получая от казны установленное для декабристов мизерное пособие (114 р. 28 коп. серебром в год). С 1860 г. ей было положено также пособие от Литературного фонда. В 1879 г. она переехала в Казань, а затем — в Петербург. Умерла она в 1886 г. В похоронах ее принял участие кн. М. С. Волконский — сын декабриста.[4]

30. Д. И. Кюхельбекер — Ю. В. Косовой

Иркутск. 18 декабря ‹1869›.

Любезная моя дочка Типочка, ты очень порадовала меня приятною вестию, что сочинения твоего покойного отца будут вскоре напечатаны. Правду он говорил мне: вспомнят меня рано или поздно; так и случилось, слишком через 30 лет должны будут выйти в свет его сочинения. — Для биографии твоего отца могу передать и передаю тебе, насколько помню, одни только очерки из жизни его в Сибири, после освобождения из крепости, как например: прибыл он в Баргузин (уездный город Забайкальской области) в начале тридцатых годов, а в каком именно, не упомню, и по прибытии, поселился там на житье у брата его Михаила Карловича Кюхельбекер, с которым жил около двух лет, занимаясь постоянно чтением книг и особенно естественными науками, для которых в Сибири, как в непочатом еще в то время крае, много имелось под руками пригодных материалов для естествознания. Кроме того, обладая практическим знанием агронома, он с любовию занимался на собственные средства хлебопашеством и сенокошением, из чего можно было заклю-

[1] Русский архив, 1872, № 5, стр. 1007.

[2] Сразу же после смерти Кюхельбекера Дросида Ивановна продиктовала сыну Михаилу подробное письмо к Ю. К. Глинке (см.: Декабристы. Летописи Гос. Литературного музея, кн. III, стр. 185—186).

[3] См. письмо И. И. Пущина к Д. И. Завалишину от 11 октября 1847 г. (И. И. П у щ и н, Записки о Пушкине и письма, М.—Л., 1927, стр. 164).

[4] См.: Алфавит декабристов, стр. 338.

чить в начале, что если не навсегда, то на долгое время рассчитывал он оставаться на жит<ель>ство в Баргузине; впрочем, насколько я замечала, впоследствии ему как-то наскучила возня с сельским хозяйством; жажда хорошего и образованного общества брала свой верх, а потому и обстановка поселянина для него была тяжким бременем жизни, через что он часто грустил — даже до болезни, так что попытки брата развлечь грусть его нередко оставались бесполезными. Женившись на мне, отец твой приобрел собственный уже дом и более развил свое сельское хозяйство, но и при этой новой обстановке грустил постоянно, и это естественно, потому что ему — как человеку воспитанному и образованному — слишком тяжело было его новое и безвыходное в то время положение ссыльного, оторванного от родных и от среды лучшего общества, в котором сосредоточилась и окрепла жизнь его, насколько приятнейшая и покойная ранее, настолько же, если не более, убийственная и полная лишений впоследствии. Баргузин, этот маленький городок, похожий по своему устройству и обстановке на деревню, — не мог доставить никаких удовольствий твоему отцу, в нем не было и ныне нет ни общества, ни библиотек и ничего такого, что могло бы радовать светского человека, следовательно — отец твой не без причины сильно грустил. Затем расстроенное здоровье его, еще во время содержания в крепости, стало впоследствии более и более ухудшаться от влияния сурового климата баргузинского, а наиболее от жизненных неудобств, и он меня и двух детей, которым впоследствии нужно было дать образование, решился ходатайствовать о переселении его в другое место из Баргузина, в котором прожил более четырех лет. Вследствие такого ходатайства переселили его в Акшинскую крепость (Нерчинского округа). Здесь он нашел доброе и почтенное семейство (Разгильдеевых), любившее и уважающее его; обучая детей этого семейства, он имел за то готовый стол и квартиру. В Акше он особенно трудился, занимаясь литературою. Впоследствии, к крайнему сожалению, это доброе семейство выехало из Акши, и отцу снова сделалось несносным его одиночество, так что снова начал он заботиться о переселении из Акши, в которой прожил 4 года и 7 месяцев. Наконец, хотя он и получил позволение поселиться в Кургане Тобольской губернии, но не хотелось ему оставить в Сибири любезного своего брата Михаила Карловича Кюхельбекер, без того чтобы не проститься с ним и не обнять его в последний быть может раз, что и случилось так. Отправляясь же из Акши в Баргузин для последнего свидания с братом, мы должны были переплывать Байкал в небольшой лодке, и во время плавания нас до того напугала внезапно поднявшаяся буря с дождем, колыхавшая нашу лодку, как щепку, что мы все чуть-чуть не сделались жертвою шумного Сибирского моря, но бог спас нас — вскоре достигли небольшого острова, где и переночевали с двумя маленькими детьми в холодную погоду и при сильном дожде. Во время этого-то рискованного путешествия отец твой простудился окончательно до того, что с тех пор начал сильно страдать от глазной болезни, и зрение его постепенно становилось хуже и хуже.

Погостивши недолго у брата в Баргузине, он выехал в Иркутск, в котором пробыл не более месяца. Здесь только он, несмотря на болезнь, как-то особенно был весел и более покоен; тут же он нашел и друзей своих и прежних знакомых, как например: князя Трубецкого, Волконского и других (в доме Трубецкого воспитывалась родная племянница его А. М. Кюхельбекер), эти друзья оказывали ему полное дружеское внимание. В кругу этих добрых друзей и знакомых ему не приходилось скучать: дельные беседы их почти каждый день тянулись иногда далеко

за полночь. Отец твой любил рассуждать о литературе, науках и искусствах, горячо стоял за правду, делал в жизни добро словом и делом; а потому и был любим и уважаем большинством публики, — более или менее его знавшей. С прискорбием оставил он своих иркутских друзей и знакомых, следуя далее к месту нового своего жительства. По прибытии в Тобольск он также встретил там некоторых из своих друзей и знакомых, обрадовавшихся свиданию с ним после долгой разлуки, и затем — через месяц отправился в Курган, в котором он написал молитву господню в стихах. В этом городке мы имели собственный дом и достаточное хозяйство. Но как болезнь его доходила уже до сильных страданий и требовала радикального лечения, с этой-то целью мы, оставив Курган, в котором прожили 11 месяцев, снова предприняли путешествие в Тобольск, где проживали в то время друзья твоего отца: доктор Вольф, г-жа фон Визина, известный г. Ершов [1] (бывший в то время инспектором тамошней гимназии), преосвященный Владимир, Павел Сергеевич Пушкин, губернатор Енгелька и другие. В Тобольске он уже окончательно потерял зрение, и здоровье его с каждым днем делалось слабее, а положение становилось несноснее. Спасибо друзьям, они не оставляли его в эти грустные минуты жизни.

Ершов читал ему беспрестанно разные сочинения, рассуждал с ним продолжительно. По приезде в Тобольск он первым делом позаботился о приведении с помощию переписчика в должный порядок своих литературных произведений и особенно, чем когда-либо, занимался воспитанием детей своих, обучая сына Мишу латинскому языку, говорил: он будет доктором! Отец твой постоянно вспоминал о брате Михаиле Карловиче Кюхельбекер, и мысль о скором свидании с ним не покидала его до самой смерти. Не хотелось ему умирать так скоро, но минуты земной жизни его были уже сочтены, и предопределение судьбы свершилось. Он умер в Тобольске в 11 часов пополуночи 11 августа 1846 года, родился же 11 июня 1796 г., и при смерти его были доктор и г-жа фон Визина. Он до самой почти смерти был в движении, а за день до смерти ходил по комнате и рассуждал еще о том, что несмотря на дурную погоду он чувствует себя как-то особенно хорошо. — Его похоронили на русском кладбище и согласно желанию его устроили ему могилу между могилами друзей его: князя Барятинского и Красногорского. [2] Отец твой был религиозный, любил помогать бедным, но характера от болезни был раздражительного.

Вот все, что я знала о жизни отца, то и передаю для сведения, более же никаких фактов для биографии его не имею.

---

[1] Поэт, автор сказки «Конек-Горбунок».

[2] Имеется в виду Семен Григорьевич Краснокутский — декабрист, член Южного общества, в прошлом обер-прокурор Сената, действительный статский советник, скончавшийся в Тобольске 3 февраля 1840 г.

ЗАБЫТЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «АРГИВЯН» В. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Публикация Б. В. Томашевского

Наиболее полный текст неоконченной трагедии В. Кюхельбекера содержится в автографе Института русской литературы. По этому автографу трагедия издана в составе стихотворений В. Кюхельбекера в серии «Библиотека поэта» в 1939 г. (т. II, стр. 5—62). А между тем помимо автографа существуют отрывки трагедии, существенно ее дополняющие. Так, мимо внимания исследователей прошло то, что в «Сыне Отечества» 1838 г. (т. IV, июль, стр. 7—15), был напечатан без подписи отрывок трагедии, не находящийся в автографе.

Принадлежность этого отрывка В. Кюхельбекеру несомненна. Хотя в данной части журнала подписи автора нет, но в общем указателе к журналу за 1838 и 1839 гг. имя автора полураскрыто. В этом указателе читаем: *К-ра* Междудействие траг. Аргивяне (Сын Отечества, 1839, декабрь).

Настоящий отрывок интересен тем, что в хорах Ор рисуется победа народного вождя Тимолеона, поднявшего восстание, над тираном Тимофаном.

Любопытны и некоторые стихи, явно намекающие на современные события. Таково пророчество о том, у кого отзовется память о событиях, изображенных в трагедии. Воспевая дела «мужей священных и великих», Кюхельбекер продолжает:

Среди стихий слепых и диких
Горят их светлые дела,
И пусть их жизнь вотще была,
Но их душа расторгнет сети,
Чрез радостный поток столетий
Их мысль к потомкам преплывет
И там, в степях, в странах далеких,
Духов парящих и высоких
Чистейшим пламенем зажжет.

В этих стихах — двойное пророчество. Несомненно, они относятся не только к подвигу вождя восстания Тимолеона, но и содержат самооценку подвига декабристов. О том, что данная сцена написана уже после ссылки декабристов, свидетельствуют следующие стихи, несомненно заключающие намек на русскую действительность. Воспевая мудрое правление Тимолеона после свержения тирании, 6-я Ора говорит:

Словом уст Тимолеона
Воскресает Сиракуз,
Стал святым жилищем Муз,
Домом счастья и закона;
Все отечества сыны
Из унылого изгнанья
В милый край возвращены;
Миновали все страданья. . .

МЕЖДУДЕЙСТВИЕ

ИЗ

III акта трагедии Аргивяне

(Театр не переменяется; оркестр играет торжественную протяжную симфонию. Оры, богини времени, спускаются на светлом облаке в храме и разделяются на два полухора).

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОР

С небес высоких и священных,
По вечно светлому пути,
Урания, в сей храм сойди!
Средь стен, коварством осквернённых,
Явись, и да дрожит обман!
Се, грешный, спесью обуян,
Упитан ядом черной страсти,
Не зрит твоей бессмертной власти,
Смеется Зевсовым сынам,
И бросив камень к их ногам,
Речет: «их вижу преткновенье!
Их безрассудное паренье
Дает венец моим делам!».

ВТОРОЙ ПОЛУХОР

Ты, дитя отца вселенной,
Кем исполнен целый мир,
Кто от солнца до былинки
В нем разлит и дышит в нем!
Чудо твоего рожденья
Зрел единый Океан,
Древний царь тех шумных стран,
Где неистовые бури
Омрачили блеск лазури,
С ревом осаждали твердь
И горе стремили смерть
Из жилища бледных Фурий!
Но когда явилась ты,
Вдруг дивясь остановились,
Улеглись и усмирились
От воззренья красоты!
О небесная Венера!
К бедным смертным низлети
И сердца их освяти,
Да во век не гаснет вера
На их жизненном пути!

АФРОДИТА

(выступает из облака)

В надзвездном доме, где ликую,
Где пляска сладостных Харит
Бессмертных очи веселит,

Там вашу я мольбу святую
В открытый слух свой приняла;
Оттоле в ночь земного мира,
Быстрее веянья зефира,
Быстрее мысли, притекла!
Внемлите мне, часы и веки!
Земля и небо, верх и дол,
Примите в сердце мой глагол!
Богам любезны человеки,
И что они в живую грудь
Мужей священных и великих
Послать замыслят и вдохнуть,
Не может мертвым сном заснуть.
Среди стихий слепых и диких
Горят их светлые дела,
И пусть их жизнь вотще была,
Но их душа расторгнет сети,
Чрез радостный поток столетий
Их мысль к потомкам преплывет
И там, в степях, в странах далеких,
Духов парящих и высоких
Чистейшим пламенем зажжет.
Так при святых истоках Нила
Благоуханная могила,
Златым возженная лучом,
Прощальным взглядом дней светила,
Объемлет феникса огнем.
И се, едва дымясь, остыла
К заре зола душистых древ,
Бессмертный, для слепых сгорев,
Для зрящих разгибает крыла,
Горе возносит свой полет,
Одетый новыми лучами,
Шумя, течет над облаками
И солнце новое поет!

ХОР

Взирают всевидцы, блаженные боги,
С спокойного неба на бурный мятеж,
За грозный таинственной смерти рубеж
На темные строгого рока дороги.
И видят, сквозь ужас, и гибель, и тлен,
Сокрытое, но оживленное семя
Грядущего счастья и лучших времен!
Толпа ж земнородных, ничтожное племя,
Во мраке, в слезах, среди страхов влачит
К Тенару тяжелое опытов бремя,
И взор и надежду к минуте стремит!

АФРОДИТА

Искушенное в горниле,
Злато чище возблестит:
Чрез печали, в свежей силе

Мудрый к солнцу воспарит.
Смолкни, ропот безрассудный,
На бунтующих устах!
Зевс благой и правосудный
Пышный жребий, жребий скудный
Весит на святых весах!
Кто, растерзанный от терний,
Презрел буйный хохот черни,
Смелый муж, кого прошло,
В быстром яростном теченье,
Испытующее зло
И унизить не могло —
Тот познает Провиденье,
Тот упорную Судьбу
Превратит себе в рабу!
Сам Хронид его прославит,
Взложит на него венец
И в фарос его поставит
Для слабеющих сердец!

Да, прояснятся ваши взоры,
О вы, чудес сокрытых Оры!
Средь горьких мук Тимолеон
Да воспоется ныне вами,
Лелеян щедрыми богами,
Грядущим счастьем вознесен!

1-я ОРА

Роскошный, вольный и богатый
Простерся Афродитин град,
Но клятву из свободных врат
Несет под сень забытой хаты
Герой, расторгший тяжкий плен
Родимых, оживленных стен.
И се, через равнину моря,
Добыча слез, убийств и горя,
Тринакрия к своим отцам
Из бездны мрачных зол взывает
И, в прах простершись к их ногам
Их о спасенье умоляет.
Надежду дщери упредя,
Уж рать готова на злодеев,
Но рати нет еще вождя.
И вдруг, из немоты возвеяв,
Принесся вдохновенный глас:
Он назвал вдруг Тимолеона.
Толпа внезапно потряслась,
Зовет защитника закона,
И дивным воспылав огнем,
Наполнив кликов однодушных
Далекий свод высот воздушных,
Велит герою быть вождем.

2-я ОРА

В Дельфах склонит вождь колены,
В вещем доме бога Муз.
Я над храмом пронесусь:
Там одел столпы и стены
Всех градов усердный жар;
Фебу все богатства в дар
Принесли сыны и деды —
Для вождя венец победы
От тех даней оторву
И еще до трудной битвы,
В знак услышанной молитвы,
На его спущу главу.

3-я ОРА

Носиться буду я над спящим Океаном,
Одену целый мир в святую тишину,
И в небо выведу волшебную луну,
И облачу ее трепещущим туманом.
Тогда в даль будут плыть немые корабли,
Объяты сумраком прозрачной полуночи.
И се, уж кроет сон пловцов усталых очи,
Но грезы их вождя коснуться не могли.
Он над кормой стоит, он быстрым, бодрым зреньем
Парит над бездною и правит их теченьем.
Тогда предстанут вдруг герою чудеса:
Над ним разверзнутся и вспыхнут небеса,
Огонь с них низойдет блестящею струею,
Зажжет равнину мрачных волн
И окружит священный челн
Одеждой золотою!
Незапно светоч излетит
Из дивных зорь, из пламенного лона,
И край последний небосклона,
И путь Коринфян осветит!
Подобен факелу живому,
Который в таинствах Димитриных горит,
Он блеском спутницу-богиню возвестит
Ее избраннику святому!

4-я ОРА

Текп из Лилибея к брани
С твоими тмами, Амилькар!
Готовы мстительные длани,
И казнь тебе их первый дар!
Сбери твоих жестоких воев,
Веди на смерть их, Азрубал!
Их кровожадный взор искал
Добычи верной среди боев,
Но меч коринфян поразит
Тиранов на брегу Кремеса;
Там сонм их теней отлетит

Бесчисленный к рекам Айдеса!
Уже я слышу, на горах
Зефир, предвестник утра, веет,
Уж сумрак на земле редеет,
И звезды гаснут в облаках;
Шагает рать Тимолеона,
Молчат герои среди дум,
И к ним несется смертный шум
От войска грозного Сидона;
И се достигли высоты:
Восходит в тучах дня светило,
Взошло и страшно озарило
Врагов несчетные щиты!
В сей день геллепов укрепите,
Подайте силу мышцам их;
Ваш ужас, боги, поселите
В опустошителей чужих!
Или вы тщетно чудесами
Спасли от купленных десниц,
От тайного ножа убийц,
Главу над вашими полками?
Или, беснуясь, Карфаген
Напрасно зрел побег Магона,
И царь из Сиракузских стен,
Да успокоит тень Диона,
Вотще пошел в позорный плен,
Преплыл враждебные пучины
И сел на площадь Черсебины
Обруган, презрен и забвен?

5-я ОРА

Близкой грозою подернулись горы,
Бой закипел!
За засвистевшею тучею стрел
Солнца не зрят устрашенные взоры!
Вижу — пришельцы преходят Кремес,
Смертью рокочут врагов колесницы,
Латы их блещут огнями денницы,
Копья их шумный под бурею лес!
В смелую встречу к ним греки помчались
В даль на крылатых конях,
Но в недвижимых рядах
Варвары стройны остались!
Кто же их сломит ужасную мощь,
Дхнет и развеет их гордые силы,
Души пошлет в безотрадную нощь,
Трупы лишит вожделенной могилы?

Но что? чей это грозный глас
Восстал и будто гром раздался?
Се дух пепстовых смешался
И рать их страху предалась!
О дивный муж! с твоим глаголом

Не бог ли некий сочетал
Свой зов над полным смерти долом
И в ад губителей позвал?

И вдруг, в них ударили вихорь и дождь,
Перун ослепил их, их рев оглушил;
Их ратник бледнеет, содрогнулся вождь
И рвутся Коринфяне в сердце их сил!

Тогда увяли их десницы,
Их притупилася стрела,
Нога их в бегство потекла
И разгромились колесницы,
Растаяли пред горстью тмы,
Пожались тмы косою брани;
Крылатым девам мщенья дани,
Их тел возвысились холмы!

6-я ОРА

Скройтесь, роковые сечи!
Нет! не ужасы войны,
Нет! не вой враждебной встречи,
Славлю прелесть тишины.
Словом уст Тимолеона
Воскресает Сиракуз,
Стал святым жилищем Муз,
Домом счастья и закона;
Все отечества сыны
Из унылого изгнанья
В милый край возвращены;
Миновали все страданья,
И божественный слепец,
Их одряхший свободитель,
Зрится меж детьми отец,
Славных стен до гроба житель.

7-я ОРА

Сравнись, о голос мой, со стоном Филомелы —
Конец великого пою!
Он воспарил в Олимп, на пир богов веселый,
В отчизну горнюю свою.
Но граждане стеклись, покинул плуг оратай,
Рыдает по отце народ,
И се, из их толпы вдруг выступил глашатай,
И гром от уст его течет:
«Внемлите! возвещу признательность народа,
Граждан поведаю закон:
День смерти друга их да будет в год из года
Тимолеону посвящен.
Пусть юные борцы вокруг его могилы
Свои отведают в прекрасный праздник силы
И бег коней его почтит;

Сыны младых Камен и радостных Харит
В покое возрастут в дарованном им мире
И воспоют его на вдохновенной лире!».

ЦЕЛЫЙ ХОР

Смертных и богов отец,
Сам Хронид его прославит,
Взложит на него венец
И в фарос его поставит
Для слабеющих сердец!

ПИСЬМО ПАВЛА БЕСТУЖЕВА К А. БЕСТУЖЕВУ (МАРЛИНСКОМУ) О СМЕРТИ ПУШКИНА

Публикация Л. А. Лебедевой

2 февраля 1837.

Любезный Александр,

Сообщу для тебя неприятную новость: мы вчера похоронили Александра Пушкина. Он дрался на дуэли и умер от раны.

Некто, г-н Дантес, француз, экс-паж герцогини Берийской, облагодетельствованный нашим правительством, служащий в кавалергардах, был принят везде с русским радушием и за нашу хлеб-соль и гостеприимство заплатил убийством. Надобно быть бездушным французом, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь поэта, которую иногда щадит сама судьба, жизнь, принадлежавшую целому народу.

Г-ну Дантесу вздумалось поволочиться за женою Пушкина, как водится мужу не понравилось это, и он потребовал объяснений. Дантес, чтобы скрыть интригу и отделаться от неприятности, объявил, что он ездил в дом к Пушкину, имея виды на его свояченицу. Прекрасно. Сказано, сделано. Их обвенчали, — но Дантес не прекращал своих любезностей с женою Пушкина, которая более из кокетства и глупости слушала его любезности. Пушкин еще перед свадьбой Дантеса звал его на дуэль, но тот отказался. Голландский посланник, усыновивший Дантеса, на одном бале, разговаривая с Пушкиною, имел неосторожность сказать ей, что сын его, будучи влюблен в нее, сделал большое пожертвование, женившись на ее сестре. Пушкина передала это мужу, который, не видя конца этим любезностям, написал такое письмо к посланнику, после которого ему не оставалось другого средства, как драться; обида эта касалась и Дантеса, и потому они стрелялись.

Пушкин был ранен первый в живот; он упал, но попросил секунданта поднять ему голову, чтобы прицелиться, и ранил Дантеса в правую руку, которою он держал пистолет, закрывая им висок. Если бы заряд был сильнее, Дантесу не уцелеть, удар был хорошо направлен, и контузия в грудь была так сильна, что он упал навзничь. Пушкин жил три дня, они стрелялись 26-го, а он умер 29-го в 3 часа пополудни.

Жена его более ветрена, чем преступна; но если в обществе, где мы живем, ветренность замужней женщины может сделаться преступлением, то она виновата, и тем более, что она знала характер своего мужа, это был пороховой погреб. Пушкин сделал ошибку женившись, потом что остался в этом омуте большого света. Поэты с их призванием не могут жить в параллель с обществом; они не так созданы. Им нужно сотворить себе новый Парнас для жительства. Иначе они наткнутся на пулю, как Пушкин и Грибоедов, или того еще хуже, на насмешку. Из всех элементов человека в нем более всего комического.

У Греча тоже умер его второй сын. Матушка здесь и со всеми сестрами. Назначение мое до сих пор еще не выходит; здоровье мое поправляется. Мне жаль, что тебя не застанут в Керчи мои посылки, в них много косметических безделиц приложено для тебя. Оружие давно получил, об чем ты узнаешь из двух моих писем, которые ты, вероятно, получишь в Тифлисе. Об счетах со Смирдиным не пишу, потому что вчера только получил твое письмо. Прощай, будь здоровее в отечестве Сидонии и давай бог тебе заполучить золотое руно; кланяйся Лукину, — это для тебя ресурс, Лукин умный и благородный человек; он столько же любезен и образован, как жена его глупа.

‹На полях письма приписка:› «Некто: г-н Владиславлев издал альманах, в котором принимают участие все наши литераторы; он просил меня сообщить тебе, не пришлешь ли ты ему статейку по тем условиям, как и в Библиотеку?».[1]

Младший из пяти братьев Бестужевых, Павел Александрович Бестужев, мало известен в литературе. Имя его упоминается в мемуарах и в переписке лишь в связи с деятельностью его старших братьев-декабристов. Более известен он в военной литературе как изобретатель прицела к пушкам, введенного в артиллерии под названием «бестужевского». Скудные биографические сведения о нем сводятся к следующим фактам: родился П. А. Бестужев в 1808 г., воспитывался в артиллерийском училище. В 1825 г. он был в офицерском классе и готовился к экзамену с тем, чтобы по окончании училища поступить в гвардейскую конную артиллерию. В восстании 14 декабря участия не принимал, но принадлежность к семье Бестужевых роковым образом сказалась на его судьбе: при первом удобном случае он был арестован и год пробыл в заключении в Бобруйской крепости, потом служил на Кавказе. В 1835 г. он вышел в отставку в чине поручика; по возвращении в Петербург некоторое время прослужил в качестве старшего адъютанта Главного управления военно-учебных заведений. Выйдя окончательно в отставку, он переселился в Москву и женился на дочери владимирского помещика Екатерине Евграфьевне Трегубовой. Умер П. А. Бестужев в 1846 г.

Павел Бестужев был также и литератором, но эта сторона его деятельности до сих пор совершенно не освещена. Между тем он серьезно думал посвятить себя занятиям литературой, но, повидимому, испытал при этом какие-то колебания и сомнения; об этом можно судить по письмам брата Николая, который, ободряя его, писал из Петровского завода 11 декабря 1836 г.: «На этих только днях мы, перечитывая твои письма, напали на то, где ты отпираешься от способности писать, где взводишь бог знает какие высокие качества на литераторов; приписываешь им какие-то высокие достоинства. После этого точно возьмет отчаяние всякого, кто не найдет в себе всех этих дарований и кто вздумает еще приняться за перо».[2] Решительно советовал Павлу заняться литературой и другой его брат — Александр. «Еще раз советую: испытай удачи; напиши что-нибудь, хоть вроде *Странника* Вельтмана; но, ради бога, свяжи это одной идеею: надо цель и *целое*, без этого сам Пушкин — пустоцвет», — пишет он Павлу.[3]

Единственным дошедшим до нас литературным произведением Павла Бестужева была его статья «Замечания на „Путешествие в Грузию“», помещенная в «Сыне Отечества» в 1838 г. Статья эта всегда приписывалась его брату Александру, так как была напечатана за подписью Марлинского. Однако это ошибочно. Как явствует из переписки братьев Бестужевых, статья написана Павлом. Еще 22 марта 1834 г. Александр Марлинский писал к издателю «Московского Телеграфа» Н. А. Полевому: «Посылаю статью моего брата Павла; это первая попытка человека, который никогда еще не писал, но думал иногда очень порядочно. Напечатайте, если найдете достойным. Это даже нужно, ибо возражение справедливо. Я кое-что поправил — доправьте».[4]

«Московский Телеграф» прекратился в начале апреля 1834 г., и статья уже не могла быть напечатана в этом журнале. В июле того же года Марлинский писал Ксе-

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР. Архив Бестужевых, ф. 604, № 13 (5582), л. 233—235.

[2] Бунт декабристов. Л., 1926, стр. 360.

[3] Отечественные записки, 1860, июль, стр. 47, письмо от 26 мая 1835 г.

[4] Русский вестник, 1861, т. 32, апрель, стр. 455.

нофонту Полевому: «Статью брата пошлите, куда угодно. Только там, где сказано о кресте Андреевой горы, прибавьте: „А теперешний мраморный крест водружен г-м Кохановым, бывшим приставом горских народов, не упомню, в котором году“».[1]

Ксенофонт Полевой исполнил просьбу Александра Марлинского, но по какой-то непонятной причине (может быть, по сознательному расчету, так как имя Марлинского было весьма популярным) статья была напечатана в первой книге «Сына Отечества» за 1838 г. с подписью — Марлинский, что вызвало оживленный обмен письмами братьев. В 1838 г. Николай Бестужев писал Павлу: «Мы читали твою статейку в Сыне отечества под названием Марлинского и были очень ею довольны. Правда, что есть некоторое сходство со слогом покойного Александра, особенно когда ты брызжешь так называемыми во время оно Бестужевскими каплями; но видно, что твой слог примет направление более серьезное и что в твоем будет более правильного хода мыслей нежели у него».[2]

В этой небольшой статейке Павел Бестужев поднимает вопрос, весьма существенный и характерный для декабристского мировоззрения, — вопрос о познавательном и пропагандистском значении литературы. Известно, какое значение декабристы придавали литературе путешествий, известно также, что они противопоставляли свое понимание этого жанра путешествиям карамзинского, «сентиментального» типа.

Отвечая в своей статье на заметку некоего путешественника по Грузии, Павел Бестужев сетует на то, что «у нас мало писано о Кавказе, да и то неверно или недостаточно». Ту же мысль он высказал в письме к брату Александру еще в 1832 г. О дальнейших литературных опытах Павла Бестужева известно только из переписки братьев. В 1837 г. Павел сообщает братьям, что ему поручили издание при штабе журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений.

В письме к матери от 4 марта (вероятно, 1840 г.) он пишет: «Я кончил и отослал уже в Иллюстрацию небольшую статью под названием Мы с вами квиты, а теперь пишу Филиппу в правый глаз, подпись моя — Помещик Сухолужицын. Не знаю, напечатают ли?».[3] Очевидно, обе эти статьи напечатаны не были.

Старшие братья, особенно Николай и Александр, руководили Павлом не только в вопросах литературы, но и в житейских и общественных делах. Письма Николая Бестужева к нему свидетельствуют о том направлении, которое стремились придать всей деятельности Павла братья-декабристы, верные своим прежним принципам. Так, 18 января 1835 г. Николай пишет: «Около 9 лет прошло, как мы с тобою расстались. Тогда ты был еще юноша пылкий, но не опытный, в цвете лет, но не созревший, теперь нам приятно представлять тебя мужем, испытанным не в большом свете, где часто лестные успехи человека зависят более от посторонних причин, нежели от него самого, но посреди ужасов войны и природы и окрещенного в купели несчастья. Не испытания нам эти нравятся — они не нравятся никому — но испытанный ими человек».[4]

Он старается внушить Павлу, что деятельная жизнь в любых обстоятельствах достойна уважения: «Снова повторим сказанное нами уже однажды: что не одни только те служат отечеству, кто льет кровь свою за него, но и те, кто сеют хлеб и занимаются хозяйством дома. Но для этого надобно заниматься серьезно, а не жить сложа руки в деревне. — Это и скучно и стыдно».[5]

Отрицательное отношение к «свету», к светской жизни, характерное для декабристов Бестужевых, с особенной силой проявилось у Павла в его письмах к братьям, например, в письме к Александру от 11 апреля 1832 г. Павел пишет:

«. . . признаюсь, для меня роль волокиты не нравится. Не хвалясь твердостию правил, я полагаю, что причиною этому раннее отчуждение от света со всеми его соблазнительными беззакониями и законным соблазном. . . Наблюдая ход развития моего характера, я всегда замечал наклонность к увеличиванию суммы познаний. Теперь же, не имея никакой цели в жизни, мне остается одно — предаться совершенно наукам и богатством познаний пополнить промежутки способностей».[6]

Отрицательное отношение к порочному светскому обществу сочетается у Павла Бестужева с негодованием против подлой и продажной литературной среды, представленной группой Булгарина, Греча, Сенковского и им подобных. . . . «Надобно вам заметить, что г-н Греч теперь статский советник и напоминать ему теперь родство

---

[1] Русский вестник, 1861, т. 32, апрель, стр. 461, письмо от 27 июля 1834 г.

[2] Архив Бестужевых. Полностью письмо опубликовано в этом же сборнике на стр. 104—109.

[3] Архив Бестужевых, ф. 604, № 13 (5582), л. 248.

[4] Там же, № 9 (5578), л. 40.

[5] Там же, № 9 (5578), л. 46, письмо от 13 сентября 1835 г.

[6] Там же, № 5 (5574), л. 35—36.

его с часовых дел мастером (намек на прежние дружеские отношения его с Николаем Бестужевым, — *Л. Л.*) ему не понравится. К тому же, молвить правду, он очень дурной человек и, право, не поторопится делать не только добро кому-либо, но даже и удовольствие. Все они, эти друзья: Булгарин, Сенковский, Греч и много им подобных — просто негодяи; они приятны в обществе и терпимы по голове, а не по сердцу. Вся наша литературная братия никуда не годится: ссоры, подлости, личности, бессовестность и бездушие. . . Право, иногда стыдно с иными быть знакому».[1] Хотя сам Павел Бестужев и не был участником 14 декабря 1825 г., но влияние братьев-декабристов, круг интересов, связанных с этой средой, способствовали выработке определенного морального и общественного кодекса, с которым он подходил к оценке современного ему общества.

Этот типично декабристский кодекс лежит и в основе публикуемого нами письма о смерти Пушкина, которое, таким образом, является не только лишним свидетельством о том впечатлении, какое произвела смерть Пушкина на передовые круги русского общества, но и своеобразным памятником декабристской литературы.

[1] Архив Бестужевых, ф. 604, № 4 (5573), лл. 188—189, письмо от 21 мая 1838 г.

Н. И. ГНЕДИЧ И ДЕКАБРИСТЫ

(Из истории литературных программ и объединений декабристов)

Сообщение И. Н. Медведевой

Советское литературоведение обратило особое внимание на литературные интересы, связи и программы тайных декабристских организаций.

Изучение материалов общества «Зеленая лампа» и Вольного общества российской словесности дает теперь возможность окончательно утверждать, что эти вольные литературные объединения были тесно связаны с Союзом благоденствия. В канун декабрьских событий Вольное общество российской словесности явилось организацией, где преобладало идейное влияние левого крыла Северного тайного общества (Рылеева). Исследование литературных журналов и альманахов, возглавляемых декабристами («Мнемозины», «Полярной Звезды» и других), дало возможность выяснить, до некоторой степени, литературные позиции декабристов и круг литераторов, оказавшихся в сфере их влияния.

В этом смысле очень важно, что советская наука не только изучает творчество литераторов-декабристов и исследует декабристскую сущность ряда произведений таких писателей, как Пушкин и Грибоедов, но останавливается и на второстепенных литераторах, являвшихся пропагандистами декабристской мысли.

Одновременно разрабатываются и вопросы, связанные с изучением литературных традиций, на которые ориентировались декабристы.

Для того чтобы назвать писателей старшего поколения, творчество которых в той или иной степени использовали декабристы, исследовать связь творчества этих писателей с декабристской идеологией, — необходимо напомнить о литературных установках деятелей тайных обществ.

Общие литературные принципы декабристов декларированы лишь в одном документе: в уставе Союза благоденствия (Зеленая книга), в разделах, посвященных «слову» и «письму».

Пункт 55-й этого раздела повелевает члену тайного общества, призванному заниматься вопросами культуры, «изыскивать. . . надлежащее направление изящным искусствам, . . . которое состоит не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего».

Пункт этот проясняет для нас характер литературных споров начала 20-х годов, объясняет программы литературных занятий, проводимых декабристами в вольных литературных обществах, и, наконец, объясняет отношение декабристов к отдельным литераторам.

В частности, именно этим, принципиальным для декабристов, утверждением преимущества высокой, героической литературы объясняется особое отношение к одному из представителей гражданской поэзии —

знаменитому переводчику Гомера Н. И. Гнедичу — со стороны людей, призванных осуществить декабристскую программу в литературе (Ф. Н. Глинки и других).

Ряд неопровержимых фактов свидетельствует об особом доверии к Гнедичу. Среди них наиважнейшим является избрание Гнедича на пост вице-президента Вольного общества любителей российской словесности в июне 1821 г., именно тогда, когда декабристскому руководству удалось освободить общество от реакционной группировки.

Речь Гнедича о назначении поэта, произнесенная им при избрании, была по существу распространением цитированного выше декабристского тезиса о высокой гражданской литературе. Своеобразной репликой Гнедичу на эту тему является дума Рылеева «Державин». Посвящение заключительной для всего цикла думы Гнедичу вызывает особое внимание и имеет более принципиальное значение, чем послание «Н. И. Гнедичу», написанное Рылеевым как дань уважения к монументальному труду переводчика «Илиады».

Факты, характеризующие идейную связь Гнедича-литератора с установками декабристов, подкрепляются и личными отношениями его с ведущими декабристами. В этом смысле важный и новый материал дают письма Гнедича к А. П. Юшневскому и письмо к Е. Ф. Муравьевой, написанное Гнедичем после свершения приговора над Никитой Муравьевым.

Изучению всех этих фактов и мировоззрения Гнедича в связи с теми сторонами его творчества, которые оказались близки декабристам, посвящена данная работа.

Постановка темы о Гнедиче — выразителе передовых идей декабристской эпохи — не является новой, но имеет своеобразную историю. Усилиями реакционной критики, начиная с Михаила Лобанова и кончая Минским, Гнедич был представлен как знаменитый, но далекий от живого реального мира переводчик-классик, теоретик стиха и посредственный поэт. Читателю преподносилась унылая биография чиновника-библиотекаря, небогатая событиями, и объяснялось, что Гнедич в своем оригинальном творчестве «становился искренен и поэтичен. . . только под влиянием личного горя и то сильного».[1] В подобных биографиях не было и помина о политических взглядах Гнедича и его связях с декабристами.

Но существует и другая традиция в русской критике, противоположная лобановской. О Гнедиче как поэте и переводчике, глубоко созвучном лучшим чаяниям времени, высказывались Кюхельбекер, Рылеев, Бестужев, Пушкин и, наконец, Белинский.

Своей заметкой о переводе «Илиады», вышедшей в 1829 г., Пушкин связал труд Гнедича с декабристской эпохой и указал высокое принципиальное значение этого труда — «единого, высокого подвига».

Именно декабристы противопоставили «легкомысленное занятие. . . блестящими безделками поэзии» — «благочестивому служению».

Язык и стиль заметки Пушкина не случайно совпадает с фразеологией «Зеленой книги» «Союза благоденствия». В послании Гнедичу 1832 г. Пушкин возвратился к той же теме. Он начал послание «С Гомером долго ты беседовал один» с напоминания о «Послании Н. И. Гнедичу» Рылеева («С Гомером отвечай всегда беседой новой»).

В своей оценке перевода «Илиады» и позднейшей характеристике поэтического и критического наследия Гнедича Белинский продолжил декабристскую традицию, утвержденную Пушкиным.[2]

[1] Цитирую биографию в изд. 1884 г. (Соч. Н. И. Гнедича, СПб., 1884, т. I, стр. XXII).

[2] Характерно, что Белинский упоминает и заметку и стихотворение Пушкина.

Белинский называл перевод Гнедича «великом подвигом»,[1] «делающим честь целой нации», и «гигантским подвигом великого таланта и великого труда».[2]

Белинский считал, что перевод Гнедича будет иметь огромное влияние на русскую литературу.[3] Он возвращал труду Гнедича то место, которое предназначало ему декабристское поколение, не считавшее «Илиаду» книгой для немногих эстетов и любителей древности, но видевшее в ней скрижаль, воспитывающую поколения в духе гражданственно-героическом.

В оценке оригинального творчества, переводов новогреческих песен, критических и теоретических статей — Белинский не только вскрыл подлинное поэтическое дарование Гнедича, оригинальность его построений и суждений, но подчеркнул прогрессивное значение его творчества, до сих пор недостаточно оцененного, указал направление его идей и борьбу, которую вел Гнедич за подлинную народность литературы.

Мысли Белинского о Гнедиче не были ни поняты, ни оценены ближайшими поколениями критиков. Пересмотр творчества Гнедича в духе мыслей Белинского был начат лишь после 1917 г.

Собранное в настоящее время критическое наследие и неопубликованные письма Гнедича открывают богатые возможности для исследований; назрела и принципиально важная тема: Гнедич и декабристы. Постановка этой темы необходима не только для правильной оценки творчества и общественной деятельности Гнедича, но и для понимания некоторых литературных идей декабристов.

I. Молодой Гнедич и его дружба с декабристом А. П. Юшневским

Начало дружбы Гнедича с Алексеем Петровичем Юшневским относится к 90-м годам XVIII в. Можно предполагать, что они учились вместе или в Полтавской семинарии, куда поступил Гнедич в 1793 г., или в Харьковском коллегиуме, который он окончил в 1800 г. Гнедич сам отмечает, что привязанность его к Юшневскому началась с детских лет и что он полюбил будущего декабриста за «светлость ума, чувствительность и благородство души», уже тогда (т. е. в детстве) «возвышавшие его над толпою».[4]

По окончании коллегиума Гнедич поступил в Московский университетский пансион; тогда же, или в начале 1801 г., в пансион поступил и Юшневский.[5]

О близости Гнедича и Юшневского в университетские годы имеются некоторые сведения в «Записках» С. П. Жихарева.[6] В письме Гнедича Юшневскому 1823 г. говорится о «злополучии» Юшневского в ранние годы его жизни. «Злополучие», о котором говорит Гнедич, было не чем иным, как бедностью, необходимостью самому себе пробивать дорогу. Повидимому, в «злополучии» Гнедич и Юшневский были собратьями и в университете принадлежали к одной непривилегированной части студенчества.

См.: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., под ред. Венгерова, т. VI, стр. 274 (Сочинения Ал. Пушкина).

[1] Там же, т. V, стр. 13.

[2] Там же, т. V, стр. 263.

[3] Там же, т. VII, стр.31.

[4] Письмо Гнедича Юшневскому от 17 сентября 1823 г. в «Збірнике на пошану акад. Дмитра Иванов. Багалія» (У Київі, 1927, стр. 872).

[5] Юшневский был моложе Гнедича на два года (род. в 1786).

[6] С. П. Жихарев. Записки современника, т. I и II. Academia, 1934.

Нищета, в которой очутились Юшневский и его жена в Сибири, рисует нам его как разночинца, жившего исключительно службой и имевшего в наследии отца какую-то ничтожную долю.[1] «Злополучие» молодого Гнедича было настоящей нищетой. Оба они за неимением средств не смогли дотянуть до конца университетского курса.

По словам Жихарева, Гнедич-студент «замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением». Такие, как он, Юшневский и другие неимущие студенты, состояли как бы в особом разряде. Они должны были подавать пример прилежания и часто исполняли репетиторские и надзирательские обязанности. Университетские годы и для Гнедича и для Юшневского были временем серьезных занятий и чтения. На следствии Юшневский показал: «Обучался я в означенном заведении ‹университете› языкам: российскому, французскому и немецкому, математике, физике, истории, географии и статистике. Взятый оттуда преждевременно, старался я довершить неоконченное, занимавшись потом сам изучением предметов, здесь поименованных».[2] Университетские курсы давали полную возможность серьезному студенту выбрать себе профессию: именно в университете Гнедич стал профессиональным переводчиком и литератором, а Юшневский определил свои интересы — политико-экономические и дипломатические.

Жизнь университета не ограничивалась программными занятиями. В 1799 г. при университете было учреждено Литературное общество и установились публичные чтения. Был и постоянный театр, в котором Гнедич «за представление некоторых трагических лиц осыпаем был единодушными похвалами». Именно в университете Юшневский вслед за Гнедичем пристрастился к театру и готов был обсуждать с Гнедичем вопросы репертуара и общие проблемы русской драматургии, о чем имеются свидетельства в упомянутых «Записках современника».

Во второй половине 1801 г. Юшневский вынужден был оставить университет «по воле родителей». Вскоре после этого, в начале 1802 г., по той же причине — т. е. по необходимости служить — оставил университет и Гнедич. Однако Гнедич по собственному выбору уехал в Петербург, где надеялся начать литературную деятельность, а Юшневский поступил на службу в канцелярию подольского губернатора секретарем-переводчиком и в дальнейшем продолжал дипломатическую службу, поступив в 1805 г. в Иностранную коллегию.

Одним из обязательных пунктов допроса декабристов был вопрос: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?». Почти все декабристы отвечали на это уклончиво, чтобы не вовлекать в следствие новых лиц. В этом же духе были показания Юшневского.

Он отвечал, что человек, давший его «молодому уму пагубное направление, давно уже не существует» и что «родом он был итальянец». Именно он якобы разбудил в 18-летнем юноше «любопытство к чтению сочинений,

[1] Хотя архивные материалы (см. статью: В. Базилевич. Декабрист О. П. Юшневский. Сб. «Декабристи на Україні», у Київі, 1930, стр. 38) свидетельствуют о состоятельности отца Юшневского, купившего в 1811 г. у гр. Миних обширное имение Хрустовая (Подольской губернии), однако «богатство» Юшневских все же кажется сомнительным. Братья Юшневские не могли закончить высшего образования и вынуждены были очень рано начать службу. Юшневская не в силах была собрать средства на поездку к мужу в Сибирь и была отправлена помощью Е. Ф. Муравьевой и других. Все годы каторги и ссылки Юшневский существовал в значительной степени на счет помощи богатых товарищей.

[2] Цитирую по статье: В. Базилевич. Декабрист О. П. Юшневский. Сб. «Декабристи на Україні», т. II, У Київі, 1930, стр. 41.

в которых более или менее скрывались семена пагубного вольномыслия».[1] Таким образом Юшневский датировал начало своего вольномыслия 1804 г., т. е. временем своей службы в канцелярии подольского губернатора.

Но вряд ли это утверждение соответствовало истине. «Сочинения, в которых более или менее скрывались семена пагубного вольномыслия», были хорошо известны Юшневскому еще в университете, так как философские, исторические и политические курсы этого либерального учебного заведения, несомненно, возбуждали к чтению подобных сочинений. Мог их рекомендовать Юшневскому и Гнедич. Он был старше своего друга, а главное имел уже в студенческие годы очень определенный круг интересов.

Вольномыслие и острый интерес к политической теме, характерные для Гнедича-студента, могли оказать влияние на Юшневского, относившегося с большим уважением к занятиям своего друга.

Влияние Гнедича могло вполне возобновиться по приезде Юшневского в Петербург в 1805 г. Даже беглые замечания Жихарева в упомянутых его «Записках» свидетельствуют о том, что Юшневский, не будучи сам литератором, был введен в литературно-театральную среду, близкую именно Гнедичу. Эти же «Записки» свидетельствуют и о чрезвычайно близком, повидимому, каждодневном общении Юшневского с Гнедичем, о полной осведомленности Юшневского о всех литературных делах своего друга и заинтересованности в вопросах, его волновавших.

Восьмого апреля 1807 г. Жихарев записал беседу, происходившую у него в доме между Юшневским и Гнедичем.[2] Гнедич говорил об усовершенствовании русского театра благодаря новым пьесам и лучшей образованности актеров. Это был период, когда Гнедич усиленно начал заниматься с актерами,[3] объясняя им роли, значение пьес и обучая их приемам эмоциональной декламации. Он готовил Семенову к соревнованию со знаменитой Жорж и вскоре добился ее триумфа. Со свойственным ему увлечением Гнедич заявлял Юшневскому, что так называемое светское общество уже предпочитает русский театр — французскому. Юшневский скептически относится к светскому обществу и считал, что русский репертуар еще слишком мало имеет пьес уровня трагедий Озерова и комедий И. Крылова. С характерной для него трезвостью относился он к оптимистическим надеждам Гнедича на то, что в ближайшее время «несколько хороших пьес и хороших актеров нечувствительно могут переменить образ мыслей и поведение наших слуг, ремесленников и рабочих людей». «До этого еще далеко», — возражал Гнедичу Юшневский. Любопытный этот разговор, который явился продолжением еще университетских споров, показывает единство интересов Гнедича и Юшневского в начале 1800-х годов. Хотя весьма вероятно, что годы, проведенные Юшневским на юге, и сформировали окончательно его мировоззрение, — связь с Гнедичем, уже сложившимся литератором-вольнодумцем, не могла пройти бесследно для начинающего государственного деятеля, дипломата Юшневского.

Общественное сознание Гнедича закономерно вырастало из обостренного сознания своей принадлежности к обездоленным. Декларацией этого

---

[1] Цит. по упомянутой книге «Декабристи на Україні» (стр. 41—42).

[2] С. П. Жихарев. Записки современника, т. II. Academia, 1934. стр. 197—199.

[3] О том, что Гнедич занимался не с одной Семеновой, имеется свидетельство в его неопубликованном письме к Батюшкову от 16 октября 1810 г., где Гнедич пишет о «тайных театральных школах» у него на дому. Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, ф. I, оп. № 56.

общественного сознания является стихотворение «Общежитие» (1804):

Священный долг нам есть — для блага всех трудиться.
Как без подпор нельзя и винограду виться,
Так мы без помощи других не проживем;
Тот силу от подпор — мы от людей берем;
Всем вместе должно жить, всем вместе нам трудиться. . .

Из сознания социального бытия проистекало и сознание социальных несправедливостей:

Ты наслаждаешься, — а тысяча сирот
Страдают там от глада;
Вдовицы, старики подле твоих ворот
Стоят и падают, замерзнувши от хлада.
Ты спишь — злодей уж цепь, цветами всю увив,
На граждан наложил, отечество терзает,
Сыны отечества, цепей не возлюбив,
Расторгнуть их хотят, — вопль слух мой поражает!

Прямым протестом против тирании и рабства является стихотворение Гнедича «Перуанец к испанцу» (1805). Стихотворение имеет двойной смысл. Тема испанской деспотии и страшных условий рабского труда в колонии была одной из актуальнейших тем в западноевропейской прогрессивно-просветительной литературе конца XVIII—начала XIX в. Стихотворение Гнедича являлось русским откликом на эту тему. Между тем, в декламации о рабском труде и долготерпении перуанцев нетрудно усмотреть прямой намек на крепостное состояние русского крестьянства. Гнедич не ограничился описанием положения рабов, за этим следуют строки, в которых поэт выражает надежду на то, что долготерпение рабов иссякнет:

Но может быть, при мне тот грозный час свершится,
Как братий всех моих страданье отомстится.
Так некогда придет тот вожделенный час,
Как в сердце каждого раздастся мести глас;
Когда рабы твои, тобою угнетенны,
Узря представшие минуты вожделенны,
На всё отважатся, решатся предприять
С твоею жизнию неволю их скончать.
И не толпы рабов, насильством ополченных,
Или наемников, корыстью возбужденных,
Но сонмы грозные увидишь ты мужей,
Вспылавших мщением за бремя их цепей.

Роман молодого Гнедича «Дон Коррадо де-Герера», написанный в 1803 г.,[1] несмотря на литературную беспомощность, так же как и указанные стихотворения, исполнен страстной пропаганды человечности. Герой этого романа олицетворяет политику испанского короля Филиппа II. Жестокость и лицемерие — главные черты Коррадо. В предисловии к своему роману Гнедич пишет, что жизнь Филиппа II «есть великая цепь злодейств. . . 50 000 невинных сделались жертвами суеверия и ярости филипповой; 8000 пали от рук его любимца — вельможи Альбы; и кто после этого усумнится о делах де-Гереры?». В «цепи злодейств» Коррадо самым страшным является беспощадное подавление восстания: «Кто, — кто это, обрызганный кровью и покрытый пылью, лежит на холме и с хладнокровием слушает стоны умирающих; с улыбкою радости, со взором удовольствия смотрит на разграбленные и на сожженные, находящиеся вдали хижины? Кто это смотрит на черный дым, взвивающийся из-под

[1] Дон Коррадо де-Герера, или дух мщения и варварства испанцев. Ч. I—II, М., 1803. Цитаты на стр. 2 и 12—13.

тлеющих развалин, смотрит на голодных вранов, с хриплым криком опускающихся на растерзанные трупы, — смотрит и любуется? — Это тот, кого послало правительство для усмирения возмутившихся жителей и для восстановления покоя. . . это дон Коррадо де-Герера, любующийся *делом рук своих*!»

К этому же времени, насыщенному у Гнедича политически значимыми произведениями, относится перевод республиканской трагедии [1] Шиллера «Заговор Фиэско в Генуе» (1803). По свидетельству Жихарева,[2] Гнедич с особым увлечением декламировал монолог мужественного республиканца Веррины. В этом монологе (действ. V, явл. 16) Веррина проклинает Фиэско, который боролся с тираном лишь во имя собственной деспотии.

Раннее творчество Гнедича имеет глубокую связь с просветительскими идеями конца XVIII в. Идейная сущность таких произведений, как «Общежитие», «Глас благодарности», «Перуанец к испанцу», — восходит в известной мере к мыслям Радищева о рабстве, правах человека, законе и т. д. Несомненно, что Гнедич, увлекавшийся «всем, что выходило из обыкновенного порядка вещей»,[3] еще будучи студентом Московского университета, читал запрещенное «Путешествие из Петербурга в Москву» и знаменитое примечание Радищева к переводу «Рассуждения о греческой истории».

Повидимому, уже со студенческих лет Гнедич твердо стал на почву материалистической просветительной философии XVIII в. и оставался сторонником этой философии до конца своей жизни. В своей «Записной книжке» писал он о «законах разума», которые «вечны и неизменны», и о том, что «философия есть наука просвещать людей, чтоб сделать их лучшими», и что «германцы занимаются истиною собственно для нее, не думая о том, что могут извлечь из нее люди», тогда как «истинная философия должна быть устремлена к изысканию, или разрешению истин, полезных человечеству».

Эту же философию, которая должна быть на службе у человечества для утверждения справедливости и блага, исповедовал и Юшневский. Из его высказываний в 1817 г. или более поздних очевидно, что взгляды его сложились давно и что с ними входил он в жизнь. Брат Юшневского Семен Петрович жаловался, что приятели посмеиваются над его философскими идеями XVIII в. На это Юшневский отвечал: «Я не знаю, как зовут те правила, которые я тебе внушить старался; ежели их назвать философией 18 века, тогда должно будет заключить, что имя сие дается правилами честности, бескорыстия, любви к своим собратиям. . .».[4]

Юшневский до конца жизни был чужд мистицизма и идеалистической «метафизики». Мир беспредметной фантазии и «пустых отвлеченностей», которыми характеризовал он германскую философию,[5] не увлек его и тогда, когда он лишен был возможности действовать. Круг его чтений и на каторге остается все тем же. Его интересуют политика и экономика, вопросы воспитания, точные науки, техника. Юшневский славился своей начитанностью и с каторги писал, что для него «жить — значит читать», но при этом прибавлял: «лишь бы только не произведения фантазии,

---

[1] Наименование «Республиканской трагедии» дано было самим Шиллером. За трагедию он получил от Конвента почетный титул французского гражданина.

[2] «Записки современника», т. I. Academia, 1934, стр. 260.

[3] Там же, стр. 260.

[4] Цитирую по указанной выше статье В. Базилевича (стр. 44).

[5] См.: Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского к его жене Марии Казимировне из Сибири. Киев, 1908, стр. 100.

а что-нибудь дельное».[1] Несмотря на энциклопедизм и некоторое дилетантство в области познаний и искусства, Юшневский в то же время был человек дела, труженик, неуклонно шедший к поставленной цели. Он очень рано определился как практик и человек, превыше всего ставивший служебную и общественную деятельность. Еще юношей он скептически относился ко всему, что отвлекало его сверстников от настоящего дела. Так, Жихареву он советовал бросить свои драматургические опыты, побольше читать и начать что-либо «дельное». «К чему бы послужило образование, которое стараемся мы приобресть, если бы мы не умели обращать его на службу общества»,[2] — писал Юшневский брату, поощряя его к общественной деятельности. Этот высокий культ деятельности, общественного служения был характернейшей чертой Юшневского, и в этом отношении он, несомненно, мог воздействовать на Гнедича, который, несмотря на то, что всю жизнь посвятил литературному труду, утверждал, что «не хотел бы быть *писателем*, если бы мог *делать*».[3]

Темы общественного долга и общественной роли человека являются лейтмотивами всего творческого пути Гнедича, начиная от его ранней политической лирики до последних записей в дневнике.

Священный долг наш есть — для блага всех трудиться! — пишет Гнедич в 1803 г. в стихотворении «Общежитие». В упомянутой уже «Записной книжке» Гнедича мы находим следующий афоризм: «Истинное счастие есть непрерывная деятельность, непрерывное усилие, следовательно оно может обитать только в такой душе, которая посвятила себя народному благу и славе».

Общественная деятельность Гнедича, начиная со времени его первых выступлений по вопросам театра (1804—1805) и кончая «Запиской о воспитании», составленной им в конце жизни, до сих пор недостаточно оценена. Эта деятельность поставила Гнедича в центр передовой литературной жизни и увеличила значительность предпринятого им труда по переводу «Илиады». Несмотря на близость интересов и единомыслие Гнедича и Юшневского, жизненные пути их разошлись.

Вплоть до осени 1809 г. (когда была назначена пенсия для работы над «Илиадой») Гнедич, кое-как пробавляясь грошами писарской должности, все силы свои направлял на литературные опыты.

Юшневский весь отдавался своей служебной деятельности. Он начинал в эту пору дипломатическую карьеру и проявлял способности дипломата-практика. Уже в 1808 г. он оставил столичный департамент для непосредственной дипломатической службы в Молдавии и Валахии.

С этого времени он уже не возвращался в Петербург и попал туда лишь в январе 1826 г. — узником Петропавловской крепости.

1808 годом кончается непосредственная связь Гнедича с Юшневским. Однако близость между друзьями остается. Свидетельством этого являются письма Гнедича к Юшневскому 1822—1823 гг., о которых будет сказано далее.

II. Патриотические устремления Гнедича в эпоху Отечественной войны

Отечественная война, всколыхнувшая все слои русского общества, вызвала подъем патриотических настроений. Однако патриотизм про-

[1] См. Письма Юшневского, стр. 141.
[2] См. Письма Юшневского, стр. 61.
[3] См. «Записную книжку» Гнедича в работе Н. Тихонова «Николай Иванович Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам» (Сб. Отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук, т. XXXIII, № 3, 1884, стр. 75).

грессивно настроенной молодежи был совершенно иным, чем реакционный патриотизм правой оппозиции, видевшей в войне конец правительственных либеральных начинаний.

Ко времени Отечественной войны Гнедич был уже вполне сложившимся литератором, автором нескольких вольнодумных стихотворений, одним из ведущих театральных деятелей и видным переводчиком.

Театральная деятельность Гнедича имела характер большого патриотического дела, так как заключалась в утверждении достоинств русского театра, преимущественно в сравнении с французским, к которому имел пристрастие так называемый высший свет, и немецким, который любили мещанские круги.

Деятельность Гнедича в области театра заключалась в переводах значительных пьес для русского репертуара, в работе с актерами, создавшей особую гнедичевскую «школу» декламации в классических трагедиях, и, наконец, в критических высказываниях о пьесах и игре актеров.

Одним из самых удачных и имевших большой успех переводов Гнедича был перевод трагедии Вольтера «Танкред», продержавшейся в репертуаре много лет (с 1809 года). «Танкред» был в числе тех пьес, которые содействовали развитию вольнолюбивых настроений. В эпоху наполеоновских войн монологи о тиране и освобождении родины восторженно воспринимались патриотически настроенными зрителями, однако те же монологи в конце 10-х начале 20-х годов могли воздействовать и как «тираноборческие».

Декламационные методы Гнедича, которым обучал он трагических актеров, составляли неразделимое целое с понятием Гнедича о воспитательном значении высокого искусства, о преимуществах высокой трагедии перед драмой. Ценя в трагедии высокие идеи и чувства, Гнедич и в декламации требовал подчеркивания мест особого эмоционального напряжения. В эпоху патриотического подъема, в дни, когда «Пожарский» Крюковского и «Димитрий Донской» Озерова вызывали бешеные восторги и «исторгали слезы» умиления, — «метода» Гнедича одержала победу над сдержанной, вялой декламационной системой Шаховского.

Критические мысли Гнедича о театре нашли наиболее яркое выражение в статье 1815 г. «Письмо к Б. о переводе и постановке трагедии Расина „Ифигения в Авлиде“». В этой статье, написанной сразу по окончании войны, Гнедич с полной отчетливостью заявляет о превосходстве русских актеров и о высоких достоинствах и своеобразии исполнения классических ролей Екатериной Семеновой, победившей француженку Жорж. Патриотизм Гнедича сопровождается и своеобразной постановкой вопроса о театральной критике, о зрителе. Гнедич отвергает господствующее мнение, что высший суд в театре принадлежит представителям «света». Эту якобы представляющую общественное мнение критику Гнедич считает предвзятой, основанной на пристрастии ко всему иностранному. Мысль эта прямо соприкасается с общей постановкой вопроса об общественном сознании в речи Гнедича на открытии Публичной библиотеки в 1814 г. С другой стороны, к обобщающим мыслям этой речи ведет и основной труд Гнедича, предпринятый им в канун Отечественной войны, — перевод «Илиады».

С 1807 г. Гнедич настолько погрузился в работу над переводом, что с этого времени не только его эстетические воззрения, но и политические взгляды начинают складываться во взаимосвязи с его интересом к древнему героическому эпосу.

Споры вокруг перевода поставили Гнедича в центр литературной жизни. Весь арсенал доводов Гнедича в пользу гекзаметров, имевший

прямую связь с высказываниями Радищева,[1] принял в конечном счете характер новой идейной программы. Узко теоретические задачи стали принципиальными, приобрели у Гнедича значение общеэстетическое. Так, вопрос о гекзаметре был связан с общеязыковой стихией перевода. Гнедичу удалось, — и это впервые в полной мере оценил лишь Белинский,[2] — обогатить перевод народными речениями и архаизмами, стилем, не сжатым узкими тенетами салонных языковых условностей. Емкость гекзаметра позволила Гнедичу дать новую языковую стихию шире и свободней. Работая над «Илиадой», Гнедич вышел за рамки обычной переводческой практики и попытался воссоздать народный дух древнего эпоса путем сопоставления его с русскими народными понятиями терминами и поэтическими представлениями. Он обратился к источнику живого народного языка и широко пользовался словами, добытыми им у «великороссийских судовщиков» (у волжан). Он ввел в перевод такие слова, как «котва» [3] (в смысле якорь, древнее слово у русских мореплавателей). Не стесняя себя салонными вкусами, Гнедич поражал эти вкусы каким-нибудь «всадом» топора, заимствованным у северных русских плотников.

Народная стихия в литературном языке перевода казалась столь дерзостной, что Гнедичу приходилось умерять ее многими условностями современного литературного стиля, чтобы спасти перевод свой от слишком резких нападок и сделать удобочитаемым для современников, «изнеженных», как выражался Гнедич, языком «гостиных».

Источником новых, народных принципов перевода Гнедича являлось новое восприятие русской действительности, порожденное войной. Победа воспринималась подлинными патриотами как победа народа-воина. Тем самым возникал вопрос не только о политических правах этого народа, но и о его культурных правах, о народности литературы и литературного языка. Именно этой теме была посвящена речь Гнедича на торжественном открытии Публичной библиотеки в Петербурге 2 января 1814 г. Она именовалась «Рассуждением о причинах, замедливших развитие нашей словесности».[4]

Мысль о «гордости быть россиянином» явилась основой всего «Рассуждения». Гнедич заявлял, что «Слава земли Российской (т. е. слава победителей в войне, — *И. М.*) должна наполнить и возвеличить наши сердца тою благородною гордостью, должна вселить в нас навеки то уважение к самим себе и языку своему, которое одно составляет истинное достоинство народа». Главной препоной развития нашей национальной словесности Гнедич объявлял подражательность. В одинаковой степени порицает он и подражание всему французскому и новейшее увлечение германской поэзией. Гнедич считает «рабскими цепями» и то, что русские поэты «основывали свои эпопеи на скудном здании поэмы французской», и то, что театр русский является «зрелищем одних любовных приключений». Мы не знаем самих себя: нам следует обратиться к источникам русского слова, лежащим «и в наших книгах церковных и летописцах». Мы не должны бы были позволить «иностранцам упредить нас глубокими познаниями и изысканиями нашей истории; не позволили б чужеземцам изобразить прежде нас великих наших государей и описать

[1] «Памятник дактилохорическому витязю».
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 31.
[3] Ил. I, 436, XIV, 77.
[4] См. «Описание торжественного открытия имп. Публичн. библиотеки бывшего генваря 2 дня 1814 года». СПб., 1814, стр. 52—98.

подвиги наших героев; мы не дали б им похитить чести сей; и наши Омеры и Пиндары, Софоклы и Фукидиды, силою превосходного нашего слова и изящностию их творений, уже похитили б всех просвещенных народов, и слава языка российского уже носилась бы по вселенной, как гром российского оружия». Гнедич заявлял, что мы должны вникнуть в свойства родного языка и выработать язык общественный, гражданский, который у нас в пренебрежении, так как общество предпочитает язык иностранный. Изучение иностранных языков не должно иметь другой цели, кроме «познания словесности». Главную задачу Гнедич видит в выработке среднего языка прозы. Не называя имен, он одинаково порицает и тех, кто «избрал формы латинские, немецкие и другие, несвойственные духу языка нашего», и тех, кто, «будучи пристрастны к наречию славенскому, не могли найти счастливой середины». Уважение к отечественному языку Гнедич считает признаком подлинной образованности и залогом развития национальной словесности. «Там нет уважения к писателю, где нет уважения к языку». Лучшей наградой для писателя является уважение общества, но «какую цену даст ему общество, где не говорят тем языком, каким он пишет, и, стало быть, не чувствуя на нем ни красот, ни достоинств, не могут судить писателя!».

Гнедич считает невозможным истинное развитие словесности (в частности прозы) без национальной общественной жизни. В отсутствии таковой — корень зла. То общественное воспитание, которое доныне имела русская дворянская молодежь, Гнедич считает нездоровым. Он говорит о слабом духе «нашего юношества, расслабляемом негою и роскошью и стесняемом обстоятельствами нашей гражданской жизни». Совершенно несомненно, что для Гнедича центр тяжести был именно в основах нашей гражданской жизни. В ближайшие перемены ее в это время Гнедич еще верит. «Дух общества, кажется готов попрать предрассудок; и время! . . И нельзя думать, чтоб великодушные россияне, славу оружия купившие кровию, не захотели купить славы, не менее великой, жертвою ничтожною. Они изгнали из отечества врагов их свободы; ужели не изгонят из домов презренных врагов своего достоинства, пристрастие и предрассудки? . . . Мы показали Европе пример: будем же первыми и в сем великом деле для пользы отечества. . .».

Развитие гражданского сознания является, по мнению Гнедича, основой развития словесности.

Гнедич видит в обращении к классическим языкам прежде всего реальный метод гражданственного воспитания. Примеры древних героев, витий, философов и поэтов-трибунов, должны перевоспитать русское юношество в духе, нужном для полезной общественной жизни. Гнедич проповедует «мертвые языки» отнюдь не с желанием оторвать молодежь от современности, но с целью уберечь ее от вредоносных, разлагающих влияний современного западного мира. С точки зрения Гнедича, античность является лучшим оздоровляющим лекарством от болезней века: бесплодных мечтаний, метафизики и меланхолии. «Строгое мужественное, воспитание юношества» в Спарте является образцом той школы, к которой должна стремиться современность. В этом горниле испытаний в древнем мире вырастали «атлеты», которые «трудами неимоверными уготовляли себя к поприщу славы». Таким суровым и многообразным испытаниям должен подвергнуть себя всякий, «ступающий на путь славы». Он приводит слова Цицерона о том, что «если к изящному дару будет присоединено основательное учение, тогда он произведет нечто прекрасное и удивительное». Для подлинного развития национальной словесности необходимы писателю подвижники и трибуны в духе древних, а отнюдь

не мечтатели, бряцающие на лире. Основной подвиг писателя в самоусовершенствовании, в науке. Для Гнедича «вещество» дарования подчинено образующему его «искусству», т. е. мастерству. Роль мастерства он считает решающей. Мысль эту, довольно подробно изложенную в «Рассуждении...», Гнедич последовательно проводит в деле обучения актеров и в своей исследовательской работе над Гомером. Таков сложный комплекс гражданственных идей Гнедича в его «Рассуждении...», получивших интенсивное воплощение в его общественной и литературной деятельности в последующем десятилетии.

Речь Гнедича, казалось, не имела ни успеха, ни влияния. Карамзин скептически писал Дмитриеву о «Рассуждении...» Гнедича: «Всё хорошо. Мы победили Наполеона, скоро удивим свет и нашим разумом. Жаль, что я из могилы не услышу рукоплесканий Европы в честь наших гениев словесности».[1] Скептицизм Карамзина объяснялся не только несколько ироническим отношением к выспренности речи Гнедича, но и причинами более серьезными, идеологическими.

Гнедич оказался в «Рассуждении...» своем лучшим пророком, чем Карамзин. Уже в ближайшее десятилетие увидели они славу русского гения и услышали «рукоплескания Европы».

Вопросы, которые затронул Гнедич в своей речи, стали очередными и насущными, как только вернувшиеся с полей сражения окунулись в русскую действительность.

Темы национальной, самобытной культуры, не подчиненной новым западным влияниям, и нового гражданского воспитания молодежи получили уже в 1815 г. должную политическую остроту. Они были неразделимы в сознании будущих декабристов с необходимостью политических преобразований. Именно русскую действительность и грядущие в России политические бури имел в виду Федор Глинка в своих заметках, посвященных «первому подвигу Костюшко по прибытии его в Польшу из Америки». В 1815 г., когда русские герои возвращались домой из заграничных походов, — заметка Глинки читалась как иносказание. Глинка писал, что «Отечество свое застал Костюшко растленным роскошью, слабодушием и развратом вельмож. Все состояния роптали. Семена разрушения уже давно посеяны были в обществе людей, называющих себя просвещенными. Всё приближалось к великому перевороту, и прозорливый наблюдатель сквозь обманчивую тишину предвидел страшные бури».[2]

О неполноценности так называемого русского общества, или «света», «изнеженного» и далекого от других слоев населения, отгородившегося от народа даже языком своим (галломанией), — как мы видим, говорил и Гнедич в своей речи.

Вопрос о литературном языке, общем для всех русских, оказался одним из важнейших в послевоенные годы. Федор Глинка в своем «Рассуждении о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» в 1815 г., т. е. через год после речи Гнедича, писал о том, что «во все времена и у всех народов слава языка следовала за славой оружия, гремя и возрастая вместе с нею». Народность войны он ставил в связь с необходимостью писать для народа языком, понятным народу. Слог, по его мнению, должен быть понятен «для людей всякого состояния», ибо все состояния участвовали в славе войны и в свободе Отечества. Особой, остро

[1] Письмо от 3 июня 1814 г. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, стр. 183.

[2] Отрывки из «Писем русского офицера». Вестник Европы, 1815, ч. XXXII, июль, № 13, стр. 127—128.

стоящей задачей Глинка считал национальную самобытность, отказ от подражаний всему иностранному. Русский историк, по мнению Глинки, должен обратиться к древнейшим русским летописям, народному эпосу и т. п. Только этим путем создает он язык самобытный, «не заимствованный из чуждых наречий».[1]

Выводы, прямо соотносящиеся с мыслями Гнедича, в конце 10-х годов были очень ярко и решительно сформулированы А. Д. Улыбышевым в его статье «Письмо к другу в Германию», читанной на заседании общества «Зеленая лампа».

Улыбышев писал: «Итак, не подбирая, жалким образом, колосья с чужого поля, а разрабатывая собственные богатства, которыми иностранцы воспользовались раньше нас самих, мы сможем. . . соперничать с французами и после того, как мы отняли у них лавры Марса, мы будем оспаривать и лавры Аполлона».[2]

Но рассуждения Ф. Глинки и А. Улыбышева, дающие почти буквальные совпадения с отдельными местами из речи Гнедича, не могут рассматриваться в качестве заимствований. Совпадения эти лишь указывают на единомыслие, которое приводило даже к общности фразеологии. Темы, выдвинутые Гнедичем, как нельзя более соответствовали гражданскому пафосу, явившемуся результатом патриотизма эпохи Отечественной войны. Темы эти стали общими для прогрессивной мысли второй половины 10-х годов. В этом плане речь Гнедича является знаменательной, так как в ней можно видеть начала будущих культурно-просветительных установок декабристов.

III. Гнедич и юный Кюхельбекер

В середине 10-х годов, когда Пушкин, Кюхельбекер и Дельвиг были лицеистами, — произведения Гнедича уже входили в учебные программы русской словесности. Илличевский писал из Лицея своему товарищу Фуссу: «Мы также хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича».[3] Несомненно, что «гений Гнедича» расценивался лицеистами поразному. Лицейским вольнодумцам, к которым принадлежали Кюхельбекер и Пушкин, вероятно, была наиболее интересна политическая лирика Гнедича — его «Общежитие...» и «Перуанец к испанцу». Кюхельбекеру, составителю лицейского «Словаря...», где помещались выписки на темы свободы и общественного блага, вольнолюбивые декламации Гнедича должны были казаться особенно близкими. Но и гражданская лирика юного Пушкина не могла не впитать в себя некоторых элементов гражданской лирики Гнедича. Аналогия напрашивается при чтении заключительной части оды «Лицинию» (1815). Стихи эти и стилем своим и общим тоном близки заключительной части послания «Перуанец к испанцу». Пушкин, так же как и Гнедич, заканчивает свое стихотворение пророчески-обличительными стихами.

У Гнедича:

> Но может быть при мне тот грозный час свершится,
> Как братий всех моих страданье отомстится.

[1] «Рассуждение...» Ф. Глинки было напечатано в «Русском вестнике» (1815, № 4), а затем с дополнениями перепечатано в «Сыне отечества» (1816, ч. 27, № IV, стр. 138—162). Цитирую по журналу «Сын отечества».

[2] Б. Л. Модзалевский. К истории Зеленой лампы. 1928, стр. 40. — Те же мысли находим мы в статье Улыбышева «Сон» (там же, стр. 45—48).

[3] К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 44. Письмо от 10 декабря 1814 г.

У Пушкина:

Придет ужасный час, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец
и т. д.

Речь Гнедича 1814 года на открытии Публичной библиотеки, тогда же напечатанная, несомненно произвела впечатление на лицейского автора вольнодумного «Словаря». Известно, что в 1815 г. Кюхельбекер написал объемистое «Рассуждение о древней российской словесности». Сама по себе тема эта была как бы ответом на патриотические призывы Гнедича. В письме Илличевского к тому же Фуссу сообщается о труде Кюхельбекера, при этом Илличевский присовокупляет к своему сообщению следующую сентенцию: «хвала русскому языку и русскому народу! Последняя война доставила ему много славы, и я уверен, что иностранцы, разуверившиеся, что мы варвары, разуверятся также и в том, что наш язык варварский, — давно пора этому!».[1] Эти слова юного Илличевского являются, конечно, не чем иным, как цитацией или изложением мыслей Кюхельбекера, которые, как нетрудно убедиться, восходят к «Рассуждению...» Гнедича. Можно предполагать, что книга «Описание торжественного открытия императорской Публичной библиотеки» с речью Гнедича и послужила толчком к тому, чтобы восторженный Кюхельбекер стал мечтать о службе на том поприще, где подвизались Гнедич и Крылов. Перед окончанием Лицея Кюхельбекер написал Гнедичу письмо с просьбой дать ему по этому поводу совет и, может быть, оказать содействие. Характерен ответ Гнедича. Он писал: «. . . молодому, образованному человеку, с живыми способностями ума, с душою свежею для трудов, начать путь своей службы в месте, где нет пищи для деятельности..., мне кажется, всё равно, что идти в монастырь. . .». Отвечая Кюхельбекеру на его мысль, что библиотека даст ему возможность заниматься поэзией, — Гнедич пишет: «Музы всегда найдут досужий час посетить своего любимца: Державин лучшие свои произведения писал под бременем дел государственных».[2] Этот ответ Гнедича не является случайным его высказыванием, применимым лишь к данному случаю и адресату: в ответе Кюхельбекеру — выражение общественного сознания Гнедича.

Свои поучения начинающему писателю Кюхельбекеру Гнедич начинает декларацией этой мысли. Служение народу, государственная и общественная деятельность должны быть в центре его молодого сознания.

И Кюхельбекер со страстностью, в нем Гнедичем угаданной, начинает свой путь деятеля. Педагогическая деятельность, которой предается он с увлечением, сменяется журнальной. Уже в конце 10-х годов Кюхельбекер выступает как литератор-трибун, ратуя за высокое и прогрессивное в поэзии. Идеи высокого искусства сочетает он с идеями свободолюбия и просветительства. Как теоретик и критик он продолжает прогрессивную линию радищевской традиции и в период своего становления очень близок к высказываниям Гнедича.

В 1817 г. Кюхельбекер печатает в «Le Conservateur impartial», французской газете, издававшейся в Петербурге, статью под названием «Взгляд на нынешнее состояние Русской словесности».[3] В основе этой статьи — мысль, развитая Гнедичем в его «Рассуждении о причинах,

---

[1] К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 57. Письмо от 28 ноября 1818 г.

[2] Письмо от марта 1817 года. Русская старина, 1875, июль, стр. 358.

[3] См. № 77 указанной газеты.

замедляющих развитие нашей словесности». Она заключается в том, что Гнедич, а вслед за ним Кюхельбекер, считают Отечественную войну тем переломным моментом, когда русская литература впервые начинает сбрасывать с себя цепи чуждых ей французских правил в области литературы. Этих стеснительных для поэзии и драматургии правил, по мнению Кюхельбекера, придерживаются русские литераторы «несмотря на усилия Радищева, Нарежного и некоторых других, на усилия, которым быть может со временем узнают цену».[1] Вслед за Гнедичем Кюхельбекер утверждает, что «тиранство мнения (французской словесности, — *И. М.*) простиралось так далеко, что не смели принимать никакой другой меры, кроме ямбической».[2] Одним из доказательств начала новой эры в поэзии Кюхельбекер считает перевод «Илиады» гекзаметрами.

Цитируемый нами перевод статьи Кюхельбекера сделан был «Вестником Европы», повидимому, с нарочитой целью тут же дать и отповедь взглядам Кюхельбекера. Она появилась в следующей части журнала и больше, чем Кюхельбекера, задевала Гнедича. Сам Кюхельбекер впоследствии писал в своем дневнике: «Помнится, что Гнедич гораздо более меня рассердился на это возражение: да и быть не могло иначе».[3] В критике, озаглавленной «Нечто против статьи, под названием: „Взгляд на нынешнее состояние русской словесности“»,[4] критик (В. Соц, как утверждает Кюхельбекер в своем дневнике) высмеивает утверждение Кюхельбекера, что гекзаметры Гнедича составляют новую эру в русской поэзии. В доказательство Соц приводит тексты в ямбических переводах Кострова и сравнивает их с гекзаметрами Гнедича.

Корни нападок Соца глубже, чем это кажется на первый взгляд. Его статья написана в защиту Карамзина, которого игнорирует Кюхельбекер. Это упущение Кюхельбекера критик, повидимому, связывает с тем холодным тоном упоминаний заслуг Карамзина, который допустил в своей речи 1814 г. Гнедич. Именно этим объясняется то, что Соц в своей отповеди Кюхельбекеру пишет о Карамзине как о преобразователе русского языка, т. е. главным образом прозаике, в то время как Кюхельбекер вовсе не касается этой темы. Выступление Гнедича, как уже было сказано, не прошло не замеченным со стороны Карамзина. Новое обозрение современной литературы, в котором не было даже упомянуто имя Карамзина, сопоставили с предшествующим, тем более что заслуги Гнедича были возвеличены Кюхельбекером, по мнению Соца, чрезмерно. Соц перефразирует в своей критике слова Кюхельбекера, объявившего перевод Гнедича «торжеством хорошего вкуса над предубеждением». Он пишет, что именно Карамзин, «постигнувший превосходство языка нашего и показавший оное в своих творениях, стяжал прочную славу и подлинно *восторжествовал над предубеждениями*».

Эта полемика с Гнедичем под предлогом нападок на Кюхельбекера свидетельствует о том, что критические рассуждения Кюхельбекера восприняты были как ученические. В апологии перевода «Илиады», которая была в статье Кюхельбекера, критик увидел саморекламу Гнедича.

---

[1] Цитирую Кюхельбекера по переводу, напечатанному в «Вестнике Европы» (ч. 95, № 17, стр. 154—157).

[2] См.: Рассуждение о причинах, замедляющих развитие нашей словесности (на эту тему — на стр. 86).

[3] Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, стр. 79. Запись от 14 ноября 1833 г.

[4] Вестник Европы, ч. 96, № 23, стр. 133—204, за подписью В. С. . .ъ.

IV. Исторические воззрения Гнедича и их связь с идеями Никиты Муравьева

Конец 10-х годов был для Гнедича периодом творческих исканий. Не удовлетворяясь одной переводческой деятельностью, Гнедич стремился найти творческое воплощение волновавших его идей русского героического эпоса. Необходимость создания произведений, освещающих отечественную героику теперь осознавалась самой передовой, ведущей молодежью. Победившие воины перенесли патриотический жар на решение вопросов русской культуры. Гнедич видел осуществление своих предвидений, которые казались столь смешными многим представителям консервативного лагеря в 1814 г., когда он произносил свою речь на открытии Публичной библиотеки. Мало того, что русский гений в лице молодого Пушкина уже успел сказать первое слово,—вокруг него сплачивались поэты, которые могли явиться оплотом передовой литературы, твердо становившейся на плодоносную почву национальных традиций. Гнедич видел небывалое оживление той гражданской жизни, к которой призывал он в своей речи. Среди молодежи уже мог он наблюдать подлинных граждан-трибунов. Уже многие из них возвышали свой голос, бичуя «врагов русского достоинства». Среди этой молодежи, окрыленной гражданственно-патриотическими идеями, на глазах Гнедича особенно выдвигался в конце 10-х годов сын известного литератора и общественного деятеля Михаила Никитича Муравьева — Никита.

Знакомство Гнедича с Никитой Муравьевым связано с именем К. Н. Батюшкова. Дружба с Батюшковым сблизила Гнедича с домом Михаила Никитича Муравьева, двоюродного дяди и воспитателя Батюшкова. Гнедич всю жизнь был горячим поклонником, хотя и не вполне единомышленником М. Н. Муравьева, писателя-классика, замечательного педагога, знатока русских древностей, призывавшего литераторов обратиться к национальным ценностям. Муравьев оказал на Гнедича несомненное влияние и в области широких общественных интересов и в литературном отношении. Никита, на котором после смерти М. Н. Муравьева сосредоточилась привязанность Батюшкова, по мнению его, был не только достойным учеником отца, но и обладал всеми качествами его «ума и сердца». Батюшков постоянно говорил о своем уважении к юному Никите, которое «день ото дня возрастает». Уважение это вызвал к себе Никита еще в юности благодаря своим многосторонним познаниям и склонности к научному мышлению. Таким образом, Гнедич имел уже достаточное представление о Никите от Батюшкова и от Е. Ф. Муравьевой — к тому времени, как получил возможность познакомиться с ним уже не по случайным встречам, а в постоянном общении. До 1813 г. Е. Ф. Муравьева жила в Москве и бывала в Петербурге лишь наездами. С 1813 г. она окончательно поселилась в столице, куда и приехал Никита Муравьев из армии в 1815 г. Первые беседы Гнедича с Никитой Муравьевым, вероятно, были связаны с творчеством Батюшкова. В это время Гнедич начал готовить собрание его сочинений и в его руках сосредоточивались все произведения поэта — как стихотворные, так и прозаические.

Батюшков интересовался мнениями Никиты Муравьева. Можно предполагать, что Батюшков знал его резкий отзыв о статье «Прогулка в Академию Художеств» еще до того, как Никита испещрил своими замечаниями эту статью на полях издания сочинений (1817 г.). В письме к Гнедичу от 25 сентября 1816 г. Батюшков выражает свои сомнения по поводу печатания этой статьи, хотя сам, повидимому, и ценит ее. Очевидно сомнения

выражал и Гнедич, быть может соглашаясь с замечаниями Никиты Муравьева, которые в основном сводились к обвинению Батюшкова в низкопоклонстве перед власть имущими.

В том же письме от 25 сентября Батюшков пишет Гнедичу: «вручи Никите один экземпляр моей речи. Но чтобы он не показывал никому до напечатания».[1] Гнедич, как известно, не только был редактором и издателем Батюшкова, но бесконечно волновался его творческими задачами и перспективами. Предметом постоянных споров друзей была склонность Батюшкова к легкой эпикурейской, элегической поэзии. Гнедич всячески направлял Батюшкова к большим эпическим темам, стремясь заинтересовать его русским эпосом и историческими сюжетами. Несомненно, что в лице Никиты Муравьева Гнедич получал в этом отношении решительную поддержку. Никита Муравьев писал: «В прозе и поэзии ясность одна может убедить и пленить. Мы не видим в неподражаемых образцах, оставленных нам древними, той темноты, за которою гоняются наши новейшие писатели и которою они прикрывают свое невежество и неведение человеческого сердца».[2] «Илиада» была его настольной книгой, и любимым героем его был Ахилл. Недаром Батюшков в своем обращении к Никите Муравьеву во время путешествия по степям Черноморья соединил имя Ахилла с именами Святослава и Суворова. Такое сближение было вполне в духе патриотической пропаганды Гнедича, в основе которой были классические идеалы. Гнедича должна была заинтересовать мысль Никиты Муравьева о популяризации отечественных героев. Вернувшись в 1815 г. из армии, Муравьев занялся именно этой темой. Он начал готовить жизнеописание Суворова, которое предварил критическим обзором работ, написанных о великом полководце. «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова» было напечатано в «Сыне Отечества» в 1816 г.[3] «Можно утвердительно сказать, — писал Никита Муравьев, — что Муза Истории дремлет у нас в России». По этой «важнейшей части словесности не видим мы ни одной книги, имеющей какое-нибудь достоинство». Между тем исторические сочинения, возбуждающие дух патриотизма, по мнению Муравьева, необходимы, особенно для «юных воинов», которые, будучи лишенными «отечественных сих пособий», должны «пользоваться примерами других народов, как будто бы мы скудны были своими. . . Россия имела Румянцевых, Суворовых, Каменских, Кутузовых, но дела их никем надлежащим образом не описаны. . . нет еще до сих пор Русской Истории Суворова, первого из вождей . . .».[4]

От предисловия, ставящего общий вопрос о необходимости написания биографии Суворова, Муравьев переходит к критическим замечаниям, о тех немногих книгах, которые посвящены Суворову.[5] В порядке этих замечаний Муравьев выдвигает важнейшие моменты, связанные с характером и биографией полководца. Он пишет о народности Суворова и подчеркивает правильность суждения Лаверна об умении Суворова ценить

[1] Соч. К. Н. Батюшкова, т. III. СПб., 1886, стр. 401. — Батюшков говорит своей «Речи о влиянии легкой поэзии на язык».

[2] Некоторые мысли о воспитании и словесности, 1815. Центр. Гос. Истор. архив, ф. 1153, оп. 1, № 79.

[3] Ч. 27, № VI; ч. 29, № XVI, и ч. 34, № XLVI.

[4] Сын отечества, 1816, ч. 27, № VI, стр. 221.

[5] Муравьев предполагал сделать разбор основных жизнеописаний Суворова — Фукса, Антинга, Бошана, Лаверна и Дюбокажа, — однако ограничился лишь подробной критикой книг Е. Б. Фукса (История генералиссимуса князя Италийского, графа Суворова-Рымникского. М., 1811) и La Verne (Histoire du feld-maréchal Souwarow. 1809), а также краткой характеристикой книг: Anthing. Versuch einer Kriegsgeschichte des Grafen Alexander Suworow; Beauchamp. Histoire des campagnes du maréchal de Souworow,

и понимать национальный дух воинства: «Существует одна только преграда завоевателям — дух народа».[1] Тема роли народа в войне и народности героев была животрепещущей. Она была связана с недавними событиями и влекла за собой политические выводы о правах народа-победителя. Гнедичу были близки мысли Муравьева. Как мы увидим из дальнейшего, Гнедич считал народные массы подлинным творцом истории и силу героев видел в их народности. В 1813—1814 гг. он написал своеобразную народную идиллию (понимая этот жанр так, как понимали его древние, — в смысле бытовой сценки), — на тему о популярности Кутузова в широких массах.[2] В сценке этой Гнедич не только показывает, в какой мере герой-полководец принадлежит своему народу, но и утверждает, что народ, обладатель таких героев, не может иметь психологию рабов.

Замысел Никиты Муравьева был интересен для Гнедича, который, по собственному свидетельству, «занимался Суворовым». В «Записной книжке» Гнедича имеется запись следующего содержания: «Ни один из знаменитых людей, мне современных, не вселял в меня столько разнообразных чувств, как Суворов. Я видел в нем идеал, какой составил себе о героях; кроме этого, я находил в нем то, чего ни в одном герое, ни новых, ни древних веков, найти не можно. Занимаясь им, я наполняюсь глубоким удивлением к совершенному искусству полководца, почтением к славе героя, плáчу при воспоминании доблестей великого человека и помираю со смеху от проказ этого чудака!».[3]

Приведенная запись не имеет даты, однако содержание ее свидетельствует о давнем и постоянном интересе Гнедича к Суворову. В «Рассуждении...» юного историка Гнедич, несомненно, услышал отзвуки собственных высказываний.

В своей речи 1814 г. Гнедич достаточно громогласно заявлял о необходимости создать национальные «жизнеописания наших героев», имея в виду главным образом Суворова.

Вслед за Гнедичем о роли национальных исторических изучений писал Ф. Глинка в уже упомянутом «Рассуждении о необходимости иметь Историю Отечественной войны 1812 года», напечатанном в «Сыне Отечества» в номере IV, соседствующем с тем, в котором печатал свое «Рассуждение...» Никита Муравьев.

Статья Ф. Глинки, призывающая к описанию подвигов Отечественной войны, и критические замечания Никиты Муравьева были характерны для своего времени. Недавняя война и политическое переосмысление русской действительности диктовали необходимость исторических работ и пересмотра вопросов отечественной истории.

Выход в свет первого тома «Истории Государства Российского» Карамзина явился событием громадной важности.

Именно в той мере, в какой был важен выход в свет труда Карамзина, — были серьезны и требования, к нему предъявленные. Его идейная сущность играла первостепенную роль в оценках современников. Для прогрессивной общественной мысли, настойчиво призывающей русского историка и литератора обратиться к национальным ценностям и традициям, важна была не только мобилизация исторических фактов,

---

[1] Сын отечества, 1816, ч. 29, № XVI, стр. 129.

[2] Не печаталось. Рукопись в Архиве Института русской литературы АН СССР (р. I, оп. 5, № 55).

[3] П. Тиханов. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии. 1890, стр. 73—74.

но и их освещение. Важна была не объективистская летопись, а живое политическое осмысление событий. Между тем реакционная историческая идея Карамзина, изложенная им в предисловии к первому тому, сводилась, как известно, к оправданию самодержавия как единственно возможной политической системы в России. Она сводилась к апологии «благотворной власти», обуздывающей «бурное стремление. . . мятежных страстей, волновавших гражданское общество». Этого оправдания деспотизма и рабства, стремленья примириться с действительностью путем утверждения ее традициями исторического прошлого не могла простить Карамзину передовая молодежь и прогрессивные представители старшего поколения.

Гнедич принадлежал именно к тем, кому были чужды идеи Карамзина. Невозможность примирения с существующим порядком была в основе политических взглядов Гнедича эпохи нарастания декабристского движения. В своей «Записной книжке» он писал: «Есть люди. . . которые, не имея понятия об лучшем состоянии общества, или правительства, с гордостью утверждают, что иначе и быть не может. Они согласны в том, убеждаяся очевидностями, что существующий порядок соединен с большим злом; но утешают себя мыслью, что другой порядок невозможен».[1]

В области отечественной истории Гнедич считал необходимым воскрешение совсем иных традиций, чем те, на которые опирался Карамзин.[2]

Среди черновых набросков[3] Гнедича, датируемых приблизительно 1818—1819 гг., мы находим запись, прямо отвечающую на вопрос об отношении его к идейным установкам Карамзина-историка. По своему характеру набросок, повидимому, представляет собой начало предисловия к истории Малороссии. Однако никакими другими данными не подтверждаются занятия Гнедича таким фундаментальным трудом. Не исключена возможность, что Гнедич предполагал писать какое-то историческое рассуждение, лишь укрепляя его примерами своеобразно сложившейся исторической судьбы украинского народа. Гнедич пишет:

«История есть изображение деяний народа или его правителей; ибо в первом случае, *народ, которого деяния не суть выражения его собственной воли, не изобразится в описании сих деяний*[4] и будет мало известен читателю такой истории». Как мы видим с первых же строк, Гнедич имеет в виду «Историю Государства Российского», хотя и не называет имени Карамзина. «Собственно история народа, — пишет Гнедич, — есть история мысли, возбуждающей все деяния, чаяния, надежды и стремления к одной хорошо или худо понимаемой, но к одной постоянной цели. Мысль сия *для наблюдателя мысленного* и в самых сухих летописцах народа может быть видима во всех деяниях, предприятиях, *волнениях* и *переворотах, подвигах народа*, в самых его нравах, обычаях, быте и образе жизни, а особенно песнях и повестях». Таким образом истории государства Гнедич противопоставил историю борьбы народа, историю народной мысли, ее основного устремления. На примере Малороссии Гнедич характеризует именно

---

[1] П. Тиханов. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884, стр. 56.

[2] См. аналогичное рассуждение у Никиты Муравьева в его «Мыслях об Истории Государства Российского» в кн. М. Погодина «Н. М. Карамзин» (М., 1866, стр. 201—202).

[3] Рукописное отделение Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Собр. автографов Н. И. Гнедича, л. 64—64 об.

[4] Подчеркнуто всюду мною, — *И. М.*

такой тип истории, где явственно видна народная мысль, основанная на непрерывной борьбе за свободу.[1]

Он пишет: «История Малороссии есть история сей мысли, всеобщей, народной, от гетмана до казака. Посмотрите, как, завоеванная Литвою, Малороссия оставалась без истории, то есть без жизни, ибо ее ничто не возбуждало к деятельности. Но когда враги ее тронули живую струну народную. . . , жизнь пробудилась. . . Отторгнутая от России Литвою, похищенная у нее Польшею, угнетенная, терзаемая фанатизмом католицизма и тиранством панов польских, Малороссия в продолжении нескольких веков тщетно вопила о помощи к единокровным братьям и к царям российским, еще слабым, еще страшившимся оскорбить заступлением ее могущество Польши. В таких обстоятельствах рождалася в Малороссии всеобщая мысль о собственном сохранении и с нею всеобщий воинственный дух. — Чем сильнее развивалась мысль ее в счастливых борьбах с врагами, тем счастливее борьбы ее питали и кровавые победы. Наконец возрастили в сердцах народа сию любовь к независимости, которая составляет резкую черту истории малороссийской. Любовь сия дика, свирепа, часто неистова». Дальше в черновых набросках отрывочная запись, которая приблизительно читается так: «стремление к независимости привело малороссийский народ за Днепр — там за порогами среди степей под соломенными кошами одичало оно и дало более или менее всем казакам малороссийским то же свойство».[2]

В набросках, утверждающих идею истории народной мысли, Гнедич указывает и источники, к которым должен обращаться такого рода историк. Не говоря о том, что он обязан и в «сухих летописях» уметь находить следы народных «надежд и чаяний», — историк обязан руководствоваться народной поэзией как основным свидетельством народных устремлений. Требуя от историка внимания к «обычаям, быту и образу жизни» народным, Гнедич, конечно, имел в виду, главным образом, живую народную действительность, а не только археологические разыскания.

Таковы мысли Гнедича. Из письма к нему М. Каченовского от 12 июня 1819 года [3] мы видим, что Гнедич говорил с ним о критике на «Историю Государства Российского». Судя по ответу, это не были какие-либо конкретные высказывания Гнедича а какое-то упоминание имеющейся или готовящейся критики, которую следовало бы напечатать. Вероятно именно в этом плане и писал Гнедич к издателю «Вестника Европы». Раздраженный протестом, который встретила его собственная придирчивая к мелочам и мало вразумительная, хотя и очень академическая критика,[4] Каченовский восклицал в письме к Гнедичу: «Не говорите бога ради о критике на историю! Досталось мне уже и за рецензию на одно предисловие». Каченовский, видимо, считал Гнедича своим единомышленником в вопросе об «Истории Государства Российского» — как классика, умудренного в чтении античных историков. Спор Каченовского с Карамзиным сводился, собственно говоря, к вопросу о системе изложения исторических сочинений. Критика Каченовского в какой-то мере

---

[1] Речь идет о борьбе с Польшей и Турцией.

[2] Публикуется впервые. Представляет собой черновую рукопись с несколькими слоями исправлений. Приводим последнюю, наиболее полную редакцию.

[3] Рукописное отделение Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. Письмо М. Каченовского Н. И. Гнедичу от 12 июля (год не проставлен).

[4] См. его статью «От Киевского жителя к его другу» [Вестник Европы, 1819: ч. CIII, № 2 (январь), стр. 117—141, № 3 (февраль), стр. 198—200, № 4 (февраль), стр. 289—298; ч. CIV, № 5 (март), стр. 124—136], а также см. «Письмо к редактору» в том же номере, стр. 115—124.

являлась продолжением нападок на сентиментальное направление. Основной мыслью ее являлось обвинение Карамзина в излишествах фантазии, неточностях и излишних красотах слога.

Хотя левая критика Карамзина тоже утверждала, что не художественность, а точность изложения прежде всего требуется от историка, но не этот вопрос был в центре ее внимания. И Гнедича, несомненно, интересовали не «классические» суждения Каченовского, а более свежая, молодая оппозиция Карамзину. Есть некоторые основания думать, что Гнедич, может быть глухо, еще не называя имени, сообщал Каченовскому о наличии именно такой критики. Известно, что с весны 1818 г. Никита Муравьев усиленно изучал первый том «Истории...» и начал готовить свое критическое суждение, названное им «Мысли об Истории Государства Российского Н. М. Карамзина».[1] Гнедич не только знал эту работу по окончанию ее первой, остро полемической части, имевшей широчайшее распространение, но безусловно имел представление о всем ходе исследования, так как постоянно бывал в это время у Муравьева.

Исторические рассуждения Гнедича и мысли отдельных черновых набросков его имеют прямую связь с «Мыслями...» Никиты Муравьева. Работа Муравьева открывается словами: «История принадлежит народу». В этих словах — начало спора с Карамзиным, заявившим, что «история народа принадлежит царю».

В дальнейшем Муравьев последовательно опровергает идею Карамзина, что движущей силой истории является руководящая, деспотствующая сила, назначение которой в обуздывании бурных стремлений народных. Муравьев заявляет, что «слабы соображения наши против естественного хода вещей и что малое число людей не может быть выше страстей народов». Эти «страсти», или «чаяния, надежды, стремления» народные, и являются движущей исторической силой в рассуждении Гнедича.

Волеизъявление народное Гнедич видит в идеализованной раде, или вече. Идеализация народоправства древней Руси или украинского казачества приводит Гнедича к наивному представлению, что современные правители могут вернуться к древним традициям и на них основывать современное законодательство. Так, в «Записной книжке» своей Гнедич пишет: «Мудрость государя не в том состоит, чтобы издавать новые законы, но чтобы хранить старые и таким образом делать их для народа священными».[2]

Муравьев выдвигает мысль о мудрых правителях, которые, понимая неизбежность направления народной мысли и стремления народа, сами становились во главе этого направления. Муравьев не называет имен этих правителей, но более или менее ясно, кого он имеет в виду.

Гнедич видит мудрых народных правителей-вождей в некоторых гетманах Малороссии, хотя также не именует их. Повидимому, к числу подлинно народных правителей относил он, как это видно из рассуждения, Богдана Хмельницкого, который, наконец, осуществил давнее народное стремление насильственно «отторгнутого», как пишет Гнедич, народа украинского к соединению с «единокровными братьями своими».

Явные следы влияния «Мыслей...» Муравьева — как наиболее четкого выражения декабристской концепции истории — видны и в неосуще-

[1] См. выдержки из них: М. Погодин. Н. М. Карамзин. М., 1866, II, стр. 198—203; Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, стр. 98—102. Рукопись (писарская копия с автографич. поправками и черновой автограф) — в АОР, ф. 1166.

[2] П. Тиханов. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии. 1890, стр. 60.

ствленном замысле поэмы Гнедича о событиях конца XI в.[1] Идеализируя, как и все декабристы, древний период русской истории, времена «великодушного и воинственного народа времен Святослава и Владимира», — Муравьев ставит границу между этим героическим периодом и началом удельной раздробленности, когда из самодовлеющей силы правители превращают народ «в слуг, дерущихся по прихотям господ своих». Подкрепляя свою мысль о народных страданиях, виною которых являются правители, Муравьев приводит цитату из «Слова о полку Игореве»: «В княжих крамолах веци человеком скратишась». Цитата эта как бы составляет основную идею замысла Гнедича. Народ предвидит бедствия, грозящие стране от неразумных правителей:

Беда висит над землею русскою,
Беда грозит Киеву престольному,
Раздоры князей накликают беду на землю.

Народные надежды и стремления явственно противоречат деятельности правителей. Между ними и народом нет ничего общего. Имея в набросках Гнедича только начало и концовку поэмы и лишь некоторые промежуточные звенья, рисующие вероломство и раздоры князей, — мы можем восстановить целое, только основываясь на исходных и конечных датах. Действие поэмы должно было обнимать события 1061—1097 гг., т. е. в центре их должны были быть междоусобные раздоры князей — Святослава, Ростислава, Изяслава и других Ярославичей — с одной стороны, и народные волнения — с другой. Ослепление князя Василька Ростиславича Теребовльского явилось бы в поэме лишь завершением событий, одним из тех исторических примеров, о которых Муравьев в своем исследовании, ссылаясь на Тацита, говорил как о «поучающих» («примерах того, что постыдно начато и постыдно совершено»). Основываясь на интересе Гнедича к теме народной борьбы и на том, какое место тема народных переживаний занимает в набросках, — можно с уверенностью сказать, что в центре замысла был народный мятеж в Киеве, явившийся результатом поражения Изяслава в 1068 г. Это очевидно из замысла, так как даже по изложению Карамзина, очень сухо характеризовавшего киевский мятеж, — видно, что народ хотел противостоять половцам, для чего требовал собрания веча. Но мятеж был зверски подавлен, народные требования не были удовлетворены, раздоры князей продолжались. Гнедич именует князей русских «рабами низости, унизивших дух народа, на Россию накликавшими рабство»:

И запылал с тех пор раздор,
Земля русская поросла бедою,
И чей. . . убийственный топор
В руках сынов над отчей головою.
И пала Россия под иго варваров
И сделалась рабою. . .[2]

Эта преувеличенная декламация «о рабстве» в «Заключении», обособленном в набросках Гнедича, конечно, должна пониматься в контексте рассуждений о рабстве — в «Мыслях...» Никиты Муравьева, — как декламация, имеющая политический характер.

[1] Рукописное отделение Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. Н. И. Гнедич, лл. 71—74 об.

[2] Наброски поэмы не имеют сколько-нибудь законченного, сведенного текста. См. публикацию Ф. Я. Приймы в сборнике, посвященном «Слову о полку Игореве» (Сб. научно-исследовательских статей, изд. АН СССР. М.—Л., 1950, стр. 304—307).

Правители, идущие наперекор народной мысли, неизбежно приводят страну к бедствиям и поражениям. Такова мораль, вполне отвечающая основной мысли Никиты Муравьева. Разумеется, тема народной мысли идеализировалась и Муравьевым и Гнедичем. Она понималась как монолитная всеобщая борьба за национальную свободу и права. Ни Муравьев, ни Гнедич не видели в «народной мысли» ее классовой природы. Гнедич представлял себе украинское казачество как некую единую массу, имеющую всеобщую, народную мысль, «от Гетмана до казака».[1]

Теоретические рассуждения о народе и его борьбе как движущей силе исторического процесса, как известно, не имели ничего общего с политической практикой декабристов. Достаточно вспомнить признание Александра Бестужева, сделанное им на допросе Следственной комиссии об агитационных песнях, сочиненных им вместе с Рылеевым. Бестужев показал: «Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции. . ., а подобные песни могли бы оную приблизить».[2] Погибель декабристов таилась именно в этом страхе перед народной силой, в полном разобщении с народом. «Страшно далеки они от народа», — сказал В. И. Ленин,[3] оценивая роль декабристов в истории революционного движения.

Приблизительно к тому же времени, т. е. к концу 1818 — началу 1819 годов, относятся два других исторических замысла Гнедича, тоже оставшиеся в набросках. Они относятся к героическим временам Святослава[4] и Владимира.[5] Один из них представляет собой законченный план поэмы о Святославе, бесстрашном воине с «великим сердцем». Другой — план, библиографию и наброски трагедии из времен «начала христианизма в Киеве». Из набросков трагедии явствует, что Гнедича интересовала не внешняя сторона так называемого крещения Руси, а борьба, происходившая между язычеством и христианством.

Таким образом, постановка исторической темы в наброске трагедии, равно как и в наброске поэмы о Васильке Теребовльском является прямой полемикой с идеями «Истории Государства Российского», хотя, по всей вероятности, именно выход в свет этого труда и стимулировал Гнедича к попытке художественного отображения исторических фактов Киевской Руси.

В своей критике исторических воззрений Карамзина Никита Муравьев отдает должное огромному труду историка, который он квалифицирует как приведение «сказаний простодушных летописцев наших в ясную и стройную систему».

Исторические факты, изложенные Карамзиным более подробно, обстоятельно и точно (в смысле обращения к первоисточникам), чем у его предшественников, делали «Историю Государства Российского» настольной книгой всех обращавшихся к исторической теме. Не было никакого противоречия между уважением, с которым относился Пушкин к фактическим данным «Истории. . .», и отрицательным отношением его к идеологии историка, лаконически выраженным в эпиграмме «Его истории изящность, простота. . .». И Пушкин, и Рылеев, и все, кто работал над историческими сюжетами, брали большинство сведений из «Истории . . .»

---

[1] Рукописное отделение Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. Н. И. Гнедич, л. 64.

[2] Восстание декабристов. Материалы. М.—Л., 1925—1927, т. I, стр. 458.

[3] В. И. Ленин, Соч., т. 18, изд. 4, 1948, стр. 14.

[4] Рукописное отделение Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. Н. И. Гнедич, л. 65. Не опубликовано.

[5] Там же, лл. 66—70. Не опубликовано.

Карамзина. Гнедич в цитированной мною поэме о событиях XI в. пользовался материалами II тома «Истории Государства Российского».[1]

Характерным высказыванием для двойственного восприятия декабристами «Истории Государства Российского» является запись Н. И. Тургенева в его дневнике от 21 февраля 1818 г. Тургенев пишет: «Я читаю III том Истории Карамзина. Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении. Некоторые происшествия, как молния проникая в сердце, роднят с Русскими древнего времени. Что-то родное, любезное. Кто может усомниться в чувстве патриотизма? *История народа принадлежит народу — и никому более!* [2] *Смешно дарить ею царей*».[3] Полемизируя с Карамзиным, так же как и Никита Муравьев, — Тургенев в то же время подчеркивает патриотическое значение труда Карамзина в его собственно фактической основе. Возбуждая чувство патриотизма, Карамзин в глазах декабристов делал тем самым большое и важное в воспитательном отношении дело.

Члены Общества «Зеленая лампа», составляя заметки для исторического «Словаря...», задуманного декабристским руководством Общества, обращались почти исключительно к первым трем томам «Истории Государства Российского». Между тем цели, которые преследовали «ламписты» в своих заметках, были прямо противоположны целям Карамзина. Не мирному принятию действительности, а борьбе должны были учить примеры героизма и гражданственности, подбираемые составителями «Словаря...».

V. Гнедич и «Зеленая лампа»

Известно, что Гнедич был членом «Зеленой лампы», но не сохранилось никаких материалов, свидетельствующих об участии его в работах Общества. Между тем участие его несомненно — и по причине всегдашней активности Гнедича в общественных предприятиях, и по близости для него идейных установок и тем, разрабатываемых «ламписта́ми». Идеи, объединявшие членов «Зеленой лампы», наиболее ясно сформулированы в статьях Улыбышева: в его «Письме к другу в Германию» и «Сне».[4] Оба эти произведения во многом соприкасаются с высказываниями Гнедича. Автор пародии «Символ веры в беседе славянофилов», высмеивавший косность взглядов, чинопочитание и бюрократизм «беседистов», — Гнедич с неменьшей резкостью выступал в начале 10-х годов против «европеистов», склоняющихся перед авторитетом Запада и пренебрегающих национальной, народной культурой. В своей речи на открытии Публичной библиотеки Гнедич ставил вопрос о патриотизме, основанном на идеях гражданственности. Светскому обществу, претендующему на то, чтобы быть носителем культуры страны, он противопоставлял устремления передовых общественных кругов. Подлинный патриотизм, содействующий расцвету культуры, по мнению Гнедича, должен был явиться результатом нового воспитания юношества, «не стесненного обстоятельствами нашей гражданской жизни». Нетрудно убедиться, что именно эти идеи являются основными в указанных статьях Улыбышева и что «погасильцы», изображенные

---

[1] Между строками поэмы имеются указания на страницы, которые при проверке оказались ссылками на II том «Истории...».

[2] Подчеркнуто мною, — *И. М.*

[3] Дневники и письма Н. И. Тургенева. Пгр., 1921, т. III, стр. 114—115.

[4] Б. Л. Модзалевский. К истории Зеленой лампы. М.—Л., 1928, стр. 36—40 и 45—48.

им в «Письме к другу...», являются в прошлом членами «вельможной Беседы», столь ядовито высмеянной в свое время Гнедичем.[1]

Программа занятий «Зеленой лампы», даже судя по сравнительно ничтожным сохранившимся материалам, была многообразна. В нее входили и различные виды литературного творчества — от статей до стихотворных шарад, и проблема театра, и вопросы истории.

Случайность рукописей, сохранившихся в архиве «Зеленой лампы», создает во многих вопросах одностороннее представление о позициях «лампистов». Полная картина может быть воссоздана лишь привлечением материалов, лежащих вне данного архива, но характеризующих взгляды отдельных членов «Зеленой лампы»; привлечение их даст ключ к разрешению некоторых противоречивых выводов, которые сделаны на основании архивных данных. Так, непосредственный анализ исторических заметок Н. Всеволожского и Я. Толстого, предназначавшихся для задуманного «Зеленой лампой» «Словаря знаменитым людям российского государства», указывает на один источник — «Историю Государства Российского» Карамзина. Заметки являются простыми компиляциями отдельных главок «Истории...», с буквальным сохранением фразеологии Карамзина. Само по себе это может навести на ложное представление об исторических концепциях «лампистов».

Между тем несомненно, что не карамзинские исторические идеи должны были господствовать в обществе, а противоположные им идеи критических «Мыслей...» Никиты Муравьева. Именно их отражение мы находим в произведениях членов «Зеленой лампы»: в черновых исторических набросках «ламписта» Гнедича, именно их видим лаконически выраженными в эпиграмме Пушкина на Карамзина («Его истории изящность, простота...»). Имеются свидетельства о том, что Никита Муравьев читал свою критику «на собраниях молодежи».[2] Более чем вероятно, что он читал свои «Мысли...» и на заседаниях «Зеленой лампы». Это общество, состоявшее почти исключительно из молодежи, конечно, могло явиться прекрасной трибуной для разоблачения реакционных идей Карамзина.

Состав заметок, предназначенных для «Словаря...», и «Список знаменитым людям Российского Государства — князьям, боярам и епископам до XII века включительно» — указывают на то, что в своих исторических интересах «ламписты» почти не выходили за пределы истории древней Руси. Это сосредоточение на древнем периоде, конечно, нельзя объяснить лишь внешним стимулом, а именно наличием томов «Истории Государства Российского» Карамзина, откуда можно было черпать факты. Внутренний стимул был, конечно, в идеализации этого периода, пропагандируемого с целью возбуждения гражданственного патриотизма. Об этом свидетельствует работа Я. Толстого над указанным списком, который не похож был на обычный список великих деятелей древней Руси. Он был расширен за счет малоизвестных имен русских граждан, подвиги которых затерялись в веках. Некоторые из них даже не были упомянуты Карамзиным ни в тексте, ни в примечании. Такой подход к историческим событиям не противоречил взглядам Гнедича. Он соответствовал его интересу к истории народа, противопоставляемой им «истории правителей». Вероятно занятия Гнедича «временем Святослава и Влади-

[1] См. письмо Гнедича к В. Капнисту от 25 августа 1811 г. Сочин. Державина. СПб., 1871, т. VI, стр. 376.

[2] См. примечание М. Погодина в кн.: Н. М. Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. . ., ч. II, М., 1866, стр. 203—204, — а также сведения об этом в кн.: Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, стр. 38 и 104.

мира» были известны в обществе, и суждения его при чтениях соответствующих заметок для «Словаря...» выслушивались с интересом как близкие основным задачам «лампистов».

В той же мере, как невозможно понять исторические интересы «Зеленой лампы» без привлечения дополнительных материалов, — нельзя представить себе и позиции «лампистов» в области театра по одним репертуарным обозрениям и статейкам критика Д. Баркова, случайно сохранившимся в архиве. Ярким доказательством этого является статья «Мои замечания о русском театре», которая была написана Пушкиным в период его участия в работе «Зеленой лампы» и, несомненно, была известна как прямо противоположная высказываниям Баркова, бледно отражавшего идеи своего друга Катенина. Статья Пушкина явилась наиболее острым выражением взглядов других «лампистов», также противостоящих Баркову, а именно, Гнедича и Я. Толстого.

Вопрос об актерском даровании и, в частности, спор о Екатерине Семеновой и Колосовой носил принципиальный характер. Это был спор о двух системах декламации: классической (которую защищал Катенин) и эмоциональной, романтизирующей классические роли (которую защищал Гнедич). В свою очередь проблема декламации была связана с вопросом о двух характерах трагедий. Катенин был поклонником «чистого» классицизма в трагедиях, т. е. противопоставлял Расину и Корнелю — Вольтера. Именно то, что в драматургии Вольтера приближало исторический сюжет к современности, — резко осуждалось Катениным. Он писал своей ученице Колосовой, что не называет трагедиями «пяти актов в стихах», в которых изображены мнимые исторические события, на самом деле служащие личиной для удобнейшей декламации о законной власти и т. п.[1] С этих позиций он нападал на трагедии Озерова, якобы представляющие школу Вольтера, и критиковал в них именно то, что делало эти трагедии близкими передовому зрителю. Он высмеивал «вольнодумные размышления Фингалова, его декламации против богов» и т. п. Декламационное подчеркивание подобных мест Катенин считал недопустимым и разрушающим классическую трагедию. Катенин пытался учить актеров ровному, классическому произношению стихов, лишенному какой-либо аффектации и патетики.

Требования времени опрокинули теории Катенина, заставили его в своем творчестве отступать от них (примером может служить «второй политический план „Андромахи“»), заставили обучавшихся у него актеров, после ряда неудач, переменить метод декламации, перейдя к популярной у зрителя школе Гнедича. Позиция Катенина в области театра была противоречива.

Для просветительской деятельности декабристов значительно важнее было использование театра для пропаганды вольномыслия, чем соблюдение чистоты классического замысла. Эмоциональная, патетическая декламация, пропагандируемая Гнедичем, была гораздо популярнее в передовых кругах, потому что она находилась в бóльшей гармонии с высокой гражданской патетикой, чем классическая скандовка Катенина. В конце 10-х годов эта декламация, приближающая героический образ к современному сознанию, была представлена гениальной русской актрисой Семеновой, и тем самым борьба за Семенову имела высокий, принципиальный смысл.

Катенинские взгляды, представленные в «Зеленой лампе» репертуарными обозрениями и статьями Баркова, не только должны были оспари-

[1] Русская старина, 1893, март, стр. 643.

ваться некоторыми «лампистами», но и ни в коем случае не являлись ведущими.

Характерно, что Барков высказался в катенинском духе и по центральному вопросу о трагедии (в «Опыте сравнения Расина с Вольтером»),[1] и об актерском исполнении классической, героической роли (в высокой оценке игры Колосовой в трагедии «Эсфирь» Расина). Что касается Вольтера, то уже одно политическое значение его, несомненно, заставило и Пушкина, и Гнедича — переводчика «Танкреда» (трагедии, которая пользовалась неизменным успехом, обладая именно теми качествами, которые осуждал в Вольтере Катенин) — возражать на критику Баркова.

Положительная оценка Колосовой неизбежно должна была вызвать спор на собраниях «Зеленой лампы».

Принципиальная острота указанной статьи Пушкина заключалась в том, что дешевый, легкий успех Колосовой не соответствовал значительности театра как храма, призванного не развлекать скучающую светскую публику, а вызывать высокие чувства и помыслы у широкого зрителя. Этим высоким требованиям соответствовала одна Семенова с ее вдохновенной, патетической игрой. В своей статье Пушкин чрезвычайно близок к театральным взглядам Гнедича, хотя и задевает его несколькими замечаниями, не менее колкими, чем те, которые обращены к его противнику Катенину. Эта близость прежде всего сказывается в высокой патриотической трактовке русского театра. Она сказывается и в демократической тенденции, осуждающей аристократического зрителя, светскую чернь, которая, следуя моде на все иностранное, не умеет ценить национальный актерский гений. Мысли эти Гнедич последовательно развивал в первых своих критических статьях о театре — в «Северном Вестнике» (1804—1805), в журнале «Драматический вестник» (1811), который фактически вдохновлялся его идеями, и, наконец, выразил в достаточно категорической и резкой форме в статье 1815 г. «Письмо к Б. о переводе и представлении „Ифигении в Авлиде“». Несмотря на длительную борьбу за русский театр, не только «светская чернь», но и значительная часть передового русского дворянства, даже из числа членов тайных обществ (например Н. И. Тургенев), — продолжали оставаться поклонниками французского театра и недооценивали русский. Тем самым объясняется в какой степени животрепещущим был спор о русском и французском театрах, начатый передовыми русскими журналами. Важность утверждения национального театра понимало и руководство «Зеленой лампы»: репертуарные обозрения, статьи о принципах трагедии и о русских знаменитых актерах (об актере Волкове) являлись не случайными темами обсуждений. Но мог ли критик Д. Барков, восхищавшийся посредственной оперной певицей, красавицей Нимфодорой Семеновой, и расточавший хвалы юной неопытной актрисе Колосовой, — являться подлинным пропагандистом национального театра? Именно те черты, которых нехватало этим актрисам, наличествовали во французской труппе, которую ценили за строгую выучку, профессионализм. Этой выучке профессионализму и бойкости игры могло противостоять лишь своеобразное величие игры Екатерины Семеновой, гением своим уже победившей в начале века знаменитую соперницу свою, французскую актрису Жорж. Только Семенова могла являться в то время оплотом национального театра. Пропагандисты игры Семеновой, следовательно в первую очередь Гнедич,

[1] Таким образом, Б. Л. Модзалевский напрасно пренебрежительно отозвался об этой статье в своей публикации архива «Зеленой лампы». Статья эта, как мы видим, затрагивала центральный вопрос драматургии и имела политическую остроту.

должны были явиться победителями в споре о русском и французском театре. Так и случилось. Гнедич выступил в печати тогда, когда был уже достаточно ясен провал Колосовой в качестве соперницы Семеновой. Анонимная статья Гнедича (за подписью «NN») «О втором представлении трагедии Горации» появилась в «Сыне Отечества»[1] накануне выступления «безрукого инвалида» и начала полемики о русском и французском театре.[2] Статья Гнедича была как бы ответом на «Письмо к NN», подписанное «Т» и напечатанное в предшествующем номере «Сына Отечества».[3] Автором письма был опять-таки член «Зеленой лампы» — Я. Толстой. Вскоре после этого Пушкин стал готовить свое обозрение русского театра. Он начал его с утверждения Семеновой как «единодержавной царицы нашей трагической сцены», повидимому, не без умысла воспользовавшись фразеологией Гнедича, который в указанной статье называл Семенову «царицей нашей трагической сцены». Только полная уверенность Пушкина в авторитетности и справедливости суждений Гнедича могла быть причиной удивительных совпадений в характеристиках и суждениях, какие наличествуют между статьей «О втором представлении трагедии Горации» и «Замечаниями о русском театре». Так же как и Гнедич, Пушкин видит причину успеха Колосовой в ее привлекательности и молодости, что противостоит у обоих критиков подлинной оценке искусства. Так же как и Гнедич, Пушкин видит главный порок Колосовой в плохой школе декламации, в «однообразном напеве, резких вскрикиваниях» и т. п. В то же время оба критика упрекают ее в неумелом подражании Семеновой (что составляло противоречие в системе игры Колосовой). Статья Гнедича, несмотря на ограниченность ее темы, по существу являлась, так же как и «Замечания...» Пушкина, обозрением русской трагической сцены. Целью Гнедича, так же как и Пушкина, было утверждение славы Семеновой. Надо думать, что обозрение Гнедича было столь же известно в «Зеленой лампе», как и «Замечания...» Пушкина. Единодушные высказывания трех членов общества — Я. Толстого, Гнедича и Пушкина, — несомненно, в бо́льшей мере представляли мнение общества о русском театре, чем поверхностные замечания Баркова.

Старый театральный деятель, один из вдохновителей борьбы за русский театр и русского актера, начатой еще в предвоенную эпоху, Гнедич имел большой авторитет у декабристской молодежи в вопросах драматургии и театра. Конечно, многое из убеждений Гнедича считалось уже устаревшим и многое оспаривалось. Так, Пушкин далеко не полностью разделял взгляды Гнедича и был уже в 1820 г. далек от апологии Озерова, хотя и отдавал должное патриотическому значению его трагедий. Но и в этом вопросе Гнедич, давний и принципиальный поклонник Озерова,[4] имел единомышленников в среде декабристской молодежи. Характерно, что Рылеев в 1821 г. счел уместным в послании к Гнедичу, перечисляя крупнейшие таланты, испытавшие гонения зависти и недоброжелательства, наряду с Корнелем и Фонвизиным поставить Озерова:

Творца Дмитрия, Фингала, Поликсены,
Любимца первого российской Мельпомены.

Без Озерова, по мнению Рылеева,

Трагедия осиротела...

[1] Ч. 56, № 39 (27 сентября).
[2] В последнем номере журнала «Сын отечества» за 1819 г.
[3] Ч. 56, № 21 (24 мая).
[4] См. статью Гнедича «Эдип в Афинах» в «Северном вестнике» (1804, ч. IV, № 11).

Таковы косвенные данные, характеризующие участие Гнедича в обществе «Зеленая лампа». Прямые, занесенные в протоколы данные свидетельствуют об участии Гнедича в Вольном обществе любителей российской словесности, представлявшему в 1821—1825 гг. литературные идеи тайного Северного общества.

VI. Речь о назначении поэта

Гнедич был избран почетным членом Общества любителей российской словесности 9 декабря 1818 г., т. е. уже в то время, когда член казенной управы «Союза Благоденствия» Ф. Глинка фактически начал перестройку Общества на новых началах, близких задачам декабристов.

Участие Гнедича в Обществе ограничилось бы протежированием молодых членов и редкими чтениями вслух их произведений или отрывков из «Илиады», если бы весной 1820 г. не произошли события, взволновавшие всю прогрессивную общественность. Событиями этими были доносы, поступившие правительству на вольнодумных литераторов, и ссылка Пушкина.

Современными исследованиями, в особенности книгой В. Базанова «Вольное общество любителей российской словесности»,[1] приведена в достаточную ясность «Каразинская история», т. е. попытка вице-президента Вольного общества российской словесности, публициста В. Н. Каразина разгромить прогрессивный литературный лагерь путем реакционной агитации и доносов правительству. Однако есть факты, доныне рассматриваемые вне связи с политической борьбой, которую, вел, начиная с весны 1820 г., левый фланг «ученой республики». К таким фактам относится речь Гнедича на собрании Общества 13 июня 1821 г. Эта речь явилась как бы итогом «Каразинской истории», отзвуком на правительственную репрессию, которой подвергся Пушкин. Тема и характер речи определились не только общими идейными установками Гнедича, но характером и темой речи Каразина и принципиальными установками левого фланга Вольного общества, выразившимися в выступлениях, предшествовавших речи Гнедича.

Рассуждение Каразина «Об ученых обществах и периодических сочинениях» было построено таким образом, что его доносная, разоблачительная часть была многоречиво прикрыта положительными требованиями и предложениями, обращенными к литературной молодежи. Основным его тезисом было осуждение литературы, не представляющей «уму никаких новых полезных истин» и не имеющей «*возвышенной цели*» (подчеркнуто мною, — *И. М.*), которая могла бы воздействовать на умы «сограждан». Даже самая терминология Каразина была заимствована из высокой прогрессивной проповеди гражданственности в литературе. Носителем ее был и Гнедич. С этой проповедью обращался Гнедич именно к той молодежи, к которой обращено было и рассуждение Каразина. Так, Баратынский, характеризуя эти поучения Гнедича, писал:

> Враг суетных утех и враг утех позорных.
> Не уважаешь ты безделок стихотворных
> и т. д.

Именно против безделок и изнеженных стихов вооружился и Каразин. Он выступил против «вздохов сказочных любовников», «соблазни-

[1] В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 162—216.

тельных элегий, или стишков в альбом», против «сладострастных и вакхических» произведений. Казалось бы Каразин держался в русле споров об элегической поэзии, уже начавшихся в это время. Однако литературные требования Каразина являлись лишь жалкой попыткой укрепить свои реакционные политические позиции. В них и была вся соль его выступления. Это был донос на вольномыслие и независимость, которую утверждала литературная молодежь. Он требовал политического «надзора» за литературой, заявляя, что «любимыми основаниями» наших писателей не могут быть «ни мнимые *права человека*, ни свобода совестей, столько прославленных и столько во зло употребленных в XVIII столетии». Каразин предлагал литераторам, «прославляющим инсургентов *вольных* областей, их конституции и т. п., . . . подумать о том, кому у нас адресуют они свои восклицания».[1] Доносный характер выступления Каразина был разоблачен на следующем заседании Вольного общества 15 марта 1820 г.

Из протоколов явствует, что свои отрицательные мнения высказывали многие из членов Общества, в том числе поэты Кюхельбекер и Дельвиг. Была отмечена оскорбительность рассуждения Каразина «для общества, принявшего в действительные члены свои г. Каразина и почтившего его званием помощника председателя. Причем г.г. члены представили экземпляры сего рассуждения, напечатанного сочинителем самовольно» и отправленного без разрешения Общества министру внутренних дел Кочубею. Здесь же было выяснено, что экземпляры рассуждения Каразина, отправленные «некоторым особам», заключали дополнительно «мысли особенной важности», между тем как в других экземплярах оных не содержится. Таким образом, собрание не только констатировало неблаговидный поступок Каразина и постановило снять его с должности вице-президента, но и установило доносный характер «ученого рассуждения», повидимому, имея точные сведения о содержании «мыслей особой важности». В «мыслях» этих, надо полагать, были приблизительно те же сведения, которыми Каразин снабдил правительство в последующих доносах на Пушкина и его окружение. Таким образом «ученая республика» получила как бы и предупреждение о возможных гонениях на Пушкина и на его друзей — молодых вольнодумцев.

Непосредственной реакцией на это были произведения, утверждающие независимость поэта, его право избирать вдохновляющую тему и его обязанность вопреки всем гонениям бичевать общественные пороки. С такими произведениями выступали Кюхельбекер и Дельвиг. Кюхельбекер прочел свое стихотворение «Поэты» на ближайшем заседании 29 марта.

Как бы утверждая право на осуждаемые реакционной критикой дружеские послания, Дельвиг ответил Кюхельбекеру и в ответе этом еще раз подчеркнул уже затронутые темы: гонений, прав и гражданских обязанностей поэта. Об этом стихотворении известно лишь по внесенному в протокол собрания 22 марта заявлению цензора А. А. Крылова. Он сообщал, что сомневается в пропуске гражданской цензурой стихотворения Дельвига «Поэт», предложенного к печати в «Соревнователе». Самого стихотворения в делах Общества нет, но совершенно очевидно, что речь идет о стихотворении, начинающемся со стихов «Что до богов? Пускай они. . .», ошибочно датировавшегося издателями Дельвига 1816—1817 гг. Это, пожалуй, единственное стихотворение Дельвига, которое может

[1] Архив Вольного общества любителей российской словесности, кн. 4 за 1820 г. Институт русской литературы Академии Наук СССР, Рукописный отдел.

быть причислено к гражданским. Дельвиг довольно прозрачно заменяет земную власть небесной и говорит о тщетности усилий этой власти убить вдохновение поэта. Поэт будет творить «при любом ненастье», даже «под звук цепей»:

И тут бы он мечте своей
Дал возвышенное стремленье
И тут бы грозное презренье
Пороку грянуло в ответ
И выше б Рока был поэт.[1]

Разумеется, оба стихотворения являлись не только ответом на теоретическую часть «Ученого рассуждения» Карамзина, но и протестом против доноса. Слово «гонение» в обоих стихотворениях надо понимать буквально — как гонения на Пушкина, слух о которых разнесся сразу же по появлении «Ученого рассуждения» с «мыслями особой важности». Во всяком случае в своем подлинном доносе на вольнодумцев, посланном министру внутренних дел Кочубею 31 марта 1820 г., Карамзин сообщает о распространившихся слухах о наказании Пушкина. Карамзин продолжает свои доносы и розыски и после ссылки Пушкина, обращая внимание правительства на «братство и союз», соединяющий его друзей-поэтов. Как известно, и этим кругом не закончились доносы Карамзина. Разыскивая корни вольномыслия, он докопался и до Ф. Глинки с его просветительской деятельностью, и до Николая Ивановича Тургенева, Рылеева и других. Он нащупывал уже основной нерв вольномыслия, и разоблачения его могли привести к полному разгрому декабристского движения, если бы сам он не запутался в своих доносах и поучениях правительству.

Победа над представителями реакции в Вольном обществе открывала широкие возможности деятельности, но в то же время требовала особой осторожности и внешней благонамеренности целей Общества. Эта задача стояла перед Глинкой, и он разрешал ее, уделяя внимание преимущественно серьезным историческим и историко-культурным темам. Преобладание этих тем устанавливается протоколами заседаний, причем можно проследить, с какой осторожностью и вместе с тем неуклонностью внедряются в эти темы мотивы революции. Эти мотивы очевидны в докладе Глинки о Тадеуше Костюшко, в аналогиях, проводимых Ф. Глинкой между освободительной войной русского и испанского народа в его статье «Отличительные черты из происшествий Отечественной войны», в «Думах» Рылеева и в других произведениях. Для осуществления поставленной задачи требовалась сложная тактика и дипломатия. Обществу необходимо было опираться на авторитетных литераторов, не только официально числящихся в списках, но и осуществляющих руководство Обществом. Опыт показал нежелательность выбора второго руководителя «ученой республики» из числа литераторов консервативного лагеря, которые вовсе не служили прикрытием направлению Общества, а пытались изменить это направление.

Теперь выбор пал на Гнедича. Именно он был противопоставлен Карамзину и его единомышленнику А. Измайлову. 31 мая 1821 г. Гнедич был переизбран из почетных членов в действительные. Такое избрание было явлением чрезвычайным и, несомненно, означало необходимость в непосред-

[1] Стихотворение это впервые было опубликовано по рукописному сборнику В. И. Гаевского (в кн.: Дельвиг, Неизданные стихотворения. Пб., 1922, стр. 33) и отнесено редактором М. Гофманом к лицейскому периоду. В качестве лицейского вошло в издание: А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, Изд. писателей в Ленинграде, 1934 (стр. 261; примечание Б. В. Томашевского на стр. 467).

ственной руководящей деятельности Гнедича. Действительно, меньше чем через месяц, в середине июня, Гнедич был избран вице-президентом Общества.

Популярность Гнедича в кругу декабристской молодежи возросла благодаря его отношению к судьбе Пушкина. Ф. Глинка писал в своих воспоминаниях об удалении Пушкина из Петербурга: [1] «Когда разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают, — Гнедич с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах) бросился к Оленину». Повидимому, Гнедич принимал посильное участие в хлопотах о Пушкине и до и после ссылки. Пушкина Гнедич любил, по словам Греча, «с каким-то родительским исступлением и искренно радовался его успехам и славе». Теперь Гнедич восхищался той ролью, которую играл Пушкин в качестве поэта, пострадавшего за правду и независимость мнений. Свидетельством этого отношения Гнедича служит послание к нему Пушкина из Кишинева от 24 марта 1821 г. Послание является как бы отчетом Пушкина о своем моральном состоянии и поэтической деятельности. Послание, несомненно, отвечает и на прежде бывший разговор с Гнедичем, и на его напутствие, и на «вдохновительное» письмо Гнедича, только что полученное Пушкиным (письмо, видимо вполне откровенное). Ответ на вопросы, «хвалы и рассуждения» Гнедича мы находим в стихах:

Всё тот же я — как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию — в слепой надежде —
Молебнов лести не пою.

Эти стихи, равно как и заключительные:

Он Музу битвой площадной
Не унижает пред народом
И поучительной лозой
Зоила хлещет мимоходом,

не только связаны с характерными для Гнедича высказываниями, но и прямо соотносятся с поэтическими декларациями Кюхельбекера и Дельвига в Вольном обществе любителей российской словесности. 13 июня 1821 г. Гнедич произнес свою «Речь» о назначении поэта, имеющую прямую связь и с «каразинской историей» и с вдохновительным письмом к Пушкину, содержание которого нетрудно угадать. Гнедич построил свою речь как благодарственную по поводу «переименования его из почетных в действительные члены». Он напомнил собранию о тех «высоких мыслях», какие он всегда имел относительно искусства, о «страстном почтении» к нему и, наконец, о своих тяжелых, постоянных трудах. Подобно Каразину, он с самого начала дал понять, что поэзия не должна унижать себя пустяками. Но Каразин, разглагольствуя о высоких «мужественных» темах, которые должен избирать поэт, — не смог раскрыть свои «идеалы» и показать, какими же должны быть эти высокие темы литературы.

Это сделал Гнедич с первых же слов своей «Речи». Именуя поэтов воинами, он призывал их к «брани с пороками, предрассудками и невежеством».

С первых же слов отвел он обвинения, возведенные на журнал «Соревнователь»,[2] который будто бы обманывал читателя, преподнося ему вместо серьезного чтения «ссблазнительные элегии» и т. п. Гнедич про-

[1] Русский архив, 1866, стр. 918.
[2] Обвинения, сделанные Каразиным в его «Речи».

возгласил высокую общественную цель, которую ставят себе все члены Общества. Он отметил полную бескорыстность их трудов, которые служат делу благотворения. Они «всё свое лучшее и дарованное и приобретенное, и таланты и плоды их, посвящают бедному человечеству».

Провозгласив общественное благо, братство людей и поиски высокой истины теми сторонами человеческой деятельности, которые не были знакомы древнему миру и явились результатом христианства, — Гнедич сделал очень остроумный тактический ход. Он отнимал у противников возможность кричать о злонамеренности всех этих понятий. Торжественно-витийственный тон речи придавал ей характер проповеди, произносимой с амвона. Гнедич противопоставлял земной власти — власть божественную и тем самым имел возможность сказать, что «никакое могущество земное не сильно уже погасить света науки и остановить благородной деятельности ума и сердца!». То, что он говорил по существу, вполне совпадало со стихами Кюхельбекера, ставшими предметом доноса Каразина:

И им не разорвать венка,
Который взяло дарованье.

В тоне проповеди-пророчества Гнедич провозгласил «незаходящий свет истины», который восторжествует над тьмой невежества. Признак грядущего торжества истины он усматривал в создании обществ, подобных этому, посвятивших себя благотворению, т. е. служению человечеству. От темы благотворения Гнедич перешел к теме просвещения.

Утверждая, что для просвещения наступил момент подъема, Гнедич, наконец, остановился на главной теме своего рассуждения — на роли и назначении писателя. Он развил мысли, уже высказанные им в 1814 г. Теперь, когда свершилось предвиденное им возрождение русской литературы, он считал своим долгом предостеречь молодые таланты от гибельных слабостей, призвать их к мужественному служению, убедить их в их высоком достоинстве и неограниченном праве. «Да будет перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен», — торжественно заявлял Гнедич. Нет сомнения, что это уподобление писателя царю, т. е. провозглашение полной самодержавной его независимости, как бы противостоящей самодержавной власти, Гнедич мог себе позволить лишь в дымовой завесе торжественно-витийственного слова. Любопытно, что Пушкин впоследствии ввел в свою лирику эту формулу Гнедича о писателе-самодержце («Ты царь, — живи один, дорогою свободной», и т. д.).

Заданная в начале речи тема — писатель-воин — развивается и в дальнейших положениях Гнедича.

Пером своим «писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим. . . Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом. Но если писатель благородное оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могущество. . ., перо его есть оружие убийства!». Свободу и независимость свою писатель, по мнению Гнедича, должен ставить превыше всех благ. Он — «не должен раболепствовать фортуне. Если ж писателю такое отреченье тягостно, да оставит он поприще письмен». Гнедич призывал писателей к высокому пониманию своего долга, заявляя, что любовь к человечеству и общее благо должны быть «первой страстью. . ., одушевляющей» писателя.

После рассуждения о различии между известностью и славой Гнедич указал, что путь к славе — в обращении к вечным, высоким темам. Высокой поэзии противопоставил он, как и в первом своем «Рассуждении. . .»,

поэзию индивидуалистическую. Только теперь нападал он уже не на элегическую мечтательность и балладную фантастику, а на холодный эгоизм нового направления. Гнедич объявлял войну разрушительной силе байронизма. «Отдаляясь, как холодною стеною, от общества себе подобных, человек видит себя — зрелище унылое! — одного в мире и мир для одного себя», — сокрушенно восклицал Гнедич. Он призывал к борьбе с погружением в самого себя, с противопоставлением себя — миру, обществу. Писатель не должен погружаться в это мертвое царство. Перед ним открыт широкий горизонт, и он обязан «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие». Долг русского писателя — воспитывать в духе высокой героики. Гнедич призывал к «пламенным восторгам», к созданию образов, «превосходящих природу земную», потому что наступило время, когда поэту «*нужнее черезмерить величие человека, нежели унижать его*». Высочайшей и благороднейшей темой Гнедич признал тему «*святого пожертвования* самим *собою для блага людей*».[1]

Таковы были призывы Гнедича. В основе их была мысль о необходимости поднять дух современного молодого человека, «воскресить его к жизни, достойной мужа».

Уже по одному тому, что речь Карамзина, предшествующая речи Гнедича, была произнесена накануне ссылки Пушкина и содержала намеки на его вольнолюбивую поэзию, — в рассуждении Гнедича естественно видеть ответ на эти намеки. Ответ этот, несомненно, содержится и в цитированных нами словах о бессилии властей над свободной мыслью поэта, и в заключительной фразе «Речи» о том, что «человек может быть несправедлив, но род человеческий — никогда», и в самом обращении к гению, удел которого — мужество и слава. Несомненно, что пафос «Речи» о назначении поэта в большей мере был обращен к Пушкину.

Несмотря на сложное витийство и чрезвычайную осторожность «Речи» Гнедича, цензура не могла не раскусить ее сущности. Из поздней переписки Плетнева с Гротом [2] мы узнаем, что «Речь» подвергалась цензурным изменениям.

Посылая Гроту «Речь» в 1844 г., Плетнев отмечает, что «карандашом приписанные слова в „Речи“ Гнедича не пропустила цензура». Затем из дальнейших сообщений, связанных с почтовыми недоразумениями, выясняется, что «Речь» послана Плетневу в «единственном в России экземпляре, особо отпечатанном». Из этого можно заключить, что, уже будучи отпечатанной, «Речь» была изъята цензурой и экземпляры ее не сохранились. Во всяком случае очевидно, что тот текст «Речи», который был напечатан в «Соревнователе», является неполным, особо цензурованным. И действительно, в некоторых местах в этом тексте заметны неувязки и пропуски.

Однако в том виде, в каком дошла до нас эта «Речь» Гнедича, она может быть причислена к декларациям, наиболее ярко выражающим литературные чаяния и принципы декабристов. Многочисленные послания, адресованные Гнедичу литераторами пушкинского поколения, почти все являются в какой-то мере отзывом на обращение Гнедича к поэтам в «Речи» 13 июня 1821 г.

Послания эти, написанные поэтами самых различных направлений и характеров, от Рылеева до Воейкова, свидетельствуют о высокой

[1] Подчеркнуто всюду мною, — *И. М.*

[2] Переписка Я. К. Грота с П. Плетневым. СПб., 1896, т. 2, стр. 274, 551, 556, 894.

наставнической роли, которую играл Гнедич в конце 1810-х—начале 1820-х годов. Все они более или менее единодушно говорят и о том, что Гнедич в своем литературном учительстве вел единую твердую линию обращения молодого поэта к значительным, гражданственным темам. Стремясь найти в даровании поэта зародыш того, что могло сделать из него поэта-гражданина, Гнедич готов был сокрушать в этом даровании самое сильное, если оно не отвечало «высокому служению пером». Так было с Баратынским. Гнедич ценил и понимал элегическое направление его поэзии. Между тем он всячески стремился отвратить Баратынского от избранного им пути и, учитывая сатирические данные [1] эпиграмм Баратынского, советовал ему испробовать род сатиры.

Неуклонен Гнедич был и в отношении советов Дельвигу. В нем Гнедич не мог не видеть блестящего мастера антологической поэзии, близкой ему по общим интересам к античному, поэтическому миру. Между тем Гнедич стремился натолкнуть его на создание народных идиллий с русским, гражданственным сюжетом. Идиллия Дельвига «Отставной солдат» была подсказана Гнедичем.[2]

Путь, по которому Гнедич стремился направить молодые таланты, являлся закономерным путем для поэтов-декабристов и соответствовал их внутренним стремлениям. Большинство из них начинали эпикурейскими и мечтательными элегиями и постепенно от любовных и пиршественных тем переходили к высоким, гражданственным. Переход к политическим и гражданственно-героическим темам естественно влек за собой поиски новых родов поэзии, но далеко не все поэты находили их. Многие из поэтов-декабристов политическую тему укладывали в форму обычной элегии или элегического послания («Певец в темнице» В. Раевского), или возвращались к испытанному у поэтов конца XVIII—начала XIX в. роду философских, одических элегий или посланий в духе «Общежития» и «Перуанца к испанцу» Гнедича. С этими двумя произведениями Гнедича можно соотнести две элегии В. Раевского («Раздался звон глухой. . .» и «Шумит осенний ветр»). Однако характерно, что В. Раевский не пошел в своей поэзии по пути разработки этого рода элегии и больше к нему не возвращался. Сам Гнедич был экспериментатором в своей оригинальной поэзии и постоянно искал новых форм для новых, уводящих его от первых опытов тем. Будучи носителем идеи высокой гражданственной поэзии, он отнюдь не стремился задержаться на тех родах поэзии, которые были им испытаны в первые годы творчества. Литературную молодежь, ищущую его советов, Гнедич отнюдь не обращал вспять к готовым видам высокой поэзии. Он искал для нее нового и поддерживал новое. Как искал Гнедич этих новых путей и в чем состояла эта поддержка, мы увидим на опыте Рылеева.

VII. Героическая тема в творчестве Гнедича и пропаганда ее в годы создания Южного и Северного тайных обществ

1821 г., с которым связано оживление общественной деятельности Гнедича, был вехой, отделявшей период нарастающих революционных настроений дворянской молодежи от периода непосредственной подготовки к перевороту. Образование Южного и Северного тайных обществ в январе 1821 г. было началом перехода декабристов от идеологических

[1] См. об этом в статье Пушкина о Баратынском (1827).

[2] Об этом свидетельствуют заметки Баратынского. См.: Дельвиг, Полн. собр. стих., Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 490.

объединений к действенно-политическим. Это новое состояние заставило декабристскую мысль оформить теоретические построения для конкретной политической пропаганды. Так, исторические рассуждения о судьбах русской гражданственности нашли свое выражение в листовке «Любопытный разговор».[1] Вопросы гражданского права, общественных законов и мировой истории вошли в обиход пропагандистской деятельности членов тайных обществ. Именно они составили основную часть «Любопытного разговора» Никиты Муравьева. В доступной форме здесь утверждалось право на свободу, необходимость борьбы за нее и обязанности гражданина. Выдвинутые декабристами вопросы пропаганды определили круг той художественной литературы, которая должна была служить этой пропаганде, характер которой был близок декабристам.

В 1822 г. при допросе Военно-судной комиссии при 6-м корпусе Южной армии юнкера Перхалов, Михайловский, Бартенев и Шматковский показывали,[2] что Владимир Федосеевич Раевский, который вел занятия с солдатами и младшими офицерами по ланкастерской системе, велел им «учить некоторые примеры стихов наизусть». Примеры эти были всегда совершенно явно революционного содержания. Юнкера помнили некоторые из них. Так, перед комиссией был прочитан отрывок из стихотворения Гнедича «Перуанец к испанцу»:

Рушитель моея[3] отчизны и свободы,
О ты! что, посмеясь святым правам природы,
Злодейств неслыханных земле пример явил,
Всего священного навек меня лишил.
Доколе, в варварстве[4] не зная истощенья,
Ты будешь вымышлять мне новые мученья?
Властитель и тиран моих плачевных дней!
Кто право дал тебе над жизнию моей?
Закон? Какой закон? Одной рукой природы
Создан и ты и я и всей земли народы.[5]

Конечно, Раевский и не думал распространять стихотворение Гнедича в качестве сатиры на колониальную политику Испании. Текст этого произведения воспринимался применительно к русской действительности и являлся как бы художественным воплощением идей того же «Любопытного разговора».

В этом же плане, конечно, рассматривалась и декламация о свободе в трагедии «Танкред» Вольтера, переведенной Гнедичем. Успех этой трагедии, возобновленной на сцене в 1820 г., объяснялся именно этими декламациями, чрезвычайно усиленными Гнедичем при исправлении старого текста его перевода. В свете декабристской пропаганды обращенными к русской действительности воспринимались слова Аржира:

Вожди и рыцари, Сицилии сыны,
Герои-мстители отеческой страны!
Вы, престарелые мои почтивши лета,
Собрались у меня для важного совета,
Как нам несущих брань тиранов отразить,
И славу и покой отчизне возвратить.
. . . . . .

[1] Листовка отпечатана не была и сохранилась в рукописи. См.: Сб. «Декабристы», ГИЗ, 1926, стр. 249.

[2] Цитирую по книге: В. Г. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. Изд. АН СССР, 1949, стр. 104.

[3] В журнальных редакциях и в издании соч. Гнедича, 1832 г.: Рушитель милой мне отчизны и свободы.

[4] Доколе, в варварствах не зная истощенья.

[5] Ты сотворен и я, и всей земли народы!

Пора — соединясь на Мусульман восстать;
О, други, нам пора от гибели спасать
Стяженных кровью благ остатки драгоценной,
Для благородных душ всех более священной,
Свободу. . .[1]

Однако не эти выигрышные для политической пропаганды произведения являются центральными в творчестве Гнедича и не ими определилось взаимоотношение его с декабристской идеологией.

В своих показаниях Следственной комиссии декабристы часто отмечали влияние на их мировоззрение примеров древних республик. Так, видный член Южного тайного общества П. И. Борисов показал, что «чтение Греческой и Римской истории и жизнеописания великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народодержавию».[2] Декабрист, лейтенант Балтийского флота, А. П. Арбузов показал, что с моряками братьями Беляевыми (тоже привлеченными по делу декабристов) они проводили свободное время, «занимаясь чтением исторических книг. . . и . . . в мечтах переносились в древние республики, восхищаясь чистотой нравов, величеством характеров и истинною добродетелью».[3]

Героические и гражданственные примеры древности являлись в деле политического воспитания молодежи сильным и убедительным пособием. Именно с возбуждения интереса к республиканским Греции и Риму начинали декабристы свою пропаганду.

Интересным документом в этом отношении являются показания декабриста Поджио [4] о методах пропаганды Пестеля. «Вот три предмета, кои были им употреблены для испытания моего. Начал он от Немрода, подробно, медленно переходил через все изменения правлений, понятий народов о них; перескочил *к временам свободы Греции, Рима, говоря сколь мало она (т. е. свобода, — И. М.) понята была, не имея представительства своего*,[5] пронесся быстро мимо варварских средних времен, поглотивших свободу и просвещение, приостановился на революции французской, не упуская из виду нерешимость оной цели, непрочность в достижении ее и основании и, наконец, пал на Россию. Тут он направил на нее свои ядовитые стрелы, стал говорить о монархическом правлении, сколь оно не согласно с представительным» и т. д. «Свобода Греции и Рима» была не понята потому, что не имела преемственности. Память о ней была сокрыта сумраком средневековья. Новое время, французская революция воскресили забытые первообразы свободного строя. Пестель своим историческим пробегом как бы приглашал принимаемого в члены тайной организации воскресить забытый образ.

В свете этого интереса к античной героике и республиканским доблестям естественно возникала необходимость в доступном чтении величайших образцов древнего, свободного мира. В связи с этим, в глазах декабристов приобретал совершенно особое значение перевод «Илиады», уже почти заканчиваемый Гнедичем. Перевод мог сыграть большую воспитательную роль. Он останавливал внимание на великолепных подвигах храбрости во имя славы и свободы отечества. Так именно

[1] «Танкред» в переводе Гнедича. Действие I, явл. I.
[2] Восстание декабристов. Материалы, ГИЗ, 1926, т. V стр. 22.
[3] Там же, т. II, стр. 26.
[4] Письмо А. В. Поджио из крепости от 12 марта 1826 г. Центрархив. Декабристы. Сборник отрывков из источников. Гос. изд., 1926, стр. 199—200.
[5] Подчеркнуто мною, — *И. М.*

склонен был понимать назначение своего перевода и Гнедич, постоянно проповедовавший идеи воспитания молодежи на примерах гражданственной мудрости и героики античного мира.

В героическом эпосе Гомера Гнедич видел «юность человечества», «все страсти человечества юного, все стороны жизни героической». Для Гнедича «Илиада» была «энциклопедией древности» всего человечества и как таковая должна была служить вечным источником для всех народов в области понятий о подлинной поэзии. Эта точка зрения Гнедича восторжествовала в известной мере в прогрессивной мысли следующих поколений.

Называя гомеровские времена «детством человеческого общества», Маркс говорил о том, что «греческое искусство и эпос. . . продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца».[1] Гнедич видел значение предпринятого им труда не только в том, что «Илиада» могла служить примером и образцом для русских поэтов, но и в распространении гражданственно-героических идей, на которых должно было воспитываться русское юношество. Именно эта идея Гнедича, впоследствии высоко оцененная Белинским, в наибольшей мере отвечала задачам декабристов.

Прогрессивное значение обращения к античному миру в борьбе с «феодальной тиранией» было характеризовано Белинским. Он указывал на то, что именно здесь надо искать начал «всякой разумной общественности», «ее первообразов и идеалов». Вдохновляющие идеалы древних республик были нужны дворянской революции 1825 г. в той же мере, как они были нужны и буржуазной французской революции 1789 г., деятели которой, по словам Маркса, «вызывают к себе на помощь духов прошедшего», необходимых им, «чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии».[2]

Уже в начале 1820-х годов в среде прогрессивной молодежи означился интерес и глубокое уважение к труду Гнедича. Наиболее отчетливо сознание величия и грандиозности этого труда выразил Пушкин в своей заметке об «Илиаде» 1829 г. и в послании Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один»).

В своем послании Пушкин противопоставлял мелкие темы элегической и эпикурейской поэзии, модной в конце 1810-х—начале 1820-х годов, — монументальному труду Гнедича.

Независимо от личного поэтического вкуса, не всегда принимающего гекзаметры, сложный синтаксис и язык перевода, — декабристская молодежь единодушно считала перевод «Илиады» фактом огромной важности. В обращениях молодых поэтов к Гнедичу и в отдельных высказываниях неизменно отмечалось значение того, что в русском гекзаметрическом переводе «Илиады» воссоздавалось подлинное величие героического эпоса. Первым, кто увидел в переводе Гнедича явление новое и важное, знаменующее начало новой эры в отечественной поэзии, — был Кюхельбекер. В своей статье 1817 г.[3] он указывал, что появление нового русского перевода «Илиады» освобождает Россию от «тиранства» мнений французской словесности.

Пушкин в начале 1821 г. писал «О звонких узах» стеснительного французского стиха, от которого освободил Гнедич «Илиаду».[4] Значитель-

[1] К. Маркс. К критике политической экономии. Соч., т. XII, ч. I, 1935, стр. 203.
[2] К. Маркс. 18 брюмера Луи Бонапарта. Соч., т. VIII, 1931, стр. 323 и 324.
[3] Взгляд на нынешнее состояние Русской словесности. Вестник Европы, ч. 95, № 17, стр. 156.
[4] Послание Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный»).

ным в этом плане является высказывание Рылеева, который в «Послании к Н. И. Гнедичу» писал:

Питомец важных муз, служитель Аполлона,
Певец, который нам паденье Илиона
И битвы грозные ахеян и троян,
С Пелидом бедственну вражду Агамемнона,
Вторженье Гектора в враждебный греков стан,
И бой и смерть сего пергамского героя
Воспел пленительно на лире золотой,
На древний лад ее с отважностью настроя.[1]

Таким образом, в сознании декабристской молодежи был непререкаемым вопрос о качествах перевода Гнедича, было понимание той борьбы, которую пришлось выдержать Гнедичу не столько за самый выбор размера, сколько за стилевое наполнение гекзаметрического стиха. «Отважность» Гнедича, конечно, заключалась главным образом во внедрении простонародных и необходимых, по его понятиям, древних речений. Вопрос о новаторстве Гнедича, в которое включалось и употребление древних слов и оборотов, был поднят лишь Белинским.[2] Но нет никакого сомнения, что мысли Белинского имели в своем истоке оценку перевода Гнедича, данную декабристским поколением.

Работая над переводом, Гнедич задумал комментарий к «Илиаде» совершенно нового, не имевшего еще места в литературе типа. Отрывок из комментария к «Илиаде», напечатанный Гнедичем в «Сыне Отечества», («О тактике ахеян и троян...»), рукописная тетрадь «Материалов для комментария» с различными пометками Гнедича,[3] а также переписка его с А. Н. Олениным — раскрывают нам обширный замысел, явно соотносившийся с задачами декабристов.

Комментарий должен был представлять собой циклы историко-культурных популярных очерков на темы исторические, историко-географические, историко-культурные и другие. В основу этих очерков ложилась обширная исследовательская работа Гнедича, далеко не исчерпывающаяся чтением ученых сочинений европейских комментаторов Гомера: Х. Г. Гейне, Вольфа, Шубарта, Вебба и Найта, выписки из которых мы находим в рукописной тетради «Материалов...». Наиболее своеобразным способом воссоздания образов античной героики у Гнедича было обращение к современному характеру военного и бытового обихода греков. События греческой революции привлекали особое внимание декабристов к греческой армии, ее воинскому духу и традициям. Гнедич видел в этих традициях прямую связь современных греческих воинов с воинами гомеровского эпоса. Так, например, в очерке «О тактике ахеян и троян, о построении войск, о расположении и укреплении станов (лагерей) у Гомера» Гнедич отметил, что в современной греческой армии соблюдается древний обычай выхода передового героя «для умножения и воспаления храбрости». Герой этот не только первый принимает сражение, вызывая «храбрейшего от неприятелей», но и говорит с ним, — вызывающей речью своей укрепляя дух своего войска. Это обращение Гнедича к современности, сопоставление сражающихся за свою независимость революционных греков с античными воинами, было в полном соответствии с восприятием декабристской эпохи. Комментирующий «Илиаду» очерк писался весной 1825 г., т. е. в то время, когда память о революцион-

[1] Подчеркнуто мною, — *И. М.*
[2] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., под ред. С. Венгерова, т. VII, стр. 31.
[3] Неопубликованные материалы. Хранятся в Гос. Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина, F XVIII, № 6.

ных событиях в Греции воскрешалась в связи с нараставшими событиями русской революции (вспомним, что Пушкин, датируя письмо к Гнедичу 23 февраля 1825 г., сделал приписку о годовщине начала восстания Ипсиланти). Он напомнил эту дату потому, что Гнедич в 1821 г. с достаточной горячностью, возбужденной его особым интересом к Греции, отозвался на известие об этом восстании. Доказательством живого интереса Гнедича был перевод революционного гимна греков:

Воспряньте, Греции народы!
День славы наступил.
Докажем мы, что грек свободы
И чести не забыл.
Расторгнем рабство вековое,
Оковы с вый сорвем;
Отмстим отечество святое,
Покрытое стыдом!
К оружию, о греки, к бою!
Пойдем, за правых бог!
И пусть тиранов кровь — рекою
Кипит у наших ног! [1]
О тени славные уснувших
Героев, мудрецов!
О геллины веков минувших,
Восстаньте из гробов!
и т. д.

В письме к Александру I от 25 марта 1821 г., при описании настроений на юге России, связанных с греческим восстанием, министр внутренних дел Кочубей упомянул, что в Москве переведена стихами военная песнь греков.[2] Речь шла о переводах греческого гимна, сделанных Гнедичем, напечатанных в «Вестнике Европы» за 1821 г.[3] со следующим, как бы оправдывавшим напечатание этого гимна, примечанием издателя: «Писанный во время преждебывшего восстания в Морее. Здесь два перевода: оба с греческого языка, и предлагаются единственно как произведение соплеменника народу, которого именем, страданиями и усилиями наполнены теперь все политические журналы и газеты». Однако несмотря на то, что события в Греции официально обсуждались в печати, Кочубей не зря отметил возбуждающее действие греческого гимна. Переведенный на русский язык, он отвечал свободолюбивым чаяниям уже не греков, а русских, и именно острый, усиливающий свободолюбивые мотивы, перевод Гнедича получил широкое распространение.

Немедленным отзывом на перевод Гнедича была «Греческая песнь» Кюхельбекера (1821), который как бы перекладывал содержание революционного греческого гимна. Вместе с тем в стихотворении Кюхельбекера речь шла не о греческом народе, а о «народах»:

Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы.
О радость! грянул час, великий час свободы!

«Сыны Эллады» — это те, которые начали бой:

Они нас ждут — скорее к ним!

Гимн, переведенный Гнедичем в 1821 г., звучал как призыв к началу боевых действий. На юге, в среде южных декабристов общереволюцион-

[1] Повторяющийся в гимне припев.
[2] Сборник материалов, извлеченных из архива собственной канцелярии, т. XI, стр. 374—375.
[3] Ч. CXIX, стр. 258.

ный смысл гимна был особенно действенным, наряду с воззваниями Ипсиланти к молдавскому и греческому населению Бессарабии.

Характерно, что «Военный гимн греков», несмотря на подзаголовок «Сочинение Риги», не воспринимался как перевод. Цензор, рассматривавший стихотворения Гнедича в 1832 г., в своем докладе в цензурный комитет упрекал Гнедича в том, что он «увлекался к прославлению вольности и свободы» и «о древних царях и греческих тиранах выражался с особою жестокостью, озлоблением. . .».[1]

Перепутав турецких тиранов с греческими, цензор имел в виду, конечно, именно «Военный гимн греков», где наиболее отчетливо и выражено «озлобление» против тиранов.

Следующим за греческим гимном произведением Гнедича, связанным с вольнолюбивыми традициями в России, был перевод «Простонародных песен нынешних греков». Гнедич напечатал перевод песен греческих повстанцев в самом начале 1825 г. На обложке издания значилось, что перевод сделан «с прибавлением введения, сравнения их с простонародными песнями русскими». Это сравнение, столь явно подчеркнутое Гнедичем, вызвало живой интерес декабристского круга к переводу. Пушкин писал Гнедичу: «Песни греческие прелесть и tour de force».[2] Последнее выражение скорее всего относится именно к мастерской уловке Гнедича, обратившего внимание русского читателя на еще более замечательные, чем греческие, вольнолюбивые русские народные песни. Основной мыслью предисловия Гнедича и является сходство песен греческих с русскими. Гнедич утверждал, что французский исследователь эпоса Фориель ошибался, приписывая характерные для греческих песен «смелость воображения и выражений» влиянию восточной культуры (т. е. Турции). По мнению Гнедича, влияние это шло не от Турции, а от славян, сожительствовавших в VI—VIII вв. н. э. в местах, где зародились песни клефтов. Доказательство свое Гнедич строит на подробном сравнительном анализе песен русских и греческих (на тождестве отрицательных сравнений, на близости песенных приступов и других сближающих признаках). Анализируя поэтику русских и греческих песен, Гнедич, конечно, имел в виду прежде всего близость в темах и характере песен. Эту близость Гнедич отмечал в примечаниях к отдельным песням. Так, например, в примечании к «Последнему прощанию клефта» Гнедич пишет: «Кому из русских конец сей не напомнит последних стихов лучшей между старинными нашими песнями: „Уж как пал туман на сине море"». Гнедич не только называет эту песню, но и цитирует из нее шесть стихов с явным желанием обратить на нее внимание читателя. Подчеркивание того, что данная русская песня является лучшей, — является уже прямым указанием Гнедича на аналогию переведенных им песен с так называемым разбойничьим, т. е. революционно-героическим, циклом русских песен.

С начала 1820-х годов Гнедич отказывается от оригинальных опытов в области героической поэзии и ограничивает себя переводами. Но переводы эти далеко не случайны. Они неразрывно связаны с интересом Гнедича к народному эпосу, но в то же время они являются данью современности.

В центре интересов Гнедича — попрежнему народная стихия. Только то, что связано с ней, кажется ему подлинно поэтическим. Эту стихию видит он не только в античном эпосе, но и в античных идиллиях. Его

[1] Русская старина, 1904, № 1, стр. 208.
[2] Письмо от 25 февраля 1825 г.

увлекает мысль о воссоздании в России этого рода поэзии в его первозданной простоте, не искаженной салонной уродливостью, характерной для современной идиллии. Именно народность подчеркивает Гнедич в своем переводе идиллии «Сиракузянки». В предисловии к этому переводу, высоко оцененном Белинским,[1] Гнедич оспаривает установившееся в поэтике определение идиллии как «пастушеского, или сельского стихотворения». «Идиллия греков, — говорит Гнедич, — есть вид, картина, или то, что мы называем *сцена*, но сцена жизни и пастушеской, и гражданской, *даже героической*».[2] Гнедич отмечает, что Феокрит, образовавший свою идиллию из народных сценических представлений, «предметы» для своих идиллий избирал «большею частью простонародные, чтобы пышности двора Александрийского, при котором он жил, противопоставить мысли простые, народные». Ту же цель ставит себе и Гнедич, начав работать над созданием народной идиллии на русской почве. Результатом этой работы является идиллия «Рыбаки». Успех идиллии у современников обусловливался не только поэтическими достоинствами отдельных мест ее, но и самой темой. Несмотря на то, что приподнятость стиля речи и весь облик русских рыбаков имел гораздо больше сходства с античным миром, чем с русской крепостнической действительностью, — тема воспринималась как слово в защиту обездоленных. Современная критика отмечала, что идиллия Гнедича «облагораживает нечувствительно в глазах наших таких людей, на которых мы часто, по странной привычке, смотрели с пренебрежением».[3] Гомеровский[4] величавый стиль идиллии придавал ничтожному, мелкому сюжету важность героическую. Наравне с идеализацией героического прошлого русского народа, такая идеализация современного народного быта не противоречила понятиям декабристов. Напротив того, низменный сюжет во всей его натуралистической неприглядности был бы заклеймен прогрессивной критикой того времени как лишенный возвышающего поэтического достоинства.

В своем увлечении героическим эпосом Гнедич, повидимому, не имел иллюзий насчет возможности создания произведений, подобных «Илиаде» или «Слову о полку Игореве». Быть может, опыт собственных попыток создания эпического произведения на русскую историческую тему окончательно разуверил его. В «Записной книжке» мы находим следующую запись: «Эпическая поэма, сие удивительное творение, кажется не может быть произведением наших веков. . .». Гнедич объясняет это тем, что наше «воображение расслаблено и испорчено». Дальше, характеризуя идею эпоса, Гнедич пишет: «Лица поэмы эпической должны совокупить в себе дух веры, нравов и первородный характер целого народа. В них должно находить истинную форму, из которой истекает история». В основе собственных героических замыслов Гнедича лежит, наряду с попыткой дать народную стихию, — чуждый классическому эпосу интерес к человеческой индивидуальности и эмоциональность в изображении событий. Это «расслабленное» современной утонченностью восприятие автора заметно даже в плане поэмы о Святославе и тем более в

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., под ред. С. Венгерова, т. VI, стр. 263.

[2] Подчеркнуто мною, — *И. М.*

[3] П. А. Плетнев. Идиллия Гнедича «Рыбаки». Труды Вольного общества любителей российской словесности, 1822, XVIII.

[4] Наименование, удачно присвоенное стилю идиллии Гнедича его исследователем А. М. Кукулевичем. См. статью: Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки», Уч. зап. Лен. унив., 1939, вып. 3.

набросках о Василько Теребовльском. Нечего говорить о том, что чувства, изливаемые рыбаками в идиллии Гнедича, решительно разобщают их с аналогичными героями классических идиллий.

Резко порицая современный романтизм с его тлетворным углублением в самого себя,[1] Гнедич неизбежно приходит к принятию романтической поэмы в ее героической сущности. Именно такого рода поэмы ждет он от Пушкина, когда пишет ему, что «тень Святослава скитается не воспетая».[2] Романтической героики ждет Гнедич от Пушкина в связи с его поездкой на Кавказ. Из ответного письма Пушкина от 24 марта 1821 г. видно, что Гнедич писал ему о такой поэме и говорил о «ледяных главах Казбека и Эльбруса», «глухих ущельях» и «берегах шумного Терека».[3] Романтико-героической поэмы, вероятно, ждал Гнедич и от Баратынского, усиленно опекаемого им в начале 1820-х годов. Можно предполагать, что полное взаимное охлаждение между Гнедичем и Баратынским произошло именно потому, что Баратынский не оправдал надежд Гнедича и погрузился в мечтательную созерцательность и психологизм. Несомненно, что Гнедич был солидарен с теми представителями декабристской мысли, которые высказывали разочарование в Баратынском, избиравшем для своих поэм мелкие, ничтожные сюжеты и погрузившем своих героев в мир личных чувств и переживаний. Это был именно тот мир, от которого предостерегал Гнедич в своей «Речи» о назначении поэта в «ученой республике».

С точки зрения Гнедича этот внутренний мир противостоял подлинному, с его широким, свободным горизонтом. Поэмы Баратынского не могли «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие».[4] Баратынский стремился показать в своих поэмах «Эда» или «Бал» реальную психологию мелкого человека, а Гнедич призывал к созданию образов, «превосходящих природу земную», потому что наступило время, когда поэту «нужнее черезмерить величие человека, нежели унижать его». Выдвигая перед литературной молодежью высокую героическую тему, Гнедич ждал произведений, в которых будет затронута величайшая в мире тема «святого пожертвования самим собою для блага людей».[5]

И действительно, явился поэт, который сделал эту героическую тему центральной в своем творчестве и жизни. Это был Рылеев.

VIII. Гнедич и Рылеев

Тяготение Рылеева к Гнедичу началось с первых его литературных шагов, и оно было вполне закономерным для поэта — автора такого произведения, как сатира «К Временщику». Стихотворением этим Рылеев сразу же связал себя с самым передовым отрядом оппозиционной молодежи и вместе с тем установил свою преемственную связь с гражданственной традицией в русской поэзии.

Гнедич явился для Рылеева наиболее близким среди писателей старшего поколения и, видимо, сразу же взял над ним литературное опекунство. Впрочем «Послание к Н. И. Гнедичу», написанное Рылеевым в том же 1821 г., свидетельствует об отношении равных, а отнюдь не об ученичестве.

---

[1] См. цитируемую выше «Речь» Гнедича от 13 июня 1821 г.

[2] Письмо Пушкина к Гнедичу от 25 февраля 1825 г., где он цитирует «когда-то» написанные ему Гнедичем слова.

[3] Письмо Пушкина к Гнедичу от 24 марта 1821 г.

[4] См. цитируемую выше «Речь» Гнедича от 13 июня 1821 г.

[5] Там же.

Стихотворение дает понятие о том высоком уважении, которое питал Рылеев к труду Гнедича, и о значении, которое он ему придавал. В то же время в послании этом Рылеев как бы берет на себя обычную роль Гнедича: роль мудрого наставника поэтов. Переняв от Гнедича обычный для него высокий стиль поучений, — Рылеев утешает его в сомнениях, умеряет обиды и советует ему подняться над несправедливым судом современников. Повидимому, послание вызвано каким-то реальным поводом, нападками на Гнедича критиков. Стихи «На трудном поприще ты только мог один» и следующие за ним свидетельствуют о том, что нападки шли по линии критики гекзаметров в переводе «Илиады».

Рылеев сблизился с оппозиционно настроенными после ссылки Пушкина друзьями поэта и начал посещать собрания «соревнователей». В начале 1821 г., в апреле, он был принят в члены-сотрудники Общества, но вскоре вынужден был уехать в Острогожск.

Первое произведение, которое написал Рылеев в Острогожске, очевидно, являлось следствием еще петербургских замыслов. Дума «Курбский» была послана в Петербург через три недели после отъезда оттуда Рылеева. Посылая думу, Рылеев писал, что хочет напечатания ее не иначе, «если безделка сия будет одобрена почтенным Николаем Ивановичем».[1] Одобрение это было получено, судя по тому, что дума «Курбский» была напечатана в июле в «Сыне Отечества».

Нельзя считать случайным тот факт, что Рылеев ждал одобрения своей первой думы именно от Гнедича. При этом требовалось не только мнение его, или замечания, а решение, быть ли этой «безделке» напечатанной. Возникает предположение, что замысел цикла исторических песен Рылеева связан с предварительными разговорами в Петербурге, в результате которых «Курбский» отнюдь не был неожиданностью для Гнедича.

Рылеев сам в своем предисловии к «Думам» отмежевал свой замысел от «Исторических песен» Немцевича, указав, что не его примеру он следовал, а русской народной традиции. Он писал: «Дума, старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют о героях своих: Дорошенке, Нечае, Сагайдачном, Палее, и самому Мазепе приписывается сочинение одной из них». Сведения «о старинном наследии от южных братьев» могли быть обстоятельнее всего даны Рылееву Гнедичем, подсказавшим ему жанр стихотворных исторических повествований. Именно в 1820—1821 гг. усиленно пропагандировал он идею ассимиляции в литературе народных жанров и занимался народной поэзией. В 1821 г. написаны им лирические строки:

Я помню из детства, как в нашем селении старец,
Захожий слепец, напгрывал песни на струнах
Про старые войны, про воинов русских могучих.[2]

В предисловии к «Простонародным песням нынешних греков» Гнедич писал о кобзарях,[3] которые «в Великой и Малой России поют „псалмы“, но какие-то особенные, в роде большею частью повествовательном, исторические, довольно длинные песнопенья. . .».

Гнедичу, который считал возможным и необходимым современное воссоздание античного жанра идиллии, русской песни и других народных

[1] Письмо к Булгарину от 20 июня 1821 г.
[2] Идиллия «Рыбаки».
[3] Об исторических песнях, столь распространенных и на Украине, Гнедич упоминал еще в своей театральной рецензии 1814 г. («Крестьяне или встреча незванных» А. Шаховского).

жанров, несомненно должно было казаться плодотворным внедрение в литературу исторических песнопений. Недаром в предисловии к «Простонародным песням» Гнедич сожалеет, что народные исторические песнопения (думы) еще не обратили на себя «внимания наших литераторов». Отсюда кажется несомненным вывод, что Гнедич стремился пропагандировать этот жанр у литераторов, и, следовательно, естественнее всего видеть в выборе Рылеева влияние Гнедича.

Из материалов «Зеленой лампы» видно, что в центре внимания «лампистов» была разработка тем русской истории и жизнеописания знаменитых русских людей, начиная с Олега, Святослава и Владимира. «Ламписты», вынужденные в связи с доносом на общество «погасить» свою «Зеленую лампу», не могли завершить коллективного начинания. Однако работа была начата и самая идея продолжала пропагандироваться. В связи с этим возникает мысль, что именно Рылееву могли советовать воспользоваться этой идеей для создания стихотворного цикла о замечательных людях России. Пропагандистом такого замысла мог быть опять-таки Гнедич.

Как уже было отмечено, Гнедич сам пытался в свое время поэтически разработать «Словарные» темы. Неизвестно, какой характер приняла бы поэма о Святославе, но план ее прямо накладывается на содержание аналогичной «Думы» Рылеева. Что касается поэтического замысла Гнедича о народных волнениях и событиях конца XI в., то наброски свидетельствуют о попытке придать своему стиху стиль и характер народного эпоса. Совет Рылееву мог исходить от Гнедича и потому, что он знал материалы «Зеленой лампы» и, несомненно, сочувствовал начинанию, и потому, что он считал своей обязанностью наталкивать талантливых начинающих поэтов на высокие, патриотические темы. Недаром получил он прозванье «молодых певцов советника».[1] Передача Рылеевым первой думы в полное распоряжение Гнедича подтверждает нашу гипотезу.

Возможно, что Рылееву даже был показан список «знаменитых людей Российского государства», составленный Всеволожским, и список литературы, сделанный Трубецким, которые могли храниться у Ф. Глинки, предполагавшего продолжать работу в недрах Вольного общества. Сюжеты дум в этом смысле не представляют данных для уверенности в непосредственном знакомстве Рылеева с указанными материалами, хотя они и совпадают с сюжетами Всеволожского. Однако из этих совпадений обращают на себя внимание одно. Я имею в виду думу «Рогнеда» и одноименную заметку Всеволожского. Тот факт, что Рогнеда как реальная героическая личность входит в список знаменитых людей Российского государства, — сам по себе примечателен и своеобразен. Обычная в литературе трактовка роли Рогнеды как жертвы жестокости, властолюбия и сластолюбия Владимира [2] не могла иметь здесь места. В число знаменитых россиян Рогнеда попала по другой причине: как личность протестующая, противостоящая тирании.

---

[1] А. Воейков. Послание к Н. И. Гнедичу. Новости литературы, 1823 № XV.

[2] Образ Рогнеды, или Гориславы, был известен русской литературе и в XVIII в. (Трагедия Хераскова «Идолопоклонники, или Горислава», героида «Рогнеда ко Владимиру» и др.). Во всех этих произведениях, равно как и в кратком описании жизни супруги Владимира, сделанном Карамзиным (Ист. Гос. Росс., т. I, гл. IX «Отчаяние Гориславы»), героиня изображена покинутой, страдающей женой, замыслившей месть изменнику-мужу. Карамзин называет историю Рогнеды «любопытным и трогательным случаем».

Одинаковое осмысление этой своеобразной темы «лампистами» и Рылеевым не может быть случайным. Оно свидетельствует о прямом или косвенном знакомстве Рылеева с указанными материалами.

Связь замысла Рылеева с одним из основных литературных начинаний, поощряемых тайным обществом, делает для нас этот замысел еще более значительным.

Советы или консультации Гнедича в замысле «дум» подтверждаются еще и наличием посвящения ему и самым характером думы «Державин». Дума эта, повидимому, не случайно завершает весь цикл в издании 1825 г.[1] Рылеев поставил думу «Державин» в конце своего сборника как завершающую и содержащую в себе «ключ к раскрытию политических установок всего цикла».[2] Посвящение Гнедичу многозначительно. Оно связано и с трактовкой поэзии Державина, и с той декларацией роли поэта-гражданина, которую предполагал дать Рылеев, и, наконец, с участием Гнедича в утверждении самого жанра исторических песен.

Гнедич, несмотря на неприязненные отношения с Державиным, связанные с «Беседой любителей русского слова», всегда оставался апологетом мужественной поэзии «русского Горация». В Державине ценил он и высокий стиль его поэзии, и совмещение роли поэта с гражданскими, государственными обязанностями (см. письмо Кюхельбекеру). Превознесение Державина как поэта-трибуна являлось заветом «радищевцев», и прогрессивная поэзия пушкинской поры воспринимала Державина согласно этой традиции. Такое понимание Державина было воспринято преемственно и революционно-демократической критикой 60-х годов. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы», оценивая творчество Державина, спрашивал: «В своей поэзии что ценил он?» — и отвечал: «Служение на пользу общую».

Однако первая редакция думы «Державин» показывает, что реальный образ поэта не выдерживал той гражданственной нагрузки которую дал Рылеев. Стихи «Кипит к тирану он враждой» или «Ярмо граждан его тревожит», явно не вязались с сущностью оппозиции Державина. Тогда Рылеев стал отделять от характеристики поэта образ его преемника, поэта нового поколения. Первоначальная редакция думы дает стихи, значительные своим гражданственным звучанием. Они явно должны были явиться декларативно заключительными и для данной думы и для всего цикла.

Идеальный образ поэта-трибуна, поборника свободы и истины, в этих стихах нарисован Рылеевым в полном согласии с тезисами цитированной нами «Речи» Гнедича. Поэт Рылеева чист сердцем и чужд разврата:

Поклонник пламенный Добра
Ничем себя не опорочит
И освященного пера
В нечестьи буйном не омочит [3]

(см. у Гнедича: Сердцем добрый, духом возвышенный и т. д.). «Суд грядущих поколений» — единственное мерило славы поэта. Поэт — «повсюду правды верный жрец», он должен «греметь грозой противу зла», «он раболепствовать не может». Рок бессилен над поэтом, равно как и земная власть. Цель поэта — разжечь «доблесть в молодых сердцах».[4] Каждая

[1] Думы. Сочинение К. Рылеева. М., 1825.

[2] К. Рылеев, Полн. собр. стихов., Изд. писат. в Ленинграде, 1934, Примечания, стр. 383.

[3] Цитирую по вариантам издания 1934 г., стр. 435.

[4] Цитаты по вариантам на стр. 435.

из поэтических формулировок Рылеева, как нетрудно убедиться, имеет прозаическое соответствие в цитированной выше «Речи» Гнедича. По первоначальному варианту заключительная часть думы являлась как бы репликой Гнедичу и оправдывала посвящение. Реплика эта содержала в себе как бы ответ на витийственную декларацию Гнедича. Она была сильнее этой декларации реальностью политического содержания, которое вкладывал Рылеев в понятие поэта-гражданина:

Греметь грозой противу зла
Он чтит святым себе законом
С спокойной важностью чела
На эшафоте и пред троном.[1]

Эти стихи Рылеева опять-таки были в полном соответствии с проповедью Гнедича, провозглашавшего в 1821 г. «Святое пожертвование самим собою для блага людей».[2] Другое дело, что Гнедич, повидимому, ни тогда, ни теперь при чтении стихов Рылеева не вкладывал в эту высокую идею конкретного политического содержания.

Консультационная роль Гнедича в истории создания цикла дум кажется безусловной.

Нет никакого сомнения и в том, что в беседах с Рылеевым о героических сюжетах для его дум Гнедич останавливался на темах, связанных с историей Украины. Цитированный выше набросок с характеристикой исторических судеб Малороссии свидетельствует о серьезном интересе Гнедича к этому вопросу. Источником для его характеристики были не столько чтения и какие-либо материалы, сколько знание народного эпоса Украины. На героические свободолюбивые темы украинских песен Гнедич, вероятно, и обращал внимание Рылеева. Эта живая беседа с человеком, освещавшим украинскую историческую тему с позиций, близких Рылееву, — кажется не менее естественным источником вдохновения для поэм «Наливайко», «Гайдамак» и другие, чем чтение довольно сухого изложения «Истории Русов» Полетики. Чтения эти несомненны, но не они определили самый выбор сюжетов. В работе над произведениями, связанными с историей Украины, Рылеев, конечно, не ограничивался чтением и теми впечатлениями, которые мог получить на юге. Интерес к украинской теме связал его с петербургскими украинцами, и Гнедич среди них занимал почетное место как знаток украинской истории, поэзии и языка (он был одним из составителей словаря русско-украинского языка, проектированного Российской Академией).

IX. Гнедич и его связи с декабристами в 1823—1825 гг.

Прослеживая в творчестве Гнедича неуклонную линию проповеди свободолюбия, героико-гражданственных идей, устанавливая значительность общественной деятельности Гнедича, непосредственно связанной с декабристской пропагандой, а также отмечая личную и творческую связь Гнедича с ведущими декабристами, мы неизбежно приходим к постановке вопроса о его отношении к тайным декабристским организациям. Имеется ряд политических суждений Гнедича в его «Записной книжке». Они дают представление о непримиримости Гнедича в отношении существующего в России строя, который «соединен с большим злом». В обстановке данного строя «при отвержении от своей свободы. . . самые высокие и твердые умы», по мнению Гнедича, «должны производить низости».

[1] Варианты по изд. 1934 г. на стр. 435.
[2] См. выше, стр. 172.

Гнедич представляет себе «деспотизм и свободу» в виде двух «враждебных исполинов, ведущих брань вечную, жертвами которых всегда будут народы». Совершенно очевидно, на стороне какого из исполинов сам Гнедич. Эти не имеющие даты записи характеризуют общее политическое направление Гнедича, достаточно явное, вытекающее и из его творчества. Но в политическом вольномыслии Гнедича можно проследить определенные этапы развития.

Ранний период творчества Гнедича, ознаменованный произведениями, в известной мере продолжившими революционную радищевскую традицию, быть может, в политическом смысле был наиболее радикальным.

Романтический, молодой республиканизм Гнедича, переводчика «Заговора Фиеско» Шиллера, повидимому, получил серьезное подкрепление в обращении к истории античной Греции в 1807 г. В качестве эллиниста, Гнедич, по замечанию цензора его сочинений, стал распространять идеи, «которыми свойственно восхищаться древним грекам, выше всего ценившим республиканские добродетели».[1] Склонный к политическому вольномыслию, впитавший его вместе с литературными традициями конца XVIII в., Гнедич и в 20-е годы придерживался самых прогрессивных взглядов. Проблемы, занимавшие Гнедича в эти годы, поставили его в ряд литераторов, на которых опирались будущие декабристы. Литературные призывы Гнедича оказались передовыми: они совпали в полной мере с теми культурно-просветительными идеями, которые были утверждены «Союзом Благоденствия» и имели выражение в «Зеленой книге». В самом деле, рассматривая «Отрасль вторую» этой книги,[2] т. е. вопросы образования и, в частности, «Слова» (литературы), мы видим здесь утверждение тех литературных принципов, которыми руководствовался Гнедич в своем творчестве и в наставнической роли в отношении молодых литераторов.

В своем послании «Гнедичу, советовавшему сочинителю писать сатиры», Баратынский восклицал:

Враг суетных утех и враг утех позорных
Не уважаешь ты безделок стихотворных,
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов,
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

В этой характеристике проповеди Гнедича — существо тех разделов «Зеленой книги», которые посвящены воспитанию юношества и отечественному «Слову», т. е. литературе. В параграфах 30-м, 50-м, 51-м и 55-м мы находим требования, которые предъявляли декабристы к нравственности и поэтическому слову. Там говорилось со всей суровостью «о мнимых удовольствиях и предметах различных человеческих страстей», утверждалось, «что описание предмета, или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии», что «изящным искусствам. . . следует. . . дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего» и т. п.

Не менее, чем вопросами идейного существа литературы, Гнедич, как мы видели, интересовался ее языком как средством идейного воздей-

[1] Русская старина, 1904, стр. 208.

[2] «Законоположение Союза Благоденствия», см. у А. Н. Пыпина: Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1908; в исправленном по рукописи виде (в выдержках) в кн.: Декабристы, ГИЗ, 1926, стр. 84—102.

ствия. В этом отношении параграф 54-й «Зеленой книги», требовавший особенного внимания к «обогащению и очищению языка», — как нельзя больше соответствовал взглядам Гнедича. Нечего говорить, что в лице Гнедича тайное общество имело страстного гонителя «пленной приверженности к чужеземному», доказывающего с достаточной убедительностью «худые сего следствия».[1]

Итак, сличение большинства пунктов устава с высказываниями Гнедича рисует его как пропагандиста «правил нравственности», воспитания и литературных принципов в декабристском духе. Всей своей наставнической ролью Гнедич как бы выполнял обязанности тех членов «Союза Благоденствия», которые специализировались «по отрасли второй», т. е. по образованию, и обязаны были «склонять своих молодых знакомых к полезным занятиям..., занимать их различными предметами, но таким образом, чтобы всех занятий, всех действий, всех помышлений последствие было — *общее благо*».

Вся литературная и общественная деятельность Гнедича настолько близка к идеям «Зеленой книги», что неизбежно возникает предположение о духовном родстве Гнедича с кругом деятелей «Союза Благоденствия». Но нет никаких данных утверждать, что Гнедич был в числе членов тайного общества, хотя все говорит об идейной близости его к этим организациям. Некоторые косвенные данные позволяют думать, что политические взгляды Гнедича также совпадали с программой «Союза Благоденствия». О непримиримости к правителям, идущим наперекор народному мнению и надеждам, свидетельствует рассуждение Гнедича об историческом процессе («История Малороссии»). В этом рассуждении, равно как и в набросках поэмы о мятеже конца XI в., — явная политическая подоплека. Они обращены к тому, кто обманул народные надежды сегодня.

Непримиримость Гнедича с внутренней политикой Александра I очевидна. При всей своей осторожности Гнедич достаточно ясно высказал эту непримиримость в своей «Речи» о назначении поэта и всем своим поведением в связи со ссылкой Пушкина. Стихи пушкинского послания к Гнедичу начала 1821 г. («В стране, где Юлией венчанный»), где недвусмысленно говорится о бесполезности надежд на Александра I, достаточно свидетельствуют об убеждении Гнедича. Учитывая, что в эпоху «Союза Благоденствия» на крайнем левом его крыле были даже такие умеренные в будущем политические деятели, как Никита Муравьев (несомненно, в этот период близкого общения с Гнедичем толковавший с ним на политические темы), — можно предполагать, что Гнедич присоединялся к их республиканским взглядам и не склонен был обольщаться надеждами на милости «деспота».

Что касается порицания чиновников царских за лихоимство и несправедливости, ими чинимые, что входило в программу «Союза Благоденствия», то здесь, конечно, нет никаких сомнений в солидарности Гнедича. Он не только сам порицал Аракчеева и всех тех, на ком держалась реакционная политика Александра I, но и пропагандировал среди молодежи необходимость порицания этих деятелей. Документом, который подтверждает это, является уже неоднократно упоминаемое мною послание Баратынского «Гнедичу, советовавшему сочинителю писать сатиры».

В отличие от «Союза Спасения» «Союз Благоденствия» был организацией с более широкими целями и с более гибкими методами пропаганды. Ставя целью наибольший охват своим влиянием всей передовой

[1] Цитирую параграф 31-й раздела «Слово». Все выписки из «Зеленой книги» сделаны по кн. «Декабристы» (см. выше).

русской общественности, руководство «Союза Благоденствия» изыскивало разнообразные способы пропаганды от организации филиалов вроде «Зеленой лампы» до использования отдельных влиятельных людей. Гнедич не только вошел в члены филиала «Союза Благоденствия», но и был одним из тех, на кого возлагались вполне реальные надежды. Вероятно, через ближайших друзей Гнедича — Ф. Глинку и Никиту Муравьева — коренная управа в какой-то мере влияла на характер пропаганды, осуществляемой Гнедичем в литературной молодежной среде.

В период наибольшего подъема революционных надежд, в 1821 г., Гнедич заявил о своей солидарности с декабристскими настроениями переводом революционного гимна греков.

Недаром Пушкин ставил дату годовщины греческого восстания на письме к Гнедичу.[1]

Некоторый упадок в политических настроениях, который характерен для Пушкина времени создания стихотворений «Демон» и «Свободы сеятель пустынный» (1823), был характерен и для других писателей, близких декабристской идеологии, в том числе и для Гнедича.

Помимо поражения европейской революции, поколебавшего надежды на возможность переворота в России, на политические настроения Гнедича могла воздействовать и усилившаяся в России реакция. Правительство пошло по пути розысков и репрессий. Начались доносы, которые в какой-то мере коснулись и Гнедича. 23 октября 1822 г. Гнедича заставили подписаться в том, что он не был причастен к тайным обществам. Подписка эта была взята с основных работников Публичной библиотеки, она гласила: «Мы, нижеподписавшиеся, объявляем, что мы не принадлежим ни к каким ложам масонским, или иным тайным обществам внутри Империи, или вне ее существовать могущим, и что мы и впредь принадлежать оным не будем».[2] Можно предполагать, что к этому периоду реакции и разочарований относится и пересмотр Гнедичем радикальных политических взглядов конца 1810-х—начала 1820-х годов.

Пушкин в годы перелома мировоззрения оказался в сфере влияния радикальных идей «Русской Правды», и это влияние сыграло не малую роль в том, что он не отрешился от мечтаний молодых лет. Хотя, как уже было сказано, заметки Гнедича в его «Записной книжке» лишены дат, характерными именно для этого периода являются высказывания Гнедича о республиканском правлении. Гнедич пишет: «Едва ли хорошо такое правление, в котором каждый гражданин имеет свободу повелевать и стало быть каждый гражданин может быть тираном. Таково правление республиканское. Его бы лучше называть: *правление своевольное*».[3]

Конечно, заметку Гнедича нельзя рассматривать как прямое отражение споров между Пестелем и Муравьевым о формах правления. Гнедич был в курсе этих споров в той мере, в какой они выходили за пределы тайных организаций. Никита Муравьев — как политик, занимавшийся и теоретическими вопросами, и историк — всегда стремился к широкому обмену мнений и популяризации своих идей. У себя в кабинете, среди друзей, суждениями которых он дорожил, Муравьев с достаточной откровенностью ставил политические вопросы. Это дает право предполагать, что, завсегдатай дома Муравьевых, Гнедич был осведомлен о темах, волновавших в то время декабристов.

---

[1] См. письмо Пушкина от 25 февраля 1825 г.

[2] Щукинский сборник 1902 г., вып. I, стр. 414—415.

[3] П. Тихонов. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884, стр. 59.

Как все передовые люди того времени, Гнедич, вероятно, знал или догадывался о существовании тайных организаций. Об этом свидетельствуют и факты, касающиеся его связей с Алексеем Петровичем Юшневским.

Расставшись с Петербургом в 1808 г., Юшневский посвятил себя дипломатической службе. Он был талантливым работником но не продвигался особенно, повидимому, по недостатку связей.

Политическое вольномыслие Юшневского, как у большинства будущих декабристов, достигло наибольшего напряжения к концу 1810-х годов. В 1819 г. Юшневский был принят в члены «Союза Благоденствия» и вскоре под воздействием коренной управы согласился из политических соображений занять чуждый ему по его интересам пост интенданта армии. В качестве генерал-интенданта 2-й (южной) армии Юшневский приобретал возможность не только ликвидировать хищения, отражавшиеся на солдатах, но и вести нужную пропаганду. Особенную активность Юшневский начал проявлять с образованием Южного общества, когда наряду с Пестелем был избран в диктаторы. Совместная с Пестелем работа над составлением «Русской Правды» сделала Юшневского идеологом республиканских идей, противостоявших монархическим идеям северян. Необходимость влияния на членов Северного общества заставила «южан» в 1822 и следующие годы укрепить связь с Петербургом. Весьма возможно, что Юшневский вспомнил о своем старом товарище Гнедиче, теперь видном, влиятельном литераторе, не без некоторых политических расчетов. В ноябре или первых числах декабря 1822 г. Юшневский написал Гнедичу письмо, которое, судя по ответу,[1] было написано после очень длительного перерыва.[2] Ответ свидетельствует о полной неосведомленности Юшневского о быте Гнедича.[3] Из письма Гнедича Юшневский получил представление об одиночестве его старого приятеля и о прежнем возвышенном отношении его к своему труду-подвигу, переводу «Илиады». Гнедич сообщил ему, что «сохраняет сколько можно свободу, первый источник счастья земного» и этим счастлив. Словом, Гнедич, о литературной и общественной деятельности которого Юшневский, конечно, знал хорошо, — оказывался прежним, таким же, каким был в университетские годы, когда переводил Шиллера и декламировал монологи Веррины. Тогда Юшневский написал ему второе письмо, содержащее уже не запрос, а какие-то признания, «полные доверенности». Повидимому письмо это было послано в конце лета 1823 г.

Содержание письма Юшневского более или менее комментируется ответом Гнедича.

В письме от 17 сентября 1823 г. Гнедич писал: «Какою прелестною кипою грянул ты в меня, почтеннейший друг Алексей Петрович! и каким подарил письмом, полным доверенности и излияния сердечного. Не в решето льет воду человек, мне из детства любезный, многие строки письма твоего легли мне на сердце, мне приятно было найти в нем ту же светлость ума, чувствительность и благородство души, одним словом, качества, которые над толпою возвышали тебя в детстве и заставили меня любить тебя. Эти качества и открыли тебе путь, скользкий для грешной черни, но не темный для чести. . . Злополучное училище людей. Не из университета, почтенный друг мой, вынес ты опыты жизни, наука важнейшая;

[1] Юбілейный збірник на пошану акад. Дмитра Івановича Багалія. Київ, 1927, стр. 871—872.

[2] Нет никаких сведений о переписке Гнедича с Юшневским до 1822 г.

[3] Из письма явствует, что Юшневский не знает ничего даже о семейном положении Гнедича.

не в университете научился ты благородным образом служить обществу, познание труднейшее! . .

«Шум карет, шлепотня (шлёпотня) Парнасская, ненависти и сплётни, авторы, актеры и актрисы, смущающие мир моей кельи, — всё это мне наконец надоело — что хоть пешком за заставу!».

Судя по ответу Гнедича, письмо Юшневского содержало «излияния» отнюдь не личные, т. е. домашние, а связанные с его политической, общественной деятельностью.

Загадочной является «книга», присланная Юшневским при письме, «полном доверенности». Из письма Гнедича как будто бы очевидно, что «книга» представляла собой нечто неразделимое с письмом, и поэтому Гнедич, не упоминая о ее содержании, отвечает и на письмо и на то, что было в «книге». Из этого можно заключить, что «книга» содержала какое-то сочинение или рассуждение, прямо связанное с «излияниями» письма.

Судя по ответу Гнедича, заверяющего своего друга в том, что он «не в решето льет воду», — письмо Юшневского носило характер не только излияний, но и каких-то убеждающих доводов, доказательство какой-то идеи. Многие из этих доводов «легли на сердце» Гнедича. Дальше, Гнедич говорит о деятельности Юшневского, о которой, повидимому, была речь в письме. Разумеется, Юшневский писал не об интендантской службе. Он писал о своей общественной деятельности, т. е. о деятельности одного из руководителей тайного общества. Неясно только, в какой мере откровенно мог говорить об этом Юшневский даже в письме, посланном с верным человеком. Гнедич пишет «о пути, скользком для грешной черни», т. е. об опасном, трудном, непосильном для обыкновенного человека пути, по которому пошел Юшневский. Гнедич видит закономерность в избранном Юшневским пути и отмечает цельность его натуры. Он одобряет поприще высокого служения обществу и противопоставляет ему свою жизнь, исполненную суеты.

Характерна фразеология ответа Гнедича, явно имеющая характер цитат из письма Юшневского. Достаточно вспомнить, что в высказываниях большинства декабристов вступление в тайные организации характеризовалось как «благородное служение обществу», выбор «благородного пути» и т. п. Так, С. Волконский в своих «Записках», рассказывая о вступлении своем в тайное общество, писал, что «вступил на благородную стезю деятельности гражданской».[1] Ив. Пущин в Михайловском, признаваясь Пушкину в своей политической деятельности, говорил о том, что «не он один поступил в это новое служение отечеству». Именно в таких выражениях Юшневский и должен был писать своему старому испытанному другу Гнедичу о новом «открывшемся» ему пути.

Письмо Гнедича написано в очень общих и уклончивых выражениях, однако означает, что он верит в своего друга и со многим, о чем он пишет, — согласен.

Знал ли Гнедич о том, что деятели тайных организаций готовятся к действию? Жертвенная тема в героических произведениях Рылеева сама по себе позволяла догадываться, что за ней реальная действительность и что за образом Наливайки стоит сам Рылеев.

Догадывался ли Гнедич, что отрывок из XIX песни «Илиады» в его переводе, напечатанный в «Полярной Звезде» на 1825 г., звучал как иносказание: несмотря на мрачные предсказания юноша-Ахилл рвется в бой, чтобы погибнуть с честью или победить?

Несомненно, что Гнедич тяжело пережил декабрьские события. Несмотря на всю его осторожность, он имел достаточные основания бес-

[1] Записки С. Г. Волконского. СПб., 1902, стр. 409.

покоиться и о своей судьбе, так как было неясно, как широко будет захвачен правительственным розыском круг прикосновенных к деятельности декабристов. Весьма вероятно, что припадок застарелой болезни, сваливший Гнедича на долгое время и по существу явившийся началом его конца, — был результатом переживаний весны и лета 1826 г.

Вся литературная и общественная жизнь Гнедича была связана с людьми, которые теперь оказались государственными преступниками. Кроме ближайших друзей Гнедича — Юшневского, Рылеева, Никиты Муравьева, Ф. Глинки — среди арестованных было множество знакомых Гнедича, так или иначе связанных с ним.

Еще до начала ареста членов Южного общества, 1 января 1826 г., Гнедич получил письмо от своего старинного знакомого Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, эллиниста, автора «Путешествия по Тавриде». Муравьев писал Гнедичу:

«Каков мой добрый друг Николай Иванович? Я никак не мог вырваться сегодня, чтобы побывать у него и поздравить его с новым годом.

Вот копия с того письма, которое обещал; но бога ради! с тем, чтобы никому-никому копии с копии не давать, и прочитать только весьма немногим, наприм‹ер›: Козлову, Спер‹анскому› — и то с уговором, чтобы они никому о том не говорили».[1]

О каком письме идет речь — не известно, но несомненно, что оно было связано с последними событиями: вступлением на престол Николая I или делом декабристов. Судя по тону обращения И. М. Муравьева-Апостола к Гнедичу и предложению «посмеяться и побалакать» у него на обеде — письмо, переданное Гнедичу, не имело отношения к сыновьям Муравьева, из которых младший (Ипполит) погиб через несколько дней (3 января) во время Черниговского восстания, а двое других вскоре (15 и 20 января) были привезены в Петербург закованными в кандалы.

Весна и начало лета, до приговора по делу декабристов, прошли в напряженной тревоге всех близких к ним людей. В эти дни Гнедич не прерывал своих близких отношений с семьей Никиты Муравьева. Е. Ф. Муравьева записала во время свидания с сыном в крепости среди прочих его поручений следующее: «У Гнедича спросить перевод Мартынова Софокла. Сочинения Гнедича и Пушкина».[2] Через шесть дней после приговора и казней Гнедич написал матери Никиты Муравьева, осужденного по первому разряду на 20 лет каторги, письмо, которое свидетельствовало о его участии и верности дружбе и явном сочувствии героическому делу декабристов. Он писал ей:

«Простите, почтеннейшая Катерина Федоровна, что осмеливаюсь тревожить вашу горечь священную, справедливую. Но побуждение печальной дружбы может быть уважит и горесть матери. Вам известно, люблю ли я Никиту Михайловича. Более, нежели многие, умел я ценить его редкие достоинства ума и уважать прекрасные свойства души благородной; более, нежели многие, я гордился и буду гордиться его дружбою. *Моя к нему любовь и уважение возросли с его несчастием*;[3] мне драгоценны черты его. Вы имеете много его портретов; не откажите мне в одном из них, чем доставите сладостное удовольствие имеющему быть с отличным уважением и совершенною преданностию Вашего превосходительства покорнейшим слугою

Н. Гнедич».[4]

[1] Не опубликовано. Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР. 131. I с.

[2] Центр. Гос. истор. архив, ф. 1153, оп. 1, № 28.

[3] Подчеркнуто мною, — *И. М.*

[4] Письмо Гнедича к Е. Ф. Муравьевой от 19 июля 1826 г. в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР. 83. I, с.

Разгром декабристов был подлинной трагедией для Гнедича; он явился не только полным крушением политических надежд и патриотических чаяний, но и крушением той позиции, которую занимал он с конца 10-х годов. Весь цикл его произведений и переводов, концентрирующийся вокруг грандиозного создания — перевода «Илиады», был кровными узами связан с декабристскими идеями, со своеобразной, действенной интерпретацией гражданственного и героического мира древней Греции. С разгромом декабристов и потерей связи с передовым политическим движением идейная сущность труда Гнедича должна была неизбежно стушеваться. Теряя высоты поэта-трибуна, отнюдь не удаляющегося от современности и несущего ей своеобразную «животворящую» ее дань — Гнедич переставал быть в центре литературной жизни. Больше не было надежд и на прямое участие в общественной и государственной жизни. В своей «Записной книжке» Гнедич спрашивал: «Кто захочет писать, если он может действовать?» — и сам отвечал: «Но кто и кому дает действовать у нас?».[1] С победой декабристов Гнедич мог надеяться на ту деятельность на «общественное благо» которую считал лучшим назначением человека. Теперь все пути к этому были отрезаны, оставалась безрадостная служба «вдали от света».

Изучение новых материалов, связанных с творчеством и биографией Гнедича, помогает пересмотру его наследия. Выясняется в полной мере справедливость утверждения Белинского, что знаменитого переводчика «Илиады» «нельзя было обвинить в отсутствии направления».[2] Согласно оценке Белинского, направление, которому следовал Гнедич, было прогрессивным, борющимся с реакционной косностью и антинародностью в литературе. Факты, приведенные нами в данной работе, показывают, насколько близок был Гнедич передовым деятелям эпохи — декабристам, их литературным и идейным позициям. Близость эта освещает по-новому основной труд Гнедича. Перевод «Илиады» представляется одним из крупных культурных событий этого времени. Именно декабристы придавали переводу особое идейное значение, поощряли переводчика и с нетерпением ждали завершения труда.

Литературными событиями, характеризующими декабристскую мысль, явились переводы революционного гимна греков и народных повстанческих песен. Первый из этих переводов служил прямой революционной пропаганде. Широкой пропаганде свободолюбивых идей служили и ранние произведения Гнедича, например стихотворение «Перуанец к испанцу», которое заучивалось в армии, в школах взаимного обучения.

Ряд фактов свидетельствуют о том, что Гнедич — писатель старшего поколения, носитель высоких идей просветительства — оказывал известное влияние на литературные взгляды молодежи декабристского лагеря. Влияние это наиболее существенно сказалось в отношении декабристов к вопросу о народности литературы и героической теме.

---

[1] П. Тиханов. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884, стр. 75.

[2] Сочинения В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. XI, стр. 9 («Ответ Москвитянину»).

СВЯЩЕННАЯ АРТЕЛЬ. КРУЖОК АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВА И ИВАНА БУРЦОВА 1814—1817 гг.

(Материалы к предистории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина) [1]

Сообщение М. В. Нечкиной

Кружок молодых вольнодумцев, скупые свидетельства о котором собраны и освещены ниже, занимает важное место в предистории декабризма и вместе с тем непосредственно связан с ближайшими товарищами Пушкина — И. И. Пущиным и В. К. Кюхельбекером, а также с лицеистом В. Д. Вольховским,[2] А. А. Дельвигом, братом И. И. Пущина — Михаилом и рядом других молодых товарищей и знакомцев пушкинской юности. Несомненна необходимость пристального изучения той русской идейной среды, которая окружает молодого Пушкина накануне и во время создания им первых произведений политического характера, таких, как надпись к чаадаевскому портрету и, главное, «Вольность».

Редкие свидетельства об этой организации давно известны в литературе, но не подвергались до сих пор специальному изучению. Настоящая работа не ставит перед собой цели исчерпывающего исследования вопроса — этого не позволяет сделать состояние первоисточников. Это лишь первая разведка в чрезвычайно интересной области русской идейной жизни, бурлившей вокруг Лицея в последние годы пребывания в нем Пушкина и встретившей его на пороге самостоятельного существования, в момент перехода из-под сени «царскосельских лип» в закипавшую декабристским движением жизнь своей родины.

I

«Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, — нашел,

[1] Эта работа была прочитана в сокращенном виде на объединенном заседании Отделения литературы и языка и Отделения истории и философии Академии Наук СССР 25 мая 1949 г.

[2] Я применяю транскрипцию Вольховский, а не Вальховский, основываясь на личной его подписи.

что по мнениям и убеждениям моим, выпесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил».[1]

Так описывает И. И. Пущин свое вступление в тайное общество декабристов.

Мы видим, что посредствующим звеном, соединившим И. И. Пущина с «Союзом Спасения», была артель, основанная молодыми офицерами Генерального штаба. Упоминание на первом месте в ряду ее членов о с н о в а т е л я «Союза Спасения» Александра Муравьева и последующее участие в с е х упомянутых Пущиным членов артели в «Союзе Спасения» дает возможность притти к выводу, что этот «мыслящий кружок» является непосредственной предысторией первой организации декабристов.

Источники для изучения этого «мыслящего кружка» немногочисленны, но все же вполне достаточны для бесспорного установления самого факта его существования и его первоначальной характеристики. Мы располагаем четырьмя мемуарными свидетельствами высокой достоверности, из которых три (И. И. Пущина, Н. Н. Муравьева, В. Кюхельбекера) принадлежат членам артели, а четвертое их близкому другу — декабристу А. Е. Розену. Мы имеем и два документа об идейной жизни самой артели, возникших в процессе ее внутреннего развития: памятку «Постоянство», данную артелью Н. Муравьеву, и стихотворение Мещевского «К артельным друзьям». Если к этому добавить эпистолярное свидетельство А. С. Шишкова, то круг прямых свидетельств дополнительно расширяется.

На первом месте среди первоисточников, кроме уже приведенного свидетельства И. Пущина, стоят «Записки» брата основателя декабристского общества — Н. Н. Муравьева-Карского, пока еще никем не использованные для указанной цели. Именно эти «Записки» и сохранили наименование содружества — «Священная артель». Так, описывая свой отъезд из Петербурга, Н. Муравьев пишет: «Священная артель наша проводила меня до Средней Рогатки. . .»; «Святое братство» — говорится об артели в другом месте тех же «Записок» Н. Муравьева.[2]

Долгое время приведенный выше текст воспоминаний И. И. Пущина казался исследователям единственным упоминанием о кружке Муравьева—Бурцова. Но в 1936 г. публикация работы Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер» добавила новый материал, касавшийся этого кружка. Ю. Н. Тынянову удалось прочесть в дневнике В. К. Кюхельбекера густо

---

[1] И. И. П у щ и н, Записки о Пушкине, ред. статья и примечания С. Я. Штрайха, Гос. Изд. «Художественная литература», М., 1937, стр. 65.

[2] Записки Н. Н. Муравьева-Карского опубликованы в «Русском архиве» (1885, 9—12; 1886, 1; 2, 4, 5, 11). Записки эти приближаются по типу к дневнику. Они, собственно, и переделаны из дневниковых записей, причем записи 1812—1816 гг. переделывались автором в текст мемуарного характера в 1816—1818 гг., когда все события были еще свежи в памяти. Рукопись «Записок» носит следы большой авторской работы, испещрена поправками и главным образом многочисленными зачеркиваниями не только отдельных слов и строк, но обширных абзацев и страниц. Как правило, зачеркивание осуществлено через мелковолнистую черту, налагаемую очень частыми изгибами на рукописный текст, что делает его чрезвычайно трудным для чтения. Поправки и зачеркивания вызваны преимущественно подготовкой рукописи к печати.

Рукопись «Записок» Муравьева хранится в Рукописном отделении Государственного Исторического музея в Москве. Она дает возможность восстановить некоторые дополнительные штрихи для истории Священной артели, в частности упоминает эпитет артели «Священная» в зачеркнутых и изъятых перед печатью текстах.

зачеркнутые строки, находившиеся в конце следующего текста, записанного в Свеаборгской крепости 11 января 1835 г.: «. . . В Военном Журнале прочел я описание Осады и взятия Приступом Ахалцыха, статью покойного Ивана Петровича Бурцова, изданную по его смерти Вальховским. Оба они мне были хорошие приятели, особенно с Вальховским я был даже очень дружен: мы вместе выросли; в Лицее я почти одного его и слушал.[1] Где то время, когда у Бурцова собирался кружок молодых людей, из которых каждый подавал самые лестные надежды? Сам Бурцов, братья Колошины, Василий Семенов, молодой Пущин (Конно-артиллерийский), Жанно Пущин, ‹одна фамилия не разобрана›,[2] Александр Рачинский, Дельвиг, Кюхельбекер. Многие ли из них уцелели?»

Рассеянный Кюхельбекер запамятовал отчество Бурцова (не Иван Петрович, а Иван Григорьевич) и Алексея Васильевича Семенова назвал Василием Семеновым (Алексей Семенов, прикосновенный к тайному обществу, был хорошо знаком с И. И. Пущиным). Приведенная выше запись обогащает нас новыми ценными сведениями о кружке Муравьева — Бурцова. Мы узнаем, что в кружке, кроме названных Пущиным лиц, участвовали еще Петр Колошин (брат Павла Колошина), Михаил Пущин (брат И. И. Пущина), Александр Рачинский, Дельвиг, Кюхельбекер и еще какое-то неизвестное лицо.

Любое из названных имен в тексте В. Кюхельбекера влечет за собой какие-то ассоциации, нельзя сказать этого только об Александре Рачинском. Это одно из самых неясных лиц среди известных нам членов артели. Не Александр ли это Антонович Рачинский, произведенный в 1819 г. из подпрапорщиков в прапорщики лейб-гвардии Семеновского полка и после возвращения полка в 1820 г. переведенный в армию в Муромский пехотный полк штабс-капитаном? Это предположение правдоподобно. Заметим, что Кюхельбекер — родственник Глинок: за Григорием Андреевичем Глинкой была замужем сестра Кюхельбекера Юстина Карловна, а тетка «барышень Глинок», родная сестра Григория Андреевича — Надежда Андреевна Глинка, в замужестве была Рачинская. Не приходится ли поэтому Александр Рачинский свойственником Кюхельбекеру? Это очень просто объясняло бы их знакомство. Дворянский род Рачинских был связан со Смоленской губернией, где находились также имения декабриста Якушкина и матери декабриста Пестеля. В Семеновском полку, судя по данным следственного дела о возмущении 1820 г., служило четверо Рачинских,[3] и все четверо после возмущения были переведены в Муромский пехотный полк: Рачинские 1-й и 2-й — майорами, Рачинские 3-й и 4-й (один из них Александр) — штабс-капитанами. Можно предположить, что все эти Рачинские были в каком-то родстве между собой, так как офицеры штрафного Семеновского полка переводились в полки, стоявшие в тех губерниях, «где их родственники или имения»,[4] а Рачинские — все четверо — попали в один полк. Имя одного из Рачинских, по близкой его дружеской связи с осужденным Щербатовым, несколько

[1] Следующие далее 8 строк рукописи до конца цитаты густо зачеркнуты; см. воспроизведение фотокопии в «Литературном наследстве», кн. 16/18, 1934, стр. 329.

[2] Повидимому, именно этот пропуск Ю. Н. Тынянов и обозначил знаком вопроса после имени «Жанно Пущин». Сличение приведенного им чтения зачеркнутого текста с фотокопией текста показывает, что одна фамилия осталась непрочтенной. Судя по фотокопии, воспроизведенной в «Литературном наследстве», фамилия эта кончалась на «й» (Литературное наследство, кн. 16/18, стр. 329; ср. стр. 330).

[3] Семеновское дело. Сб. «Декабристы», Изд. «Прибой», Л., 1926, стр. 164. Отметим ошибку «Алфавита декабристов», указывающего, что в Муромском полку служило лишь двое Рачинских.

[4] Там же, стр. 154, 168, 164, 186, 187.

раз упоминается в деле о возмущении Семеновского полка.[1] Но интереснее всего знакомство однополчан Рачинских с декабристами Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами и Бестужевым-Рюминым, служившими в том же расформированном Семеновском полку. Знакомство будущего декабриста Бестужева-Рюмина с одним из младших Рачинских (может быть, и Александром) было, повидимому, близким: встретясь с ним на юге, он открыл ему существование тайного общества, но принять его не успел. Бестужев-Рюмин показывает: «В начале 1825 года я виделся с капитаном Рачинским (в штаб-квартире Муромского полка, где он служит) и открыл ему существование общества, но в никакие подробности не входил, — и Рачинский не давал мне слова содействовать. Полагая, что Матвей Муравьев (Апостол) успеет более меня, я хотел дать ему письмо, дабы через оное, познакомясь с Рачинским, решительно бы его в общество принял и дал ему порученность приготовить находящихся в Муромском полку Семеновских солдат к возмущению, которое мы предполагали произвести в 1826 году».[2] К следствию о декабристах за малым количеством улик Рачинский привлечен не был, следственного дела о нем в архиве декабристов нет, но по распоряжению Николая I он был отдан под секретный надзор начальства с приказом ежемесячно доносить о поведении.[3]

При определении личности Рачинского необходимо учесть и данные, опубликованные А. Ремизовым в работе «Письма семьи Пестеля».[4] Имение, в котором жили родители Пестеля, — Васильево — находилось в Краснинском уезде Смоленской губернии. Соседями по имению и близкими друзьями семьи Пестелей были Колечицкие, владельцы имения Щелканово. Отец семьи, Петр Петрович Колечицкий, был уездным предводителем дворянства. Его дочь Анна Петровна вышла замуж за Алексея Антоновича Рачинского. Смоленские связи Рачинских могут, как видим, не миновать и смоленского имения Пестелей.

Вот все, что удалось собрать об этом, видимо значительном как личность, посетителе Священной артели и о его родственниках-однофамильцах.

Остановимся теперь на том неизвестном члене артели, имя которого Ю. Н. Тынянову не удалось прочесть. Судя по фотокопии, помещенной в указанном номере «Литературного наследства», фамилия его кончалась на «й». Отправляясь от этого факта, можно выдвинуть по меньшей мере два предположения. Сблизим прежде всего указанное обстоятельство со следующим свидетельством декабриста А. Е. Розена в его «Записках»: «Не имея никакой помощи из родительского дома, жил он (Вольховский, — *М. П.*) чрезвычайно умеренно и расчетливо в артели с Бурцовым, Семеновым, Искрицким и Калошиным. . .».[5] Эти слова интересны, во-первых, как новое свидетельство о существовании артели Бурцова—Колошина: во-вторых, они доносят до нас данные о новом члене артели, фамилия которого как раз кончается на букву «й», — это Искрицкий (или Искритский, как пишется в следственных делах декабристов).

Имя декабриста Искритского неоднократно упоминается в следственном материале, имеется и особое следственное дело Искритского. Демьян

---

[1] Семеновское дело. Сб. «Декабристы», Изд. «Прибой», Л., 1926, стр. 183.
[2] ГАФКЭ, фонд 48, оп. I, д. 396 (Бестужева-Рюмина), л. 151 об. — 152.
[3] Восстание декабристов, т. VIII («Алфавит»), стр. 162, 385—386. В дальнейшем сокращенно: ВД.
[4] A. Remizov. Lettres de la famille Pestel. Le Monde Slave, 1925, XII, стр. 387.
[5] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 241.

Александрович Искрицкий, сын обер-секретаря Сената Александра Михайловича Искрицкого, также служил в гвардейском генеральном штабе. Он был принят в группу Ф. Глинки—Перетца в 1820 г., а накануне 14 декабря Рылеев поручил ему наблюдать за движениями полков, расположенных вдоль Фонтанки. После 14 декабря он около года содержался в крепости, затем был сослан в Оренбургский гарнизон с приказом ежемесячно доносить о поведении. По делу его видно, что он был хорошо знаком с Александром Бестужевым.

Но есть еще другое чрезвычайно важное документальное свидетельство, добавляющее еще одного человека к составу Священной артели. Фамилия его, кстати сказать, тоже кончается на букву «й». Не принадлежал ли к «мыслящему кружку» еще офицер и поэт Мещевский, сосланный в Сибирь около 1817 г. или несколько ранее? В письме А. С. Шишкова к Александру I по поводу Госперовской истории содержатся разъяренные тирады против «буйного духа времени», признаки которого становятся «день ото дня явнее».[1] Вспоминая при этом свою цензорскую деятельность, Шишков рассказывает императору, как удалось ему однажды в 1817 г. задержать и не допустить до печати одно явно крамольное стихотворение поэта Мещевского, носившее к тому же весьма подозрительное и непонятное заглавие:

К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ

Друзья! вот стон души моей
Скорбящей, одинокой:
Мечта златая ранних дней
Еще от нас далеко!
Еще в тумане скрыта цель
Возлюбленных желаний!
Кто ж благотворную артель,
Источник всех мечтаний,
Высоких чувств и снов златых,
Для щастия отчизны,
Кто, в шуме радостей пустых,
Мне заменит в сей жизни?
Я с вами — и в душе горит
Добра огонь священный;
Без вас — иной все кажет вид,
Столь низкий, столь презренный!

Но час пробьет: услышим мы
Отечества призванье!
Тогда появится из тьмы
Душ пламенных желанье:
Сплетенные рука с рукой,
На путь мы ступим жизни,
И пылкой полетим душой
Ко щастию отчизны.
И кто возможет положить
Преграды нам в полете?
Кто для отчизны алчет жить,
Тот выше бедствий в свете.[2]

[1] А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. II, издание Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин, 1870, стр. 265 и след. — Благодарю П. Н. Розанова, обратившего мое внимание на этот текст. Мещевский, очевидно, был несколько старше прочих «артельщиков», так как уже печатался в 1809 г., — ему принадлежит превосходное стихотворение «Уединение», опубликованное в «Избранных сочинениях из „Утренней зари“», (1809, ч. I, стр. 259—263).

[2] А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. II, 1870, стр. 266—267.

Это замечательное стихотворение, в идейном отношении сходное с пушкинским «Посланием к Чаадаеву», повидимому, приведено Шишковым не полностью, он предваряет приведенные выше строки словами: «В стихах сих между прочим говорится следующее»; иначе говоря, в них содержалось и еще нечто, им опущенное. Комментарий Шишкова полон ярости: «Не явно ли стихи сии заключают в себе воззвание к возмущению? Ибо что может быть яснее сих слов: д р у з ь я, а р т е л ь щ и к и!».[1] Слова «артельщики» нет в цитированном выше тексте стихов, но оно явно приведено на правах цитаты, с подчеркиванием, т. е. очевидно было в тексте, опущенном Шишковым. «Какая цель? Для чего скрыта? — бушует далее Шишков. — О каком щ а с т и и о т ч и з н ы старается какая-то неизвестная, тайная в ы с о к и х ч у в с т в а р т е л ь? . .».

Спрашивая себя, о какой артели может идти речь, обратим внимание на то, что идейных, политического значения «артелей» в те годы мы знаем только две: артель Семеновского полка, закрытую в 1815 г. по царскому приказу, и Священную артель, о которой идет речь в настоящей работе и которая существовала, как мы увидим ниже, до 1817 г.

Все содержание стихотворения говорит о том, что воспоминание об артели, с которой автор разлучен, еще чрезвычайно свежо в его памяти. Едва ли в таких живых словах непосредственных, недавних переживаний отразил бы автор память об артели, которая прекратила свое существование уже два года тому назад. Кроме того, речь идет, повидимому, о распавшемся содружестве, невосстановимом как целое, — офицеры-однополчане Семеновского полка не могли бы так вспоминать о своей артели, так как продолжали ежедневно видеться между собой в полку. К упомянутым в стихотворении признакам более всего подходит Священная артель, с которой мы и связываем предположительно Мещевского.

Мы не знаем ни имени Мещевского, ни обстоятельств его ссылки в Сибирь. О нем заботился В. А. Жуковский, напоминавший в 1817 г. в письме к А. И. Тургеневу о необходимости помочь ссыльному, находящемуся в тяжелом положении поэту.[2]

Итак, Священная артель состояла из братьев Муравьевых — Александра и Михаила, Ивана Бурцова, Петра и Павла Колошиных, Ивана и Михаила Пущиных, Владимира Вольховского, Вильгельма Кюхельбекера, Антона Дельвига, Алексея Семенова, Александра Рачинского, Демьяна Искритского и, повидимому, Мещевского. К этим четырнадцати лицам необходимо добавить пятнадцатого члена кружка — Николая Муравьева, позже наименованного за военные подвиги Карским, брата Александра и Михаила Муравьевых. Николай Муравьев описал артель в своих «Записках» и сохранил для историка ее эпитет — «Священная».

В числе основателей кружка мы видим, таким образом, трех братьев Муравьевых, сыновей известного в свое время ученого и военного деятеля, основателя училища колонновожатых, математика и агронома, генерал-майора Николая Николаевича Муравьева. Семья Муравьевых — один из культурнейших очагов своего времени — была связана отдаленным родством с Муравьевыми-Апостолами, давшими движению декабристов двух братьев — Сергея и Матвея, и с семьей Михаила Никитича Муравьева, отца декабриста Никиты Муравьева.

---

[1] А. С. Ш и ш к о в, Записки, мнения и переписка, т. II, 1870, стр. 266—267.
[2] Русский архив, 1868, стр. 938, 939. Заметка о Мещевском.

В московской квартире Муравьевых возникло математическое общество, где читали бесплатные лекции по математике и военным наукам. Н. Н. Муравьев-отец был председателем общества, а его сын Михаил — вице-председателем. Дальний родственник Муравьевых, будущий декабрист Никита Муравьев, был в числе слушателей. 1812 год прервал работу Математического общества. В начале 1815 г. оно возродилось в более организованном виде — в виде Московского учебного заведения для колонновожатых. Воспитанники училища выпускались колонновожатыми в квартирмейстерскую часть свиты его величества, иначе — в генеральный штаб. Хотя ученый математик и знаток сельского хозяйства Н. Н. Муравьев-отец и был, повидимому, далек от каких бы то ни было политических преобразовательных планов, но его интерес к передовым идеям, широкий кругозор и дружеское обращение с молодежью поощрили развитие вольного духа в среде воспитанников училища колонновожатых: из их среды только за 7 лет муравьевского руководства (1816—1823) вышло д в а д ц а т ь т р и будущих декабриста.[1]

Семьи Муравьевых и Колошиных познакомились между собой еще до войны 1812 года. Декабрист Александр Муравьев в своих неопубликованных записках рассказывает, что, приехав в Москву из Петербурга в 1811 г., «очень обрадовался двум братьям своим, оканчивающим курс наук, особенно душевно обрадовался моему любезному брату Николаю, с которым мы были ближе по летам и понятиям. Занятия по математическому обществу шли с успехом; между членами оного познакомился я с достойными впоследствии товарищами Иваном Григорь‹евичем› Бурцовым, Михаилом, Петром и Павлом Иванов‹ичами› Колошиными и еще некоторыми другими; сблизился с почтенным домом Колошиных».[2]

Характеристика старшего товарища в наметившемся дружеском кружке — Александра Муравьева — была бы неполна без указания на то, как рано он стал масоном. К масонам Александра Муравьева привело стремление к нравственному усовершенствованию и самовоспитанию. В своих неопубликованных записках он рассказывает, как вступил в орден вольных каменщиков еще в 1811 г. через Павла Якимовича Сулиму, начальника над молодыми офицерами, работавшими в чертежной генерального штаба; он «указал на удобнейшее по мнению его средство нравственного усовершенствования, на то, чтобы уклониться от пустых и суетных светских бесед и пристать к ‹*зачеркнуто*: тайному› такому обществу, которое поощрило бы к самопознанию, занятиям серьезным и общечеловеческим чувствам и мыслям. . . Наконец, все эти разговоры привели меня к масонству, и я просил этих нравственных друзей ввести меня в Орден свободных каменщиков. . . Меня приняли в первую степень масонскую — учеником — в Петербурге, в ложе Елизаветы к добродетели. На дверях ложи при самом входе начертаны были слова „Nosce te ipsen“. . . Торжественно я был принят в такое время, когда запрещение, наложенное императрицею Екатериною на масонские ложи, еще не было снято, и официальные собрания братьев не дозволялись».[3] Александр Муравьев остался на всю жизнь убежденным масоном и особенную рев-

[1] Н. П. Ч у л к о в. Москва и декабристы. Сб. «Декабристы и их время», т. II, стр. 295—296.

[2] Библиотека им. В. И. Ленина, рукописное отделение, рукопись Записок Александра Муравьева, фонд Шаховских, Шах/II, 18/13б, л. 8 об. — Рукопись, к сожалению, сохранилась не в полном виде — уцелели только конец II части (1810—1811 гг.) и почти вся III часть, посвященная войне 1812 г.

[3] Библиотека им. В. И. Ленина, рукописное отделение, фонд Шаховских, Шах/II, 18/13б, лл. 9—10. — О принятии И. Я. Сулимой А. Муравьева в масонскую ложу говорит также Н. Н. Муравьев в своих записках (Русский архив, 1885, № 9).

ность к масонству проявлял в годы существования Священной артели и первых тайных обществ. «Тогда масонство было в большом ходу, — показывал С. Трубецкой. — Александр Муравьев, бывший тогда молодым человеком, с пламенным воображением, пылкою душою, видел в нем какое-то совершенство ума человеческого, предлагал вступить всем в Масоны. . .».[1]

Близкая дружба братьев Муравьевых Александра и Николая с их родственниками Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами также началась еще до войны 1812 года. Александр Муравьев пишет в своих неопубликованных записках: «Когда дядя Николай Михайлович с семейством уезжал в деревню, то с согласия его перешли мы из флигеля в самый дом, где часто посещали нас дальние родственники наши Матфей и Сергий Ивановичи Муравьевы-Апостолы, одних с нами лет, приехавшие с матерью своею из Парижа, где воспитывались. Прекрасные, благородные, ученые молодые люди сии после войны вошли в состав политического общества, о коем будет говорено в своем месте. Мы с ними проводили время отчасти в чтении и научных беседах, отчасти в дружеских разговорах. Характер двух братьев был различен: Матфей был веселый и приятный товарищ, Сергей же сурьезный; первый определился в Семеновский полк, а второй в корпус путей сообщения, который в то время только что начал возникать и стал в соперничество с корпусом колонновожатых».[2] О близкой дружбе с Муравьевыми-Апостолами пишет в своих записках и второй по старшинству брат — Николай Муравьев.[3] Поскольку Сергей Муравьев-Апостол вступил на службу по возвращении из-за границы в 1809 г., то дружба его с Муравьевыми должна быть отнесена примерно к этому же времени.

В предистории изучаемого нами кружка, а стало быть и в предистории декабризма, имеется любопытнейшая юношеская — по формам почти детская — тайная организация, основанная будущим членом Священной артели прапорщиком Николаем Муравьевым в Москве, среди своих товарищей прапорщиков и юнкеров — будущих декабристов; она отмечена страстным увлечением идеей всеобщего равенства, республиканизмом и увлечением Руссо. О ней скупо и сдержанно рассказывает Николай Муравьев в своих записках: Руссо попал к нему в руки, когда ему было всего 16 лет, т. е. около 1810 г., — едва ли старший его брат Александр познакомился позже с теми же произведениями. «. . . Чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям. . .» — пишет Николай Муравьев.[4] Было основано тайное общество с целью образования республики на основе всеобщего равенства: «Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением Contrat Social[5] Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив

[1] ВД, т. I, стр. 23—24.
[2] Библиотека им. В. И. Ленина, рукописное отделение, фонд Шаховских, Шах/II, 18/13б, ч. II, л. 11.
[3] Русский архив, 1885, № 9, стр. 11 и др.
[4] Там же, стр. 12.
[5] Общественный договор.

и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия, которые тогда определились колонновожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правою рукою за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово „чока"». Слово «чока» означало Сахалин. Именно этот остров был выбран членами общества по совету Сенявина и Перовского-старшего для организации на нем республики по планам «Социального договора» Руссо. Николай Муравьев продолжает далее:

«Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею — столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом».[1] Как видим, все члены этого общества, за исключением основателя, позже оказались в рядах декабристов.

Мечта о республике «Чока» оказалась крайне враждебной масонскому мистицизму: с масоном Александром Муравьевым происходили постоянные споры. Будущие основатели сахалинской республики уверяли Александра Муравьева, что они — «члены обширного общества, давно учрежденного для истребления масонов», и когда в Вене убили «какого-то графа Lichtenstein», то Александра Муравьева уверяли, что «граф этот был зарезан членами нашего общества, потому что хотел открыть нашу тайну».[2] Республиканско-руссоистское и мистико-масонское направления боролись уже в предыстории декабризма.

Война 1812 года прервала жизнь тайного общества. И она же заставила сменить полудетские мечты о сахалинской республике на гораздо более зрелые планы, в которых местом деятельности тайного общества был уже не Сахалин — «Чока», а огромная крепостная Россия — родина.

II

Связанные родством или знакомые друг с другом с детства, многие участники будущего кружка встретились на полях Отечественной войны 1812 года. 19-летний подпоручик квартирмейстерской части Александр Муравьев, как говорит его формуляр, «был в сражениях против француз-

---

[1] Русский архив, 1885, № 9, стр. 25—26. — Артамон Муравьев был известен как лекарь и среди ссыльных декабристов в Сибири.

[2] Там же, стр. 27.

ских войск: августа 23-го под Гридневым, 24-го под Колоцким монастырем, 26-го при Бородине, за что получил орден св. Анны 3-го класса, и во всех арриергардных делах после взятия Москвы до Тарутинского лагеря; октября 6-го был в атаке при Тарутине, 11-го под Малым Ярославцем, потом во всех авангардных сражениях в преследовании неприятеля, 22-го при взятии города Вязьмы, за что получил золотую шпагу с надписью „За храбрость", 26-го под городом Дорогобужем, с отрядом генерала Юрковского и в деле под Красным, за которое награжден чином». Подробнейший рассказ о 1812 г. содержат упомянутые выше неопубликованные записки А. Муравьева, в которых вся III часть посвящена Отечественной войне. Не менее активен в Отечественной войне был и его 17-летний брат Николай Муравьев (будущий Муравьев-Карский), также описавший 1812 год в своих «Записках».

Младшему брату Михаилу Муравьеву было в 1812 г. всего 15 лет, но тем не менее с января 1812 г. он был на действительной военной службе, прапорщиком «свиты его императорского величества» по квартирмейстерской части, а с апреля 1812 г. состоял при главной квартире первой армии. Во время Бородинской битвы он был тяжело «ранен ядром в левую ляшку». До ареста в 1826 г., будущий Муравьев-Вешатель, жесточайший усмиритель польского восстания 1863 г., еще не проявлял своих палаческих черт.

Участник 1812 года, 18-летний армейский прапорщик Иван Бурцов был учеником отца Муравьевых, генерал-майора Николая Николаевича Муравьева, и тесно, с отроческих лет, связан был с семьей Муравьевых; в 1813 г. он поступил также в «свиту его величества», в квартирмейстерскую часть. Братья Колошины, как указано, с отроческих лет были знакомы и с Бурцовым и с братьями Муравьевыми. Московский житель, Павел Колошин брал уроки математики и военных наук «в заведении у подполковника Муравьева (что ныне генерал-майор)».[1] Военную службу ровесник Пушкина Павел Колошин (род. 1799) ухитрился начать чуть ли не в 13-летнем возрасте — по собственному показанию; он вступил в нее в 1812 г., оказавшись затем в той же самой квартирмейстерской части свиты его величества, т. е. в том же генеральном штабе, где служили и Муравьевы и Бурцов, «с которыми мы издавна по службе и по жительству вместе в Петербурге были дружны»,[2] — показывал Павел Колошин на следствии. В той же гвардейской свите служил и старший брат Павла Колошина Петр, воспитанный у того же Н. Н. Муравьева, в училище колонновожатых, и в марте 1812 г. в 17-летнем возрасте поступивший на действительную военную службу. Москвич Алексей Семенов, ровесник Пушкина (род. 1799), воспитанник Московского университетского пансиона, вероятно, еще в Москве познакомился с Муравьевыми и Колошиными. Зачисленный затем «в пажи», он также ухитрился начать военную службу чуть ли не в 13-летнем возрасте: 2 сентября 1812 г., как раз в день вступления Наполеона в Москву, он был зачислен прапорщиком Калужского ополчения в 1-м Казачьем полку и участвовал в боевых действиях Отечественной войны и в заграничных походах. На следствии он показал знакомство с братьями Муравьевыми и «с Пущиными».[3]

Младшие участники кружка — Иван и Михаил Пущины, Вольховский, Кюхельбекер и Дельвиг — сидели в бурные дни 1812 года еще на

---

[1] ГАФКЭ, фонд 48, д. 65, л. 4; ср. л. 6.
[2] Там же.
[3] Там же, д. 206, л. 1—1 об.

лицейской скамье, но и для них, как и для Пушкина, события войны были незабываемым впечатлением отроческих лет:

Вы помните? Текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас. . .

Таким образом, дружеский круг, позже соединенный артелью, был в значительной степени «детьми 1812 года», как сказал о декабристах Матвей Муравьев-Апостол в своих записках.[1]

Война питала молодежь разнообразными впечатлениями, толкала к первостепенным выводам социального порядка. Несколько раз упоминаются в записках Муравьевых крестьянская нищета и урон, приносимый войной крестьянскому хозяйству; с горечью сделаны записи о вытоптанных крестьянских полях; помещики, бегущие в колясках от врага в Нижний-Новгород и другие далекие города; крестьяне, остающиеся на месте, палящие свой хлеб, чтобы он не достался врагу, угоняющие скот в леса; пышная жизнь обеспеченных военачальников, едущих на груде отчасти своих, а отчасти награбленных пожитков, и собственная муравьевская нищета; возмущающие душу поступки царя и самая его фигура, внушающая плохо скрытое презрение: «. . . переправлено было через Неман французских и союзных войск 640 000 человек. Французские генералы были опытные в военном деле; начальником же их был сам Наполеон. С нашей стороны распоряжался государь; но на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями».[2] В 1816 г. Николай Муравьев посетил Бородинское поле, на котором храбро сражался во время битвы; он узнал, что в 1813 г. «. . . некому было засевать Бородинское поле, что ни одно зерно не было брошено в землю, но что земля, столь удобренная кровью и животным гноением, дала без всякой работы отличный урожай хлеба.[3] Никакой памятник не сооружен в честь храбрых Русских, погибших в сем сражении за отечество. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяниями, тогда как государь выдал 2 000 000 р. Русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году!».[4]

О материальной нужде семьи Муравьевых ярко свидетельствуют записки как Александра, так и Николая Муравьевых: «В то время, — пишет Николай о времени 1812 года, — терпел я много нужды в жизни, ибо тогдашнее жалованье мое было очень малое Все имение батюшки состояло из 140 душ, а нас было шестеро: пять сыновей и одна дочь». Когда под Александром Муравьевым в Отечественную войну убили лошадь ему долго пришлось охотиться за конным французом чтобы захватить лошадь в качестве военного трофея: иного выхода у него не было, так как денег на покупку новой лошади он не имел (об этом эпизоде рассказано в его «Записках»). Николай Муравьев пишет: «Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугою стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянною ложкою,

[1] Матвей Муравьев-Апостол, Воспоминания и письма, предисловие и примечания С. Я. Штрайха, Изд. «Былое», Пгр., 1922.
[2] Русский архив, 1885, № 9, стр. 48.
[3] Во время Бородинской битвы хлеб на поле не был убран и зерно осыпалось.
[4] Русский архив, 1885, № 11, стр. 338.

чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут впервые я научился умерять себя и переносить нужду».[1] Нужду эту хорошо рисует состояние Николая Муравьева (больного цынгой) в конце похода 1812 г.: «. . . я зашел в одно из уцелевших жилищ и лег в углу на землю, думая о своем бедственном положении. Я был без слуги, без лошади, без денег. . . Ноги мои болели ужасным образом,[2] у сапог отваливались подошвы, одежда моя состояла из каких-то синих шаровар и мундирного сюртука, коего пуговицы были отпороты и пришиты к нижнему платью; жилета не было, и все это прикрывалось солдатскою шинелью с выгоревшими на бивуаке полами; подпоясывался же я французскою широкою кирасирскою портупеею, поднятою на дороге с палашом, которым я заменил свою французскую саблю. Голова покрывалась изношенною солдатскою фуражкою и башлыком, сшитым из сукна, подаренного мне братом. В таком одеянии случалось мне проводить морозные ночи, сидя у огня. Был на мне еще старый нитяный шарф, с оставшеюся одною кистью, которая служила мне вместо веника. Иногда я раздевался, садился спиною к огню, при коем парился шарфом и тем облегчал зуд, беспокоивший меня по всему телу. Давно уже не переменял я рубашки и давно спал, не раздеваясь. Платье мое было напитано вшами, которые мне покоя не давали и которых я, сидя у огня, истреблял сотнями. Закручивая рубашку, я по примеру солдат парил ее над огнем и радовался треску от сыпавшихся из нее насекомых».[3]

За двенадцатым годом последовали заграничные походы. Все три брата Муравьевы, оба Колошины, Бурцов и Семенов — участники этих походов — отличились в заграничных битвах. (Александр Муравьев за сражение «под Кульмою» получил чин, а за «генеральное сражение при городе Лейпцыге» — орден Владимира 4-й степени и прусский «За достоинство», — так говорит его формуляр). Все упомянутые лица участвовали во взятии Парижа, долгое время проживали в этом старом центре революционной мысли. «Записки» Николая Муравьева-Карского живо рисуют военную и бытовую атмосферу заграничных походов, бои, разведки, напряженную походную жизнь, парижские впечатления, дуэли, товарищеские кутежи, балы, посещения музеев и достопримечательных мест. К слову сказать, здесь же за границей встречались братья Муравьевы с генерал-майором Низовым, тогда дежурным генералом у Беннигсена.

Именно тут, на заграничных биваках, в походах 1813—1814 гг. были закреплены дружеские связи будущих членов артели.

Форма офицерских «артелей» распространилась со времени заграничных походов; офицеры-однополчане объединялись, селились вместе, вместе обедали, занимались науками, проводили свободное время, развлекались. Эти артели были предшественниками тайных декабристских обществ. В декабристской литературе широко известна «семеновская артель», организованная в 1815 г. офицерами лейб-гвардии Семеновского полка. Участник артели декабрист И. Д. Якушкин пишет в своих «Записках»: «В Семеновском полку устроилась артель: человек 15 или 20 офицеров сложились, чтобы иметь возможность обедать каждый день вместе; обедали же не одни вкладчики в артель, но и все те, которым

[1] Русский архив, 1885, № 9, стр. 20, 21.
[2] Ноги были покрыты цынготными язвами.
[3] Русский архив, 1885, № 11, стр. 389—390.

по обязанности службы приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе, — такое времяпрепровождение было решительно нововведение. . . Полковой командир Семеновского полка генерал Потемкин покровительствовал нашей артели и иногда обедал с нами; но через несколько месяцев император Александр приказал Потемкину прекратить артель в Семеновском полку, сказав, что такого рода сборища офицеров ему очень не нравятся».[1] Семеновская артель, таким образом, была политически заподозрена и ликвидирована.

Такого же рода артелью и явилась артель Муравьева—Бурцова, возникшая среди офицеров квартирмейстерской части генерального штаба. Зародилась она еще раньше семеновской артели — в 1814 г.

В 1814 г. был дан приказ по русским полкам о возврате в Россию. Гвардейская пехота в Шербурге погрузилась на корабли и поехала в Петербург морем, конница же и другие войска шли через Германию. «Как ощутительна была разница при переходе в наши границы! — пишет будущий член артели Николай Муравьев. — Деревни были разорены и неприятелем, и помещиками; жители разбежались, бедность и нищета ознаменовали несчастную Литву».[2] Имея поручение приготовить дислокацию войскам около Стрельны, Николай Муравьев «был командирован на четыре дни в деревни его высочества [3] для обозрения оных и приготовления дислокации для легкой гвардейской кавалерийской дивизии, которая постоянно там на квартирах стояла. Селения сии находились в крайнем положении; крестьяне были разорены от беспрерывных работ в Стрельнинском саду».[4] Крепостное право встретило будущих членов артели уже на границе и резко бросилось им в глаза.

Александр Муравьев вместе со своим старым другом И. Г. Бурцовым приехали на корабле из Любека и поселились сначала отдельно от Михаила. Но скоро возникла мысль поселиться всем вместе и зажить артелью. «Однажды, сидя с братом и Бурцовым, — рассказывает Николай Муравьев, — нам пришло на мысль жить вместе, нанять общую квартиру, держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя. С другого же дня все отправились ходить по улицам для отыскания удобного помещения. Бурцов нашел квартиру в Средней Мещанской улице, где мы и поместились. Каждый из нас имел особую комнату, а одна была общая; в хозяйстве соблюдался порядок под моим управлением в звании артельщика».[5] Так было положено основание артели — во второй половине 1814 г. Это была сразу и хозяйственная и идейная организация. Небогатые Муравьевы почти не получали денег от отца и были крайне стеснены в средствах, жить артелью было дешевле и удобнее. Но друзья поселились вместе и для дружеского идейного общения, для совместных занятий, «для образования себя». Леность члена артели в занятиях самообразовательного порядка вызывала замечания артели. «Мы старались исполнять службу свою самым ревностным образом, занимались между тем и дома в свободные часы. . . , — продолжает свой рассказ об артели Н. Муравьев. — Мы постоянно обедали дома, имея за столом нашим всегда место для двух гостей. Стол был не роскошный по ограниченности наших средств, но мы жили порядливо

---

[1] Записки И. Д. Якушкина, изд. 7-е, 1926, стр. 13—14.
[2] Записки Н. Н. Муравьева. Русский архив, 1886, № 2, стр. 125.
[3] Царевича Константина.
[4] Записки Н. Н. Муравьева. Русский архив, 1886, № 2, стр. 128.
[5] Там же, стр. 131—132.

и соразмерно своим доходам. Когда брат Михайла приехал с Кавказских вод, он поселился вместе с нами. Появились у нас учители. Александр и Бурцов взяли турецкого учителя, но скоро бросили его; они же двое и я стали учиться по-итальянски. Михайла стал со мною учиться по латыне; но я сбил оба языка вместе, спрягал итальянскому учителю по-латыни, а латинскому по-итальянски и не выучился ни которому из них. От общества нашего получал я иногда замечания за нерадение к занятиям и лень, но мысли мои в то время обращены были к иному предмету».[1]

Члены артели крепко дружили между собой. Николай Муравьев был без памяти влюблен в дочь адмирала Н. С. Мордвинова Наталью, хотел жениться на ней, но получил отказ (это и есть «иной предмет» его мыслей, о котором упомянуто выше). Артель была в курсе этих событий. Когда Николаю Муравьеву пришлось по семейным делам поехать в Москву, что случилось во время болезни Натальи Мордвиновой, Бурцов присылал ему в Москву «частые и верные известия о ее болезни». Связи между друзьями упрочивались: «В бытность мою в Москве я часто бывал у Колошиных, которые принимали меня как родного», — писал Николай Муравьев.

На этом этапе своего развития артель просуществовала всего несколько месяцев. Весной 1815 г. гвардия вновь спешно двинулась в заграничный поход, и жизнь артели на Средней Мещанской прервалась. Наполеон бежал с Эльбы и открыл свой триумфальный поход по Франции — начались знаменитые «Сто дней». Александр, Николай Муравьевы и Бурцов были прикомандированы ко второй колонне гвардейского корпуса, двинувшейся за границу. Отставшего на один день от колонны Николая Муравьева 28 мая догнал на станции Кипень Петр Колошин, ехавший «по почте в Париж»; «по свойственной ему беспечности», Колошин заплутался с пьяным извозчиком по проселочным дорогам.

Войска вернулись из второго заграничного похода в том же 1815 г., и артель возобновилась сейчас же — как бы сама собой. Она одновременно и возросла численно. «По прибытии нашем в Петербург, я нашел брата Александра и Бурцова уже возвратившимися» (Николай Муравьев задержался в пути, чтобы заехать к родственникам по вопросу о предполагаемой женитьбе). «Они уже наняли квартиру для нас всех вместе, на Грязной улице, в доме генеральши Христовской. Для порядка в обществе нашем были приняты правила с общего согласия; я был избран в казначеи и артельщики. Мы обедали большей частью дома, жили порядливо, умеренно и были довольны. Занимаясь поутру службою или образованием своим, мы проводили вечера вместе, в беседе. . . Общество наше состояло из старшего моего брата, меня, Михайлы, который возвратился с Кавказских вод, Бурцова и двух Колошиных. Я первый оставил дружное братство наше, дабы удалиться в Грузию».[2] Заметим, что на следствии Колошин также показал, что жил вместе с Бурцовым на одной квартире.[3]

Адмирал Н. С. Мордвинов, отказав Николаю Муравьеву в руке своей дочери, потребовал его отъезда из столицы, чтобы толки, разгласившиеся по городу, не компрометировали девушки. Этим объясняется спешный отъезд Николая Муравьева на Кавказ.

---

[1] Русский архив, 1886, стр. 132.
[2] Там же, № 2, стр. 142.
[3] ВД, III, стр. 31.

Культ дружбы и идейной близости высоко стоял в артели, — выражение «братья и товарищи» встречается у Николая Муравьева в применении к членам артели. Артель рассматривала себя как единое целое. Всем составом проводила артель отбывающего члена: «При выезде из Петербурга, братья и товарищи проводили меня до Средней Рогатки; сердце мое было сжато, когда я простился с друзьями». Рассказывая во второй раз в своих записках об этом отъезде, Николай Муравьев придает артели эпитет «Священная»: «Священная артель проводила меня до Средней Рогатки; тут мы простились; они не знали, что навек».

Исследователь имеет все основания предположить, что, не будь этих происшествий и вынужденного отъезда на Кавказ, — в «Союзе Спасения» одним членом было бы больше: так явственен в этот момент вольнодумный облик члена Священной артели Николая Муравьева.

III

Итак, Священная артель возникла в 1814 г., на короткое время прервала свое существование в связи с заграничным походом 1815 г. и возобновилась в 1815 г. До какого времени она существовала? О ней пишет Пущин, относя свои посещения артели еще к лицейскому времени, через нее он и принят в 1817 г. в первую декабристскую организацию — «Союз Спасения».

В 1817 г. осенью гвардия пошла походом в Москву, где оставалась, в связи с пребыванием там царя и его семьи, целый год, до осени 1818 г. Все члены артели (исключение представляет тут только Павел Колошин, но и то справедливость его показания в этом отношении можно заподозрить) [1] переехали с гвардией в Москву. Хотя квартира Александра Муравьева в Хамовнических казармах в Москве и осталась центром сбора общества, но жизнь артели, повидимому, этим переездом была разрушена: петербургские завсегдатаи артели уже не могли ее посещать, да и вообще сведений об артели после 1817 г. нет. Александр Муравьев вернулся из Москвы в Петербург в августе 1818 г. уже женихом, в сентябре женился и уехал в деревню. Бурцов в 1819 г., став адъютантом П. Д. Киселева, переехал на юг в Тульчин. Когда Павел Колошин приехал из Москвы в Петербург в декабре 1820 г., то остановился он уже не в артели, которой не существовало, а у И. И. Пущина, «у отца которого жил по связям близкого родства».[2] Таким образом, Священная артель, очевидно, прекратила свое существование осенью 1817 г. с уходом гвардии в Москву. Надо признать, что она оказалась, таким образом, довольно стойкой организацией, просуществовав в общем около трех лет, т. е. столько же, сколько существовал, например, «Союз Благоденствия».

Священную артель и лицеистов связывали также общие учителя. Ученье в Священной артели не ограничилось турецким, латинским и итальянским языками; ее членов интересовали и общественные науки, и черпали они свои знания из того же источника, откуда и лицеисты, — из лекций А. П. Куницына. Бурцов показывал на следствии: «подобно многим гвардейским офицерам в свободные часы от службы я посещал профессоров Германа, Галича, Куницына, преподававших лекции (sic!) о политических науках».[3] Слушал эти же лекции и Павел Колошин:

[1] Павел Колошин доказывал Следственному комитету свое отсутствие в Москве в момент «Московского заговора 1817 года».

[2] ГАФКЭ, фонд 48, д. 65, л. 4 об.

[3] Там же, д. 95, л. 6—6 об. (дело Бурцова).

«В том же <1817> или следующем году <брал я уроки> у Куницына политической экономии в квартире Г. Фридрихса <лейб-гвардии Московского полка>; для повторения служили тетради его».[1]

Естественно предположить, что и некоторые другие члены только что возникшего «Союза Спасения» были в числе слушателей Куницына.

В «Записках» Николая Муравьева отмечена важная особенность внутренней организации артели: молодежь устроила ее внутренний быт на республиканский манер; в одной из комнат висел «вечевой колокол», по звону которого все члены артели собирались для решения общих дел: «Каждый член общества имел право в него звонить, — замечает Николай Муравьев. — По звуку все собирались и тогда решались требования члена». Расставаясь с «братьями и товарищами», Николай Муравьев горько оплакивал и этот колокол: «Зазвонит вечевой мой колокол, но по нем никто уже не соберется. Приятный звон сей проводит меня через места чужие, раздастся по обширной степи, эхо повторит его в горах; наконец, умолкнет он, когда строгий долг службы повелит мне оставить воспоминания».

Преклонение перед новгородской вечевой «республикой» — яркая характерная черта декабризма. Любовь к отечеству, национальное чувство требовало того, чтобы желаемую форму политического бытия можно было освятить воспоминанием о славном историческом прошлом. И Пестель и Никита Муравьев в своих конституционных проектах назвали будущий парламент революционной России «Народным Вечем». Высокая оценка Новгорода характерна для декабристов. «Я вспоминал блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное ее положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей», — говорил Пестель на следствии.[2] Столь же серьезно думал над вечевой формой Великого Новгорода и один из основателей «Союза Спасения» Никита Муравьев. В «Любопытном разговоре» — «вольнодумческом катехизисе», сочиненном Никитой Муравьевым, встречаем мы такие вопросы и ответы:

«В о п р о с: Какое было на Руси управление без самодержавия?

О т в е т: Всегда были народные в е ч и.

В о п р о с: Что значит вечи?

О т в е т: Собрание народа. В каждом городе при звуке вечевого колокола собирался народ или выборные, они совещали об о б щ и х всем делах. . . ; назначали, сколько где брать ратников; установляли сами с общего согласия налоги; требовали на суд свой наместников, когда сии грабили или притесняли жителей. Таковые вечи были в Киеве на Подоле, в Новегороде, во Пскове, Владимире, Суздале и в Москве.

В о п р о с: Почему же сии вечи прекратились и когда?

О т в е т: Причиною тому было нашествие татар, выучивших наших предков безусловно покорствовать тиранской их власти».[3]

И позже, на каторге, в сибирской артели декабристов имитировались любимые формы новгородского веча. Начало этому увлечению положила, как видим, Священная артель.

---

[1] ГАФКЭ, фонд 48, дело Колошина Павла. Заметим, кстати, что в числе учителей Павла Колошина встречается [еще один лицейский преподаватель — Н. Ф. Котанский.

[2] ВД, IV, стр. 91.

[3] ВД, I, стр. 322.

Лицеистов в учебное время не выпускали из Царского села. Они, повидимому, могли посещать артель только во время каникул: их отпустили в 1815—1816 г. на Рождество и в 1817 г. на Пасху.

Артель притягивала гостей, распространяла свое влияние в более широком кругу, нежели круг непосредственных членов. Некоторые знакомства членов артели должны тут быть упомянуты. Конечно, проводниками влияния артели на Пушкина были прежде всего четыре лицеиста — его друга. Но этим не ограничивалось дело — общий круг знакомых был гораздо шире.

Никита Муравьев, родственник братьев Муравьевых, основателей Священной артели, был старым знакомым Пушкина — они познакомились или до августа 1813 г., когда Никита Муравьев ушел в свой первый заграничный поход, или между сентябрем 1814 и апрелем 1815 г., когда он был в Петербурге между первым и вторым заграничными походами. «Что делает Пушкин? Бывают ли у вас Катенин, Гнедич, Крылов?» — спрашивает свою мать Никита Муравьев в письме из Вены от 7 мая 1815 г.[1]

В хранящейся в Пушкинском Доме «Ведомости о состоянии Лицея» [2] записано, что 21 ноября 1814 г. лицей посетил «прапорщик Муравьев». Чрезвычайно правдоподобно предположение, что это не кто иной, как Никита Муравьев. Ни один из известных нам Муравьевых не имел, кроме него, в тот момент чина прапорщика. Василий Львович Пушкин познакомил привезенного в лицей племянника еще до поступления в лицей с целым рядом своих литературных знакомых. В числе еще московских литературных знакомств Василия Львовича, конечно, находилась семья близкого к литературе куратора Московского университета Михаила Никитича Муравьева, умершего в 1807 г. С Екатериной Федоровной Муравьевой и ее сыном Никитой Василий Львович, конечно, видался и в 1812 г. в Нижнем-Новгороде, где оба нашли убежище во время пребывания Наполеона в Москве. Естественно предположить, что знакомство Пушкина с семьей Муравьевых, и повидимому близкое, могло завязаться через дядюшку. Среди лицеистов у Никиты Муравьева не было ни родственников, ни близких знакомых, и предположение, что он познакомился с Пушкиным именно в лицее, навещая какого-то другого своего знакомого лицеиста, менее правдоподобно.

В той же «Ведомости о состоянии Лицея» неоднократно упоминается фамилия Пестелей. 17 мая 1814 г. лицей посетил «действительный статский советник Пестель с фамилиею». Сибирский губернатор Иван Борисович Пестель мог, по правдоподобному предположению М. А. Цявловского, посещать лицеиста Илличевского, отец которого был помощником Пестеля по Сибирскому управлению. Семьи Илличевских и Пестелей, очевидно, были знакомы домами. 18 октября 1814 г. лицей посетила «генерал-майорша Пестель», она же третий раз значится в записи от 14 октября 1816 г. В «фамилию» Пестелей, конечно, могли входить и дети Ивана Борисовича и Елизаветы Ивановны Пестель. Героя Бородина, раненного в сражении и награжденного золотым оружием, любимейшего сына родителей — Павла Пестеля семья усердно всюду «показывала» по его возвращении из заграничных походов; это входило в планы старика Пестеля, тщательно следившего за карьерой своих сыновей. Нет сомнений, что Пушкин видывал «фамилию» Пестелей в лицее и, возможно, был ей представлен.

[1] Литературное наследство, 16/18, стр. 631.

[2] Фонд 244, оп. 25, № 120. На эту книгу обратил мое внимание М. А. Цявловский. Он же указал мне на упоминание в этой книге фамилии Пестеля.

Близкий Кюхельбекеру Федор Николаевич Глинка, — в руках которого даже побывал заветный лицейский словарь, — конечно, также старый знакомый Пушкина.

Но круг общих знакомств этим не ограничивается. Александр Муравьев был дружен с Александром Раевским, дружба возникла, повидимому, еще в 1812 г. когда братья Муравьевы на Бородинском поле защищали батарею Раевского. Она окрепла в заграничных походах: в Париже в 1814 г. Александр Муравьев познакомил брата Николая «с товарищами своими. Один из них был Александр Раевский, капитан гвардии, молодой человек, сын генерала Раевского. Я с ним прежде видался, и он мне не нравился. Брат с ним был дружен, но я его никогда не любил. Заметно было, что он показывал брату такую дружбу единственно с целью, чтобы Александр его превозносил».[1] Как видим, своеобразные черты пушкинского друга подмечены и в этой характеристике. Александр Раевский с мая 1814 г. состоял адъютантом у генерала Васильчикова и был переведен в лейбгвардии гусарский полк, стоявший в Царском селе, где Раевский и познакомился с лицеистом Пушкиным в 1816 или 1817 г.[2] Павел Черевин — «давний приятель» И. И. Пущина (по его собственному определению) — был родственником Раевских.

Пушкин знал лично и Бурцова, о котором несколько раз упомянул в своем «Путешествии в Арзрум». По понятным причинам Пушкин был крайне сдержан в этом предназначенном для печати произведении, упоминая о лицах, замешанных в деле декабристов. Даты первого знакомства с Бурцовым в «Путешествии» не приведено, но не сказано и о том, что знакомство произошло на Кавказе; в свете только что изложенных фактов правдоподобно предположение о знакомстве Пушкина с Бурцовым во время существования артели, т. е. в 1815—1817 гг.

Нечего говорить о том, что брата своего друга — Михаила Пущина, входившего в число посетителей артели, — Пушкин, конечно, давно и хорошо знал. В. Кюхельбекер пишет о нем в дневнике: «молодой Пущин (Конно-артиллерийский)». — Без риска можно предположить и знакомство с братьями Колошиными, близкими родственниками Пущиных, с которыми лицеист Пушкин, по собственному признанию, был очень дружен, — он показывал на следствии, что с Павлом Колошиным «по давнишнему дружеству и родству был очень откровенен».[3] Таков был круг дружеских знакомств членов артели, связывающих ее с Пушкиным.

Никита Муравьев познакомился с Пестелем в 1816 г. и по собственному свидетельству «сблизил его с Александром Муравьевым». «В это время познакомился я с Пестелем и, найдя в нем те же мысли, сблизил его с Александром Муравьевым, который в то же время вступил в связь с князем Трубецким».[4] В «Записках» Якушкина рассказано о частых встречах декабристов — имена определяют круг близких знакомств членов Священной артели: «В это время (в 1816 г., — *М. Н.*) Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы и я — мы жили в казармах и очень часто бывали вместе с тремя братьями Муравьевыми: Александром, Михаилом и Николаем. . . В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего оте-

[1] Записки Н. И. Муравьева. Русский архив, 1886, № 2, стр. 114.
[2] А. С. Пушкин, Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 189, примечание Б. Л. Модзалевского.
[3] ГАФКЭ, фонд 48, д. 65, л. 7 об. (дело Павла Колошина).
[4] ВД, I, стр. 305.

чества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще».[1]

Таким образом, Священная артель теснейшим образом связана со всем пушкинским окружением этих лет и вместе с тем со всем декабристским кругом. Она органически вплетена в историю общественного движения времени и стоит на пороге первой тайной декабристской организации.

IV

Что же можно сказать об идейной жизни и политических настроениях членов этого «мыслящего кружка», как назвал его И. Пущин?

Необходимо прежде всего обратить внимание на политический характер и конспиративные черты Священной артели. В ней велись разговоры не только о «зле существующего порядка вещей», но и о «возможности изменения, желаемого многими втайне» (Пущин). Артель ждет, что «час пробьет», жаждет услышать затем «Отечества призванье», а потом и «появиться из тьмы» на зов отечества «сплетенные рука с рукой» (Мещевский). Охранитель самодержавных устоев А. С. Шишков имел основание всполошиться, прочтя эти строки. Обратим также внимание на факт непосредственной передачи членов артели в тайное общество (случай Пущина, Вольховского), а также и на то, что Священная артель существовала и после того, когда артель Семеновского полка уже была запрещена Александром I. Учтя все это, мы поймем, почему В. Кюхельбекер, записав через много лет несколько внешне совершенно невинных строк, содержащих в сущности только перечень фамилий «кружка молодых людей, подававших самые лестные надежды», немедленно припомнил об этом кружке нечто такое, что заставило его густо зачеркнуть написанные строки.

В истории Священной артели можно наметить два переломных момента. Первый относится к 1815 г. и связан с ликвидацией семеновской артели. Если учесть, что артель семеновских офицеров, возникнув в 1815 г., просуществовала, по свидетельству Якушкина, всего «несколько месяцев» и была закрыта по требованию Александра I, надо признать, что Священная артель по меньшей мере с конца 1815 г. вела, так сказать, полулегальное существование: «такие сборища» Александру I «очень не нравились», и не может быть, чтобы офицеры главного штаба не знали об этом недовольстве царя и о закрытии семеновской артели. С конца 1815 г. Священная артель, следовательно, не чувствовала себя в политическом смысле вполне безопасной. В 1816 г. организовалось первое тайное общество декабристов — «Союз Спасения», возникшее по инициативе основателя артели Александра Муравьева. Большинство участников артельного кружка стали членами строго конспиративной организации, поставившей перед собой политические цели. Священная артель, как уже было указано, явилась некоторым образом колыбелью «Союза Спасения». Таким образом, политическая жизнь Священной артели с момента возникновения до конца существования протекает все более и более напряженно.

Лицеисты становятся посетителями артели и втягиваются через нее в политическую организацию, повидимому, в период обострения ее политической жизни. С 1816 г. «Союз Спасения» и Священная артель сосуще-

[1] Записки И. Д. Якушкина, изд. 7-е, 1926, стр. 15.

ствуют. Указанные обстоятельства открывают возможность изучить идейную жизнь артели не только на основании «Записок» И. Пущина, дневника Кюхельбекера и «Записок» Н. Н. Муравьева-Карского, но и на основании следственных дел декабристов, входивших в состав кружка. На следствии нередко шла речь об истоках декабристского вольномыслия. Ответы на этот вопрос дают драгоценный материал для суждения об идейной жизни изучаемого кружка.

«Зло существующего у нас порядка вещей» с предельной ясностью расшифровывается всей последующей историей декабристской идеологии. Лицеисты Пушин, Вольховский и Кюхельбекер беседовали в «мыслящем кружке» о зле всей системы крепостного строя. «Союз Спасения» в основу своей программы положил лозунги борьбы с крепостным правом и самодержавием, — это основные требования декабристов, которые и остались основными на всем протяжении существования тайного общества. Бурцов принял Ивана Пущина в «Союз Спасения» летом 1817 г., — как раз во время отъезда Пушкина в деревню. К этому времени тайная организация уже имела свой устав, написанный главным образом Пестелем.[1] Таким образом, Пущина и Вольховского приняли в тайное общество на основе устава. Отсюда следует, что оба они принимали основную цель «Союза Спасения» — борьбу с крепостным правом и самодержавием — и дали клятву (и даже не одну, а по меньшей мере две) [2] — хранить тайну общества, быть верными его уставу и действовать в его духе.

Общая напряженная атмосфера характерна для этих лет. Все резче проявляется деление общества на два лагеря — на «староверов», защитников старого, и сторонников нового, убежденных противников старой жизни, уже заметивших, говоря словами Чацкого, «прошедшего житья подлейшие черты» и вышедших на битву с ними во имя торжества «свободной жизни». В эти годы задумано «Горе от ума», где столкновение молодого, убежденного сторонника нового с лагерем старого мира положено в основу замысла. Сами декабристы говорили о мощной силе «духа времени», которая двигала их на борьбу со старым, косным миром. «Дух времени» повелительно требовал от передового лагеря стать на защиту молодых ростков нового в жизни своей любимой родины, угнетенной крепостным правом и самодержавием. Широко известно замечательное определение «духа времени», данное Пестелем в ответе на вопрос следствия: «Каким образом революционные мысли и правила постепенно возрастали и укоренялись в умах? и кто, где начал и продолжал внушать и распространять оные в Государстве?». Пестель, один из основателей «Союза Спасения», писал:

«На сей вопрос весьма трудно отвечать: ибо ответ мой должен будет уже выходить из круга суждений о Тайном обществе. Не менее того во исполнение приказания Комитета постараюсь объяснить, как могу.

«Политические книги у всех в руках; политические науки везде преподаются, политические известия повсюду распространяются. Сие научает всех судить о действиях и поступках правительства: хвалить одно, хулить другое. Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько

[1] М. В. Нечкина. Союз Спасения. Истор. записки, т. 23, 1947, стр. 137—184.

[2] Там же, стр. 162. — Первая клятва — клятва о неразглашении узнанного, вторая — верности уставу.

возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противуположностей. . . Дух переобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать (fait bouillir les esprits). Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах».[1]

Пущин показывает на следствии о том же «духе времени»: «Свободный образ мыслей по естественному ходу духа времени заимствовал я от чтения политических книг, коим занимался по выходе из Лицея. . .».[2] Говорит о «духе времени» и сам основатель и Священной артели и «Союза Спасения» — декабрист Александр Муравьев, горько каясь на следствии: «Пагубный дух времени заразил нас еще в иностранной земле, и мы, как чумные, внесли заразу сию в Отечество наше».[3] Передовая лицейская молодежь также была носителем «духа времени» — освободительных идей, политического протеста и разоблачающей крепостнический строй критики, — идейные истоки декабристского вольномыслия и «лицейского духа» были едины. Булгарин в своем известном доносе о «лицейском духе» так писал об основных чертах, сближавших лицейскую молодежь с декабристскими настроениями: «Молодой вертопрах должен. . . порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных. . . , знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам. . . Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почетные названия».[4] Лицейский дух и дух декабристский совпадали в основном — в отрицательном отношении к существовавшему строю и в идейных источниках этого отношения.

Из «Записок» И. И. Пущина мы уже знаем, на какие темы велись беседы в артели. От резкой, передовой критики до желания революционным образом переделать мир окружающего крепостного рабства и самодержавного деспотизма был уже только один шаг. Недаром Бурцов, хорошо знавший лицейских гостей артели, решил, что они готовы «для дела», и принял в общество Пущина и Вольховского.[5]

---

[1] ВД, IV, стр. 94, 105.
[2] ВД, II, стр. 208.
[3] ВД, III, стр. 16
[4] Былое, 1918, № 1, стр. 16.
[5] Любопытно, что И. И. Пущин применял слово «артель» и для обозначения всего лицейского товарищества. В письме его к Энгельгардту от 8 мая 1845 г. из Сибири он пишет о своем дне рождения: «Бывало, в Лицее, в этот день, в столовой, вместо казенного чая, стоят чашки, наполненные кофеем, со стопкой сухарей, и вся артель пьет с поздравлением приготовление Левонтия Кемерского. С тех пор много воды утекло. . .» (Декабрист И. И. Пущин, Записки о Пушкине и письма из Сибири, ред. С. Я. Штрайха, М., 1925, стр. 202). Слово «артель» вообще было довольно ходовым словом того времени в связи с артелями в армии. В Сибири декабристы тоже, как известно, образовали артель, преследовавшую хозяйственные цели. Характерно, что эта артель считалась действующей и после возврата декабристов из Сибири (см. там же, стр. 268 и др.). Отметим, что артель — народное и для той

Повидимому, Вольховский после выхода из лицея вскоре поселился в Священной артели; это видно из показания на следствии полковника П. В. Аврамова, бывшего, так же как и Бурцов, адъютантом П. Д. Киселева: он показал, что Бурцов в Петербурге «жил вместе с Вальховским на квартире».[1] Привязанность же И. И. Пущина к Бурцову была исключительной. На следствии Пущин до последней возможности скрывал имя Бурцова, чтобы не выдать друга. Сначала он заявил, что «никто не способствовал» укоренению в нем свободного образа мыслей, и твердо назвал некоего штабс-капитана Беляева как человека, принявшего его в тайное общество. Лишь в самом конце следствия (показание об этом от 19 мая 1826 г. — последнее в деле И. И. Пущина),[2] уличенный показаниями Оболенского, Нарышкина и ряда других декабристов, Пущин вынужден был признать, что «Беляев есть вымышленное лицо», что принял его в общество Бурцов и что ввел он в заблуждение Комитет «из некоторого чувства сострадания к Бурцову». (В Комитете раздраженно ставили Пущину в вину «излишнее и неприятное» затруднение, устроенное Комитету этим его вымышленным показанием).[3] Важно отметить, что, сидя в Петропавловской крепости, Пущин с 31 января 1826 г. и даже ранее наверняка знал, что Бурцов уже арестован и допрашивается, но все-таки не хотел назвать его имени.[4] Лицеисты крепко сдружились с членами артели. Заметим, что на следствии Пущин выгораживал и своего товарища Вольховского, утверждая, что он в обществе якобы никакого участия не принимал.[5] Дружба была обоюдной: Вольховский на допросе вынужден был упомянуть в числе своих знакомых по обществу брата Пущина Михаила («конной артиллерии Пущин»), но скрыл имя лицейского товарища Ивана Пущина.

Отличительная черта Священной артели — любовь к отечеству. Члены артели были страстными патриотами России. Патриотизм их резко отличался от официального охранительного «патриотизма» правительства Александра I, был ему антагонистичен. Это был патриотизм преобразовательный, революционный, стремившийся изменить положение угнетенного отечества. Недаром и первое тайное общество декабристов называлось «Обществом истинных и верных сынов отечества». Название подчеркивало, что «сыны отечества» бывают разные — встречаются и не истинные, и не верные; патриотизм в александровской России был двух родов — официально-правительственный и революционный, преобразовательный. В тайное общество Александр Муравьев вступил «по ложной ревности, по ложному и безрассудному понятию о любви к Отечеству», «из ложного и превратного понятия о любви к Отечеству».[6] Тут отчетливо видно противопоставление двух родов патриотизма. И лицеистов привела в Священную артель и сомкнула с прочими единомышленниками такая же любовь к отечеству. Именно так объясняет И. И. Пущин свое вступление в тайное общество в 1817 г.:« Убежденный

эпохи в некоторой степени «солдатское» слово. Так, Шишков глубокомысленно поясняет, что в стихотворении Мещевского приведено слово «артель» нарочно, «дабы под словом „артельщики" разуметь вместе и солдат» (А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. II, Берлин, 1870, стр. 267).

[1] ГАФКЭ, фонд 48, д. 240, л. 2.

[2] ВД, II, стр. 232. — Таким образом, Пущин около полугода не называл на следствии имени Бурцова. Так как следствие уже шло к концу и о Бурцове все было известно, показание Пущина не нанесло ему вреда и не ухудшило его положения.

[3] Там же, стр. 232—233.

[4] Там же, стр. 395.

[5] Там же, стр. 225.

[6] ВД, III, стр. 16, 17.

в горестном положении Отечества моего; я вступил в общество с надеждою, что в совокупности с другими могу быть России полезным слабыми моими способностями и иметь влияние на перемену Правительства оной».[1] Это же чувство страстного патриотизма идейно объединило с артелью и второго друга Пушкина — Кюхельбекера. Мнение, что далекий декабристам Кюхельбекер случайно ввязался в их общество накануне восстания и на площади 14 декабря «сумасбродствовал» с искренней целью возвести на престол Константина, — опровергается всем содержанием его следственного дела. Время, которое изучаем мы, характеризуется самим В. Кюхельбекером как время, когда он ничем принципиально не отличался от вольномыслящей молодежи: «. . . до Лицея я был ребенком и едва ли думал о предметах политических. По выпуске из оного до самого моего путешествия за границу в 1820 году, — я повторял и говорил то, что тогда повторяла и говорила сплошь вся почти молодежь (и не только молодежь), — не более и не менее. . .». Желая всячески ослабить свою вину, Кюхельбекер продолжает: «. . . между тем уверяю по чести, что я только был увлечен общим потоком и не имел никаких определенных, ясных понятий на счет предметов, которые я считал совершенно чуждыми моих любимых занятий».[2] Но лицейский «Словарь. . .» над которым так много потрудился Кюхельбекер, говорит нам о его глубоком увлечении вольномысленной философией, в частности тем же Жан-Жаком Руссо, на которого ссылается и основатель Священной артели А. Муравьев. Свое вступление в тайное общество накануне восстания сам В. Кюхельбекер комментирует так: «Я впал в п р е ж н и е заблуждения»,[3] — что ясно говорит о характере этих заблуждений. О своей любви к родине Кюхельбекер говорит яркими словами: «. . . взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ Русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, богатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного, наконец по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему пред всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, опадет, не принесши никакого плода в нравственном мире! Да отпустит мне бог за скорбь сию часть прегрешений моих, а милосердый Царь часть заблуждений, в которые повлекла меня слепая, может быть, недальновидная, но беспритворная любовь к Отечеству».[4] Кюхельбекер много раз, останавливаясь в своих показаниях следствию на своем поэтическом призвании, говорит, что хотел бы усовершенствовать свой талант «для пользы и славы моего Отечества».[5]

Мы узнаем, таким образом, какой характер имела в Священной артели и в тайном обществе декабристов л ю б о в ь к о т е ч е с т в у. Это был не казенный, а революционный, преобразовательный патриотизм, желание коренным образом изменить, говоря словами И. Пущина, «г о р е с т н о е положение отечества». В этом свете комментируется любопытный документ Священной артели — памятка, присланная уехавшему на Кавказ Николаю Муравьеву через его брата Александра. «Он привез мне лист от артели нашей, — пишет Николай Муравьев, — за подписанием всех членов. Содержание оного следующее:

---

[1] ВД, II, стр. 210.
[2] Там же, стр. 192.
[3] Там же. Разрядка моя, — *М. Н.*
[4] Там же, стр. 166.
[5] Там же, стр. 183.

Постоянство

«Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание артели, коея ты еси член, понудили нас, твоих братьев, лист сей тебе послать и тем нашу любовь к тебе и доброжелательство изъявить. Да будет он тебе воспоминанием святого братства и верным залогом дружбы нашея! И тако, пребудь здрав и, сколько творцу угодно, благополучен. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминание о неразрывной артели да усладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях!

В Святом Петрограде — Подписи 30 июня 1816 года».

Обратим внимание на то, как ярко выражена в этом документе духовная связь членов артели, — ясно, что артель не была только хозяйственной организацией. Она рассматривала себя как «святое братство», «неразрывную артель», и отъезд товарища не лишал его звания члена артели — и за тысячи верст от артели он оставался принадлежащим к «братству». Характерно и шутливое приложение к этому листу. «Артель мне прислала в подарок зрительную трубку, дабы в нее я мог видеть собратьев своих из отдаленнейших стран». Важнее же всего в документе — «любовь к отечеству», упомянутая как руководитель члена артели. Мы только что расшифровали, какой характер она носила, как отрекались от такой любви к отечеству кающиеся арестанты Петропавловской крепости. Понятно и замечание Николая Муравьева по поводу полученной памятки: «Я сей лист высоко чту и никогда ни на какие аттестаты не променяю».[1]

Первый предмет, на который обратились взоры и Священной артели и «Союза Спасения», было крепостное право — первооснова зла «существующего у нас порядка вещей». Характерно, что и позже некоторых коренных членов артели причисляли и в тайном обществе к лицам, особо занятым именно крестьянским вопросом, положением деревни. Так, декабрист Е. П. Оболенский, старый член тайного общества, относил Павла Колошина именно к этой группе членов. «Все сии члены женаты, — показывал он, — и потому принадлежат к обществу единственно по прежним связям. Круг их действий вообще был: распространение просвещения введением школ в деревнях, улучшение состояния крестьян, частное освобождение оных по возможности, постепенное введение взимания доходов не с лиц, но с земли; и уменьшение дворовых людей».[2] Тут развернута целая программа борьбы с крепостным правом. Александр Бестужев, отвечая на вопрос следствия об отставшем от тайного общества Алексее Семенове, замечает, что последний «только и думал об Агрономии».[3] Сам Алексей Семенов также отмечает свой преимущественный интерес к агрономическим наукам. На очной ставке с Пущиным Семенов отрицал, чтобы у декабриста Тучкова, у которого он бывал, ему приходилось слышать о конституции: он ничего-де там не слышал, «кроме разговора о землевладении как о предмете, обращавшем на себя его особенное внимание».[4] Заметим, что землевладение — это уже не совсем «агрономия».

---

[1] Русский архив, 1886, № 4, стр. 448, 449.
[2] ВД, I, стр. 240.
[3] ГАФКЭ, фонд 48, д. 206, л. 3 об. (дело А. Семенова).
[4] Там же, л. 16 об. (В тексте описка: земледелении, вместо «землевладении»)

Лицеисты также относились отрицательно к крепостному праву. В этих настроениях укрепляли их и лекции Куницына, полагавшего, что «никто не может лишить другого права личности и даже с его собственного на то согласия. . . посему холопство как произвольное закрепощение есть действие противозаконное». Эти же настроения отразились и в их замечательном лицейском «Словаре. . .» («нашем словаре», по словам Пушкина)

И. И. Пущин отличался особо повышенным интересом к вопросу освобождения крестьян. Незадолго до восстания 14 декабря, когда московская организация, не включенная органически в планы военного переворота, томилась бездействием, Пущин «учредил в Москве союз, коего целью было освобождение крепостных людей».[1] Речь идет об учрежденном Пущиным в Москве в 1825 г. «Практическом союзе» для освобождения крестьян.[2] Александр Муравьев был ярым сторонником освобождения крестьян с землею и, будучи членом тайного общества, гневно писал: «Чем жаловали дворян? Поместьями, дающими им законное право (законное право!) пользоваться землями и трудами своих крестьян и располагать их участью».[3]

Лицеистов привела в артель и сомкнула с ней горячая вражда ко всему строю крепостнического «порядка вещей» и к крепостному праву. Гость артели Кюхельбекер говорит очень красноречиво о своем возмущении крепостным правом. Из восьми, по его подсчету, побудительных причин, укоренившихся в нем вольнодумный образ мыслей и заставивших вступить в тайное общество, три непосредственно восходят к тяжелому положению крепостных крестьян. Указав на страшные злоупотребления «в большей части отраслей государственного управления, особенно же в тяжебном судопроизводстве», Кюхельбекер останавливается сейчас же вслед за этим на крепостном праве: «Угнетение истинно ужасное (говорю не по слухам, а как очевидец, ибо живал в деревне не мимоездом), в котором находится большая часть помещичьих крестьян. . .». Упомянув далее об упадке торговли и общем недостатке в деньгах, Кюхельбекер вновь переходит к крепостному праву и четвертую причину своего вольнодумства формулирует так: «Распространяющееся и в простом народе развращение нравов: особенно же лукавство и недостаток честности, которые я приписывал угнетению и всегдашней неуверенности, в коей раб (крепостной) находится на счет права пользоваться своим приобретаемым имуществом. Признаюсь, что сия 4-ая побудительная причина была для меня из самых главных. . .».[4] Далее следует приведенный выше замечательный текст о блистательных качествах русского народа и о русском языке. Указав на пятую причину — недостаточное воспитание и поверхностное обучение всех высших состояний юношества, — Кюхельбекер переходит к шестой причине, вновь относящейся непосредственно к крестьянскому закрепощению: «Совершенное невежество, в котором коснеют у нас простолюдины, особенно же землепашцы». В другом месте своих показаний Кюхельбекер перечисляет свои политические требования или, как он называет их, «надежды» и на первое место ставит «свободу крестьян», на второе — «улучшение судилищ», на третье — «выбор пред-

[1] ГАФКЭ, фонд 48, д. 206, л. 2.
[2] ВД, II, стр. 225—226.
[3] С. Я. Штрайх. Кающийся декабрист. Красная новь, 1925, № 10, стр. 168.
[4] ВД, II, стр. 166.
[5] Там же.

ставителей из всех состояний» и на четвертое — «непоколебимость законов».[1]

Так обстояло дело с отношением к крепостному праву. Оно было одним из центральных вопросов, занимавших и Священную артель и лицеистов, в нее влившихся.

V

Каково было отношение членов и посетителей артели к политическому строю, к самодержавию? Этот вопрос был самым тяжелым для декабристов на следствии. Сосредоточенное на разборе отношения к цареубийству, следствие над декабристами относило все конституционные помыслы к разряду наиболее тяжелых вин. Даже разговоры об освобождении крестьян были в его глазах менее криминальными, чем какое бы то ни было посягательство на неприкосновенность неограниченной царской власти. Но, тем не менее, показания членов, входивших в «мыслящий кружок», оказавшийся колыбелью первой тайной организации, дают немало материала для ответа на эти вопросы.

В показаниях основателя общества Александра Муравьева мы встречаем покаянную тираду о его политических мнениях, которая явно обнаруживает требования раннего общества: «Я тогда еще не верил, что цари от бога поставляются; что царства и правления богом учреждаются, а не людьми; что подданные обязаны повиноваться Государю и учрежденным властям и правлению, каково бы оно ни было».[2] Отсюда ясно, что в период своей революционной деятельности Муравьев и его единомышленники считали, что не бог, а люди «поставляют царей» и учреждают царства и что от людей зависит изменить порядок правления в царствах и переменить царей, и что подданные не обязаны повиноваться царю и властям, если признают их распоряжения неправильными. Эти политические принципы играли большую роль в «мыслящем кружке». Характер политических замыслов раннего общества ярко подтверждается покаянными тирадами Михаила Муравьева; он клянется, что совершенно отстранился «от политических замыслов» с 1821 г., — стало быть, до 1821 г. в обществе политические замыслы были; он клянется, что с 1821 г. «никакие политические соединения для меня более не существовали», — стало быть, до 1821 г. таковые для него существовали. Он клянется, что с 1821 г. «в сердце и душе своей бытие свое соединил с существующим порядком вещей» или «слил свое бытие с существующим порядком вещей и лишь в совершенной тишине и спокойствии Государства находил прочное щастие семейной своей жизни»,[3] — иначе говоря, признавался, что до 1821 г. был противником «существующего порядка вещей» и придерживался таких мнений, которые влекли к нарушению тишины и спокойствия в государстве.

Мы не располагаем большим количеством свидетельств для суждения о том, какой именно политический строй представлялся членам Священной артели наилучшим, — республиканский или конституционно-монархический. С одной стороны, перед нами факт явного преобладания конституционно-монархических воззрений в «Союзе Спасения». Если исходить из предпосылки идейной преемственности, то необходимо заключить, что и в Священной артели политические настроения были консти-

[1] ВД, II, стр. 157.
[2] ВД, III, стр. 17.
[3] ГАФКЭ, фонд 48, д. 189, л. 19—20.

туционно-монархическими. Основатель артели и основатель первого декабристского общества Александр Муравьев придерживался конституционно-монархических взглядов; то же можно сказать на основании следственного дела о Бурцове. Оба Колошины также стояли на точке зрения конституционной монархии вплоть до собрания коренной управы «Союза Благоденствия» в 1820 г. в Петербурге, когда общим голосованием по докладу Пестеля конституционная монархия была заменена в программе республикой. Павел Колошин принимал участие в собрании и также голосовал за республику. Бурцова не было на съезде 1820 г., и он узнал о республиканском решении только на юге от вернувшегося из Петербурга Пестеля. Последний показал: «Никто не противоречил сему (республиканскому, — *М. Н.*) заключению Коренной Думы, исключая одного Бурцова, который показывал сомнение ввести в Россию республиканское правление».[1] Лицеисты, примкнувшие к артели, также стояли на конституционно-монархических позициях и, повидимому, остались на них и в дальнейшей их деятельности в Северном обществе. Назимов показывал о Вольховском: «Вообще к‹апитан› Вольховский был всегда кроток и воздержан в словах, и сколько я понимал его, то политические мнения его клонились к монархическому конституционному правлению».[2] Сам Вольховский, представивший следствию общество как совершенно не имевшее цели политической («Общество, имевшее целью благотворение и нравственное усовершенствование членов с условием ничего не делать противного правительству»),[3] ничего, разумеется, не сказал о своем сочувствии конституционной монархии. Но Назимову, повидимому, можно верить в этом вопросе. И. И. Пущин также стоял за конституционную монархию, считая, как и все остальные, необходимым принять решение об образе правления не через малочисленное тайное общество, а через собрание всенародных депутатов: «Я всегда был того мнения, что отечество наше должно быть управляемо ограниченною Монархиею и что общество, составленное из нескольких лиц, не может решительно определить, так или иначе должно быть управляемо государство, заключающее сорок мильонов жителей. Оно должно по произведении переворота предоставить собранным от всех сословий депутатам назначить тот образ правления, который общим мнением признается полезнейшим и для всех благодетельным».[4] Иначе говоря, Пущин, как и другие, не предрешал формы правления, но л и ч н о стоял за конституционную монархию, так сказать, голосовал бы за нее в будущем учредительном собрании, повидимому, испытывая опасения, «готова ли» Россия к республике. Это ни в малейшей мере не исключает общего политического убеждения, что, поистине, н а и л у ч ш е й является республиканская форма правления. В силу этого я не усматриваю глубоких, принципиальных противоречий между последующей программой «Союза Спасения» и предшествующими республиканскими настроениями Священной артели («вечевой колокол» и пр.). Но из указанного выше с несомненностью следует, что в артели происходили жаркие споры на эту тему. Общее сочувствие республике мне представляется возможным усмотреть, например, из неоднократного наименования Пущиным цели тайного общества, его «общего дела» — латинскими словами «res publica»;[5] слово «дело» для краткого условного наименования подготовки

[1] ВД, IV, стр. 177.
[2] ГАФКЭ, фонд 48, д. 240, л. 10 об.
[3] Там же, л. 7 (дело Вольховского).
[4] ВД, II, стр. 225.
[5] Республика.

переворота неоднократно встречается и у Пущина и у других декабристов: Пущин замечает, например, в своих «Записках о Пушкине», что Бурцов, принявший его в тайное общество, «нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов д л я д е л а».[1] Замечательно далее употребление латинских слов: «Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica)». Едва ли употребление латинских слов здесь простой перевод русских «общее дело» — этим словом явно определялась вся совокупность мнений тайного общества. В своей сибирской переписке Пущин горько замечает, что дело 14 декабря было делом «горсточки людей»,[2] в письме к своему брату, осуждая ход Крымской войны, тяжелые «нынешние обстоятельства», в которых оказалась Россия, пишет: «Ты очень справедливо трунишь надо мною, но согласись, что пока дело общее (res publica) будет достоянием немногих, до тех пор ничего не будет. Доказательство — нынешние обстоятельства».[3] Письмо это переслано И. И. Пущиным брату не «казенным путем», через III отделение, а нелегально, через знакомого адъютанта барона Крюднера, что дало возможность выражаться более свободно. Таким образом, латинские слова «res publica» для обозначения р е в о л ю ц и о н н о г о о б щ е г о д е л а Пущин пронес через всю свою жизнь, от лицейских времен до конца сибирской ссылки. Это, конечно, отражало и положительное общее отношение к республиканским идеалам при отстаивании на определенном историческом этапе именно конституционной монархии для России.

Из всего сказанного выше следует диктуемая существом дела логическая необходимость сопоставлять идеологию пушкинской «Вольности» не с политическими французскими брошюрками жалкой эпохи реставрации и реакционной «Бесподобной палаты», а с идеями живого русского общественного движения, с которыми столь тесно и глубоко — и через дружеские связи, и через общую идейную атмосферу лицейского братства, и через кипевший в умах молодой России «дух времени» — был связан Пушкин. Он призывает в «Вольности» «грозу царей» и «свободы гордую певицу», он ясно и с великим чувством возмущения видит вокруг себя «зло существующего порядка вещей»:

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы. . .

Ода «Вольность» пишется уже во время существования «Союза Спасения», в его поуставный период. В силу этого приобретает особое значение свидетельство Пущина о том, что Пушкин одинаково с ним мыслил о «деле общем», хотя и не принадлежал к тайной организации. Это сходство идей, поистине, поразительно. Детальный разбор вопроса не может входить именно в данную тему, — он явно относится не только к ней, но и к «Союзу Спасения», первой декабристской организации. Но все же

---

[1] И. И. П у щ и н. Записки о Пушкине, М., 1937, стр. 65. Разрядка моя, — *М. Н.*

[2] Неопубликованное письмо к П. Н. Свистунову от 6 сентября 1851 г. ГАФКЭ, фонд 48, оп. 3, д. 12.

[3] Декабрист И. И. П у щ и н. Записки о Пушкине и письма из Сибири Ред. и биограф. очерк С. Я. Штрайха, М., 1925, стр. 234.

напомним о высокой оценке конституционной монархии — политическом лозунге и оды «Вольность» и «Союза Спасения»:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье. . .

Но идеология членов артели и зарождающегося «Союза Спасения» все же не исчерпывается отрицательным отношением к крепостному праву, защитой конституционной монархии и пылкой любовью к родине, освящавшей эти преобразовательные идеалы. Мы можем отметить еще и дополнительные черты. Идейная жизнь Священной артели характеризовалась еще религиозным «безверием», увлечением идеями Радищева, ярко выраженной передовой национальной идеологией, защитой русской национальной культуры, преклонением перед историческим прошлым России, борьбой против «русских немцев». Остановимся на этих любопытных чертах, начав с последней.

Эпоха 1789—1871 гг. была временем буржуазно-демократических движений во всемирной истории.[1] Национальные лозунги были революционными лозунгами времени. В России существовало свое внутреннее иго, тормозившее национальное развитие, иго крепостного права и самодержавия. Лозунги *национального* освобождения насыщались буржуазным содержанием, они были передовыми, революционными лозунгами в условиях крепостной России: формирующуюся нацию давила и стесняла феодально-крепостная оболочка.

Отсюда — положительное, прогрессивное содержание национальных русских лозунгов в устах первых представителей дворянской революционности. Выдвинутые ими национальные лозунги шли по той же исторической линии, что и движение *в целом*.

В Священной артели отстаивались русские национальные формы жизни, которыми очень дорожили. Недаром артель связала свои «республиканские» формы с «новгородским вечевым колоколом». И. Д. Якушкин в своих «Записках» упоминает, что Александр Муравьев и его братья «были враги всякой немчизне».[2] Но с этим сильно выраженным стремлением ко всему русскому хорошо уживалось и уважение к революционному Западу. Интересно свидетельство Якушкина, что Александр Муравьев (и даже не один, а со своей невестой) пел «Марсельезу».[3]

Любовь ко всему русскому проявилась у членов артели еще в ранней молодости. Проявлялась она у будущих членов артели и до войны 1812 года. Декабрист Александр Муравьев в своих еще не опубликованных записках рассказывает, как он со своим приятелем еще в 1811 г. возмущался преимущественным положением в правительстве и в русской армии иностранцев, «русских немцев». Друзья даже не то сочинили, не то выискали некий «указ царя Алексея Михайловича», который запрещал немцам занимать в России должностные места. «Между шутками нашими мы, Русские, поддразнивали наших товарищей, немцев домашних, будто бы чтением одного указа Царя Алексея Михайловича: „Учали находити на царство наше разные еретики и немцы, и мы, собрав свои бояре, архиереи и думные люди, положили оных. . . немцев в нашу цар-

[1] В. И. Ленин. Под чужим флагом. Соч., т. 21, изд. 4-е, стр. 126.
[2] И. Д. Якушкин, Записки, изд. 7-е, М., 1926, стр. 16.
[3] Там же, стр. 27.

скую службу не принимать, селить их на Грязной речке и считать их на черной доске". Указ этот кто-то из наших, кажется Колычев, нашел, но, сколько мне известно, он не находится в собрании законов, хотя действительность его несомненная. Добрые товарищи немцы подсылали послушать наши чтения и с некоторым неудовольствием отходили, но ссоры между нами никогда не происходило».[1] В этой же рукописи записок А. Н. Муравьева рассказывается о розни между «русскими» и «немцами», которые хотя и не ссорились между собой, но разделились на «партии» в 1811 г., работая над заданиями генерального штаба. «Общество наше состояло из весьма порядочных людей Русских и немцев, и хотя все мы были в дружеских между собою отношениях, тем не менее немецкая партия мало-помалу отделилась от Русской, так что обе стороны стали собираться отдельно каждая и работать в особых местах больших чертежных зал».[2] А. Н. Муравьев даже подводит под это своеобразную «философию»: подобно-де тому, как инфузории двух различных капель воды не могут ужиться вместе при смешении капель и пожирают друг друга, не могут, оказывается, ужиться и русские с немцами. В «Записках» его брата Николая Муравьева-Карского рассказывается о столкновениях последнего с «русскими немцами»; в этих столкновениях он отстаивал честь русских, их национальное достоинство. Все эти случаи вырисовывают ясно линию Муравьевых, а с ними, очевидно, и всего их кружка, линию, близкую к отношению Чацкого к «французику из Бордо»: она выражалась в любви ко всему передовому — национальному, в защите достоинства русских, их права на преобладающую роль в управлении страной и в армии, — русские должны управлять Россией. «Жалкая тошнота по стороне чужой» и «пустое, рабское, слепое подражанье», очевидно, находили в них решительных противников. Эта линия была передовой новиковско-радищевской линией борьбы против дворянской галломании, слепого преклонения перед всем иностранным, линией на национальную самостоятельность, которая позже нашла такое яркое воплощение как в конституционных проектах декабристов, так и во всей идеологической системе Северного и Южного обществ. Национальная идеология этого зарождающегося общества тесно связана с характерной для него «радищевской» любовью к отечеству.

Именно радищевская традиция является характерной чертой как Священной артели, так и «Союза Спасения». Вопрос о влиянии Радищева на декабристов вообще мало изучен. Вопрос о радищевской традиции в Священной артели не оставил после себя каких-либо резко ощутительных следов в документальном материале, но отблеск этой традиции лежит на деятельности кружка, что будет сейчас показано. То, что вольнолюбиво настроенная молодежь вообще была знакома с Радищевым, не подлежит сомнению. Прямое свидетельство этого есть, между прочим, в деле Кюхельбекера. Горько каясь и выгораживая себя, Кюхельбекер пытается доказать, что такие произведения, как запретные книги Радищева или Княжнина, привлекают-де любопытство читателей только потому, что запрещены. Защищая свободу печати и возражая против цензурных стеснений, Кюхельбекер пишет о чрезвычайном распространении «рукописной словесности», причем упоминает, что читал и «„Вадима"

[1] Неопубликованная рукопись записок декабриста А. Н. Муравьева, ч. II, л. 8 (2 об.). Библиотека им. В. И. Ленина, Рукописное отделение, фонд Шаховских, Шах/II, 18/13 б.

[2] Там же, л. 7.

Княжнина и „П у т е ш е с т в и е . . .“ Радищева, в котором я мало что понял. Между тем их переписывают с жадностью и дорожат каждым дерзким словцом, которое находят в них».[1] Оставим на совести кающегося узника даваемые им квалификации: для нас в этом свидетельстве важно, во-первых, прямое указание на знакомство лицеистов с Радищевым; во-вторых, свидетельство о наличии его рукописных экземпляров; в-третьих, ценна и характеристика отношения к нему — его переписывали с ж а д н о с т ь ю и дорожили каждым дерзким словом. Неудивительно, что лицеисты были знакомы с этим запретным произведением. В булгаринском доносе указано, что Лицей был прямо складом запретных изданий и рукописей: если что из них надобилось начальству, то «относились прямо в Лицей», где всегда и находили искомое. Кюхельбекер был весьма осведомлен «рукописной словесности»: заверяя следствие, что он никогда не написал ни одного стихотворного политического пасквиля, он попутно ярко и наивно обнаружил широкое знакомство с такого рода литературой: «ни одного из всех известных и неизвестных правительству пасквилей не признаю своим».[2]

В «Записках» Николая Муравьева есть рассказ об одном очень своеобразном случае, таком своеобразном, что законно поставить вопрос об истоках той идеологии, которая его породила. Возвращаясь в 1814 г. из-за границы на родину, Николай Муравьев остановился в Риге в трактире «Лондон». «Ввечеру вошел ко мне человек, который просил меня от имени своего барина зайти к нему вниз». Н. Муравьева хотел видеть поручик лейб-гвардии драгунского полка Кардо-Сысоев, тяжело раненный под Фер-Шампенуазом и находившийся при смерти. «Я поспешил сойти вниз. Кардо-Сысоев сидел на канапе и был более похож на мертвеца, чем на живого человека. Он был ранен палашом в левую сторону груди близ сердца, и рана его была очень глубокая; в нее вставляли зонды, которые уходили вершка на два в тело. Когда он кашлял, то гной пузырями выходил из раны; нельзя было сомневаться в том, что ему оставалось мало времени прожить». Казалось бы, в рассказе Николая Муравьева должна была бы далее встретиться обычная христианская мораль, подготовка умирающего к смерти, осторожное предложение послать за священником, разговоры об исповеди и причастии и обычные утешения в православно-церковном духе. Но вместо этого мы находим нечто совершенно неожиданное: «Вы мучаетесь, любезный, — сказал я ему, — завтра ожидаете смерти. Рассудите, не выгоднее ли вам было бы застрелиться. Я сейчас пошлю за своими пистолетами и дам вам средство прекратить свои страдания, которые, по словам вашим, должны непременно прекратиться смертию завтрашний же день. . . Вы только длите свои страдания. . .».[3]

Этот рассказ невольно напоминает нам известный эпизод из радищевского «Жития Федора Васильевича Ушакова»: смертельно больной Ушаков также доживает последние часы — «завтра он жизни не будет уже причастен» — и, зная о неминуемом конце и претерпевая ужасные страдания, умоляет друга дать ему яду, «да скоро пресечется его терзание». Его просьба не была исполнена друзьями, в том числе и Радищевым, но сам Радищев позже осудил эту нерешительность: «Но почто толикая в нас была робость. Или боялися мы почесться убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляяй страждущего от конечного бедствия

---

[1] ВД, II, стр. 167.
[2] ВД, II, стр. 157.
[3] Русский архив, 1886, № 2, стр. 126.

или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нелживым признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно, или продлится она в нем на час еще один; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. . . Мой друг, ты укоснил дать помощь Федору Васильевичу, но не избавился вперед может быть от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стенящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемуся и ее возненавидевшему».[1]

Мне кажется, можно высказать предположение о влиянии Радищева на моральные воззрения Н. Муравьева и возвести его необыкновенный в устах православного совет умирающему покончить с собой именно к цитированному эпизоду «Жития Федора Васильевича Ушакова», изданного в 1789 г. в Петербурге и наделавшего много шума; это была одна из вольнодумческих книг.

Все это подводит нас к последней черте идеологии Священной артели. Эта черта — неверие. Самый термин «неверие» принадлежит Александру Муравьеву, основателю артели, и неоднократно им употребляется в показаниях на следствии. Он считает религиозное неверие даже одной из причин образования «Союза Спасения». Это место уже цитировалось выше: тайное общество составилось после возвращения из-за границы «по ложной ревности, по ложному и безрассудному понятию о любви к Отечеству, по неверию и невежеству нашему».[2] Книги Монтескье и Руссо, как говорит кающийся Александр Муравьев, писаны «под влиянием собственного поврежденного разума человеческого, лишенного света веры».[3] Члены первого тайного общества, по его же показаниям, «кружились вне религии» («я не знал также, что истинно полюбить Отечество свое невозможно, ежели кружиться вне религии»[4]). Муравьев ставит себе в заслугу то, что, отойдя в 1819 г. от тайного общества, он старался «изводить и их из заблуждения и обращать к святой религии»,[5] что уже само по себе свидетельствует об отходе членов тайного общества от «святой религии». Особенно характерно свидетельство А. Муравьева, что, разорвав с обществом, он «много однако потерпел в публике, ибо выставлен был как ханжа, святоша, лицемер и религиозный фанатик».[6]

«Безверие» Пушкина, отмеченное лицейским начальством, было, как видим, свойственно не ему одному: это была характерная черта передовой молодежи того времени, нашедшая себе выражение, например, в Священной артели. Выросшее в самом Пушкине, во внутреннем процессе его развития, его неверие питалось из общих идейных источников эпохи, рожденных философией просвещения и французской революцией. Возникнув в поэте, оно находило разнообразные поддерживающие его влияния и в окружавшей его среде. Прежде всего это была среда его товарищей, а между ними находились и члены Священной артели. Написанное по заказу начальства лицейское стихотворение «Безверие» 1817 г. созвучно настроениям первых представителей декабризма. Образ

---

[1] А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, Изд. АН СССР, 1938, стр. 185—186.
[2] ВД, III, стр. 16; ср. стр. 17.
[3] Там же, стр. 8.
[4] Там же, стр. 17.
[5] Там же, стр. 20; ср. стр. 22.
[6] Там же, стр. 24.

неверующего дан в «Безверии» лишенным каких бы то ни было колебаний; его положение обрисовано в заказном стихотворении как прочно безвыходное: его душа — «увядшая» душа, «ужасная пустота» его томит, искать божества в природе для него «напрасно»; его слезы — слезы «отчаянья» и «ожесточенья»; «Он бога тайного нигде, нигде не зрит» и тихому моленью он внимает «с досадой». Финал дает дополнительную формулу: «нет, нет! не суждено Ему блаженство знать! Безверие одно, По жизненной стезе во мраке вождь унылый, Влечет несчастного до хладных врат могилы». Обрисованный конфликт в стихотворении не разрешен, выхода нет, — ясно, что неверующий, какого бы сожаления он ни был достоин, не верит и *не будет верить*. Заключительные строки стихотворения об ожидающем его «в пустыне гробовой» *покое*, в котором он, измученный, столь нуждается, звучат как условное разрешение конфликта, но отнюдь не в пользу веры. Под формулой Пушкина «Ум ищет божества, а сердце не находит» подписался бы не один «неверующий» декабрист. Утром 9 апреля 1821 г. Пушкину было о чем говорить с Пестелем на религиозные темы: «Mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y refuse»,[1] — сказал ему Пестель. У него тоже ум искал божества, а сердце не находило.

VI

Мы не имеем прямых данных о посещении Священной артели Пушкиным и должны выбирать поэтому между двумя предположениями. Первое: живой и общительный Пушкин, дышавший в Лицее воздухом свободолюбия, рвавшийся к общению с людьми («безбожно молодого человека держать взаперти», — жаловался он П. А. Вяземскому в письме из Лицея в марте 1816 г.), не бывал там, где «частым гостем» был его ближайший, душевный, кровный друг — Иван Пущин, куда тянулись еще три лицеиста — друг Вильгельм Кюхельбекер, друг Дельвиг, хороший приятель Вольховский. Другое предположение противоположно: возможно, что и бывал. Если пришлось бы выбирать между двумя гипотезами, я не колеблясь выбрала бы вторую как наиболее правдоподобную. Если же учесть еще и то, что Пушкин, несомненно, был знаком с братом своего лучшего друга Ивана Пущина — Михаилом и, очевидно, знал также и родственников Пущина Колошиных,[2] если учесть, что Кюхельбекер «всегда был приятелем»[3] с Пущиным, то основания для такого выбора дополнительно укрепятся.

Но дело, разумеется, не исчерпывается вопросом о том, посещал ли Пушкин Священную артель. Вопрос гораздо глубже и значительнее. Тема о Священной артели значительно расширяет наше представление об *идейной атмосфере*, которая окружала молодого Пушкина в последние лицейские годы и после выхода из Лицея. Друзья и товарищи, «частые посетители» артели, не могли не доносить эту идейную атмосферу до Пушкина. Она не могла не отражаться в их разговорах, в спорах, в самом поведении, в суждениях о постоянно волновавшем их «зле существующего порядка вещей». Без этой атмосферы

---

[1] Сердцем я материалист, но мой разум этому противится.

[2] Петр Колошин на допросе показал, что знал «двух Пущиных, с коими нахо[3] в родстве» (ЦГИА, фонд 48, д. 224, л. 1 об.).

жусь ВД, II, стр. 189.

невозможно понять вольнолюбивой поэзии Пушкина и прежде всего «Вольности».

Обычное представление о том, что идеология «Вольности» родилась только в тургеневском кругу под идейным воздействием Николая и Александра Тургеневых, представляется в силу изложенного выше слишком узким. Этот круг и это воздействие — лишь один из компонентов окружавшей Пушкина гораздо более широкой и богатой среды, в которой он сам был столь значительной активной силой. Русская общественная жизнь окружала молодого Пушкина сложным кругом явлений, и в этом кругу одно из важнейших мест занимает колыбель первого тайного декабристского общества, преддверие «Союза Спасения» — Священная артель

ЗАПИСКА Т. Е. БОКА

Публикация А. В. Предтеченского

Декабрист А. М. Муравьев в своих записках, озаглавленных «Мой журнал» (они написаны в 1852—1853 гг.), говоря о последних годах царствования Александра I, сообщал следующее: «Совершались неслыханные несправедливости. . . Полковник Бок, поддерживавший в течение долгого времени переписку с Александром, был заключен в Шлиссельбургскую крепость (где умер безумным) за то, что в одном письме напомнил, что царь отрекся от своих первоначальных настроений».[1] Это единственное упоминание о Т. Е. Боке в декабристских документах. Но если о Боке знал Муравьев, то, очевидно, знали о нем и другие декабристы. Они не могли быть в курсе дела всех подробностей, приведших его в Шлиссельбургскую крепость. Но сведения о нем как о жертве александровского деспотизма и коварства получили распространение в декабристских кругах, как показывает приведенная запись Муравьева. Эти сведения, пусть даже не совсем точные и, быть может, несколько приукрашенные, но, тем не менее, совершенно верные в отношении самого факта расправы царя с мужественным человеком, вошли в обвинительный акт против самодержавия и крепостничества, составлявшийся декабристами. В формировании революционной идеологии декабристов отвратительная по своей жестокости расправа Александра с Боком, получившая все же огласку, несмотря на чрезвычайную секретность дела, сыграла свою роль.

Трагическая история Бока, разыгравшаяся в Лифляндии в 1818 г., представляет значительный интерес как показатель общего политического подъема, охватившего передовую дворянскую интеллигенцию России в период организации тайных обществ. Бок не имел никакого понятия о декабристах, но он, совершенно независимо от них, пришел ко многим положениям, вошедшим впоследствии в декабристские программы. Политическая идеология Бока, несмотря на ее даже бо́льшую по сравнению с декабристами дворянскую ограниченность, близка к их идеологии, хотя он не был членом тайного общества. По всем признакам, Бок и не мог им быть: ко времени составления той записки, которая привела его в Шлиссельбургскую крепость, он отрицал методы революционной борьбы (никто, впрочем, не может сказать, какова была бы эволюция его взглядов после 1818 г., если бы он оставался на свободе).

Ценность записки Бока увеличивается еще и в силу того обстоятельства, что он, живя в Лифляндии и будучи во многом связан с лифляндским дворянством, совершенно свободен от каких бы то ни было упреков в областничестве. Он чувствует себя прежде всего русским, а потом уже лифляндским дворянином. Его программа отнюдь не ограничена защитой местных интересов, он мыслит в общегосударственных масштабах. Любовь Бока к родине — а ее он доказал не только своей запиской, но и всей жизнью — не местный патриотизм лифляндского дворянина, а патриотизм представителя передовых слоев дворянства, живущего в России и ощущающего свою неразрывную связь со всей страной.

Знакомство с жизнью и деятельностью Бока заставляет историка общественно-политической мысли в России декабристской эпохи с еще большей настойчивостью искать фактов, аналогичных тому, какой являет собой трагическая история Бока. Вряд ли можно сомневаться в том, что выступление Бока против самодержавия и крепостничества не было единственным в среде передового русского и не русского дворянства, оставшегося в стороне от декабризма. Изучение материалов эпохи, исследованных еще в сравнительно слабой степени, позволит, очевидно, установить немало

[1] Воспоминания и рассказы деятелей Тайных обществ 1820-х годов, I. М., 1931, стр. 119.

фактов, свидетельствующих об интенсивной работе политической мысли в кругах передового дворянства. А это даст возможность лучше понять обстоятельства возникновения декабристских тайных обществ.

Тимофей Егорович Бок родился в 1788 г. в семье состоятельного лифляндского помещика. Воспитание он получил под руководством философа и историка Лерберга, в 1810 г. избранного экстраординарным академиком. Лерберг привил своему воспитаннику вкус к философии, литературе, искусству и сумел его настолько сильно привязать к себе, что дружеские отношения между ними сохранились вплоть до смерти Лерберга в 1813 г. В восемнадцатилетнем возрасте Бок начал военную службу сначала в Мариупольском, потом в лейб-гвардии гусарском полку. Участвовал во всех войнах, которые вела Россия с 1806 г. Начав службу корнетом, Бок в 1813 г. был уже полковником, к тому же награжденным несколькими боевыми орденами и золотым оружием за храбрость.

Независимость взглядов Бока обнаружилась с полной ясностью в записке, поданной им в 1813 г. П. Х. Витгенштейну. В ней он указывал на необходимость устранить от влияния на военные и политические дела не кого другого, как самого А. А. Аракчеева. В том же году Бок обратился с письмом к М. Б. Барклаю де-Толли, в котором доказывал необходимость твердости и самостоятельности в действиях главнокомандующего, чего, по его мнению, Барклаю как раз и нехватает. Послав это письмо, Бок писал своему другу (имя его осталось неизвестным): «Меня пока не повесили, несмотря на то, что я подал записку, которую вам читал, не изменяя в ней ни слова».

С юношеских лет Бок находился в дружеских отношениях с В. А. Жуковским, посвятившим ему несколько стихотворений и очень тепло к нему относившимся. Бывая в Петербурге, Бок вращался в литературных кругах. Он, кроме Жуковского, постоянно общался с Н. М. Карамзиным и А. И. Тургеневым. Бывал он также и у Александра I, знавшего его с первых лет военной службы. В 1814 г. Бок подал прошение об отставке, мотивируя свое решение необходимостью заняться домашними делами. Отставка не была принята благодаря настоянию Барклая. Бок перешел в Изюмский гусарский полк, в котором оставался до 1816 г., когда вторично подал прошение об отставке, на этот раз удовлетворенное. Сейчас же после отставки он уехал в свое лифляндское имение Войсек.

Вскоре Бок женился — по понятиям его круга — довольно эксцентрическим образом. Его женой стала эстонская крестьянка, которую он сам воспитал и образовал. По поводу этой женитьбы, наделавшей много шуму в дворянских кругах, он писал одному из своих друзей: «Я выбрал себе подругу не по внушению слепой страсти, а согласно плану, который составил себе для жизни, не обращая внимания на то, что скажет свет. Вера и самостоятельность — тяжелый лозунг, которому я посвятил всю свою жизнь».

В войсекском уединении Бок начал писать биографию Лерберга. В этом сочинении особенного внимания заслуживает мысль о предмете истории. Бок упрекал Лерберга за то, что тот уклонился от решения самых насущных задач, стоящих перед историком. Занимаясь своими хрониками, Лерберг спрятался за них, подобно тому как император Диоклетиан искал убежища от государственных дел в огороде. Лерберг, изучая прошлое России, должен был бы доказать, что основные задачи текущего дня заключаются в поднятии политического значения дворянства и среднего сословия, без чего нельзя говорить об улучшении положения крестьян.

Живя в Войсеке, Бок занимался и сочинением своей записки, сыгравшей столь роковую роль в его жизни. Он работал над ней, вероятно, в течение 1817 и первых месяцев 1818 г.: черновик записки датирован 22 марта 1818 г.

Записку свою, предназначенную для прочтения в собрании лифляндского дворянства, Бок через министра полиции С. К. Вязьмитинова отправил Александру I. Результат этого шага оказался отнюдь не неожиданным для Бока: как явствует из заключительных слов его записки, он предвидел, что царь не простит ему столь неслыханной дерзости. Бок не ошибся. 9 мая 1818 г. Александр I отправил лифляндскому и курляндскому генерал-губернатору маркизу Ф. Паулуччи предписание об аресте Бока и о направлении его в Шлиссельбургскую крепость. Царь писал, что Бок — несомненно сумасшедший. Только поэтому он не предает его военному суду. Но сумасшедших нельзя оставлять на свободе. Поэтому царь назначает Боку в качестве изолятора Шлиссельбургскую крепость. В явном противоречии с только что высказанным утверждением Александр выражал беспокойство по поводу того, нет ли у Бока сообщников, и приказывал Паулуччи тщательно обследовать все его бумаги.

В крепости Бок содержался в не совсем обычных условиях. Ему было запрещено писать. Но в рапортах коменданта Шлиссельбургской крепости генерал-майора

Плуталова начальнику главного штаба князю П. М. Волконскому, в которых сообщалось о Боке, имелись сведения об израсходовании денег на предметы, необычные в арестантском обиходе. Плуталов сообщал о покупке восковых свечей, шоколада, сигар, «колонской воды». В одном из рапортов он писал, что Бок «чувствительно благодарит за милость его императорского величества — за присланную фортепиану», а в другом отчитывался в 25 рублях, заплаченных клавикордному мастеру за настройку инструмента, находившегося в каземате Бока. Только в 1820 г. Боку была разрешена переписка с женой, которая до самого его перевода в Петропавловскую крепость не знала, где он находится. Переписка скоро прекратилась, вследствие болезни Бока.

В ежемесячных рапортах Плуталова Волконскому, посылавшихся до 1826 г., вначале сообщались сведения о том, что Бок внешне спокоен, читает и играет на фортепиано. В рапорте от 14 октября 1820 г. появились первые сведения о болезни Бока: он «стал заговариваться». В дальнейших рапортах эти сведения повторяются. Очевидно болезнь быстро прогрессировала: в скором времени Бок впал в буйное помешательство. Рапорты Плуталова воспроизводят почти клиническую картину сумасшествия. В минуты просветления Бок сильно тосковал о своем сыне, которого он даже не видел: в момент ареста его жена только ожидала рождения ребенка. Волконский приказал Плуталову сообщить Боку, что царь обещал ему возможность увидеть сына, если он будет вести себя «смирно и с раскаянием». Плуталов, выполняя это приказание, пробовал, как он писал в одном из рапортов Волконскому, добиться от Бока признания и раскаяния, но Бок молчал. Больше своих попыток Плуталов не возобновлял.

Брат Бока через великого князя Николая в 1821 г. безуспешно ходатайствовал о его освобождении. В 1826 г. он возобновил ходатайство. Николай I велел произвести медицинское освидетельствование Бока, чтобы установить возможность возвращения его в семью. Посетивший Бока штаб-лекарь Элькан — это было первое со времени ареста посещение узника врачом — признал полезным его освобождение. В 1826 г. Бок был переведен в Петропавловскую крепость, где состоялось его первое свидание с женой, которую он с трудом узнал. Свидания и переписка продолжались до 10 мая 1827 г., когда он был освобожден. Ему разрешено было жить в Войсеке под надзором местных властей. В 1830 г. родственники Бока ходатайствовали о разрешении ему уехать для лечения в Ревель, Дерпт или за границу. Николай I разрешил только временный выезд в Феллин.

О жизни Бока в Войсеке после освобождения сведений не сохранилось. По некоторым косвенным данным, можно предполагать, что от своей болезни он не излечился. В 1837 г. выстрелом из пистолета он покончил с собой.[1]

Записка Бока печатается по черновому автографу, хранящемуся в Центральном историческом архиве в Москве, в фонде 1-ой экспедиции III отделения, д. № 292, 1841 г. В деле имеются два автографа записки — на немецком и французском языках, из которых немецкая рукопись является первоначальным текстом записки, французская же — ее авторизованным переводом. Печатаемый с некоторыми сокращениями перевод сделан с французской рукописи, так как именно она была послана Александру I. Беловой текст, полученный Александром I, не разыскан.

ЗАПИСКА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА И ПРОЧТЕНА СОБРАНИЮ ЛИФЛЯНДСКОГО ДВОРЯНСТВА В 1818 г.

Сочинена Б., переведена с немецкого языка. Войсек, 22 марта 1818 г.

Покорный судьбе, я не надеюсь окончить свои дни у отцовского очага. Возможно, господа, что я присутствую на этом собрании в первый и последний раз. . .

---

[1] Сведения для настоящей справки заимствованы из статьи Н. Лыжина «Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы» (Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравова, т. I, М., 1859), публикации трех писем Александра I маркизу Паулуччи (Русский архив, 1886, т. 5) статьи Бока «Timotheus Eberhard Bock und seine Moskowitischen Bewünderer» (Livländische Beiträge, B. I, Heft IV), книги: W a g i e n. Baltische Stüdien und Erinnerungen fon Dr. Bertram. Dorpat, 1868 — и других печатных изданий, а также из архивных документов о Боке, хранящихся в Военно-историческом архиве, Центральном историческом архив в Москве и в Центральном историческом архиве в Ленинграде.

Воспитанный в лагере, мало осведомленный в экономических делах, с ранней молодости почти чужой в Лифляндии, я не собираюсь, господа, давать вам советы по поводу устройства и организации дел, специально касающихся Лифляндии. Я убежден, что этот предмет достаточно исследован другими. Я прошу вашего внимания как дворянин и, особенно, как честный человек. Отнеситесь благосклонно к некоторым моим рассуждениям, которые, по крайней мере, свободны от эгоизма. Все, чего я хочу, это — не показаться вам недостойным теней усопших, которые нас здесь незаметно окружают. Я изгоняю всякие личные соображения, но если дело касается отечества, не следует щадить никого, даже собственного отца.

Мы живем в весьма замечательную эпоху. Весь земной шар от полюсов до экватора, от берегов Перу до стены древнего и неизменного Китая находится в брожении. Можно было бы подумать, что бог пересматривает дела своего творения и что он дает новый образ решительно всему, от затаенных мыслей отдельного человека до наиболее важных общественных учреждений. Сколько мы видели внезапных изменений в правительственных учреждениях, во мнениях и в науке! Мы не могли оставаться всегда посторонними зрителями — кризис задел и нас. Изменение старых форм происходит очевидным образом, на смену им придут новые и лучшие. Но ценой скольких жертв и заблуждений! Вот вопрос, в котором ныне живущие должны будут отдать отчет потомству.

Усовершенствования и общее благо — модные слова. Но пусть остерегутся судить людей по их словам. В течение 13 лет, что я служу государству, все, что произошло для людей хорошего, явилось, почти без исключений, результатом эгоизма, который стремился к собственной гибели, ничтожества и нищеты, которые приводили к великим потрясениям, и отчаяния, которое, наконец, разбивало цепи, ставшие невыносимыми.

Много ли существует людей, которые могли бы сказать с искренностью: таково было мое намерение и так я его выполнил? И если среди миллионов находится один человек, который соединяет гений и энергию с честностью, он оказывается изгнанником.

Рабство есть институция, столь же бессмысленная, сколь и возмутительная. Наш монарх не может его одобрять. Он, как беспристрастный отец народа, должен трудиться над уничтожением этого позора, так как монарх в такой же мере не может быть главой аристократической партии, как он не может быть главой демократической. Он может иметь только один девиз: отечество, и все пристрастные соображения должны отходить на второй план перед этим девизом. . .

Споры по вопросу об освобождении крестьян имели с самого начала подозрительный характер, так как никто не был заинтересован в отказе от своих наиболее существенных прав и никто не чувствовал в себе достаточно силы, чтобы отказать в чем-либо правительству. Император старался купить наших стариков приманками двора, а нас самих ослепить красивыми фразами, в то время как дворянство, со своей стороны, платило большей частью жетонами вместо полновесной монеты.

Прежде чем пуститься в длинные рассуждения, нам следует ответить себе без всяких иллюзий на два вопроса:

1. Являемся ли мы труппой комедиантов, созванных сюда, чтобы разыграть фарс, о котором его величество и светлейший условились уже давно, или мы подлинные дворяне, которые не могут считать себя созданными для того, чтобы разыгрывать шутовские роли, и которые имеют достаточно энергии и средств, чтобы сообщить его величеству, в случае необходимости, вполне ясно выраженную мысль?

2. В наших ли интересах как дворянского сословия и в интересах ли страны в целом отделить от нас крестьянина, а нам стать не более чем колонией, временно занимающей привилегированное положение?

Не подлежит сомнению, господа, что никто в этом собрании не хочет унизиться до недостойной нас роли, но дело идет о том, чтобы знать, можем ли мы сыграть лучшую роль. Зачем сомневаться в возможности сделать то, что уже в течение века зависит от нас? Если правительство и особенно мы сами видим в лифляндском дворянстве только маленькую иностранную колонию, подобную расположенным на юге и в окрестностях С.-Петербурга, то естественно, что, не имея сил, мы не имеем и прав. В таком случае мы — не более как кучка торговцев хлебом и водкой, с которой делают, что хотят, и которая вдобавок должна благодарить за палочные удары.

Но если мы громко и единодушно объявим себя неотделимой частью русского дворянства, которая отличается от других только тем, что она заключила соглашение с правительством, и которая очень удивлена тем, что другие не имеют подобного соглашения, тогда мы не только вольемся в ряды национального дворянства, но и станем некоторым образом во главе его в силу древности наших конституционных прав, от которых мы никогда не отказывались. Если правительство будет открыто противодействовать этому, вся масса русского дворянства поднимется против него. Если правительство захочет потихоньку отомстить нам, то у нас найдется достаточно решительных людей, чтобы применить репрессии по отношению к правительству. Мы нуждаемся в подобном единении с национальным дворянством и, что еще лучше, — с самой нацией, больше, нежели в том, чтобы провозглашать нашу волю.

Я не могу требовать, чтобы ваши характеры целиком совпадали бы с моим, тем более что на меня со времени рождения воздействовали чрезвычайные обстоятельства. Лифляндия всегда была для меня родным домом, наиболее дорогим для меня местом на земном шаре, но никогда не была отечеством. В вас, господа, я вижу моих дорогих соседей, как вижу в каждом эстонце своего соотечественника. Но сердце мое целиком принадлежит только великому народу, в тесном единении с которым я предпринял и совершил то, что является наиболее прекрасным в мире, ибо я горжусь тем, что никогда не служил чужеземцам и всегда прислушивался только к голосу собственного сердца.

Если бы Наполеон победил и Лифляндия была бы формально отделена от России, — разве я изменил бы отечеству и стал бы слугой Бонапарта? Ведь не ради этих символов рабства я встречался со смертью в 60 сражениях. Если бы кто-либо позавидовал этим крестам и лентам, я с радостью уступил бы их ему. Мы, лишенные, в силу хода вещей, утешения религии — наши церкви являются храмами равнодушия (это и не может быть иначе), — насколько были бы мы несчастны, если бы мы не имели даже отечества? Чем бы отличались мы тогда от презреннейших тварей — особенно ныне, когда разврат и честолюбие вытесняют наши древние нравы? Пусть мне не говорят о философах и космополитах — все это не более как прикрашенный эгоизм и ничтожество. . . .

Всякий народ проходит стадию грубости и варварства, прежде чем достичь цивилизации, и прежде чем эта последняя не выродится снова в варварство. Народ, освещенный заревом Москвы, — это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет.

Большие неприятности ожидают тех, кто мог бы в этом сомневаться. В истории народов, так же как в жизни человека, бывают моменты, вне-

запно меняющие все их существование. Вспомните вашу жизнь и согласитесь с тем, что первая любовь, первая измена, первое горе и первый успех меняли ваш характер почти волшебным образом. . .

Первые 6 недель царствования Петра III (добродетель для большинства государей имеет только прелесть новизны), по прошествии которых этот слабый государь стал предпочитать рыболовную сеть и свою гольштейнскую клику тяжелым обязанностям правителя, так же как и манифест Екатерины II, в котором она оправдывает низложение своего глупого мужа, достаточно доказывают, насколько нуждалась нация в порядке, справедливости и благопристойности. Законами Екатерины национальному дворянству формально была обеспечена безопасность от произвола и постоянные представительные учреждения — как классу, пользующемуся конституционными правами. Павел поплатился жизнью за насилие над дворянством, и если с тех пор появились еще новые примеры рабства, желание спокойного и достойного существования обнаруживается теперь (когда нация признала свое единство и силу) с тем большей силой. Даже если бы в России не было дворянства, ее народ все равно занял бы выдающееся место среди других цивилизованных народов. Тот, кто сам имел случай сравнить низшие классы различных стран, находил, что русский бородач занимает первое место в Европе по своей религиозности, любви к родине, чистосердечию, деятельности, сообразительности. Нам нехватает еще, к несчастью, третьего сословия, вследствие чего, несмотря на большие усилия, мы постоянно падаем в грязь. Но что нам мешает создать его? С великой способностью русской нации к совершенствованию для этого нужно не более 20 лет.

Наша армия не нуждается в похвалах — пусть скажут французы, что они о ней думают. Все, что в ней есть возмутительного, должно быть отнесено за счет заблуждения императора, имеющего несчастную претензию считать себя, подобно своему отцу и деду, военным. Возвращаясь с парада, где они перед иностранными послами и собственными адъютантами играли роль шутов, они имели такой вид, как будто выиграли сражение. Излишне прибавлять, что все говорили им комплименты по поводу выправки гвардии и что хитрецы доказывали им, как дважды два, что парады — основа всего общественного порядка, процветания народа и даже религии. . .

Как государи любят быть вводимы в заблуждение, как они ненавидят тех, кто осмеливается открыть им глаза, как предпочитают они красивый обман суровой любви!

Вернемся от этого отвратительного сюжета к приятной картине, которую представляет собой нация.

Для нашего флота кругосветное путешествие не представляет ничего особенного. Мы имеем государственных людей с большими заслугами, способных решать задачи европейского масштаба. И хотя правительство ослабило духовенство в целом, голос Платона слышится с тем большей силой. Что касается искусства и науки, то Россия заслуживает в этом отношении большого уважения. Хотя русские пойдут дальше, но те, кто знает Державина, Дмитриева, Озерова, Крылова, Батюшкова, Жуковского, те, кто изучал Карамзина, видел Мишина и Пожарского, работы Толстого, Егорова и Уткина, те, кто слышал литургию Бортянского, кто видел на сцене Шушерина, Брянского, Семенову и Данилову. те, господа, отдадут справедливость этим славным именам. причем сделают это тем более охотно, если они знакомы с античным миром. . .

Мы должны быть русскими, мы можем быть русскими, станем же русскими — лишь в этом качестве мы сможем свободно обсудить вопрос

о том, заинтересованы ли мы в освобождении крестьян. . .

Рассмотрим теперь со строгим беспристрастием, насколько унизилось дворянское сословие в самом важном, в самом священном вопросе — вопросе о чести — с того времени, как зашла речь о частичном освобождении крестьян. . .

Предположим, что внезапно явился некий благословенный император, глава Священного союза, президент Библейского общества, который в память страданий Христа благочестиво отдал бы свою империю в руки льстецов, сводников, авантюристов, который обладал бы такой огромной коллекцией игрушек, что нам пришлось бы отдать последнюю каплю крови, чтобы ее содержать, который сделал бы всех наших дворян шутовскими капралами, который в один прекрасный день приказал бы превратить крестьянские хижины в греческие храмы, который приказал бы нам иметь только таких лошадей, которые не могут жить без овса, в то время как мы едва имеем достаточно соломы, который приказал бы под страхом наказания обсадить все дороги двойными аллеями, вследствие чего многие потеряли бы половину своих полей, в то время как другая половина лишилась бы скудного в нашем климате света солнца; добавим, что мы имели бы основания опасаться того, что, воспрепятствовав домашнему образованию запрещением всех книг, он заставил бы нас посылать наших детей к пиэтистам или под палки своих капралов.

Предположим, что явился бы император, который не постыдился бы войти в связь с проституткой, или мошенником, или профессиональной обманщицей, выдающей себя за божью избранницу, учинил бы над нами самые возмутительные насилия, обманул бы всех наших крестьян или превратил бы их в мерзавцев, собственным примером уготовил бы всем преступлениям блестящее убежище в храме лицемерия. И предположим, что этот же благословенный государь начал бы строить церковь или экзерцизгауз, угодный богу и столь же величественный, как египетские пирамиды, а московиты не захотели бы принять на себя связанные с этим расходы, и что тогда благословенный государь счел бы за благо использовать для этого святого дела наши средства, тем более что мы редко ходим в церковь. Кто из членов Государственного совета воспротивился бы подобной мере? Что сказали бы вы тогда?

Не говорите о прекрасном послании в ответ на наши великие жертвы. Сколь прелестны были слова, с которыми обратился к нам император! Каков был результат? То, что его величество произвольно приказал нам построить шоссе сверх нашей нормы и запретил всякие представления по этому поводу

Если в нашей доброй России лицемерие и деспотизм государей будут иметь те же последствия, какие мы видели и продолжаем видеть во Франции, — неверие, отвратительные зверства и все ужасы отчаяния, — что скажете вы тогда? И если, наконец, московиты, не будучи в состоянии сносить долее подобное безобразие, пошлют этого святого человека по дороге его отца и деда и если эти московиты, по-настоящему раздраженные против нас (за то, что мы изменили своему делу так же, как и их делу), совсем не вмешаются вооруженной силой в наши распри с крестьянами и предоставят им свободу действий, что скажете вы тогда?

Смертные! Никогда не жалуйтесь на ваших государей — они являются только тем, что вы из них сделали. Но когда с колыбели вы отравляете их души низостью и подлостью, как же вы хотите, чтобы они дорожили вашим благом? . . .

Я предлагаю вам поразмыслить над тем, насколько улучшится положение крестьян, когда они будут освобождены от власти их господ. Назо-

вите мне в Лифляндии таких крестьян, которые были бы так угнетены, как государственные крестьяне, осчастливить которых императору не мешает никакое дворянство. Спросите, пожалуйста, какое возмещение получили крестьяне Ораниенбаумского уезда прошлой осенью за причиненные во время маневров убытки и за целиком уничтоженные яровые? Я представлю вам акт, который я сам составлял в хижинах этих несчастных. Спросите во всех губерниях империи, какие жертвы приходится крестьянам короны приносить хищничеству чиновников сверх оброка. Не чувствуете ли вы себя охваченными ужасом и негодованием, когда вы останавливаете свой взор на тех несчастных землях, принадлежащих короне, которые его величество выбрал для военных поселений? . . .

Благородное поведение, которое так выгодно отличает первые годы царствования его величества, заставило наших сограждан забыть, что они имели дело с деспотической формой правления. Самое жестокое разочарование последовало за этой недолговечной иллюзией. Его величество использует освобождение крестьян только в качестве повода, чтобы подавить единственный класс, который до сих пор сопротивлялся проявлениям тирании. Сами крестьяне разоряются огромными повинностями и жадностью чиновников. Деревни систематически опустошаются рекрутскими наборами, необходимыми в силу огромной численности армии. Домашний покой и преуспеяние крестьян принесены в жертву голоду и прихотям солдата и возмутительному произволу. Чтобы не обесчестить его величество перед лицом всей Европы, мы не хотим касаться того, что происходит во вновь созданных военных поселениях. Мы видим с великой скорбью, что вместо того, чтобы увеличивать благосостояние человечества, мы только дали деспотизму еще один кинжал.

Со времен Суллы и Нерона до Робеспьера, от Юстиниана до Филиппа II демагогия и ханжество всегда были верными спутниками тирании. Дворянство не может довериться свидетельству толпы, которая, будучи всегда слепой и разнузданной, то точит торжествуя топор своих палачей, то умерщвляет своих благодетелей, которая всегда переходит от одной крайности к другой, как об этом свидетельствует с полной очевидностью история всех времен и народов. Дворянство — как единственный конституционный и цивилизованный класс — вследствие этого больше всего заинтересовано в преуспеянии отечества. Дворянство вынуждено указать его величеству, что его обязанности по отношению к подданным не основаны ни на праве наследования, ибо оно было уничтожено явочным порядком, ни на постыдной церемонии присяги — не только потому, что религия не может иметь целью служить гарантией всякого рода преступлениям, но и потому, что существуют вынужденные обязательства, нарушать которые столь же почетно, как позорно соблюдать их. Мы надеемся, что его величество не видит в Дмитрии мятежника, хотя в течение двух веков государи России хранили клятву татарскому хану. Мы надеемся, что его величество не имел намерения изменить чести и свободе отечества за парад в Тильзите и другой парад в Эрфурте, хотя он это торжественно обещал в трактате с Наполеоном, которого он предал анафеме как врага отечества и человечества. Напротив, мы надеемся, что его величество, не имея достаточной силы, чтобы лучше умереть, чем обесчестить себя перед гнусным злодеем, имел по крайней мере довольно самолюбия, чтобы поклясться в Тильзите в вечной ненависти к нему.

Итак, как показывает пример его величества, клятвы никого не связывают и не должны связывать. Нам приятно думать, что наши обязан-

ности верноподданных покоятся на свободном соглашении, так как мы обещали подчиняться тому, кто не пришел к власти по праву безусловного наследования деспотов и на могиле тирана поклялся царствовать над нами, следуя законам Петра I и чувствам Екатерины II. Петр I царствовал вопреки законам наследования, по которым престол должен был перейти к его старшему слабоумному брату Ивану Алексеевичу и его детям. Этим он аннулировал так называемый закон о наследовании. Что касается чувств Екатерины II, то о них было очень определенно заявлено в ее первом манифесте. Так как его величеству при вступлении на престол было 23 года, мы вправе предположить, что он знал историю России и содержание манифеста императрицы Екатерины. Со времени основания Священного союза мы заметили, что наши газеты считают право государя исходящим от бога. Но мы, верящие во всемогущество бога, приписываем также его воле существование чумы, гиен, скорпионов, клопов и алжирских деев и думаем, что государи поступили бы очень хорошо, если бы они предоставили истории решить, были ли они орудиями божественной милости или гнева.

Мы же опираемся на законы справедливости и благоразумия, которые были гарантированы нам при вступлении его величества на престол, и заявляем:

Наша добрая воля уже завела нас слишком далеко в деле освобождения крестьян, и мы ничего больше не будем предпринимать в этом направлении, так как дело заключается не в том, чтобы вскружить крестьянину голову словом «свобода», а в том, чтобы прочно утвердить благосостояние всей нации — с тем, чтобы и земледелец не потерял своего места. Поэтому мы требуем созвать съезд всего русского дворянства как нераздельного целого, чтобы принять меры, которые поставили бы предел правительственным злоупотреблениям и обеспечили бы 40 миллионам людей такое положение, при котором им не угрожали бы всевозможные несчастья, коль скоро одному человеку нехватает благоразумия или добродетели.

Хотя лифляндское дворянство отличается особыми свойствами и никогда не захотело бы отречься от справедливых прав своих предков, тем не менее мы смотрим на Россию как на наше великое и священное отечество, которому мы приносили в жертву уже в течение ста лет самое дорогое, что есть у человека, — нашу кровь. Мы взываем к тепям всех тех, кто погиб под русскими знаменами, в доказательство того, что мы не наемники деспотизма и что, коль скоро речь идет об отечестве, мы не уступим никому во всей империи. В силу этого мы, пренебрегая опасностью, обращаемся к императору с такими упреками за его плохое управление:

Хорошо только такое правительство, глава которого считает своей обязанностью заботиться о благе государства. Государь может претендовать на авторитет лишь в том случае, если достиг этой цели, если он уважает народ в целом в такой же степени, в какой каждый должен уважать государя, если он выбирает слуг государства из наиболее достойных людей, если он издает законы не случайно, а по обдуманному плану, если он пользуется популярностью за то, что видит свой народ не из окна спальни и слышит его не через посредство льстецов. Что же делается из всего этого у нас?

Первый принцип деятельности его величества заключается в том, чтобы предаваться собственным капризам и страстям и оправдывать величайшие безобразия. Он не ведает ни долга по отношению к своему

народу, ни силы, перед которой должен был бы отчитываться, и считает себя святым, когда с помощью угодливого духовника он, как говорит Тартюф, сговаривается с небом. Его страсти почти никогда не бывают достойными. Тщеславие, ничтожество и произвол — его божество, которому он приносит в жертву страну. С этой точки зрения следует рассматривать все его царствование. Единственный светлый период за последние 13 лет его деятельности — это тот, когда, находясь между смертью и позором, он решил поступить как мужчина, за что справедливое провидение увенчало его лаврами.

Император любит предписывать то, что красиво звучит, то, благодаря чему он хочет быть хвалимым как христианин, законодатель, герой, освободитель, покровитель искусств и наук, создатель благополучия нации, наконец как великий государь. Но когда дело доходит до осуществления этих красивых слов, начинаются поиски мундиров, созываются комитеты, в которых его величество ведет себя, как хитрец. Потом ведение дела поручают льстецам, сводникам и авантюристам, так как люди чести и таланта могут затмить его величество. Если министр подл и ограничен, он может быть уверен в милостях монарха, но достаточно иметь характер и талант, чтобы быть удаленным от двора навсегда. В результате — креатуры Александра только увеличивают нелепости Павла, мы же находимся в состоянии полной анархии.

Пален, Панин и Ростопчин изгнаны, Кочубей, Чарторижский, Новосильцев и Салтыков удалились сами, а дворянин Аракчеев (он был бы счастлив сделать из Александра лицемерного и кровавого Тиберия, если бы только имел ум сводника) стал визирем, сводник Голицын стал министром духовных дел и народного просвещения, лакей и сводник Волконский — военным министром, князь Козодавлев — министром внутренних дел, граф Гурьев — министром финансов, а шут Лобанов [1] — министром юстиции, Лопухин, продавший собственную дочь, стал председателем Государственного совета (министры другого сорта стесняли бы его величество).

Я спрашиваю вас: возможно ли, чтоб после этого дела империи шли хорошо, а чиновники не были вынуждены либо становиться мошенниками, либо уходить со службы?

Почему император так страстно любит парады? Почему тот же человек, которого мы знали во время пребывания в армии в качестве незадачливого дипломата, превращается во время мира в ярого солдата, бросающего все дела, едва он услышит барабанный бой? Потому что парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет.

Мы все видели влияние этой системы при Аустерлице, Дриссе и Бауцене. Чтобы не обнаружить своей неспособности, император постоянно парализует деятельность всякого истинного таланта и доверяется льстецам и авантюристам до тех пор, пока безнадежность положения не заставит его признать свое ничтожество, отказаться от игру-

[1] Приехав в Ригу в качестве военного губернатора, он с самого начала объявил, что его двери открыты для угнетенных и что последний бедняк найдет в нем покровителя. На следующий день весь замок наполнился крестьянами. Лобанов обратился к ним с речью на русском языке, крестьяне ничего не поняли. Лобанов, рассердившись на то, что они за сто лет не научились понимать по-русски, показал им язык и велел их прогнать. Удалив всех наших добрых судей, он насадил ужасающую продажность в теперешних судах Лифляндии. (Примечание Бока).

шек и предоставить возможность действовать тем, кто знает свое дело. Император заслужил справедливые похвалы за время от Лейпцигской битвы до Парижского мира, так как тогда он остерегался действовать самостоятельно и без колебаний следовал мудрым советам.

Каким образом проститутка стала основательницей Священного союза? Потому что это красивое слово окружает тщеславие его величества ореолом божественности. Так, попирая ногами заповеди религии, он стал первым человеком среди христиан.

Каким образом он стал изменником родине, введя в империю 60 тыс. польских телохранителей? Потому что он презирает идею отечества как высшего принципа, потому что он хочет владеть только такими областями, какие подчиняются только его прихотям.

Почему император ненавидит тех, кто хорошо послужил родине в 1812 г.? Потому что они напоминают ему о его собственном бесчестии, а также потому, что ими восхищаются не как наемниками, а как подлинными сынами отечества.

Что касается популярности его величества, мы имели тому убедительное доказательство во время его последнего пребывания в Риге. Император приехал, пожурил губернатора за тряску, которую он испытал по дороге, переночевал в замке, затем изругал целую дивизию, отдал приказ, выставивший его в смешном свете перед всей Европой, сказал несколько слов, одинаково незначительных для заслуженных людей и разбойников с большой дороги, глупцов и ученых, обедал, узнал за жарким, что новый тариф лишен здравого смысла, пил чай, танцовал, сел в карету со своим лакеем, загнал несколько дюжин почтовых лошадей и написал маркизу Паулуччи, что он нашел Лифляндию в цветущем состоянии. Бедные лошади!

Мы имеем, однако, полное право заявить его величеству, что как ни опасно и ни тягостно нападать на власть, являющуюся краеугольным камнем нашего общественного строя, государь, который предается лести и своим страстям, вынуждает подданных напомнить ему о долге и показать ему действительность во всей ее наготе.

Мы не хотим вызвать революцию, напротив, мы стремимся предотвратить ее. Мы не смутьяны и не клеветники, мы дворяне, которые говорят о том, что касается их ближе всего, и притом не тайно, обращаясь к народу, а непосредственно — к его величеству. Не для того мы проливали кровь и теряли имущество шесть лет назад, чтобы сделать его величество главой Священного союза. Мы сделали это потому, что могли забыть собственное достоинство.

Русский народ спас Россию и Европу вопреки его величеству, ибо народ хотел этого, дворянство руководило, а его величество не мог помешать им. Если бы император даже захотел заключить мир, то русские так же мало посчитались бы с ним, как испанцы с Байонским миром. Император уже так низко упал в глазах нации, что достаточно было бы этого шага, чтобы вызвать взрыв негодования в народе.

С оружием в руках мы завоевали воздух, которым дышим. Он достался нам ценой нашей крови, наших принесенных в жертву братьев, наших сожженных городов и деревень. Мы не потерпим, однако, чтобы его величество, который всем, вплоть до насущного хлеба, обязан щедрости нации, обращался с этой нацией в целом так, как его отец пытался обращаться с отдельными лицами. Султан уважает по крайней мере нацию, а император топчет ногами именно ее. Дворянство России не состоит из тех средневековых баронов, аристократический дух которых приводил их всегда к раздорам и обеспечивал господство права силь-

ного. Русское дворянство состоит из мирных граждан. Только они одни во всей империи цивилизованы и, следовательно, обладают правами. Они не хотят угнетать земледельца, но стремятся придать всему государству устройство, без которого ни одна его часть не может процветать. Дворянство, требуя от императора правосудия, порядка и гражданской свободы, гарантирует эти же права своим собственным подданным.

Дворянство требует, следовательно, созыва общего собрания выборных, чтобы совместно с другими классами выработать законы, так как мы их еще не имеем. Указы, изданные то тираном, то слабоумным, то любимым истопником, то актрисой, то турецким брадобреем, то курляндским конюхом, то Аракчеевым, то Розенкампфом, — не являются законами, как не являются ими распоряжения властей в Японии и Алжире. Подобная система есть только господство права сильного и анархия, где не существует никаких моральных обязательств и где убивают, чтобы не быть убитыми. . .

Законы, которые я считаю необходимыми, таковы:

1. Христианская религия есть основа нашей конституции как устав любви, истины и веры.

2. Вследствие этого сохраняется полная терпимость. Вот почему следует изгнать иезуитов, которые ни к кому не относятся терпимо и которые вносят раздоры во все наши дома. Вот почему моравские братья не должны пользоваться гражданскими привилегиями, так как ханжеством можно приобрести гражданские права, но потерять их можно из-за отсутствия такового.

3. Православная церковь как храм евангелия, народности и терпимости остается господствующей.

4. Без ущерба для авторитета гражданской власти православное духовенство должно быть избавлено от теперешнего унижения.

5. Правительство не может ничего изменить в религиозных догматах и не вмешивается ни в распространение библии,[1] ни в отправлениях культа.[2] Религия непререкаема и не может явиться результатом договора.

6. Каждый священнослужитель есть подданный, но духовенство как сословие независимо, если оно не причиняет ущерба гражданскому порядку.

7. Искусства и науки должны широко поощряться как основания цивилизации, а следовательно, и религии.

8. Отечество неотделимо от религии.

9. Общественное благо есть высший гражданский закон. Государь есть только средство, а не цель.

10. Отечество неделимо и не может увеличиваться в своих пределах. Оно имеет установленные границы. . .

11. Россия должна управляться династией. Государь лучше тирана.

---

[1] Библейское общество есть не что иное, как Ж.-Ж. Руссо в духовном облачении. Направление этого общества по существу революционно, как направление и самого евангелия, хотя последнее основано на добродетели. Недостаточно уметь читать, чтобы понять евангелие (для этого нужно быть добродетельным). <Примечание Бока>.

[2] Правительство, обязывая церковь предавать анафеме человека, не имеющего с ней ничего общего, а потом прославлять его как союзника, подрывает в народе уважение к религии. Правительство, которое приказывает народу молиться за людей, всеми открыто презираемых, порождает недоверие к церкви как пособнице полиции. <Примечание Бока>.

12. Государь царствует на основании закона, стоящего выше его. Имя бога не должно быть упоминаемо всуе.

13. Государь есть первый слуга государства, его личность священна, но он ответствен за свое поведение. Его можно арестовать, если он предается постыдным страстям, пренебрегает своими обязанностями или если он совершает ошибки.

14. Государь не может иметь владений вне России, без этого условия он не имеет отечества. Всякий, кто служит двум господам, изменяет одному из них или обоим сразу.

15. Отечество представлено через выборных от нации.

16. Они регулярно собираются на общие собрания.

17. Нация, в целях собственной выгоды, разделена на классы, но каждый из них пользуется одинаковым покровительством законов и одинаковой гражданской свободой.

18. Знание уравнивает право занятия должностей.

19. Никакой человек, как бы его ни звали, не может находиться в России в положении, несовместимом с принципами религии.

20. Дворянство империи едино. Его влияние должно быть велико. Оно образует сословие, которое объединяет разнородные части империи, оно не позволяет государям стать деспотами, оно является хранителем национальной чести.

21. Дворянство является средством к достижению всеобщего благосостояния, но само по себе не есть цель. Различия между классами должны соответствовать их нравственности.

22. Существует сильная армия, составленная из сынов отечества.

23. Иностранные войска и наемники не допускаются.

24. Целью армии является защита отечества от насилия, но не применение его. Она не может быть игрушкой в руках людей, воображающих себя военными.

25. Никакой закон не может иметь силы без одобрения его нацией.

26. Это относится и к налогам.

27. Государь предлагает законы, нация может просить его о предложении таковых.

28. Все суды выборны.

29. Безусловная гласность как уголовного, так и гражданского судопроизводства.

30. Всякое тайное действие правительства будет рассматриваться как преступление.

31. Всякое нарушение законов есть государственное преступление. Каждый гражданин имеет право приносить жалобы на это.

32. Никто не может быть приговорен к наказанию без суда. Возмездие за преступление того или иного лица не может обращаться на его имущество.

33. Всякий является хозяином своего дома и своей земли.

34. Каждый может делать все, что не нарушает общественного порядка.

35. Каждый может думать согласно своим убеждениям и говорить то, что он думает. Преследуется только ложь и призыв к бунту. Россия нуждается в гражданах, она имеет слишком много рабов.

36. Свобода печати в первые сто лет принадлежит без ограничения только положительным наукам и угнетенной невинности. Необходимо, чтобы всякое дурное предложение или поступок могли быть преданы гласности. Но пока чернь принимает на веру всякое печатное слово, цензура необходима.

37. Низшие классы пользуются неограниченной свободой образования.[1]

38. Воспитание юношества зависит от закона, а не от правительства.

39. Воспитание государей также подчиняется закону.

40. Государь как глава нации имеет полную власть в империи и вне ее, пока он не нарушает ее устройства, достоинства и прав отечества по отношению к иностранным государствам, пока он не нарушает прав какого-либо класса или отдельного лица.

41. В чрезвычайных обстоятельствах нация предоставляет государю чрезвычайные полномочия.

42. Государь не есть судья, но он контролирует судей.

43. Государь может смягчать приговоры, за исключением вынесенных за измену отечеству.

44. За исключением представителей нации и судей, государь сам назначает должностных лиц.

45. Все должностные лица ответственны перед судом.

46. Иностранцы могут быть допускаемы только к занятиям наукой. Отличившиеся офицеры могут быть приняты в армию.

47. Иностранцем считается тот, кто не принадлежит к христианам, или признает иное отечество, или является подданным иностранного государя. . .

48. Государь не может ни под каким мыслимым предлогом ввести в отечество иностранную армию или вооружить иностранцев против своего народа или части народа. Тот, кто это совершает, повинен в самой тяжкой измене. Если государь имеет нужду во вводе иностранных войск в страну как союзников против других иностранцев, он может сделать это не иначе как с согласия нации.

49. В обычное время государь имеет определенное количество войска и денег, с помощью которых он должен удовлетворять потребности государства.

50. Сбережения принадлежат государству.

51. Состояние, принадлежащее государю, отделяется от государственного имущества, чтобы последнее не уменьшилось от разделов и долгов.

52. Все официальные дела без исключения должны иметь твердое и неизменное направление, как в отношении прохождения их через различные суды и учреждения, так и в отношении продолжительности их рассмотрения. Местопребывание государя должно быть неизменно. Без этого анархии не будет конца.[2]

Это новое устройство отечества должно исходить от нации, а не от императора, так как при самых лучших намерениях он ничего не смыслит в делах и не умеет даже выбрать людей, которые могли бы ему помогать.

---

[1] Теперь это для нас совершенно невозможно, так как у нас запрещены почти все книги по современной истории и политические. Прадт, Дюф, Вентурини и толковый словарь запрещаются в то самое время, как по распоряжению правительства переводят Тацита, Бартелеми и Монтескье. Более того, правительство одновременно распространяет в армии Новый завет!!! (Невозможно представить себе большее варварство и нелепость). <Примечание Бока>.

[2] В июне 1817 г. я подал императору официальным путем официальное прошение, снабженное достоверными доказательствами, и до сих пор не получил ответа. Начальник канцелярии по принятию прошений уверял меня в прошлом году, что он в течение года не имел аудиенции, и в то же время его величество не пропустил ни одного парада. Приказ об отмене конфискации родового поместья семьи Наткуля оставался без исполнения в течение 14 лет. И это называется царствованием благословенного императора, главы Священного союза! <Примечание Бока>.

Дрисский лагерь, Священный союз и нынешнее положение России являются убедительными доказательствами в пользу того, что я предлагаю. Он вполне убежден, что Россия никогда не была так счастлива, как под его скипетром, и он убежден в этом, потому что видит, как танцует молодежь, и не слышит рыданий стариков.

Вот, господа, предложения, которые я делаю вам перед богом, следуя своим самым глубоким убеждениям. Я совершенно примирился с мыслью, что необычайность этих размышлений и опасности, связанные с их осуществлением, придутся не по нраву большинству из вас и что я паду в глазах многих, как жертва, достойная насмешки. Но я привык не испытывать страха, да, кроме того, мне безразлично, каким способом у меня отнимут счастье жизни. Я говорю не только с Лифляндией, я обращаюсь к России, и она меня поймет. Можно распять того, кто говорит правду, но нельзя никогда восторжествовать над истиной. Всегда нужны жертвы, прежде чем победа будет достигнута. Провидение определит будущее. Моя совесть спокойна, так как не эгоизм мною руководит. Как я подымаю глаза на этот портрет, так же готов я смотреть в лицо самому императору. Если даже эти благонамеренные рассуждения повлекут за собой опасные последствия — от чего избави бог, — не усматривайте в этом конец мира. По правде, власть людей над добром и злом бесконечно случайна, и сколько бы усилий они ни делали, до каких бы крайностей ни доходили, они не заставят добрую старую землю свернуть с ее извечного пути. . . Мы станем прахом, и не будет больше ни желаний, ни страха. В этом мире есть только один вечный принцип: любовь, истина и бог.

МНИМЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. И. ОДОЕВСКОГО

Сообщение М. А. Брискмана

Как утверждал декабрист А. П. Беляев, товарищ А. И. Одоевского по каторге с самого первого дня их выезда из Петербурга 1 февраля 1826 г., поэтом были написаны в Сибири и на Кавказе «многие тысячи стихов». Если это даже и преувеличение, то несомненно, что до нас дошла лишь ничтожная часть поэтического наследия А. И. Одоевского. «Вся его тюремная жизнь, — вспоминал об А. И. Одоевском М. А. Бестужев, — вылилась в поэтических звуках. Не было самого обыденного обстоятельства, которое он не перенес бы в область фантазии. Я . . . сообщил прежде многие из его стихотворений, но это только капля в море».[1]

Сложность изучения поэтического наследия А. И. Одоевского, однако, не только в его неполноте. Сложность и в том, что огромное большинство дошедших до нас его произведений опубликовано лишь по записям, а иногда и по воспоминаниям его друзей, его «соузников», или впервые напечатано в журналах и сборниках даже без ссылки на источники; некоторые стихотворения перепечатывались под его именем только на основании более или менее обоснованных предположений о их авторе. Все это делает часто сомнительным не только самый их текст, но даже принадлежность их перу А. И. Одоевского.

Дореволюционным литературоведением был полностью искажен весь облик этого признанного певца декабристов. По существу, трактовка творчества Одоевского буржуазно-либеральными историками литературы немногим отличалась от дворянско-монархической. Если, например, А. И. Сиротинин писал в «Историческом вестнике», что Одоевский «раскаялся» в попытке «противозаконного насилия», и приписывал ему представление о декабризме как о печальном примере для более положительных людей, то Н. А. Котляревский, признавая верность Одоевского его гуманным убеждениям, вкладывал в эту мысль такое розово-либеральное, абстрактное содержание, что от вдохновенной, революционной поэзии Одоевского ничего не оставалось. Углубив традицию, шедшую от А. Н. Пыпина, Котляревский объявил Одоевского поэтом, в первую очередь, религиозным, иногда даже мистическим, для чего, в частности, пришлось совершенно превратно истолковать смысл поэмы «Василько». Котляревскому вторил Ю. И. Айхенвальд, с его утверждениями о «благостном» характере «смиренной покорности» Одоевского. Одоевский изображался верившим в конечное торжество правды лишь

---

[1] Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 304.

в потустороннем мире и будто бы считавшим день 14 декабря преступным. П. Н. Сакулин говорил о «случайном декабристе».[1]

Даже впоследствии, когда были уже опубликованы новые, ранее не известные стихи Одоевского, особенно подчеркнувшие революционный пафос ссыльного поэта, П. Н. Сакулин так характеризовал поэтов-декабристов (имея в виду, в частности, именно Одоевского): «Лирики с нежной и мечтательной душой, чуждые революционного пафоса; их произведения полны кротких излияний надломленной души, порывов к небу и мотивов христианского идеализма».[2]

Уже известные и до Великой Октябрьской социалистической революции произведения А. И. Одоевского решительно противоречили этой буржуазно-либеральной легенде. Советские литературоведы показали подлинный смысл творчества Одоевского, сумели увидеть в нем, прежде всего, выражение декабристской гордости за свои убеждения, уверенность их в своей правоте, в преемственности русского революционного движения. Там, где Котляревский видел «внутренний свет» и созерцательность, смягчающую «резкость чувств», мы видим оправдание подвига декабристов; там, где Айхенвальд видел «поэзию темноты», мы видим политическую и патриотическую лирику. Творчество А. И. Одоевского полностью подтверждает слова о нем декабриста Н. И. Лорера, писавшего, что Одоевским руководили любовь к отечеству и стремление «на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества, построить благо России».[3]

Задачу опровержения либеральной легенды об А. И. Одоевском значительно облегчила находка упомянутых выше, опубликованных в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции И. А. Кубасовым, ранее не известных стихов Одоевского, — как вовсе, не появлявшихся в печати, так и напечатанных ранее без его имени и не включавшихся в собрания его сочинений. Особенно такие стихи, как «Гризна», «Из Мура» «Неведомая странница», «Стихи на переход из Читы в Петровский завод» помогли оценить твердость революционного духа, твердость вольнолюбивых и патриотических убеждений А. И. Одоевского.

Тем не менее сложность и неясность вопроса о текстах, датировке и самом составе поэтического наследия Одоевского ведет к тому, что в отдельных — и довольно существенных — деталях либеральная легенда продолжает жить.

Так, остаются неопровергнутыми рассуждения Н. А. Котляревского о подчеркивании Одоевским ничтожества человека и тщеты его пылких стремлений, поскольку эти рассуждения основаны на точном изложении стихотворений «Глетчер» и «Лавина». Не были опровергнуты и рассуждения Ю. И. Айхенвальда о «монархизме» Одоевского в связи с «мажорной одой», «гимном» в честь будущего «Освободителя», Александра II, «достойного первенца отца», поскольку эти рассуждения точно соответствуют сугубо верноподданническому смыслу четырех стихотворений «На приезд наследника цесаревича». На основании, главным

---

[1] А. И. Сиротинин. А. И. Одоевский. Ист. вестн., 1883, кн. 5; Н. А. Котляревский. Декабристы. СПб., 1907; Ю. И. Айхенвальд. Силуэты русских писателей, вып. 3. Изд. 3-е, М., 1917; П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1. М., 1913, стр. 300.

[2] П. Н. Сакулин. Русская литература, ч. 2. М., 1929, стр. 413. Так же охарактеризовал Одоевского П. Н. Сакулин и в статье «А. И. Одоевский в неизданных письмах» (Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник, М., 1925. стр. 124—200).

[3] Н. И. Лорер. Записки. М., 1931, стр. 178.

образом, стихотворений «Охлаждение» и «Зачем ночная тишина» перешла в советское литературоведение из дореволюционного версия о внутренней опустошенности Одоевского в кавказский период его жизни. Эти и подобные им стихотворения, неизменно перепечатываемые из издания в издание, окрашивают творчество Одоевского чуждыми другим его произведениям настроениями надрыва и душевного оскудения, мотивами пустого и фальшивого романтизма. Они заставляют советских исследователей делать выводы о том, что все, написанное Одоевским на Кавказе, «по своему содержанию лишено декабристской специфики его творчества каторжных лет».[1] Стихи эти (кроме указанных выше: «Когда в часы безделия, в Москве», «Как носятся тучи за ветром осенним», «Роза и соловей», «Моя Перн») свидетельствуют о явно отсталой поэтической системе и заставляют приходить к выводу, что «большинству стихотворений этого периода чужды те достижения элегического стиля, к которым пришел Одоевский в Сибири».[2]

Поэтому пересмотр круга произведений, печатаемых под его именем, очищение наследия Одоевского от чужих, без достаточных оснований приписанных ему произведений — это вопрос не узко текстологический, и даже не узко литературный, это — вопрос прояснения самого облика поэта-декабриста.

Почти что полное отсутствие автографов А. И. Одоевского, сложная история проникновения в печать произведений поэта, даже имя которого было запретно до 1857 г., явились причиной того, что одним из важнейших первоисточников в вопросе о текстах Одоевского до сих пор служит так называемый розеновский сборник его стихотворений (СПб., 1883).[3]

Сборник этот был первым собранием произведений Одоевского, если не считать «Собрания стихотворений декабристов», подготовленного Н. В. Гербелем и изданного за границей в 1862 г. Значение издания 1883 г. базируется на авторитете барона А. Е. Розена как друга и «соузника» Одоевского. Обратим, однако, внимание на полное заглавие издания — это весьма существенно: «Полное собрание стихотворений Александра Ивановича Одоевского (декабриста). Собрал барон Андр. Евг. Розен. С дополнениями и примечаниями издателей, портретом и facsimile князя Одоевского».

Если тексты и хронология отдельных стихотворений, помещенных в этом издании, исправлялись позднейшими редакторами, то самая принадлежность Одоевскому всего, вошедшего в этот сборник, не подвергалась сомнению.[4] Даже странно было бы, как будто, сомневаться, если Розен (точность и добросовестность которого известны) написал в предисловии: «Собранные мною стихотворения А. И. Одоевского были им самим прочтены в моей памятной книжке в Пятигорске, в 1838 году». Но удивительно, что, тщательно выписывая заглавие издания 1883 г., ни один редактор и исследователь не задумывался над истинным смыслом слов: «Собрал А. Е. Розен. . . С дополнениями и примечаниями

---

[1] Д. Д. Благой. Поэзия декабристской каторги — в кн.: А. И. Одоевский, Полное собрание стихотворений и писем. М., 1934, стр. 24.

[2] См. нашу вступ. статью в сб.: А. Одоевский. Стихотворения. Л., 1936, стр. 33—34.

[3] Фактически вышел в 1882 г.

[4] Только лишь по поводу одного стихотворения «Охлаждение» было высказано однажды неуверенное сомнение, не поколебавшее традиции.

ПРИВАЛ ДЕКАБРИСТОВ ПО ПУТИ ИЗ ЧИТЫ В ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД.
Акварель А. И. Одоевского. 1830. (См. № 323).

издателей». А между тем А. Е. Розен отвечает лишь за первую (и меньшую) половину книги. Ко второй половине («Дополнения») и к примечаниям («Послесловие») А. Е. Розен не имеет никакого отношения.

Составителем дополнения и послесловия был Г. П. Данилевский, о чем сказано в оглавлении книги и чья фамилия стоит в конце послесловия, написанного целиком от его имени.

Восьмидесятидвухлетний А. Е. Розен жил в эти годы далеко от Петербурга, в своем имении, и к самому изданию, очевидно, также никакого отношения не имел. Только этим можно объяснить почти анекдотический факт, указанный в свое время И. А. Кубасовым, но воспринятый им как непонятная мистификация [1] — замену facsimile почерка Одоевского (что обещал в предисловии Розен) снимком почерка самого Розена. Этим же только можно объяснить и то, что (как также указано И. А. Кубасовым) под именем А. И. Одоевского в дополнениях помещено письмо декабриста П. А. Муханова.

Таким образом, Г. П. Данилевский и напечатавший книгу А. А. Краевский и были теми издателями, о которых говорится в подзаголовке.

Имя Г. П. Данилевского не упомянуто, тем не менее, ни в одном комментарии, ни в одной обзорной статье.[2] И хотя еще в одной из современных рецензий («Истор. Вестник», 1883, февр., стр. 458) было подчеркнуто, что собранное А. Е. Розеном дополнено издателями (что, впрочем, ясно, как выше было сказано, из самого текста книги), до последнего времени остаются традиционными утверждения подобного рода: «44 стихотворения, что были собраны А. Е. Розеном» [3] и соображения, что уж эти-то все стихотворения несомненно принадлежат А. И. Одоевскому. До появления библиографии Н. М. Ченцова (М., 1929) имени Г. П. Данилевского мы не находим в этой связи даже в библиографических указателях. Однако и после 1929 г. все осталось без изменений.

Данилевский, как видно по послесловию, немало потрудился над подготовкой книги к печати. В это именно время он работал над романом «Восемьсот двадцать пятый год» — этим, видимо, и объясняется его интерес к Одоевскому и переписка с бароном Розеном. Однако, ясно, что ходячая характеристика издания 1883 г. как «подготовленного друзьями поэта», [4] ни в какой мере не соответствует действительности — во всяком случае, по отношению к изданию в целом; ясно, что все, помещенное во второй части книги, далеко не столь достоверно, как это казалось. Сами собой отпадают ссылки редакторов на авторитет Розена, когда речь идет о стихах из второй части.[5] И если, даже при отсутствии авторизованного списка или хотя бы какого-нибудь дополнительного свидетельства, наличие стихотворения в первой части (А. Е. Розена) позволяет утверждать авторство Одоевского (так, например, обстоит дело со стихотворением «Тается звук в безмолвной лире»), то ко второй части это неприменимо.

---

[1] И. А. Кубасов. Декабрист А. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. Л., 1932, стр. 13.

[2] Исключением является библиографический обзор Е. И. Рыскина «Основные издания сочинений русских писателей XIX в.» (изд. 2-е, М., 1948, стр. 39). Однако никакого вывода из этого в обзоре не сделано.

[3] И. А. Кубасов, ук. соч., стр. 3.

[4] Е. И. Рыскин, ук. соч., стр. 39.

[5] См. хотя бы в наиболее полном советском издании (подгот. текста И. А. Кубасова) 1934 г., например стр. 346—348, 402, 405—408.

Каковы же источники Данилевского? Они указаны им самим. Это — публикации в «Русском архиве», «Русской старине», «Отечественных записках»; это — «Собрание стихотворений декабристов», письмо С. В. Максимова и архив рукописей кн. П. П. Вяземского.

Попробуем разобраться в достоверности всех вошедших во вторую часть произведений, независимо от того, откуда они взяты Данилевским.

Из 24 произведений, собранных Данилевским, шесть были в свое время опубликованы друзьями поэта, декабристами, и три — П. А. Вяземским (по дошедшим до нас авторизованным спискам). Достоверность этих стихотворений очевидна.

Два стихотворения были опубликованы — неизвестно кем — в 1859 г. в «Русской беседе», где имя автора было названо. Сомневаться в принадлежности Одоевскому этих двух стихотворений нет оснований, так как одно из них подтверждается, кроме того, записями С. В. Максимова и так как в той же «Русской беседе» в том же году были помещены еще два стихотворения, безусловно принадлежащие Одоевскому, и также с его полным именем.

Итого — одиннадцать стихотворений не должны вызывать сомнений. Как же обстоит дело с остальными тринадцатью?

Эти тринадцать стихотворений распадаются на две группы.

Первая — «На приезд наследника цесаревича» (четыре стихотворения, объединяемые в последующих изданиях в одно), «Поэзия», «Когда в часы безделия, в Москве» (А. М. П-ой), «Лавина», «Глетчер», «Брак Грузии с русским царством», «Зачем ночная тишина» — опубликована Данилевским по остававшимся до сих пор не известными «подлинникам из архива рукописей кн. П. П. Вяземского» (из послесловия). Никаких других свидетельств о принадлежности этих произведений перу Одоевского в литературе не существует.

Вторая группа — стихотворения «Охлаждение», «Как носятся тучи за ветром осенним» и «Роза и соловей». Они были впервые напечатаны (неизвестно кем) в журналах 40—50-х годов с подписями: А. О-й, А. О-ий, А. -ий. Дальнейшие перепечатки этих стихотворений под именем Одоевского служат единственным основанием рассматривать указанные криптонимы как скрывающие имя А. И. Одоевского.[1]

Обе эти группы объединяют (в подавляющем большинстве) как раз те сомнительные по содержанию и форме произведения, о которых сказано вначале.

В первых числах июля 1837 г. наследник престола, будущий царь Александр II, посетил Тобольск. Одним из учителей Тобольской гимназии был в это время автор «Конька-Горбунка» П. П. Ершов, которому было поручено написать соответствующие приветственные стихи. Через несколько месяцев эти стихи были напечатаны в «Русском инвалиде» (1838, № 1) под заглавием «Стихи на посещение Тобольска е. и. в. государем наследником цесаревичем». Кроме того, при посещении наследником Тобольской военной типографии в его присутствии был оттиснут листок с другим небольшим стихотворным приветствием, написанным рядовым 1-го Линейного сибирского батальона, сосланным в Сибирь декабристом Н. А. Чижовым. И эти стихи были напечатаны в том же

[1] Ср.: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей. М., 1949, т. II—III, стр. 153—154.

«Русском Инвалиде» (1838, № 2).[1] Оба эти стихотворения (в виде четырех отдельных произведений) мы и находим под именем А. И. Одоевского в издании 1883 г. Отсюда они перепечатывались под его именем вплоть до последних лет.

Таким образом, для отрицания авторства Одоевского в данном случае не требуется никаких аргументов. Почти 70 лет приписывались автору «Ответа декабристов А. С. Пушкину» чужие, трижды (а частично и четырежды) напечатанные с полной подписью их авторов официальные приветствия, где Александр II объявлялся подобием бога на земле.

Вместе с тем достоверность пресловутых «подлинников» из архива Вяземского полностью рушится. Однако было бы излишней поспешностью считать не принадлежащим Одоевскому все остальное, напечатанное по этим «подлинникам», только на основании казуса со стихами Ершова и Чижова.

Нам удалось разыскать в бумагах Вяземских, т. е. в бывшем Остафьевском архиве (ныне находится в Центральном Государственном литературном архиве, фонд 195) все оригиналы, по которым Г. П. Данилевский напечатал остальные шесть стихотворений. Все это, конечно, не «подлинники» (кроме, впрочем, двух — «Глетчера» и «А. М. П-ой», о чем будет речь ниже), а списки. Ознакомление с ними привело к следующим результатам: «Брак Грузии с русским царством» и «Зачем ночная тишина» действительно принадлежат Одоевскому; «А. М. П-ой», «Глетчер» и «Лавина» несомненно не принадлежат Одоевскому; «Поэзия» — авторство Одоевского возможно.

На чем основаны эти выводы?

1. «Брак Грузии с русским царством» — список, как можно судить по почерку, рукой товарища Одоевского, декабриста М. М. Нарышкина (причем, судя по почерку же, не позднее 40-х годов) (ф. 195, ед. хр. 5483). Список находится на одном листе с безусловно принадлежащим Одоевскому стихотворением «Куда несетесь вы. . .». На том же листе — свидетельство Нарышкина об авторстве Одоевского и о том, где и когда написаны оба стихотворения.

Однако еще более веским доказательством является то, что в Центральном Государственном литературном архиве хранится (в другом фонде) и несомненный автограф этого стихотворения (ф. 368, ед. хр. 9456/2).

2. «Зачем ночная тишина» — также список рукой Нарышкина, на аналогичной бумаге, с датой написания и разъяснением смысла стихотворения (ф. 195, ед. хр. 5483 и 5612). Из пометы Нарышкина, в частности, следует, что стихотворение это написано вовсе не в год смерти Одоевского, как оно обычно датируется, а еще в Чите, и написано по совершенно конкретному поводу, а вовсе не изображает «предсмертную агонию» души поэта.[2]

3. «Глетчер» — написано неизвестной нам рукой, но, во всяком случае, не рукой А. И. Одоевского. Судя же по многочисленным поправкам

[1] Стихи Ершова и Чижова были перепечатаны в брошюре: [Е. Расторгуев]. Посещение Сибири в 1837 году е. и. в. государем наследником цесаревичем. СПб., 1841. Изд. 2-е, М., 1861. Об обстоятельствах, связанных с сочинением Чижовым приветствия наследнику, см.: Б. Бухштаб. Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов. Омский альманах, кн. 5, 1945, стр. 116—130 (где приведено и стихотворение Чижова).

[2] Ср.: Д. Д. Благой — в издании 1934 г., стр. 25; И. А. Кубасов — там же, стр. 408; Н. А. Котляревский. Декабристы. СПб., 1907, стр. 94. Следует, кстати, отметить, что до сих пор печаталась только первая половина этого стихотворения.

тем же почерком, это — черновой автограф (ф. 195, ед. хр. 5483). Основанием, по которому стихотворение было приписано Одоевскому, явилась стоящая внизу листка подпись К. А. О-ий (или Н. А. О-ий). Подпись эта сделана, повидимому, позже и другой рукой. Но независимо от того, кем и когда сделана подпись, существенно, что непосредственно под стихотворением, т о й ж е р у к о й, ч т о и т е к с т, написаны дата и место: $\frac{\text{22 янв. 1838 г.}}{\text{СПб.}}$, т. е. стихотворение никак не может принадлежать Одоевскому, находившемуся, как известно, в это время на Кавказе.

4. «Лавина» — писарская копия, с той же подписью (той же рукой и теми же чернилами), что под «Глетчером» (ф. 195, ед. хр. 5483). Отвергнув авторство Одоевского для «Глетчера», мы, естественно, должны отвергнуть его и для «Лавины», тем более, что полная стилистическая аналогия обоих стихотворений (откровенная «бенедиктовщина») очевидна, а идейный смысл их совершенно одинаков.

5. «А. М. П-ой» («Когда в часы безделия, в Москве») — чистовой автограф, той же рукой, что и «Глетчер», и с той же подписью (ф. 195, ед. хр. 5082). Естественно, что авторство Одоевского предположить в этом случае невозможно, так же как и для «Глетчера», тем более, что в стихотворении говорится о конкретных фактах, точно приуроченных (10 янв. 1838 г.) и не вяжущихся с обстоятельствами биографии А. И. Одоевского.

Очевидно, что все три стихотворения принадлежат одному лицу — но не А. И. Одоевскому.

6. «Поэзия» — писарская копия, подпись «N. N.» (ф. 195, ед. хр. 5612). Авторство Одоевского вероятно, так как рядом, на аналогичной бумаге, переписанные той же рукой и с той же подписью, находятся стихотворения несомненно Одоевского — «Отцу» и «На Западе подъемлется заря». Тем не менее, мы не видим и достаточных доказательств авторства Одоевского. Список стихотворения «Отцу» — весьма неисправный; на самом списке «Поэзии» очень много поправок другой, неизвестной нам рукой; инициалы «N. N.» для произведений Одоевского нигде и никем не засвидетельствованы и могут означать, что для лица, поручавшего переписку, автор (или авторы) был неизвестен. Иначе говоря, по всему видно, что списки весьма поздние, далекие от первоисточников. Но поскольку содержание и форма стихотворения не противоречат нашему представлению о поэтическом облике Одоевского, его авторство вполне можно допустить, хотя оно и остается недоказанным. Однако, обычное отнесение его к 1838—1839 гг. мало вероятно; если уж мы принимаем за основание то, что соседние стихотворения принадлежат Одоевскому, то надо принять и время их написания, т. е. последние годы жизни Одоевского в Сибири.[1]

Таков итог рассмотрения стихов, извлеченных Даниловским из бумаг Вяземских (или, скорее, отобранных П. П. Вяземским и переданных Даниловскому). Что же дает рассмотрение трех стихотворений, извлеченных из периодики 40—50-х годов?

Стихотворение «Охлаждение» было впервые напечатано в сборнике «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, изд. в пользу А. Ф. Смирдина» (т. 3, СПб., 1842). В оглавлении автор скрыт под крип-

[1] Основанием для отнесения этого стихотворения к 1838—1839 гг. служит обычно строка «Когда в снегах пустынных мир я славил» (ср., например, Н. А. Кубасов — в издании 1934 г.). Почему Одоевский не мог этого написать, находясь в Сибири, — непонятно.

тонимом «А. О-й». Криптоним этот, очень сходный с теми, под которыми печатались в 40—50-х годах несомненные стихи Одоевского (А. О., А-ий, А. Од-ий, А. О-ий), заставил Н. В. Гербеля включить «Охлаждение» в «Собрание стихотворений декабристов» (1862), откуда его и перепечатал Данилевский. Так оно дошло и до издания 1934 г., хотя, по словам редактора текста, принадлежность стихотворения Одоевскому можно было и оспаривать.

Однако особых аргументов против авторства Одоевского и в данном случае не требуется, так как это стихотворение, слово в слово, было помещено Э. Губером в его книге «Стихотворения» (СПб., 1845),[1] затем вошло в его «Сочинения», изданные в 1859 г. (т. I, стр. 136—137), а в 1919 г. напечатано Ю. Н. Верховским в сборнике «Поэты пушкинской поры» (М., 1919, стр. 307).[2]

Таким образом, трижды напечатанное с полным именем его действительного автора, «Охлаждение» почти 90 лет представляло материал для утверждений об упадке поэтического мастерства Одоевского в последние годы его жизни.

Но вместе с тем из этого можно заключить, что сочетания букв «А., О., и, й» вовсе не обязательно скрывают имя Одоевского.[3] Поэтому, хотя нам и не удалось пока установить документально автора второго стихотворения — «Как носятся тучи за ветром осенним», — авторство Одоевского едва ли обосновано.

Впервые это стихотворение было напечатано — неизвестно кем — в «Современнике» (1853, т. 42, № 11), с подписью «А. О-ий»; отсюда, на тех же основаниях, что и «Охлаждение», перепечатано Гербелем, а от него взято Данилевским.[4] Хотя этот же криптоним мы находим под публикациями двух других, безусловно принадлежащих Одоевскому стихотворений, но совершенно в другие годы и в других журналах. Единственный довод за авторство Одоевского — догадка Гербеля. Довод явно и совершенно недостаточный, судя по эпизоду с «Охлаждением». Содержание же стихотворения очень мало соответствует обстоятельствам биографии Одоевского; стилистически стихотворение резко выделяется среди прочих его произведений.

Наоборот, отвергать авторство Одоевского для стихотворения «Роза и соловей» нет оснований. Оно было впервые напечатано (хотя и неизвестно кем) с подписью «А-ий» в «Отечественных записках» (1841, т. 17, № 9); два же других, безусловно принадлежащих Одоевскому стихотворения помещены были в том же году в тех же «Отечественных записках» и с той же подписью.

Но решающим является указание М. В. Нечкиной в комментарии к «Запискам» Н. И. Лорера (М., 1931, стр. 420) о том, что в прибавлениях к рукописи «Записок» помещено стихотворение «Соловей и роза» под именем Ал. Одоевского.

---

[1] За указание на возможность авторства Э. Губера приношу благодарность М. К. Азадовскому.

[2] Любопытно, что это же стихотворение напечатано в том же сборнике вторично и под именем Ал. Одоевского.

[3] В 30—60-х годах на поэтическом поприще подвизались, например, А. Огинский, А. Озерский (печат. под инициалами А. О.); под теми же инициалами скрывался автор верноподданнических виршей во время Крымской войны.

[4] В указателе анонимных и псевдонимных текстов «Современника» 1857—1866 гг. Ю. И. Масанова (Лит. наследство, т. 53—54, стр. 453 и 508) ошибочно указано, будто это стихотворение с полной подписью Одоевского напечатано в «Библиограф. записках» (1861, № 5). В действительности там помещено другое стихотворение Одоевского.

Итак, из тринадцати стихотворений, принадлежность которых перу Одоевского до сих пор не была доказана, несомненно принадлежат ему только три: «Брак Грузии с русским царством», «Роза и соловей» и «Зачем ночная тишина» (из них «Зачем ночная тишина» написано в 1829 г.). Есть также основания приписывать Одоевскому стихотворение «Поэзия». Утверждать авторство Одоевского для стихотворения «Как носятся тучи за ветром осенним» серьезных оснований нет. И, наконец, восемь остальных стихотворений ему, несомненно, не принадлежат. Таким образом, утверждения об упадке поэтического творчества Одоевского в последние годы жизни, об отсутствии декабристской специфики, о душевном надрыве и «предсмертной агонии» оказываются лишенными достаточной реальной базы.

ПИСЬМО Е. И. ТРУБЕЦКОЙ О ПОЕЗДКЕ ЕЕ К МУЖУ НА КАТОРГУ

Публикация Е. П. Федосеевой

Е. И. Трубецкая первая из жен декабристов последовала за мужем, Сергеем Петровичем Трубецким, в Сибирь. Выехала из Петербурга на следующий день после отправления ее мужа, т. е. 24 июля 1826 г. В Красноярск прибыла 9 сентября, здесь заболел ее проводник, и она отправилась дальше одна; когда сломался ее дорожный экипаж, пересела в перекладную почтовую карету. Надежда догнать декабристов в Иркутске не сбылась — до ее приезда, уже 29 и 30 сентября, их отправили на близлежащие заводы.

В начале октября, когда декабристов вновь собрали в Иркутске, чтобы направить в Нерчинские рудники, Трубецкой удалось увидеться с мужем.

В Иркутске она долго и настойчиво добивалась разрешения следовать за мужем, но иркутский губернатор Цейдлер, имея секретное предписание задержать Трубецкую, уговорами и угрозами пытался отклонить ее от этого намерения и заставить вернуться назад.

В январе 1827 г. Е. И. Трубецкая обратилась к нему письменно за разрешением выезда в Нерчинск, но только в апреле, после подписания ею «пунктов», т. е. отречения от своих дворянских и гражданских прав, она получила право следовать за мужем и выехала из Иркутска. Публикуемые ниже документы представляют интерес не только для декабристоведения, но они важны также для истории русской литературы и изучения поэмы Некрасова «Русские женщины», увековечившей имена Е. И. Трубецкой и М. Н. Волконской.

Публикуемые оригиналы хранятся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова Щедрина.

Письмо Екатерины Ивановны Трубецкой к иркутскому губернатору И. Б. Цейдлеру [1]

Милостивый государь Иван Богданович,

Уже известно вашему превосходительству желание мое разделять участь несчастного моего мужа, но заметив, что ваше превосходительство все старания употребляли на то, чтобы отвратить меня от такового моего намерения, нужным считаю письменно изложить вам причины, препятствующие мне согласиться с вашим мнением.

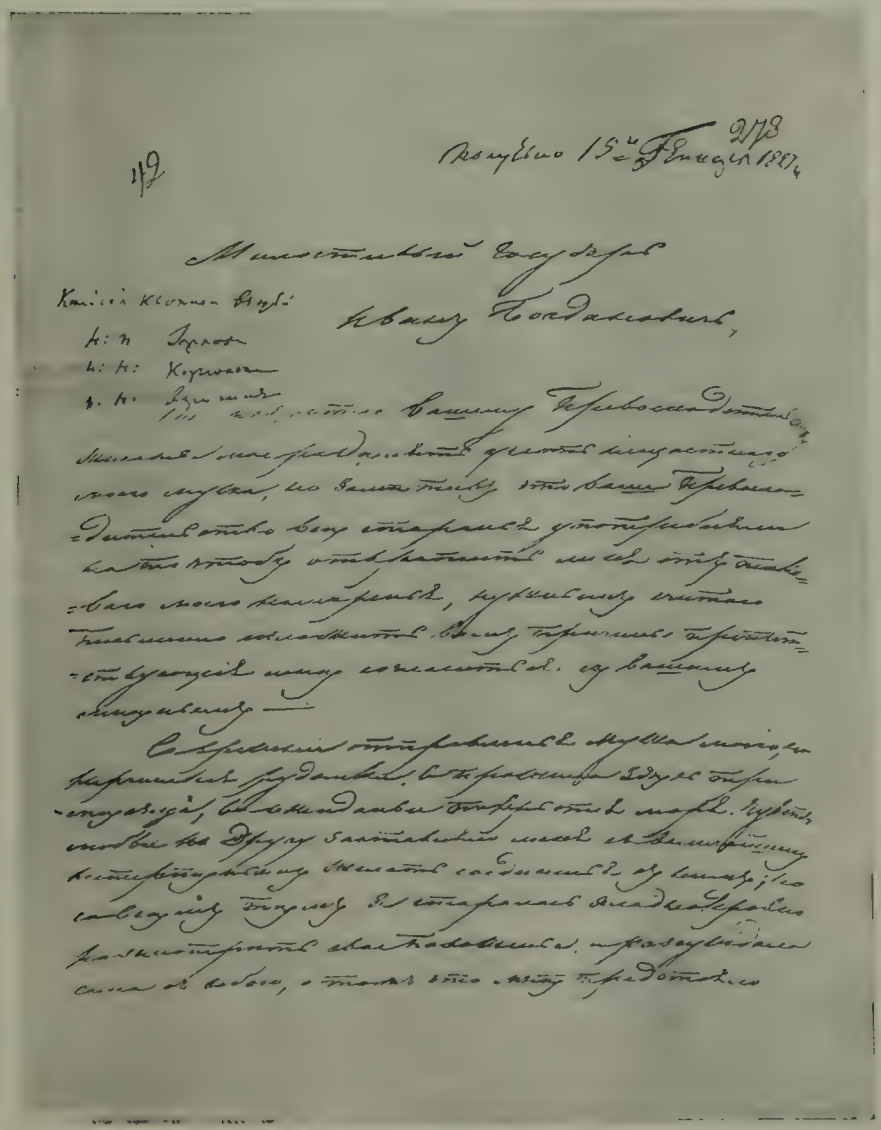
Со времени отправления мужа моего на Нерчинские рудники я прожила здесь три месяца в ожиданьи покрытия моря.[2] Чувство любви

---

[1] На письме сверху две пометы: а) «Комиссия к описи в губ. . . Зорков, Корюхов, Веригин», б) «Получено 15-го Генваря 1827 г.».

Цейдлер, Иван Богданович, иркутский и гражданский губернатор с 1821 по 1835 г. Среди иркутской администрации человек наиболее культурный, старался насколько возможно облегчить положение декабристов на поселении.

[2] С. П. Трубецкого привезли в Иркутск в ночь на 29 сентября 1826 г. и вскоре вместе с С. Г. Волконским отправили на Николаевский винокуренный завод невдалеке от Иркутска. 5 октября их, как и Е. П. Оболенского и А. И. Якубовича, вновь вернули в Иркутск, откуда и отправили в Нерчинск.



ПИСЬМО Е. И. ТРУБЕЦКОЙ К И. Б. ЦЕЙДЛЕРУ.
Уменьшено.

к Другу заставляло меня с величайшим нетерпеньем желать соединиться с ним; но, со всем тем, я старалась хладнокровно рассмотреть свое положение и рассуждала сама с собою о том, что мне предстояло избрать. Оставляя мужа, ‹с› которым я пять лет была столь счастлива, возвратиться в Россию и жить там в кругу семейства во всяком внешнем удовольствии, но с убитой душою, или, из любви к нему, отказавшись от всех благ мира с чистою и спокойною совестью, добровольно предать себя новому унижению, бедности и всем неисчисляемым трудностям горестного его положенья в надежде, что, разделяя все его страданья, могу иногда любовью своею хоть мало скорбь его облегчить? — Строго испытав себя и удостоверившись, что силы мои душевные и телесные никак бы не позволили мне избрать первое, а ко второму сердце сильно влечет меня. Но если б чувства мои к мужу не были таковы, есть причины еще важнее, которые принудили бы меня решиться на сие. Церковь наша почитает брак таинством и союз брачный ничто не сильно разорвать. Жена должна делить участь своего мужа всегда и в счастии и в несчастии, и никакое обстоятельство не может служить ей поводом к неисполнению священнейшей для нее обязанности. Страданье приучает думать о смерти: часто и живо представляется глазам моим тот час, когда, освободясь от здешней жизни, предстану перед великим судьею мира и должна буду отвечать ему в делах своих, когда увижу, каким венцом спаситель воздаст за претерпенное на земле, именно его ради, и вместе весь ужас положенья несчастных душ, променявших царствие небесное на проходящий блеск и сустные радости земного мира. Размышленья сии приводят меня еще в большее желанье исполнить свое намеренье, ибо вспомнив, что лишенье законами всего, чем свет дорожит, есть великое наказанье, весьма трудное переносить, но в то же время мысль о вечных благах будущей жизни делает добровольное от всего того отрицанье жертвою сердцу приятною и легкою.

Объяснив вашему превосходительству причины, побуждающие меня пребывать непреклонною в своем намерении, остается мне только просить ваше превосходительство о скорейшем отправлении меня, исполнив все вам предписанное. Надежда скоро быть вместе с мужем заставляет меня в сердце питать живейшую благодарность к государю императору, облегчившему горе несчастного моего Друга, позволив ему иметь отраду в жене. Ежечасно, со слезами молю Спасителя: да продлит дни жизни и радости его, и да воздаст ему за великое сие благодеяние к нам несчастным.

За сим поблагодарив ваше превосходительство за доброе расположенье, вами мне оказанное в бытность мою в Иркутске, и даже за старанья, вами прилагаемые к удержанию меня от исполнения желания моего, ибо чувствую, что сие происходило от участия ко мне, прошу, ваше превосходительство, принять уверенье в искренней и совершенной моей к вам преданности и остаюсь готовая к услугам вашим

Кн. Катерина Трубецкая.

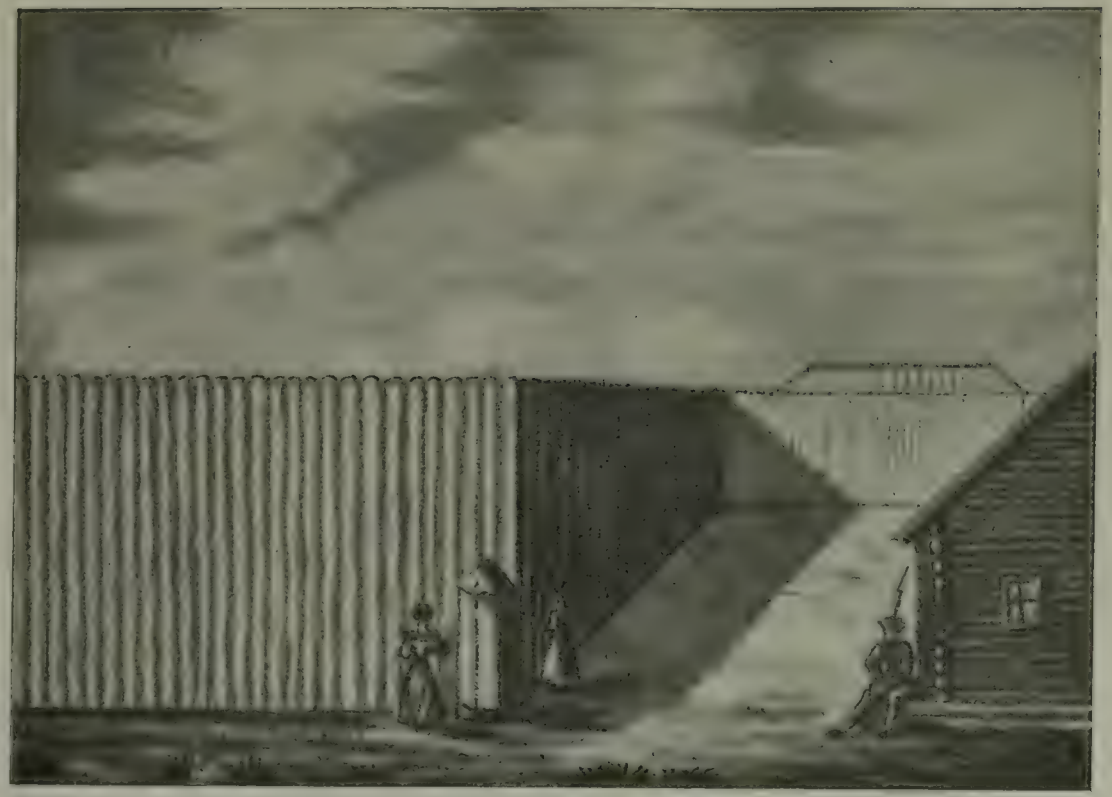
ДОНЕСЕНИЕ

иркутского губернатора Цейдлера от 29 января 1827 г. генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому[1]

Секретно.

Я имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что жена государственного преступника Трубецкого находится в Иркутске и по получении извещения, что преступники через Байкал переправлены,

[1] На предписании сверху помета о получении 15 апреля 1827 г.



ЧИТА. ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ У ОСТРОГА.
Рисунок сепией А. И. Одоевского или Н. П. Репина. 1827—1830 г. (См. № 316).

я ей согласно Вашему предназначению делал внушения и убеждения не отваживаться на такое трудное состояние, но она долго колебалась и ничего решительного не объявляла, наконец, в начале сего месяца объявила, что оставляет все, чтобы только жить с мужем, и вслед за сим прислала письмо ко мне, которое при сем в оригинале честь имею представить. По получении письма я ей сделал письменный отзыв с предписанием всех тех пунктов, которые к женам преступников относятся.[1]

Между тем сделано было мною распоряжение нарядить в комиссию г. г. членов советника главного управления Восточной Сибири Корюхова, председателя иркутского губернского правления и губернского прокурора к описи имения Трубецкой для обращения к хранению в губернское казначейство. Сие поручение исполнено с точностию и всему тому, что оказалось, сделана опись, которую отправил по извещении отправки Трубецкой при отношении к г‹осподину› коменданту Нерчинских рудников генерал майору Лепарскому,[2] оставленное ею именье и деньги сданы в губернское казначейство. Выдав Трубецкой прогоны, разрешил выезд ее, и она отправилась за Байкал сего 20 генваря с прислугою из вольнонаемного человека и девушки.

Считая долгом донести о сем Вашему Высокопревосходительству, честь имею присовокупить, что г. Лепарский о порядке, с коим дозволено Трубецкой следовать к мужу, извещен от меня подробно.

Гражданский губернатор
Иван Цейдлер.

---

[1] Предписание генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского иркутскому губернатору Цейдлеру за № 842 от 1 сентября 1827 г. Предназначено для жен декабристов, едущих к мужьям на каторгу и ссылку. См. текст предписания: П. Е. Щеголев. Исторические этюды. СПб., 1913, стр. 414—417.

[2] Лепарский Станислав Романович (1754—1837) — генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников и Петровского завода, где декабристы отбывали каторгу.

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА

Публикация Е. П. Федосеевой

К ДОМИКУ В 14-й ЛИНИИ

Укромный домик, где живал
Мой неизменный идеал,
Кто на вратах твоих заветных
Чужое имя начертал? . .
Своих хозяев в час тот бурный
Ты от гоненья не укрыл;
Потом, как друг благоразумный,
Ты самый след их истребил;
Перед безмолвными стенами
В раздумьи грустном я хожу
И животворными мечтами
Воспоминания бужу.
Я в них ищу с душою страстной,
Бестужев! образ твой прекрасный,
Твои заветные черты,
Твою любовь, твои волненья,
Твои святые вдохновенья!
Твои любимые мечты! . .
Ищу. . . расспрашиваю. . . тщетно! . .
Все тихо. . . немо. . . безответно! . .
Хозяин юный! где же ты? . .
Увы! Под небом беспощадным
В стране далекой, безотрадной
Умолк волшебной лиры глас!
Среди страданий и мучений
Угас навек наш дивный гений,
Но. . . кто же видел, что угас? . .
Надежду темную храню я,
Ты может быть еще живешь. . .
Увы! Зачем желать, чтоб жизнь твоя продлилась?
Надежда для тебя в сем мире не цветет,
Святая родина на веки затворилась,
Ни матерь, ни сестра тебя не обоймет.
Ты все России в дар принес.
Свободы мученик, ты умер как герой.
Благословение отчизны пребудет вечно над тобой!

И если можем мы в селеньях светлых рая
К юдоле бедной сей привязанность хранить,
То иногда твой дух, земное созерцая,
На берегах Невы иль Волхова витая,
И этот домик навестит.
И скажет: «кто глядит в окно моего дома?
Чей голос, чуждый мне, лепечет мне привет?»
Он не чужой тебе, хотя и незнакомый,
Бестужев! Для тебя чужих в России нет!
Давно с тобою мы сроднились душою,
Давно издалека следили за тобою
С участием живым в страдальческой судьбе.
Случалося, в вечерний час
С Кавказа гость бывал у нас;
Тогда рассказ его кровавый
Во-первых был о Русской славе,
Второй рассказ был о тебе!
Во веки жив твой чудный гений,
Он жив в листках твоих творений,
Жив навсегда во всех сердцах;
И наш когда истлеет прах,
То свиток светлых вдохновений
Потомство позднее прочтет,
За ним красавица вздохнет,
И скажет юноша в волненьи:
«Счастлив тот век, где он живал!
Я прочитал его творенье,
Добрее, благородней стал! . .».[1]

[1] Хранится в двух списках в Пушкинском Доме, ф. 604: 1) № 4 (5573), лл. 105—106. Текст подписан инициалами «М. Б.», сверху под текстом карандашная помета — «Бестужевых»; 2) № 16 (5585), лл. 7—9, внизу текста следующая надпись: «Сочиняла баронесса Мария Боде. 8 сентября 1843 г.». Печатается сводный текст названных двух списков.

Стихотворение «К домику в 14-й линии» посвящено А. Бестужеву, погибшему во время стычки русских войск с горцами у мыса Адлер. Оно показательно для настроений и отношения к декабристам общественных кругов России 30—40-х годов. Автор его, баронесса Мария Александровна Боде (ум. в 1878), оставила воспоминания о Крыме 1820 г. (Русский архив, 1882, II, стр. 123—132); была начальницей женского Полоцкого епархиального училища, сотрудничала в основанном в 1860 г. духовном журнале «Странник». Известно ее письмо к Марии Александровне Бестужевой, которое эпиграфом имеет последние строчки стихотворения «К домику на 14-й линии»: «За ним красавица вздохнет. . .», что свидетельствует о ее авторстве. (См.: Пушкинский Дом, ф. № 604, архив Бестужевых, № 4 (5573), л. 115). Письмо датировано 6 сентября — очевидно, 1843 г., т. е. годом написания и стихотворения. Как видно из письма, М. Боде не была лично знакома с семьей Бестужевых.

ПОСЛЕ 14-го ДЕКАБРЯ 1825 г. (АГИТАТОРЫ КОНЦА 20-х — НАЧАЛА 30-х ГОДОВ)

Сообщение Л. А. Мандрыкиной

После катастрофы 14 декабря 1825 г. организация декабристов была разгромлена. Однако этот удар подорвал передовое общественное движение, но не задушил его окончательно. Тяжелая реакция затронула интересы почти каждого сословия и вызвала в свою очередь ответную реакцию. Ухудшившееся положение крестьян подняло на борьбу огромные массы народа. Глухо волновались и солдаты в армии, где с восшествием на престол Николая I увеличилась тяжесть службы. Недовольство наблюдалось и среди части прогрессивного дворянства и новой, только что начинавшей образовываться, разночинно-интеллигентской прослойки, куда входили мелкие дворяне, отставное офицерство, бедняки-чиновники, разночинцы-студенты, крепостные интеллигенты. Эта необычайно пестрая по своему социальному составу масса остро ощущала свое бесправное и угнетенное положение.

Непрерывные крестьянские восстания, волнения в военных поселениях и среди фабричных рабочих, происходившие в 1825—1832 гг. в России, были фактором, оказывавшим огромное влияние на формирование революционного мировоззрения этой разночинно-демократической молодежи.

Она стремилась к борьбе с правительством не только ради завоевания своих прав, но и за облегчение жизни русского народа.

Толчок к оформлению оппозиционных настроений интеллигенции в революционное мировоззрение дало выступление декабристов. Значение открытого выступления декабристов для их современников и последующего поколения было очень велико. Герцен впоследствии писал, что выступление декабристов было их громадной исторической заслугой, так как «оно показало, что русское передовое общество стало способно вступить в открытую борьбу с самодержавием».

После разгрома восстания раскол в обществе углубился. Так называемая верхушка общества — высшее дворянство, чиновничья, помещичья и военная знать — безапелляционно приняла реакционную программу правительства. В то же время в среде оппозиционного дворянства, офицерства, крестьян волной поднималось сочувствие декабристам.

Особенно горячие отклики и обсуждение вызвали восстание и казнь декабристов среди разночинно-интеллигентской молодежи.

«Дерзкие» разговоры о Николае и сожаление о погибших не были редкостью в рядах крепостной интеллигенции и вольной разночинной молодежи. Основные лозунги декабристов — уничтожение крепостного права и самодержавия — были близки новой интеллигенции в конце

20-х годов. Представители передовой молодежи, возмущавшейся рабством народа, считали себя последователями декабристов, наследниками их революционных идей. Декабристы, открыто выступившие против самодержавия, становились идейным знаменем последующего поколения.

Сочувствие к декабристам сплачивало воедино разнообразные протестующие элементы общества. Оно свидетельствовало, что в прогрессивной части общества дух протеста не подавлен. «Россия должна считать эру своего гражданского развития с людей 14 декабря; их влияние не прекращалось. . . несмотря на всю тяжесть николаевского царствования»,[1] — писал Герцен.

В. И. Ленин, отметив классовую ограниченность и узость дворянских революционеров-декабристов, в то же время подчеркнул их значение в русском освободительном движении. Он считал, что «восстание декабристов разбудило и „очистило“»[2] Герцена, принадлежащего к лучшим представителям второго поколения дворянских революционеров.

Однако революционно настроенная молодежь не могла ограничиться лишь пассивным сочувствием декабристам.

В конце 20-х и начале 30-х годов у передового дворянства, а главным образом у разночинной молодежи, наблюдалось стремление к организации, выработке общих решений, созданию общих планов активной политической борьбы. «Мало-помалу . . . составляются группы . . . Более родное собирается около своих средоточий»,[3] — говорит Герцен. Наступает первая полоса политических организаций революционно настроенной молодежи после декабристов. Возникают попытки создать новые тайные общества. В столице и провинции лучшая часть студенчества, чиновничества, молодого дворянства средней руки пытается объединиться в кружки. Известно, что в 1827 г. студенты Московского университета, сыновья небогатого обер-офицера Ивана Критского, сын землемера Симбирской губернии Н. Ф. Лушников, архитекторский помощник кремлевской экспедиции Данила Тюрин организуют первое после декабристов тайное общество.[4] Цель общества: «изыскать средства для преобразования государства и ввести конституционное правление». Весной того же года в г. Оренбурге прапорщики Оренбургского гарнизона В. Колесников, Д. Тантиков, коллежский регистратор С. Дыньков вступают в тайное общество,[5] цель которого «есть изменение монархического правления в России, поднятие знамя бунта и объявление России свободною». В 1831 г. в Москве студент Медико-хирургической академии П. А. Кашевский, сын немецкого пастора Юлиус Кольрейф и вольнослушатель Московского университета Адольф Кноблах образуют политический кружок, где ведется обсуждение монархического правления в России и правлений конституционного и республиканского в других государствах.[6] Дворянин Московской губернии, бывший студент Московского университета Н. И. Сунгуров организует «общество злоумышленных людей, намеренных низвергнуть существующий порядок в России и ввести свою конституцию». В общество вступают мелкопоместные дворяне Яков Костенецкий и Платон Антонович. По делу

[1] А. И. Герцен. 14 декабря 1825 и император Николай. Лондон, 1858, стр. 229.
[2] В. И. Ленин. Памяти Герцена. Соч., изд. 4-е, т. 18, стр. 9.
[3] А. И. Герцен. Былое и думы, т. II, ч. IV. М., 1937, стр. 221.
[4] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I—IV; ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 269 и 1828 г., д. 203; ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 188.
[5] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 119, ч. I—VI.
[6] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 2. ч. I—IV; ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1831 г., д. 383.

Сунгурова привлекаются около 20 человек студентов и чиновников — сыновей провинциальных священников и обедневших дворян.[1] Учащаются и выступления одиночек-революционеров. Об этом свидетельствуют процессы студентов, обвиненных в стремлении создать тайное общество,[2] ряд процессов студентов и офицеров, привлеченных к ответственности за чтение и распространение вольнолюбивых стихотворений,[3] процессы офицеров и солдат, осужденных «за дерзкие против правительства разговоры».[4]

Основные лозунги декабристов — борьба за освобождение народа от крепостничества и уничтожение самодержавия — были одинаково близки всей революционной молодежи кружков, независимо от их дальнейших планов переустройства государства — после переворота. На суде и следствии привлеченная «за противоправительственные поступки» молодежь открыто заявляла об идейном влиянии на нее декабристов. П. А. Кашевский показывал, что мысли свои почерпнул он из официальных известий, где говорилось о декабристах. Братья Критские прямо указывали на то, что вольные мысли декабристов родили в них «любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению».[5] Сунгуров, Костенецкий и другие члены их кружка называли его «остатками от общества 14 декабря»,[6] тем самым подчеркивая свою преемственность от декабристов. Правительство Николая I отчетливо представляло себе эту идейную связь молодежи с казненными. Член Следственной комиссии по делу Критских генерал-майор Волков доносил шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Что кружок, это остатки последствий 14 декабря и, что уповательно, должно быть в связи с сосланными».[7] Сам Николай I подчеркивал Бенкендорфу необходимость «каждый раз, при возобновлении новых случаев неповиновения, особенно тщательно разбираться в связях преступников с живыми и мертвыми его „друзьями“»,[8] т. е. декабристами.

Неудача недавнего заговора декабристов настоятельно подсказывала членам кружков необходимость пересмотра старых и отыскивания новых решений исторических задач, оставленных в наследство молодому поколению.

Тайные политические кружки и организации этого переходного времени были разнообразными по своему социальному и весьма пестрыми по своим, в большинстве случаев, еще не выкристаллизовавшимся, не лишенным противоречий программам. Члены этих объединений не прошли такой политической школы как декабристы, ибо в большинстве были арестованы и осуждены вскоре после возникновения этих объединений. Но все же симптоматичны размышления некоторых представителей передовой молодежи об уроках восстания декабристов и о выводах, которые из него следуют. В кружках Критских,

---

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 2. ч. I—IV; ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1831 г., д. 383.

[2] Дело Ефимовского в Москве в 1827 г., процесс штабс-капитана С. И. Ситникова в 1831 г. и др.

[3] Процессы поэта А. И. Полежаева, студента Харьковского университета В. Розалион-Сошальского и др.

[4] Здесь и в дальнейшем нами используются материалы, которые частично были опубликованы ранее (см. сноски). Мы цитируем материалы по архивным источникам, которые предпочли зачастую неточным цитациям предыдущих авторов. Впервые приводятся нами прилагаемые к сообщению материалы.

[5] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 27.

[6] Там же, ф. 9, д. 2, ч. IV, л. 10.

[7] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 269, л. 36.

[8] Там же, ф. 109, I, секретный архив, 1829 г., д. 5.

Сунгурова, Кашевского раздаются голоса, что 14 декабря на площади нехватало петербургских мастеровых, которые с радостью присоединились бы к восставшим. Критские, Сунгуров и их друзья полагают, что если бы декабристы обещали крестьянам волю, то они немедленно присоединились бы к ним. В процессе обсуждения недавних событий среди революционно настроенной молодежи возникают мысли о том, что прежние пути борьбы вряд ли возможны. Новые пути еще не были ясны. В кружках глубоко задумываются над их уяснением, здесь же начинает зарождаться пока еще не получившая теоретического обоснования идея о необходимости единения русской интеллигенции с русским народом в целях насильственного уничтожения самодержавного правительства. Документы свидетельствуют, что в кружках, куда входили лучшие представители молодой России, начинали понимать, что осуществление их планов переворота может быть совершено лишь при участии народа, при использовании его революционных возможностей. Так, на собраниях в кружке Сунгурова прямо говорили, что народ (крестьяне и фабричные рабочие) — сила, которую они должны использовать для борьбы с самодержавием, и вырабатывали планы сближения с народом.

В первое время существования кружков деятельность их заключалась, главным образом, в разработке планов открытых выступлений, в результате которых и должен был произойти политический переворот, и в агитационно-пропагандистской работе. Обе стороны деятельности были тесно связаны между собой.

Развертывание в кружках агитационной работы соответствовало планам революционной интеллигенции. Агитация членов кружков преследовала двоякие цели — расширение численного состава кружков путем привлечения новых членов и распространение своих политических взглядов среди народа. С конца 20-х годов постепенно меняются взгляды участников освободительного движения на значение агитации. Если декабристы, рассчитывавшие, главным образом, на военный переворот, вели агитацию почти исключительно в армии, то проповедь мужественной борьбы революционной интеллигенции в дальнейшем несколько расширяется. Она велась не только в армии, но и среди тех слоев населения, на связь с которыми рассчитывала молодежь, — студентов, чиновников столицы и провинции, солдат и крестьян. Из документов видно, что члены политических кружков и борцы-одиночки, выступавшие в 1826—1832 гг., начинали смотреть на агитацию как на средство действенной борьбы с правительством. Распространение своих политических воззрений с целью воздействия на сознание и настроение народа становилось постепенно одной из основных задач революционно настроенной молодежи. По показаниям братьев Критских, они посредством пропаганды хотели внушить свои мысли солдатам, студентам и другому населению Москвы.

В 1831 г. организатор политического кружка Н. И. Сунгуров предлагал послать одного из его членов в Киевскую губернию для пропаганды среди восставших крестьян и «разослать по своим губерниям прокламации к народу для возбуждения ненависти к государю и правительству».[1] В намерения Оренбургского общества входило: «внушить нижним чинам и простому народу мысли о свободе и равенстве и ненависть к правлению и царствующему поколению».[2] На следствии

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 2, ч. IV, л. 11.
[2] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 119, ч. I, лл. 5—6.

штабс-капитан Ситников заявил, что каждая его листовка «имеет ясно целью одно воззвание к народу».

А вот и еще несколько ярких строк, свидетельствующих о том, как смотрели на значение своей агитации революционеры конца 20-х годов:

Мы пишем в тишине ночей,
Несем с собой свободы знамя,
Мы, страх и ужас злых царей
И порождающее пламя [1]

писали авторы оды-прокламации «Свобода», распространявшейся в 1827—1830 гг. во Владимирской губернии. Документы следственных процессов показывают, что в кружках 20—30-х годов были революционеры, мечтавшие о развитии в России планомерной агитации. Студенты Критские, чиновники братья Тюрины вели разговоры о возможностях создания нелегальной типографии, где печатались бы листовки для распространения их среди народа; листовки эти как можно чаще должны были распространяться в Москве. Петр Критский высказывал мысль о создании нелегального журнала, «где писались бы пиесы, стихи, рассказывающие правду». Сунгуров надеялся после захвата власти «разъяснить свои цели» через посредство воззваний, разосланных в разные города России с призывом выслать народных представителей в Москву. Так, молодежь конца 20-х годов в своих мечтах предвосхищала форму борьбы, развернувшуюся лишь в 60-х годах, — планомерную пропаганду революционных идей среди народа.

Каковы же были формы агитации в конце 20—30-х годов? Одной из них была устная агитация. Члены тайных обществ и одиночки-революционеры делали попытки вести ее среди студентов, чиновников, солдат. Обычно она начиналась с выяснения настроения окружающих, выявления их образа мыслей. Критские хотели выяснить настроение солдат. Участник сунгуровского кружка Федор Гуров показал, что по заданию Сунгурова он вел в университете разговоры, позволяющие ему «вскрыть сознание студентов». Исподволь, потихоньку «испытывал» настроение студентов и организатор другого политического кружка П. А. Кашевский; Н. Ф. Лушников, товарищ Критских, начинал свои агитационные разговоры с солдатами с выяснения их настроения. На следствии он заявил, что прежде всего своими прокламациями «хотели они испытать дух народа».[2] Затем переходили к разговорам о тяжелой жизни обиженного народа, акцентируя внимание на «обидах» того сословия, к которому принадлежал слушатель. Обычным приемом агитатора были разговоры о погибших декабристах. Рассказывали о их стремлении к освобождению народа от рабства, их открытом выступлении, их казни. Тем самым пытались вызвать негодование против правительства, виновного в их судьбе. Вызвав сочувствие к казненным, переходили к разговору о том, что было бы в случае успеха декабристов: «Солдаты служили бы не двадцать пять, а шесть лет. . ., крестьяне получили бы волю»,[3] — говорили Критские солдатам и студентам, среди которых вели агитацию.

По показаниям привлеченного по делу Критских чиновника Алексея Алексеевича Ганбурцева, «Критские и Лушников, желая сделать его

[1] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, лл. 3—5, и 1830 г., д. 284, ч. II, лл. 148—149; А. Сабуров. Дело о возмутительных листках в 1830 г. Каторга и ссылка, 1930, кн. 5, стр. 49.

[2] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 25.

[3] Там же, л. 24.

единомышленником, начали обнаруживать мысли свои, говорили о притеснении низшего народа русского и чрезвычайно деспотическом обращении с солдатами».[1] Зачастую агитация на этом и прерывалась. Но нам известны случаи, когда устная агитация студентов-разночинцев и близких к ним по своим воззрениям дворян носила уже более углубленный характер. Сунгуров, Костенецкий, Кашевский, Критские и другие вели среди студентов и чиновников разговоры не только о тяжелом положении народа, но и «о преимуществах конституционного и республиканского образа правления над монархическим» и пытались доказать необходимость переворота революционным путем. Член сунгуровского кружка доносчик Иван Поллонин писал, что Сунгуров вел со студентами разговоры о том, чтобы «завладеть столицей, исполнив сие, читать составленную конституцию, ... потом освободить всех арестантов, которые верно будут на стороне освободителей, далее взять непременно арсенал, хотя в Москве и мало оружия, но сколько есть раздать народу... пойти в Тулу и взять оружейный завод, где, по словам Сунгурова, находится до 6 тысяч оружейников, которые, будучи угнетены наравне с каторжными, по первому призыву будут с охотой доставлять ежедневно по несколько сот тысяч ружей».[2]

Довольно распространенной формой пропаганды было в те годы писание революционных лозунгов в присутственных местах, церквах, постоялых дворах. Так, в августе 1826 г. в Москве, на стене церкви Спаса, за золотой решоткою, появилась надпись мелом: «Скоро настанет день мщения за погибших. Восстанут потомки Минина и отмстят за повешенных. Трепещи, о злодей». Подписано: «Мститель за погибших».[3]

В июле 1830 г. командир 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Савоин уведомил московского генерал-губернатора князя Голицына, что адъютант его поручик Максимович 3-й и поручик генерального штаба Аннешков, возвратясь из Троице-Сергиевской лавры, остановились на «заездном дворе» в селе Рахманове и увидели написанные на дверях комнаты следующие слова: «Скоро настанет время, когда дворяне — сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов. 1829—10. Один из повешенных и ссыльных в Сибири, второй Рылеев». Другой рукой приписано: «Ах, если бы это совершилось. Дай Господи. Я первый возьму нож». Здесь же приписка третьим почерком: «И мы здесь были и видели 1829 года июня 4 дня».[4]

Летом 1831 г. жандармский полковник Маслов сообщил в 3-е отделение, что им на стене собора в г. Казани обнаружены «весьма дерзкие надписи».

Большое развитие получила и так называемая «письменная пропаганда». До нас дошло лишь несколько прокламаций, распространявшихся молодежью. Это ода-прокламация «Свобода» и «возмутительные письма», разбрасывавшиеся в 1827—1830 гг. во Владимирской губернии;[5]

---

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 70.
[2] Там же, ф. 9, д. 2, ч. IV, лл. 9, 11 и 12.
[3] ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 474, л. 5.
[4] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, л. 45; И. К. Пиксанов. Дворянская реакция на декабризм. Звенья, 1933, т. II, стр. 138—139; 100 лет восстания декабристов, 1928, стр. 259.
[5] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, и 1830 г., д. 284, ч. I—V; М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. II. М., 1946, стр. 287—293; А. Сабуров. Дело о возмутительных листках в 1830 г. Каторга и ссылка, 1930, кн. 4, стр. 74—94, и кн. 5, стр. 24—51.

листовка, имевшая хождение в 1826—1827 гг. среди крестьян Тульской губернии и в городе Туле;[1] прокламация, распространявшаяся в 1831 г. среди солдат Тамбовского гарнизона и в селах Тамбовской губернии;[2] листовка, известная под именем «Псевдо-Ермоловской», появившаяся в том же году на берегах Волги;[3] прокламации, рассылавшиеся штабс-капитаном Ситниковым по разным городам России.[4] Известны и агитационные стихи Лушникова, игравшие роль листовок и распространявшиеся им среди студентов Московского университета.[5] Несомненно, что были и другие, не дошедшие до нас.

Составители листовок, кроме штабс-капитана С. И. Ситникова и Н. Ф. Лушникова, до сих пор остаются нам не известными. Но политическая направленность прокламаций позволяет говорить, что они принадлежали к тому же лагерю борцов за свободу, как и известные нам Ситников и Лушников. Московский дворянин, штабс-капитан генерального штаба Степан Иванович Ситников являлся автором нескольких воззваний и прокламации в стихотворной форме: «Послание к самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет». 14 января 1832 г. Ситников был осужден военным судом за «сочинение и рассылку по разным местам России дерзких пасквилей противоправительственного содержания».

По делу значится, что в 1831 г. у Ситникова, служившего в то время в канцелярии генерал-майора Паренсова в г. Казани, жандармским полковником Масловым был произведен обыск. Ситников был арестован, под конвоем отправлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. 17 августа 1831 г. Николай наложил на докладе Бенкендорфа о «Деле Ситникова» резолюцию о предании его военному суду и лично назначил членов Военно-судной комиссии. Суд происходил в крепости, где содержался Ситников. При аресте и на допросе Ситников, после некоторого запирательства, сознался в сочинении им и рассылке в разные города России «возмутительных» листовок. «Проступок» свой он объяснил личной обидой на начальство, неуравновешенностью своего характера и «находящими» на него пароксизмами сумасшествия. Однако на следствии выяснилось, что политические убеждения Ситникова были близки к убеждениям членов Общества соединенных славян, впервые заговоривших о единении славянских стран. Ситников называл декабристов великими людьми, читал их произведения и вел «вольные разговоры» с молодыми офицерами из штаба 2-й армии в Тульчине, где был летом 1825 г. Военный суд подозревал принадлежность Ситникова к какому-либо из тайных обществ, «являвшихся остатками от 14 декабря» и действовавших после гибели декабристов. Но он категорически отрицал это, и у суда не было оснований поставить ему в вину участие в тайном обществе.[6] С февраля 1830 г. по июнь 1830 г. Ситников разослал в 14 разных

[1] ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 474, л. 7.

[2] Там же, ф. 1, секретная опись, 1830 г., д. 155, л. 45.

[3] Былое, 1917, август, № 2, стр. 183—186; Н. К. Пиксанов. Дворянская реакция на декабризм. Звенья, 1933, т. II, стр. 140.

[4] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. I—IV.

[5] Там же, ф. 9, д. 4, ч. I, лл. 41, 45, 86 об. и 87.

[6] Военный суд приговорил Ситникова к четвертованию, а его «возмутительные» листовки постановил сжечь публично на площади. Приговор поступил на утверждение к командующему всеми оставшимися в Петербурге войсками, ген.-ад. графу Васильчикову, и тот нашел возможным заменить его ссылкой Ситникова в каторжные работы. По конфирмации приговора Ситников должен был быть сослан пожизненно в тюрьму-монастырь, но, по представлению Бенкендорфа, считавшего Ситникова «чрезвычайно серьезным преступником», решение Николая I было изменено и Ситников был заточен в Шлиссельбургскую крепость, где он и умер в 1837 г.

городов России около 20 экземпляров стихотворений-прокламаций «Посланий» и несколько листовок.[1]

Имеющиеся в ЦГВИА агитационные стихотворения, распространяемые в 1827 г. среди московских студентов и офицеров, принадлежат перу сына симбирского землемера Н. Ф. Лушникова.[2] Лушников вместе с братьями Критскими был организатором первого после декабристов тайного общества (1827). Члены общества находились под сильным влиянием радикальных идей Северного общества периода 1824—1825 гг. По их признаниям, большое влияние оказали на них революционные мысли Рылеева, дошедшие до них через его произведения.[3]

Авторы оды-прокламации «Свобода» и листовок, распространяемых во Владимирской губернии и городе Муроме, не известны. Большое количество листовок, отличающихся разнообразным содержанием, пестрота высказанных в них политических взглядов позволяют предполагать, что составителями их были несколько человек. В 1827—1830 гг. их в большом количестве находили около Мурома и разных сел Владимирской губернии.

Большая часть прокламаций была обнаружена в округе села Иванова, принадлежавшего офицеру в отставке Петру Нарышкину. В авторстве листовок подозревали местных священников Лекторского и Лавровского, слывших вольнодумцами, и дьякона Канакина. По распоряжению жандармского полковника Маслова, которому было поручено это дело, у Нарышкина, его дворовых и служащих в имении был сделан обыск, в результате которого было найдено много листовок, якобы «недавно найденных и еще не сданных властям». Но авторство все же установить не удалось.[4] Любопытно то, что Маслов, недавно обнаруживший автора других листовок — Ситникова, делал предположение о том, не является ли Ситников автором и этих листовок. Следствие не подтвердило этого предположения Маслова. Нет и у нас данных, позволяющих решить, был ли прав жандармский полковник. «Ермоловская» листовка была опубликована в 1917 г. в журнале «Былое».[5] Автор листовки также не известен. Список ее хранится в материалах 3-го отделения. Никаких сведений об обстоятельствах, способствующих ее распространению, нам, так же как и автору сообщения 1917 г., обнаружить не удалось.

Небогатые данные имеются у нас о «Тульской» и «Тамбовской» листовках-воззваниях. Первая хранится в фонде дежурного генерала Главного штаба в деле 1827 г.: «О важных политических бумагах». Повидимому это снятая кем-то копия. Неизвестным почерком, карандашом, на оборот-

---

[1] Послание к самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет. Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 7 и др.

[2] Мечты, Друзья не русский нами правит, Песнь русского. Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, лл. 41, 45, 86 об. и 87.

[3] 24 декабря 1828 г. Лушников по приказу Николая I был отправлен в Шварт-гольмскую крепость. С 1828 по 1834 г. он находился в ряде других крепостей. В 1834 г. Лушников отправлен в Ревельские арестантские роты. Затем переведен в Оренбургский гарнизон. В 1847 г. уволен от военной службы, но отдан под надзор полиции. В 1856 г. получил право повсеместного жительства. — ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 269, и 1828 г., д. 203; ЦГВИА, ф. 36, д. 46; М. К. Л е м к е. Тайное общество братьев Критских. Былое, 1906, № 6, стр. 41—57.

[4] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, и 1830 г., д. 284; М. Н. Г е р ш е т. История царской тюрьмы, т. II. М., 1946, стр. 287—293; А. С а б у р о в. Дело о возмутительных листовках в 1830 г. Каторга и ссылка, 1930, кн. 4, стр. 74—94, и кн. 5, стр. 24—51.

[5] Былое, 1917, № 2, август, стр. 183—186.

ной стороне воззвания написано: «Получено из Тулы . . . найдено у тульских оружейников, имела хождение в окрестных селах».[1]

И, наконец, последняя из известных нам — «Тамбовская» прокламация была прислана в 1830 г. управляющему главного штаба гр. А. И. Чернышеву офицером Тамбовского гарнизонного батальона Докторовым. Докторов писал, что «пасквиль этот, противный Богу, царю и отечеству», был им отобран у трех солдат батальона, «занятых его чтением».[2] В донесении указывается, что листовка «была известна также и в ближайших» прилегающих к Тамбову селах — Рассказове, Сампуре и других. Появление листовки на Тамбовщине, где в 1830 г. вспыхнули холерные бунты и многие села были охвачены восстанием, можно считать закономерным явлением. Повидимому она вышла из кругов, близко стоявших к восставшим.

Форма листовок была довольно разнообразна. Так, листовки, распространяемые во Владимирской губернии и в Туле, напоминали «подметные письма» XVII и XVIII вв. Начинались они с обращения к народу, затем давалось распространенное описание его горя-злосчастия с указанием виновников тяжелой жизни — царя и дворян. Дошли до нас и листовки в виде кратких воззваний (Псевдо-Ермоловская, Ситниковская и Тамбовская), прокламации в виде писем к друзьям и прокламации, написанные в форме деловых бумаг. Таковы листовки штабс-капитана Ситникова. В листовках этого типа отсутствует подробное описание народной жизни и горя. Зато более яркими красками нарисован центральный образ «самодержца — тирана и угнетателя», главного виновника народного несчастья.

Написаны были листовки обычно на маленьких отдельных листах бумаги (от одного до семи), часто измененным почерком с нарочитыми орфографическими ошибками. Во «Владимирской» и «Тульской» пунктуация была случайной или отсутствовала совсем, в некоторых не было и прописной буквы. Часть букв была нарисована. Употребляли авторы и славянское начертание букв. Большинство листовок Ситникова, так же как «Ермоловская» и «Тамбовская» прокламации, написаны с соблюдением основных грамматических правил.

Распространены были и прокламации в стихотворной форме. Высказывания Критских, Сунгурова, Ситникова о стихах декабристов и Пушкина показывают, что революционеры 20-х и начала 30-х годов смотрели на поэзию как на особую форму политической пропаганды. Мысли о свободе «возбуждали в нас новые творения Пушкина и Рылеева, которые, переходя у нас из рук в руки, читались и перечитывались»,[3] — отвечал на вопрос следственной комиссии об источнике своего вольномыслия Василий Критский. С. И. Ситников заявлял, что в 1825 г. в Тульчине он читал оду Пушкина «Вольность» офицерам штаба 2-й армии, с которыми вел вольные разговоры. Участники сунгуровского кружка показывали военному суду, что, наряду с произведениями Шиллера и комедией Грибоедова «Горе от ума», читали они и восхищались свободными стихами Рылеева.

Велико, друг, поэта назначенье,
Ему готов бессмертия венец,
Когда живое вдохновенье
Отчизне посвятит певец [4]

---

[1] ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 474, л. 7.
[2] Там же, ф. 1, 1830 г., секретная опись, д. 155, л. 46.
[3] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 45.
[4] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 200, л. 5.

писал поэт А. Шишков другому поэту, А. Ротчеву,[1] в 1827 г. о значении поэзии.

С развитием агитационной деятельности в конце 20-х годов наблюдается большая тяга к сочинению политических «обличительных» стихотворений. Молодежь, вступившая на путь борьбы, пыталась писать, в подражание декабристам, стихи-прокламации, вольные стихи. Известны распространяемые в 1827—1831 гг. во Владимирской губернии ода-прокламация «Свобода» неизвестного автора и вольные стихи дворового человека Гаврилы Пономарева,[2] агитационные стихи Лушникова и стихи антирелигиозного направления, сочиненные в подражание пушкинской «Гавриилиаде» Федором Гуровым.[3]

Большинство из них, по существу, являются прокламациями в стихотворной форме. Во всех них видно стремление авторов приблизить поэзию к политике, заставить ее заговорить языком прокламаций.

И, действительно, слабые в художественном отношении, они насыщены большим идейным содержанием. Так же как и в листовках, в них нашли отражение общие политические установки их авторов, их революционные настроения. В целях воздействия авторы употребляли те же приемы, что в других листовках. Но прокламации-стихотворения были более доходчивы. В доступной народу литературной форме они воспевали свободу, критиковали существующие порядки и призывали к борьбе с царским правительством. Обычно стихотворения-прокламации распространялись среди студентов, чиновников и дворовых людей, у которых имели большой успех.

Стихи Ситникова, Лушникова, Сунгурова свидетельствуют о продолжении ими традиций русской обличительной литературы. В этом несомненно сказалось влияние гражданской поэзии и прежде всего декабристов и Пушкина. Списки стихотворений Раевского «К друзьям», агитационные песни Рылеева и Бестужева, а также вольнолюбивые стихи Пушкина и Полежаева находились у молодежи, привлеченной «за пропаганду вредных правительству мыслей». Трудно переоценить значение воздействия нелегальной вольной поэзии на развитие революционных идей молодежи в конце 20-х и начале 30-х годов. Это был один из каналов, по которому проникали к ней освободительные идеи декабристов.

Запрещенные стихотворения Рылеева, так же как и вольные стихи Пушкина и Полежаева, снова оживали в огромном количестве рукописных сборников, в устной передаче. Они делались предметом обсуждения и разговоров, возбуждали «дух свободолюбия и мести». «Тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные стихи читались с комментариями»,[4] — вспоминает в «Былом и думах» Герцен. На них воспитывались целые поколения молодежи, вступившей в борьбу с самодержавием.

Интерес передовой интеллигенции к вольной поэзии был огромный. Об этом свидетельствует большое количество процессов студентов и офицеров, привлеченных к тяжелой ответственности за чтение и распространение декабристской и вольнолюбивой литературы. В июле 1826 г. поэт Полежаев «передает» студенту Московского университета П. Пальмину песню Рылеева «Близ Фонтанки реки», и песня приобре-

---

[1] Русский биографический словарь, Плавильщиков — Примо, М., 1905, стр. 313.
[2] «Дворовый человек Гаврила Пономарев» — управляющий Выжинских заводов.
[3] Участник сунгуровского кружка.
[4] А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, ч. I. М., 1937, стр. 205.

тает большой круг читателей. Она попадает в кружок Критских, и те в свою очередь распространяют ее среди студентов. Известна она и в школе армейских подпрапорщиков в Калуге. Большой интерес возбуждает и песня-сатира Рылеева «Ах, где те острова?». Стихотворение распевается в квартире Критских и отсюда проникает в стены университета. Не меньший успех имеют среди членов политического кружка поэмы Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко». В них привлекает образ борцов за свободу. На следствии Лушников сознался, что «повторял он с восхищением, как сладкую песнь смерти», следующие стихи Рылеева:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю . . .
И радостно, агнец святой,
Свой жребий я благословляю.[1]

Огромным успехом пользуются стихи Пушкина и Полежаева. В своих показаниях штабс-капитан Ситников заявляет, что в Петербурге он читал часто оду «Вольность», «которая имелась в каждом доме». В бумагах Критских Следственная комиссия обнаружила несколько списков той же оды и стихотворения «Деревня». Студент Харьковского университета В. Розалион-Сошальский, привлеченный в 1827 г. за написание стихов, посвященных Рылееву, показывает, что «вольных сочинений Пушкина или выданных под его именем у редкого студента не находится».[2]

В 1827 г. ректор Харьковского университета И. Я. Кронеберг доносил попечителю университета А. А. Перовскому, что распространением стихов Рылеева среди студентов Харьковского университета занимаются офицер военного Чугуевского поселения Сиянов и разжалованный в солдаты приятель Пушкина, Р. И. Дорохов.[3]

В том же году жандармский генерал-майор Волков писал Бенкендорфу, что «редкий студент Московского университета не имеет сейчас противных правительству стихов писаки Пушкина».[4] Стихи Пушкина «Андрей Шенье», под названием «На 14 декабря», были популярны среди студентов и офицеров города Москвы.[5] Куплеты, приписывавшиеся А. И. Полежаеву:

Когда б заместо фонаря,
Который гаснет от погоды,
Повесить нового царя,
То проснял бы луч свободы,[6]

с увлечением распевались в кружке Критских и юнкерами школы гвардейских подпрапорщиков в Калуге. Ходил по рукам студентов Московского университета и экспромпт поэта-воина А. Шишкова:

Деспот сказал, мои сыны,
Законы будут вам даны,

---

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 25.
[2] М. Я. Цявловский. Эпигоны декабристов. Голос минувшего, 1914, г. VII—VIII, стр. 97.
[3] Там же, стр. 77—79.
[4] ЦГВИА, ф. 336, д. 233. л. 22.
[5] П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. Пушкин в политическом процессе 1826—1827 гг. 1912.
[6] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, л. 499 и др.

Я возвращу вам дни златые
Благославенной старины.
И обновленная Россия
Надела с выпушкой штаны.[1]

3-е отделение с. е. и. в. канцелярии и сам самодержец Николай I хорошо сознавали «вредную для правительства» роль декабристских и вольных стихотворений. В 1827 г. Бенкендорф, по распоряжению Николая I, дал строгий наказ членам его свиты ген.-ад. Стрекалову и флигель-ад. Строганову обследовать Московский и Харьковский университеты: «Откуда, как из очага заразы, распространяются по стране запрещенные стихи Рылеева и Пушкина. . . о нашедшихся виновниках немедленно сообщить. . . а самому принять меры строгие к полному истреблению последствий».[2]

Способ распространения листовок характерен для цели агитаторов — охватить пропагандой как можно большее количество народа. Обычно листовки распространялись среди тех групп населения, для которых они предназначались. Так, прокламации Владимирского общества, написанные, в основном, для крестьян, оставлялись в большом количестве на почтовых трактах, постоялых дворах, их заливали в свечи и продавали в церквах, зашивали в мешочки и оставляли на проселочных дорогах. Прокламации Ситникова, предназначенные к распространению среди интеллигентов-чиновников, студентов, офицеров, рассылались им по присутственным местам разных городов России. Критские, мечтавшие привлечь к борьбе население Москвы, хотели разложить свои прокламации на памятнике Минина и Пожарского, мимо которого проходит много народа, и распространять их среди солдат различных полков, стоявших в Москве. Сунгуров собирался распространять свои воззвания среди крестьян и рабочих Тульского оружейного завода. Известно, что авторы листовок заботились и о их распространении: «Прочтите сами и отдайте другим», — читаем мы в «Тамбовской» листовке.[3] «Не робея говорите везде и все списывайте сие сколько можно более и рассылайте к знакомым во все города, села и деревни», — призывала «Владимирская» листовка.[4] Ситников просил свои листовки рассылать далее.

Содержание прокламаций соответствовало и определялось социально-политическими воззрениями их авторов. Идеи декабристов о необходимости освобождения страны от крепостничества и самодержавного правительства, унаследованные молодежью, нашли отражение во всех известных нам листовках, независимо от дальнейших планов их авторов относительно государственного устройства. «Продавать людей в рабство . . ., сотворенных по образу и подобию божию самое противное бога дело, и никакой земной царь не смеет этого делать»,[5] — читаем мы во «Владимирской» листовке. — «Да водворится в нас свобода, пусть рабства цепь не тяготит издавна славного народа»,[6] — писал Николай

[1] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 200, л. 11; В. Г а н ц о в а-Б е р н и к о в а. Отголоски декабрьского восстания. Красный архив, 1926, т. 16, стр. 195.
[2] ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 474, л. 10 об.
[3] Там же, ф. 1, секретная опись, 1830 г., д. 155, л. 45.
[4] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, л. 2.
[5] Там же, л. 88.
[6] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, л. 45.

Лушников в своем стихотворении-прокламации. «Подвизайтесь, сыны России — пора уже возгнушаться игом самовластия, которым угнетают вас иноплеменные пришельцы», — взывал автор «Волжской» листовки.[1] В безымянной листовке, имевшей хождение в 1826 г. в г. Туле и Тульской губернии, читаем: «Миллионы русских крестьян держит в рабстве царь и его приспешники — злые дворяне-душегубы. Долго ль будем терпеть рабство народа и тирана-царя».[2] На допросе Критские сознались, что насильственное свержение царя входило в их планы и это разъясняли они студентам, среди которых вели агитацию. Ту же мысль выразил член их кружка Н. И. Лушников в своем стихотворении «Мечты», написанном им в подражание Рылееву:

Упьется месть в крови злодея,
Мне голос сердца говорит,
И терем страшный, запустея,
Как башня рухнув, загремит.
Звезда свободы оживит
Родную сторону мою.[3]

На вопросы «об источниках вольномыслия», заданные на суде и следствии членам политических кружков — Критским, Кашевскому, Сунгурову и революционеру Ситникову, — все они отвечали, что «ужасы русской действительности» и патриотизм сделали их последователями революционных идей декабристов и заставили мечтать о выступлении «во имя освобождения страны от самодержавной тирании и рабства».

Традиции декабристской агитации были устойчивы в русской обличительной литературе. В устной пропаганде и в своих стихотворениях-прокламациях декабристы в резкой форме критиковали факты, свидетельствующие о тяжелом состоянии страны и жизни русского народа, — злоупотребление властью, волокиту, взятки, беззаконие, отсутствие свободы слова, упадок в торговле, финансовый кризис, а главное помещичью тиранию. Широко развит был у декабристов и другой агитационный прием — критика действий («обличение») русского царя — представителя и защитника феодально-крепостнического государства с его порядками.

Агитационные приемы декабристов нашли дальнейшее развитие у агитаторов конца 20-х—начала 30-х годов.

Рассматривая дошедшие до нас листовки, можно сказать, что одним из излюбленных агитационных приемов их авторов была критика отдельных сторон деятельности государственного и административного аппарата. Составители листовок, так же как и декабристы, рассчитывали, что критика эта должна вызвать осуждение общественно-политического строя в современной им России и желание вступить в борьбу за освобождение народа.

Центральным местом известных нам прокламаций являлось, обычно, «обличение» власти в лице ее представителей — самодержца-царя и его помощников, «вельмож» и «дворян». «Злым и подлым убийцей» назван Николай I в листовках штабс-капитана Ситникова. Как о крепостнике, заживо погубившем свой народ, писал о нем автор «Тамбовской» листовки (Стон идет. . . по великой Руси, умирают в рабстве землепашцы, отданные тобою палачам-дворянам. . .).[4]

[1] Былое, 1917, август, № 2, л. 183.
[2] ЦГВИА, ф. 36, 1827 г., д. 474, л. 7.
[3] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, лл. 45 и 86 об.
[4] ЦГВИА, ф. 1, секретная опись, 1830 г., д. 155, л. 45.

Волнующие строки читаем мы в оде «Свобода», являющейся интереснейшим обличительным документом-прокламацией:

Воззри на низший класс людей,
Забытых богом и тобою,
Объятых предрассудков тьмою,
По воле прихоти твоей.
Скажи? Кто их не властелин?
И чья рука на них не ляжет?
Судьба их в сети рабства вяжет,
Закон их дерзкий господин.
Мы все рабы один другого
И ты один тиран у нас.[1]

«В судах заседает медленность и явное лихоимство»,[2] — поясняла народу «Владимирская» листовка.

Социально-политическое заострение, конкретизация прокламаций достигалась авторами указанием на отдельные факты тяжелой русской действительности, в которой повинен тот же царь-тиран. В своих листовках Ситников не только рисует образ царя-убийцы, но и приводит число замученных им, заключенных в тюрьмы и сосланных в Сибирь людей. Мучителем «60 000 жертв, томящихся в степах (еже есть в карцерах) и крепостях тайно без всякого суда и следствия по влиянию власти», называет он царя.[3] В «Ермоловской» листовке видим напоминание о восстании крестьян 1830 г. в Саратовской и соседней с ней Тамбовской губерниях. В листовке, распространявшейся в Туле, есть указание на тяжесть жизни крестьян в новгородских военных поселениях. В «Тамбовской» — содержится намек на холерные бунты. О военных поселениях говорит в своем «Послании» Ситников. Там же упоминает он о восстании на Дону в 1820-х годах. В листовках, рассчитанных на крестьян, большое место занимает энергичная критика, обличение их непосредственных владельцев — дворян и помещиков. Так, автор «Тамбовской» листовки в своем обращении к помещикам говорит — «Пролили вы реки крови безвинных россиян», — и перечисляет их проступки перед народом: продажу живых людей, разлучение матерей и детей. «Матери глаза выплакали, глядя на детей сирых, отторгнутых вами»,[4] — пишет он. «Помещики овладели людьми, как скотиною, и стали даже продавать»,[5] — восклицает составитель «Владимирской» листовки. Автор другой листовки, распространявшейся в той же Владимирской губернии в 1830 г., напоминает народу, что с начала крепостного права «дворяне по меньшей мере . . . лишили жизни 20 000 рабов».[6] В прокламациях, распространявшихся также и среди интеллигенции, критикуется высшая чиновничья и дворянская знать, окружающая царя. «Окружающие царя — помощники будут всегда люди, понятия не имеющие о нуждах народа, это ласкатели, плуты и дураки»,[7] — читаем мы в одной из «Владимирских» листовок. Ненависть к царю и придворным должны были вызвать у народа и слова автора «Ермоловской» листовки: «Во имя закона властвует кичливый деспот, алчные придворники, чуждые отечеству, в жертву своему корыстолюбию

[1] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, л. 4.
[2] Там же, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 244, ч. I, л. 26.
[3] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 7 и др.
[4] ЦГВИА, ф. 1, секретная опись, 1830 г.
[5] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, л. 88.
[6] Там же, л. 26.
[7] Там же, лл. 88, 89.

истощают сокровища России, в жертву своей гордости проливают кровь чад ее, попирают ногами русский народ».[1]

Дальнейшее «обличение» достигалось противопоставлением «царя-пруссака» русскому народу — потомку славян. Образ царя «немца русского» получил прочное осмысление в декабристской агитационной литературе.[2] В прокламациях 30-х годов произошло углубление образа. Русский царь — пруссак по рождению. Помощники царя — немцы и прибалтийские дворяне, его соотечественники. Все они представители того лагеря, который стремится сохранить старые, мешающие развитию страны, феодально-крепостнические порядки. Здесь же и продавшиеся «царю-немцу» русские дворяне, принявшие его реакционную программу и отличавшиеся пристрастием ко всему иностранному. Им противопоставлен другой лагерь — русского народа. Это интеллигенция, крестьяне, солдаты — храбрые защитники отечества, простые нравом, с душой гражданина. В то же время — это мстители, выступившие за поруганную иноплеменником-царем отчизну, — те, кто хочет восстановить «законы вольности святой». «Известны миру твердость духа и храбрость русского воинства . . ., известны простота нрава нашего земледельца и возвышенная душа гражданина»,[3] — писал автор «Ермоловской» листовки. Такое противопоставление было широко использовано в листовках Ситникова:

О, Николай, не мни,
Что кто-либо из сей земли
Славян тебя хоть сколько любит,
Но верь, что кроме подлецов,
Весь род славян тебя в душе лишь губит,
И чтит тебя лишь чухон сброд,
Тебя достойный твой народ. . .[4]

писал он в своем «Послании».

Пользовались этим приемом в своей агитации среди студентов и Критские, доказывавшие, что царь — немец по рождению и потому не любит русский народ.

Друзья, не русский нами правит,
Норманец нам подаст закон,
Он Русь Святую так бесславит,
Как обесславлен теперь он[5]

говорил в своем стихотворении, распространяемом среди студентов, Н. И. Лушников.

«Немцем» назван царь в «Тамбовской» и «Тульской» листовках. По мнению автора «Волжской» листовки, «первые места в государстве занимают пришельцы! — Они-то грабят российских подданных, ибо они не наши братья».[6]

«На следствии объясняется, — докладывала Следственная комиссия по делу Критских Николаю I, — что пристрастие русских к иностранному и рабство были первые предметы, употребляемые Критскими в разговорах с теми, которых желали они испытать мысли, дабы привлечь на свою сторону».[7]

[1] Былое, 1917, август, № 2, стр. 184.
[2] К. Рылеев. Царь наш немец прусский. Полн. собр. стих., Л., стр. 309.
[3] Былое, 1917, август, № 2, стр. 184.
[4] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 7.
[5] Там же, ф. 9, д. 4, ч. I, л. 41.
[6] Былое, 1917, август, № 2, стр. 185.
[7] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 16.

Концепция эта, принятая авторами листовок, свидетельствует о патриотизме передовой молодежи. Она продолжала декабристскую традицию. Уже в XVIII в. русские передовые люди возмущались преобладанием немецкой бюрократии в русском государственном аппарате. Поставив царя в один ряд с немцами, авторы листовок тем самым как бы указывали, что борьба с русским царем-немцем, олицетворяющим самодержавие, является борьбой с врагами России и исторически оправдана.

Так путем заострения внимания на центральном образе «царя-самодержца, царя-тирана», чуждого России, немца из династии Голштейн-Готторпов, повинного во всех бедах страны, автор пытался возбудить ненависть народа к феодально-крепостническим порядкам.

Использован был агитаторами и другой агитационный прием декабристов — обращение к истории «с целью воспитания граждан подвигами предков» и «возвеличением образов прошлого для оттенения настоящего». В своей пропаганде декабристы широко использовали материалы из истории борьбы русского народа за свою свободу. Часто обращались они к истории вольных вечевых городов Новгорода и Пскова, вступивших в борьбу с иноплеменниками и самодержавием. Ярким примером применения этого приема в 30-х годах могут быть листовки Ситникова, где идеализация Новгорода и Пскова является одним из центральных мест:

Но Новгород Правление вечевое
Близ десяти веков имел,
Любовию к стране своей он пламенел
В нем каждый гражданин имел свои права. . .
Псков также счастлив был,
Имев Правление Вечевое,
Посадников своих любил. . .[1]

читаем мы в одной из его прокламаций. «Помните, что древние предки наши были свободны», — напоминала народу «Ермоловская» листовка.

Характерным для всех листовок являлось напоминание о декабристах. Декабристов, особенно борца-поэта Рылеева, вспоминали почти в каждой листовке. О них говорили как «о благороднейших жертвах, погибших за отечество». В «Волжской» листовке автор писал: «Вспомните, каким родом казни, доселе неизвестным в России, Николай Павлович истребил в 1826 году первых героев свободы нашей».[2] Вспоминал декабристов и автор оды «Свобода»:

И петербургский заговор
Хотя разрушен злой рукой,
Но он не дым, не пылкий вздор
Зажегся вольности зарею. . .[3]

В листовках штабс-капитана Ситникова Николай I изображен как «злобный и подлый убийца Рылеева, убийца и мучитель трех тысяч жертв, благороднейших славян, привезенных в Сибирь по его подлейшему повелению».[4]

Критские, в целях агитации, «на монументе Минина и Пожарского хотели вывесить изображение казненных преступников с надписями

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 7 и др.
[2] Былое, 1917, август, № 2, стр. 184.
[3] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, л. 4.
[4] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 7 и др.

и означить число сосланных».[1] Ода «Свобода» подписана: «Северное 3-е тайное общество мстителей».

Целью авторов было не только напоминание о «мучениках тирании». Здесь видно также стремление подчеркнуть значение выступления декабристов как начала борьбы за народную свободу. Их имена являлись для составителей листовок своего рода политическими лозунгами. Опираясь на авторитет погибших, они как бы указывали, что борьба возможна, а следовательно должна продолжаться. И недаром один из авторов оды «Свобода», вспоминая о декабристах, писал:

Мудрец посеял семена,
Лишь бы рука не оробела,
Плоды взрастут сами собой
Для блага русского народа.[2]

Зачастую рядом с именами декабристов стояло имя Ермолова. Цель авторов была та же — опереться на авторитет имени генерала, популярного среди декабристов [3] и революционеров 30-х годов. Именем Ермолова пользовались в своей агитации Критские и Сунгуров. Они указывали на него как на возможного председателя их кружков. Этим же именем подписана «Волжская» листовка 1830 г. О Ермолове в своих прокламациях вспоминал и Ситников, называвший его «главнокомандующим вечевой армии».

Так в содержании листовок отразились политические воззрения авторов — революционеров конца 20-х и начала 30-х годов, родственные их предшественникам декабристам. Те же листовки свидетельствуют и о намечавшемся в политических кружках интеллигенции и среди революционеров-одиночек повороте в сторону сближения с народом в целях использования его революционных возможностей для борьбы с правительством. Открытые призывы народа к вооруженной борьбе с крепостником-царем, заключавшиеся обычно в каждой листовке, являются одним из документальных подтверждений этого положения: «Вставай на борьбу, народ русский, следуй примеру древних славян»,[4] — писал автор прокламации, распространявшейся в г. Туле. «Лучше умереть с оружием в руках, защищая свою свободу, нежели безвинно вечно жить рабом и невольником», — говорилось во «Владимирской» листовке.[5] «Спешите к берегам Волги, там уже развевается знамя свободы Российской. — Там уже действуем»,[6] — призывал народ автор другой листовки, получившей распространение на Волге. «Пора работать, делайте и покупайте сабельки и пистолеты. Половина армии хочет Правления Вечевого»,[7] — обращался с призывом к народу Ситников.

Какое же государственное устройство предлагали авторы листовок народу взамен крепостного и самодержавного строя?

Рассматривая листовки, мы видим в них также и попытки авторов изложить свои взгляды на будущее государственное устройство в стране. Однако в большинстве случаев попытки эти были слабы и в листовках своего теоретического обоснования не получили. Так, штабс-капитан Ситников, идеи которого были близки Обществу соединенных славян,

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. III, л. 13.
[2] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, ч. I и V.
[3] М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. Огиз, 1947, стр. 183—208, 443—446.
[4] ЦГВИА, ф. 36, 1837 г., д. 474, л. 7.
[5] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 423, ч. I, л. 90.
[6] Былое, 1917, август, № 2, л. 85.
[7] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 22.

в своих прокламациях лишь убеждает принять проект вечевого правления, которое существовало во Пскове и Новгороде за 300 лет перед этим, и предлагает избрать трех посадников: «славяно-русского в Новгороде, славяно-польского в Варшаве и великого вечевого посадника соединенных славян в Киеве».[1] Основных положений проекта в листовках нет. Сунгуров хотел, чтобы в его агитации был призыв к борьбе за конституцию, «представительное» правление и независимость крестьян от помещиков; то же предлагали «Тульская» и «Тамбовская» листовки. Основы конституций в прокламациях не изложены. В «Ермоловской» листовке более ярко выражены капиталистические тенденции, характерные для прогрессивного дворянства и части русской интеллигенции с конца первой четверти XIX столетия, — стремление к поднятию русской торговли, угнетенной налогами, и уничтожение подневольного крестьянского труда, невыгодного для развивающегося капиталистического хозяйства. Повидимому, автор прокламации принадлежал к той группе среднего дворянства 30-х годов, которая начинала уже понимать, что самодержавие стесняет развитие капитала. «Просвещение зорница народного благоденствия без истинного покровительства, без свободы, образует раболепные орудия самовластия, торговля угнетена налогами, земледелие податями, крестьяне в уничтожительном рабстве, граждане в пренебрежении»,[2] — писал он. Листовка явно свидетельствует об отходе ее автора от либеральных дворянских позиций — примиренчества с крепостником-царем. «Вотще ожидали б мы от самодержцев похищенных прав и отнятой свободы народу! Они обещают управлять с кротостью и миролюбием, для того чтобы приобретенною за то любовью и повиновением народа тем прочнее укреплять цепи нашего рабства. Вас обманывают, Россияне! Страшитесь всякую минуту быть более и более несчастными. — Нынешнее правительство ведет вас к тому исполинскими шагами», — говорит он и требует: «пора восстановить законное народное правление».[3] Дальнейшего развития эти положения в листовке не получили.

В так называемых «Владимирских» листовках нашли свое отражение взгляды нескольких социальных групп, что позволяет говорить об авторстве нескольких лиц. В них отображены воззрения либерального дворянства, не препятствующего личному раскрепощению крестьян, но отстаивающего свои права на эксплоатацию «вольного» крестьянского труда. «Господские крестьяне и дворовые совершенно свободны и могут жить, где сами хотят, но не иначе как по уборке полей и окончив молотьбу хлеба»,[4] — говорится в одной из них. Автор беспокоится также и о судьбе купечества, «стесненного в оборотах своих». Выход из тяжелого положения, в котором находится страна, также типичен для автора — либерального дворянина. Он хочет «просить государя все поправить». В одной из «Владимирских» листовок в 9 пунктах изложена дворянская конституция, требующая сословного правительства, «дворянского парламента» во главе с царем.[5]

Большое место в этих прокламациях занимает описание тяжелой крестьянской жизни. «Несчастные и невольные рабы русские. Вас бьют, секут, дочерей берут на ночь, хлеб отбирают, а вас воровать посылают.

Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 11 об.
[2] Былое, 1917, август, № 2, стр. 185.
[3] Там же, стр. 186.
[4] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, стр. 89.
[5] Там же, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, лл. 88—91; М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. II. М., 1946, стр. 287—298; А. Сабуров. Дело о возмутительных листках в 1830 г. Каторга и ссылка, 1930, кн. 4, стр. 79—88.

Дети наши будут вечно невольниками и внучата».[1] Далее — призывы к народу улучшить свое положение путем вооруженного выступления, что говорит уже о «крестьянских настроениях» автора.

В заключение листовок агитаторы указывали на то, что терпение народа не беспредельно, и предсказывали грядущую судьбу царя-крепостника, его гибель от рук восставшего народа: «Падешь злодей. Невинна кровь Рылеева уж вопиила»,[2] — утверждал в своем «Послании» Ситников.

«Опомнись, дерзкий властелин,
Какая цель твого владенья?
Мы все рабы, — ты господин,
Но близок час — в умах волнение. . .
Ты славу граждан помрачил,
Достоин ты небес карания»[3]

писал автор оды «Свобода».

«Судьба твоя решена, о злодей. За гибель тысячи жизней народных — достойная будет казнь»,[4] — обещал Николаю I автор «Тамбовской» листовки.

Таковы были известные нам в настоящее время формы и методы и содержание агитационной работы агитаторов-революционеров конца 20-х и начала 30-х годов XIX столетия. Они стремились сделать ее действенной, доходчивой до народа, искали средств для этого.

В содержании агитации нашли свое отражение основные идеи революционеров о решительном уничтожении крепостного права и крепостнического правительства при участии народа. Общее во всех известных нам листовках — протест против крепостного права, призыв народа к вооруженной борьбе. Каждая листовка являлась своего рода обращением русской интеллигенции к народу. Прокламации, предлагающие народу просить царя об облегчении его жизни, — единичны.

Агитация и пропаганда молодежи не была развернута в конце 20-х и начале 30-х годов XIX в. В этом сказалась недостаточность ее политической подготовки и оторванность от народа. Она искала, но еще не нашла путей к единению с народом и пока была далека от него. Потому-то не могла быть развита в те годы и пропаганда в широких масштабах.

И все же агитационная деятельность эта имела большое значение. В эпоху жесточайшей реакции молодежь способствовала объединению масс и обострению классовых противоречий в феодально-крепостническом государстве и тем самым приближала его к окончательному разложению. Вырабатывались и новые формы и приемы агитации.

И сами агитаторы и правительство хорошо учитывали роль пропаганды в пробуждении народного сознания. «Каждый из моих пасквилей . . . имеет ясно целью одно воззвание к народу», — говорил в своих показаниях Ситников. В приговоре военного суда над штабс-капитаном Ситниковым читаем: «Осужден за составление и рассеяние по разным местам Империи пасквилей и возмутительных писем, которыми старался воспламенить и подвинуть мирных граждан к измене, мятежу и убийству для ниспровержения законной власти».[5]

---

[1] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1830 г., д. 284, ч. I, лл. 76, 89, 90.
[2] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, лл. 7 и др.
[3] ЦГИАМ, ф. 109, I эксп., 1827 г., д. 423, л. 4.
[4] ЦГВИА, ф. 1, секретная опись, 1830 г., д. 155, л. 45.
[5] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 81.

Современники агитаторов еще в то время высоко оценили «бесплодные усилия» молодежи приблизить «светлое будущее». Герцен и Огарев называли этих юношей «Россией будущего» и считали их пропагандистскую деятельность революционной школой, дающей политическую закалку молодому поколению. «Свирепые наказания мальчиков 16—17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом. . . Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло притти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — год ссылки, белого ремня, а иногда и каземат. Потому-то и важно, что слова эти говорились, что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксову задачу русской жизни, но оправдывая ее упование»,[1] — писал Герцен.

Публикуемые нами в приложении «Послание к самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно себя Романовым называет», «Прибавление к Посланию» и три стихотворения Н. Ф. Лушникова являются не известными до сих пор образцами прокламаций и вольных стихов, написанных в начале 20-х—конце 30-х годов.

«Послание» является одной из прокламаций Ситникова. Слабое в художественном отношении, оно интересно по своей идейно-политической направленности. В нем нашли отражение политические взгляды его автора. Раскрывает оно и агитационные приемы «агитатора» начала 30-х годов. Здесь мы видим и призыв к революционной борьбе, и использование исторического материала, и критику действительности. Центральным местом прокламации является обличение самодержавия и использование имен декабристов как политических лозунгов.

В судном деле Ситникова хранятся 11 текстов «Послания к самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет»,[2] помеченных разными датами. Разночтений в тексте почти нет. Все тексты были отобраны у Ситникова при обыске или направлены Бенкендорфу из тех мест, куда были посланы Ситниковым. Под текстом «Послания» были сделаны Ситниковым приписки «Прибавления». «Прибавления» эти по существу являются самостоятельными прокламациями. Объединены они были с «Посланием» лишь общей политической направленностью и целеустремленностью. Иногда эти «Прибавления» писались Ситниковым на отдельных листах и вкладывались в один конверт с «Посланием». Публикуемый нами текст «Послания» наиболее полный. Оно было адресовано в Нерчинскую счетную контору. «Прибавление» печатается с экземпляра, адресованного в Иркутский нижний земский суд.

Три стихотворения — «Друзья, не русский нами правит», «Мечты» и «Песнь Русского» — написаны Николаем Федоровичем Лушниковым весной 1827 г., когда он и его друзья горячо обсуждали планы работы созданного ими общества. Все они предназначались Лушниковым к распространению среди студентов.

Так же как и «Послание» Ситникова, стихотворения носят следы агитационной поэзии Рылеева.

Стихотворения были отобраны у Лушникова при аресте и хранятся в виде «вещественных доказательств» в деле «О злоумышленном тайном обществе в Москве». «Мечты», так же как и другое его стихотворение — «Песнь Русского», были прочитаны Лушниковым на допросе его След-

[1] А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, ч. I. М., 1937, стр. 248—249.
[2] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV.

ственной комиссией 18 VIII 1827, задавшей Лушникову вопрос о цели «писания им стихов». Здесь же Лушников заявил, что читал он их студентам и офицерам, но говорил им, что «стихи получил из тайного общества, к какому принадлежал, чтобы наиболее уверить в силе их».[1]

Печатаются документы по автографам, извлеченным из судебно-следственных дел Ситникова и Лушникова.

Дополнения и вставки, сделанные нами, заключены в угловые скобки. Документы расположены по их значимости. Все они хранятся в Филиале Центрального Государственного военно-исторического архива в Ленинграде, в фонде Аудиторнатского департамента.

Подготовка нижепубликуемых текстов выполнена Л. А. Мандрыкиной и П. В. Виноградовым, комментарии к ним — Л. Н. Мандрыкиной. Стихотворения датированы по показаниям Лушникова.

Донецк, 1830, декабря 24.

I. ПОСЛАНИЕ[2]

К самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет[3]

О Николай, не мни,
Что кто-либо из сей земли
Славян тебя хоть сколько любит,
Но верь, что, кроме подлецов,
Весь род славян тебя в душе лишь губит
И чтит тебя лишь чухон сброд[4]
Тебя достойный — твой народ.
Не мни, чтоб ты был чем велик:
Твои дела не слава трубит,
Но купленный бродяг язык. . .
В журналах подлых искаженных,[5]
Где истины ни капли нет,
И всяк тех мыслей несомненных,
Что аду дал ты в том обет:
Что точно истребить Славянски Племена,
Чтобы навеки всяких прав
Россия навсегда тобой быв лишена,
Познала бы один твой подлости устав:
Отчизне не служа тебя боготворить,
Друг друга лишь губить,
И себялюбья адский дар
Внушить ты алчешь всем в сердца!
Но нет, узнали подлеца —
И истина весь мрак дурачеств прогнала,
И русская земля тебя уж поняла,
Любви к отечеству проснулся уже жар,

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, л. 86 об.

[2] Там же, д. 1, ч. IV, лл. 7—8.

[3] Здесь подразумевается, что с Петра III русские цари принадлежали не к династии Романовых, а к прусской династии Голштейн-Готторпов.

[4] «Чухны» — здесь прибалтийское остзейское дворянство, к которому принадлежал и шеф жандармов А. Х. Бенкендорф.

[5] Указание на официозные издания — «Северная Пчела» и «Русский Инвалид».

Свободы Вечевой алкают Росспяне,
И скоро загремят Славянские Граждане,
И скоро треснешь ты, тиран,
С своей подлейшей немчурою, —
Убийца дерзостный граждан,
С своей мерзейшею чухною.
Падешь, злодей! невинна кровь
Рылеева уж возопила! . . .
И тень его Славянам вновь
Права сердцам их возвестила! —
Падешь от грома Славян-Россов,
Падешь среди заздравных тостов,
Падешь от молнии славян,
Падешь от Вечевых Граждан,
Соединенных за права, что попраны царями,
Неправдами их вековыми,
И вероломством твоих дел! . . .
Но час твой роковой приспел! . . .
Падешь, злодей, уверься в том:
Тебе газеты не помогут,
Ни дар твой подлых орденов
За трусость немцам, что дается,[1]
Ни лживый бред твоих певцов:
На рынках лишь что раздается,
Что нанят горстью серебра
И чуждый всякого добра,
Ни льстивый, злобный подлый глас
Твоих пустых благоволений,
Ни меч военных поселений,
Ни манифест, ни содом
Шпионов подлых не возмогут
Сердец Славянских изменить:
Соделать русских подлецами,
Себялюбивыми льстецами,
И вере бога изменить! —
«Христос велел любить друг друга,
Всем братьями на свете жить,
Всем равными и в дружбе быть!».
И тот ходил, кто ввек у плуга,
Имел всегда Славян права,
Держался веры и добра,
Был гражданином почитаем,
И не был братом продаваем,
Как пес, баран, или овца,[2]
Как (божья не боясь лица)
Теперь помещики Славяне,
Забыв и долг и честь граждан,
Брат брата продавать стремятся,[3]

---

[1] Генералы-немцы — А. Х. Бенкендорф и другие придворные генералы, принимавшие участие в подавлении освободительного движения.

[2] Смотри Евангелие: Св. Матвея, глава 23, стихи 9, 10, 11 и 12; Св. Марка, глава 9, стихи 34, 35, 36; Св. Луки, глава 22, стихи 19, 20, 24, 25, 26, 27. (Примечание в рукописи).

Ни совести своей, ни веры не боятся! —
И кто из них хотел попрать
Права сей Сатанинской власти,
В Сибирь ты стал их отправлять
И вешать их, и, действуя по страсти,
Закона все права попрал:
Сам с братом их ты осуждал,
Презрев указ Екатерины:
«Что может всяк судей сменять,
Три раза их переменять,
Имея разные причины».
Ты ж клятву дал их продолжать
Нам царствие Екатерины! [1]
В чем клятву дал тож Александр!!!
Но Новгород Правление вечевое
Близ десяти веков имел,
Любовию к стране своей он пламенел,
В нем каждый гражданин имел свои права,
И жил в сердцах их Егова, —
Свободен был под сению закона,
Любил Христа, не зная сатанинска трона;
Псков также был счастлив,
Имев правление Вечевое,
Посадников своих любил. —
И самый Дон под сенью прав,
Ермак Донцом что приобрел,
Имел правление вечевое! —
Он атаманов сам свободно выбирал,
Врагов своих повсюду побеждал,
И счастие свое прямое
В правах избранья он нашел, —
Свободен был лишь до тех пор
С своим правлением, всегда благополучным,
С Донской свободой неразлучным,
Покуда злой царей собор
Права Донцов досель попрал.

Переписывал протоерей Иванов
Сочинял каз. Донской Иловайский.[2]

Старобельск, ноября 1830.

II. ПРИБАВЛЕНИЕ

К Посланию к самозванцу Голштейн-Готторпу, что бесстыдно Романовым себя называет [3]

Злобный и подлый убийца Рылеева, убийца и мучитель трех тысяч жертв благороднейших Славян, привезенных недавно в Сибирь по твоему подлейшему, низейшему повелению. Мучитель 60 000

[1] Следовательно ты подлый клятвопреступник и первый мятежник против святого, которое выше тебя, злодей! (Примечание в рукописи).

[2] Подпись «казак Донской Иловайский» вымышлена самим Ситниковым. Она свидетельствует о том, что Ситников считал себя в рядах восставших против самодержавия.

[3] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 1, ч. IV, л. 11 об.

жертв, томящихся в стенах (еже есть карцерах) и крепостях тайно без всякого суда и следствия по влиянию Сатанинской твоей власти. — Трепещи, скоро треснешь ты с твоими извергами чухнами и немцами, к тебе приближенными и с некоторыми подлецами злодеями Русскими, достойными сообщниками твоих клятвопреступлений. Злодей! — где наказы Екатерины:

1. Лучше десять виновных простить, нежели одного невиновного наказать. А ты велишь подлым жандармам возить беспрестанно в Сибирь без всякого суда и следствия, разлучая несчастных с семействами.

2. Всякий дворянин имеет право сменять до трех раз своих судей по разным причинам, когда под судом он. А ты, подлец, нарядил брата своего, такого же дурака и злодея, судить несчастных (по 14 Дек. 1825), по благороднейших граждан, и осудил подлейшими законами не «Русской Правды», но законами, изданными подобными тебе извергами, которых истинные славяне не терпели, любя всегда Вечевую свою свободу и своих 2-х посадников Вечевых.

Итак да здравствует три посадника:
1. Славяно-русский в Новгороде.
2. Славяно-польский в Варшаве и
3. Великий вечевой посадник в Киеве, соединенных славян.[1]

1827 Иловайский.

III. МЕЧТЫ[1]

В жилище грозного тирана
Все запустело, все молчит:
Лишь вещий крик почного врана
Ему песнь гибели звучит. . .
Упьется месть в крови злодея,
Мне голос сердца говорит, —
И терем страшный, запустея,
Как башня, рухнув, загремит!
Звезда свободы оживит
Родную сторону мою.
Но что? увы! — мечта летит;
А я сижу и — слезы лью!

IV

***

Друзья, нерусский нами правит,
Нормандец нам подаст закон,
Он Русь Святую так бесславит,
Как обесславлен теперь он.
Да свергнет бог с него корону,
Пришлец он низкий — он Немчин,
Пусть русские падут к романову закону,

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, лл. 45 и 86 об.

Ему ль носить столь знатный чин?
Да водворится в нас свобода!
Пусть рабства цепь не тяготит
Издавна славного народа,
Привыкшего своих любить.[1]

V. ПЕСНЬ РУССКОГО [2]

Слишком долго мрак убийственный
Мою душу омрачал,
Слишком долго рок таинственный
Меня в жертвы назначал.
Но при слове: гибнет родина!
Загорелось сердце Русского,
Как воинственный дух воина,
Пред толпами войска Прусского,
Казнь позорная свершилась
Над великими сынами,
И Россия подклонилась
Вместе с жалкими рабами
Под тяжелый скиптр тираний.

[1] Филиал ЦГВИА, ф. 9, д. 4, ч. I, л. 41.
[2] Там же, лл. 86 об., 87.

ДЕЛО О КОЛЛЕЖСКИХ СЕКРЕТАРЯХ ПЕРОВЕ И ПРОТОПОПОВЕ

Сообщение Е. М. Хмелевской

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР хранятся документы следственного дела коллежских секретарей Павла Перова и Евгения Протопопова.

На 59 страницах мелким писарским почерком рассказана история «преступления» коллежского секретаря Перова, привлеченного к следствию по доносу своего товарища Протопопова.

После декабрьского восстания возникновение подобных «дел» было нередким явлением. События 14 декабря и восстание Черниговского полка всколыхнули самые широкие слои русского общества. Обсуждались причины неудачи восстания, критиковались действия правительства.

Жестокая расправа Николая с декабристами не запугала, а возмутила передовое общественное мнение. Трагическая судьба первых русских революционеров чаще вызывала не отчуждение, а горячее сочувствие к ним. Особенно сильно это сочувствие проявлялось в среде разночинцев: мелких служащих, торговцев, ремесленников и т. д.[1] Организации тайных антиправительственных обществ не прекращались.[2] Основанное Николаем I жандармское управление зорко следило за поведением «верноподданных».

Система шпионажа и доносов после 1825 г. достигла в России своего апогея. За неблагонадежными людьми устанавливался тайный полицейский надзор, но иногда полиции помогали и частные лица, стремившиеся по собственному побуждению выслужиться перед начальством и зарекомендовать себя верными слугами царя.

Об одном из таких эпизодов рассказывают материалы «Дела о коллежских секретарях Перове и Протопопове».

Павел Павлович Перов окончил в 1816 г. Казанский университет и начал службу в департаменте горных и соляных дел в качестве канцелярского чиновника. Но в 1822 г. он решил переехать в Сибирь, устроившись для этого в канцелярию тогдашнего генерал-губернатора Сибири М. М. Сперанского. Имея склонность к литературе, он собирался изучить край, который предполагал описать в своей будущей поэме «Ермак» (или «Завоевание Сибири»). Интерес к этой теме мог возникнуть у Перова после знакомства с думой Рылеева «Смерть Ермака», опубликованной

---

[1] В мемуарах декабристов И. Д. Якушкина, А. Е. Розена и других рассказывается, сколько участия и заботы видели они от жителей по пути следования в Сибирь.

[2] См. статью Л. А. Мандрыкиной «После 14-го декабря 1825 г. (Агитаторы конца 20-х—начала 30-х годов)» в настоящем сборнике.

в том же 1822 г. в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности».

Служебная карьера в Сибири Перову не удалась. Начальство не выдвигало его по службе, обходило наградами, видимо, чувствуя в нем критически настроенного человека. Особенно много столкновений было у Перова с советником Главного управления Западной Сибири французом Коллетом, о котором Д. Н. Бантыш-Каменский в своей статье «Шемякин суд в XIX столетии» писал, что он «любил, отступая от существа дел, выставлять свою начитанность в бумагах служебных, давать советы даже тем, кто оных у него не спрашивал».[1]

По словам Перова, Коллет старался всячески унизить его, поручая простую переписку бумаг, тогда как, имея университетское образование, Перов претендовал на более интересную работу. В ноябре 1825 г. Перова против его желания перевели из Главного управления на службу в Тобольскую губернию. Это послужило для него поводом оставить службу и выйти в отставку. С декабря 1825 г. он находился сначала в Казани у своего отца, потом в Москве и только в апреле 1826 г. приехал в Петербург, надеясь там вновь поступить на службу. В ожидании подходящего места, Перов занялся литературным трудом. Он перевел с французского языка книгу епископа Боссюэ «Рассуждение о всеобщей истории»,[2] представил ее на утверждение цензора Красовского и подготовил к печати ряд маленьких стихотворений — «апологов», которые надеялся издать в каком-нибудь журнале. Литературой Перов занимался и прежде. Вероятно, ему принадлежит стихотворение «Победы Красоты», напечатанное в 1822 г. в журнале «Благонамеренный» за подписью «П. Перов».[3]

В Петербурге Перов встретился со своим бывшим сослуживцем по Тобольску Евгением Протопоповым, приехавшим в Петербург по служебным делам. Евгений Александрович Протопопов, сын учителя Тобольской гимназии, был одним из чиновников генерал-губернатора Сибири.[4] 8 декабря 1826 г. Протопопов уговорил Перова поехать вместе с ним в Царское село к своему сибирскому знакомому, майору де-Граве. У майора в это время гостил полковник С. С. Трухин, один из усмирителей восстания Черниговского полка в Василькове. Этот полковник, бывший во время восстания еще майором, был известен как один из самых жестоких офицеров полка. Тиран с подчиненными и низкопоклонник перед начальством, Трухин, по словам его сослуживца декабриста И. И. Сухинова,[5] был недостоин носить офицерский мун-

---

[1] Русская старина, 1873, № 6, стр. 741.

[2] Discours sur l'histoire universelle. — Впервые в русском переводе Василия Наумова книга была издана в 1761 г. под заглавием «Разговор о всеобщей истории». Перевод Перова не вошел ни в один из известных библиографических справочников. Он был напечатан отдельной книгой уже после отправки Перова в Сибирь. В библиотеке П. А. Плетнева сохранился неполный экземпляр этой книги с надписью на корешке переплета: «А. Красовский, Боссюэт, Всеобщ. история. Невышедшие издания». Очевидно, Плетнев приписал перевод Красовскому, в бумагах которого осталась рукопись Перова. Экземпляр этой книги находится в библиотеке Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

[3] Предположение, что это стихотворение написано Перовым, возникает потому, что в литературе того времени это имя больше не встречается.

[4] М. К о р ф. Жизнь графа Сперанского. 1861, т. II, стр. 208, 210.

[5] Сухинов Иван Иванович (1795—1828) — с 1819 г. прапорщик Черниговского полка, с 1825 г. переведен в Александровский гусарский полк в чине поручика. Член Общества соединенных славян. За участие в восстании Черниговского полка

дир, «который марал своим поведением». Во время восстания только вмешательство С. И. Муравьева-Апостола, бывшего его непосредственным начальником, спасло Трухина от расправы солдат. Арестованный Трухин ползал на коленях перед восставшими офицерами и солдатами, униженно молил о пощаде и давал слово оставить военную службу. Муравьев-Апостол отпустил Трухина, и через несколько дней Трухин предал офицера Черниговского полка Мозалевского, которого видел среди восставших.[1] Теперь же, в звании полковника, Трухин хвастливо рассказывал о своей «доблестной» роли во время подавления восстания, и все присутствовавшие одобряли его за якобы проявленные мужество и хладнокровие. Один Перов не принимал участия в общем восхищении и, как указано в протоколе дела, говорил только о «безрассудстве восставших». Представитель прогрессивных слоев русской интеллигенции, любитель литературы, он не мог в душе не сочувствовать декабристам.

Вернувшись с Протопоповым домой, Перов высказал ему свои взгляды на события 14 декабря. Он признался, что смотрит на бунтовщиков как на людей, «славное дело задумавших», и сожалеет, что они употребили «не такие средства для достижения цели своей», т. е. не выступили первыми с оружием в руках против царских войск. В пылу разговора, который принимал все более ожесточенный характер, Перов обнажил палаш и воскликнул: «Вот наша справедливость — кинжал и свобода!».

Перов критиковал и действия царя, говоря, что его заботы о народе «вздорные» и что «не так надобно заботиться». Испуганный Протопопов пытался урезонить своего собеседника, сказав, что «не нам судить о действиях царя», на что Перов ответил: «Всякому дана свобода судить как угодно». Этот разговор в добавление к стихам, которые Перов читал ему еще раньше, окончательно убедил Протопопова в том, что перед ним опасный вольнодумец, «дерзостный и злонамеренный». Еще в Тобольске, перед отъездом в Петербург, начальник предупредил Протопопова, что в столице надо быть очень осторожным, и, побоявшись, что за знакомство с таким крамольником, как Перов, он сможет и сам пострадать, — Протопопов отправился к частному приставу и рассказал ему «о происшедшем».

Полиция ревностно принялась за расследование. «Делом» занялись будущий военный министр граф А. И. Чернышев, военный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов, шеф жандармов граф А. Х. Бенкендорф.

Чернышев, член Следственной комиссии по делу декабристов, усмотрел в вольнолюбивых речах Перова прямую связь с недавними событиями. Полетели секретные предписания, были подробно допрошены свидетели: Протопопов, майор де-Граве, полковник Трухин, Доротея Браузер — хозяйка квартиры, в которой жил Перов, — и даже извозчик Сидор Родионов, отвозивший чиновников в Царское село. Насмерть перепуганный Протопопов был сам не рад своему доносу и, боясь, что это «дело» дойдет до начальства по службе, умолял Голенищева-Кутузова «не погубить его».

по приговору верховного суда сослан в Сибирь на каторжную работу «навечно». В 1828 г. участвовал в возмущении каторжно-ссыльных в Заратуйских рудниках, за что был приговорен военным судом к расстрелу. Но до приведения в исполнение этого приговора, 1 декабря 1828 г., окончил жизнь самоубийством.

[1] См.: Записки декабриста И. И. Горбачевского. Библиотека мемуаров, вып. II, М., 1916, стр. 115, 135—136.

Как опытному следователю, графу Чернышеву показалось подозрительным пребывание Перова с 1822 г. в Сибири. Сибирским генерал-губернатором тогда был М. М. Сперанский.

Как известно, с 1812 г. Сперанский был отстранен от государственной службы, сослан сначала в Н.-Новгород, потом в Пермь и с 1819 г. назначен генерал-губернатором Сибири, что являлось своеобразной ссылкой.

Чернышев знал, что декабристы предполагали ввести Сперанского в состав временного правительства, знал о его конституционных проектах. Поэтому служивший в канцелярии Сперанского чиновник сразу внушил подозрение в каком-то тайном заговоре. Несмотря на то, что Сперанский был обласкан новым царем и даже введен в состав Верховного суда над декабристами, кто не понимал, что это «доверие» царя было жестокой местью Сперанскому за тайное сочувствие «преступникам». Поэтому в числе многих других вопросов Перова спросили — знал ли он Сперанского лично, на что Перов ответил отрицательно.

18 декабря секретным письмом граф Чернышев запросил Сперанского: «по какому случаю был определен в 1822 году в канцелярию Сибирского генерал-губернатора, во время занятия вами сей должности, служащий прежде в Департаменте горных дел коллежский секретарь Павел Перов и кем именно был он вашему превосходительству представлен». Шеф жандармов Бенкендорф получил от Чернышева поручение «сделать тайное разыскание, в чем именно состояли связи и знакомство прибывшего сюда из Тобольска коллежского секретаря Павла Павлова сына Перова». И, наконец, в тот же день от Чернышева было послано 3-е секретное письмо генерал-губернатору Западной Сибири П. М. Капцевичу о поведении и характеристике обоих чиновников. Виновник «дела» Перов был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где еще находились некоторые декабристы. Формы ведения его дела во многом напоминают следствие над декабристами: одиночное заключение, подробные письменные допросы, очная ставка с Протопоповым и т. д.

Тайные разыскания 3-го отделения ни к чему не привели. Компрометирующих связей у Перова не оказалось, и 20 января 1827 г. «дело» было «по высочайшему повелению» прекращено, но с приказанием, «что они оба должны быть обращены к генералу Капцевичу», т. е. отправлены на жительство и службу в Сибирь.

Если для Протопопова это решение означало возвращение домой, то для Перова повеление царя было настоящей ссылкой. За несколько неосторожных фраз он должен был оставить Петербург, мечты о литературной и служебной деятельности — и вновь отправиться в Сибирь, но уже на этот раз не по своей воле.

Ссылку Перов отбывал в г. Туринске, и только в 1833 г. получил разрешение переехать в Казань.

Так закончилась это «дело», говорящее о наличии декабристских настроений в среде русской интеллигенции конца 20-х годов и о способе короткой расправы царского правительства с «непокорными».

Ниже мы публикуем стихотворения и отрывки стихотворений Перова, отобранных у него во время обыска. Несмотря на всю их художественную незначительность, они интересны как попытка критического восприятия действительности, как отражение свободомыслия, характерного для эпохи декабризма.

О каждом из написанных стихотворений Перову было предложено дать пояснение, по какому поводу оно было написано.

Эти вынужденные объяснения совершенно не снижают вольнолюбивой тенденции стихотворений Перова и часто явно не соответствуют замыслу автора.

Приводим их после каждого стихотворения.

АПОЛОГИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ

Охотник и Косец

Охотник застрелил ворону наповал.
На что тебе она? Косец ему сказал.
Негодна ни на что, охотник отвечает:
Я пробовал ружье. — Так деспот поступает!

‹Пояснение Перова›: «В сем Апологе „Охотник и Косец“ представляются варварийские владельцы, которые, как их описывают, для показания достоинства сабли ставят в ряд нескольких невольников и одним разом отрубают им головы; противоположность их правил против кротости и человеколюбия нашего правления».

Ласточка и Орел

Увидя ласточка орла под облаками,
Взвилась и говорит: и Гриф здесь не бывал! —
А ты осмелилась равняться как с орлами?
Сказал ей царь, — и вмиг когтями разорвал.

‹Пояснение Перова›: «Аполог „Ласточка и Орел“ изображает безумную дерзость низших против высших, за которую получают они скоро достойное наказание».

Конь и Зайченок

Конь мчался, на бегу зайченка задавил.
Что сделал я тебе? несчастный говорил.
Зачем был на пути, где к цели я стремился,
Сказал ему бегун и в даль стрелой пустился.

‹Пояснение Перова›: В «Апологе „Конь и Зайченок“ представляется честолюбец, который для достижения своей цели делает других несчастными».

Медведь и Пчелы

Медведь хотел достать из улья сот; но пчелы,
Все устремив свои на хищника полки,
Заставили его оставить подвиг смелый.
Как силы малые в союзе велики!

‹Пояснение Перова›: «В Апологе „Медведь и Пчелы“ нравоучение изображено ясно, заключающееся в старинной латинской пословице: „Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur“».[1]

[1] «В согласии малые дела растут, в несогласии — величайшие распадаются».

Умирающий волк

Волк умирающий, боясь достаться аду,
В обидах у овец прощение просил;
Но лишь оправился, пустился прямо к стаду,
Не за прощением уж — за подкреплением сил.

‹Пояснение Перова›: «„Умирающий волк“ представляет в Апологе человека, который в несчастии раскаивается в сделанных им поступках, а по миновании оного вновь их делает».

Ястреб и Филин

Орлу донесено, что ястреб хищник, вор.
Он филину велел иметь над ним надзор.
Что ж вышло из того? И тот и сей не тужит:
Один днем щиплет птиц, другой их ночью душит.

‹Пояснение Перова›: «Смысл Аполога „Ястреб и филин“ есть следующий: если над злонамеренным поручается наблюдение человеку таковых же правил, то они столкнувшись, разделят пополам добычу».

‹НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ОТРЫВКИ›

Ребенок и Кролик

Кто, слышно, при дворе слепой богине служит,
Тот также для одной забавы часто душит.

‹Пояснение Перова›: «В Апологе „Ребенок и кролик“ нравоучение изложено: любимец фортуны развлекается счастьем и бывает часто жесток к низшим себя».[1]

Пойманная Мартышка

Причудливый народ, шуты и дураки! —

Хомяк

Хомяк есть должностной отставку взявший вор...

Осел в милости

Скотиной глупою повсюду слыл осел,
Но как-то в милость он к царю зверей вошел,
И всеми сделался любим и уважаем. —
Не то ли «случаем» мы в свете называем.

---

[1] Следующие шесть отрывков в рукописи зачеркнуты и пояснений к ним нет. Видимо, как неоконченные, они не возбудили внимания следователей.

Соловей и филин

В сужденьях умному глупца не превозмочь:
День хвалит соловей, а филин хвалит ночь.

Пузырь

О покровители! Мы вашу честь не тронем,
Но скажем, что, на вас надеясь, часто топем.
Нередко видел я, на свете то бывает,
Что сильный гонит нас, а слабый защищает.

Две кумы

Не хочешь ли служить? Есть место в магазине.
— Уж надоело мне, кума, быть под судом.

Утро поэта (отрывок)

Стихотворение совершенно безнравственное, наполненное дерзкими и неприличными выражениями, как, например: [1]

Бегут к своим местам уроды должностные
Фемиды, <. . . . .> сенатские крючки;
Спешат в прихожие к патронам отставные
Где камердинеры дают им в нос щелчки,
Походкой фрунтовой, измеренной шагая,
Питомцы Марсовы идут на плац-парад,
Меркурия сынов брадатых стая
Преважно шествует в гостиный ряд.
И девы юные в растроенных уборах,
С чужого ложа встав от сна,
С изнеможением и томностью во взорах
Бегут к заботливым матронам, etc, etc.
И первый солнца луч, скользнув из бездн седых
По гладкому Эфиру,
Не гонит сон от вежд, не будит и Плениру,
В объятиях лежащую моих.
Под склоном тополя, иль дуба, иль березы
Не мастер созерцать я утра красоты:
Морфея милые цветы
Приятней для меня, чем все авроры розы.

<Пояснение Перова>: «„Утро поэта“ написано мною в час скуки и сожаления о том, что не имею должности, и есть одно из сочинений, обреченных на уничтожение».

Вестник

Пьеса, противная религии, заключающая в себе цепь насмешливых применений священных вещей и обрядов к баснословию и страстям. Особенно замечательны следующие выписки:[2]

[1] Примечание сделано следователем, ведшим дело Перова.
[2] Примечание сделано следователем, ведшим дело Перова.

Но какой я зрю чертовский
На тебе надет наряд?
Рясой ты одет поповской,
Пальцы четки шевелят.

Бе к нам послан муж от бога,
Воевода грозных сил:
Мудрость в нем была премнога,
Ему имя Михаил.

Сей, сломив гордыни выю,
Израила новый царь,
И презрев старуху Клию,
Посвятил нас всех в стихарь.

Он заставил Терпсихору
Петь псалмы на пятый глас,
А Парнас в Сионску гору
Переделал на заказ.

Талии велел нам маски
Бородатые склеить,
Соломоновы, чтоб сказки
В них удобнее твердить.

Он Урании заставил
Апокалипсис читать,
Каллиопу не без правил
Ирмосы в стихи слагать.

Се писания драгия,
Веры картин святой,
Где кавыки, запятые
Дышут святостью одной.

Мудрость паче здесь халдейских
Волхователей и жрец,
Мрак, где паче книг библейских
И житий святых отец.

Не владея сам собою,
Я со стула тут вскочил,
Чтоб над чучелой святою
Испытать всю крепость сил.

Ты испуган был убором,
Мне несносным самому,
Рассержен священным вздором,
Непонятным никому.

«Пояснение Перова»: «Стихотворение „Вестник“ написано по следующему случаю. Не помню в котором году от Казанского университета был послан лекарь Соханский для усовершенствования в науках в здешнюю Медико-Хирургическую Академию. Он уведомил меня, что попечителем университета сделан действительный статский советник Магницкий, который произвел там большую реформу. Выгнал достойных профессоров, заменив их кафедры своими клиентами, сжег множество хранившихся в библиотеке драгоценных книг и, не радея о ученом образовании, прикрыл оное воспитанием в наружной набожности, которая состояла во множестве земных поклонов, пении и чтении на клиросе,

созывании нищих и служении им студентов при обеденном столе. В отношении же ученых занятий — в чтении одних только духовных книг и в запрещении чтения творений древних языческих писателей. Г. Соханский сообщил мне издаваемый при Университете журнал: Казанский Вестник, который я нашел слабым трудом столь ученого заведения. Сей „Вестник" и Г. Соханский, в котором я не усмотрел ни должных познаний в вере, ни твердых правил в нравственности, подали мне случай представить в аллегории действия г. Магницкого и лицемерия Соханского в изображении вестника. Но дабы не подать соблазна, по неизвестности случая и обстоятельств, заключающихся в стихотворении, никому оного не сообщал».[1]

Описание Сибири, послание к другу, в коих между прочими помещены следующие стихи: [2]

Я в Сибири на биваках
Беспрерывно поживал.
На оленях, на собаках
Покатался, погулял;
Видел все, везде бывал:
Где звук молотов унылый.
Пороха ужасны взрывы,
Скрып колес и стук машин,
Рев воды среди стремнин;
Грохот эха, гром паденья
Разорвавшихся громад,
Грозный вид всеразрушенья,
Испарений вредный чад.
Мраки первобытной ночи,
Поражая слух и очи,
Гонит в сердце трепет, страх.
Там с всклокоченной бородою,
Преклоненною главою,
С диким ужасом в глазах,
Смертной бледностью в слезах
Мрачный узник, сын несчастья,
Часто жертва самовластья [3]
Тщетно смерть к себе зовет
Проклиная день рожденья,
Но жестокая нейдет
Прекратить его мученья и т. д.

«Пояснение Перова по поводу подчеркнутой строки»: «В Тобольске был губернатором, не знаю в какое время, Чичерин. Сибирские жители повествуют с ужасом об его деяниях: он наказывал без суда плетьми, кнутом, посылал в каторжную работу и даже доходил до такого зверства, что привязывая жителей к бревну, спускал их с ним в реку Иртыш с крутого и высокого берега.

---

[1] Перов говорит о действительно бывших в Казанском университете событиях с 1819 по 1826 г. Попечителем университета был тогда назначен известный реакционер Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1885). За время своей деятельности в Казани он уволил 11 профессоров, свел все преподавание в университете к пропаганде богословских наук, установил для студентов монастырский режим.

[2] Примечание сделано следователем, ведшим дело Перова.

[3] Подчеркнуто в подлиннике, т. е. следователем.

Сие повествование, живо изобразившееся в моей памяти, начертало стих: „Часто жертва самовластья“».[1]

‹Продолжение «Описания Сибири»›

Вот тебе, мой друг, картина
Той унылой стороны,
Куда я воображеньем,
Разных случаев сцепленьем
Был невольно завлечен
И как узник заключен,
Но отважною рукою
Разорвав коварства цепь,
Дикую Сибири степь
Кинул с мрачною душою.

‹Пояснение Перова›: «В сих стихах изображено благополучное окончание моей службы в Сибири, при недоброжелательстве ко мне тамошнего начальства».

В списке стихотворений, отобранных у Перова во время обыска, кроме публикуемых выше, указаны и другие, текст которых не вошел в протоколы «дела». Из этих названий заслуживает внимания пародия на стихотворение А. С. Пушкина «Гляжу как безумный на черную шаль». Пародия начинается словами «Гляжу как безумный на царский указ». В протоколе об этом стихотворении записано: «Пародия известной песни „Гляжу я безмолвно на черную шаль“, изображающая жалобы и соболезнования чиновников, служащих по винной части, по случаю высочайшего указа об отдаче на откуп питейного сбора».

Перов сделал следующее пояснение:

«Сия пародия написана в шутку для моего знакомого губернского секретаря Соловьева, служащего по питейному сбору».

[1] Чичерин Денис Иванович (1720—1785) — сибирский губернатор с 1763 по 1781 г. С его именем связан ряд важных для Сибири мероприятий. В Тобольске он основал геодезическую школу, госпиталь, аптеку, ввел обязательное оспопрививание, открыл ремесленный дом для ссыльных, и т. д. Все эти нововведения проводились Чичериным с большой настойчивостью. Деспотичный и жестокий по своему характеру, Чичерин все же много сделал для благоустройства Сибири, о чем Перов безусловно должен был знать. В данном стихотворении, адресуя антиправительственную строку в адрес Чичерина, Перов, очевидно, хотел хоть до некоторой степени оправдаться перед следователем.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ О ДЕКАБРИСТАХ

Сообщение Л. М. Добровольского

I

24 октября 1869 г. в С.-Петербургский цензурный комитет поступила отпечатанная без предварительной цензуры книга «Записки декабриста».[1] Фамилии автора и издателя не значились на титульном листе и обложке книги. Автором ее был барон А. Е. Розен, а издателем А. С. Гиероглифов. В тот же день, 24 октября, Цензурный комитет сообщил о книге в Главное управление по делам печати, указав при этом, что комитетом не принято никаких мер к задержанию книги, так как содержание ее не дает повода применить статью 14 закона от 6 апреля 1865 г. Министр внутренних дел А. Е. Тимашев 25 октября уведомил начальника Главного управления, что «во исполнение объявленной ему графом Шуваловым высочайшей воли „Записки декабриста" должны быть немедленно арестованы». 26 октября на отпечатанные и еще не сброшюрованные листы книги был наложен арест в типографии. Последний лист был отпечатан только в десяти экземплярах; обложка книги также была отпечатана не полностью. Арестованные экземпляры книги в количестве 1779 были доставлены в Главное управление по делам печати.[2]

По указанию В. Н. Никитина, «Записки декабриста» после их запрещения были «спрятаны в типографский сарай, который был запечатан, но через год, когда последовало распоряжение сжечь книгу, в сарае нашли только 10 экземпляров, хотя стены сарая, печати и замок оказались ничуть не поврежденными».[3] Такова судьба первого русского издания «Записок» А. Е. Розена, которое было запрещено царской цензурой.[4]

II

Другая книга неизвестного автора, «А. С. Пушкин, его жизнь и сочинения. Москва, издание В. П. Маракуева, типография В. Ф. Рихтера, 1887 г.», была также запрещена за усиленное подчеркивание связи Пушкина с декабристами.

---

[1] Записки декабриста. Материал для истории возмущения 14 декабря 1825 г. и участников его. Перевод с немецкого (с приложением донесения Следственной комиссии по этому делу). СПб., типография П. Неклюдова, 1870, XV, 286, 2, 64 стр. 1800 экз.

[2] ЦГИАЛ, Дела Главного управления по делам печати 1869 г., № 180; 1875 г., II отд., № 71; Дело С.-Петербургского цензурного комитета 1869 г., № 60.

[3] Воспоминания В. Н. Никитина. Русская старина, 1906, кн. 10, стр. 113.

[4] В сокращенном виде «Записки» А. Е. Розена были напечатаны в «Отечественных Записках» 1876 г. (№№ 2—5, 8—11). В 1900 г. в Москве наследниками автора было выпущено второе издание «Записок» под заглавием «В ссылку» (Записки декабриста). В 1907 г. издательством «Общественная польза» были напечатаны «Записки» в более полном виде под редакцией П. Е. Щеголева (перепечатка с издания, выпущенного автором в Лейпциге в 1870 г.).

4 июня 1887 г. книга была представлена в Московский цензурный комитет. Цензор В. В. Назаревский обратил на книгу особенное внимание потому, что автор рассказывает о дружбе Пушкина с декабристами и его желании принять участие в их заговоре. В представлении Московского цензурного комитета в Главное управление по делам печати отмечалось: «Носитель этих лучших, по мнению составителя книги, идей, Пушкин понял, что революция не удалась, но, чтоб не погубить своих любимых идеалов, он стал пропагандировать их мирным путем, несмотря ни на цензуру, ни на меры, принимаемые шефом жандармов, ни на реакционную печать».

При наложении ареста на книгу в акте старшего инспектора типографии и книжной торговли отмечалось, что «книга отпечатана вполне только в 2000 экземплярах, но еще не сброшюрована, в остальных 1625 экземплярах отпечатано только 8 листов, а три последних листа 9, 10 и 11 еще не отпечатаны и что набор всех 11 листов этой книги разобран».

Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов 9 июня 1887 г. писал председательствующему в Московском цензурном комитете: «Сделав сношение с московским генерал-губернатором о задержании выпуска в свет из типографии Рихтера книги „А. С. Пушкин, его жизнь и сочинения", прошу пригласить в Комитет издателя этой книги и сообщить ему, что она в настоящем ее виде не может быть допущена к обращению. Если же издатель согласится сделать исключения указанных Комитетом мест, под наблюдением, по принятому порядку, инспекторского надзора и одного из членов Комитета, то за сим издание может быть выпущено в свет беспрепятственно».[1] Но книга так и не увидела света.

Через два года после наложения ареста на экземпляры книги «А. С. Пушкин, его жизнь и сочинения» она все еще значилась в числе остающихся под арестом книг, как это отмечалось в отчете за 1889 г. старшего инспектора типографий и книжной торговли в г. Москве. Дальнейших сведений об этой книге мы не могли найти. Розыски экземпляров книги также не дали положительных результатов. Автором этой книги, по историко-литературным соображениям, мог быть внук декабриста В. Е. Якушкин.

III

По архивным данным [2] нам удалось установить, что в конце декабря 1905 г. в г. Владивостоке военными врачами М. А. Кудржинским и Ф. И. Поповым была составлена брошюра «Памяти борцов декабристов», изданная Союзом Союзов Уссурийского края. Подписи авторов были помещены в конце текста брошюры.

В специальной библиографической литературе нет указаний на издание этой брошюры: ни в работе Н. Ченцова,[3] ни в «Списках книг, вышедших в России в 1905—1906 годах», ни в «Алфавитных указателях» конфискованных книг и брошюр издания Главного управления по делам печати. Экземпляров этой брошюры нам также не удалось обнаружить ни в одной из ленинградских библиотек. Очевидно, издание брошюры «Памяти борцов декабристов» было осуществлено в те дни, когда в конце 1905 г. цензурные условия изменились и обязательные экземпляры не представлялись в цензуру. Потому названная брошюра не была заре-

[1] ЦГИАЛ, Дело Главного управления по делам печати, III отд., 1887, № 12, лл. 4—11.

[2] Ф. ЦГВИА, Дело Главного военно-судного управления, 1909, 5 отд., № 6/88, т. XII, св. 60, лл. 143—148.

[3] Н. Ченцов. Восстание декабристов. Библиография. Гос. изд., 1929.

гистрирована в изданиях Главного управления по делам печати и не поступила в качестве того же обязательного экземпляра в государственные книгохранилища. Можно предполагать, что экземпляры этой брошюры сохранились во владивостокских библиотеках, а также в делах Приамурского или Одесского военно-окружных судов, где разбиралось дело авторов брошюры.

По показанию на следствии врача Ф. И. Попова, история написания брошюры была такова:

14 декабря 1905 г. в зале Общества изучения Амурского края в гор. Владивостоке врачом Кудржинским был прочитан доклад о декабристах. Присутствовавшие на докладе выразили желание издать особую брошюру о декабристах, собрав для этой цели деньги. Составление брошюры было поручено Кудржинскому, последний в свою очередь привлек для этой цели и врача Ф. И. Попова. Брошюра была издана Союзом Союзов Уссурийского края и получила широкое распространение среди Владивостокского гарнизона и местного населения.[1]

С наступлением реакции против авторов брошюры — Кудржинского и Попова — военным начальством было возбуждено судебное преследование. В обвинительном акте Приамурского военно-окружного суда по делу о младшем враче 32-го восточно-сибирского полка Ф. И. Попове отмечалось, что «брошюра эта в образных и доступных пониманию простолюдина выражениях излагает историю возникновения Союза Благоденствия, задачи, преследовавшиеся Союзом, стремясь вместе с тем доказать, что „пушечные выстрелы на Исаакиевской площади" не пропали даром, разбудив русское общество и вдохнув в него желание дальнейшей борьбы».

Делая вывод о значении для России восстания декабристов, авторы брошюры выражали уверенность, что «святая кровь» пролита не напрасно: «Тени замученных за любовь к народу людей всегда стояли укором перед общественной совестью», призывая народ к неустанной борьбе. Теперь «Когда после тяжелой восьмидесятилетней борьбы русский народ разбил наконец цепи самодержавия, остается лишь помянуть добрым словом славных борцов декабристов, подавших первый пример самоотверженной борьбы с тиранией, и имена этих мучеников за народную волю должны вечно жить в памяти русского народа».

К следствию был привлечен только военный врач Ф. И. Попов; что касается врача М. А. Кудржинского, то последнему удалось скрыться от возбужденного против него уголовного преследования и он не был разыскан.

Дело было начато в Приамурском военно-окружном суде, а затем передано в Одесский военно-окружной суд, который 6 апреля 1909 г. признал Ф. И. Попова виновным по выводам обвинительного акта. Приговор суда поражает своей суровостью. За написание брошюры о декабристах Ф. И. Попов был приговорен к лишению прав состояния — в том числе личного дворянства, звания лекаря, чинов, ордена и медали — и по исключении из военного ведомства к ссылке на поселение.

[1] См. также: М. К у д р ж и н с к и й. Владивосток в 1905 году. Минувшие годы, 1908, № 5—6, стр. 85.

ДЕКАБРИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКОГО ДОМА) АКАДЕМИИ НАУК СССР

Обзор В. В. Данилова

Документы Рукописного отдела Института русской литературы Академии Наук СССР, относящиеся к событиям 14 декабря 1825 г. и к его участникам, лишь в небольшой части имеют официальные источники; в большей мере это — документы частных архивов.

Официальные документы о 14 декабря и его деятелях могли попасть в Рукописный отдел Института по двум линиям: или это копии правительственных бумаг, ставших негласно достоянием общественности, или же это документы официального происхождения, входившие в круг производства тех или иных служащих лиц и оставшиеся в бумагах последних, а также отношения государственных учреждений, как, например, III отделения, адресованные частным лицам.

Согласно с профилем Рукописного отдела Института, как литературного архива, подавляющая часть архивных материалов, относящихся к 14 декабря и лицам, участвовавшим в восстании, состоит из писем, дневников, мемуаров, прошений, литературных произведений, причем архивы эпистолярного характера являются преобладающими.

Некоторые материалы объединяются в индивидуальные или семейные фонды большего или меньшего объема, как, например, фонды И. А. Анненкова, братьев Бестужевых, С. Г. и М. Н. Волконских (очень обширный фонд), М. С. Лунина, П. Ф. и М. Ф. Митьковых, А. З. Муравьева, Н. А. Мухановой (рожденной Саблуковой, матери П. А. Муханова), Е. П. Оболенского, К. Ф. Рылеева, А. И. и Н. И. Тургеневых (особенно обширный фонд). Иные материалы представляют отдельные поступления или входят в большие собрания, как собрания П. Я. Дашкова и, в особенности, М. И. Семевского, издателя-редактора журнала «Русская старина», много потрудившегося для сохранения живой памяти о декабристах в виде документов, идущих непосредственно от них.

Декабристские материалы Института преимущественно относятся ко времени после 1825 г. Естественно, что додекабрьские документы — письма, записки, акты тайных обществ и даже литературные произведения — лишь случайно могли сохраниться в частных руках. Люди, окружавшие в семейном и общественном быту лиц, причастных к восстанию, конечно, прежде всего постарались уничтожить принадлежавшие им бумаги, как и сами они до ареста должны были сделать то же.

Камин затопила я живо.
Из ящиков муж мой бумаги сносил
К камину — и жег торопливо.
Иные прочитывал бегло, спеша,

Иные бросал, не читая.
И я помогала Сергею, дрожа
И глубже в огонь их толкая.

Картина, изображенная Н. А. Некрасовым в «Русских женщинах», была общею для всех лиц, замешанных в восстании.

Поэтому письма Рукописного отдела Института, относящиеся ко времени до 1825 г., — к А. А. Бестужеву (В. А. Жуковского, Д. В. Давыдова, И. И. Дмитриева, А. С. Грибоедова, П. А. Вяземского) и к В. И. Штейнгелю (А. А. Аракчеева, А. А. Писарева, П. И. Рикорда),— сохранились в бумагах А. А. Ивановского, одного из секретарей Следственной комиссии. Ясно, что они попали к нему из следственных материалов, отобранных при обыске.

Наибольшая часть переписки декабристов в архиве Института падает на поздние годы их жизни, когда они, приговоренные к каторжным работам, стали выходить на поселение.

Как трудно было в ближайшие годы после восстания вести переписку даже женам декабристов, показывает находящееся в фонде Волконских письмо А. Х. Бенкендорфа к М. Н. Волконской от 24 июля 1828 г.

Она написала письма к знакомым женщинам: Штейбе и Крамковской. Все письма от декабристов и от их жен шли через III отделение. Туда попали и письма Волконской. Бенкендорф возвратил эти письма, уведомляя Волконскую, что ей «не следовало бы завлекать новых жертв в несчастье и бедствие».

Между самими декабристами установилась переписка после того, как по освобождении из тюрьмы Петровского завода их расселили по разным глухим местам Сибири, причем опять-таки письма шли через III отделение, совершая далекий путь, например, из Ялуторовска Тобольской губернии в Петербург и обратно в Курган той же губернии. По этой причине В. И. Штейнгель, получив в г. Таре 21 января 1850 г. письмо от М. А. Бестужева, посланное из Селенгинска 14 сентября 1849 г., решил прекратить переписку.

Хотя среди тех или иных документов архива Института много случайного, так как он комплектовался путем пожертвований и покупки отдельных документов, тем не менее в отношении декабристских материалов, которыми обладает архив, можно указать некоторые характерные особенности не случайного порядка.

В письмах товарищей имеются упоминания об очень значительной части сосланных. Но от многих из них в архиве Института нет личных документов, и по этому отрицательному признаку намечаются определенные категории декабристов.

В архиве нет писем от декабристов, определенных в солдаты, в кавказские войска: от Н. П. Акулова, А. К. Берстеля, А. В. Веденяпина 2-го, Ф. Г. Вишневского, В. А. Дивова, Н. П. Кожевникова, графа П. П. Коновницына, А. О. Корниловича, М. Д. Лаппа, П. Д. Мозгана, Е. С. Мусина-Пушкина, Н. Н. Оржицкого.

Декабристы-солдаты, разосланные по кавказским гарнизонам, были оторваны от массы товарищей, сосланных в Сибирь, и не могли установить связи с ними. С другой стороны, следы некоторых декабристов, определенных в войска, были затеряны для поселенных в Сибири. Так, для И. И. Горбачевского, всегда интересовавшегося судьбой товарищей по 14 декабря, А. О. Корнилович, не покидавший пера почти до самой смерти и находивший возможность появляться в печати до 1832 г. (умер в 1834 г.), оказывается пропавшим без вести.

Лишь впоследствии в письмах декабристов, бывших в Сибири, появляются известия о их товарищах-солдатах. Например, в 1840 г. М. А. Назимов сообщает А. Ф. Бриггену, что на могиле В. Н. Лихарева, убитого в сражении при Валерике, прославленном М. Ю. Лермонтовым, побывали декабристы-братья А. П. и П. П. Беляевы. Тому же корреспонденту он сообщает в 1842 г., что П. Д. Мозган «здоров, представлен в унтер-офицеры» (в следующем году Мозган был убит в сражении).

Другою категорией декабристов, оторванных от их основной массы, были лица, приговоренные к поселению. От большинства декабристов-поселенцев в архиве Института также не сохранилось личных письменных следов. Сюда принадлежат А. Н. Андреев 2-й, вместе с приезжавшим на Кавказ декабристом Н. П. Репиным сожженный в селе Манзурке в наглухо закрытой избе; А. В. Веденяпин 1-й, князь В. М. Голицын, Н. Ф. Запкин, Н. Ф. Лисовский, убитый в дороге с декабристом И. Б. Аврамовым в Туруханском крае, Н. О. Мозгалевский, Н. А. Чижов, А. И. Шахирев.

Позволительно думать, что не случайно в архиве Института нет писем к товарищам от таких декабристов, как канцелярист П. Ф. Выгодский, крестьянин по происхождению, и чиновник 10-го класса И. И. Иванов, сын унтер-офицерской вдовы, о котором находим только юмористическое воспоминание в письме к Е. П. Оболенскому А. Е. Розена, писавшего, что «всего лучше было купаться в Чите, когда берег покрывался льдом, а вода колола дебелого, толстого Иванова, как булавками» (27 июня 1847 г.). Между представителями крупного дворянства и мелкими разночинцами не могло установиться приятельской связи даже в нивелирующих условиях каторжного режима.

Болезни, среди которых не последнее место занимали психические расстройства (сошли с ума Петр А. Бестужев, А. И. Борисов, Н. С. Бобрищев-Пушкин, В. И. Враницкий, А. В. Ентальцев, А. Ф. Фурман, Ф. П. Шаховской), нищета, нравственное угнетение от сознания своего бесправия — все это крайне осложняло и без того затрудненные письменные связи декабристов.

Страдавший малярией, лишившийся голоса, так что нельзя было разобрать, что он говорит, князь А. П. Барятинский униженно просит в 1844 г. генерал-губернатора Западной Сибири кн. П. Д. Горчакова выдать ему денежное пособие в 200 рублей «из каких-нибудь казенных сумм». А. И. Борисов обращается в 30-е годы к иркутскому и енисейскому генерал-губернатору с вопросом столь же наивного характера, как просьба Барятинского, показывающим, однако, безмерную глубину страданий человека, доведенного, наконец, до сумасшествия и кончившего жизнь самоубийством над неостывшим трупом своего брата П. И. Борисова: «Есть ли надежда, — писал А. И. Борисов, — для нашего существования, или правительство навсегда лишило нас защиты законов?».

В таких условиях зачастую не было возможности для переписки с товарищами. Поэтому от всех названных декабристов нет писем в архиве Института.

Некоторые, вероятно, по своему личному характеру, отдалялись от других декабристов и так терялись из виду, что А. Е. Розен, постоянно следивший за судьбою «наших», в «Русской Старине» 1856 г. причислил декабриста В. С. Толстого к умершим товарищам, а он жил до 1888 г. От него также в архиве Института нет никаких следов.

Но между некоторыми декабристами, близкими друг к другу по своему происхождению, образованию и понятиям, устанавливались очень тес-

ные отношения, нашедшие отражение в переписке, которою обладает архив Института.

Назвать все единицы хранения, входящие в фонд тех или иных декабристов и вообще в декабристские материалы, в обзоре невозможно. Одно полное перечисление документов фонда братьев Тургеневых составило бы целую брошюру. Кроме того, некоторые фонды, как, например, С. Г. и М. Н. Волконских, не окончены архивной разработкой. Вследствие этого мы ограничиваем свою задачу общим обзором содержания фондов и документов, дающим представление о концентрации в архиве Института рукописного наследства декабристов и характеризующим содержание последнего.

Другим ограничением нашего обзора является то, что он останавливается только на лицах, приговоренных Верховным судом, в количестве 121 человека. Включение в обзор лиц, в той или иной мере захваченных в круговорот восстания, но не попавших в конфирмированный список «государственных преступников», сделало бы обзор неопределенным и неограниченным в объеме.

Обзор ведем в алфавитном порядке, останавливаясь подробнее на содержании документов, касающихся декабристов, архивное наследие которых дошло до нас в небольшом объеме.

Все цитаты из документов о декабристах и писем даются только по материалам архива Института.[1]

П. В. Аврамов (1791—1836) — Письмо к генерал-майору М. Ф. Орлову от 1 декабря 1833 г. при посылке золотых часов, которые, по словам Аврамова, «составляют славную часть теперешнего ‹его› состояния», с просьбой починить их или продать и на вырученные деньги купить серебряные часы и штуку полотна.

И. А. Анненков (1802—1878) — В его фонд входят письма к нему декабристов с 1837 по 1858 г.: В. А. Бечаснова («после 20 лет ссылки»), А. Ф. Бриггена, Ф. Ф. Вадковского (на франц. яз.), Ф. Б. Вольфа (фр.), Д. И. Завалишина, М. Ф. Митькова (фр.), Н. М. Муравьева (фр.), И. И. Пущина, П. Н. Свистунова (фр.), П. И. Фаленберга, В. И. Штейнгеля, Е. И. Якушкина — сына декабриста.

— Рукопись воспоминаний О. И. Ивановой, дочери Анненкова, записанных под диктовку ее сыном.

— Переписка между III отделением и И. А. Анненковым по поводу прогулки дочери Ольги Ивановны, совместно с Муравьевой и Фонвизиной, из Тобольска в Ялуторовск, за что все три женщины получили из III отделения «строгое внушение».

— Родословная И. А. Анненкова и его потомства, составленная в советское время принадлежащей к его потомству Е. К. Гагариной.

И. А. Анненков умер в 1878 г. Но в последние годы жизни был, по выражению А. Е. Розена, «без памяти и воспоминаний», чем объясняется отсутствие в его архиве писем более позднего времени.

Н. В. Басаргин (1799—1861) — Письма (30) к Е. П. Оболенскому, 1857—1861 гг.

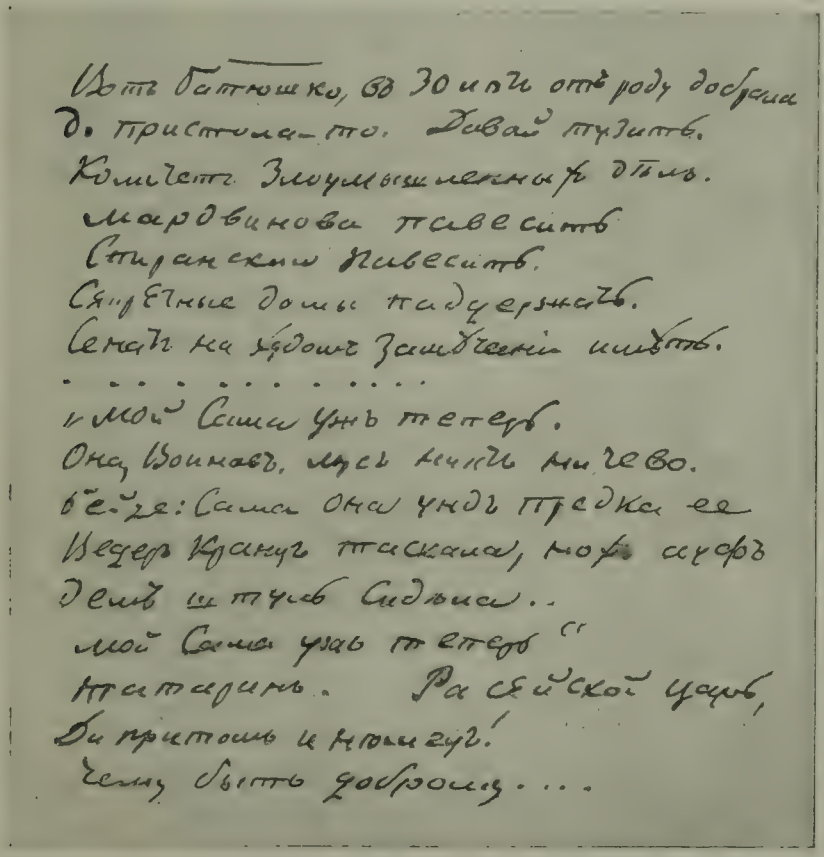
— Его копии стихотворений К. Ф. Рылеева: «Мне тошно здесь, как на чужбине» и «О, милый друг, как внятен голос твой».

Г. С. Батеньков (1793—1863) — «наш Гаврило Степанович», как называют его в письмах товарищи, забытый Николаем I и проспавший в одиночном заключении в крепости 20 лет. Живым памятником этого является

[1] При составлении этого обзора большая работа по выявлению декабристских материалов была сделана сотрудницей архива М. П. Султан-Шах.

в архиве Института переплетенная тетрадь в лист, бывшая с ним в заточении и содержащая размышления Батенькова, записи его переживаний и настроений. Открывается тетрадь планом мыслей, под названием «Критика власти», начинающимся фразой: «Люди умнее были бы, если бы чрез меру ими не правили».

В тетради есть юмористические выпады против Николая I, который так рекомендует своего наследника, будущего Александра II: «мой Саша уж теперь татарин... Расейский царь, да притом и немец!».

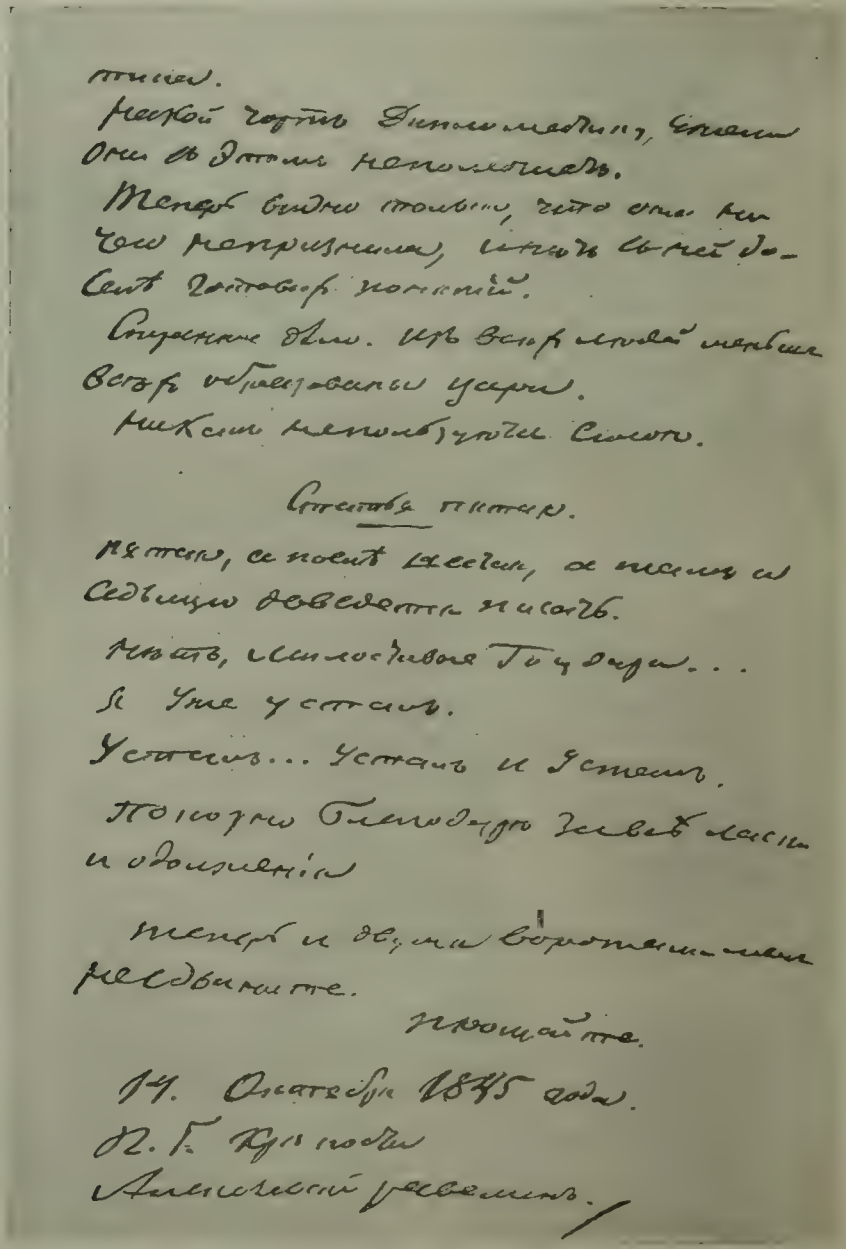

Вот батюшко, в 30 ночи отъ роду добрыя
д. пристойна-то. Дивай пузить.
Комичет Злоумышленныхъ дѣлъ.
Мардвинова повесить
Сперанскаго повесить.
Судейные дѣла подержать.
Семью на удобъ замѣчанія имѣть.
. . . . . .
и мой Саша уж теперь.
Она, Воинова, мысь ничь ничево.
бѣ-да: Сама она ужь трудка ея
Ведеръ кажинъ таскала, ноя сухъ
день штучь сидѣла..
мой Саша уж теперь
татарин. Расейской царь,
да притошь и нѣмецъ!
Чему быть доброму...

СТРАНИЦА ИЗ «ЗАПИСОК БАТЕНЬКОВА, НАПИСАННЫХ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ».

— Копии писем Батенькова к Н. А. Бестужеву, 1855—1858; письма к М. И. Семевскому из Калуги; к неизвестному из Долбина 1856 г., где он сообщает о смерти П. В. Киреевского, семейная печаль по котором «уравновесилась несколько» приездом Батенькова, почитаемым «за чудо»; к Е. С. Молчановой-Кочубей (4), 1857—1859 гг.

— Сочинения Батенькова: «Воспоминания о М. М Сперанском», «Исторические статьи и заметки, писанные в Петропавловской крепости», 1845 г.; копии стихотворений Батенькова: «Одичалый» и «Я прежде говорил» в рукописном сборнике, 1860—1861 гг., составленном студентом К. К. Сунгуровым, умершим в заключении в Шлиссельбургской крепости.

— Мемуары о Батенькове: «Записки неизвестного о Батенькове, как о лучшем помощнике Сперанского», «Воспоминания В. П. Бурешина»,



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ИЗ «ЗАПИСОК БАТЕНЬКОВА, НАПИСАННЫХ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ».

1925 г. (изображается припадок Батенькова, как следствие двадцатилетнего одиночного заключения).

А. П. Беляев (1803—1885) — Письма (11) к Е. П. Оболенскому, 1852—1864 гг. (сообщение о своей жизни и предприятиях).

А. А. Бестужев (Марлинский) (1797—1837) — Рукописное наследство братьев Бестужевых, входящее в состав собраний А. А. Ивановского, М. И. Семевского, П. Я. Дашкова и в Пушкинский фонд, — одно из крупнейших в архиве Института. Вследствие его обширности нет возможности перечислить весь его материал, а ввиду семейного его происхождения произвести строгое разделение документов по индивидуальным линиям.

Материалы, относящиеся к А. А. Бестужеву, характерны большим числом его литературных произведений и писем.

Документов официального происхождения немного.

— Патенты на производство в офицерские звания (А. А. Бестужев дважды был произведен в прапорщики — в 1819 и 1836 г.), документы Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, выписки из журналов Цензурного комитета, разрешение свидания сестры Елены Александровны с братьями в Петропавловской крепости.

— Подлинники восьми писем А. С. Пушкина к А. А. Бестужеву, 1822—1825 гг., и письмо его к А. С. Пушкину, 1826 г.

Кроме указанных выше писем писателей к А. А. Бестужеву в собрании Ивановского, имеются письма к нему братьев Полевых, Греча, Рылеева и переписка с Булгариным.

Переписка с матерью, сестрами, братьями и товарищами-декабристами из Якутска и Кавказа, бывшая в руках у Л. Н. Толстого, очень обширна и составляет несколько объемистых переплетов.

— Рукописи автобиографического содержания: выписки, заметки, мысли, памятная книжка на 1824 г., с частью дневника, в котором есть запись о дуэли Рылеева с Митьковым; воспоминания о жизни А. А. Бестужева в Роченсальме, записанные с его слов, «Знакомство с А. С. Грибоедовым».

— Художественные произведения в автографах: «Месть», «Вадимов», «Мулла-Нур», «Выстрел», «Он был убит», «Следствие вечера на Кавказских водах», «Рассказ гусара», «Аммалат-бек», «Лейтенант Белозор», «Наезды», «Рассказ пленного офицера о пребывании в плену у горцев», «Андрей, князь Переяславский», «Часы и зеркало» и др.

Оригиналы и списки его стихотворений.

— Составленная им «Монгольская грамматика».

— Биографические материалы: «А. А. Бестужев (Марлинский) в Якутске, 1827—1829 гг.» М. И. Семевского, рассказ В. И. Штейнгеля, (7 мая 1862 г.); «Несколько слов о смерти А. А. Бестужева» К. А. Давыдова, участника сражения у мыса Адлер, где был убит А. А. Бестужев.

М. А. Бестужев (1800—1871) — Документы: пергаментный патент о производстве в мичманы, 1819 г.; объяснение на запрос гражданского губернатора Иркутской губернии А. В. Пятницкого относительно печати, которой Бестужев запечатывал письма.

— «Опись письмам товарищей и друзей братьев Н. А. и М. А. Бестужевых, 1824—1860 гг.» (И. А. Анненков, Н. В. Басаргин, В. А. Бечаснов, С. Г. Волконский, М. Н. Глебов, И. И. Горбачевский, Д. И. Завалишин, К. П. Ивашева, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, А. Е. Розен, С. Г. Трубецкой, М. А. Фонвизин, В. И. Штейнгель и др.); письма М. А. Бестужева из Сибири, 1839—1860 гг., «Письма разных лиц, знакомых к Бестужевым», 1809—1860 гг.

— Записки М. А. Бестужева в виде ответов на вопросы М. И. Семевского («Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте

14 декабря. . .») в подлиннике и копиях; «Список декабристов, живших и умерших к 1862 г.», «Заметки о следствии»; черновые заметки о реке Амуре, 1867 г.; примечание к биографическому очерку о Н. А. Бестужеве Семевского.

— Статья «Буддийская космология».

— Рисунки М. А. Бестужева: дом братьев Бестужевых в Селенгинске, плита на могиле Н. А. Бестужева в Селенгинске и проект часовни над его могилой.

Сведения о М. А. Бестужеве и его жизни находим в письмах И. И. Горбачевского и А. Е. Розена к Е. П. Оболенскому.

Петр и Павел А. Бестужевы — Протокол (копия) освидетельствования умственных способностей Петра Бестужева, 23 июня 1840 г.

— Письма Петра Бестужева к разным лицам, 1824—1833 гг.

Письма Павла Бестужева к матери и братьям, 1825—1840 гг.

Н. А. Бестужев (1791—1855) — Письма его к матери, сестрам, братьям и другим лицам, составляющие два сборника в переплетах: «Сборник подлинных его писем», 1814—1847 гг., и «Подлинные письма Н. А. Бестужева», 1837—1849 гг.

— Сочинения Н. А. Бестужева: «Воспоминания о К. Ф. Рылееве», автограф и копия, с поправками В. И. Штейнгеля, «Из морской жизни», «О свободе торговли и вообще промышленности», 1830—1832 гг., «Естественное право», 1814 г., «Причина скопления капиталов в Англии», «О причинах перенесения Селенгинска на новое место», «Шлиссельбургская станция. Истинное происшествие», «Отрывок из журнала флотского офицера».

— «Н. А. Бестужев. Биографический очерк». Составил М. И. Семевский (посвящен Е. А. Бестужевой). 1860 г. Очерк не был разрешен к печати Главным управлением цензуры, «так как составляет апологию Н. Бестужева и лиц, участвовавших в заговоре 1825-го года». По поводу внешнего вида цензурного экземпляра очерка М. И. Семевский сделал на нем замечание: «Черты всех цветов и карандашей принадлежат церберам всероссийской цензуры. . . Вот какая шумная была процессия при вторичном погребении Н. А. Бестужева».

М. П. Бестужев-Рюмин (1803—1826) — Письмо к С. М. Мартынову из Василькова, 16 ноября 1824 г.

Б. А. Бодиско (1788—1828) — Письмо к брату А. А. Бодиско, 13/25 декабря 1827 г., с подробным описанием персидских обычаев и торжеств в честь русских.

П. П. Борисов (1800—1854) — Письма к Н. А. Бестужеву и С. Г. Волконскому.

— «Книга доходов», 1839 г.

А. Ф. Бригген (1792—1859) — Письма его к А. П. Михайловскому-Данилевскому, 1821—1824 гг.; к дочери Марии Александровне, в замужестве Туманской, к ее мужу и родным мужа, 1834—1859 гг.; к В. А. Жуковскому, 1845—1847 гг. (письма к нему Жуковского Бригген послал в подарок дочери перед ее свадьбой); письма (19) к Е. П. Оболенскому, 1850—1856 гг., проникнутые непримиримостью к «незабвенному», как декабристы иронически называли Николая I, который «употребил чудовищную свою власть только к тому, чтобы попятить Россию назад» (письмо от 15 сентября 1855 г.).

Отпуска писем к генерал-губернатору Западной Сибири П. Д. Горчакову. В письме от 6 апреля 1845 г. Бригген просит переслать сделанный им перевод «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря за границу к В. А. Жуковскому, обещавшему издать перевод за свой счет. В другом,

от 29 июля 1849 г., Бригген, бывший в то время заседателем окружного суда в Кургане, высказывает свои соображения о виновниках убийства крестьянина Михаила Власова. Письмо, написанное в сильных выражениях, вызвало в отношении Бриггена угрозу усугубить полицейский надзор за ним и принять меры к его «укрощению». Оправдательное письмо Бриггена от 15 апреля 1850 г., на четырех листах большого почтового формата, раскрывает нравы курганской администрации: у городничего Антона Антоновича (совсем по Гоголю!) Соболевского «на конюшне находят воровских лошадей», письмоводителя полиции Логинова население называет «маткой воров», товарищ Бриггена по суду, другой заседатель, «имеет слабость пить и каждый месяц от двух до трех недель не присутствует».

— Письма к А. Ф. Бриггену: С. Г. Волконского, 1842 г., Н. И. Лорера, 1837 г., М. А. Нарышкина и его жены Е. П. Нарышкиной, рожд. Коновницыной, 1837—1856 гг., И. П. Пущина, 1857 г., А. Е. Розена 1834—1839 гг., П. Н. Свистунова, 1842 г., С. П. Трубецкого, 1842—1846 гг., Н. И. Тургенева, 1857 г., В. И. Штейнгеля, 1852 г., М. А. Фонвизина, 1840 г., И. Д. Якушкина, 1838 г.

В письмах Н. Р. Цебрикова к Е. П. Оболенскому имеются сведения о последних днях и смерти Бриггена. Из декабристов на погребении был один Цебриков. — «Я его любил, — пишет он о Бриггене, — за его доброту и за его благородный характер. Он сохранил до гроба свои убеждения, свои принципы, свои стремления. Чистая, кроткая душа его не знала другой скорби, как только по отечестве».

Ф. Ф. Вадковский (1800—1844) — Письма к П. А. Анненкову, 1837 г. (фр.), М. С. Лунину, Е. П. Оболенскому; расписка, 18 марта 1835 г. на 1990 руб., посланных Луниным на сохранение Вадковскому.

С. Г. Волконский (1788—1865) — Обширный фонд С. Г. и Марии Николаевны Волконских, обнимающий 16 архивных коробок, частью был разобран внуком их С. М. Волконским и Б. Л. Модзалевским, результатом чего был I том издания «Архив декабриста С. Г. Волконского» (Петроград, 1918); II том, подготовленный к печати, остался в рукописи и хранится в фонде.

В архиве Волконских особенно много писем Марии Николаевны, для которой, в условиях жизни в Сибири, переписка составляла самую значительную сторону ее душевной жизни. Письма ее, исключительно на французском языке, имеются также в копиях, подготовлявшихся к печати для II тома. Это — переписка с Раевскими, дочерью Еленой и сыном Михаилом.

Свидетелями разных эпох жизни С. Г. Волконского являются официальные документы.

Вот формулярный список о службе Волконского, относящийся к 1817 г., когда ему было 29 лет. Он, герой войны 1812 года, имел уже ордена Анны 1-й степени и Владимира 3-й степени. А рядом «Регистр фельдъегерям, проследовавшим с преступниками, осужденными Верховным уголовным судом». Фельдъегерь Куст вез из Петербурга Трубецкого, Волконского и братьев Борисовых. В регистре против их фамилий помечено: «скованы». Далее дело № 1172, 1862 г., о продолжении секретного надзора «над возвращенным из Сибири дворянином Сергеем Волконским».

Дело было найдено в селедочной лавочке как оберточная бумага и скопировано в машинописи. Из бумаг этого секретного надзора, который вел пристав 3-го стана Козелецкого уезда Черниговской губ.

(Волконский и А. В. Поджио с женою жили в то время в селе Воронках Козелецкого уезда) узнаем, например, что 25 ноября 1862 г. Волконский с женой Поджио, Лариссой, приезжали в Киев за покупкой разных бакалейных товаров, но письменных видов не имели.

Впрочем, черниговский губернатор князь С. П. Голицын, отец которого был товарищем Волконского в походной жизни, доносил в Петербург, что Волконский «держит себя в высшей степени благородно и во всех отношениях безукоризненно». 23 февраля 1863 г. «по высочайшему повелению» надзор был снят, и губернатор любезно писал бывшему «скованному» каторжнику: «В случае надобности, конечно, ваше сиятельство, будете располагать мною, как вам угодно».

И все-таки, в формулярном списке сына С. Г. Волконского, Михаила, «егермейстера двора его императорского величества» и тайного советника, в графе о происхождении написано: «Сын государственного преступника». Он вырос среди декабристов, и в архиве сохранилось его детское крупными буквами написанное письмо, в котором он благодарит М. С. Лунина за присланную им утку, посылая ему в благодарность булку.

В Пушкинском фонде есть письмо Волконского к А. С. Пушкину, 18 октября 1824 г. Из других больших литературных имен, встречающихся в бумагах Волконских, надо указать И. С. Тургенева, от которого сохранилось два письма из Парижа, 1862 г., к Елене Сергеевне Волконской.

А. Ф. Бригген писал Е. П. Оболенскому о С. Г. Волконском: «смерть Фохта дала мне случай узнать эту прекрасную душу». Отзывчивость Волконского нашла отражение в ряде документов в архиве Института: в письмах к нему Баснина об имуществе и долгах трагически погибших братьев Борисовых, в письмах генерал-губернатора В. Я. Руперта о вещах, оставшихся по смерти М. С. Лунина, в письмах Е. С. Уваровой, сестры Лунина, с просьбой употребить имущество, оставшееся после брата, в пользу неимущих, в письмах самого Волконского к иркутскому архиепископу Нилу о передаче книг Лунина в иркутскую семинарию.

В фонде Волконских хранятся письма к С. Г. в тюрьму, в 1826 г., его матери, рожденной Репниной, письма М. С. Лунина к семье Волконских; копия отзыва на предложение правительства поместить детей Волконских на казенный счет в учебные заведения, но с переменой отцовской фамилии, от чего Волконский отказался; «Записки деда», частью писанные С. Г. Волконским собственноручно; много документов из архива М. С. Волконского, в том числе «Записки о моих задушевных 25 лет никому неведомо питаемых помышлениях об Индии», где М. С. Волконский рассуждает о том, чтобы Европа не была «более, подобно Индии, торговою колониею народа, привыкшего содержать в цепях торговлю всего мира».

Фонд Волконских — это в полном смысле семейный архив, где мы находим не только документы, характеризующие прошлое, но и детские тетради, вообще, самый разнообразный семейный материал.

Ф. Б. Вольф (ум. 1852 г.) — Два французских письма, без дат, к И. А. Анненкову; письмо к нему Е. Ф. Муравьевой (фр.), без даты, по поводу смерти Н. М. Муравьева.

О Вольфе говорится в названных выше воспоминаниях О. И. Анненковой, рисующих светлый образ этого бескорыстного врача; в письме М. А. Фонвизина к жене, 1853 г., сообщающего, что на пароходе он познакомился с купеческим приказчиком, который «Вольфа называет бессребренником и целителем, совмещающим в своем лице святых Косьму и Дамиана».

В. И. Враницкий (ум. 1832 г.) — Письмо к городничему в г. Таре Тобольской губернии А. Д. Блохину. Приезжавший из Петербурга жандармский офицер опрашивал, не имеет ли Враницкий нужд. Он ответил отрицательно; но затем решил, что его ответ могут счесть за упрямство и нежелание обращаться за помощью к начальству: «Где мне, — пишет Враницкий Блохину, в объяснение своего поступка, — несчастному, уже давно морально мертвому человеку, быть еще упрямым. . .».

Враницкий умер в состоянии психического расстройства.

И. И. Горбачевский (1800—1869) — Единственный из декабристов, оставшийся в Петровском заводе и умерший там, но признававшийся в письме к Е. П. Оболенскому, что им подчас овладевает «слабость даже непростительная»: «Я иногда, — писал он, — мечтаю о своей Малороссии и тоскую по ней» (Горбачевский родился близ Нежина Черниговской губернии).

Когда все декабристы разъехались из Петровского завода и стали казаться ему «какими-то мифами», единственной отрадой для Горбачевского было получать и писать письма «старым товарищам по тюрьме и по мыслям».

Горбачевский много писал. Но, как он сообщает в письме к М. А. Муравьеву, «даже едва достало терпения бросать все в огонь; такая была масса исписанной бумаги».

Этим, конечно, объясняется небольшое литературное наследство, сохранившееся в архиве Института от Горбачевского, человека очень общительного, интересовавшегося своими товарищами и написавшего в 1861 г. для М. Н. Бестужева о судьбе и смерти каждого из 120 человек, осужденных Верховным судом.

От Горбачевского сохранились письма (16) к Е. П. Оболенскому, 1861—1864 гг., к Бестужевым, к М. А. Муравьеву, к Я. Д. Казимирскому.

Есть письмо к Горбачевскому от Е. П. Оболенского, 1861 г., посланное 7 февраля и полученное 3 июня.

В фонде Бестужевых — характеристика Горбачевского со слов М. А. Бестужева.

В. Л. Давыдов (1792—1855) — Письма-автографы А. С. Пушкина к нему, 1821 и 1824 г. Письмо Давыдова к плац-майору О. А. Лепарскому при отъезде последнего из Петровского завода. Письмо вдовы В. Л. Давыдова к Н. Н. Раевскому из Читы, 1828 г.

А. В. Ентальцев (1788—1845) — Жалоба А. В. Ентальцева генерал-губернатору Западной Сибири П. А. Вельяминову на статского советника Грабе-Горского в том, что последний клевещет на него, Ентальцева, и подбивает его людей к освобождению за жестокое с ними обращение.

— Письмо жены Ентальцева из Тобольска, от 13 июня 1830 г., о положении декабристов на каторге, адресованное В. А. Муравьевой.

В письме к Е. П. Оболенскому, от 9 сентября 1842 г., И. И. Пущин сообщает из Ялуторовска: «Забота моя — Ентальцев — он в тихом сумасшествии».

Д. И. Завалишин (1804—1892) — «Последний декабрист», переживший всех своих товарищей по каторге и ссылке. Несмотря на то, что литературное наследие Завалишина в печати велико, в архиве Института сохраняется от него немного документов и совсем мало переписки с декабристами, с которыми он расходился во взглядах. В частности, Бригген называл Завалишина в переписке с Оболенским «отверженником».

— Письма: к Е. П. Оболенскому из Читы, 1848 и 1858 г., к И. И. Пущину, 1849 г., к М. А. и Елене А. Бестужевым из Читы, 1857—1860 гг., к С. Н. Шубинскому, 1876 г., к М. И. Семевскому, 1880 г.

Письмо к Завалишину Н. А. Бестужева.

— Статьи: «Владивосток», «Краткий очерк общественной деятельности Д. Ир. Завалишина в Москве, со дня прибытия из Сибири, с 17-го октября 1863 года, по настоящее время», автограф.

— Цензурные купюры в записках Завалишина «Вселенский орден Восстановления и отношения мои к Северному тайному обществу», напечатанных в «Русской Старине», 1882, январь, XXXIII.

— Иконография, хранящаяся в рукописном отделе Института: портрет Завалишина, рисованный А. А. Ивановским во время заседаний Следственной комиссии; фотографический портрет, относящийся, по словам Завалишина, к 1867 или 1868 г., присланный им С. Н. Шубинскому.

И. А. Загорецкий (1796—1885) — Письмо к Е. П. Оболенскому с Кавказа.

— Записанная М. И. Семевским характеристика Загорецкого со слов М. А. Бестужева.

В. П. Ивашев (1794—1840) — Формулярный список, 1825 г., когда Ивашев был ротмистром кавалергардского полка.

— Собрание писем (102) его отца П. Н. Ивашева к жене, 1826—1827 гг.

— Письмо В. П. Ивашева к Н. А. Бестужеву, без даты.

В воспоминаниях О. И. Анненковой — о невесте В. П. Ивашева К. П. Ледантю, обвенчавшейся с ним в тюрьме.

С. М. Волконский в письме к Б. Л. Модзалевскому сообщал, что у внучки В. П. Ивашева Ек. Конст. Решко, жившей в Симферополе, был архив деда.

С. Г. Краснокутский (ум. 1840 г.) — Автограф-расписка в получении денег.

— Письма к нему: К. Броглио, 1816 г., княгини К. И. Лобановой-Ростовской, рожд. Безобразовой (фр.), с припиской на втором письме М. М. Сперанского; М. Г. Разумовской, рожд. Вяземской, по первому мужу Голицыной, 1824—1825 гг., Д. В. Давыдова, записка кн. А. М. Горчакова от 11 декабря 1825 г.

— Поздравительные стихи Н. И. Гнедича: «Не именинник ли сегодня пан-полковник?. .».

В. К. Кюхельбекер (1797—1846) — Документы и бумаги официального характера: свидетельства об окончании Царскосельского лицея, 9 июня 1817 г., и о получении серебряной медали при окончании; печатное объявление о розыске Кюхельбекера, от 30 декабря 1825 г.; вырезка из газеты с сообщением о его поимке, 27 января 1826 г.; дело № 229, о поступке г. Пушкина при встрече с преступником Кюхельбекером, 28 октября 1827 г. рапорт фельдъегеря Подгорного; резолюция Бенкендорфа по поводу отречения Кюхельбекера: «известно, что Кюхельбекер несколько расстроен в уме»; показание Кюхельбекера о посылке письма камер-юнкеру А. С. Пушкину, от 30 июня 1836 г.; прошение Кюхельбекера о переводе его из Баргузина в крепость Акша, от 29 июня 1839 г.; прошение о переводе из крепости Акша в Курган, от 28 декабря 1843 г.; прошение на имя Бенкендорфа о переводе из деревни Смолиной Курганского уезда в г. Курган, по причине болезненных припадков, от 3 мая 1845 г., с резолюцией: «Оставить»; прошение из Кургана о разрешении съездить в Тобольск по причине «жестокой глазной болезни, которая угрожает потерею зрения», от 3 декабря 1845 г. (собственноручная только подпись).

— Письма к Кюхельбекеру: В. Д. Вольховского, 1823 г., Е. А. Энгельгардта, 1823 г., А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова и В. Ф. Одоевского — 1825 г.

Письма Кюхельбекера: к Ю. К. Кюхельбекер, 1822 и 1823 г., к С. Д. Комовскому, 1823 г., к А. С. Пушкину, 1828 и 1836 г., к Наталии, Александре и Николаю Гр. Глинкам, 1834—1839 гг., к М. Н. Волконской, 1845.

— Произведения Кюхельбекера — автографы: черновая тетрадь стихотворений с пометками В. П. Гаевского; тетрадь мелких стихотворений; отрывки из поэмы «Кассандра» и трагедии «Аргивяне»; тетрадь, содержащая стихотворение «Тень Рылеева», переложение псалмов и Библии, переводы и подражания; стихотворения: «К Другу», «Чем подарю тебя, Наташа? . .», «Гроза» («На небе, в воздухе, от зноя раскаленном. . .»), «Осень» («Ветер по сучьям дерев пробегает», «Хладное веянье струи на зеркало вод нагоняют. . .»), «Бородинское сраженье» («Идут войска уж на сраженье»), «Байрон»; пролог к «Агамемнону» Эсхила (размером греческого подлинника); текст к опере «Любовь до гроба, или гренадерские мавры»; поэмы: «Мир поэта» и «Давид», «Меломегас. Бес — человек», «Der Kosak und das Mädchen», роман в стихах «Сирота», драматическая сказка «Иван — купеческий сын».

Рукописные сборники: «Собрание лицейских стихотворений. Часть I. Напечатанные пьесы», со стихотворениями А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, А. Д. Илличевского, В. К. Кюхельбекера и М. Л. Яковлева; «Национальные песни», лицейские стихотворения, переписанные Кюхельбекером, Комовским, Илличевским и др.; «Жертва Мому, или Лицейская антология» (юмористическое стихотворение, посвященное Кюхельбекеру, «Виля Геркулес»); «Лицейская антология, собранная трудами пресловутого Ийший. 1816 г.» (юмористическое стихотворение «Вот Виля — он любовью дышит. . .»); копии стихотворений Кюхельбекера неизвестной руки с примечаниями И. И. Пущина.

Биографические материалы: дневник; запись А. С. Пушкина о встрече с Кюхельбекером, 15 октября 1827 г.; статья А. С. Пушкина о нем; выписки Кюхельбекера из произведений Жуковского и Карамзина.

М. С. Лунин (1787—1845) — Документы: расписка в получении денег, 1837 г.; завещание о предоставлении своего имущества в распоряжение С. Г. Волконского.

Письма к Лунину: его сестры гр. Е. С. Уваровой, рожд. Луниной, 1831 г., С. Г. и М. Н. Волконских (фр.), Е. И. и С. П. Трубецких — 1837 г.

Письма Лунина: к Е. С. Уваровой, 1837—1838 гг., к М. И. Муравьеву-Апостолу, 1838 г., к С. Г. Волконскому и М. Н. Волконской (три — фр., одно — англ.), 1840-е годы.

Сочинения. «Разбор донесений тайной Следственной комиссии в 1826 г., сделанный Луниным» — копия, сохранившаяся в бумагах И. А. Анненкова; заметки, календарь и пасхалия, составленная Луниным по 1900 г.; записки Лунина о тайных обществах — копия, сделанная С. Г. Волконским.

Биографические материалы: записная книжка, датированная 29 апреля 1838 г., начинающаяся автографом Лунина: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas»; французские выписки, латинские молитвы; запись хозяйственных расходов, 1837 г. (продукты, предметы хозяйственного оборудования: вьюшки, лопаты, подойник, «чепи‹sic› две», «туезы». . .), пакет с пеплом с надписью Лунина: «† cineris 1840 †».

— Письмо С. Оболенского к М. И. Семевскому, с поправками и дополнениями к воспоминаниям М. А. Бестужева о вторичной ссылке Лунина в Акатуй.

М. Ф. Митьков (1794—1849) — Отношение А. Х. Бенкендорфа к Пл. Фотиевичу Митькову о том, что «его императорское величество по собственному побуждению беспредельного своего великодушия высочайше

повелеть изволил, чтобы в остроге (в Петровском заводе) сделаны были светлые окна», 6 декабря 1830 г.; список вещам, посланным М. Ф. Митькову, среди которых книги на французском языке (Паскаль, Плутарх и др.); записка коменданта Петровского завода С. Р. Лепарского в ответ на просьбу М. Ф. Митькова разрешить ему посещать жен декабристов, с указанием, что об этом заключенные должны извещать его предварительно.

— Письма к М. Ф. Митькову: Д. Н. Блудова, 1824 г., отпуска писем к нему брата Пл. Ф. Митькова, 1840-е годы.

Письма М. Ф. Митькова к родным (38) и к И. А. Аннешкову, 1848 г.

Письма к П. Ф. Митькову: княгини Е. И. Трубецкой и А. Е. Розена.

А. Н. Муравьев (1792—1863) — Переписка по поводу посылки его женой и ее сестрой, кн. Варварой Мих. Шаховской, на имя жены П. А. Муханова ящика с семенами, с двойным дном, где были скрыты письма. Донесение об этом иркутского гражданского губернатора И. Б. Цейдлера, 1833 г., объяснившего происшествие «мечтательностью и женской пылкостью». Внушение со стороны А. Х. Бенкендорфа А. Н. Муравьеву, бывшему тогда председателем Губернского правления и исправляющим должность гражданского губернатора Тобольской губернии, с напоминанием ему о том положении, в котором он сам находился. Письмо к Бенкендорфу А. Н. Муравьева, признававшего, что «столь скорбное» происшествие является для него «ужасным уроком».

— «Латинско-русский словарь», составленный А. Н. Муравьевым.

А. З. Муравьев (1794—1846) — «Формулярный список о службе и достоинстве Ахтырского гусарского полка полковника Муравьева. Генваря 1 дня. 1826 г.».

— Переписка относится к различным годам жизни А. З. Муравьева. До 14 декабря это или деловая переписка по командованию полком, или письма родственников: отца Захара Матвеевича и сестры Екатерины Захаровны, бывшей замужем за министром финансов Е. Ф. Канкриным, а также родственников со стороны жены Веры Алексеевны — Горяйновых.

Письма от сестры Ек. Зах., 1818—1825 гг., бывшей с братом в самой тесной дружбе, рисуют сложные отношения между А. З. Муравьевым и его отцом, властным, грубым и жестоким помещиком: «Друг мой Артамон, — убеждала сестра брата, — вспомни, что он тебе отец. . .». — «Он, верно, людей всех пересечет», — писала она в том же письме, 6 марта 1818 г.

Ко времени ареста и первоначального заключения в Бердичевской крепости принадлежит наскоро набросанная на клочке записка: «Я здоров, будьте покойны, только вы не унывайте. Артамон. 30 Ап.».

От пребывания в Петропавловской крепости остались письма 1826 г. к жене и сестре, а также деловая переписка между ними и начальством Петропавловской крепости.

Письмо с дороги в Сибирь адресовано жене Вере Алексеевне (в дороге дал не имевшим с собою денег Давыдову и Якубовичу по 875 руб., Оболенскому — 325 руб.).

От сибирского периода идут письма, 1829—1836 гг., к В. А. Муравьевой и к сыновьям, — Александру и воспитывавшемуся у Канкриных, Николаю, от А. В. Ентальцевой, А. В. Розен, Е. И. Трубецкой, Н. Д. Давыдовой, М. К. Юшневской и М. Н. Волконской, передававших слова и выражения А. З. Муравьева, за что Е. З. Канкрина называла их «ангельскими сестрами».

В письмах сестры Е. З. Канкриной, продолжавшей попрежнему с горячей любовью относиться к брату, обнаруживается новая семейная

заноза — ненависть сестры к невестке Вере Алексеевне: «Я ее торжественно презираю. . .», — пишет она брату 17 октября 1836 г.

Никита М. Муравьев (1796—1843) — Письма его: к П. А. Шипилову о психической болезни К. Н. Батюшкова, 1822 и 1823 г., и к И. А. Анненкову.

— Письма его дочери Софьи Никитичны к Е. П. Оболенскому.

М. И. Муравьев-Апостол (1793—1886) — Бумаги официального содержания: объяснение его о своей жизни в Бухтарминской крепости, представленное генерал-губернатору Западной Сибири И. А. Вельяминову по поводу доноса, последствием которого М. И. Муравьеву-Апостолу было запрещено выходить из дому и к дверям его дома был поставлен часовой, 1835 г.; просьба его, вследствие переселения в Ялуторовск, отложить переезд, чтобы продать дом, 1836 г.; копия отзыва на предложение правительства поместить детей в учебные заведения, но не под отповской фамилией, от чего М. И. Муравьев-Апостол отказался.

— Письмо к нему М. С. Лунина, 6 января 1838 г., с просьбой передать 25 рублей «известной особе, не упоминая, кем они посланы».

С. И. Муравьев-Апостол (1796—1826) — Письма его к Хрущовым, 1820—1823 гг. (фр.).

— Рисованный А. С. Пушкиным на память портрет С. И. Муравьева-Апостола, 1826 г.

П. А. Муханов (1799—1854) — Копия прошения на имя А. Х. Бенкендорфа о переводе его из Братского острога Иркутской губернии в южную часть Западной Сибири по болезни («зубы выпали, ноги сводит»). Отпуска прошений его матери Натальи Александровны, рожд. Саблуковой, восьмидесятилетней старухи, поданных Николаю I, наследнику, императрице, великим княгиням и Бенкендорфу, об облегчении участи сына.

— Письма П. А. Муханова (12) к матери Н. А. Мухановой, 1823—1843 гг. («В моих письмах к ней я всегда весел и всегда здоров», — писал он сестре, 1836 г.); письма его к сестре Ек. Александровне Альфонской (53), 1824—1854 гг., со сведениями о жизни и хозяйстве («Корова, пара лошадей, птица и множество свиней — следовательно, мужик я не плохой», 1843 г.).

Письмо Н. А. Белоголового к А. А. Альфонскому из Иркутска о смерти П. А. Муханова, 12 февраля 1854 г.

М. А. Назимов (1801—1888) — Письмо к нему Н. А. Загорецкого с Кавказа, Н. Д. Пущиной.

Письма его: к П. С. Бобрищеву-Пушкину, 1839 и 1856 г., к А. Ф. Бриггену, 1840 и 1842 г., к Н. Д. Пущиной.

—Копии стихотворений А. И. Одоевского и басен П. С. Бобрищева-Пушкина.

М. М. Нарышкин (1798—1863) — Официальные бумаги: черновик допросов полковника Нарышкина, Никиты Муравьева, переяславского маршалка Лукашевича; «Статейный список о государственном преступнике Михайле Нарышкине, обращенном на поселение, 1833 г. 29 января» (Подпись С. Р. Лепарского).

— Письма (13) М. М. Нарышкина и его жены Ел. Петр., рожд. Коновницыной, к А. Ф. Бриггену, 1837—1856 гг.; письма (32) к Е. П. Оболенскому, 1859—1862 гг.

— «Несколько слов в память почившего 2 числа января сего года М. М. Нарышкина», 1863 г., Е. П. Оболенского; Воспоминания о М. М. Нарышкине В. П. Бурешина, ноябрь 1925 г.

Е. П. Оболенский (1798—1865) — Копия показаний, донесений и очных ставок кн. Е. Оболенского по делу 14 декабря в Верховном комитете, на 105 листах.

Архивное наследие Е. П. Оболенского преимущественно составляют письма к нему и в меньшей степени от него. А. Е. Розен писал ему: «Есть люди счастливые, которых беседа и письма производят самое отрадное впечатление на слушателя и на чтеца, располагают к благоволению, к терпимости, к стремлению к добру — и ты в числе этих счастливцев» (31 марта 1859 г.).

Недаром, когда И. И. Горбачевский, оставшийся в Петровском заводе, получал письма от Е. П. Оболенского, бывшие тюремные стражи декабристов просили их у него, брали домой и читали в своих семьях (письмо 23 марта, 1862 г.).

Почти все письма к Оболенскому, имеющиеся в Рукописном отделе Института, относятся к поздним годам. Ввиду большого числа его корреспондентов ограничимся их перечислением. К Оболенскому в архиве Института хранятся письма — А. П. Барятинского, Н. В. Басаргина, А. П. Беляева, Н. А. и М. А. Бестужевых, П. С. Бобрищева-Пушкина, А. Ф. Бриггена (19 писем), Ф. Ф. Вадковского, С. Г. и М. Н. Волконских, И. И. Горбачевского, А. И. и В. Л. Давыдовых, Д. И. Завалишина, И. В. Киреева, Е. С. Кочубей, В. К. и М. К. Кюхельбекеров, А. З. Муравьева, С. Н. Муравьевой, М. М. Нарышкина (32), И. И. (70) и М. И. Пущиных, И. С. Повало-Швейковского, А. Е. Розена (66), М. М. Спиридова, А. Н. Сутгофа, С. П. и Е. И. Трубецких, Н. Р. Цебрикова (14), М. К. Юшневской, А. И. Якубовича.

Среди корреспондентов Е. П. Оболенского особо следует отметить тех, кто по своему положению в жизни искал сочувствия и находил его в Е. П. Оболенском. Это — Нина Полибина, внебрачная дочь И. И. Пущина, умершая в молодости в 1863 г., от которой сохранилось 19 писем, 1860—1863 гг. Это — невенчанная жена П. А. Муханова, Мария Александровна Дорохова, рожд. Плещеева, 1857—1862 гг. Это — Анастасия Кондратьевна Пущина, дочь К. Ф. Рылеева, писавшая Оболенскому: «Я обрадовалась вам, как самому близкому родному. . .», 3 декабря 1859 г.

Жены и дети декабристов постоянно писали Е. П. Оболенскому; сохранились письма: от Анны Вас. Розен (11), 1848—1863 гг., от Нат. Дм. Фонвизиной-Пущиной (37), 1840—1864 гг., от детей А. Е. Розена: Кондратия, Владимира и Инны (25), 1850—1864 гг., от Е. И. Якушкина (10).

Писем самого Е. П. Оболенского в архиве немного: к А. В. Никитенко, 1824—1825 гг., к А. В. Протасову (6), 1830—1843 гг., письма, рисующие жуткую картину жизни декабристов в Нерчинской каторге, которых там держали наравне с уголовными каторжниками, совершившими преступления уже в бытность на каторге, — в душных клетках, где едва можно было повернуться и где «миллион клопов и разной гадины ссыпали тебя с ног до головы»; письмо к И. С. Аксакову, 1863 г.

А. И. Одоевский (1802—1839) — «Статейный список о государственном преступнике Александре Одоевском, обращаемом на поселение, 1833 г. 13 января».

— О препровождении А. Одоевского из Иркутска в Ишим Тобольской губернии, 4 июля 1836 г.; «Дело князя А. Одоевского», копия, списанная для Д. С. Мережковского, на 122 листах.

— Списки стихотворений А. И. Одоевского: «Наш ответ» («Струн вещих пламенные звуки»), «Княгине М. Н. Волконской» («Был край, слезам и скорби посвященный. . .») и др.; копии других стихотворений

А. И. Одоевского из бумаг М. А. Назимова и собрания П. И. Бартенева.

Н. А. Панов (1803—1850) — Письма (3) к Н. А. Бестужеву о своей жизни в ссылке.

П. И. Пестель (1793—1826) — Письмо А. С. Пушкина к П. И. Пестелю (или к И. П. Липранди?), между 1821 и 1823 годами, из Кишинева («Voila, mon colonel, une lettre. . .»).

Письма (13) к П. Д. Киселеву, 1821—1823 гг.

— Портрет П. И. Пестеля, рисованный А. С. Пушкиным чернилами на память.

А. В. Поджио (1798—1873) — Письмо к Н. А. Бестужеву, 1854 г.

И. И. Пущин (1798—1859) — Автографы А. С. Пушкина: «Пущину» («Любезный именинник. . .»), 4 мая 1815 г.; «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный. . .»), 13 декабря 1826 г.; стихотворение «Козак» с надписью: «Любезному Ив. Ив. Пущину. От автора».

— Письма И. И. Пущина: к В. Д. Вольховскому, 1820 г.; к И. В. Малиновскому, сыну директора Лицея, 1844 г.; к жене директора Ек. Ф. Малиновской, 1845 г.; к ней же и к ее внуку Антону, 1848 г.; к генерал-губернатору Западной Сибири кн. П. Д. Горчакову (фр.), 1849 г.; к И. А. Анненкову, 1857 г.; к Е. П. Оболенскому (70), 1842—1859 гг.; к Н. А. и Е. А. Бестужевым, 1854—1858 гг.; к родным (49), 1847—1858 гг.

— Печатные записки И. И. Пущина, об А. С. Пушкине с автографическими вставками на подклеенных листах, примечаниями и поправками. Здесь же письмо Пущина к Е. И. Якушкину.

— Замечания «первого курса лицеиста на воспоминание И. И. Пущина о директоре В. Ф. Малиновском». — Воспоминание о вдове Пущина, Наталье Дмитриевне, В. П. Буренина, 1925 г., ноябрь.

Сведения об И. И. Пущине — в письмах к Е. П. Оболенскому вдовы Н. Д. Фонвизиной-Пущиной, А. Е. Розена, Н. Р. Цебрикова и Е. И. Якушкина.

— Иллюстративный материал: герб Пущиных, акварель, с девизом в стихах: «Вот храбрости и чести дань. . .». Подпись: «Степанов. Красноярск. 23 сентября 1826 г.» — с объяснительной запиской к гербу; три листа чертежей дома И. И. Пущина в Сибири.

М. И. Пущин (1800—1869) — Прошение его об облегчении участи И. И. Пущина, рукою П. А. Вяземского.

— Письма: М. И. Пущина к Н. Н. Анненкову; М. А. Назимова к М. Я. Пущиной, 1865—1866 гг.; А. И. Пущиной к М. И. Пущину (фр.), 1821—1831 гг.

— Дневник М. И. Пущина, писаный для родных, 1826 г. — Воспоминания его, черновик.

А. Е. Розен (1800—1884) — «Статейный список о государственном преступнике Андрее Розене, 1832 г., июля 20»; копия отзыва на предложение поместить детей в учебные заведения на казенный счет не под отцовской фамилией, от чего отказался; описание его болезни за подписью лейб-медика Енохина.

— Остальное содержание рукописного наследства А. Е. Розена в архиве Института составляют письма, отражающие личность человека, до глубокой старости оставшегося верным и преданным идеям молодости и товариществу, скрепленному общими испытаниями; он даже своего первого сына, в память К. Ф. Рылеева, назвал Кондратием.

Письма его: к Бестужевым (6), 1838—1856 гг., к Е. П. Оболенскому (66), 1842—1864 гг., к М. А. Назимову (73), 1844—1883 гг., к М. И. Семевскому, 1884 г.

— От мемуарных работ А. Е. Розена в архиве хранится план книги «Содержание моей книги для нового издания. 20 глав с 6 приложениями» и статья «Декабристы на Кавказе».

К. Ф. Рылеев (1795—1826) — Письма А. С. Пушкина к Рылееву: из Михайловского, 1825 г.; из Михайловского, 25 января 1825 г. («Благодарю тебя за „ты“. . .»); из Михайловского, в конце мая 1825 г. («Думаю, ты уже получил. . .»); без даты (из Михайловского, 1825 г.) к Рылееву (или к А. А. Бестужеву?).

— Портрет-профиль Рылеева, рисованный А. С. Пушкиным чернилами на память.

— Письма к К. Ф. Рылееву: П. А. Муханова, А. А. Бестужева, П. Г. Каховского и Н. А. Маркевича — все 1824—1825 гг.

Письма Рылеева: к матери, 1814 г., к Ю. Немцевичу, 1822—1823 гг., к А. С. Пушкину (7), 1824—1825 гг., к В. И. Туманскому, А. А. Дельвигу, В. И. Штейнгелю, к жене — Н. М. Рылеевой, 13 июля 1826 г., в копии.

— Расписка Н. М. Рылеевой в получении денег от А. С. Пушкина, выданная на имя О. М. Сомова, 30 августа 1827 г.

— Сочинения К. Ф. Рылеева: «Женская игрушка» (Из «Провинциала в Петербурге»), набросок о Наполеоне, 1824 г.; «Дух времен, или Судьба рода человеческого», план произведения; набросок статьи о классицизме и романтизме.

В собрании А. А. Ивановского: «На смерть Байрона», «Путь к счастию», «В. Н. Столыпин», «К ***», отрывки и наброски дум о Вадиме, Меньшикове, Державине, «Наливайко», «Хмельницкий», «Мазепа», «Кулакиада».

В Дашковском собрании: «Войнаровский», начало перевода «Слова о полку Игореве».

В собрании «Русской Старины»: «Вадим», «Голова Волынского», «Яков Долгорукий», «Марфа Посадница», «Артамон Матвеев», «Наталья Долгорукая», прозаические заметки, статьи и планы биографий русских писателей на букву «К».

— В письмах к Е. П. Оболенскому — сведения о родственниках К. Ф. Рылеева.

Дочь его, Анастасия, в замужестве Пущина, писала Оболенскому, что, имея восемь человек детей, всю материальную надежду возлагала на издание сочинений отца, но «оно остается без успеха», 3 декабря 1859 г.

Н. Р. Цебриков писал Оболенскому, что в Петербурге умерла сестра К. Ф. Рылеева, Анна Федоровна, «в самой ужасной бедности, в квартире дворника», 24 декабря 1858 г.

— Биографические сведения о К. Ф. Рылееве: Е. И. Якушкин. О Рылееве. Заметки о его бумагах (из «Полярной Звезды», 1862 г.) и Е. П. Оболенский. Воспоминания о К. Ф. Рылееве, — обе статьи в копии в сборнике, 1860—1861 гг., составленном студентом К. К. Сунгуровым.

А. Н. Сутгоф (1801—1872) — Прощальное письмо коменданту Петровского завода Ос. Ад. Лепарскому (при его отъезде Сутгоф задолжал ему 345 руб., которые просил получить с сестры А. Н. Нарышкиной).

В. К. Тизенгаузен (1781—1857) — О нем сообщения А. Е. Розена в письмах к Е. П. Оболенскому и М. А. Бестужеву, 1845—1856 гг.

К. П. Торсон (ум. 1851 г.) — Письмо Торсона к Н. А. Бестужеву из крепости Акши, 24 июня 1837 г.; письмо к нему же помощника корабельного мастера П. Ершова с вопросом о «местопребывании доброго Константина Петровича Торсона», 21 мая 1844 г.

Сочинение Торсона: «Сельско-хозяйственное и географическое описание местности крепости Акши, на берегу реки Окона», 1836 г.

— Сведения об архиве Торсона А. Е. Розен сообщил Е. П. Оболенскому: «Я начал разбирать бумаги покойного Торсона. Начал с его записок о земледелии и механике; нашел читинские бумаги о флоте; он написал пропасть, таблицы и исчисления изумляют меня», 21 января 1859 г. В другом письме Розен сообщает, что сестра Торсона, Екатерина Петровна, собирается отправить в Москву бумаги покойного брата.

С. П. Трубецкой (1790—1860) — Копия отзыва на предложение правительства поместить детей на казенный счет в учебные заведения, от чего отказался.

— Письма: к нему В. А. Муравьевой, рожд. Горяйновой, 1848 г.; его и Е. И. Трубецкой к Н. А. и М. А. Бестужевым, 1846—1855 гг., к М. А. Безобразову, 1854 г.

— Четыре портрета С. П. Трубецкого, рисованных на память А. С. Пушкиным.

Н. И. Тургенев (1789—1871) — В архиве братьев А. И. и Н. И. Тургеневых около пяти тысяч единиц хранения. Укажем некоторые рукописи сочинений Н. И. Тургенева.

— «О суде присяжных», черновой оригинал, 1821 г.; «Записка о свойствах и мере моего участия в тайных обществах», 1826 г.; опровержения на обвинения в Комиссии по расследованию возмущения 14 декабря — «Нечто о барщине»; «Мысли по поводу положения России после Крымской войны и замечания на заключение Следственной комиссии»; «Мысли об организации и порядке работ по улучшению крестьянского состояния»; «Сердечные желания», 1860 г.; «Рассуждение о польском вопросе», 1863 г.; «Мысли о двух заседаниях международного общества освобождения невольников», 1867 г.; «О нравственном отношении России к Европе», корректурные листы, 1869 г.; оригинал книги «La Russie et le russes», извлеченный из бумаг М. М. Сперанского, и др.

— Письма к Н. И. Тургеневу: В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, П. Я. Чаадаева, М. А. Бакунина, И. М. Сеченова, Ф. Гизо.

Письма Н. И. Тургенева: к Николаю I, 1829 г., Александру II, 1857 г., к Герцену, Огареву, к французскому министру финансов при посылке 200 руб. для русских военнопленных, и проч.

— Журнал Н. И. Тургенева, с 1806 по 1827 г.

П. П. Фаленберг (1791—1873) — Письма: к Н. А. и М. А. Бестужевым из села Шушенского Минусинского округа, на 9 листах, с планом своего дома, в красках, с воспоминаниями «об однокашниках из Читинского и Петровского институтов», где жили «под звук унылый (не фортепиано), а кандалов», но где происходили «литературные и музыкальные вечера, продолжение конгрегации, прения, диспуты. . .», от 25 августа 1849 г.; к И. А. Анненкову, 1858 г.

М. А. Фонвизин (1788—1854) — Прошение о разрешении сопровождать жену Н. Д. Фонвизину на минеральные воды в Туринск, 1851 г.

— Письма Фонвизина: к Н. А. Бестужеву (2), 1836 г.; к В. К. Кюхельбекеру, 1845 г.; к Е. П. Оболенскому (8) из Тобольска, 1844—1852 гг.; в этих письмах высказывает мысль, что «основная идея социализма есть истина, и грядущее этой идее принадлежит»; к жене, Наталии Дмитриевне (7), 1853 г.: это — дневник плавания по Каме.

— Письма Н. Д. Фонвизиной (17) к Е. П. Оболенскому, 1840—1847 гг.

— Сочинения: «О коммунизме и социализме» (два списка), «Одно из воспоминаний моей молодости».

А. Ф. Фурман (1795—1835) — Письмо из Кондинска Тобольской губернии, с оправданием во взведенной на него клевете в дурном поведении, причем пишет, что живет у унтер-офицера Уфимцева: «Не имея денег с прибытия моего, пользовался его столом более года без принятия платы; равным образом, во время трудной болезни моей, усердствовавшего мне по возможности как лекарствами, так и собственной услугой».

П. Р. Цебриков (1800—1866) — Письма его (14) к Е. П. Оболенскому, 1858—1861 гг., ценные для характеристики его общественно-политических взглядов.

А. И. Черкасов, барон (1799—1855) — Прошение на имя генерал-губернатора Западной Сибири И. А. Вельяминова, из Березова, о переселении в другое место, так как там «каждый день был ознаменован новыми страданиями», 29 мая 1832 г.; просьба к гражданскому губернатору Тобольской губернии И. Г. Ковалеву выслать ему деньги, полученные от родственников, 30 сентября 1835 г.

Ф. П. Шаховской, князь (1796—1829) — Записная книжка, начинающаяся с записей помещичье-хозяйственного характера, например: «Выговорить, при продаже Фроловского, повара Ларионова с Кондратьевской семьей», а затем относящихся к следствию над декабристами и пребыванию в Петропавловской крепости: «12 ‹марта 1826 г.› очная ставка с Ф. Виз. и Никит. Мур.».

В. И. Штейнгель, барон (1783—1862) — Отношение Л. В. Дубельта, адресованное «поселенцу» Штейнгелю, который «должен жить тихо и скромно, ибо он, Штейнгель, по точной силе законов, подлежал смертной казни», 24 ноября 1843 г.

— Письма к Штейнгелю: А. А. Аракчеева, А. А. Писарева, П. И. Рикорда, бывшего гвардейского офицера А. Шубина, сосланного в Сибирь при Александре I по подозрению в заговоре, 1802 г., М. А. Бестужева, 1849 г.

Письма Штейнгеля: Николаю I, из Петропавловской крепости, 1826 г., в копии, Н. Н. Анненкову, 1851 г., И. А. Анненкову, 1856—1858 гг., М. А. Бестужеву, 1835—1859 гг., М. И. Семевскому, Г. С. Батенькову, 1861 г., П. А Ефремову, Н. Д. Пущиной.

А. П. Юшневский (1786—1844) — Прошение жены Юшневского, Марии Казимировны, из Тульчина, о разрешении ей ехать в ссылку за мужем, 30 июля 1826 г.; проект доклада коменданта Петровского завода С. Р. Лепарского иркутскому губернатору о причинах денежной задолженности М. К. Юшневской местным торговцам, женам декабристов и товарищам ее мужа: «Приехала в 1830 г. в великой нужде. . ., получила в течение семи лет очень малое число денег».

А. П. Якубович (1792—1845) — Прошение сенатору, т. с. П. И. Толстому, с просьбою перевести в Красноярск из села Назимова Енисейской губернии, вследствие «неимоверной дороговизны жизненных припасов».

— Письма к А. П. Якубовичу: А. А. Вельяминова из Батал-Пашинска, 1823 г., А. П. Толстого, 1825 г., Д. В. Давыдова.

Письма Якубовича: прощальное письмо к отцу: «Позабудьте навеки, что у вас был несчастный сын»; письмо к Я. Д. Казимирскому, с просьбой зайти к О. А. Лепарскому для выражения ему благодарности.

— Цены в селе Назимове на продукты, с припиской: «Чтобы мирно жить, нужно 3 ведра в месяц — 42» (рубля).

И. Д. Якушкин (1796—1857) — «Статейный список о государственном преступнике Иване Якушкине, обращаемом на поселение, 6 июня 1836 г.»; «Регистр вещам государственного преступника Ивана Якуш-

кина, отправленного на поселение, 6 июня 1836 г.» (Книг — 98, белья — 112 штук, тулуп — 1, чекмень — 1, панталонов — 3, курток — 3, сапогов — 2, одеял — 2).

Письма его: А. Ф. Бриггену, 1838 г., А. И. Якушкиной, 1838 г., Е. И. Якушкину (7), 1842—1854 гг., Е. Г. Якушкиной, 1856 г., В. И. Якушкину, 1856—1857 гг., И. А. Анненкову, 1856 г.

Кроме документов, относящихся к отдельным декабристам, в архиве Института имеются документы общего порядка, касающиеся следствия над ними, суда и ссылки, как то:

— Руководящие указания генерал-адъютанта Чернышева Комитету по производству следствия, 9 января 1826 г.; производство Верховного суда (список в переплете); рассказ «самовидца» о казни, совершенной 13 июля над государственными преступниками.

Следующие документы были в архиве коменданта Читинской тюрьмы и Петровского завода С. Р. Лепарского (1754—1837):

— Обращение к нему генерала Дибича с предложением занять место коменданта в Нерчинске, «место, представляющее случай обратить на себя особенное внимание государя императора и оправдать высочайшее доверие» (коменданту назначалось 20 тысяч рублей в год); «Список государственным преступникам, содержащимся в Читинском остроге с означением имя ‹sic›, отечества и прозвания», 17 июля 1829 г., подпись С. Р. Лепарского; «Статистические данные о комендантском управлении в Петровском Заводе», 1838 г. (С 1826 г. препровождено было по мятежу 14 декабря — 87 человек, из них отправлено на поселение 55, обратно с фельдъегерем — 1, умер — 1. Состояло налицо — 30, жен преступников — 3, детей — 8. С 1827 по 1838 г. им было прислано из России 354 728 р. 95 коп.; женам — 778 135 руб. 97 коп.).

Среди служебных бумаг Лепарского — инструкций, записок и проч.— представляют интерес записки, адресованные им заключенным, без обозначения имени. — «Прошу, — пишет он одному из них, — ко мне не писать никаких Ремонстраций и Рефлексий; я не для того оставил каждому, чернило и бумагу». В другой записке Лепарский пишет: «Комендант вспрашивает ‹sic› у вас, будете ли вы вперед избегать всяких ссор с NN и по поводу прежней ссоры не заводить новой с ним, так и с прочими. Если даете в том слово, останетесь под арестом в казарме на прежнем положении, и особый часовой от дверей ваших будет снят».

Хотя предлагаемый обзор декабристских материалов, хранящихся в архиве Института, не является исчерпывающим и для полной регистрации их понадобилась бы работа иного характера и объема, но из приведенного видно, насколько эти материалы содержательны. Значительная часть включенных материалов напечатана, но и за теми из них, которые напечатаны в многочисленных периодических изданиях, сборниках и т. п., остается значение первоисточника и памятников жизни, мыслей и настроений первых русских революционеров, героически выступивших на борьбу с самодержавием и крепостничеством.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОРТРЕТЫ ДЕКАБРИСТА А. В. ПОДЖИО

(Из собрания Пушкинского Дома)

Сообщение А. Ю. Вейса

I

До сих пор были известны три портрета А. В. Поджио.

Один из них был опубликован в издании «Декабристы».[1] Это воспроизведение рисунка Питча с оригинала работы Н. А. Бестужева. Еще ранее, сходный с этим портрет печатался в нескольких изданиях воспоминаний доктора Н. А. Белоголового.[2]

Второй из опубликованных портретов Поджио, вероятно с оригинальной фотографии из коллекции В. Я. Адарюкова, известен по фототипии, приложенной к «Запискам А. В. Поджио» в журнале «Голос Минувшего».[3]

Третий портрет помещен в Био-библиографическом словаре деятелей революционного движения в России.[4] В публикации здесь допущена ошибка в определении техники изображения. В собрании Музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) действительно имеется такое изображение (инв. № 520), но это не рисунок, как указано в словаре, а фотография с рисунка карандашом. Эта же ошибка повторена и у Н. М. Ченцова.[5] Где находится подлинник этого рисунка и кем он выполнен, установить не удалось.

Кроме трех вышеупомянутых портретов, имеется еще четвертое изображение А. В. Поджио, запечатлевшее его в камере Петровского завода в лунную ночь. Это — акварель 1830-х годов, приписываемая С. М. Волконским (по семейному преданию) декабристу Н. П. Репину.[6] Она входит в коллекцию С. М. Волконского, хранящуюся во Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина. Опубликована в сборнике «Декабристы».[7]

В этом же сборнике из этой же коллекции воспроизведена другая акварель, также приписываемая Н. П. Репину, в которой изображена камера Волконских на Петровском заводе до прорубки окна.

---

[1] Декабристы. 86 портретов. Пояснительный биографический текст П. М. Головачева. Вступительная статья В. А. Мякотина. Изд. М. М. Зензинова. М., 1906, стр. 196—197.

[2] Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. Изд. 3-е, М., 1898, стр. 84.

[3] Голос Минувшего, 1913, № 1, стр. 136—137. — Фототипия с такой же фотографии помещена в «Воспоминаниях и рассказах деятелей тайных обществ 1820-х годов» (т. I. Общая редакция Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова. М., 1931, стр. 16—17).

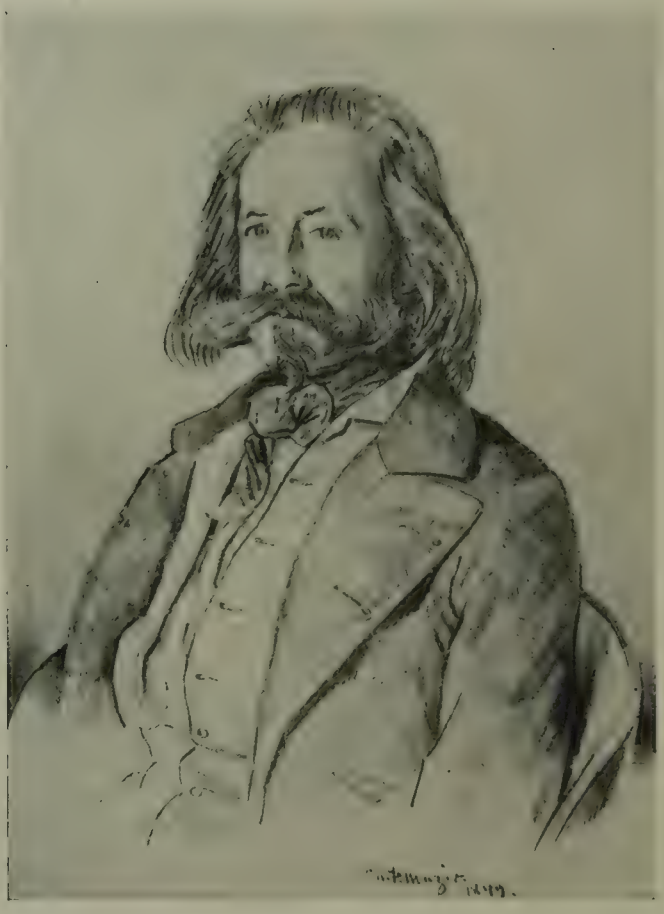
[4] А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. I, ч. 1, до 50-х годов XIX в. М., 1927, стр. 147.

[5] Н. М. Ченцов. Восстание декабристов (библиография). Ред. Н. К. Пиксанова, ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 713, № 4236.

[6] С. М. Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 68 (ср.: Декабристы. Сб. материалов Всесоюзн. Библ. им. В. И. Ленина, Л., 1926, стр. 250).

[7] Декабристы. Сб. материалов Всесоюзн. Библ. им. В. И. Ленина, Изд. «Прибой», Л., 1926, стр. 201.

А. В. ПОДЖИО.
Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1833. (См. № 126).



А. В. ПОДЖИО.
Рисунок К. П. Мазера. 1849. (См. № 127).

И. В. ПОДЖИО.
Дагерротип А. Давиньона. 1845. (См. № 167).

А. В. ПОДКИО.
Фотография Л. Перини. Венеция. 1863. (См. № 238).

Кроме обстановки камеры, на акварели изображены и ее обитатели С. Г. Волконский и М. Н. Волконская.[1] Надо полагать, что художник, зарисовывая личные камеры декабристов, поместил в них именно их постоянных жителей, а не других лиц.

Таким образом, к трем названным выше портретам надо прибавить и рисунок камеры Поджио в лунную ночь, где и изображен ее хозяин А. В. Поджио.

II

Первый из публикуемых здесь неизвестных портретов — акварельный портрет А. В. Поджио [2] — исполнен декабристом Н. А. Бестужевым во время пребывания на Петровском заводе, где, по свидетельству М. А. Бестужева, установились дружественные отношения между Николаем Бестужевым и А. В. Поджио: «В тюремной жизни довольно трудно сказать, с кем брат Николай был не только дружен, но более близок: он был всем нужен, и он был со всеми одинаково близок. Но предпочтительно он сблизился с Трубецким, из женатых, т. е. вне каземата, и с Поджио, в самом каземате, к которому он ходил по вечерам, когда не собирались у него. . .».[3]

Еще в Чите Николай Бестужев перешел от миниатюры к акварельной живописи, сначала «у него дело плохо ладилось, пока не получены были портреты работы нашего знаменитого портретиста Соколова, — пишет М. А. Бестужев. — Брат был поражен его смелостью и бойкостью кисти и, приняв его за образец,[4] всю остальную, без сомнения самую большую, часть своей коллекции и множество портретов вне этой коллекции с наших дам, товарищей и многих знакомых уже рисовал этою методою».[5]

Декабрист А. Е. Розен в своих воспоминаниях также писал, что Н. А. Бестужев занимался акварельной живописью: «он со всех нас снял портреты».[6] Кроме того, по свидетельству того же М. А. Бестужева известно, что братья намеревались «составить по возможности полные биографии всех. . . товарищей, и брат имел намерение приложить их к коллекции портретов, нарисованной им акварелью с изумительным сходством, несмотря, что некоторые из портретов, за спешностью отправления оригиналов на поселение, были сняты в несколько часов».[7]

Дружественные отношения с А. В. Поджио, установившиеся на Петровском заводе, уже приобретенный навык в акварельной живописи и, наконец, намерение запечатлеть всех своих сотоварищей по каземату — все это с несомненностью убеждает в том, что этот портрет выполнен Н. Бестужевым. Ему же приписывает этот портрет и исследовательница творчества Н. А. Бестужева М. Ю. Барановская, хотя считает его за портрет Иосифа Поджио.[8] Последнее неверно. Иосиф до 1834 г. был в заключении в Шлиссельбургской крепости. В Сибирь он попал в 1834 г. и прямо на поселение, а этот портрет, как мы устанавливаем ниже, сделан не позднее 1833 г. Кроме того, иконографические сличения также дают основание считать его портретом Александра, а не Иосифа.[9] Облик Иосифа значительно отличался от облика Александра. Доктор Н. А. Белоголовый, в 1840-е годы учившийся у А. В. Поджио и позже часто с ним встречавшийся, оставил его описание, полностью совпадающее с нашим портретом: «Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденной подвижностью в движениях и живостью характера ясно указывали на его южное происхождение».[10] Ничего общего не имеет этот образ с тем описанием Иосифа, какое оставил тот же Белоголовый: «. . . в нем почти совсем не удержался итальянский тип, он мало имел сходства с братом и, в проти-

---

[1] Декабристы. Сб. материалов Всесоюзн. Библ. им. В. И. Ленина, Изд. «Прибой», Л. 1926, стр. 169.

[2] См. в настоящем издании «Декабристский фонд изобразительных материалов» (пор. № 126, инв. № 3021).

[3] Воспоминания Бестужевых, Изд. Всесоюзн. Общ. политкаторжан и ссыльнопоселенцев, М., 1931, стр. 291.

[4] См.: Декабристский фонд. Портрет Н. Н. Раевского-старшего, пор. № 159, инв. № КП 554. Ср.: М. Ю. Барановская. Художник-декабрист Н. А. Бестужев. Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 29—30.

[5] Воспоминания Бестужевых, М, 1931, стр. 341.

[6] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 157.

[7] Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 321.

[8] М. Ю. Барановская, ук. соч., стр. 47.

[9] См.: Декабристский фонд, пор. № 167, инв. № 529.

[10] Н. А. Белоголовый, ук. соч., стр. 20.

воположность последнему, был высок ростом, широкоплеч и далеко не такой выраженный брюнет».[1]

Датировать абсолютно точно этот портрет не представляется возможным, но есть основания определить более короткий промежуток для датировки. Это 1830—1833 гг. Портрет рисовался на Петровском заводе, следовательно, это могло происходить не раньше конца 1830 г., так как переход декабристов из Читы в Петровский завод состоялся в августе—сентябре 1830 г. В то же время рисунок должен был быть закончен никак не позже 1833 г., так как этот портрет висел на стене кабинета Никиты Муравьева в Петровском заводе уже в 1833 г. Изложенное неоспоримо подтверждается имеющейся в Музее Института акварелью,[2] исполненной А. М. Муравьевым и датированной им 1833 годом, изображающей этот кабинет, где на левой стене можно рассмотреть в верхнем ряду, — первый слева, — интересующий нас портрет А. В. Поджио.

На основании предложенной нами атрибуции портрета, дата и место исполнения его, указанные у Барановской, должны быть соответственно передвинуты с 1840-х годов к началу 1830-х годов.[3]

III

Второй публикуемый здесь неизвестный портрет Поджио относится к серии портретов декабристов, выполненных художником К.-П. Мазером во время его путешествия по Сибири в конце 1840-х—в начале 1850-х годов.[4]

Портрет был приобретен Музеем Института русской литературы 26 января 1939 г. у С. Т. Матеузова в Ленинграде.[5]

Шведский художник Карл-Петер Мазер с 1838 г. около полутора десятка лет работал в России. В Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится карандашный портрет Н. И. Греча (1838 г.) работы Мазера; тогда же художник работал над портретами Ф. П. Толстого, И. А. Крылова, М. И. Глинки, А. Н. Оленина, К. П. Брюллова; в 1839 г. он исполнил портреты А. С. Пушкина, П. В. Нащокина и др., в 1840 г. — портрет Н. В. Гоголя.

Наконец, в конце 40-х—начале 50-х годов Мазер путешествовал по Сибири и исполнил серию портретов декабристов, несмотря на большие трудности, которые чинили художнику власти.

Так, во вступительной статье к изданию «Пушкин и его друзья» Н. С. Зильберштейн приводит «одно из неизданных дел Тобольского полицеймейстера по секретной части 1850 года: „Дело о неразрешении художнику Мазеру писать портрет жены А. М. Муравьева“». «Из этого дела, — пишет исследователь, — видно, что, „прибыв в Тобольск в декабре 1850 года“, Мазер, не предъявив паспорта в полицию, „снимает портрет с жены государственного преступника Муравьева“, а так как государем императором воспрещено „поселенцам из государственных и политических преступников снимать портреты с себя“, то Мазер был вызван в полицию и у него была взята следующая подписка (подлинник по-французски): „Начав портрет-группу г-жи Муравьевой и ее детей, я прекратил его писать, потому что г. Муравьев сказал мне, что г. губернатор выразил ему желание, чтобы он не продолжал этого портрета.

Карл П. Мазер.

Тобольск
17 декабря 1850

Подписку отбирал в должности Тобольского полицеймейстера Ефремов“».[6]

Как бы то ни было, все те трудности и неприятности, которые встречал Мазер в деле портретирования декабристов, в какой-то мере были преодолены, и художник, возвратившись на родину, привез туда целую серию портретов декабристов. Боль-

[1] Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. Изд. 3-е, М., 1898, стр. 26.

[2] См.: Декабристский фонд, пор. № 337, инв. № 3128.

[3] М. Ю. Барановская, ук. соч., стр. 47. — В дате смерти Иосифа Поджио в перечне Барановской явная опечатка: Иосиф умер в 1848 г., а не в 1843.

[4] Даты на портретах декабристов работы К.-П. Мазера дают основание уточнить время пребывания художника в Сибири — это конец 1840-х—начало 1850-х годов, а не середина 1850-х годов, как предполагает Н. С. Зильберштейн. (Н. С. Зильберштейн. Пушкин и его друзья. Изд. Гос Лит. музея, М. 1937, стр. 20).

[5] См.: Декабристский фонд, пор. № 127, инв. № 51664. — Вероятно, был еще вариант этого портрета. См.: Декабристский фонд, пор. № 240, инв. № 40640.

[6] Н. С. Зильберштейн. Пушкин и его друзья. М., 1937, стр. 20; ср. Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 23—26.

шая часть этих портретов хранится в Шведском национальном музее в Стокгольме и в СССР не публиковалась. Четыре же рисунка из этой серии (карандашные портреты Я. М. Андреевича 2-го (?),[1] С. Г. Волконского, П. И. Пущина и И. Д. Якушкина) хранятся во Всесоюзной Библиотеке им. В. И. Ленина, все были опубликованы, а некоторые из них воспроизводились неоднократно.[2]

Публикуемый здесь карандашный портрет А. В. Поджио, подписанный художником и датированный им 1849 годом, является пятым из ныне известных и хранящихся в СССР портретов декабристов работы К.-Н. Мазера.

Мазер не был крупным мастером, и некоторые портреты его работы иногда страдают сухостью и, может быть, недостаточной способностью вскрыть наиболее характерное в портретируемом оригинале. На это указывали как историки искусства, так и литературоведы.[3] Но, отмечая недостатки его творчества, следует обратить внимание на положительные стороны в его работах.

Трудно, конечно, графическими средствами передать всю глубину психологического многообразия человека, и не все художники этого достигали.

Современники, близко знавшие А. В. Поджио, оставили свои впечатления о нем в воспоминаниях и переписке. Интересный образ Поджио дает сын И. Д. Якушкина, Е. И. Якушкин: «Поджио (портрет его очень похож) — итальянец, сохранивший весь жар и все убеждения юношества. Эта пылкость в человеке уже пожилом имеет какую-то особенную прелесть, но грустно становится, когда подумаешь, что такая энергия уже тридцать лет стеснена тюрьмою и ссылкой. Сколько бы пользы она могла принести, ежели бы ей был дан простор».[4]

В портрете А. В. Поджио Мазер изобразил все особенности внешнего облика: длинные волосы и бакенбарды, эспаньолку и усы, галстук и все мятины сюртука; все это им сделано мастерски, но психологическая характеристика образа дана недостаточно полно.

Там же, где удавалось художнику отрешиться от плена натуры, взглянуть более свободно и широко на действительность, — там он, отбрасывая излишние детали, улавливал наиболее существенное в оригинале и создавал образ портретируемого.

Так было с портретом И. Д. Якушкина (1851 г.). Это наиболее удачное из известных нам мазеровских изображений декабристов. В портрете Якушкина найден образ много пережившего изгнанника: большая скорбность и истинная человечность «меланхолического Якушкина» (Пушкин), одного из замечательных гуманистов и деятелей просвещения в Сибири. Недаром именно этот портрет Якушкина получил наиболее широкое распространение: сначала в виде отдельных листов литографии Скино,[5] затем был приложен Герценом к VII книжке «Полярной Звезды», изд. 1861 г., и, наконец, воспроизводился в различных других изданиях.[6]

IV

Третий из публикуемых портретов — фотография (в рост, с дочерью)[7] — сделана в Венеции, вероятно, в самом конце 1863 или, может быть, в начале 1864 г. Датируется фотография на основании пребывания Поджио в это время в Италии. Осенью 1863 г. Поджио впервые попадает в Венецию, сопровождая семью Елены Сергеевны Кочубей (дочери декабриста С. Г. Волконского) в связи с болезнью ее мужа. Об этом свидетельствует Н. А. Белоголовый в своих воспоминаниях: «Вся эта многочисленная компания двинулась в дорогу осенью 1863 года и, добравшись до Венеции устроилась там на зиму. . . Только от этого переселения не вышло никакого толка: чахотка продолжала галопировать, и в декабре пришлось, по совету врачей, переместиться в итальянский городок Нерви, на Средиземном море, а оттуда еще раз

---

[1] Портрет работы К.-Н. Мазера, опубликованный в сборнике Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина (Декабристы, Л., 1926, стр. 73), как портрет Я. М. Андреевича 2-го, вызывает большие сомнения, так как портрет датирован 1850 годом, а Андреевич умер 18 апреля 1840 г. (см.: Алфавит декабристов, Л., 1925, стр. 269).

[2] Библиографию воспроизведений см. по Чеппову.

[3] Н. Н. Врангель. Иностранцы XIX в. в России. Старые Годы, СПб., 1912, июль, стр. 38. — А. И. Мюллер. Иностранные живописцы и скульпторы в России. ГИЗ, М., 1925, стр. 94. — А. Е. Грузинский. К рисункам (Декабристы, Л., 1926, стр. 249). — С. М. Волконский, ук. соч., стр. 102. — И. С. Зильберштейн, ук. соч., стр. 20.

[4] Е. И. Якушкин, Письмо жене, 10 декабря 1855 г. (Декабристы на поселении, Изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1926, стр. 53—54).

[5] См.: Декабристский фонд, пор. № 151, инв. № 23686.

[6] Библиографию воспроизведений см. по Чеппову.

[7] См.: Декабристский фонд, пор. № 238, инв. № 40641.

в местечко Ронго, где больной «Кочубей, муж Елены Сергеевны» и умер ранней весной. Горе жены не знало пределов, и Поджио не решился покинуть ее в таких обстоятельствах, а помог перевезти тело покойного в Россию и остался несколько месяцев в Воронках, чтобы дать привыкнуть молодой вдове к ее положению и чтобы присмотреть первое время за обширным хозяйством».[1]

Вернее всего, что фотография Поджио и его дочери сделана во время пребывания их в Венеции, т. е. в конце 1863 г.

Спустя несколько месяцев после возвращения в Россию, Поджио отправляется во вторую заграничную поездку и поселяется в Женеве. Здесь произошла его встреча с Герценом. Герцен так передает в письме к детям свои впечатления о нем: «. . . утром взошел ко мне очень старый господин, седой и прекрасный, это — П о д ж и о, который был из главных деятелей 14 декабря; точно такой же сохранившийся старец, как Волконский. Он был сослан на 25 лет каторги и теперь исполнен энергии и веры. Я был счастлив его посещением».[2]

Не менее выразительно дан облик Поджио и в письме Герцена к Н. П. Огареву: «Часов в 11. . . явился старец с необыкновенным, величаво-энергическим видом. Мне сердце сказало, что это — кто-то из декабристов. Я посмотрел на него и, схватив за руки, сказал: «Я видел ваш портрет» — «Я — Поджио». . . Этот сохранился еще энергичнее Волконского. . . Господи, что за кряж людей! Иду сейчас к нему!».[3]

Именно эта, данная Герценом, характеристика Поджио совпадает с тем образом, который запечатлен на фотографии.

---

[1] Н. А. Б е л о г о л о в ы й. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, стр. 108.

[2] А. И. Г е р ц е н, Письмо к старшим детям, 1 января 1865 г., Женева (Полн. собр. соч. и писем, ГИЗ, Пб., 1920, XVIII, стр. 4).

[3] А. И. Г е р ц е н — Н. П. Огареву. 2 января 1865 г. (ук. соч., т. XVIII, стр. 5).

ДЕКАБРИСТСКИЙ ФОНД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В МУЗЕЕ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКОГО ДОМА) АКАДЕМИИ НАУК СССР

Составители — А. Ю. Вейс и М. И. Гонтаева

Обобщающий научный труд по иконографии декабристов еще не написан. Богатейшее иконографическое декабристское наследие, хранящееся в фондах музеев, во многом еще остается недоступным зрителю и не введенным в широкий научный обиход. Обследование и изучение изобразительных материалов, в значительной мере сосредоточенных в крупнейших музеях СССР,[1] а частью рассеянных в краеведческих музеях Сибири и в частных собраниях,[2] являются неотложной задачей.

Необходима предварительная дружная работа научных коллективов страны-прежде всего для выявления, научного описания и публикаций материала. Эта предварительная работа поможет написать обоснованное и полное исследование о декабристах-художниках.

Настоящий свод декабристского фонда и публикуемое выше сообщение о портретах Александра Поджио, основанные на изучении иконографического и изобразительного материалов Пушкинского Дома, делают достоянием науки и советской общественности одно из богатейших государственных собраний подобного рода и исправляют некоторые ошибки, вкравшиеся в предыдущие работы на эту тему.

Музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР хранит в своих фондах богатое собрание изобразительных материалов по декабристскому периоду русского революционного движения.

В собрании имеется значительная коллекция портретов виднейших декабристов, их жен и родных, последовавших за ними в ссылку, лиц из их окружения; видов местностей, связанных с пребыванием декабристов в Сибири, а также принадлежавших им памятных вещей.

Особый интерес представляют портреты, выполненные самими декабристами: портреты Н. А. Бестужева, А. А. Бестужева-Марлинского, М. А. Бестужева, С. Г. Волконского, М. С. Лунина, А. З. Муравьева, А. В. Поджио и др.

Некоторые портреты декабристов публикуются впервые — портреты А. В. Поджио работы Н. А. Бестужева и К. П. Мазера, а также ряд фотографий и дагерротипов, представленных редчайшими снимками, сделанными на месте ссылки.

Собрание видов местностей ценно прежде всего как документальное изображение мест ссылки и заключения: острогов Читы и Петровского завода, тюремных камер и жилищ декабристов и их семей на каторге и поселении.

Ценность собрания еще увеличивается тем, что почти все виды сделаны самими декабристами, являясь своеобразным дневником, знакомящим нас с условиями их быта и работы.

Уникальность и социально-историческая ценность этих материалов обязывают к особо тщательному их изучению, но до сего времени систематического исследования в этой области не велось.

Настоящий свод является первым опытом полного описания одного из наиболее ценных собраний декабристского наследия.

---

[1] Музей Института русской литературы Академии Наук СССР, Гос. Истор. музей, Музей революции СССР, Музей революции в Ленинграде, Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина, Гос. Лит. музей.

[2] Например, недавно приобретенное И. С. Зильберштейном собрание портретов декабристов работы Николая Бестужева.

Трудность атрибутирования изобразительных материалов настоящего свода усугублялась отсутствием сколько-нибудь ясного представления о других коллекциях, так как, за редкими исключениями, они нигде не опубликовывались. Это лишало возможности проследить историю исследуемых материалов и сделать сопоставления, необходимые для определения художника и уточнения датировок.

В настоящий свод включены живопись, рисунки, гравюры, литографии, дагерротипы и фотографии.

Собрание фотографий декабристов, довольно обильное количественно, редких или совсем неизвестных портретов заключает в себе сравнительно немного.

Понятно, что непосредственно сделанных с декабристов до события 1825 г. ни дагерротипных, ни фотографических снимков быть не может.

Предпринятое Давиньоном и самими декабристами в сороковых годах изготовление дагерротипных портретов их было пресечено в корне, как это видно из отчета шефа жандармов Николаю I за 1845 г.:

> «Из переписки государственных преступников усмотрено было, что отставной инженер-поручик Давиньон, занимающийся снятием дагерротипных портретов, путешествовал по Сибири и там снимал портреты с государственных и политических преступников. Пересылавшиеся к родственникам портреты поселенцев Поджио, Панова и Волконского, также жены и детей последнего, остановлены в III отделении. . .
>
> «По высочайшему повелению Давиньон был арестован. . . а сибирским генерал-губернатором сообщено, что подобное невнимание к государственным преступникам заслуживает письменного строгого замечания; с тем вместе воспрещено на будущее время государственным и политическим преступникам снимать с себя портреты и предписано, отобрав от них все имеющиеся у некоторых принадлежности дагерротипов и портреты, представить последние в III отделение».

Пять дагерротипов с маркой Давиньона, столь ценные своей документальностью и прекрасной сохранностью, находятся в Музее, — это два портрета Н. В. Поджио, датированные 1845 годом, портрет С. Г. Волконского и его детей Елены и Михаила и портрет Н. А. Панова.

К этой же группе дагерротипов относится, по всей вероятности, и портрет П. А. Муханова, — к сожалению, поврежденный.

Следующее за ними по значению место занимают фотографии декабристов и их близких, сделанные по возвращении их из Сибири: портреты декабристов и их жен, последовавших за ними в ссылку, — Прасковьи Егоровны Анненковой (Полины Гебль), Марии Николаевны Волконской, Александры Ивановны Давыдовой, Елизаветы Петровны Нарышкиной, Натальи Дмитриевны Фонвизиной.

Наиболее ценными в этом разряде фотографий являются снимки подлинные, т. е. сделанные непосредственно с портретируемых лиц, а не переснятые с фотографий.

Установление подлинности снимка, не имеющего ни штампа фотографа, ни других внешних доказательств или свидетельств его подлинности, часто представляет значительные трудности. В коллекции музея имеется ряд фотографий, о которых нельзя с полной доказательностью сказать, являются ли они подлинными или переснятыми. Известно, что в 1850-х годах изготовлением и распространением фотографий декабристов занимался в Москве Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста.[1] Возможно, что некоторые фотографии в нашем Музее именно такого происхождения; много фотографий было, несомненно, у Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, усердно собиравшего портреты своих товарищей по делу 1825 г. По свидетельству анонимного автора заметки в «Русском Архиве»,[2] в 1885 г. коллекция его состояла из 75 портретов. Собирали фотографии и другие декабристы, и лица, к декабризму не причастные. В Музей фотографии поступили, в основном, из собрания М. И. Семевского, из архива С. Г. Волконского, из альбома М. А. Назимова, из коллекции Решко (потомков декабриста В. П. Ивашева).

В перечень фотографий включены и копии с редких или мало доступных портретов как фотографических, так и сделанных художниками; копии же, носящие характер массовых воспроизведений, в перечень не вошли.

В задачу составителей не входила полная библиография публикаций описываемого материала, но первые публикации в большинстве случаев приведены и помещены непосредственно за описанием музейного предмета.

В разделе дагерротипов и фотографий публикации не указываются.

---

[1] См. письма Е. И. Якушкина к И. И. Пущину от 30 марта и от 23 сентября 1857 г. из Москвы (Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 468 и 473).

[2] Русский Архив, 1885, №№ 10—12, стр. 326—327.

Если нами приводится цитата, она следует за источником публикации, причем ссылка на цитируемое сочинение дается в конце цитаты.

Время и способ поступления вещи указываются тогда, когда они известны.

Материалы расположены по следующим разделам:

I. Портреты: а) живопись, рисунки, гравюры и литографии; б) дагерротипы; в) фотографии.

Сюда включены изображения декабристов, а также их жен и родственников, последовавших за ними в Сибирь. При наличии нескольких изображений одного и того же лица соблюдался хронологический принцип. Портреты расположены в алфавитном порядке, шесть же портретов не декабристов, выполненные Н. А. Бестужевым, даны в конце Iа раздела.

II. Группы и события.

III. Виды мест — в хронологической последовательности пребывания в них декабристов.

Варианты, копии и повторения оригинала в другой технике помещены непосредственно за ним, хотя бы и были сделаны позднее.

IV. Памятные вещи — в алфавитном порядке лиц, которым они принадлежали.

Разделы Iа, II, III составлены А. Ю. Вейсом.

Разделы Iб, Iв, IV составлены М. И. Гонтаевой.

В работе по подготовке к печати публикуемого ниже свода принимали участие сотрудники Музея Института русской литературы Е. А. Ковалевская, Н. Н. Фонякова и Н. М. Чернецкая.

I. ПОРТРЕТЫ

а. Живопись, рисунки, гравюры, литографии

1. **Аненков, Иван Александрович** (1802—1878).

П. Смирнов. 1861 (?). По оригиналу О. А. Кипренского 1823 г.

Литография. 26.7×22 (в свету) — № 3807.

Поясной, 3/4 вправо. В мундире с эполетами и накинутой на левое плечо шинели.

Лист обрезан.

(В. Я. Адарюков и Н. А. Обольянинов. Словарь русских литографированных портретов. М., 1916, стр. 72).

2. **Аненков, Иван Александрович** (1802—1878).

И. И. Матюшин. Восходит к портрету работы О. А. Кипренского 1823 г.

Гравюра на дереве. 24.5×15.7 — № 12005.

Погрудный, 3/4 вправо. В мундире с эполетами и накинутой на левое плечо шинели.

На изображении слева внизу: «И. Матюшин».

Под изображением: «Иван Александрович Аненков, с портрета, писанного Кипренским в 1823 г. Дозволено Цензурою. С.-Петербург, 13 февраля 1888 г.».

(Русская Старина, 1888, № 3, стр. 567).

3. **Аненкова, Прасковья Егоровна** (рожденная Полина Гебль). (1800—1876).

Н. А. Бестужев. 1830-е годы.

Бумага, акварель. Овал, 15.2×11.8 (в свету) — № 541.

Ниже пояса, 3/4 влево. В открытом желтом платье и темной кружевной шали. Высокая прическа с бантом, локоны до плеч. На шее крест.

Справа внизу: «N. Bestougeff».

Приобретена в составе коллекции портретов декабристов в 1918 г.

4. **Анненкова, Прасковья Егоровна** (1800—1876).

И. И. Матюшин. С портрета работы Н. А. Бестужева (№ 541, см. пор. № 3).

Дерево, клише. Овал, 15.2×12.1 — № 54053.

Ниже пояса, 3/4 вправо. В открытом платье и кружевной шали Высокая прическа с бантом, локоны до плеч. На шее крест.

Слева внизу (зеркально): «И. Матюшин».

На обороте доски — вдавленный штамп: «Mousty. Paris».

(Русская Старина, 1888, № 5, стр. 292—293).

5. **Анненкова, Прасковья Егоровна** (1800—1876).

И. И. Матюшин. С портрета работы Н. А. Бестужева (№ 541, см. пор. № 3).

Гравюра на дереве. Овал, 25×15.7 — № 12006.

Ниже пояса, 3/4 влево. В открытом платье и темной кружевной шали. Высокая прическа с бантом, локоны до плеч. На шее крест.

Под изображением: «Рисов. Н. А. Бестужев. Прасковья Егоровна Анненкова, рожденная Гебль. 1800—1876». «Дозволено цензурою. СПб., 21-го января 1888 г.».

(Русская Старина, 1888, № 5, стр. 292—293).

6. **Батеньков, Гавриил Степанович** (1793—1863).

Г. И. Грачев. По фотографии 1850-х годов (№ 22829, см. пор. № 173).

Дерево, клише. 14.7×11.8 — № 54054.

Поясной, 3/4 вправо. В сюртуке, со скрещенными руками. На столе овальный портрет дочери С. Г. Волконского — Елены.

На обороте доски — вдавленный штамп: «Mousty. Paris».

(Русская Старина, 1889, № 8, стр. 225).

7. **Батеньков, Гавриил Степанович** (1793—1863).

Г. И. Грачев. По фотографии 1850-х годов (№ 22829, см. пор. № 173).

Гравюра на дереве. 24.5×15.5 — № 12016.

Поясной, 3/4 влево. В сюртуке, со скрещенными руками. На столе овальный портрет дочери С. Г. Волконского — Елены.

Под изображением: «Гавриил Степанович Батенков, сотрудник Сперанского, род. 25 марта 1793 г. † 29 октября 1863 г.». «Дозволено цензурою. СПб., 16 февраля 1889 г.».

(Русская Старина, 1889, № 8, стр. 225).

«Он ‹Г. С. Батеньков› был возвращен из ссылки, как и прочие оставшиеся в живых декабристы, и дожил свой век в Калуге. Здесь Елена Сергеевна его посетила незадолго до его смерти. До конца дней своих хранил он память о ней. Может быть, в каком-нибудь иллюстрированном издании вам попался портрет Батенкова: он сидит у стола, и на столе женский портрет, — это Елена Сергеевна».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Изд. «Начала», Пб., 1922, стр. 87.

8. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).

Неизвестный художник. ‹1824›.

Бумага, акварель. Овал, 14×12 — № 212.

Погрудный, 3/4 влево. Темные волосы, небольшие усы. В военном мундире и синей шинели с меховым воротником. Правой рукой в белой перчатке придерживает полы шинели.

На обороте картона, на который положен рисунок, — надпись чернилами: «Александр Марлинской».

Дата написания портрета определяется подписью рукою С. Н. Шубинского под деревянной гравюрой (№ 32110, см. пор. № 9).

9. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Ю. Шюблер. По акварельному портрету работы неизвестного художника 1824 г. (№ 212, см. пор. № 8).
Гравюра на дереве. Овал, 16.1×9.9 — № 32110.
Погрудный, 3/4 влево. В военном мундире и шинели с меховым воротником. Правой рукой в белой перчатке придерживает полы шинели.
Под изображением рукою С. Н. Шубинского: «А. А. Бестужев (Марлинский). С акварельного портрета, сделанного в 1824 г. и принадлежащего его сестрам».
Полное сходство с № 34496 (см. пор. № 10).
[«Аммалат-Бек». Кавказская быль. Сочинение А. А. Марлинского (А. А. Бестужева). Изд. А. С. Суворина (Дешевая Библиотека, № 19, СПб., 1885)].

10. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Ю. Шюблер. По акварельному портрету работы неизвестного художника 1824 г. (№ 212, см. пор. № 8).
Гравюра на дереве. Овал в четыреугольнике, 16.4×13.2 — № 34496.
Погрудный, 3/4 влево. В военном мундире и шинели с меховым воротником. Правой рукой в белой перчатке придерживает полы шинели.
Слева внизу на изображении: «Ю. Шюблер».
Полное сходство с № 32110 (см. пор. № 9).

11. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Н. А. Бестужев. 1828.
Бумага, акварель. 15.3×13 (в свету) — № 697.
Погрудный, 3/4 влево. Черные волосы и небольшие усы. В белой рубашке с черным галстуком-бантом и бледнорозовых помочах.
Портрет сделан Н. А. Бестужевым, вероятно, в 1828 г. по памяти и впоследствии, в 1869 г., был подарен М. А. Бестужевым М. И. Семевскому.

16 июня 1828 г. А. А. Бестужев писал братьям в Читу из Якутска: «Видел портрет, нарисованный тобою, почтенный Николай, и толпа воспоминаний наполнила сердце. Если можно, сделай мой: усы вниз и без бакенбарт».

М. И. Семевский. Александр Бестужев в Якутске. Неизданные письма его к родным. 1827—1829. (Русский Вестник, 1870, V, стр. 236).

12. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
П. П. Матюшин. С акварельного портрета работы Н. А. Бестужева 1828 г. (№ 697, см. пор. № 11).
Дерево, клише. 15×12 — № 54059/1.
Погрудный, 3/4 вправо. В рубашке с галстуком бантом и помочах.
Слева внизу (зеркально): «П. Матюшин».
На обороте доски — вдавленный штамп: «Mousty. Paris».
(Русская Старина, 1889, № 10, стр. 113).

13. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
П. П. Матюшин.
Факсимиле к портрету № 54059/1 (см. пор. № 12).

Дерево, клише. 32×9.8 — № 54059/2.
Факсимиле (зеркально): «Александр Бестужев».

14. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
И. И. Матюшин. С портрета работы Н. А. Бестужева 1828 г. (№ 697, см. пор. № 11).
Гравюра на дереве. 25.2×17.2 — № 12021.
Погрудный, 3/4 влево. В светлой рубашке с черным галстуком бантом и помочах.
На изображении справа внизу: «И. Матюшин». Под изображением — факсимиле: «Александр Бестужев». Ниже: «Дозволено цензурою. СПб., 29 декабря 1887 г.».
(Русская Старина, 1889, X, 113).

«Портрет А. А. Бестужева, здесь приложенный, исполнен с оригинала, с акварели, подаренной М. И. Семевскому братом Марлинского, Михаилом Александровичем Бестужевым (декабристом), в 1869 г. С этого самого портрета исполнена была, в начале 40-х годов,[1] гравюра на стали, приложенная к альманаху, изданному Смирдиным: „Сто русских литераторов", — тогда лишь накинута была гравером бурка на плечи А. А. Бестужева; это не спасло, однако, портрет: по особому распоряжению он был изъят из книги и лишь многие годы спустя появился на книжном рынке и затем в разных изданиях».

(Русские деятели в портретах, 3-е собрание. Изд. «Русской Старины», СПб., 1889, стр. 88).

15. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
П. Губарев. По портрету работы Н. А. Бестужева 1828 г. (№ 697, см. пор. № 11).
Бумага, карандаш, тушь. 18.4×14.2 — № 6091.
Погрудный, 3/4 влево. Темные волосы и небольшие усы. В белой рубашке, темном галстуке и помочах.
Справа внизу: «П. Г.» Ниже: «П. Губаре. . .».

16. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник. 1830-е годы.
Бумага, акварель, белила. 15.1×9.8 — № 206.
Погрудный, 3/4 вправо. В синем сюртуке, коричневом полосатом жилете, в белой рубашке и синем клетчатом галстуке. На голове синяя фуражка.
Слева внизу под рисунком чернилами: «А. А. Бестужев» (первые шесть букв несколько срезаны).
(Воспоминания Бестужевых, Изд. Всесоюзн. Общ. политкаторжан, и ссыльно-поселенцев, М., 1931, стр. 111).

17. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник. 1828—1837.
Холст, масло. 13.6×11.5 — № КП 306.
Погрудный, 3/4 влево. Темные волосы, небольшие усы. С белым отложным воротником, в бурке.

18. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник, 1830-е годы.
Гравюра на стали. 23×16 — № 45842.
Погрудный, 3/4 влево. В бурке.
Под изображением — факсимиле: «Александр Бестужев».
(Сто русских литераторов, т. I, СПб., 1839).

[1] Гравюра на стали (см. пор. № 18) уже была выполнена к концу 1830-х годов, так как альманах «Сто русских литераторов», т. I, вышел в 1839 году.

«Портрет А. А. Б‹естужев› прислал свой с Кавказа. Смирдин пришел и выпросил для издания. Бурку я накинула. Делали в Лондоне, прислали. Я увидела факсимиле. — Смотрите, — говорила я Смирдину, — достанется вам. — Между тем, разослали объявления о том, что подписчики сочинений получат и портреты. Вышел первый том Ста Русских Литераторов. Государь с разводу приехал к Мих. Павл., был взбешен. Увидал, развернул. Полевой, Свиньин, Зотов, все они в халатах, один Давыдов в мундире изображен, накопец, Бестужев. „Его развесили везде, а он хотел нас перевешать!“. Жандармы схватились. Ко мне требование об уничтожении. Я было сопротивляться, что не мне уж публику обманывать, нет. Пошли в кладовые вырывать. Представила 900 экз. по простоте. Все они потом проданы III отд‹елением› в Гостиный двор. А надо было мне только 96 отдать. Проста была. Переплетчик не так прост, он украл 70 экз. 1-й части, да на ярмарке и продал. Портретов было сделано 2000 экз.».

Рассказы Е. А. Бестужевой (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 428).

«Получен грозный высочайший запрос, кто осмелился пропустить портрет Бестужева. . . Книга подписана мною, но портрет пропущен в III отделении собств‹енной› канцелярии государя. Неизвестно, чем кончится суматоха».

А. В. Никитенко. Дневник (запись от 15 марта 1839 г.).

19. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник.
Бумага, тушь. Овал, 13×9.5 (в свету) — № 6092.
Погрудный, ³/₄ влево. Небольшие усы. Белый воротник. Одет в меховую бурку.
Справа вшизу: «М».

20. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник.
Бумага, тушь. 17×13.7 — № 6093.
Погрудный, ³/₄ влево. Темные волосы и небольшие усы. В бурке и белом воротнике.
Внизу чернилами: «18 февраля 1841».

21. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник.
Литография. Овал, 22.5×16.1 — № 10246.
Погрудный, ³/₄ вправо. В бурке.
Под изображением: «Лит. В. Бахман».
Факсимиле: «Александр Бестужев»; «Alexandre Bestoujew». (Альбом русских писателей, Изд. Н. Н. Полевого, М., 1860).

22. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).
Неизвестный художник.
Холст, масло. 66.5×49.3 — № 11612.
Погрудный, ³/₄ влево. В темном халате с красным воротником и белой рубашке.
На обороте портрета наклейка с надписью чернилами: «Настоящий портрет прислан в дар Казанской Городской Публичной библиотеке от Василия Аксентьевича Унженина, как значится в инвентарной книге Библиотеки. В инвентарную книгу портрет записан 27-го июня (ст. стиля) 1885 года под № 5437. В печатной систематический каталог Библиотеки внесен под № 6424 с пояснением: „А. Марлинский (Бестужев). Поясной. Масл. кр., в рамке“. (См.:

„Первое дополнение к систематическому каталогу русских книг Казанской городской библиотеки" г. Казань, 1890, стр. 171)».

Внизу: «Зав. Биб. Дм. К.», «20 июня 1926 г.».

Дар Центральной имени В. И. Ленина (бывшей Второва) библиотеки Татарской Автономной ССР 8 октября 1928 г.

23. **Бестужев-Марлинский, Александр Александрович** (1797—1837).

Р. Вильчинский. 1835.

Миниатюра на слоновой кости. Овал, 8.5×6.8 (в свету) — № КП 6157.

Погрудный, 3/4 влево. В синем мундире, расшитом на груди шнурами и галунами.

Слева по овалу: «p. R. Wilizynski 1835».

24. **Бестужев, Михаил Александрович** (1800—1871).

Н. А. Бестужев. 1830-е годы.

Картон, масло.[1] 21.1×18.2 (в свету) — № КП 6042.

Поясной, 3/4 влево. В белой рубашке, в черном жилете и берете.

(Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 52).

25. **Бестужев, Михаил Александрович** (1800—1871).

Г. И. Грачев. С портрета работы Н. А. Бестужева (№ КП 6042, см. № 24).

Дерево, клише. 14.8×11.8 — № 54060.

Погрудный, 3/4 вправо. В жилете и берете.

Справа внизу (зеркально): «Грачев Рис. и Гр.». На обороте доски — вдавленный штамп: «Pierron».

26. **Бестужев, Михаил Александрович** (1800—1871).

Г. И. Грачев. С портрета работы Н. А. Бестужева (№ КП 6042, см. № 24).

Гравюра на дереве. 23.5×15.5 — № 12023.

Погрудный, 3/4 влево. В жилете и берете.

Слева внизу на изображении: «Грачев Рис. и Гр.». Под изображением: «Михаил Александрович Бестужев † 21 июня 1871 г. в Москве». «Дозволено цензурою 23 февраля 1882 г.».

(Русская Старина, 1882, № 5, стр. 289); Русские деятели в портретах. 2-е собрание. Изд. «Русской Старины», СПб., 1886, стр. 84.

27. **Бестужев, Николай Александрович** (1791—1855).

Неизвестный художник. Конец 1810-х годов.

Бумага, акварель. 8×7.2 — № 1856.

Погрудный, 3/4 влево. В форме 19-го флотского экипажа. На эполетах цифра «19».

(Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 27).

28. **Бестужев, Николай Александрович** (1791—1855).

Автопортрет. 1830-е годы.

Картон, масло. 23×19.7 (в свету) — № КП 6043.

Изображен рисующим портрет брата Михаила (№ КП 6042, см. № 24).

---

[1] В работе М. Ю. Барановской «Художник-декабрист Н. А. Бестужев» (Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 45) техника этой работы указана неверно: портрет исполнен маслом, а не акварелью.

Поясной, 3/4 вправо. В белой рубашке и темном жилете, пестром галстуке. В левой руке держит портрет Михаила, в правой — двусторонюю кисть.

(Советское Искусство, 1925, № 9, стр. 17; Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 33).

У М. Ю. Барановской (ук. соч., Приложение I, пор. № 9, стр. 44) вместо «масло» ошибочно указано «акварель».

29. **Бестужев, Николай Александрович** (1791—1855).
И. И. Матюшин. По автопортрету (№ КП 6043, см. пор. № 28).
Дерево, клише. Овал, 15×12 — № 54061.
Погрудный, 3/4 влево. В рубашке с галстуком и жилете.
Слева внизу на изображении (зеркально): «И. Матюшин».
Под изображением — факсимиле (зеркально): «Н. Бестужев».
На обороте доски — вдавленный штамп: «Mousty. Paris».

30. **Бестужев, Николай Александрович** (1791—1855).
И. И. Матюшин. По автопортрету (№ КП 6043, см. пор. № 28).
Гравюра на дереве. Овал, 25.2×16 — № 12025.
Погрудный, 3/4 вправо. В белой рубашке с галстуком и жилете.
Справа внизу на изображении: «И. Матюшин».
Под изображением — факсимиле: «Н. Бестужев».
«Дозволено цензурою. С.-Петербург, 30 октября, 1890 г.».
«Экспедиция заготовления государственных бумаг».

31. **Бестужева, Елена Александровна** (1792—1874). Сестра декабристов Бестужевых.
В. Погонкин. 1829.
Литография. Овал, 21.5×18 — № 6094.
Поясной, 3/4 влево. В темном платье с белым воротником, на левом плече шаль.
Слева внизу карандашом: «Рис. с нат. на камне».
Справа внизу на камне: «В. Погонкин. 18 $\frac{17}{\text{—}}$ 29 года». (Цифра в знаменателе, указывающая месяц, срезана).

Е. А. Бестужева вела дела по изданию сочинений своего брата, Александра Марлинского; в 1847 г. приехала с сестрами Марией и Ольгой к братьям в Селенгинск Иркутской губ., после амнистии 1856 г. переехала в Москву.

Декабристы М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири. Вып. I. Селенгинский период 1839—1841. Ред. и примеч. М. К. Азадовского. Иркутск, 1929, стр. 32—33.

32. **Бечаснов, Владимир Александрович** (1802—1859).
Н. П. Репин. 1827—1830.
Бумага, акварель. 13.5×20.2 — № 3119.
В рост, со спины. В сером армяке, шароварах и высоких сапогах. Справа две фигуры.
Под рисунком: чернилами слева «Бечаснов»; справа: «Читинская прислуга».
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком «183‹5› года». Надписи сделаны на писчей бумаге.
(Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 161).

33. **Борисов, Петр Иванович** (1800—1854).
А. Скино. 1858.

Литография. 36.2×27.3 — № 12906.

Ниже колен, 3/4 влево. Сидит у стола, облокотившись на него правой рукой.

«Исполнена в 1860 гг. по заказу Матвея Ивановича Муравьева-Апостола» (см.: Ченцов, стр. 698). Тот же портрет ошибочно указан Шильдером в его сочинении «Николай I» (том I, стр. 453) — как портрет другого декабриста, Н. В. Басаргина.

В книге: «Декабристы. 86 портретов. (Изд. М. М. Зензинова, М., 1906) в подписи под портретом Петр назван Андреем (стр. 48—49).

«Евгений ‹сын декабриста И. Д. Якушкина› путешествует по Смоленской губернии. . . За его отъездом литографическое заведение перешло ко мне, и вы по нынешней посылке увидите, что оно не праздно проводит время; к святой будут готовы П. И. Борисов и С. Г. Волконский».

В. И. Якушкин — И. И. Пущину. 14 марта 1858 г., Москва (Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 477).

34. **Бригген, фон-дер, Александр Федорович** (1792—1859).

Неизвестный художник. С акварельного портрета Тейха, принадлежавшего В. Я. Адарюкову.

Литография. 30.5×20.8 — № 989.

Погрудный, 3/4 влево. В мундире лейб-гвардии Измайловского полка, с эполетами полковника, с двумя орденами и медалями.

Слева внизу: «Печ. в лит. А. Мюнстера».

Приложена этикетка с надписью чернилами рукою А. Е. Розена: «Александр Федорович Фон-дер Бригген декабрист. Смотри книгу Н. И. Тургенева „La Russie et les Russes“, Bruxelles, 1847. Часть I, стран. 234—241». Приписка чернилами: «Рука барона Розена».

(Н. К. Шильдер. Николай I. СПб., 1903, стр. 457).

(А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. I, ч. 1. М., 1927, стр. 27).

35. **Бригген, фон-дер, Александр Федорович** (1792—1859).

Во время следствия над декабристами.

А. А. Ивановский. 1826.

Бумага, чернила, перо.

Погрудный, ½ влево. Без усов и бороды, с бакенбардами.

Под изображением внизу карандашом рукою Б. Л. Модзалевского: «Фон-дер Бригген».

На обороте чернилами: 1) «Очная ставка нечитана. 2) О вальховском можно послать».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (№ 9294 — III б. 72, л. 13).

36. **Бурцов, Иван Григорьевич** (1794—1829).

Лубок неизвестного художника. 1833.

Раскрашенная гравюра. 37.2×26.4 — № КП 1999.

На коне, в рост 3/4 влево, с шашкой наголо. В генеральском мундире с эполетами и лентой через плечо. В треугольной шляпе с плюмажем. В глубине видны ряды пеших и конных войск.

Под изображением: «Генерал Майор Бурцов в сражении под Вейбургом Против Турок где он Кончил Славно жизнь Свою 1829 года Твой Геройския дела Россия помнить вечно будет Исам Вейбурга где Смерть Твоя была Тебя во век Он Незабудет» Ниже: «Гравировать Дозво. Цензор П. Снегирев 1833-го Г. Сентября 15 дня».

(Орфография оригинала сохранена).

37. **Волконская, Мария Николаевна** (рожденная Раевская) (1805—1863).
Эрп. По портрету П. Ф. Соколова 1821 г.
Литография. Овал, 17.9×14.5 (в свету) — № 4988.
Погрудный, ³/₄ влево. Открытое платье; кружевной шарф охватывает шею, прикрывает плечи и грудь. На голове легкий тонкий шарф.
На изображении справа, над левым плечом: «Соколов 1821». Внизу под изображением: «Oeri lith. Lith. de I. Velten».
Дар Н. Е. Машковцева, 30 VII 1928.
(В. Я. Адарюков и Н. А. Обольянинов. Словарь русских литографированных портретов. М., 1916, стр. 182).

38. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Неизвестный художник.
Холст, масло. 52×68 (в свету) — № КП 553.
Поясной, ³/₄ вправо. Крутые локоны окружают лоб. В белом открытом платье. На плечи накинут тонкий кружевной шарф.
(Русские портреты XVIII—XIX столетий, том IV, стр. 131; Альбом Пушкинской юбилейной выставки в С.-Петербурге, май 1899 г. М., 1899, табл. 22).

39. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
З. А. Волконская. 1825.
Бумага, карандаш. 8×7.8 — № 3288.
Оплечный, ½ влево.
В платье с открытой шеей; гладко причесанные вьющиеся волосы, с небольшим шиньоном. Рисунок сделан на листе бумаги неправильной формы, склеенном с другим листком, на котором пририсованы часть прически, плечо и фон.
На обороте чернилами рукою М. С. Волконского: «Portrait de ma Mère, fait par la tante Zénéide Wolkonsky en 1825. M. W.» (Портрет моей матери, сделанный теткой Зинаидой Волконской в 1825 г. М. В.).

40. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863), с сыном Николаем.
В. Унгер. С портрета П. Ф. Соколова 1826 г.
Офорт. Овал, 23×15 (в свету) — № КП 578.
Ниже пояса, прямолинейный. Одета в темное платье. На голове белое покрывало, из-под которого видны локоны. На коленях держит ребенка.
Под изображением слева: «С акварели Соколова, 1826 «Грав. В. Унгер в Вене». Справа: «D'après une aquarelle par Sokoloff (1826) gravé par W. Unger à Vienne».
(Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского, СПб., 1904, стр. 1—2).

«Остался прелестный портрет работы Соколова, писанный как раз в это время, перед отъездом Марии Николаевны: с белым покрывалом на голове, в синем платье, с шитыми золотом рукавами, держит она, грустная, своего первенца на коленях. Один из популярнейших портретов того времени, много раз воспроизведенный, и это не помешало одному иллюстрированному журналу во время войны отпечатать его с надписью: „Тип галицийской крестьянки". Оригинал принадлежал моей родной тетке Елене Сергеевне Рахмановой и нахо-

дился до революции в ее имении Вейсбаховка Прилукского уезда Полтавской губернии».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 38.

41. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863), в Чите.

Н. А. Бестужев. 1828.

Цветная автотипия. 14×10.2 (в свету) — № 34556.

Поясный, ¾ влево. Сидит за столом, покрытым красной скатертью, опершись левой рукой на стол. Прическа пышная, в буклях и локонах. Одета в черное платье с кружевным двойным воротником. В окно виден тын острога, часовой и полосатая будка; на стене портрет отца Волконской, Н. Н. Раевского.

Местонахождение подлинника этого портрета не известно.

(Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского, СПб., 1904, стр. 67—69).

«У меня было несколько портретов Марии Николаевны в ту эпоху, — преимущественно акварели работы декабриста Николая Бестужева. В особенности один поражает своей мечтательной прелестью. Облокотившись на стол с красной скатертью, сидит она у раскрытого окна, в черном платье, подперев щеку рукой; широкие у плеч рукава, большой на плечах белый батистовый с прошивками воротник, волосы, как во времена Евгения Онегина, собраны на маковке, а над ушами спадают локонами. В окно виден высокий мачтовый тын, около тына полосатая будка и рядом с ней — с ружьем, в кивере часовой; за тыном крыша. . . Читинского острога. За спиной княгини, на стене висит портрет отца ее в генеральском сюртуке — тоже работы Бестужева, копия с Соколова (и этот портрет отца ее тоже был у меня) <см. пор. № 159>. . . Я не могу передать впечатления великой печали, которая дышит в этой маленькой картинке. Но всякий раз, как я смотрел на нее, мне слышались слова одного ее письма из Читы: „Во всей окружающей природе одно только мне родное, — трава на могиле моего ребенка“».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 64—65.

42. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863), в Чите.

Н. А. Бестужев. 1828—1830.

Бумага, акварель. 17.8×13.7 (в свету) — № КП 556.

Поясной, ¾ влево. Сидит за столом, покрытым красной скатертью, опершись левой рукой на стол. Прическа пышная, в буклях и локонах. Одета в черное платье с кружевным двойным воротником. В окно виден тын острога.

43. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).

В. Унгер. С портрета Гордиджиани 1873 г.

Гелиогравюра. Овал, 27.7×19.6 — № 34553.

Ниже пояса, ¾ влево. В старости. В белом шарфе.

Под изображением: «С портрета работы Н. Гордиджиани. Грав. В. Унгер. Княгиня Мария Николаевна Волконская».

(Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского, СПб., 1904, фронтиспис).

«„Говорящие глаза“, — сказал в своих „Записках“ барон Розен; что-то дальнее и глубинное „говорит“ в последних ее портретах. Это прекрасно передал известный итальянский портретист Гордиджиани в своем посмертном портрете, воспроизведенном при „Записках“ княгини Марии Николаевны. Портрет этот писался во Флоренции в 1873 г. по фотографиям и, можно сказать, под диктовку моего отца, который видел за спиной художника. Помню, как писались эти портреты деда и бабушки; меня, мальчика, отец водил в мастерскую. Гордиджиани был сыном известного композитора популярнейших в свое время

М. Н. ВОЛКОНСКАЯ.
Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830. (См. № 42).

романсов. Мой отец, обладавший прекрасным голосом и отлично певший, гуляя по мастерской, услаждал слух художника песнями его отца, в то время как тот рисовал его родителей. В особенности одну песенку любил я: „Ah, tempi passati non tornano piu. . .“ (Ах, прошлое время назад не вернешь. . .). Через много, много лет я снова услышал эту песню в устах дочери живописца, известной певицы Джульетты Гордиджиани. . . Портреты были в нашем доме на Сергиевской в Петербурге: где сейчас, не знаю. . .».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 128—129.

44. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).

В. Унгер. С миниатюры Изабэ 1814 г.

Гелиогравюра. Овал, 11.8×8.8 (в свету) — № КП 579.

Погрудный, ¾ влево. Вьющиеся волосы откинуты со лба и зачесаны на виски. Небольшие усы загнуты вверх. Щеки прикрыты высоким белым воротничком. В вицмундире с эполетами и накинутой шубе. На груди знаки отличия.

На изображении слева «Isabey. 1814».

(С. Г. Волконский. Записки. СПб., 1901).

«Из молодых портретов есть известная, во всех изданиях воспроизведенная, миниатюра Изабэ: в полуоборот, плечом вперед, с прядью курчавых русых волос на лбу, смотрит он голубыми глазами и правой рукой через грудь придерживает меховую шинель на левом плече, указательный палец в белой перчатке продет в золотую петлицу шинели. Этот красивый портрет, сделанный во время Венского Конгресса, остался в моей квартире в Риме. . .».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 101.

45. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).

А. А. Ивановский. 1826.

Бумага, карандаш. 14×8.6 (в свету) — № Вр. 5.

Волконский на допросе. ½ влево. В мундире без эполет.

Внизу карандашом: «Генер. Майор кн. Волконский».

(Музей Революции, сб. I, Пгр., 1923, стр. 69).

46. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).

Н. А. Бестужев. 1830-е годы.

Бумага, акварель. 15.8×12.3 (в свету) — № КП 555.

Погрудный, ¾ вправо. Волосы зачесаны вверх; с усами. В арестантской куртке, высокий воротник которой расстегнут.

(Декабристы. Сб. материалов Всесоюзн. Библ. им. В. И. Ленина, Л., 1926, стр. 25).

«Из раннего сибирского периода есть два портрета ‹С. Г. Волконского› работы Николая Бестужева в арестантском халате и более поздний портрет шведского художника Мазера. . .».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 102.

47. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).

А. Скино. 1858. По фотографии 1856—1858 г.

Литография. 36.2×27.7 — № 23611.

Ниже колен, ¾ вправо. В старости. После 1856 г. Сидит, опершись левой рукой на палку, с шапкой в правой руке.

«Евгений ‹сын И. Д. Якушкина› путешествует по Смоленской губернии. . . За его отъездом литографическое заведение перешло ко мне, и вы по нынешней посылке увидите, что оно не праздно проводит время; к святой будут готовы П. И. Борисов и С. Г. Волконский».

В. И. Якушкин — И. И. Пущину. 14 марта 1858 г., Москва (Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 477).

48. **Вольховский, Владимир Дмитриевич** (1798—1841).
Неизвестный художник.
Бумага, цветной карандаш. 12.5×10.2 (в свету) — № КП 356.
Погрудный, 3/4 влево. Волосы зачесаны на лоб и на виски. Одет в лицейский мундир с красным стоячим воротником.

49. **Вольховский, Владимир Дмитриевич** (1798—1841).
Неизвестный художник. 1830-е годы.
Холст, масло. 42.5×34.2 (в свету) — № 5338.
Погрудный, 3/4 влево. Темные волосы, небольшие висящие книзу усы. В мундире с серебряными эполетами, с аксельбантами, в орденах, с красной лентой через плечо.
Поступил из бывшего Александровского лицея в 1926 г.

50. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
Неизвестный художник. 1825 (?).
Картон, карандаш, сепия, белила. 17.9×13.1 — № КП 1042.
Погрудный, 3/4 влево. В офицерском мундире, с эполетами и орденами.
Сходен с № 13204 (см. пор. № 51).

51. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
К. Я. Афанасьев. 1825.
Гравюра на стали. 22.3×15.8 — № 13204.
Погрудный, 3/4 влево. В офицерском мундире, с эполетами и орденами.
Под изображением: «Ф. Н. Глинка».
Сходен с № КП 1042 (см. пор. № 50).

52. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
К. Беггров. По гравюре К. Афанасьева 1825 г.
Литография. Овал, 38×49.5 — № 13203.
Поясной, 3/4 влево. Волосы зачесаны на лоб и на виски. В офицерском мундире с орденами.
Под изображением справа: «Lithog. de Beggrow. Persp. Nevs. № 25».

53. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
А. И. Лебедев. По гравюре К. Афанасьева 1825 г.
Литография. 22×13 — № 32247.
Погрудный, 3/4 влево. В мундире с эполетами и орденами.
Слева внизу на изображении: «Лебедев».
Под изображением: «Ф. Н. Глинка. С гравированного портрета К. Афанасьева 1825 г. Дозволено цензурою. С.-Петербург, 29 марта 1880 г. Печатано в литографии А. Э. Мюнстера. Мойка, 40».

54. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
Неизвестный художник. Восходит к гравированному портрету К. Афанасьева 1825 г.
Гравюра на дереве. 21.5×17.2 — № 32246.
Погрудный, 3/4 влево. В офицерском мундире с эполетами и орденами.

55. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
И. И. Матюшин.
Гравюра на дереве. 20×14.6 — № 32249.
Погрудный, ³/₄ вправо. Пожилой. В мундире, с лентой, звездой и орденами.
Справа внизу: «И. Матюш. . .».
Под изображением внизу: «Ф. Н. Глинка, известный писатель, † 11 февраля. (Рисовал П. Ф. Борель)».
Сходен с № 13205 (см. пор. № 56).
(Всемирная Иллюстрация, 1880, № 583, стр. 221).

56. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
И. И. Матюшин.
Гравюра на дереве. 13.7×10.2 — № 13205.
Поясной, ³/₄ вправо. Пожилой. В мундире с лентой, звездой и орденами.
Справа внизу: «И. Матюш. . .».
Под изображением: «Ф. Н. Глинка, поэт. По поводу 25-летия со дня смерти».
Сходен с № 32249 (см. пор. № 55).

57. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
Ю. Шюблер.
Гравюра на дереве. 13×11.8 — № 32250.
Погрудный, ³/₄ влево. В старости. В темном сюртуке с орденом на шее.
Под изображением: «Федор Николаевич Глинка (по поводу сотой годовщины его рождения). С современного портрета грав. Шюблер».
(Нива, 1888, № 31, стр. 761).

58. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
Э. Кнов.
Литография. 27.4×18.2 — № 48687.
В рост, почти прямолинейный. В старости. В темном фраке, в белых брюках и белом жилете. С лентой, звездой и орденами.
Справа внизу: «Рис. Э. Кнов».
Под изображением — факсимиле: «Федор Глинка».

59. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880).
Бюст.
Н. А. Степанов.
Гипс вощеный. 13.8×8.3; основание 4×5 — № 23591.
Погрудный, прямолинейный. В сюртуке, с двумя орденами на шее.
На четыреугольном основании: «Ф. Н. Глинка».

60. **Давыдов, Василий Львович** (1792—1855).
Во время следствия над декабристами.
А. А. Ивановский. 1826.
Бумага, чернила, перо. 32.2×20.6.
Поколенный, ½ влево. Без усов и бороды. В шинели (?) с погонами, без фуражки.
Под рисунком — подпись карандашом, обведенная чернилами: «Василий Львович Давыдов, на слова, что тайные общества наши были модою и подражанием немецкому Тугенд-бунду, — отвечал:

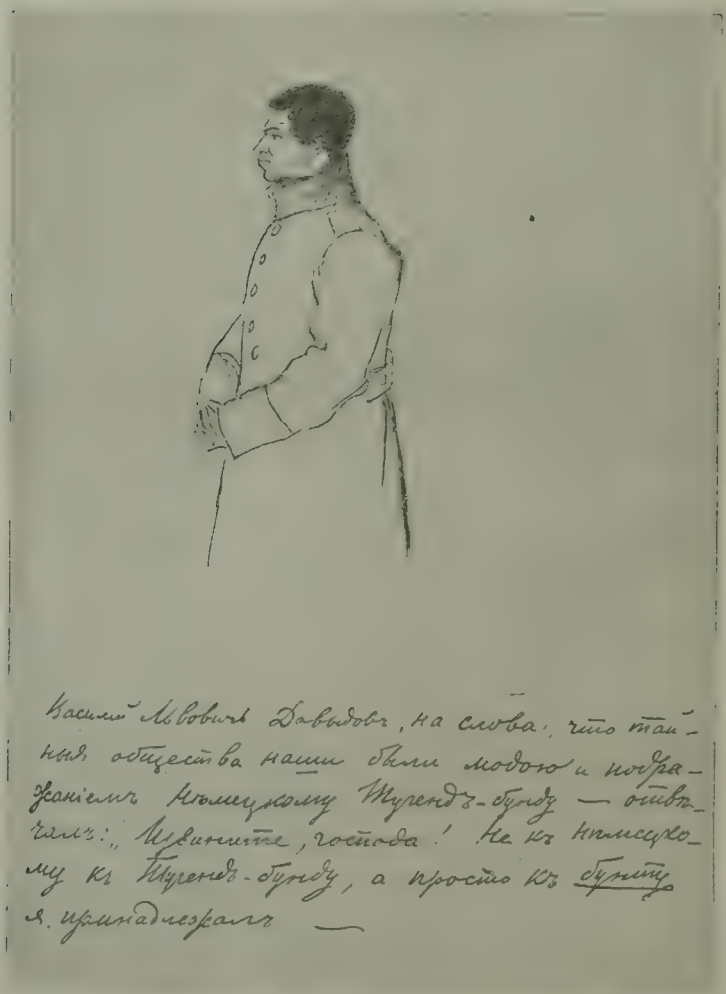
„Извините, господа! Не к немецкому к Тугенд-бунду, а просто к б у н т у я принадлежал“».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (№ 9294 — α III б. 72, л. 1).

61. **Давыдов, Василий Львович** (1792—1855).

Неизвестный художник.

Бумага, карандаш. 21.8×15 (в свету) — № 3127.



В. Л. ДАВЫДОВ.

Рисунок А. А. Иваповского. 1826 г. (См. № 60).

Погрудный, 3/4 влево. Лицо бритое, усы и маленькая эспаньолка. Одет в халат, на шее повязан галстук, на голове папаха.

Внизу карандашом: «Вас. Львов. Давыдов».

62. **Давыдов, Василий Львович** (1792—1855).

Неизвестный художник. 1840—1850-е годы.

Бумага, акварель. Овал, 14.7×11.3 — № КП 313.

Поколенный, $^3/_4$ влево. Волосы и усы с проседью. В белой рубашке и синем халате, подбитом красной материей; сидит в мягком кресле, положив руки на подлокотники.

Сходен с № 28563 (см. пор. № 63).

Приобретен у Мекк.

63. **Давыдов, Василий Львович** (1792—1855).

Неизвестный художник.

Бумага, черная акварель, белила. 11.3×8.5 — № 28563.

Погрудный, $^3/_4$ влево. В белой рубашке и халате. Сидит в мягком кресле.

Сходен с № КП 313 (см. пор. № 62).

Д. И. ЗАВАЛИШИН.
Рисунок А. А. Иваповского. 1826 г. (См. № 64).

64. **Завалишин, Дмитрий Ираархович** (1804—1892).

Во время следствия над декабристами.

А. А. Иваповский. 1826.

Бумага, карандаш. 14.1×22.

Погрудный, $^1/_2$ влево. В военном мундире, воротник тронут красным карандашом.

Под рисунком карандашом, обведенным чернилами: «Завалишин».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (№ 9294 — α III б. 72, л. 6).

65. **Завалишин, Дмитрий Ираархович** (1804—1892).

Г. И. Грачев.

Дерево, клише. Овал, 14.7×11.8 — № 54083.

Погрудный, $^3/_4$ вправо. В белой рубашке с галстуком-бантом. В сюртуке.

Справа на изображении (зеркально): «Рис. Грав. Грачев».
На обороте доски — вдавленный штамп: «Pierron».

66. **Катенин, Павел Александрович** (1792—1853).
Неизвестный художник.
Холст, масло. 67×57 — № КП 6994.
Поясной, 3/4 вправо. Рыжеватые усы. В мундире с эполетами и орденами и накинутой на плечи шинели.

67. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
Демон Метромании и стихотворец Гезель.
Карикатура А. Д. Илличевского. 1815.
(Лицейский Мудрец, 1815, № 3).
Бумага, акварель, перо. 15.4×18.7 — № КП 6035.
На стуле перед столом с рукописями изображен Кюхельбекер с гусиным пером в руке, за ним чертенок. Над головой Кюхельбекера чернилами: «Кюхельб.».
(К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 293).

Демон Метромании и стихотворец Гезель.
Демон. Слушай меня прилежнее.
Гезель. Что ты хочешь?
Дем. Я привез на хвосту тебе письмо из Дерпта: там пишут, что студенты выжгли стеклом глаза твоему собрату по стихам.
Гез. (испугавшись, роняет стул, проливает чернила и наклоняется к чорту). Не со мной ли это случилось?
Дем. Пиши, пиши: Баллада, слышишь ли Баллада.
Гезель. Баллада.
Дем. Лишь для безумцев, о Зульма!
Гез. Что? — Демон. Лишь для безумцев, о Зульма! златое вино Пророк запретил.
Гез. Неужто мне нельзя пить вина, я было и налил в рюмку...
Дем. Глупой вопрос? Пиши далее.
Гез. Вся бумага измарана.
Дем. Давай читать: Лишь для безумцев, о Зульма, лишь для безумцев... Лишь Зульма... Пророк запретил — тьфу пропасть! Какой глухой тетерев! прощай, мне скучно. —
Замечание. (Вот прямо диавольские стихи, это превосходительной адской гостинец).

(Лицейский Мудрец, 1815, № 3).

68. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
Клопштокова глиста.
Карикатура А. Д. Илличевского (?). 1811—1817.
Бумага, карандаш, чернила. 17.2×21.
Изображены Кюхельбекер и Клопшток.
На рисунке чернилами внизу: «Кюхельб. Клопштокова глиста», наверху: «Клопшток».
На обороте в левом нижнем углу — штамп: «Лицейский архив Грота».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (фонд 244, оп. 25, № 138).

69. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
И. И. Матюшин. 1880-е годы.
Дерево, клише. 15.1×12 — № 54090.
Погрудный, ½ вправо. В халате и рубашке.
На изображении слева внизу (зеркально): «И. Матюшин».
(Русская Старина, 1890, № 9, стр. 449).

70. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
И. И. Матюшин. 1880-е годы.
Гравюра на дереве. 18×14 (в свету) — № 889.
Погрудный, ½ влево. В халате и белой рубашке.
На изображении справа внизу: «И. Матюшин».
(Русская Старина, 1890, № 9, стр. 449).

«И. П. Чулков указывал нам в свое время, что гравюра на дереве И. Матюшина, изображающая Кюхельбекера, . . . сделана с рисунка П. А. Каратыгина. . . Какими-либо документальными данными по этому вопросу мы не располагаем».

М. Барановская. Грибоедов и его современники в зарисовках П. А. Каратыгина (Литературное Наследство, № 47—48, А. С. Грибоедов. М., 1946, стр. 374).

71. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
И. И. Матюшин.
Гравюра на дереве. 3.9×4 — № 14209.
Оплечный, ½ влево. В белой рубашке и халате.
На изображении справа внизу: «И. М.».
Под изображением: «В. Кюхельбекер».

72. **Кюхельбекер, Вильгельм Карлович** (1797—1846).
А. Зубчанинов. Восходит к гравюре И. Матюшина (№ 889, см. пор. 70).
Гравюра на дереве. 18×16.4 — № 34957.
Погрудный, ½ влево. В халате.
На изображении слева внизу: «А. З.».
(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 257).

73. **Лунин, Михаил Сергеевич** (1787—1845).
П. Ф. Соколов (?). 1822.
Бумага, итальянский карандаш, белила. 25.8×21 в свету — № КП 1038.
Погрудный, ¾ вправо. Небольшие усы. Высокий белый воротничок закрывает часть щек. Шея закрыта черным галстуком. Одет в двубортный открытый обер-офицерский мундир с эполетами и аксельбантами.
Принадлежал графу И. И. Чернышеву-Кругликову, с. Ярополец, Московской губернии.
[Портреты декабристов в собрании музея. (Гос. Истор. музей). Изд. «Работник Просвещения», М., 1927].

74. **Лунин, Михаил Сергеевич** (1787—1845).
А. Скино (?). По портрету работы П. Ф. Соколова (?) 1822 г.
Литография. 35.3×27.3 — № 14378.
Погрудный, ¾ вправо. В офицерском мундире, с орденом и тремя медалями.
(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 401).

75. **Лунин, Михаил Сергеевич** (1787—1845).
Автопортрет. 1830-е годы.
Бумага, карандаш. 17.4×14.6 — № 3142.
Оплечный, прямоличный. Большие усы, бритый подбородок. Набросок расчерчен по клетке.
(Памяти декабристов, I, Л., 1926, стр. 100—101).

76. **Лунин, Михаил Сергеевич** (1787—1845).

Автопортрет. 1830—1841.

Бумага, акварель. 18.7×13.4 — № КП 585.

Погрудный, 3/4 вправо. Коротко остриженные волосы и светлые усы; с белым отложным воротником, в халате, отделанном мехом.

Справа внизу: «М. Лунин».

Автопортрет был склеен с оборотной стороны с рисунком М. С. Лунина, изображающим тын и часть двора читинского острога (см. № КП 586, раздел «Виды мест», пор. № 313).

«У меня было два портрета Михаила Сергеевича Лунина собственной работы; на задней стороне одного из них — внутренность острожного двора».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 80.

«Последняя портретная новость нашей коллекции — автопортрет М. С. Лунина, один из тех двух, о которых упоминает С. М. Волконский в своей книге „О декабристах". К четырем луниным портретам, собранным в книге С. Штрайха, 1923 г., присоединяется пятый, представляющий особый интерес. По времени его надо, вероятно, поместить после бестужевской акварели (у Штрайха № 2), но ранее двух акатуйских, ибо на нем Лунин дан не в резко выраженном типе изможденного страдальца, а в более привлекательных, спокойных жизненных чертах, вероятно, до рокового переселения в Акатуй, это — тот самый портрет, о котором С. М. Волконский говорит, что „на обороте его — внутренность острожного двора"».

Примечание А. Е. Грузинского: «Для ясности скажем, что острожный двор нарисован собственно на особом листе, но оба листа заделаны в общее паспарту, открытое с обеих сторон.

«В книге Штрайха вместо „острожного двора" сказано по ошибке: „острожного дома" (стр. 120)».

А. Е. Грузинский. К рисункам (Декабристы. Сб. материалов Всесоюзн. Библ. им. В. И. Ленина. Изд. «Прибой». Л., 1926, стр. 249—250; портрет М. С. Лунина воспроизведен на стр. 105).

77. **Митьков, Михаил Фотиевич** (1791—1849).

Н. А. Бестужев. 1839.

Бумага, акварель. 18.5×14 — № 82.

Поясной, 3/4 вправо. В белой рубашке и темном жилете.

Справа внизу на изображении — монограмма художника: «Н. Б.».

На обороте на этикетке чернилами: «Портрет Михаила Фотиевича Митькова, снятый в 1839 году в Красноярске, рис. Н. Бестужев из собрания М. И. Семевского».

(Памяти декабристов, I, Л., 1926, стр. 192—193).

78. **Муравьев, Александр Михайлович** (1802—1853).

Н. Соколов. 1820-е годы.

Литография. 53.5×42.5 — № 5433.

Погрудный, 3/4 вправо. Корнет кавалергардского полка.

В белом мундире и кирасе.

Под изображением чернилами: «Муравьев».

(А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России. т. I, ч. 1. М., 1927, стр. 115).

79. **Муравьев, Артамон Захарович** (1794—1846).

Неизвестный художник. 1820-е годы.

Холст, масло. 62.5×51 — № 3094.

Погрудный, 3/4 влево. В кавалергардской форме с орденами и серебряными эполетами.

80. **Муравьев, Артамон Захарович** (1794—1846).
Неизвестный художник.
Бумага, черная акварель, белила. 11.8×8.6 — № 15889.
Погрудный, ³/₄ влево. В военном мундире с орденами.

81. **Муравьев, Артамон Захарович** (1794—1846).
Ю. Шюблер.
Гравюра на дереве. Овал, 15.2×11.8 — № 33593.
Погрудный, ³/₄ влево. В военном мундире с орденами.
Слева внизу на изображении: «Гр. Ю. Шюблер».
Из собрания портретов В. Р. Зотова.
(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 377).

82. **Муравьев, Артамон Захарович** (?) (1794—1846).
Во время следствия над декабристами.
А. А. Ивановский. 1826.
Бумага, карандаш. 19×22.3.
Погрудный, ½ влево. С усами. В военном сюртуке без эполет.
Под изображением карандашом, обведенным чернилами: «Артамон Муравьев — предполагается по указаниям А. Ев. Розена».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (№ 9294 — III б. 72, л. 19).

83. **Муравьев, Артамон Захарович** (1794—1846).
Н. А. Бестужев. 1839.
Бумага, акварель. 15.8×12.3 (в свету) — № 521.
Погрудный, ³/₄ вправо. Небольшие усы, бакенбарды. Одет в жилет с высоким воротником черного цвета, из-под которого видны рукава белой рубашки.
Справа внизу — монограмма художника: «Н. Б.».
На обороте чернилами: «Портрет Артамона Захаровича Муравьева, срисован Николаем Бестужевым в Петровском Заводе в Сибири».
(Памяти декабристов, I, Л., 1926, стр. 224—225).

84. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).
П. Ф. Соколов. 1817 (?).
Бумага, итальянский карандаш. 24×20 (в свету) — № КП 2811.
Погрудный, ³/₄ вправо. В военном мундире с аксельбантами и эполетами. Стоячий воротник расшит. На груди орден Владимира IV степени.
Справа внизу: «Соколов».
На обороте сверху чернилами (позднейшая запись): «Никита Михайлович Муравьев. Рисов. художник Соколов 1824 (?) году», внизу справа — наклейка Исторической Выставки портретов 1905 года.
(Альбом Пушкинской выставки в Москве, М., 1899, табл. 41).

85. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).
Неизвестный художник. По карандашному портрету П. Ф. Соколова (№ КП 2811, см. пор. № 84).
Литография. 23.7×17.7 (в свету) — № 595.
Погрудный, ³/₄ вправо. В военном мундире с аксельбантами и орденом Владимира IV степени.

86. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).
А. Зубчаninов. По карандашному портрету П. Ф. Соколова (№ КП 2811, см. пор. № 84).

Гравюра на дереве. Овал, 17.6×11.6 — № 33612.

Погрудный, 3/4 вправо. В военном мундире с аксельбантами и орденом Владимира IV степени.

Справа внизу на изображении: «А. З.».

Из собрания портретов В. Р. Зотова.

(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 371).

87. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).

П. Ф. Соколов. 1824.

Бумага, акварель. Овал, 14×10.3 (в свету) — № КП 304.

Погрудный, 3/4 влево. Вьющиеся волосы, откинутые назад и на виски. Одет в мундир зеленого цвета с красным кантом. Серебряные эполеты. На воротнике серебряное шитье. Правой рукой придерживает меховую шубу, накинутую на плечи.

На изображении слева: «Соколов 1824».

88. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).

А. Скино. По портрету работы А. М. Муравьева 1834 г.

Литография. 36×27.2 — № 23640.

Поясной, 3/4 влево. В темном сюртуке, с белым отложным воротником. Правая рука заткнута за спинку стула. Н. М. Ченцов (№ 4219 — 4б) указывает, что литография исполнена по заказу М. И. Муравьева-Апостола в 1860 г.

89. **Муравьев, Никита Михайлович** (1796—1843).

А. Скино. Восходит к портрету работы А. М. Муравьева 1834 г.

Литография. 27×25.5 (в свету) — № 935.

Ниже пояса, 3/4 влево. Сидит. Кисть правой руки свисает со спинки стула, левая лежит на коленях. В темном сюртуке, с белым отложным воротником.

Справа внизу на изображении: «Скино».

90. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).

Р. Кудрявцев. 1876.

Бумага, итальянский карандаш. Овал, 39×31.7 — № 3367.

Погрудный, 3/4 вправо. Бритое лицо, усы. С высоким отложным воротником и длинным галстуком.

Справа сбоку: «Р. Кудрявцев 1876 г.».

91. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).

А. Зубчанинов. По фотографии 1850—1860-х годов (№ 43257, см. пор. № 215).

Гравюра на дереве. Овал, 17.5×14.5 — № 33609.

Погрудный, почти прямоличный. В старости. В накидке с откинутым капюшоном.

Слева внизу на изображении: «А. З.».

Под изображением карандашом: «Из собрания портретов В. Р. Зотова».

92. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).

И. И. Матюшин. С фотографии Отто Ренара, Москва, 1883 г., № 23208/65 (см. раздел фотографий, пор. № 219).

Дерево, клише. 14.8×11.6 — № 54098.

Поколенный, почти прямоличный. В старости. Сидит в кресле с палкой в правой руке. В сюртуке, с тремя крестами и медалью.

Слева внизу (зеркально): «И. Матюшин».
(Русская Старина, 1886, № 7, стр. 1).

93. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
И. И. Матюшин. С фотографии Отто Ренара, Москва, 1883 г., (№ 23208/65, см. пор. № 219).
Гравюра на дереве. 25×17 — № 12108.
Поколенный, почти прямоличный. В старости. Сидит в кресле с палкой в правой руке. В темном сюртуке, с тремя крестами и медалью.
На изображении справа внизу: «И. Матюшин». Под изображением: «Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Род. 25 апреля 1793 г. †21 февраля 1886 г. Дозволено цензурою, С.-Петербург, 5-го апреля 1886 года».
(Русская Старина, 1886, № 7, стр. 1).

94. **Муравьев-Апостол, Сергей Иванович** (?) (1796—1826).
Неизвестный художник. Копия с портрета работы Монье.
Холст, масло. 129×99 — № 3945.
В рост, прямоличный, в детском возрасте. Полулежит на коленях матери. Одет в серый костюм с красной курточкой и белым воротником. Мать сидит на стуле, опершись рукой на стол, покрытый красной скатертью; одета в белое платье, с плеч спускается желтая шаль с узорчатой каймой, в волосах голубая лента.

95. **Муравьев-Апостол, Сергей Иванович** (1796—1826).
Неизвестный художник. 1828.
Железо, масло. 22.5×18.5 (в свету) — № КП 3554.
Погрудный, ¾ влево. Короткие волосы, зачесанные на виски. Одет в мундир с красным воротником и золотыми эполетами. На эполетах цифра «9». На груди орденские кресты и медаль. На плечи накинута меховая бурка.
Слева внизу: «1828».

96. **Муравьев-Апостол, Сергей Иванович** (1796—1826).
Неизвестный художник.
Гравюра на дереве. 11×7.5 (в свету) — № 33615.
Погрудный, ¾ влево. В двубортном закрытом военном мундире, без орденов.
Из собрания В. Р. Зотова.
(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 311).

97. **Муравьев-Апостол, Сергей Иванович** (1796—1826).
А. Скино.
Литография. 31.5×25.7 — № 23641.
Поясной, ¾ влево. В военном мундире, с орденами и буркой, накинутой на правое плечо.
На изображении справа внизу: «Скино».
(Альбом Пушкинской выставки в Москве, М., 1899, табл. 40).

98. **Муравьев-Апостол, Сергей Иванович** (1796—1826).
А. Зубчанинов.
Гравюра на дереве. Овал, 17.7×14 — № 33614.
Поясной, ¾ влево. В военном мундире, с орденами и буркой, накинутой на правое плечо.

На изображении справа внизу: «А. З.».

Под изображением карандашом: «Из собрания портретов В. Р. Зотова».

Сходен с № 23641 (см. пор. № 97).

(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 313, — ошибочно назван Матвеем.)

99. **Муравьева, Александра Григорьевна** (1804—1832) (рожденная графиня Чернышева, жена Н. М. Муравьева).

Маньяни. 1816.

Бумага, акварель, цветной карандаш. 25.2×19.6 — № КП 1030.

Погрудный, 3/4 влево. С красной лентой на голове.

Справа над плечом — подпись карандашом : «Magnani fecit Taghin 1816».

Над рисунком — надпись карандашом: «Гр. Александра Григорьевна Чернышова».

[Портреты декабристов в собрании музея. (Гос. Истор. музей). Изд. «Работник Просвещения», М., 1927].

100. **Муравьева, Александра Григорьевна** (1804—1832).

Васильевский. С портрета П. Ф. Соколова 1826 г.

Литография. Овал, 15.5×12 (в свету) — № КП 1036.

Погрудный, 3/4 влево. Высокая прическа с буклями на ушах. Легкий шарф окутывает голову и плечи.

Под изображением слева: «С натуры Соколов»; справа: «на камне Васильевский».

(Альбом Пушкинской выставки в Москве, М., 1899, табл. 41).

101. **Муханов, Петр Александрович** (1799—1854).

Неизвестный художник.

Бумага, карандаш. 24.4×19.7 — № 3129.

Погрудный, 3/4 влево. Вьющиеся волосы и большие усы. В сюртуке с высоким воротником.

Справа под рисунком карандашом: «Петр Алекс. Муханов».

(Памяти декабристов, I. Л., 1926, 160—161).

102. **Назимов, Михаил Александрович** (?) (1801—1888).

Неизвестный художник. 1840-е годы (?).

Бумага, карандаш. 14.3×5.5 — № 50045.

Погрудный, 3/4 вправо. В расстегнутом форменном сюртуке без эполет.

Принадлежал Надежде Ильиничне Назимовой.

103. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Неизвестный художник. 1840—1850-е годы.

Картон, масло. Овал, 34×25.6 — № 33319.

Погрудный, 3/4 влево. В черном сюртуке, в высоком черном галстуке.

Поступил 20 II 1927 от В. Фан-дер-Флит (рожденной Ивашевой).

104. **Оболенский, Евгений Петрович** (1796—1865).

Неизвестный художник.

Бумага, тушь. 11.8×8.6 — № 47045.

Погрудный, прямоличный. В старости. В темном сюртуке.

Внизу на паспарту чернилами: «Кн. Е. П. Оболенский (в 1859 г.). Декабрист».

105. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
И. П. Фридриц. 1823—1825.
Миниатюра на кости. Овал, 6.7×5.5 — № КП 303.
Погрудный, 3/4 влево. В колете лейб-гвардии конного полка и кирасе.
На обороте надпись чернилами: «Son ame brúlante semble un rayon de feu separé du soleil, tant elle est brillante Derobé à tous yeux et enseveli dans le fond du coeur de ses tendres amis» («Его горячая душа кажется огненным лучом, отделившимся от солнца, — так она ярка. Скрытый от всех очей, погребенный в глубине сердец его милых друзей»).
Из собрания Н. М. Романова.
(Русские Портреты, III, СПб., 1907, стр. 189).

106. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
Неизвестный художник. Восходит к акварели Н. А. Бестужева 1830-х годов.
Бумага, карандаш. 14.5×11 (в свету) — № КП 6073.
Погрудный, 3/4 влево. С небольшими усами. В расстегнутом сюртуке.
Под изображением карандашом: «Алекс. Иван. Одоевский».
(Памяти декабристов, I, Л., 1926, стр. 64—65).

107. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
Неизвестный художник. С портрета работы Н. А. Бестужева, 1830—1832 г.
Гравюра на стали. 18.2×11 — № 14695.
Поясной, 3/4 вправо. В шубе с меховым воротником.
Под изображением: «Князь А. И. Одоевский».
(Собрание стихотворений декабристов, Лейпциг, 1862; Стихотворения А. И. Одоевского, изданные бароном Розеном. СПб., Типография А. А. Краевского, 1883).

«Весьма жаль, что нет верного портрета его: в то время не было фотографии. Нарисованный портрет Н. А. Бестужевым 1-м, акварельный, похож по складу лица, но выражение и глаза не похожи: они как-то прищурены, а его взгляд был открытый, живой, умный. Роста был среднего, походка была непринужденная, голос приятный, речь плавная и живая, смех был звучный, веселый, сердечный».

А. Розен. Биографический очерк (А. И. Одоевский, Полное собрание стихотворений. СПб., 1883, стр. 14).

108. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
А. Скино. С портрета работы Н. А. Бестужева 1830—1832 гг.
Литография. 37.3×30.8 — № 14694.
Поясной, 3/4 вправо. В шубе с меховым воротником.

109. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
А. С. По портрету работы Н. А. Бестужева 1830—1832 гг.
Литография. 13.5×11.5 — № 707.
Поясной, 3/4 вправо. Вьющиеся волосы и усы. В шубе с меховым воротником.
Справа внизу на изображении инициалы: «А. С.».

110. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).
Г. И. Грачев. По портрету работы Н. А. Бестужева 1830—1832 гг.
Гравюра на дереве. Овал в четыреугольнике, 26×15.5 — № 12117.
Погрудный, 3/4 вправо. В шубе с меховым воротником.

На изображении слева внизу: «Рис. и Грав. Грачев».

Под изображением: «Князь Александр Иванович Одоевский (1804—1839)». Год рождения на гравюре напечатан неверно. «Дозволено цензурою. СПб., 11 февраля 1882 г.».

(Русская Старина, 1882, № 4, стр. 1; Русские деятели в портретах, 2-е собрание. Изд. «Русская Старина». СПб., 1886).

111. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).

Неизвестный художник. По портрету работы Н. А. Бестужева 1830—1832 гг.

Гравюра на дереве. В четыреугольнике, 13.6×11.1 — № 33684. Поясной, 3/4 вправо. В шубе с меховым воротником.

112. **Одоевский, Александр Иванович** (1802—1839).

Неизвестный художник. 1833—1839.

Бумага, карандаш. 11.1×10.2 — № 1210.

Погрудный, 3/4 вправо. Большой лоб. Небольшие усы. Голова наклонена несколько вниз.

На паспарту наклейка, на которой надпись чернилами:

«О бедный брат!
Ты рано пал, душой и станом красный!
И не в бою померкнул взор твой ясный».

Из поэмы «Василько» (А. И. Одоевский, Полное собрание стихотворений и писем. Academia, 1934, стр. 224—225).

В инвентарной книге имеется запись: «На обороте, на наклеенной полоске бумаги надпись (рукою бар. Розена): „Александр Иванович Одоевский † 12 авг. 1839. На Кавказе на берегу Черного моря“». В настоящее время наклейка утрачена.

113. **Оржицкий, Николай Николаевич** (1796—1861).

Неизвестный художник.

Литография раскрашенная. Овал, 15×13.5 — № 6095.

Поясной, 3/4 влево, темные кудрявые волосы. Усы. В рубашке с раскрытым воротом и голубых помочах.

Поступил от вдовы сына декабриста Марии Васильевны Оржицкой (рожденной Ушаковой) 10 III 1926.

114. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Л. А. Серяков. В. Шпак. Восходит к портрету работы Г. Ризенера 1814 г.

Дерево, клише. 14×10 — № 54104.

Ниже пояса, 3/4 влево. Лысый лоб, бакенбарды, небольшие усы. В военном мундире с лентой и орденами.

Слева на гравюре (зеркально): «В. Шпак»; справа на гравюре (зеркально): «Л. Серяков».

(Русская Старина, 1877, № 12, стр. 549).

115. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Л. А. Серяков. В. Шпак. Восходит к портрету работы Г. Ризенера 1814 г.

Гравюра на дереве. 16.1×12 — № 32810.

Ниже пояса, 3/4 вправо. Лысый лоб, бакенбарды, небольшие усы. В военном мундире, с лентой и орденами.

На гравюре слева: «Л. Серяков»; справа: «В. Шпак».

Под изображением чернилами: «№ 1654 — 14 ноября 1877 г.».

По левому полю листа чернилами: «Дозволено цензурою. СПб. 7 ноября 1877. Цензор <подпись неразборчива>».

На левом нижнем углу листа и паспарту—печать: «С.-Петербургского Цензурного Комитета».

Внизу на паспарту чернилами: «Михаил Федорович Орлов. 1814. „Русская Старина“ 1877».

(Русская Старина, 1877, № 12, стр. 549).

116. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Л. А. Серяков. В. Шпак. Восходит к портрету работы Г. Ризенера 1814 г.

Гравюра на дереве. 17.3×13.8 — № 32811.

Ниже пояса, ¾ вправо. В военном мундире с лентой и орденами.

Под изображением карандашом: «Михаил Федорович Орлов. С портрета, приложенного к „Русской Старине“ 1877 г.».

117. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Неизвестный художник. 1814—1825.

Холст, масло. 68×57 (в свету) — № КП 6070.

Погрудный, ¾ вправо. Лысый лоб, небольшие баки. Одет в генеральский однобортный мундир с золотыми эполетами и красным воротником. На груди знаки отличия.

На обороте чернилами: «Генерал Майор Михаил Федорович Орлов».

118. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Неизвестный художник. 1814—1825.

Холст, масло. Овал, 14.3×11.2 (в свету) — № КП 4674.

Погрудный, ¾ вправо. Лысеющий лоб с зачесом волос на виски. Небольшие рыжеватые баки и усы. Одет в мундир с эполетами. На левой стороне груди ордена и медали.

Приобретено у Е. Н. Орловой в 1938 г.

(Альбом выставки Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского, устроенной Обществом любит. российск. словесности в залах Историч. музея. Исполнено и издано Худож. фототипией К. А. Фишер. М., 1902, табл. 85).

119. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Л. А. Серяков. 1879.

Дерево, клише. Овал, 16.8×12.1 — № 54105.

Погрудный, ¾ вправо. В плаще.

Справа на изображении (зеркально): «Л. Серяков. 1879 г. Ницца».

На обороте доски — вдавленный штамп: «Pierron. Rue secuier 13 Paris».

120. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Л. А. Серяков. 1879.

Гравюра на дереве. 25.6×15.9 — № 12119.

Погрудный, ¾ вправо. В плаще.

Слева на гравюре: «Л. Серяков 1879 г. Ницца».

Под изображением: «Михаил Федорович Орлов. Сборник гравюр Серякова. Издание редакции „Русской Старины“».

121. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).

Шадуров. 1852.

Бумага, акварель. 21×15.7 — № КП 3503

Поколенный, 3/4 вправо. В сером сюртуке с георгиевским крестом в петлице. В черном бархатном жилете, в белой рубашке и черном шейном платке, завязанном бантом. Сидит в кресле с полосатой зеленой обивкой. В левой руке чубук. Справа на кресле висит сабля.

Слева на изображении карандашом: «Schadurow 1852».

От Н. В. Власова. 1938 г.

122. **Панов, Николай Алексеевич** (1803—1850).

А. Скино (?). По портрету 1839 г. работы Н. А. Бестужева (?). Литография выполнена в 1850-х годах, не позднее 1858.

Литография. 36.2×27.1 — № 23652.

Поколенный, прямоличный. Сидит, правая рука на спинке стула, левая — на коленях. В белой рубашке и темном жилете.

«Посылаю вам портрет Панова, полученный мною от его родных из Воронежа. 1 р<убль> сер<ебром> за него вычту из ваших денег».

Е. И. Якушкин—И. И. Пущину. Москва, 27 января 1858 г.

«Евгений <сын И. Д. Якушкина> путешествует по Смоленской губернии. . . За его отъездом литографическое заведение перешло ко мне, и вы по нынешней посылке увидите, что оно не праздно проводит время; к святой будут готовы П. И. Борисов, С. Г. Волконский. Кстати о литографии: что за чудеса с портретом Панова? Оригинал взят у брата Панова, который очень доволен сходством, вы говорите, что это Ватховский; Тимирязева, сестра Ватховского, говорит, что это брат. Сутгоф, Басаргин и М. И. Муравьев уверяют в сходстве с Пановым — так что мы совершенно растерялись и не знаем, чей это портрет».

В. И. Якушкин — И. И. Пущину. 14 марта 1858 г., Москва (Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938. стр. 477).

«Это <Н. А. Панов> был небольшого роста, плотный блондин, с большими выпуклыми глазами, с румянцем на щеках и с большими светлорусыми усами...».

Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, стр. 14.

123. **Панов, Николай Алексеевич** (1803—1850).

Неизвестный художник. Восходит к портрету 1839 г. работы Н. А. Бестужева (?).

Гравюра на дереве. Овал в четыреугольнике, 10.8×12.9 — № 32833.

Поясной, прямоличный. В белой рубашке и темном жилете. Сидит. Правая рука на спинке стула.

Под изображением карандашом: «Из собрания портретов В. Р. Зотова».

(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 253).

124. **Пестель, Павел Иванович** (1793—1826).

М. М. Успенский. 1929. Копия с портрета работы Елизаветы Пестель, матери декабриста, 1813 г.

Бумага, акварель, тушь, белила. 9.5×8.5 (в свету) — № КП 315.

Погрудный, ½ влево. Волосы зачесаны на лоб и на виски. Небольшие бакенбарды и усы. В военном мундире с аксельбантами.

Под изображением на паспарту слева: «Elisabeth de Pestel. 9. 1.»; справа: «Le 2 de Mai 1813».

На обороте надпись чернилами: «С портрета, писанного его матерью, копия Успенского, М. М. 1929 г.».

125. **Пестель, Павел Иванович** (1793—1826).
Неизвестный художник.
Гравюра на дереве. Овал в четыреугольнике. 12.9×11 — № 32845.
Погрудный, 3/4 вправо. В военном мундире, с орденами. На эполетах цифра «18».
(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 441).

126. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).
Н. А. Бестужев. 1830—1833.
Бумага, акварель. 18.1×15.5 — № 3021.
Погрудный, 3/4 вправо. Длинные вьющиеся волосы. Усы и небольшая эспаньолка. В голубовато-сером халате с отворотами. В белой рубашке с широким воротом и красном галстуке.

«Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденной подвижностью в движениях и живостью характера ясно указывали на южное его происхождение. Под этой красивою наружностью скрывался человек редких достоинств и редкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили в нем рыцарское благородство, искренность и прямодушие в отношениях, горячность в дружбе и тому подобные прекрасные свойства».

И. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, стр. 20.

127. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).
К.-П. Мазер. 1849.
Картон, карандаш. 23.5×16.4 (в свету) — № 51664.
Поясной, 3/4 влево. Сидит в кресле. Длинные волосы, бакенбарды, большие усы и эспаньолка. В расстегнутом сюртуке и жилете. Галстук бантом.
Справа внизу: «Ch. P. Mazer 1849».
Приобретен у С. Т. Матеузова 26 января 1939 г.

128. **Пущин, Иван Иванович** (1798—1859).
Неизвестный художник. С акварели Д. М. Соболевского 1825 г. «Семиконечная Звезда» (№ 1268, см. пор. № 276).
Бумага, акварель. 18.5×15 (в свету) — № 64380.

129. **Пущин, Иван Иванович** (1798—1859).
Орловский (?). 1940. Восходит к акварели Д. М. Соболевского 1825 г. «Семиконечная Звезда» (№ 1268, см. пор. № 276).
Литография. 14.4×17.8 (в свету) — № КП 6999.
Поколенный, ½ влево. Сидит на стуле у письменного стола. Лицо бритое. Высокий воротничок закрывает часть щек. Руки лежат на коленях.
Приобретено у Я. Г. Зака.

130. **Пущин, Иван Иванович** (?) (1798—1859).
Неизвестный художник.
Бумага, карандаш. 12.7×10.3 — № 6045.
Погрудный, ½ влево, в сюртуке.
В книге поступлений имеется следующая запись: «Пущин, И. И. карандашный набросок его портрета, сделанный в Сибири и хранившийся в семейном архиве Назимовых».
Дар Надежды Ильиничны Назимовой (племянницы декабриста Назимова) через Нонну Павлову и С. Ф. Платонова 28 июля 1929 г.

131. **Раевский, Владимир Федосеевич** (1795—1872).
И. Хелмицкий. По фотографии 1869 г. (№ 22186, см. пор. № 248).
Дерево, клише. Овал, 13.9×11 — № 54112.
Поясной, 3/4 влево. В сюртуке.
Слева внизу (зеркально): «И. Хелмицкий».
(Русская Старина, 1903, № 9, 480—481).

132. **Раевский, Владимир Федосеевич** (1795—1872).
И. Хелмицкий. По фотографии 1869 г. (№ 22186, см. раздел фотографий, пор. № 248).
Гравюра на дереве. Овал, 14×11.7 (в свету) — № 50033.
Погрудный, 3/4 вправо. В старости. Усы и небольшая борода. В сюртуке.
Справа внизу: «И. Хелмицкий».
Из Архива ИРЛИ, 1938.
(Русская Старина, 1903, № 9, стр. 480—481).

133. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
О. А. Кипренский. 1820-е годы.
Бумага, карандаш. 12×11 (в свету) — № КП 2790.
Погрудный, 3/4 вправо. В сюртуке с отворотами и в шейном, завязанном бантом, платке.
Справа по краю рисунка: «Портрет Кондратия Федоровича Рылеева, найденный после его смерти в принадлежащей ему книге и подаренный мне его женою».
Справа внизу синим карандашом: «Ф. Булгарин».
(К. Рылеев, Полное собрание стихотворений. Ред., предисл. и примеч. Ю. Г. Оксмана и В. Гофмана. Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 352—353).

134. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Неизвестный художник. Восходит к рисунку, приписываемому О. А. Кипренскому, 1820-х годов.
Бумага, акварель, карандаш, белила. 14.5×12 (в свету) — № КП 314.
Погрудный, 3/4 вправо. Светлые волосы, зачесанные наверх и на виски. Одет в зеленовато-голубого цвета сюртук.
Под рисунком справа — монограмма: «Р. М.».
На обороте окантовки — наклейка с надписью чернилами: «Рылеев, Кондратий Федорович. Русский поэт (1795—1826). Лучшее его произведение „Думы“, поэмы „Войнаровский“ (переведена на немецкий язык Шамиссо), „Исповедь Наливайко“, „Гражданское мужество“ и другие. Полное собрание его сочинений появилось в Лейпциге в 1860 году, а несколько менее полное в С.-Петербурге в 1872 году. По обвинению в заговоре декабристов в ночь с 13 на 14 июля 1826 г. был повешен в С.-Петербургской Петропавловской крепости во дворе (вместе с Бестужевым, Каховским, Муравьевым, Пестелем)».

135. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Неизвестный художник. По портрету, приписываемому О. А. Кипренскому, 1820-х годов.
Бумага, тушь. 25.5×19.4 — № Вр. 626.
Погрудный, 3/4 вправо. Лицо бритое. В сюртуке и галстуке,

136. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Неизвестный художник. Восходит к миниатюре, принадлежавшей Н. М. Рылеевой.
Гравюра на стали. 17.9×11.3 — № Вр. 586.
Погрудный, ³/₄ вправо. В сюртуке и белом галстуке.
Под изображением — факсимиле: «К. Рылеев».
(Полное собрание сочинений К. Ф. Рылеева. Лейпциг, 1861).

137. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Неизвестный художник. Не ранее 1826 г.
Железо, масло. 18.8×14.5 — № 64441.
Поясной, ³/₄ вправо. В сюртуке, в высоком белом воротнике и галстуке.
На обороте маслом: «Кондратий Федорович Рылеев 1795 сентября 18, 1826 — † июля 13» (далее — схематический рисунок виселицы).

138. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Неизвестный художник.
Гравюра на дереве. 5.3×4.2 — № 15066.
Оплечный, ³/₄ вправо.
Под изображением: «К. Рылеев».

139. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
А. А. Ивановский. 1826.
Бумага, карандаш. 8.3×21 (в свету) — № Вр. 7.
Трубецкой на допросе.
Почти в рост, ½ влево. В мундире с эполетами.
Поступил на Всесоюзную Пушкинскую выставку в 1936 (Музей Революции, сб. I, Пгр., 1923, стр. 73).

140. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
Неизвестный художник.
Миниатюра. 7×5 — № 3252.
Погрудный, ³/₄ вправо. Небольшие баки. В темносинем сюртуке с черным бархатным воротником и светлыми пуговицами; белый галстук и высокие воротнички. На фоне — пейзаж.
Дар О. П. Голицыной, 1925 г.

141. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
Неизвестный художник.
Бумага, акварель. 14.5×12 (в свету) — № КП 316.
Погрудный, ³/₄ вправо. Вьющиеся волосы. В светлокоричневом сюртуке и галстуке.
Справа на изображении — монограмма: «Р. М.».
На обороте окантовки — наклейка с надписью чернилами: «Князь Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860). Декабрист, член тайного общества. Сослан в Сибирь на каторгу в 1826 году, помилован в 1855 году».

142. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
Неизвестный художник. С фотографии конца 1850-х годов.
Гравюра на дереве. 16×12.5 — № 64611.
Погрудный, ³/₄ вправо. Седой. В закрытом сюртуке.

Под изображением карандашом: «Князь Сергей Петрович Трубецкой. Из собрания портретов В. Р. Зотова».

(Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 237).

143. **Тургенев, Николай Иванович** (1789—1871).

Зенефельдер (?). По рисунку М. Антонина.

Литография. 23×17 (в свету) — №№ КП 6099, 47189.

Поясной, 3/4 вправо. В застегнутом сюртуке, с высоким воротником.

Внизу слева: «Antonin M.».

Справа: «Lith. Senefelder».

№ КП 6099 — под изображением рукою Н. И. Тургенева чернилами: «Брату и другу Жуковскому. Париж 3 июля 1827».

№ 47189 — из собрания братьев Тургеневых.

(Альбом Пушкинской юбилейной выставки в С.-Петербурге, май 1899. М., 1899, табл. 28; Альбом Пушкинской выставки в Москве, М., 1899, табл. 42).

144. **Тургенев, Николай Иванович** (1789—1871).

Неизвестный художник. По литографии Зенефельдера.

Литография. 35×22 — № КП 2361.

Погрудный, 3/4 вправо. В застегнутом сюртуке, с высоким воротником.

Под изображением: «Николай Иванович Тургенев».

Справа внизу: «Лит. Н. Кадушина, СПб.».

(Главные деятели освобождения крестьян, под редакцией С. А. Венгерова, СПб., 1903, стр. 40—41).

145. **Юшневский, Алексей Петрович** (1786—1844).

А. А. Ивановский. 1826.

Бумага, карандаш. 10×8.9 (в свету) — № Вр. 6.

Юшневский на допросе.

Погрудный, ½ влево. В мундире без эполет.

(Музей Революции, сб. 1, Пгр., 1923, стр. 69).

146. **Якубович, Александр Иванович** (1792—1845).

П. А. Каратыгин. 1825 (?).

Бумага, акварель. 13×10 (в свету) — № КП 6105.

Ниже пояса, ½ влево. Большие усы, свисающие вниз. С черной повязкой на голове. Одет в мундир с высоким красным воротником. На груди георгиевский крест. На плечах шинель, отделанная мехом.

(А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России, т. I, ч. 1. М., 1927, стр. 219). В публикации под изображением ошибочно указано: «С масляного портрета. . .», — эта же ошибка повторена в библиографии Н. М. Ченцова (4271/1).

«Он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое-то свирепое выражение; большие черные на выкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся густые брови, огромные усы. . . придавали его физиономии какое-то мрачное и вместе с тем поэтическое значение».

П. А. Каратыгин. Записки, СПб., 1880, стр. 138.

«. . . я его <А. И. Якубовича> видел всего один раз, и тем не менее его внешность сильно врезалась в мою детскую память: это был высокий, худощавый

и очень смуглый человек, с живыми черными глазами и большими усами; все движения его были полны живости и энергии».

Н. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, стр. 4—5.

147. **Якубович, Александр Иванович** (1792—1845).

Неизвестный художник. 1820-е годы.

Холст, гуашь. 4.9×3.3 — № Вр. 402.

Погрудный, 3/4 влево. В однобортном вицмундире, с серебряными обер-офицерскими погонами, с орденом Владимира IV степени, с черной повязкой на голове.

148. **Якубович, Александр Иванович** (1792—1845).

Неизвестный художник. Восходит к портрету гуашью неизвестного художника 1820-х годов (см. пор. № 147).

Бумага, тушь. 11.5×8.4 — № 48180.

Погрудный, 3/4 влево. С длинными усами, в круглой шапочке. В военном мундире с эполетами и крестом.

Внизу чернилами: «А. Якубович Декабрист».

149. **Якубович, Александр Иванович** (1792—1845).

А. И. Якубович. Карикатура. 1830-е годы.

Бумага, акварель. 13.3×20.2 — № 49112.

Якубовича, окруженного частоколом, стягивает цепью жандармский офицер.

Справа чернилами рукой Якубовича:

«Я. Станислав Романович, до могилы вас незабуду!

К. Помилуйте, зачто вы ему так благодарны? Позвольте преобразовать: немного потерпеть, всего год четыре. месяца! — Ну атам Вы узнаете всю пользу преобразования — и что он сделал для Вас в 12 лет? —

Я. Ух! Батюшки караул!».

(Особенности орфографии подлинника сохранены).

Из бумаг А. П. Керн. Поступил от Марковой-Виноградской.

(Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925, стр. 237).

«. . . детей, видно, он <А. И. Якубович> очень любил, потому что тотчас же занялся с нами с великой охотой и, будучи большим любителем живописи, скоро и бойко нарисовал карандашом два рисунка и подарил нам каждому на память».

И. А. Белоголовый. Воспоминания и другие статьи. М., 1898, стр. 5.

150. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).

П. Ф. Соколов. 1818 (?). С акварели работы Н. И. Уткина 1816 г.

Бумага, итальянский карандаш. 15.5×12. — № КП 6106.

Погрудный, 3/4 вправо. Короткие волосы зачесаны вверх и на виски. В военном мундире с двумя орденами и медалью.

Слева на изображении карандашом — монограмма и дата: «P. S. 18».

На обороте вверху карандашом: «с Уткина рисован П. Соколовым. 1819».

Внизу: «Иван Дмитриевич Якушкин, двоюродный брат Екатерины Гавриловны».

151. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).

А. Скино. С портрета работы К.-П. Мазера 1851 г.

Литография. 39×26.5 — № 23686.

Поясной, 3/4 вправо. В глухом сюртуке со стоячим воротником и ремнем через плечо.

Слева внизу: «Скино».

Из собрания Стравинского, куплено у букиниста Наумова в 1927 г.

(Декабристы. 86 портретов. Изд. М. М. Зензинова, М., 1906, стр. 278).

«. . . К настоящему изданию приложены три портрета Ивана Дмитриевича Якушкина. . . третий. . . с карандашного портрета, рисованного в 1851 г. Мазером. . . с . . . портрета снимок был приложен к VII книжке „Полярной Звезды" в 1861 г., а еще ранее был выпущен в свет в виде отдельной литографии работы Скино».

Е. И. Якушкин. Предисловие к «Запискам И. Д. Якушкина». М., 1905, стр. VII.

152. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).

А. Зубчанинов. По портрету работы К.-П. Мазера 1851 г.

Гравюра на дереве. Овал, 17.5×14.3 — № 34412.

Поясной, 3/4 влево. В глухом сюртуке со стоячим воротником и ремнем через плечо.

На изображении: «А. З.».

Под изображением карандашом: «Из собрания портретов В. Р. Зотова».

Поступил из Государственного Книжного фонда.

153. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).

Неизвестный художник. По портрету работы К.-П. Мазера 1851 г.

Бумага, карандаш. 26.5×21.1. — № 3018.

Поясной, 3/4 вправо. В закрытом сюртуке со стоячим воротником и ремнем через плечо.

154. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).

За сбором растений в Ялуторовске.

М. С. Знаменский. 1860-е годы (?).

Бумага, тушь кистью. 22×14.4 — № 3144.

В рост, 3/4 влево. В короткой узкой куртке со стоячим воротником. В правой руке заступ и фуражка, за плечами коробка для растений.

Рисунок иллюстрирует эпизод из повести Старожила ‹М. С. Знаменского› «Исчезнувшие люди. Рассказ из сибирских воспоминаний» — в книге С. Турбин и Старожил. Страна изгнания и исчезнувшие люди. СПб., 1872, стр. 260—268.

Поступил от В. С. Манассеина из Иркутска 4 IX 1925.

(Памяти декабристов, III, Л., 1926, 192—193).

Дополнение к разделу Iа

Шесть портретов работы Н. А. Бестужева

155. **Бестужева, Прасковья Михайловна** (? — 1846), мать декабристов Бестужевых.

Н. А. Бестужев. 1827—1830.

Миниатюра на слоновой кости. 10×7.9 (в свету) — № 2089.

Погрудный, 3/4 вправо. В темном платье с кружевным воротником, в белом плоеном чепце с голубыми лентами, через левое плечо

перекинута темнокрасная шаль. У левого плеча сбоку — монограмма художника: «Н. Б.».

(Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 29).

156. **Казимирский, Яков Дмитриевич,** плац-майор в Чите и Петровском заводе, с 1852 г. начальник жандармского округа в Омске, генерал-майор, был дружен со многими декабристами.

Н. А. Бестужев. 1840-е годы.

Холст, масло. 22.7×19.1 — № 5763.

Поясной, ¾ вправо. В синем мундире с красным кантом и серебряном приборе. Поверх мундира накинута шинель. В белой фуражке с голубым околышем, без кокарды. На обороте — наклейка с надписью чернилами рукою декабриста А. Е. Розена: «Казимирский».

«Теперь я посылаю вам три портрета поразительного сходства, работы брата Николая. Первый — коменданта Лепарского ‹см. пор. № 158›, второй — плац-майора Лепарского, его племянника ‹см. пор. № 157›, третий — Ребиндера, преемника коменданта Лепарского, и присоединяю еще четвертый, тоже очень похожий — плац-майора нового коменданта Ребиндера, подполковника Казимирского ‹см. пор. № 156›».

Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 262.

157. **Лепарский, Иосиф Адамович** (? — 1876), плац-майор Петровского завода, племянник С. Р. Лепарского.

Н. А. Бестужев. 1830-е годы.

Бумага, акварель. 17.9×14.2 (в свету) — № 534.

Поясной, ¾ влево. В однобортном мундире с серебряными эполетами. Сидит, перекинув правую руку через спинку стула.

Справа внизу — монограмма художника: «Н. Б.».

Дар А. И. Неклюдовой.

158. **Лепарский, Станислав Романович** (1754—1837), генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников и Петровского завода.

Н. А. Бестужев, 1838.

Бумага, акварель. 19.2×15.7 (в свету) — № 545.

Погрудный, ¾ влево. В однобортном генеральском мундире с красным стоячим воротником и красным кантом. Две звезды, три ордена и медаль.

Справа внизу — монограмма художника и дата (выцветшая): «Н. Б. 1838»; слева внизу — монограмма: «А. Р.».

Дар А. И. Неклюдовой.

С этой акварели Бестужева в музее Института имеется гравюра на дереве работы Л. А. Серякова — 1879 г. (клише и оттиск).

«Высочайший выбор в тюремщики человека, вполне по его мнению надежного, который буквально всегда исполнит его волю, одним словом, самого верноподданного, — этот выбор, говорю я, оправдался в лице Лепарского. Государь знал его потому только, что он когда-то в польскую войну сумел огромную партию конфедератов, его соотчичей, довести до места заключения под весьма малым конвоем. Это обстоятельство дало большую цену в глазах Незабвенного ‹Николая I›; но мудрое предвидение ошиблось в одном: под генеральскою звездой билось благородное сердце. Этой ошибкой он ‹Николай I› остался в потере, потому что мы остались живы, а мы выиграли, приобретя доброго, умного, снисходительного тюремщика, а что еще важнее — законника, сумевшего в продолжение своего долгого управления помирить букву закона, то есть бестолково-строгой инструкции, с обязанностью честного и благородного человека».

М. А. Бестужев. Тюрьма и поселения (Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 208).

159. **Раевский, Николай Николаевич** (1771—1829).

Н. А. Бестужев. 1828. С акварели работы П. Ф. Соколова.

Бумага, акварель. 24.8×18.7 — № КП 554.

Погрудный, 3/4 вправо. Темные волосы и небольшие бакенбарды. В темном мундире с красным высоким воротником без эполет. Сидит на стуле.

Слева внизу: «Н. Б.».

«До сего времени он рисовал портреты в миниатюре на кости, придерживаясь тщательной отделки Изабэ (точками). Переход на акварель в больших размерах штрихами и крупными тонами — у него дело плохо ладилось, пока не получены были портреты работы нашего знаменитого портретиста Соколова. Брат был поражен его смелостью и бойкостью его кисти и, приняв его за образец, всю остальную, без сомнения самую большую, часть своей коллекции и множество портретов вне этой коллекции с наших дам, товарищей и многих знакомых уже рисовал этою методою».

Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 341.

160. **Степовая, Любовь Ивановна.**

Н. А. Бестужев. 1827.

Миниатюра на слоновой кости. 8.5×6.2 (в свету) — № 4262.

Поясной, 3/4 вправо. В темносинем платье с белым воротником, в белом чепце с голубыми лентами. На руках красная шаль.

Справа внизу — подпись: «N. Bestougeff». На обороте на приклеенном листке бумаги — надпись чернилами рукой Михаила (?) Бестужева: «Рисовал Николай Бестужев в Сибире ‹так в оригинале›, в Чите, в 1827 г.».

Поступил в марте 1928 г. из собрания А. Ф. Онегина.

б. Дагерротипы

161. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).

Дагерротип А. Давиньона середины 1840-х годов.

9×7 (в свету) — № 527.

Ниже колен, 3/4 вправо. С волосами до плеч, с усами. В расстегнутом сюртуке с бархатными воротником и обшлагами, с платком на шее. Сидит, облокотясь левой рукой на столик, положив правую на колени.

В белом паспарту с восьмиугольным вырезом, окантован золотой бумагой.

На обороте — фирменная этикетка: «Дагеротип А. Давиньона».

162. **Волконские, Михаил и Елена** (дети С. Г. Волконского).

Дагерротип А. Давиньона середины 1840-х годов.

8.7×7 (в свету).

Елена почти в рост, 3/4 вправо, с волосами до плеч, вьющимися на концах, с прямым пробором; в открытом клетчатом платье с короткими рукавами; сидит на стуле, сложив руки на коленях. Михаил стоит рядом, положив правую руку на спинку ее стула, другой опираясь на стол. В сюртучке, узорчатом жилете и светлых панталонах.

В лиловой тисненой бархатной рамке с восьмиугольным вырезом, с бронзовыми уголками и ободком.

На обороте чернилами: «Pour Sacha Raievsky» (Для Саши Раевского). Поверх надписи — фирменная этикетка: «Дагеротип А. Давиньона».

163. **Муравьев, Артамон Захарович** (1794—1846).

Дагерротип с акварельного портрета 1820-х годов.

С. Г. ВОЛКОНСКИЙ.
Дагерротип А. Давиньона. 1845. (См. № 161).

9.3×7.1 — № КП 3501/1206.

Погрудный, ³/₄ вправо; с усами, бакенбардами и эспаньолкой. Сидит, положив скрещенные руки на стол; в светлой рубашке, в помочах, с темным шейным платком.

На обороте: «Инв. № 687/5047. Дагерротип. С акварельного портрета 20-х годов XIX в. Артамон Захарович Муравьев 1794—1846. Декабрист. 24 XI 32. А. Ручьева».

Из музея г. Истры Московской области.

164. **Муханов, Петр Александрович** (1799—1854).

Дагерротип середины 1840-х годов.

8.4×6.7 (в свету) — № 59093.

Почти в рост, ³/₄ вправо, с большими усами. Сидит на стуле, поставленном боком; левой рукой облокотился на его спинку, правой держит палку. В сюртуке.

Сохранность дагерротипа плохая. Поперек лица продолговатое пятно, есть пятна на фоне, паспарту повреждено, было реставрировано.

В черном бумажном паспарту с четыреугольным вырезом, с бумажным золотым кантом по внутреннему краю.

В музее имеется вполне четкий фотографический отпечаток с этого дагерротипа до его порчи.

165. **Панов, Николай Алексеевич** (1803—1850).

Дагерротип А. Давиньона середины 1840-х годов.

7×5.5 (в свету) — № 526.

Ниже пояса, ³/₄ влево. С усами и бакенбардами; в сюртуке с бархатными воротником и обшлагами, с кольцом на указательном пальце левой руки. Сидит, облокотясь на стол правой рукой.

В белом паспарту с овальным вырезом, окантован золотой бумагой.

На обороте — фирменная этикетка: «Дагеротип А. Давиньона».

166. **Панов, Николай Алексеевич** (1803—1850).

Дагерротип А. Давиньона (?).

8×7 — № 2592.

Сходен с предыдущим. Ниже колен, прямоличный. В сюртуке, с кольцом на пальце; сидит, закинув правую руку за спинку стула; левая на коленях.

167. **Поджио, Иосиф Викторович** (1792—1848).

Дагерротип А. Давиньона 1845 г.

9×7.2 (в свету) — № 529.

Ниже колен, ³/₄ вправо. С вьющимися на висках волосами и большими усами. В сюртуке с бархатными воротником и обшлагами, в светлых брюках; по жилету цепочка. Сидит, облокотясь на стол, положив ногу на ногу. В левой руке чубук, правая на коленях.

В белом паспарту с овальным вырезом; окантован золотой бумагой.

На обороте вверху — фирменная этикетка: «Дагеротип А. Давиньона».

Внизу чернилами: «Ma chère Soninka voici les traits de ton Père après vingt ans d'exil et agé de 53 ans — 15 Juin 1845» (Дорогая Сонечка, вот черты твоего отца после двадцати лет изгнания в возрасте 53 лет — 15 июня 1845).

168. **Поджио, Иосиф Викторович** (1792—1848).
Дагерротип А. Давиньона 1845 г.
9×7.2 — № 530.
Ниже колен, 3/4 вправо. Пробор справа, вьющиеся на висках волосы, большие усы. В темном сюртуке и светлых брюках, в темном жилете, с галстуком и белым воротничком, с цепочкой у жилета. Сидит, слегка откинувшись назад, положив ногу на ногу, облокотясь на столик правой рукой, в которой держит трубку с длинным чубуком. Левая, согнутая в локте, в кармане.
На обороте — фирменная этикетка: «Дагеротип А. Давиньона».
Внизу чернилами: «Ma chère Natachinka — voici les traits de ton Père 15 Juin 1845» (Дорогая Наташенька, вот черты твоего отца 15 июня 1845).

в. Фотографии

169. **Аврамов, Павел Васильевич** (1791—1836).
С рисунка неизвестного художника.
9×6 — № 23208/1.
Погрудный, 3/4 влево. Бритый; в меховой шапке и шубе.
В альбоме М. И. Семевского.
Внизу рукою А. Е. Розена: «Пав. Вас. Аврамов».

170. **Анненкова, Прасковья Егоровна** (рожденная Полина Гебль) (1800—1876).
Фотография Б. Барро, Нижний-Новгород, после 1867 г.
9×6 — № 23208/3.
Ниже пояса, 3/4 влево. В бархатном жакете, в наколке. Стоит, с лорнетом в руке.
В альбоме М. И. Семевского.

171. **Анненкова, Прасковья Егоровна** (1800—1876).
Фотограф не известен. 1870-е годы.
22×18 — № 31955.
В более позднем возрасте. Поколенный, 3/4 влево. С шалью на плечах, в чепце и шарфе. Стоит, с зонтиком в руках.
Дар Е. К. Гагариной (внучки П. Е. Анненковой), 1927 г.

172. **Басаргин, Николай Васильевич** (1799—1861).
Фотограф не известен. Конец 1850-х годов.
9×6 — № 23208/4.
Поясной, 3/4 вправо; в сюртуке и глухом жилете. Сидит, облокотясь.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Николай Вас. Басаргин».

173. **Батеньков, Гавриил Степанович** (1793—1863).
Снимок Е. И. Якушкина (?). 1850-е годы.
19.3×15 — № 22829.
Поколенный, 3/4 влево. В сюртуке. Сидит, скрестив руки. Рядом, на столике, портрет Е. С. Волконской (дочери декабриста), перчатки и шапка.
Овал. Лицо и фигура покрыты лаком.

Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, занимался изготовлением фотографических (и литографированных) портретов декабристов. О манере его покрывать фотографии лаком он упоминает в своем письме к И. И. Пущину из Москвы 23 сентября 1857 г. Там же он сообщает: «Фотографическое заведение мое увеличилось еще двумя портретами: Волконского и Батенькова — в октябре надеюсь доставить их вам».

Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 472.

174. **Батеньков, Гавриил Степанович** (1793—1863).
Копия с того же портрета.
11×9 — № 22595.
Поясной, в четыреугольнике.
Из числа поступивших в Пушкинский Дом в 1926 г. из архива А. Д. Свербеева снимков с рисунков и фотографий в альбоме А. П. Елагиной.

175. **Батеньков, Гавриил Степанович** (1793—1863).
Фотограф не известен.
9×6 — 23208/7.
Ниже колен, 3/4 вправо. Седой. Сидит, скрестив руки. Рядом, на столике цилиндр.
Отпечаток с имеющегося в музее негатива № 60731, являющегося репродукцией портрета.

176. **Беляев, Александр Петрович** (1803—1885).
Фотография Шерер и Набгольц, Москва, 1865.
9×6 — № 23208/15.
В рост, 3/4 вправо. Сидит на стуле, у круглого стола, положив ногу на ногу; в сюртуке.
В альбоме М. И. Семевского.

177. **Бестужев, Михаил Александрович** (1800—1871).
Фотография С. Л. Левицкого, Петербург, 1860-е годы.
9×6 — 23208/9.
Погрудный, 3/4 влево. В сюртуке.
Из альбома М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Мих. Александр. Бестужев».

178. **Бестужев, Николай Александрович** (1791—1855).
С автопортрета маслом (оригинал в Пушкинском Доме № КП 6043). Деталь.
12.3×10.5 (в свету) — № 3186.
Погрудный, 3/4 вправо. Молодой, с баками. Голова слегка наклонена. В белой рубашке с отложным воротником, с клетчатым галстуком, в темном жилете.
Снимок подкрашен акварелью. На обороте рукой Н. А. Котляревского: «Николай Александрович Бестужев. Из коллекции М. И. Семевского».
(Н. М. Ченцов. Восстание декабристов. Библиография, № 4169; Альбом Пушкинской выставки в Москве, М., 1899, табл. 38 значится в собрании П. А. Ефремова).

179. **Бобрищев-Пушкин, Павел Сергеевич** (1802—1865).
Фотография «Петербург» в Москве.

9×6 — № 23208/13.

Поясной, 3/4 вправо. С округленной седой бородой и темными усами. В расстегнутом сюртуке и атласном жилете.

В альбоме М. И. Семевского из собрания М. А. Назимова.

180. **Вегелин, Александр Иванович** (? — 1860).

С портрета карандашом и углем, находившегося в Эссенском майорате Мексгоф, близ г. Юрьева.

21.5×16 — № 29830.

Погрудный, 3/4 вправо. Молодой, в военной форме.

От Б. Л. Модзалевского, получившего его от Н. К. Эссена.

181. **Волконская, Мария Николаевна** (рожденная Раевская) (1805—1863).

С акварели неизвестного художника 1820-х годов. Местонахождение оригинала не известно. В начале века принадлежал С. М. Волконскому.

13×10 — № 25807.

Поясной, 3/4 вправо. С высокой прической, с локонами. В открытом платье, с вышитой по краям косынкой на плечах.

На паспарту, на оригинале, надпись карандашом: «Je confie aux soins de ma bonne soeur Sophie celle qui avait assuré mon bonheur détruit par moi».[1]

«Остался . . . акварельный портрет Марии Николаевны, который ему <С. Г. Волконскому> разрешено было иметь в крепости. Этот портрет он перед уходом в Сибирь оставил сестре со следующей на нем надписью: „Je confie aux soins. . .“».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 33.

182. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863), с сыном Николаем.

С акварели П. Ф. Соколова, 1826. Местонахождение оригинала не известно. Принадлежал Е. С. Волконской, дочери Марии Николаевны, и находился в 1910-х годах в ее имении Вейсбаховка Полтавской губернии.

14×11.5 — № 36415.

Ниже пояса, прямолинейный. Причесана на прямой пробор, с локонами. В открытом платье, с шарфом на голове. Держит на руках ребенка в рубашечке.

Рисунок сделан на листе восьмиугольной формы. Сфотографирован в вертикальном положении на столе, на фоне окна.

Дар В. А. Пыпиной.

Есть основания предполагать, что этот снимок сделан непосредственно с рисунка, находившегося в распоряжении С. М. Волконского в период подготовки им издания архива его предков.

История этого издания такова: в 1915 г. С. М. Волконский, внук декабриста, обнаружил в одном из шкафов в своей петербургской квартире архив своего деда. «Такое наследие обязывает, — пишет он в своих воспоминаниях. — Я решил заняться разработкой и изданием его. . . Издание взял на себя Е. А. Ляцкий. . . Предполагаемое издание должно было называться „Архив Декабриста“ и состоять из четырех частей: 1. До Сибири. 2. Заточение. 3. Поселение. 4. Возвращение. Иллюстрационный материал был мною сфотографирован».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 9.

Это свидетельство С. М. Волконского, характер снимка, римское «II» на его обороте (рисунок датируется 1826 годом и, следовательно, предполагался к воспроизведению именно во втором разделе издания), поступление снимка в музей

[1] Поручаю заботам моей доброй сестры Софии ту, которая составила мое счастье, разрушенное мной.

М. А. БЕСТУЖЕВ.
Фотография С. Левицкого. Пб., 1860-е годы. (См. № 177).

от В. А. Пыпиной, которой издатель Лялкий приходился зятем, — вот соображения, которые позволяют считать наш снимок непосредственной фотографией с рисунка, местонахождение которого в настоящее время не известно.

В период подготовки настоящего свода выяснилась история создания этого портрета.

В неопубликованном письме Марии Николаевны Волконской к сестре ее, Софье Николаевне Раевской, хранящемся в архиве Пушкинского Дома, она пишет ей из Петербурга 17 ноября 1826 г.: «Adieu, ma bien aimée Sophie, Соколов m'attend pour faire mon portrait et celui de notre enfant pour vous, ma chère Sophie, pour votre fête de naissance» (Прощай, моя дорогая Софья, Соколов ожидает меня, чтобы писать для тебя ко дню твоего рождения мой портрет и портрет нашего ребенка). 19 ноября того же года Мария Николаевна сообщает своему мужу, Сергею Григорьевичу: «Notre Nicolino se porte bien, tu auras sous peu son portrait et le mien par Sokoloff» (Наш Николино чувствует себя хорошо, скоро ты получишь его и мой портреты работы Соколова); и дальше: «Je te quitte, cher Ami, pour poser, le peintre m'attend» (Я покидаю тебя, мой Друг, чтобы позировать; художник ждет меня).

Повидимому, Соколов должен был повторить портрет для Сергея Григорьевича.

183. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Фотография Дисдери (Disderi), Париж, 1860.
9×6 — № 23208/17.
В рост, ¾ влево. В платье с кринолином и полосатой мантилье с капюшоном, надетым на голову. Стоит.
В альбоме М. И. Семевского.

184. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Фотография Дисдери, Париж, 1860.
9×6 — № 23208/18.
Одновременный снимок. В том же костюме. Сидит.
В альбоме М. И. Семевского.

185. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Фотография Дисдери, Париж, 1860.
9×6 — № 28268.
В рост, прямолинно. В том же костюме, но в шляпе под капюшоном. Стоит.
Из архива Волконских.

186. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Фотограф не известен. Снимок, близкий по времени к предыдущему или одновременный с ним.
10×7 — № 2441.
В рост, прямолинно. В длинном бархатном жакете и чепце с лентами. Сидит. Справа столик, на котором чернильница и книга.

187. **Волконская, Мария Николаевна** (1805—1863).
Фотограф не известен.
12.5×15.3 — № 26418.
На смертном одре. Поясной, ½ влево. Вокруг головы цветы.

188. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
С оригинала Г. Дау, 1822 г., масло.
Гос. Эрмитаж. Галлерея 1812 г.
17.5×15 (в свету) — № 23051.
Поясной, ¾ влево. С баками. В генеральском мундире, со звездой, множеством крестов и медалью.

«Этот портрет. . . находился в Зимнем Дворце, в галлерее Отечественной войны; после декабрьского восстания он был исключен из нее. Я хорошо помню на стене, сплошь занятой портретами, черный квадрат. В 1903 г. директор Эрмитажа Иван Александрович Всеволожский, обходя чердаки Зимнего Дворца, наткнулся на этот портрет и просил разрешения на водворение его на место. Таким образом, портрет, пробывший в ссылке 77 лет, возвращен 44-мя годами позднее, нежели тот, кто на нем изображен».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 102.

189. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Фотограф не известен. 1840-е годы (?).
С акварели Н. А. Бестужева. 7.5×6 — №28280.
Погрудный, 3/4 вправо. С темными усами и седыми баками, с сединой на висках. В расстегнутом сюртуке. Сидит, облокотясь левой рукой на спинку дивана (?).
Внизу справа — монограмма: «NB».
На паспарту чернилами: «Кн. Сергей Григ. Волконский, с акварели. Собств. В. Кн. Ник. М. Декабрист».

190. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Снимок Е. И. Якушкина конца 1850-х годов (?).
19.5×15.5 — № 1038.
Почти в рост, 3/4 влево. Седой. В сюртуке и светлых брюках. Сидит, облокотясь правой рукой на балюстраду; в той же руке держит меховую шапку, левой опирается на трость. Справа колонна.
Лицо и фигура покрыты лаком. (См. примечание к портрету Г. С. Батенькова, пор. № 173).

191. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Фотография С. Л. Левицкого, Париж, 1859 г. (?).
9×6 — № 53450.
В рост, 3/4 вправо. С длинными седыми волосами. Сидит в мягком кресле, с палкой в руке, около столика. Одет в длинный сюртук на атласной подкладке.

192. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Снимок, сделанный гр. Ностицем в Ницце в 1864 г.
9×6 — № 23208/20.
Ниже пояса, 3/4 вправо. С георгиевским крестом и медалью 1812 г. В пальто, с пледом на коленях, с шляпой и сигарой в руках. Сидит.
В альбоме М. И. Семевского.
На обороте рукой Б. Л. Модзалевского: «Снято в Ницце 3 мая 1864 гр. Ностицем».

«Сергей Григорьевич <Волконский> никогда не был тщеславен. . . Но одно его глубоко огорчало, — быть лишенным военных знаков отличия, свидетелей доблести его и преданности отечеству. . . За два с половиной года до смерти получил он эти знаки и уже не расставался с ними. Маленький георгиевский крест и крохотная медаль, перевязанные георгиевской ленточкой и пристроенные, чтобы носить их в петлице».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 127.

193. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Фотограф не известен. 1860-е годы.

9×6 — № 62994.
Погрудный, 3/4 вправо. Седые волосы, усы и борода. В сюртуке. Из архива Муравьевых.
Дар И. А. Муравьевой, Ленинград, 1949.

194. **Волконский, Сергей Григорьевич** (1788—1865).
Фотограф не известен. Между 1859 и 1865 гг.
14.3×18.5 — № 25947.
В группе, в семье дочери Елены Сергеевны Кочубей, в ее имении Вороньки. В рост (виден по грудь). Седой. Сидит в кресле на террасе.
На паспарту чернилами: «№ 1 Mr Pavia, 2 M-elle Henriette, 3 Papa, 4 M-me Barbe, 5 Papa beau-père ‹А. В. Кочубей, свекор Елены Сергеевны›, 6 M-r Ivanoff ‹по всей вероятности, художник Г. Иванов, гостивший у Кочубеев и рисовавший их портреты.[1] 7 Sacha, 8 M-r Etienne, 9 Pierre ‹Петр Аркадьевич Кочубей, брат мужа Елены Сергеевны›, 10 Louise, 11 Serge ‹малолетний сын Елены Сергеевны›, 12 Маша ‹прислуга Волконских, Мария Матвеевна Мальцева (?), выехавшая по просьбе Марии Николаевны к ней в Сибирь, вернувшаяся с ней оттуда и пережившая ее›, 13 Nelly ‹Е. С. Кочубей(?)›, 14 Chien de la maison» ‹домашняя собака›.

195. **Глинка, Федор Николаевич** (1786—1880), с женой Евдокией Павловной.
Фотография Ж. Гох (Jean Hoch), Петербург. Конец 1850-х—начало 1860-х годов.
9×6 — № 28430.
Оба в рост. Ф. Н. стоит, во фраке, с орденами и медалями; на левую руку накинута шуба. Е. П. сидит, облокотясь на балюстраду.

196. **Голицын, Валерьян Михайлович** (1803—1859).
Фотограф не известен. 1850-е годы.
9×6 — № 23208/24.
Поясной, 3/4 влево. В сюртуке. Сидит.
В альбоме М. И. Семевского.

197. **Горбачевский, Иван Иванович** (1800—1869).
Фотография Кестерера, Иркутск.
9×6 — № 23208/27.
Ниже пояса, 3/4 влево. С седыми бакенбардами и большими усами. В расстегнутом сюртуке. Сидит. Пальцы рук переплетены.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Ив. Ив. Горбачевский».

198. **Давыдова, Александра Ивановна** (жена декабриста).
Фотография С. Л. Левицкого, Петербург.
8.5×5.5 — № 19937.

---

[1] См.: Портреты декабристов в собрании Музея (Гос. Истор. музей). М., Изд. «Работник просвещения», 1927. Портрет С. Г. Волконского в имении Елены Сергеевны.

В старости. В рост, прямолинейно. В шапке. Сидит, с книгой в руках.

199. **Ентальцев, Андрей Васильевич** (1788—1845).
С рисунка карандашом неизвестного художника. Фотография Шенфельда и К°, Петербург.
9×6 — № 7726.
Погрудный, ½ вправо (виден левый глаз). С седыми волосами и небольшими усами. В сюртуке, обшитом тесьмой, с широким черным галстуком и стоячим белым воротничком.
На обороте рукою А. Е. Розена: «Андрей Васильевич Ентальцев».

200. **Завалишин, Дмитрий Иринархович** (1804—1892).
Фотограф не известен. 1860-е годы.
9×6 — № 23208/31.
В рост, ¾ влево. Лицо бритое, волосы начесаны на виски. В растегнутом однобортном сюртуке и глухом жилете. Стоит у балюстрады, обставленной цветами.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Дмитр. Ирин. Завалишин».

201. **Завалишин, Дмитрий Иринархович** (1804—1892).
Фотограф не известен. 1867—1868.
8.5×5.5.
Ниже колен, ¾ вправо. Пробор с левой стороны, лицо бритое. Сидит, положив руки на колени. В сюртуке, застегнутом на верхнюю пуговицу.
Пушкинский Дом, Рукописный отдел, архив С. Н. Шубинского, фонд 343 — № 6.

«Посылаю вам при сем, по желанию вашему, свою карточку; не помню, когда снято, в 1867 или 68 году, но во всяком случае не ближе десяти лет тому назад. Говорят, похоже и теперь, судить не могу».

Д. И. Завалишин — С. Н. Шубинскому, 19 апреля 1878 г., Москва.

202. **Загорецкий, Николай Александрович** (1796—1885).
Фотография Трупова, Москва.
14×9.5 — № 22173.
Поясной, ¾ влево. Борода сбрита, седые усы. В расстегнутом сюртуке. В овале.

203. **Загорецкий, Николай Александрович** (1796—1885).
Фотограф не известен. Копия (?).
9×6 — № 23208/84.
Погрудный, ¾ вправо. Седые волосы и большие седые усы. В сюртуке.
В альбоме М. И. Семевского, из архива С. Г. Волконского.

204. **Ивашев, Василий Петрович** (1794—1840).
С автопортрета карандашом 1836—1837 гг. (по семейным преданиям).
10.5×7.5 (в свету) — № 3805.
Погрудный, ¾ вправо. Бритый. В светлом сюртуке, застегнутом на одну пуговицу, с высоким черным галстуком.

205. **Ивашев, Василий Петрович** (1794—1840).
С портрета маслом работы неизвестного художника.
9×6 — № 23208/33.
Поясной, ³/₄ влево. В шестнадцатилетнем возрасте. В мундире камер-пажа, с треуголкой под левой рукой; правая заложена за борт мундира. В овале.
В альбоме М. И. Семевского, из собрания М. А. Назимова.

206. **Ивашева, Камилла Петровна** (1808—1839), рожд. ле-Дантю, жена декабриста.
С акварели работы В. П. Ивашева 1830-х годов (по семейным преданиям).
13.5×10 — № 3806.
Поясной, ³/₄ вправо. С шарфом на голове.

207. **Кашкин, Сергей Николаевич** (1799—1868).
Фотограф не известен.
12.5×9.3 — № 63951.
На смертном одре. Поясной, ½ влево.

208. **Киреев, Иван Васильевич** 1801(1803?)—1866.
Фотография Трунова, Москва. Конец 1860-х годов.
9×5.4 — № 7825.
В рост, ³/₄ влево. Сидит. Рядом стоит сын Алексей в кадетской форме (родился в 1855 г.).

209. **Лачинов, Евдоким Емельянович** (1799—1875).
С цинкографии. По фотографии, принадлежавшей С. А. Стрижевскому. Перепечатка из «Известий Воронежского краеведческого общества» (1926, № 7—9, январь—март).
13×9 — № 27771.
В рост, ³/₄ влево. В очках. В светлых брюках и черном сюртуке. Стоит, облокотясь на тумбочку с цветами.

210. **Лорер, Николай Иванович** (1795—1873).
Фотограф не известен. 1865 (?).
9×6 — № 23208/36.
Поясной, ³/₄ влево. С баками; волосы начесаны на виски. В сюртуке и открытом жилете.
На обороте чернилами: «Подар. Андрею Евгеньевичу Розену от Лорера 1865».
В альбоме М. И. Семевского.

211. **Лорер, Николай Иванович** (1795—1873).
С портрета маслом работы неизвестного художника. 1830-е годы (?).
9×6 — № 23208/37.
Ниже пояса, ³/₄ вправо. С усами и баками. В военном мундире, с палкой в левой руке; на фоне горной цепи.
В альбоме М. И. Семевского, из коллекции Решко.

212. **Муравьев, Александр Михайлович** (1802—1853).
Снимок с барельефа, сделанного в Тобольске ссыльным уголовщиком Цезиком. Фотография Я. Я. Фидлермана, Тобольск.
12×9 — № 29432.

Поясной, ½ влево. С баками. В рубашке с растегнутым воротником и в спущенном с плеч халате.

213. **Муравьев, Александр Николаевич** (1792—1863).
Фотограф не известен.
9×6 — № 23208/46.
Поясной, ³/₄ вправо. С бакенбардами, седой. В военном сюртуке. Сидит. В овале.

В альбоме М. И. Семевского, из архива С. Г. Волконского.

214. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Со снимка неизвестного фотографа. 1857 г. Копия. Фотография И. Хмелевского, Полтава.
13.5×10 — № 29836.
Ниже колен, ³/₄ вправо. В шубе, накинутой на левое плечо, сидит.
На обороте чернилами: «Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Декабрист в год возвращения из Сибири».

215. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Снимок Е. И. Якушкина (?), 1850—1860-е годы.
25×19.3 — № 43257.
Поколенный, почти прямоличный. В бурке с откинутым назад капюшоном. Сидит, облокотясь на столик. Левая рука на коленях.
Снимок покрыт неровными слоями лака. (См. примечание к портрету Г. С. Батенькова, пор. № 173 и письмо Е. И. Якушкина к И. И. Пущину из Москвы от 6 мая 1857 г.: «В конце мая начнется фабрикация портретов Матвея Апостола, Волконского, Батенькова и Трубецкого», — Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 469).

216. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Со снимка неизвестного фотографа. 1850-е годы.
14×10 — № 50004.
Ниже колен, ³/₄ влево. Одет в халат. Сидит в плетеном кресле; в левой руке чубук, правая на локотнике; за спиной подушка.
Из собрания В. И. Семевского.

217. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Фотограф не известен. Конец 1850-х—начало 1860-х годов.
9×6 — № 23208/63.
Поясной, ³/₄ влево. С бородой. В пиджаке и глухом жилете. Сидит, со сложенными руками.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Матв. Ив. Муравьев-Апостол».

218. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Фотограф не известен. 1870-е годы.
9×6 — № 29835.
Поясной, ³/₄ влево. С бородой и усами. В пиджаке. С Кульмским крестом на груди.
На обороте чернилами: «На возвращение последнего декабриста Матвея Ивановича.

«Но дерево, одно из трех, спаслось
И из страны далекой и холодной
Опять в свой край перенеслось —
Все с тою же осанкой благородной.

И кругом его семья цветет,
И дружба веет страннику отрадой,
Страдания уже сменил почет
И уважение ему наградой.

Ноября. . . 1861 г. (? Тверь».

Добавление, посвященное М. И. Муравьеву-Апостолу, сделанное Ф. Н. Глинкой к переведенной им с греческого элегии И. М. Муравьева-Апостола на казнь, гибель и ссылку трех его сыновей.

(Русский Архив, 1886, № 2, стр. 143).

Дар В. В. Тимофеевой-Починковской, 1925.

219. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Фотография Отто Ренар, Москва, 1883.
9×6 — № 23208/65.
Ниже колен, прямоличный. В сюртуке. С тремя крестами и медалью. Сидит в кресле, с палкой в правой руке.
В альбоме М. И. Семевского.

220. **Муравьев-Апостол, Матвей Иванович** (1793—1886).
Тот же портрет, увеличенный.
13.5×10 — № 29838.
На обороте — автограф чернилами: «Уважаемой Анне Григорьевне на память от Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. Москва. 1884 г.».
Дар А. Г. Достоевской.

221. **Муханов, Петр Александрович** (1799—1854).
С дагерротипа 1845 г. (Пушкинский дом, музей, № 59093).
13.2×10.5 — № 2941.
Ниже колен, $^3/_4$ вправо. Сидит боком на стуле, облокотясь на спинку, с палкой в правой руке.
Дар А. Н. Крузе, 1925.

222. **Муханов, Петр Александрович** (1799—1854).
С рисунка неизвестного художника. Фотография Я. А. Пекарского, Москва. Копия 1870-х (?) годов.
Ниже пояса, прямоличный. Длинные седые волосы, большие усы. Сидит, опираясь правой рукой на палку, заложив левую за борт сюртука.

223. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).
Фотограф не известен. 1850-е годы (?).
15.6×12.5 — № 2909.
Ниже колен, $^3/_4$ влево. Седой, с усами; в очках. В распахнутом сюртуке. Сидит на стуле, положив ногу на ногу, с карандашом в руке.
Овал. Снимок подкрашен.
На паспарту — автограф чернилами: «Михайло Назимов». Другим почерком: «Михаил Александрович Назимов, родом Пскович, Островского уезда село Горончарово. — Похоронен в Пскове».
Поступил от племянницы декабриста, Н. И. Назимовой, 1925.

224. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).
Фотография Виго (Vigaud), Псков, 1860-е годы.

9×6 — № 23208/67.

Поясной, прямоличный. Седой, с бакенбардами. В сюртуке. Сидит, скрестив руки.

В альбоме М. И. Семевского, из собрания М. А. Назимова.

225. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Фотограф не известен. 1870-е годы (?).

9×6 — № 23208/66.

Погрудный, 3/4 влево. Седой, с бородой. В сюртуке.

В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Мих. Александрович Назимов».

226. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Фотограф не известен. 1860-е годы.

9×6 — № 23208/68.

Поясной, 3/4 влево. Сидит, положив руку на руку. В сюртуке.

На обороте — автограф: «Милой сестре Полиньке, в монашестве сестре Павлине, от брата М. А. Назимова. 1863 г.».

В альбоме М. И. Семевского, из собрания М. А. Назимова.

227. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Фотограф не известен. 1860-е годы.

9×6 — № 23208/69.

В рост, прямоличный. С бакенбардами. В сюртуке. Сидит, облокотясь на столик; в правой руке пенснэ.

В альбоме М. И. Семевского.

228. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Фотография А. Гейста, Псков, 1870-е годы (?).

9×6 — № 23208/70.

Ниже колен, прямоличный, с бородой. В сюртуке и белом жилете. Сидит, положив руку на руку; в правой руке очки.

В альбоме М. И. Семевского.

229. **Назимов, Михаил Александрович** (1801—1888).

Фотограф не известен. Снимок одновременный с предыдущим.

9×6 — № 29840.

Ниже пояса, 3/4 вправо. В том же костюме.

Из альбома М. А. Назимова.

230. **Нарышкин, Михаил Михайлович** (1798—1863).

Фотограф не известен.

9×6 — № 23208/71.

В рост, 3/4 влево. Седой. Стоит у столика. В сюртуке.

В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Мих. Мих. Нарышкин».

231. **Нарышкина, Елизавета Петровна**, жена декабриста (1801—1867).

Тот же неизвестный фотограф. Снимок, одновременный с предыдущим (?).

9×6 — № 23208/72.

В рост, 3/4 вправо. В платье с оборками, в чепце с лентами, с шалью, спущенной с плеч. Стоит, положив левую руку на спинку стула.

В альбоме М. И. Семевского.

232. **Оболенский, Евгений Петрович** (1798—1865).
Фотограф не известен.
9×6 — № 23208/73.
В рост, прямоличный. Седой, с усами. Сидит в кресле, облокотясь левой рукой на балюстраду, положив ногу на ногу. В сюртуке.
В альбоме М. И. Семевского.

233. **Оболенский, Евгений Петрович** (1798—1865).
Фотограф не известен.
9×6 — № 47044.
Погрудный, прямоличный. Седой. В сюртуке.
Из альбома М. И. Семевского.

234. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).
С рисунка неизвестного художника.
9×6 — № 23208/78.
Поясной, прямоличный. С усами и небольшими баками. В сюртуке, с георгиевским крестом в петлице. Сидит, с палкой (чубуком?) в левой руке.
В альбоме М. И. Семевского.

235. **Орлов, Михаил Федорович** (1788—1842).
С оригинала Е. Плюшара (Pluchart), масло, 1840.
Фотография В. Каррика, Петербург.
12×9 — № 29841.
Погрудный, $^3/_4$ вправо. С усами и баками; в плаще.
Из архива М. И. Семевского, 1920.

236. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).
Фотограф не известен.
9×6 — № 23208/81.
Поясной, $^3/_4$ вправо. В старости. Сидит, заложив правую руку за борт сюртука. На плечи накинута светлая пелерина.
В альбоме М. И. Семевского, из коллекции Решко.

237. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).
Фотограф не известен. Копия того же портрета.
9×6 — № 23208/82.
Погрудный, до рук.
В альбоме М. И. Семевского. Неправильно аннотирован А. Е. Розеном как портрет Иосифа Поджио: «Иосиф Вик. Поджио 2-й».

238. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873), с дочерью Варей.
Фотография Л. Перини, Венеция, 1863.
9×6 — № 40641.
В рост, прямоличный. В пальто до полу. Стоит около тумбочки, положив правую руку на плечо стоящей перед ним дочери (в рост, прямолично, в светлой кофточке и юбке, опустив руки); в левой руке палка.

239. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).
Снимок с наброска карандашом неизвестного художника.
12.8×11.3 — № 520.

Погрудный, прямоличный, с короткими волосами, с эспаньолкой; опирается подбородком на скрещенные, высоко поднятые руки.

Внизу на оригинале: «Он верно лучше многих!».

[Н. М. Ченцов. Восстание декабристов. Библиография, стр. 713, № 4236; А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. I, ч. 1. М., 1927, стр. 147 (ошибочно назван рисунком)].

240. **Поджио, Александр Викторович** (1798—1873).

С рисунка карандашом неизвестного художника, очень напоминающего манеру К. Мазера. Фотография Л. Левицкого (?).

12×9 — № 40640.

Погрудный, 3/4 вправо. С длинными волосами, баками, большими усами и эспаньолкой. В распахнутом сюртуке, с высоким черным галстуком.

На обороте чернилами: «Александр Викторович Поджио. Фот. Л. Левицкого».

241. **Поджио, Иосиф Викторович** (1792—1848).

С дагерротипа 1845 г. (?).

Фотография Г. В. Трунова, Москва.

9×6 — № 23208/83.

Ниже пояса, 3/4 вправо. В сюртуке, с цепочкой у жилета. Сидит, облокотясь левой рукой; правая на коленях.

В альбоме М. И. Семевского.

242. **Пущин, Иван Иванович** (1798—1859).

Фотография Моисеева, Москва, 1856.

9×6 — № 23208/87.

Ниже пояса, почти прямоличный. Сидит, заложив правую руку за борт сюртука, левая на коленях.

Слева — колонна с надписью: «Москва. 1856».

В альбоме М. И. Семевского, из собрания М. А. Назимова.

243. Копия того же портрета.

Пересъемок Е. И. Якушкина (?).

24×18.5 — № 43261.

Увеличен и покрыт лаком. Надпись на колонне не видна.

Из архива И. М. Гедеонова.

Не об этом ли портрете Е. И. Якушкин спрашивает у И. И. Пущина в уже цитированном письме из Москвы от 23 сентября 1857 г. — «Посылаю вам два портрета: один покрытый лаком, другой нет, — не покрывать лаком, я думаю, лучше, — решите это сами и напишите мне, чтобы я мог распорядиться следующими экземплярами, которые уже работаются».

Летописи Гос. Лит. музея, кн. 3, Декабристы, М., 1938, стр. 472.

244. Копия того же портрета.

Фотография К. Булла, Петербург.

11.2×14.2 — № 26069.

На обороте — штамп Александровского лицейского музея и надпись чернилами: «Портрет лицеиста I к. Пущина».

245. **Пущин, Иван Иванович** (1798—1859).
Фотограф не известен.
7.5×4.5 — № 620.
В рост, 3/4 влево. Стоит, с палкой в левой руке; правая рука в кармане. В глухом сюртуке.
То же, на жести. 34.5×25 — № 371.

246. **Пущин, Михаил Иванович** (1800—1869).
Фотография Бергамаско, Петербург, 1860-е годы.
9×6 — № 23208/88.
Поясной, 3/4 вправо. В сюртуке, с георгиевским крестом в петлице. Сидит.
В альбоме М. И. Семевского.

247. **Пущин, Михаил Иванович** (1800—1869).
Фотограф не известен. Снимок, близкий по времени к предыдущему.
9×6 — № 23208/89.
Поясной, прямоличный. Седые волосы и усы. В расстегнутом сюртуке.
В альбоме М. И. Семевского.

248. **Раевский, Владимир Федосеевич** (1795—1872).
Фотография А. М. Иваницкого, Харьков, 1869.
12.5×10 (в свету) — № 22186.
Поясной, 3/4 вправо, в сюртуке. Сидит в кресле с высокой спинкой.

249. **Раевский, Владимир Федосеевич** (1795—1872).
Фотограф не известен, 1863 г.
14.3×9.7 — № 22185.
В рост, 3/4 влево. В пиджаке. Сидит на мягком стуле.
Снимок подготовлен для воспроизведения: закрашены верхняя часть фона и спинка стула, подрисована правая рука.
На обороте чернилами: «Владимир Федосеевич Раевский, декабрист-поэт. Родился 28-го мая 1795 г. Умер в 1872 г. Портрет 1863 г.».

250. **Розен, Андрей Евгеньевич** (1800—1884).
Фотограф не известен. Калуга, 1863 (?).
9×6 — № 23208/91.
В рост, 3/4 вправо. С цепью мирового посредника на шее. Сидит, с палкой в руке. Рядом, на балюстраде, цилиндр.
Внизу рукою А. Е. Розена чернилами: «Мировой посредник барон Андрей Розен».
В альбоме М. И. Семевского.

251. **Розен, Анна Васильевна.**
С рисунка неизвестного художника 1824 г.
9×6 — № 23208/90.
Погрудный, 3/4 влево. Прическа из косы с локонами. В открытом платье с кружевами вокруг шеи. В овале.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «баронесса Ан. Вас. Розен. Урожд. Малиновская. 1824».

252. **Рылеев, Кондратий Федорович** (1795—1826).
Предполагаемый портрет. Оригинал у профессора М. П. Алексеева, Ленинград.

13 × 11 — № 29846.

Поясной, 3/4 вправо. Пробор с левой стороны, небольшие усы. В сюртуке и белой рубашке со складками на груди; в узком черном галстуке. Сидит, с листом бумаги в руке.

(М. П. Алексеев. Предполагаемый портрет К. Ф. Рылеева. Газета «Наши дни», Киев, 1918, № 19).

Дар профессора М. П. Алексеева.

253. **Свистунов, Петр Николаевич** (1803—1889).

Фотограф не известен. 1860-е годы.

9×6 — № 23208/98.

Ниже пояса, 3/4 влево. С усами и бакенбардами. В расстегнутом пиджаке. Сидит, облокотясь левой рукой, поддерживая ею голову.

На обороте чернилами: «Николаю Сергеевичу Кашкину П. Свистунов. Калуга 29 марта 1863».

В альбоме М. И. Семевского.

254. **Свистунов, Петр Николаевич** (1803—1889).

Фотограф не известен. 1860-е годы (?).

9×6 — № 23208/99.

Поясной, 3/4 влево. С вьющимися волосами, с большими усами и бакенбардами. В куртке. Сидит, облокотясь левой рукой, опустив правую в карман.

В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Петр Ник. Свистунов».

255. **Свистунов, Петр Николаевич** (1803—1889).

Фотограф не известен.

9×6 — № 23208/96.

Поясной, 3/4 вправо. С вьющимися волосами, с усами и бакенбардами. В сюртуке и открытом жилете, с пенснэ на шнурке. Сидит, облокотясь на спинку стула.

В альбоме М. И. Семевского, из коллекции Решко.

256. **Свистунов, Петр Николаевич** (1803—1889).

Фотография Е. М. Симонова, Москва, 1888.

9×6 — № 40366.

Погрудный, прямоличный. В расстегнутой шубе.

На лицевой стороне чернилами: «Петр Николаевич Свистунов послед. декабрист 1888 мая 25 Москва». На обороте чернилами: «Михаилу Ивановичу Семевскому Петр Свистунов. Москва 24 мая 1888».

257. **Сутгоф, Александр Николаевич** (1801—1872).

Фотограф не известен. 1850-е годы.

9×6 — № 23208/100.

В рост, 3/4 вправо. Стоит, опираясь левой рукой на тумбочку. С седыми усами. В военном мундире, при шпаге, с кепи в опущенной руке.

В альбоме М. И. Семевского.

258. **Сутгоф, Александр Николаевич** (1801—1872).

Фотограф не известен, 1857 (?).

9×6 — № 23208/101.

Ниже пояса, 3/4 вправо. В военной форме, с портупеей.
На обороте карандашом: «1857 г.».
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Александр Никол. Сутгов сконч. 1872».

259. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
Фотография С. Л. Левицкого, конец 1850-х годов.
9×6 — № 22190.
В рост, 3/4 вправо. В сюртуке. Сидит у столика, опираясь обеими руками на палку.

260. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
Фотограф не известен.
9×6 — № 23208/103.
Погрудный, 3/4 вправо. Седые волосы и борода, темные усы. В пальто (?). Сидит, облокотясь левой рукой.
В альбоме М. И. Семевского.

261. **Трубецкой, Сергей Петрович** (1790—1860).
С рисунка неизвестного художника.
10×7 — № 22188.
Поясной, ½ вправо. Молодой. Сидит в кресле. В полурасстегнутом жилете со стоячим воротником, в черном галстуке.

262. **Тургенев, Николай Иванович** (1789—1871).
Фотография М. Алофа (M. Alophe), Париж.
29×20 — № 47197.
Ниже колен, 3/4 вправо. Без усов, с седеющей бородой. В сюртуке, с моноклем, спущенным на шнурке. Сидит, положив левую руку на локотник стула.

263. **Тургенев, Николай Иванович** (1789—1871).
Увеличенная копия предыдущего портрета.
Фотограф не известен.
74×50 — № 11607.

264. **Тучков, Алексей Алексеевич** (1800—около 1879).
Фотография Г. Мапи и К°, Пенза.
9×6 — № 43308.
Ниже пояса, 3/4 влево. В старости. С бородой и усами. Сидит на стуле, положив руки на колени.
На обороте чернилами: «Милому другу и дочери моей Наталье Алексеевне Огаревой».

265. **Фаленберг, Петр Иванович** (1791—1873).
Фотограф не известен. Конец 1850-х—начало 1860-х годов.
9×6 — № 23208/106.
Погрудный, 3/4 влево. Без бороды, с усами. В глухом жилете и расстегнутом сюртуке.
В альбоме М. И. Семевского. Внизу рукою А. Е. Розена: «Петр Ив. Фаленберг. Сконч. 1873 Февр. 10 дня».

266. **Фонвизина, Наталья Дмитриевна** (1805—1869).
Фотограф не известен. 1860-е годы.

9×6 — № 40644.
Ниже колен, прямолинейный. Сидит, облокотясь левой рукой на столик. В овале.
Из архива С. Г. Волконского.

267. **Цебриков, Николай Романович** (1800—1866).
Фотограф не известен.
9×6 — № 23208/111.
Поколенный, 3/4 вправо. Седой. В сюртуке. Сидит, с палкой в руке. Рядом на столике шапка.
В альбоме М. И. Семевского, из коллекции Решко.

268. **Штейнгель, Владимир Иванович** (1783—1862).
С портрета маслом, принадлежавшего А. В. Баранову (1884).
16.6×12.3 — № 1990.
Ниже пояса, 3/4 вправо. Седой. Сидит, заложив левую руку за борт сюртука; с медалью 1812 года в петлице. Внизу, в овале, герб с короной и надписью: «Ex lapide salus, ex ducis gloria» (Из камня соль, от вождя слава).
На обороте: «Барон Владимир Иванович Штейнгейль. Фотография снята с портрета, имеющегося у А. В. Баранова». Ниже тем же почерком: «Его Превосходительству Михаилу Ивановичу Семевскому, г. Бирск. . . марта 1884 г.». Рукою Михаила Ивановича Семевского: «От Б. Андрея Владимировича Штейнгейля».

269. **Штейнгель, Владимир Иванович** (1783—1862).
Фотограф не известен. Конец 1850-х—начало 1860-х годов.
9×6 — № 23208/110.
Ниже пояса, 3/4 вправо. Седые волосы, усы и борода. С медалью 1812 года в петлице. Сидит, заложив правую руку за борт сюртука, левой упираясь в колени.
Альбом М. И. Семевского, из коллекции Решко.

270. **Юшневский, Алексей Петрович** (1786—1844).
С рисунка неизвестного художника. 1820-е годы.
9×6 — № 23208/112.
Погрудный, 3/4 вправо. Бритый. В мундире, с крестом на шее.
В альбоме М. И. Семевского, из архива С. Г. Волконского.

271. **Якубович, Александр Иванович** (1792—1845).
С рисунка Н. А. Бестужева, 1829.
8×6 — № 23208/113.
Погрудный, 3/4 вправо. С большими усами. В сюртуке с пышными рукавами.
Внизу слева: «Н. Б. — 1829».
В альбоме М. И. Семевского, из архива С. Г. Волконского.

272. **Якушкин, Иван Дмитриевич** (1796—1857).
Фотограф не известен.
21.2×17.5 — № 3022.
В гробу. Поколенный, со сложенными на груди руками.
Овал. Снимок подкрашен тушью.

II. ГРУППЫ И СОБЫТИЯ

273. В. К. Кюхельбекер, профессоры и служащие Лицея.
Спасение утопающего Кюхельбекера.
Карикатура А. Д. Илличевского. 1815.
Бумага, акварель, перо. 18.4×23.8.
Тонущего Кюхельбекера тащат багром сидящие в лодке профессоры и служащие.
Справа вверху карандашом: «Сцена из ‹неразборчиво› профессоров».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ — фонд 244, оп. 25, № 152, лист 82. (Лицейский Мудрец, 1815, № 3).
(К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 291).

274. Группа: В. К. Кюхельбекер, гувернер К. Б. Мейер и П. И. Мясоедов.
Карикатура А. Д. Илличевского. 1815.
Бумага, акварель, перо. 17×18.
Мясоедов с ослиной головой.
На изображении слева внизу: «Ill. pinx.».
На изображении слева направо под фигурами карандашом: «Мясоед. Гувер. Мейер. Кюх.».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ — фонд 244, оп. 25, № 152, лист 20 (Лицейский Мудрец, 1815, № 1).
(К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 266).

275. Пушкин среди декабристов в Каменке.
Д. Н. Кардовский. 1934.
Бумага, тушь, перо. 23.3×33.3 (в свету) — № 23053.
Слева направо: М. И. Муравьев-Апостол, В. Л. Давыдов, И. Д. Якушкин, М. Ф. Орлов, С. Г. Волконский (стоит), А. С. Пушкин (стоит), А. Н. Раевский, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин (стоит), А. И. Мозалевский, А. И. Борисов (стоит), А. П. Юшневский.
Справа внизу — монограмма художника и дата: «Д. К. 34».
Приобретено у Д. Н. Кардовского 20 I 1934.
(А. С. Пушкин в изобразительном искусстве. Литер. ред. А. Л. Слонимского, худож. ред. и комментарии Э. Ф. Голлербаха. Изогиз, Л., 1937, стр. 27; А. С. Пушкин в портретах и иллюстрациях. Пособие для учащихся средней школы. Составили Э. Ф. Голлербах и В. Е. Евгеньев-Максимов. Учпедгиз, М.—Л., 1937, стр. 34).

276. Семиконечная звезда.
Д. М. Соболевский. 1825.
Бумага, акварель, цветн. карандаш. 30×37.3 (в свету) — № 1268.
Сидят: В. П. Зубков (второй слева), Б. К. Данзас (третий слева), И. И. Пущин (пятый слева). Стоит И. Н. Горсткин (второй слева). Остальные четверо: А. П. Бакунин, П. И. Колошин, В. П. Пальчиков, П. Д. Черкасский.
Поступил от Т. Б. Семечкиной, дочери Б. К. Данзаса.

«Заметка о портретах»

«За несколько месяцев до смерти императора Александра я предложил всем моим друзьям заказать литографии наших портретов, для того чтобы все они были у каждого из нас. Мы думали, что иметь их было бы интересно и приятно, особенно спустя несколько лет, когда положение каждого из нас изменится.

«Мое предложение было принято, и г. Соболевский нарисовал карандашом очень милую группу; я предложил послать литографировать ее в Париж, но так как ко времени окончания этого рисунка Пущин собирался в Петербург, мы решили поручить рисунок ему для заказа литографии с него в этом городе. Группа состояла из Пущина, Колошина, Бакунина, Пальчикова, Данзаса, Горсткина, Черкасского и меня. Когда она была окончена, ее поместили под стекло, и так как она отличалась сходством и хорошей композицией, ее показывали всем желающим и, между прочим, генерал-губернатору. К тому же, так как эти портреты были сделаны без всякой задней мысли, из них не делали никакой тайны. Пущин отвез их в Петербург. После события 14-го декабря стали говорить в Москве, что рисунок изображал членов заговора, что в небе была звезда с количеством лучей, равным числу заговорщиков, что, наконец, вокруг звезды было написано: „соединенные друзья“. . . В действительности Следственная комиссия не знала этого рисунка или, по крайней мере, не говорила о нем».

В. П. Зубков. Рассказ о моем заключении в петербургской крепости (напечатано по-французски в сборнике: «Пушкин и его современники», СПб., 1906, вып. IV, стр. 126. Дано в переводе М. И. Гонтаевой).

«У Т. Б. Семечкиной сохранилась акварельная группа, на которой, между прочим, находятся портреты ее отца — Б. К. Данзаса и В. П. Зубкова; группа эта была на Пушкинской юбилейной выставке в Академии Наук в 1899 г. (см.: Альбом Пушкинской юбилейной выставки, под ред. Л. Н. Майкова и Б. Л. Модзалевского, М., 1899, каталог, № 309), причем, со слов Т. Б. Семечкиной, была неправильно названа группой лицеистов II выпуска (В. П. Зубков, напр., в Лицее не воспитывался). Предполагая, что эта группа именно та, о которой говорит Зубков, прилагаем ее к настоящему изданию по фотографии, любезно доставленной нам Т. Б. Семечкиной».

Примечание Б. Л. Модзалевского (Пушкин и его современники, СПб., 1906, вып. IV, стр. 95. — В этом же сборнике, стр. 94—95, опубликована настоящая группа).

277. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
К. И. Кольман. 1825.
Бумага, акварель. 17.3×26.1 — № КП 864.
На изображении справа внизу: «Ce 14 Decembre 1825».
До 1917 года хранился в музее П. И. Щукина.
(Русский Архив, 1893, № 5, стр. 108—109).

278. Нанесение смертельной раны графу Милорадовичу.
Э. (С.) Паннемакер. С рисунка А. И. Шарлеманя 1862 г.
Гравюра на дереве. 22×14 — № 48802.
Каховский стреляет в Милорадовича 14 декабря 1825 г. На изображении слева внизу: «Шарлемань. 1862»; справа внизу: «PANNEMAKER».
Под изображением чернилами: «Нанесение смертельной раны графу Милорадовичу 14 Декабря 1825 года с рисунка Шарлеманя, принадлежащего графу Г. А. Милорадовичу».
(Н. К. Шильдер. Император Николай I, т. I. СПб., изд. А. С. Суворина, 1903, стр. 448).

279. Восстание на Сенатской площади.
Н. В. Кузьмин. 1936.
Бумага, акварель. 25.5×36 (в свету) — № КП 4800.
Справа внизу — инициалы художника и дата: «Н. К. 1936».
Приобретено у художника Н. В. Кузьмина в 1938 г.

280. Подавление восстания Черниговского полка.
И. Симаков. 1920-е годы.
Картон, сепия, белила. 24.4×33.9 — № КП 3555.
Справа внизу на рисунке: «И. Симаков».

281. Допрос С. И. Муравьева-Апостола (1796—1826).
А. А. Ивановский. 1826.
Бумага, карандаш. 22×35.4
Слева С. И. Муравьев-Апостол. В рост, ½ вправо. В военном сюртуке без эполет. За столом Следственной комиссии: В. Ф. Адлерберг, А. Х. Бенкендорф, А. И. Татищев.
Под изображением чернилами: «Сергей Муравьев».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (№ 9294 — α III б. 72, лист 24).
(Музей Революции, сб. I, Пгр., 1923, стр. 62).

282. Заседание Следственной комиссии.
А. А. Ивановский. 1826.
Бумага, чернила, карандаш, перо. 22×35.4
На рисунке за столом слева направо: А. И. Татищев, А. Н. Голицын, А. И. Чернышев, П. В. Кутузов, В. В. Левашев, А. Х. Бенкендорф, В. Ф. Адлерберг. Стоит справа — неизвестный (А. Бестужев?). Возле каждого из названных лиц — надписи рукою Ивановского: «Татищев», «Галицын», «А. И. Черныш.», «В. В. Левашев», «П. В. Кут.», «А. Х. Бенкендорф» и «Адлерберг». Слева от стула П. В. Кутузова — свободный стул, под ним: «Мих. П. Очень хороший человек и жаль, что редко приезжал». В свободном промежутке между стульями Мих. Павл. и Кутузова: «И. И. Дибич». Параллельно фигуре неизвестного: «Слова А. Бестужева Мих. Пав. кто смел, тот грабит, а кто не смел, тот крадет». Все надписи сделаны карандашом, позднее обведенным чернилами.
Хранится в Рукописном Отделе ИРЛИ (№ 9294 — α III б. 72, лист 25).
(Музей Революции, сб. I, Пгр., 1923, стр. 66).

«...в шагах десяти от меня стоял стол, покрытый красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель Следственной комиссии Татищев, рядом с ним в. к. Михаил Павлович. С боку от Татищева сидели: князь Голицын (Александр Николаевич) и Дибич; третий стул был порожний (Левашева), четвертое место занимал Чернышев. По другую сторону стола около великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, записывал все сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставить императору сведения о ходе дела».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 86.

283. Декабристы в Читинском остроге.
Н. П. Репин. 1828.
Бумага, акварель. 21.8×33.7 (в свету) — № 3031.
Группа декабристов в бревенчатой камере.
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги, с надписью чернилами: «Внутренность 4 № Читинского каземата. Сутгоф, Фон-Визен, Лорер, Никита М. Муравьев, Ватковский, Якушкин, Александр Муравьев».
(Декабристы. 86 портретов. Изд. М. М. Зензинова, М., 1906).

В издании Зензинова фамилии лиц («П. А. Анненков, Крюков, князь А. И. <?> Барятинский, барон А. Е. Розен») не совпадают с надписью на рисунке. В этом же издании рисунок датируется 1829 годом. Это неверно, так как декабристы изображены в кандалах; кандалы же были сняты в 1828 г.

«30-го августа <1828 г.> комендант собрал нас всех вместе и прочел нам бумагу, в которой было сказано, что государь император, по представлению коменданта Нерчинских рудников Лепарского, дозволил ему снять железа с тех государственных преступников, которых он найдет того достойными. Лепарский сказал нам, что, находя всех нас достойными монаршей милости, он велит со всех нас снять оковы».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 141—142.

«В начале августа 1828 года прибыл фельдъегерь в Читу, никого не привез и не увез, ничего не узнали о причине приезда его, никакая не воспоследовала перемена для нас. В конце Сентября ожидали коменданта в Острог; он вошел в полной парадной форме, с новою лентою через плечо, собрал нас всех в кружок и объявил, что император, во внимание к нашему поведению, всемилостивейше приказал снять с нас кандалы».

А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 157.

«Н. П. Репин и И. В. Киреев сняли виды Читы и внутренность острога».

А. Е. Розен, ук. соч., стр. 157.

284. Декабристы на мельнице в Читинском остроге.
Н. П. Репин. 1828—1830.
Бумага, акварель. 21.8×30.3 (в свету) — № 3118.
Под акварелью чернилами: «Внутренность мельницы, Фон-Визен, Оболенский, Репин, Лорер, Аврамов, Якушкин, Бечаснов, Муханов, Папенька ‹и карандашом› Трубецкой».
Рисунок наклеен на лист бумаги, с водяным знаком: «1835 г.».
[Красная Панорама, 1926, № 1 (96), 1 января, стр. 8].

285. Вывод декабристов на прогулку в Чите.
Н. П. Репин. 1827—1830.
Бумага, акварель. 11.9×18 (в свету) — № КП 301.
Группа декабристов и конвойных у ворот тюрьмы. Декабристы в зимней одежде.

286. Вывод декабристов на прогулку в Чите.
Неизвестный художник-декабрист. 1828—1830.
Бумага, акварель. 5.8×10.3 (в свету) — № 3253.
Декабристы изображены в рост, в шубах и тулупах, под надзором конвойных. Справа высокий частокол.
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 32—33).

287. Декабристы в Петровском заводе.
И. Д. Якушкин, П. С. Бобрищев-Пушкин и М. К. Кюхельбекер.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1831.
Бумага, акварель. 13.9×14.9 (в свету) — № 3030.
Под каждой из фигур чернилами слева направо: «Якушкин», «Пушкин», «Кюхельбекер».
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «‹183›5 год».
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 32—33).

288. Декабристы в Ялуторовске.
М. С. Знаменский, конец 1840-х—1850-е годы (?).
Бумага, акварель, карандаш. 12.8×20.2 — № 3143.
Комната в доме И. И. Пущина. Слева направо в рост: М. И. Муравьев-Апостол, И. И. Пущин, В. К. Тизенгаузен, И. Д. Якушкин, Е. П. Оболенский (?), А. В. Ентальцева, на диване сидит С. Я. Знаменский, крайний справа — неизвестный.
Поступил из Иркутска от Владимира Сергеевича Манассеина 4 сентября 1925 г.
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 160—161).

289. Декабристы в Ялуторовске.
М. С. Знаменский. Конец 1840-х—1850-е годы (?).

Картон, масло. 20×29.3 — № 6097.

Комната в доме И. И. Пущина. Слева направо в рост: И. И. Пущин, И. Д. Якушкин, М. И. Муравьев-Апостол, А. В. Ентальцева, В. К. Тизенгаузен, С. Я. Знаменский.

Дар В. С. Манассеина 30 октября 1927 г.

290.[1] Группа декабристов и их близких в Ялуторовске, в саду Муравьевых, в 1840-х годах.

С рисунка акварелью М. С. Знаменского (местонахождение оригинала неизвестно).

Фотография Я. Я. Фидлермана, Тобольск.

14.5×9 — № 48288.

Группа изображена на террасе. Слева, на балюстраде, сидит И. Д. Якушкин, рядом с ним, у шахматного столика, В. К. Тизенгаузен, курящий трубку, и ссыльный Собаньский. Позади них, в дверях, священник С. Я. Знаменский; справа, вполоборота друг к другу, М. И. и М. К. Муравьевы-Апостол. Перед ними сидит на стуле А. В. Ентальцева. На заднем плане изображен самовар с кофейником на нем. У балюстрады дети: двое Сазонович, Знаменский и Аннушка, усыновленная Муравьевыми-Апостол. Одна из девочек играет с кошкой, другая подтягивается на руках к балюстраде; один мальчик стоит на выступе балюстрады, другой наполовину просунулся между ее столбиками.

III. ВИДЫ МЕСТ

291. Кронштадт.

Дом и надворные постройки.

А. А. Бестужев. 1814.

Бумага, карандаш. 21.8×34.5.

Изображены: фасад дома с улицы, со стороны сада, забор с воротами, сарай, колонна, план внутренних помещений дома.

Возле каждого изображения карандашом: «Фасад с улицы», «Фасад с саду», «Ворота», «Забор», «План», «Сарай». Наверху чернилами рукой А. А. Бестужева (?): «Труды Ал. Ал. Бестужева 1814 года Кронштат».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ, № 10065. LX б. 19.

292. Дом Пущиных в Петербурге (Мойка, 14).

Т. Н. Давид. 1936.

Бумага, карандаш. 22×32 — № КП 1361.

Справа внизу: «Т. Давид. 36 г.».

293. Дом, где жили братья Тургеневы в Петербурге, принадлежавший А. Н. Голицыну (Фонтанка, 20).

М. М. Гохштейн. 1934.

Холст, масло. 17.3×26.8 — № 59182.

294. Дом, где жили братья Тургеневы в Петербурге, принадлежавший А. Н. Голицыну (Фонтанка, 20).

Э. Б. Бернштейн. 1949.

Бумага, акварель. 24.5×35.3— № 63348/6.

Справа внизу: «Э. Бернштейн».

---

[1] Описание этой группы сделано М. И. Гонтаевой.

295. Дом, где жил Н. В. Всеволожский в Петербурге, принадлежавший Хованской (проспект Римского-Корсакова, 39).
Т. Н. Давид. 1936.
Бумага, карандаш. 24.4×34.2—№ КП 1355.
Справа внизу: «Т. Давид».

296. Дом, в котором жил И. И. Пущин в Москве.
Б. С. Земенков. 1941.
Бумага, гуашь. 29.9×40.9—№ Вр. 659.

297. Дом Лаваля на Английской набережной в Петербурге (набережная Красного Флота, 4).
Л. Б., 1948.
Бумага, акварель. 17.1×24 (в свету) —№ 60780.
Дом принадлежал графу Лавалю, отцу Е. И. Трубецкой (рожденной Лаваль).

«Каташа <Екатерина Ивановна Трубецкая, рожденная графиня Лаваль> была всем довольна, она, выросшая в великолепном доме Лаваля в С.-Петербурге, где она ходила по мраморным плитам, принадлежавшим Нерону и купленным ее матерью в Риме. . .».

М. Н. Волконская. Записки. Ред. П. Е. Щеголева, ГИЗ, Л., 1924, стр. 50.

298. Каменка. Именье Давыдовых.
Барский дом со стороны сада.
А. П. Пащенко. 1937.
Бумага, карандаш. 40×47.4 — № КП 3611.
Справа внизу: «А. П. 37».

299. Каменка. Именье Давыдовых.
Мельница, где собирались декабристы.
А. П. Пащенко. 1937.
Дерево, масло. 34.1×41.2 — № КП 5631.
Справа внизу: «А. Пащ. 37 р.».

300. Каменка. Именье Давыдовых.
Мельница, где собирались декабристы.
Юрченко. 1936—1937.
Бумага, акварель. 27.1×34.1 — № КП 321.

301. Камера декабриста в Петропавловской крепости.
Неизвестный художник.
Бумага, итальянский карандаш, белила. 17×19.3 (в свету) — № КП 7157.
Внутренний вид камеры с полукруглым сводом и решетчатым окном. Кровать, стол. В углу на первом плане — сидящая фигура декабриста. Внизу белилами: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» [Оставьте всякие надежды вы, входящие сюда (Данте. Божественная Комедия. Ад. Песнь III)].

«Меня передали плац-адъютанту Трусову; он связал вместе два конца своего носового платка, надел его мне на голову и повез в Алексеевский равелин. Переезжая подъемный мост, я вспомнил знаменитый стих: „Оставьте всякую надежду вы, которые сюда входите“. Про этот равелин говорили, что в него сажают только „забытых“ и что из него никто никогда не выходил».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 79.

302. Камера декабриста в Петропавловской крепости.

Неизвестный художник.

Бумага, карандаш. 17×22 (в свету) — № КП 1062.

Справа русская печь, возле нее стоит с трубкой декабрист. Слева кровать и табуретка с ночником; на стене кандалы.

[Портреты декабристов в собрании Музея (Гос. Истор. музей). Изд. «Работник Просвещения», М., 1927].

«Комната, в которую посадили меня, была 6 шагов длины и 4 ширины. Стены после наводнения 1824 года были покрыты пятнами; стекла были выкрашены белой краской, и внутри от них была вделана в окно крепкая железная решетка. Около окна в углу стояла кровать, на ней был тюфяк и госпитальное бумажное одеяло. Возле кровати стоял маленький столик, на нем кружка с водою — на кружке были вырезаны буквы „А. Р.“. В другом углу, против кровати была печь. В третьем углу, против печи, стульчак. Кроме того было еще два стула и на одном из них ночник».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 79—80.

303. Вид Читы.

Н. П. Репин и П. И. Фаленберг. 1827—1830.

Бумага, акварель. 30.2×39.5 — № 3135.

Слева дом врача Ильинского. В центре дом и сад С. Р. Лепарского.

Под изображением рукою А. Е. Розена чернилами: «Чита за Байкалом, снял П. Ив. Фаленберг, рисовал Н. П. Репин».

Карандашом рукою М. А. Бестужева: «Дом Ильинского. — Против него глубокая лощина (Чертова могила), которую мы заваливали землею. Дом и сад Лепарского».

(Советское Искусство, 1925, № 9, стр. 20).

«Н. П. Репин и И. В. Киреев сняли виды Читы и внутренность острога».

А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 157.

304. Чита. Чёртова могила.

И. В. Киреев.

Бумага, акварель. 10×15.2.

Справа одноэтажный деревянный дом. На крыльце женщина с ребенком. У дома две ели. Слева двухэтажный дом. На дороге женщина с хворостиной, гонящая корову, и двое мужчин (один из них на лошади). В глубине — дома, деревья и холмы.

На обороте чернилами рукою М. А. Бестужева: «На картинке изображено то место, где мы работали впервые по прибытии в Читу. Мы заваливали ров — который мы прозвали: Чертова могила. Так и до днесь его называют».

Акварель наклеена на лист в виде фронтисписа к письму М. А. Бестужева О. А. Бестужевой из Селенгинска 9 декабря 1841 г.

Хранится в Рукописном Отделе ИРЛИ, фонд № 604, архив братьев Бестужевых, № 13 (5582), лист 26.

(М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири, вып. 1. Изд. Иркутской секции научных работников, Иркутск, 1929, стр. 112—113).

305. Вид Читы.

Неизвестный художник-декабрист. 1829.

Бумага, сепия. 18.7×26.7 (в свету) — № 579.

Слева двухэтажный деревянный дом, посередине овраг (Чертова могила), вдали поросшая лесом гора, на улице три человеческих фигуры.

Под рисунком чернилами рукою И. И. Пущина: «Чита. 1829».

Из архива И. И. Пущина. Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.

306. Чита. Вид сада при комендантской квартире.

Н. А. Бестужев. 1828—1830.

Бумага, акварель. 27.5×34.5. — № 3140.

На первом плане слева рисующий Н. А. Бестужев (автопортрет).

Под рисунком карандашом рукою М. А. Бестужева: «Дьячковский каземат. Николай Бестужев. Дом и сад коменд. Лепарского»; чернилами рукою неизвестного: «Вид Сада при Комендантской квартире в С. Чите»; чернилами рукою А. Е. Розена: «Рисовал Николай Бестужев».

(Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 64—65).

В статье М. Ю. Барановской «Художник-декабрист Н. А. Бестужев» (Приложение I, № 7) значится: «Чита. Вид местности. Слева: рисует Н. А. Бестужев, за ним часовой. Акварель (автопортрет). 1829. ИЛИ (Пушкинский Дом). Ленинград».[1]

Вероятно, М. Ю. Барановская имеет в виду именно эту акварель (инв. № 3140), так как ничего другого, похожего на описание М. Ю. Барановской, в Музее Института русской литературы не имеется. Если это так, то в описании Барановской допущена неточность: часового за рисующим Н. А. Бестужевым на акварели нет.

«. . . кроме портретов его <работы Н. А. Бестужева> лучшими и любимейшими из работ были виды Читы и Петровска».

М. А. Бестужев (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 341).

307. Чита. Вид комендантского сада.

Н. А. Бестужев.[2] 1828—1830, или Н. П. Репин. 1827—1830.

Бумага, акварель. 22.8×31.6 — № 3025.

В центре водоем. На пригорке постройки, справа сад. На дороге женщина с двумя бадейками на коромысле. Вдали покрытые лесом горы.

Под изображением рукою М. А. Бестужева чернилами: «Вид Комендантского Сада в Чите».

На обороте карандашом: «Рисунок Н. П. Репина» (позднейшая запись).

308. Чита. Церковь и улица.

Н. П. Репин и П. И. Фаленберг. 1828—1830.

Бумага, акварель. 26.4×33.2 — № 3121.

На улице группа декабристов и часовой.

Под рисунком в центре чернилами: «Вид церкви в Селении Чита».

Справа рукою А. Е. Розена: «Снял инструментально П. Ив. Фаленберг, рисовал Н. П. Репин».

Под рисунком против двух фигур, стоящих в центре, — надпись карандашом рукою М. А. Бестужева: «Якушкин, Фонвизин». Под

[1] Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 44.

[2] М. Ю. Барановская этот рисунок приписывает Н. А. Бестужеву: см. ук. соч., Приложение III, № 10 (Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 48).

ЧИТА. ЦЕРКОВЬ И УЛИЦА.
Акварель Н. П. Репнина и П. И. Фаленберга. 1828—1830. (См. № 308).

рисунком против двух фигур, стоящих слева, карандашом рукою М. А. Бестужева: «Михаил Николай Бестужевы».

Рисунок сходен с № 577 (см. пор. № 309).

В работе М. Ю. Барановской «Художник-декабрист Н. А. Бестужев»[1] этот рисунок зарегистрирован (Приложение I, № 5), но толкование и воспроизведение надписей дано неверно и неполно: вместо «Снял инструментально П. Ив. Фаленберг» воспроизведено «Снимал, инструментовал Фаленберг». Надпись эта, как видно из нашего описания, сделана А. Е. Розеном, а не М. А. Бестужевым. Другие надписи, сделанные рукою М. А. Бестужева, у Барановской совсем не зафиксированы.

309. Чита. Церковь и улица.

Неизвестный художник-декабрист. 1830.

Бумага, сепия. 18.6×26.5 (в свету) — № 577.

На улице группа декабристов и часовой.

Под рисунком чернилами рукою И. И. Пущина: «Чита. 1830».

Рисунок сходен с № 3121 (см. пор. № 308).

Из архива И. И. Пущина. Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.

(Памяти декабристов. Изд. М. М. Зензинова, М., 1907, стр. 19).

310. Чита. Главная улица.

Неизвестный художник-декабрист. 1827—1830.

Бумага, акварель. 21.8×32.1. — № 3029.

Под рисунком чернилами: «Главная улица в Чите. Гауптвахта. Наш дом ‹княгини Трубецкой›. Дом коменданта Лепарского. Дом Муравьевой».

Слева над рисунком карандашом:

«1. Дом Муравьевой и ‹неразборчиво›.
2. Дом Трубецкой
3. Дом коменданта
4. Гауптвахта».

Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги, с водяным знаком: «183‹5›».

311. Чита. Ворота острога.

Неизвестный художник-декабрист. 1827—1830.

Бумага, тушь. 15.9×26.3 — № 3027.

Высокий частокол с закрытыми воротами, у ворот будка и часовой, на втором плане лесистые холмы.

Под рисунком на паспарту чернилами: «ворота Читинского острога».

Рисунок наклеен на лист писчей бумаги с водяным знаком: «1835 г.».

[Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского, СПб., 1904, стр. 69—70]. Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 226 (ошибочно назван Петровским заводом). А. И. Одоевский, Полное собрание стихотворений и писем. Подготовка текста, биографический очерк и комментарии И. А. Кубасова. Вступительная статья и редакция Д. Д. Благого. Academia, 1934, стр. 74—75.

---

[1] Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 44.

312. Чита. Двор острога.
И. В. Киреев. 1828—1830.
Бумага, акварель. 12×17.9 (в свету) — № КП 308.
Слева бревенчатое здание с маленькими решетчатыми окнами. Правее от него такие же здания, обнесенные высоким частоколом. За ним видна церковь. В центре обширный двор с деревьями и газонами. На дорожке пять декабристов.
Внизу на изображении — инициалы художника: «И. К.».

«Н. И. Репин и И. В. Киреев сняли виды Читы и внутренность острога».

А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 157.

313. Чита. Тын и часть двора Читинского острога.
М. С. Лунин. 1828—1830.
Бумага, акварель. 19.6×14.5 — № КП 586.
Изображен угол двора, окруженный тыном, за ним холмы, покрытые растительностью.

«У меня было два портрета Михаила Сергеевича Лунина собственной работы; на задней стороне одного из них — внутренность острожного двора».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 80.

Запись в инвентарной книге Государственного Музея Пушкина: «Рисунок был склеен с оборотной стороны с автопортретом М. С. Лунина (№ КП 585, см. пор. № 76). Был реставрирован и отделен от портрета».

314. Чита. Внутренний вид двора острога.
Неизвестный художник-декабрист. 1828—1830.
Бумага, акварель. 22.2×33.9—№ 3120.
Слева бревенчатое здание острога, рядом мастерские и дом И. И. Пущина и А. П. Юшневского. За домом высокий тын. На переднем плане фигуры гуляющих, газоны и деревья.
Под рисунком чернилами: «Острог. Внутренность Читинского Острога, Мастерские Юшневского и Пущина дом».
Рисунок наклеен на лист писчей бумаги с водяным знаком: ‹183›«5 г.».
(Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 32—33).

315. Чита. Второй острог. Паршки Волконского.
Н. А. Бестужев (?). 1828—1830.
Бумага, сепия. 17.5×21.4 (в свету) — № 3123.
Двор острога в лунную ночь. Справа — деревянный дом и паршки, слева — хозяйственные постройки. Все обнесено высоким частоколом.
Под изображением чернилами: «Дьячковской или второй читинской острог».
Рисунок наклеен на лист писчей бумаги с водяным знаком: «183‹5›».
(Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 128—129; Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского. СПб., 1904, стр. 75—76).

316. Чита. Жены декабристов у острога.
А. И. Одоевский или Н. П. Репин. 1827—1830.
Бумага, сепия. 10×12.2 (в свету) — № КП 302.

Возле высокого тына острога — две женские фигуры, справа у бревенчатого дома сидит часовой.

На обороте паспарту карандашом: «Чита. Жены декабристов у острога» (позднейшая запись). «Тын Читинского острога дек. Н. П. Репин» (позднейшая запись).

«Так как свидания допускались лишь два раза в неделю, мы ходили к тюремной ограде — высокому частоколу из толстых плохо соединенных бревен, таким образом можно было видеться и разговаривать».

М. Н. Волконская. Записки. Ред. П. Е. Щеголева, Л., 1924, стр. 52.

«. . . Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукою написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует тоже утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Псков, 13 декабря 1826.

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось. Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла, наконец, исполнить порученное поэтом».

И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Ред. и биографический очерк С. Я. Штрайха, М.—Л., ГИЗ, 1927, стр. 88—89.

«Когда я приехал в Читу, там были уже княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, Муравьева, Нарышкина, Ентальцева и Давыдова. Все они покинули родных и всех своих близких, а Муравьева и княгиня Волконская расстались с малолетними детьми своими, может быть, навсегда, и отправились в Сибирь с твердым желанием делить участь мужей своих и в надежде жить с ними вместе; но и эта скромная надежда для них не сбылась. По прибытии в Читу они имели только возможность видеться со своими мужьями два раза в неделю и всякий раз не более, как на несколько часов. Всякий день каждая из них подходила украдкой к частоколу, чтобы взглянуть на своего мужа и перемолвить с ним несколько слов, но и это утешение не всегда им удавалось: часовые имели строгое приказание никого не подпускать к острогу, и нередко случалось, что часовой, исполняя приказ начальства, отгонял посетительницу прикладом».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 126.

«Однажды, скоро по прибытии Фонвизиной, меня позвали к частоколу, у которого стояла княгиня Трубецкая с письмом в руке; она мне просунула его сквозь промежуток в частоколе и с искренней радостью передала мне добрую весть, что жене моей позволено приехать ко мне и взять с собой детей».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 138.

317. Чита. Река Чита — место купанья декабристов.
Н. А. Бестужев и П. И. Фаленберг. 1828 (?).
Бумага, акварель. 30×39 — № 3134.

Справа песчаный обрыв, внизу слева заливной луг и сад, обнесенный частоколом. Вдали постройки, за ними горы, покрытые лесом. У подножья обрыва женщина с бадейками на коромысле.

ЧИТА. ТЫН И ЧАСТЬ ДВОРА ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА.
Акварель М. С. Лушина. 1828—1830. (См. № 313).

Под изображением карандашом: «Речка Чита, где мы купались». Чернилами, рукою А. Е. Розена: «Снял П. И. Фаленберг, рисовал Николай Бестужев».

(Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 96—97).

«Когда стало совсем тепло, нас водили два раза в день купаться, человек по пятнадцати за один ‹раз› и, разумеется, за сильным конвоем. Для нашего купанья назначил комендант очень мелкий приток речки Читы, впадающей в Ингоду; место, где мы купались, было загорожено тыном. С тех, которые шли купаться, снимали железа, а по возвращении опять их надевали им».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 140—141.

318. Чита. Берег Ингоды.

Н. А. Бестужев. 1828—1830 или Н. П. Репин 1827—1830.

Бумага, акварель. 22.2×34.4 — № 3026.

Справа песчаный обрыв, внизу слева заливной луг и сад, обнесенный частоколом. Вдали постройки, за ними горы, покрытые лесом. У подножья обрыва женщина с корзиной.

Под изображением чернилами рукою М. А. Бестужева: «Берег Ингоды в Чите».

На обороте карандашом: «Рис. Н. П. Репина» (позднейшая запись).

Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги, с водяным знаком: «183‹5›».

М. Ю. Барановская приписывает этот рисунок Н. А. Бестужеву (М. Ю. Барановская. Художник-декабрист Н. А. Бестужев. Приложение III, № 9),[1] датируя его 1827—1830 г. Если считать, что эта акварель выполнена Н. А. Бестужевым, то датировать рисунок следует не раньше 1828 г., так как Н. Бестужев прибыл в Нерчинские рудники 13 декабря 1827 г., а на рисунке изображен летний пейзаж, следовательно, раньше лета 1828 г. рисунок не мог быть исполнен.

Рисунок опубликован в Полном собрании стихотворений и писем А. И. Одоевского (Academia, М., 1934, стр. 80—81).

В публикации рисунок приписывается Н. А. Бестужеву и ошибочно назван Петровским заводом.

«В то же самое время мы ежедневно ходили по три раза в день купаться, и уже не в загороженный приток Читы, но в самую Читу; а когда эта речка мельчала, нас водили купаться в Ингоду, отстоящую версты на две от каземата. Такие прогулки были для нас очень приятны, но, конечно, нисколько не забавляли наших конвойных, которым, с ружьем на плече, приходилось в иной день раз по шести совершать поход от каземата до Ингоды и обратно».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 144.

319. Чита. Временные остроги.

П. И. Фаленберг. 1827—1830.

Бумага, акварель. 24.4×35.

План временных острогов и окрестностей.

Латинскими буквами обозначены различные пункты на плане. Слева на изображении чернилами: «A: Большой Каземат (1. погреб 2. беседка 3. кладовая 4. флигель 5. парник) B: Малой Каземат (1. флигель 2. столярная) C: Дьячковский Каземат (1 и 2 флигеля) Д: Мельница E: Дом Трубецкого F: Дом Муравьева G:Д: Фон-Визина H: Д: Волконского K: Д: Анненкова L: Д: Нарышкина M: Дом Давыдова N: Кухня и общ: огород O: Баня P: Чертова могила R.R.R.: Дороги обработанные Госуд: Преступниками. S : S : S: Места купанья T: Церковь U: Дом Коменданта V: Парк Коменданта

[1] Труды Гос. Истор. музея, вып. XV, М., 1941, стр. 48.

W: Мост Коменд. X: Гоуптвахта a) Дом Ильинского b) Дом Смолянинова c) Дом Громова». Под изображением чернилами рукою А. Е. Розена: «Чита за Байкалом с временными острогами».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (фонд 604, архив братьев Бестужевых, № 30 (5571), лист 87).

320. Привал декабристов при переходе из Читы в Петровский завод.
И. В. Киреев. 1830-е годы.
Бумага, акварель. 10×15.2.

На первом плане группа декабристов. Слева возле дерева ряд юрт, повозка. Справа два бурята, юрта и часовой с ружьем. В глубине селение и лесистые холмы.

На обороте листа чернилами рукою М. А. Бестужева: «На приложенном виде изображено одно из наших становищ во время нашего путешествия из Читы в Петровск».

Акварель наклеена в виде фронтисписа к письму М. А. Бестужева Е. А. Бестужевой из Селенгинска 12 октября 1841 г.

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (фонд № 604, архив братьев Бестужевых, №№ 13/5582, лист 24).

(М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири, вып. 1. Изд. Иркутской секции научных работников, Иркутск, 1929, стр. 101).

«Нас вели степями, на которых были разбиваемы заблаговременно юрты прислугою из бурят. Сначала переходы мы делали небольшие, верст 15, 20, а потом более и более, но во всяком случае руководствовались приказаниями коменданта ставить юрты при чистых речках и красивых местоположениях. И точно. . . были местности восхитительные. Эти-то местности переносил на бумагу гоашью один из товарищей, В. П. <?> Киреев. . . Я для него сделал очень миленькое дамское колечко, подложенное китайским золотом, и крестик, оправленный в то же золото. Он спросил, чем ему отплатить мне. — „Нарисуй мне двенадцать маленьких копий с твоей коллекции, — так, чтобы они могли служить фронтисписами для писем". Ежели вы припомните, тогда существовала мода украшать письма литографированными видами, и я не боялся возбудить подозрения правительства, наклеивая их на свои письма к родным, интересовавшимся описанием нашего перехода из Читы в Петровск. К ним я присоединил описательный текст. Вероятно, вы найдете некоторые из них в числе прочих, присланных мною к Вам».

Воспоминания Бестужевых, М., 1931, стр. 260—261.

321. Юрты по дороге из Читы в Петровский завод.
Н. А. Бестужев (?). 1830.
Бумага, акварель. 18.6×28.9 — № 3032.

На первом плане и вдали фигуры декабристов и бурят. Слева под деревом юрты. Справа юрта и часовой. Вдали селение и лесистые холмы.

Под изображением чернилами рукою М. А. Бестужева: «Братские юрты на дороге из Читы в Петровской».

На обороте карандашом: «Надпись рукою М. А. Бестужева».

Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «183‹5›».

Рисунок сходен с № 580 (см. пор. № 322).

(А. И. Одоевский, Полное собрание стихотворений и писем. Вступ. статья и ред. Д. Д. Благого, Academia, М., 1934, стр. 392—393).

«Петровская тюрьма была достроена, комендант приказал заключенным готовиться к отъезду. Это переселение совершилось пешком в августе месяце,

делали по 30 верст в день, а на следующий день отдыхали, то в деревнях, то в бурятских юртах».

М. Н. Волконская. Записки. Ред. П. Е. Щеголева, Л., 1924, стр. 56.

«Остановились в юртах при деревне Черной. Для нас назначалось 7 юрт, 8-я для офицера. Для коменданта поодаль — еще для караульных солдат. Етот трудный переход в такую погоду нас измучил — все думали только о спокойствии, я тоже, даже забыл полюбоваться природою, на которую в первый раз мог взглянуть не через железные решетки тюрьмы».

М. А. Бестужев. Дневник путешествия. нашего из Читы. 1830 г. (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 351).

322. Ключи. Дневка декабристов на пути из Читы в Петровский завод.
Неизвестный художник-декабрист. 1830.
Бумага, сепия. 18.9×26.6 (в свету) — № 580.
На первом плане фигуры декабристов и бурят. Слева под деревом юрты, справа юрта и часовой. Вдали поселок и лесистые холмы.
Под рисунком чернилами рукою И. И. Пущина: «Ключи. Дневка 11 Авг. 1830».
Рисунок сходен с № 3032 (см. пор. № 321).
Из архива И. И. Пущина.
Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
(Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Под редакцией Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925, стр. 136—137; Прожектор, 1925, № 18).

«11 числа ‹августа 1830›. Дневка, дождь — скука и досада, что нельзя полюбоваться видами. Юрты наши промокают. Но мы — все люди мастеровые — мы кое-как нашли средство избавиться беспокойства на ночь. В других юртах были смешные сцены. Редкой проспал без омовения».

М. А. Бестужев. Дневник путешествия нашего из Читы. 1830 г. (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 351—352).

323. Привал декабристов по пути из Читы в Петровский завод.
А. И. Одоевский. 1830.
Бумага, акварель. 11.9×17.8 (в свету) — № КП 305.
Слева пять юрт и две сидящие фигуры бурят. Справа одна юрта и возле нее солдат. В центре две фигуры и собака. Вдали избы и холмы.
Справа внизу — полустертая надпись карандашом: «Одоевский, 1830».

«Что за кочевья чернеются
Средь пылающих огней, —
Идут под затворы молодцы
За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава,
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Дикие кони стреножены,
Дремлет дикий их пастух;
В юртах засыпая, узники
Видят Русь во сне.
За святую Русь. . .

Шепчут деревья над юртами,
Стража окликает страж, —
Вещий голос сонным слышится
С родины святой.
За святую Русь. . . .

А. И. Одоевский. ‹Август, 1830›

324. Укир. Дневка декабристов на пути из Читы в Петровский завод.
Неизвестный художник-декабрист. 1830.
Бумага, сепия. 18.4×26.4—№ 581.
На первом плане церковь и избы. На берегу реки палатки, около них фигуры декабристов. Вдали леса и горы.
Под рисунком чернилами рукой И. И. Пущина: «Укир. Дневка 22-го авг. 1830».
Рисунок сходен с № 3024 (см. пор. № 325).
Из архива И. И. Пущина.
Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
(Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925, стр. 138—139).

«22-е ‹августа 1830›. — Дневка. Прекраснейший день. Вместо церкви, наш le vieux ‹старик, комендант С. Р. Лепарский› поехал на охоту. Я читал Филиппа. От Розена, нашего хозяина, ехавшего вперед для заготовления обеда, узнали, что Мария Казимировна Юшневская на следующей станции».

В. И. Штейнгель. Дневник достопамятного нашего путешествия из Читы в Петровский завод 1830 года. (Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925, стр. 138).

325. Укир.
Н. А. Бестужев (?). 1830.
Бумага, акварель. 17.5×28 — № 3024.
На лугу каменная церковь, окруженная частоколом, юрты и дома. На втором плане озеро, вдали горы. На дороге женщина с подростком, на заборе сидит мужчина с трубкой.
Под рисунком чернилами рукою М. А. Бестужева слева: «а»; в центре: «Укыр».
На обороте карандашом: «Н. А. Бестужев, надпись М. А. Бестужева» (позднейшие записи).
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «183‹5›».
Рисунок сходен с № 581 (см. пор. № 324).

«22-е ‹августа 1830› Дневка. Погода прекрасная. От Розена узнали, что Мария Казимировна на следующей станции».

М. А. Бестужев. Дневник путешествия нашего из Читы. 1830 г. (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 354).

326. Хара-Шибир.
Н. А. Бестужев (?). 1830.
Бумага, акварель. 19×28 — № 3130.
Улица. Деревянные дома. Человеческие фигуры. Справа река и лесистые холмы.
Под рисунком чернилами рукою М. А. Бестужева: «Харашибирь».
На обороте карандашом: «Акв. Н. А. Бестужева. Надпись М. А. Бестужева» (позднейшие записи).
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «183‹5›».

«18-е ‹сентября 1830›. Переход в Хара-Шибир (12 верст, 80 дворов). Деревня раскидана по неровностям; предки их — польские переселенцы, но в потомках ничего польского не осталось».

М. А. Бестужев. Дневник путешествия нашего из Читы. 1830 г. (Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 357).

«18-е ‹сентября 1830›. Перешли в Харашебир (12 верст, 80 дворов). Разбросанная деревня потомков польских переселенцев, в которых ничего почти не осталось народного, хотя и зовут их хохлами. . .».

В. И. Штейнгель. Дневник достопамятного нашего путешествия из Читы в Петровский завод 1830 года. (Декабристы. Неизданные материалы. Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925, стр. 146).

327. Петровский завод. Общий вид.

Н. А. Бестужев. 1834.

Бумага, акварель. 34×51.2 (в свету) — № 3137.

Вид на Петровский завод с горы. Тюрьма, окруженная высоким тыном. Вдали горы, покрытые лесом. На переднем плане справа рисующий Н. А. Бестужев (автопортрет), за ним конвойный.

С правой стороны внизу лист поврежден.

На наклейке — надпись чернилами рукою А. Е. Розена: «Петровский железный завод за Байкалом снял и рисовал Николай Бестужев I в 1834 году. Барон Андрей Розен».

(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 192—193).

«И еще прошу об одном: подклеить и несколько реставрировать тот из видов, который так пострадал при переезде из Сибири. Он — лучший из трех, потому что с того пункта, где сидит брат, направо, à vol d'oiseau ‹с птичьего полета›, виден весь наш каземат, а налево за частоколом видна мельница, куда мы, как, вы можете усмотреть, идем молоть муку. Подле брата вы видите часть перил, около беседки, где сиживал наш добрый старик и где он приказал быть погребенным».

Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 263.

328. Петровский завод. Общий вид.

Киренский. Копия с акварели Н. А. Бестужева 1834 г. (№ 3137, см. пор. № 327).

Бумага, акварель. 41.2×54.1 — № Вр. 590.

Под рисунком справа: «Рисовал писарь Киренской».

(Записки княгини Марии Николаевны Волконской. С предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского. СПб., 1904, стр. 91—92).

«Вид каземата с птичьего полета, помещенный в записках „княгини Марии Николаевны Волконской“, подписан — „писарь Керенский“».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 68.

«23-е ‹сентября 1830›. Последний переход до Петровского завода (28 верст. Всего от Читы 634½). Дорога вела в междугорие и теснины. Все как бы предвещало приближение к нашему кладбищу, где уже выкопаны для нас могилы, но все шли весело. Версты за полторы открылся мрачный Петровский завод, отличающийся огромностью и своею крытою крышкою от прочих зданий. Остановились, чтобы дать солдатам надеть ранцы. Мы с пригорка смотрели на нашу будущую обитель — и шутили! ! . . При вступлении в завод высыпало множество народу. У дома А‹лександры› Григорьевны ‹Муравьевой› все наши дамы стояли у ворот. С веселым духом вошли мы в стены нашей Бастилии, бросились в объятия товарищей, с коими 48 дней были в разлуке,[1] и побежали смотреть наши тюрьмы. Я вошел в свой номер. Темно, душно. Совершенный гроб!».

Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 357.

329. Петровский завод. Каземат.

Неизвестный художник.

Бумага, акварель, карандаш. 21×29.5 (в свету) — № КП 300.

[1] Мы шли 46 дней, сделали 31 поход, дневок было 15. ‹Примеч. М. А. Бестужева›.

ХАРА-ШИБИР.
Акварель Н. А. Бестужева (?) 1830. (См. № 326).

В центре одноэтажное здание каземата под красной крышей, с окнами. Слева открытый двор и вышка. Конвойные ведут заключенных. Возле разрушенного частокола — крестьянин.

330. Вид Петровского завода.
Н. А. Бестужев. 1831—1839.
Бумага, акварель. 31.8×40.5. № 3136.
На переднем плане водоем и плотина. На берегу заводские постройки, вдали высокий холм. Справа А. И. Арсеньев, А. П. Барятинский и другие.
Под рисунком рукою А. Е. Розена чернилами: «Петровский железный завод за Байкалом». Карандашом рукою М. А. Бестужева: «Молотович; Плотина. Домна. Барятинской. А. И. Арсеньев, начальник завода».
Рисунок сделан на ватманской бумаге с водяным знаком: «I. Whatman 1831».
Рисунок исполнен не ранее 1831 г., так как на бумаге имеется водяной знак 1831 г., и не позже 1839 г., так как декабрист А. П. Барятинский, изображенный на рисунке, был обращен на поселение 10 VII 1839.
(Памяти декабристов, Изд. М. М. Зензинова, М., 1907, стр. 4; Памяти декабристов, II, Л., 1926, стр. 208—209).

331. Вид Петровского завода.
Неизвестный художник-декабрист. 1834.
Бумага, сепия. 18.8×26.6 (в свету) — № 582.
На первом плане заводские постройки, вдали церковь и холмы, покрытые редким лесом.
Под рисунком чернилами рукою И. И. Пущина: «Петровский завод 1834 года».
Из архива И. И. Пущина. Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.

332. Петровский завод. Вид острога декабристов.
А. П. Юшневский. 1830—1839 или Н. П. Репин. 1830—1831.
Бумага, акварель. 24.4×24.5 — № 576.
Раскрытые ворота острога; два часовых. В глубине — постройки и горы.
Из архива И. И. Пущина. Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
Сходен с № КП 589 (см. пор. № 333).

333. Петровский завод. Часовые у ворот тюрьмы.
А. П. Юшневский. 1830—1839 или Н. П. Репин. 1830—1831.
Бумага, акварель. 18.9×19.2 — № КП 589.
У раскрытых ворот с видом на горы и дома — двое часовых.
Поступил из Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина в 1938 г.
Сходен с № 576 (см. пор. № 332).
(Декабристы. Сб. материалов Всес. Библ. им. В. И. Ленина. Изд. «Прибой», Л., 1926, стр. 153).

«Из эпохи Петровского завода у меня было очень много рисунков и акварелей. Были виды каземата, внутренних его дворов, сцены из жизни государственных преступников, их работы, их отдых, внутренние виды камер. Все это нарисовано чисто, аккуратно; николаевские солдатики изображены с иголочки,

белые лосины, ремешки, ружья, кивера, лядунки, все это выписано в совершенстве. Повидимому, рисунки принадлежат кисти декабриста Репина. . .».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 68.

334. Петровский завод. Дамская улица.
В. П. Ивашев. 1831—1835.
Бумага, сепия. 22.2×36.
Улица с двумя рядами деревянных домов, обнесенных забором. В глубине церковь. Над домами — чернилами цифровые обозначения.
Под изображением чернилами рукою М. А. Бестужева: «1. Дом Трубецких. 2. Дом Анненковых. 3. Дом Волконского. 4. Дом Давыдова. 5. Дом Фон-Визина. 6. Чугунно-плавильная (Домна). 7. Церковь на Горе. Дом Ивашева напротив самой улицы, называвшейся Дамскою, откуда этот вид сам Ивашев нарисовал из окна». Чернилами рукою А. Е. Розена: «Петровский железный завод».
(Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 217).
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (фонд 604, архив братьев Бестужевых, № 30(5571), л. 88).

335. Петровский завод. Дамская улица.
Н. П. Репин. 1830—1831.
Бумага, тушь. 19.8×36.5 — № КП 588.
Улица с бревенчатыми домами и заборами. Несколько прохожих и всадник. На пригорке — церковь. На горизонте лесистые холмы.

«Когда заключенным стали разрешать отлучаться из тюрьмы, княгиня Волконская обзавелась собственным домиком. Обзавелись домами и другие жены. Эти дома все стояли в ряд по одной улице. Улица называлась у них «La rue des dames» «Дамская улица». По левой стороне, если идти к церкви, предпоследний дом — Волконских. Здесь родились у княгини Марии Николаевны — сын Михаил в 1832 году и в 1834 г. дочь Елена».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 68.

336. Петровский завод. Дом А. Г. Муравьевой.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1835 (?).
Бумага, тушь. 19×24.7—№ 3028.
Одноэтажный бревенчатый дом, обнесенный забором. На переднем плане мост с полосатыми перилами. В глубине улицы — две мужские фигуры.
Под изображением чернилами рукою М. А. Бестужева: «Дом Ал. Гр. Муравьевой в Петровском Заводе».
Рисунок наклеен на лист писчей бумаги с водяным знаком: «1835 г.».

337. Петровский завод. Кабинет Никиты Михайловича Муравьева.
А. М. Муравьев. 1833.
Бумага, акварель. 16.8×32.4. — № 3128.
Большая комната с двумя окнами. Слева печь и большой угловой диван, прямо перед окном стол с красной скатертью, справа книжные полки, стол с зеленой скатертью и два кресла. Слева на стене портреты: в верхнем ряду первый слева — А. В. Поджио работы Н. А. Бестужева (см. пор. № 126, инв. № 3021).
Справа внизу на паспарту под рисунком: « A. Mouravieff. 1833». Под рисунком чернилами на писчей бумаге рукою М. А. Бестужева:

«Кабинет Ник. Мих. ‹позднейшая вставка чернилами рукою неизвестного: „Муравьева“› в Петровском заводе».

Рисунок наклеен на паспарту и вместе с паспарту на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «‹183›5».

Акварель, вероятно, предполагалась к публикации в «Советском Искусстве» (1925, № 9) при статье «О декабристах-художниках», где указывается: «Ему ‹А. М. Муравьеву› принадлежит портрет брата Никиты и помещаемый здесь рисунок, изображающий кабинет Н. Муравьева в его доме в Петровском заводе, сделанный довольно тонко и с несомненным мастерством».

Акварель опубликована не была.

338. Петровский завод. Вид церкви и памятника А. Г. Муравьевой.
Н. А. Бестужев (?). 1833—1839.
Бумага, акварель. 20.2×26.5 — № 3126.
На открытой лужайке деревянная церковь. Справа белая каменная часовня (памятник Муравьевой), слева три дерева. Возле церкви — могила. Вдали горы, покрытые лесом.
Под рисунком рукою М. А. Бестужева чернилами: «Церковь в Пет. заводе. Памятник Ал. Гр. Муравьевой».
Рисунок наклеен на полулист писчей бумаги с водяным знаком: «‹183›5».
Сходен с №№ 3023 и КП 307 (см. пор. №№ 339, 340).

339. Петровский завод. Вид церкви и памятника А. Г. Муравьевой.
Н. А. Бестужев (?). 1833—1839.
Бумага, акварель. 12.9×18.3 — № 3023.
В центре деревянная церковь с колокольней, справа каменная часовня (могила А. Г. Муравьевой). На втором плане две ели, вдали горы.
Сходен с №№ 3126 и КП 307 (см. пор. №№ 338, 340).

340. Петровский завод. Церковь и могила А. Г. Муравьевой.
Неизвестный художник-декабрист. 1837.
Бумага, акварель. 13.8×20.3 — № КП 307.
Справа внизу на изображении: «Ялут.: 26 авгу. 1837 ‹монограмма неразборчива›». Под изображением справа чернилами: «1832. Ноября 22-го».
Сходен с №№ 3023 и 3126 (см. пор №№ 338, 339).

341. Камера П. И. Пущина в Петровском заводе. Внутренний вид камеры (со стороны окна).
А. М. Муравьев (?). 1830—1835.
Бумага, акварель. 13.2×14.3 — № 591.
Слева — письменный стол, на стене портрет, в углу шкаф. Справа — кресло. Бюро с книгами, в углу кирпичная печь. Вверху, над дверью, окно с решеткой, в открытую дверь видна часть внутреннего двора.
Та же камера, что и на № 592 (см. пор. № 342).
Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 96—97).

342. Камера И. И. Пущина в Петровском заводе. Внутренний вид той же камеры (со стороны двери).

ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД. ДОМ А. Г. МУРАВЬЕВОЙ.
Рисунок тушью неизвестного художника-декабриста. 1830—1835(?). (См. № 336).

А. М. Муравьев (?). 1830—1835.
Бумага, акварель. 13.2×14.3 — № 592.
В центральной стене, высоко под потолком, маленькое окошко. Под окном стол и стул. У левой стены — диван, стол и трубка с длинным чубуком, справа — второй диван и стул.
Та же камера, что и на № 591 (см. пор. № 341).
Поступила из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 96—97).

343. Петровский завод. Вид гауптвахты.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1839.
Бумага, акварель. 23.3×38.5 — № 3124.
Под рисунком чернилами: «Фасад Гаубтвахты с прилежащими к ней четырьмя казематами».

344. Петровский завод. Вид каземата.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1839.
Бумага, акварель. 26×35.3 — № 3138.
Два рисунка на одном листе:
1. Внешний вид здания каземата. Над изображением карандашом рукою М. А. Бестужева: «Фасад каземата».
2. Вид со двора. Под изображением карандашом рукою М. А. Бестужева: «Внутрен. часть каземата при входе во внутреность» (так в оригинале).
Лист с рисунками наклеен на лист белой бумаги с надписью чернилами рукою А. Е. Розена: «Петровский железный завод за Байкалом».
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 64—65).

345. Петровский завод. Вид острога.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1839.
Бумага, акварель. 27.5×38.6 — № 3125.
Два рисунка на одном листе:
1. Коридор острога с дверьми камер. Под изображением чернилами: «внутренность коридора», вдоль каждой двери слева направо: «Дверь в другое отделение», «№ Давыдова», «№ Якубовича», «№ Иванова», «№ Алекс. Поджио», «№ Аврамова и Фаленберга», «печи», «Дверь в наш №».
2. Внешний вид здания острога. Под изображением чернилами: «Вид 12-го отделения со двора».

«Вдоль всех казематов тянулся коридор, перерезанный только караульней и воротами. . . В каждом из отделений коридора было пять или шесть нумеров, а посредине наружная дверь, перед которой, вместо крыльца, была насыпь с откосами, покрытая булыжником. Казематы были без наружных окон, и каждый из них слабо освещался небольшим с железной решеткой окном над дверью в коридор. В длину каждый каземат имел 7 арш., а ширина 6 арш.; в одном углу была печь, топившаяся из коридора, а в другом стояла койка»,

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 150.

346. Петровский завод. План каземата.
Неизвестный художник-декабрист. 1830-е годы.
Бумага, тушь, перо. 22×35.3 — № 6096.
Справа чернилами — №№ камер и фамилии заключенных:

«1. Лунин.
2. Вадковский.
3. Беляевы 1-й и 2-й.
4. Пушкин.
5. А. Муравьев.
6. Ник. Муравьев.
7. Фонвизин.
8. Нарышкин.
9. Сторож.
10. Трубецкий.
11. Розен.
12. Оболенский.
13. Штенгель.
14. Пущин.
15. Лорер.
16. Якушкин.
17. Вечасный.
18. Завалишин 2-й.
19. Соловьев.
20. Свистунов.
21. Тютчев и Быстрицкой.
22. Щепин-Ростовской.
23. Рудзевич.
24. Панов.
25. Крюков 2-й и Колесников.
26. Спиридов.
27. Швейковский.
28. Андриевич.
29. Завалишин 1-й.
30. Крюков 1-й и Тапиков.
31. Мозгалевский.
32. Вегелин.
33. Мароки.
34. Шимков.
35. Киреев.
36. Арбузов.
37. Басоргин.
38. Митьков.
39. Бестужев 1-й.
40. Бестужев 2-й.
41. Игельстром и Репин.
42. Кюхельбекер—Горбачевский.
43. Борисовы 1-й и 2-й.
44. Глебов.
45. Громницкой.
46. Торсон.
47. Одоевский.
48. Кучевский.
49. Арт. Муравьев.
50. Фролов.
51. Сторож.
52. Вольф.
53. Аптека.
54. Волхонской.
55. Муханов.
56. Пестов.
57. Анненков.
58. Ивашев.
59. Давыдов.
60. Якубович.
61. Иванов.
62. Поджио.
63. Аврамов и Фалепберг.
64. Юшневский».

«В номерах было не очень тепло, а в коридоре иногда и очень холодно, так что не всегда было возможно отворять дверь в коридор, чтобы иметь сколько-нибудь света, и приходилось сидеть днем со свечей.

«По случаю переделок в 11 номере, меня перевели в 16-й, и в этом 3-м отделении мы помещались теперь: Оболенский, Штейнгель, Пущин, Лорер и я. Обедали и ужинали мы все вместе в коридоре, и в каждом отделении был сторож из рядовых для услуги нам. Днем мы могли свободно ходить из своего отделения во всякое другое, но вечером в десять часов запирались на замок все номера и коридор по отделениям; потом замыкались и ворота на каждый отдельный двор и окончательно наружные ворота полуказармы, так что каждый из нас всегда ночевал под четырьмя замками».

И. Д. Якушкин. Записки. М., 1926, стр. 152—153.

«. . . и постараюсь, сколько могу, дать вам ясное понятие о столь занимательной для вас тюрьме.

«Она построена четвероугольником, но до сих пор казематы занимают только три фаса, четвертый же обнесен частоколом.

«Здание сие построено на конце заводского селения по другую сторону речки на ровном месте, примыкающем к горе. Вороты сделаны в среднем фасе, возле оных находится гауптвахта, мимо которой надобно проходить. Входя во двор, против самого входа вы видите особое строение, где находится кухня с большой комнатой для обеда и с разными кладовыми для запасов. Кругом видите вы отдельные дворы, обнесенные частоколом, куда выходят окна коридора; коридор разделен на 12 отделений, шириною он в три аршина; в каждом отделении по пяти номеров, а в некоторых и шесть — всего 64 номера. Против каждого окошка в коридоре находится дверь, ведущая в комнату и над которою прорублено другое окно величиною более квадратного аршина, и оно-то должно освещать каземат, имеющий восемь аршин глубины, шесть ширины и пять вышины. Освещение сие, конечно, довольно скромно и не позволяет заниматься при самой ясной погоде иначе как с открытой дверью. Тот фас, где братец ваш и мы живем, особенно темен, потому что солнечный луч никогда к нам не доходит и, следовательно, окны в коридоре очень сильно замерзают при больших морозах.

«Иван Иванович занимает в третьем отделении 14-й номер . . .».

И. И. Пущин—А. И. Пущиной 29 XI 1830.

И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Ред. С. Я. Штрайха, ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 108—109.

347. Петровский завод. План каземата.
Неизвестный художник-декабрист. 1830—1839.
Бумага, акварель. 20.7×20.9 — № 3139.

Над изображением карандашом рукою М. А. Бестужева: «План каземата». Под изображением чернилами рукою А. Е. Розена: «Петровский Железный завод за Байкалом».

348. Петровский завод. Каземат.
Н. А. Бестужев. 1830—1839.
Бумага, акварель. 20.5×33 — № КП 1994.
Внешний и внутренний вид тюрьмы декабристов. В коридор открыта дверь из камеры № 29 — Д. И. Завалишина.

349. Петровский завод. План тюрьмы.
П. И. Фаленберг (?). Начало 1830-х годов.
Бумага, акварель. 35.5×25.
Справа на плане на изображении трех смежных камер чернилами рукою А. Е. Розена: «Нарышкин, Розен, Оболенский». Угловая камера справа обозначена крестом. Под изображением справа чернилами: «+ Штейнгейль». Под изображением рукою А. Е. Розена: «Петровский железный завод за Байкалом. Фасад тюрьмы».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ [фонд 604, архив братьев Бестужевых, № 30(5571), л. 86].

350. Урик. План дома Н. М. Муравьева.
С. Н. Муравьева. 1836—1844.
Бумага, акварель, чернила. 25.8×38.8 — № 3122.
На плане показано 10 комнат, два коридора, сени, кладовая, внутренняя лестница, три чулана, два балкона и крыльцо. Назначение каждого помещения указано от руки чернилами: «крыльцо, сени, чулан, коридор, лесница на верх ‹так в оригинале›, передняя, клудовая ‹так в оригинале›, малый коридор, чулан, задняя комната, девичья, моя комната, зала, кабинет папа, дядин кабинет, тетенькина гостиная, детская, спальня тетенькина, чулан, балкон, балкон в сад».
На обороте карандашом: «План снят Понушкой Софьей Муравьевой ‹дочь Никиты Муравьева›».

351. Селенгинск. Дом братьев Бестужевых.
М. А. Бестужев. 1860-е годы.
Бумага, карандаш. 21.4×35.5.
Справа деревянный дом с мезонином, слева два одноэтажных дома. Все три дома обнесены забором. В левом углу двора будка с флюгером. На первом плане схематическое изображение обрыва, реки, лодки и в глубине — гор.
(Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 259).
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ, фонд 604, архив братьев Бестужевых, № 30(5571), л. 89).

«Для пояснения моего жалкого рисунка я должен уведомить Вас, что дом, первый слева (где мы теперь живем и где жили сестры) стоит на скале, едва прикрытой слоем земли. Где нарисована беседка, тут сделан нами деревянный сруб, и место выровнено под сад. Второе здание — это маленький флигель, где жил и умер брат Николай; а третье, двухэтажное здание — это дом, где я после женитьбы жил с семейством. Он теперь (1861 г.) продан, равно как и огромная мастерская, не поместившаяся на рисунке справа, и будут свезены летом в новый город. Перед моим домом на круче берега разбит сквер, а колонны и оба балкона до самой крыши летом закрывались зеленью хмеля, плюща и других вьющихся растений. Этот дом был построен и отделан прочно и изящно, выпту-

ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД. КАЗЕМАТ.
Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1839 гг. (См. № 348).

катурен снаружи, как и все наши здания. Глубокий овраг или лощина (по-сибирски буерак) отделяла нас от дома Торсона и его мельницы. Этот глубокий буерак мы частью засыпали и сравняли, чтоб проезд через него сделать удобным; но эта засыпь почти каждое лето смывается или размывается бурливым потоком после каждого проливного дождя».

Воспоминания Бестужевых. М., 1931, стр. 259.

352. Селенгинск. Могильная плита Н. А. Бестужева.
М. А. Бестужев.
Бумага, карандаш. 22×35.5.
Изображение могильной плиты и надписи на ней: «Николай Александрович Бестужев. Родился Апреля 13 1791. Скончался Мая 15 1855».
Выше надписи — изображение всевидящего ока в лучах. Ниже надписи — якорь с цепями и приспущенными знаменами. Слева на листе — наброски трех намогильных памятников с надписями над ними: «Н. А. Бестужев, К. П. Торсон, Шарлотта Карлов. Торсон (мать его)».
Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ [фонд 604, архив братьев Бестужевых, № 30(5571), л. 90].

353. Ялуторовск. Дом И. И. Пущина.
А. П. Созонович. 1842—1856.
Бумага, акварель. 13.5×18.5 — № 578.
В центре двухэтажный дом с четырьмя колоннами по фасаду. Справа и слева одноэтажные дома и хозяйственные постройки. На переднем плане человеческие фигуры.
На обороте: «Ялуторовск до 1856 года. Дом, в котором жил дед (декабрист) и отец Пущина. Рисовала Августа Павловна Созанович, воспитанница М. И. Муравьева».
Поступил из Экспертной комиссии Внешторга в 1920 г.
(Памяти декабристов, III, Л., 1926, стр. 128—129).

354. Вид Николаевска-на-Амуре.
Неизвестный художник.
Бумага, тушь. 31.5×44.2 — № 3133.
На первом плане река, на воде лодка с гребцами и колесный пароход. Налево часть укрепленного берега. В глубине на берегу город, вдали невысокие горы.
На рисунке справа внизу: «‹подпись художника неразборчива›, с карт. Мейера». Под рисунком карандашом: «Константинов. крепость». «Вид Николаевска на р. Амуре с Константинов. крепости».

«. . . он ‹Михаил Сергеевич Волконский, сын декабриста› был неоднократно посылаем в разных целях то на Амур, то на Китайскую границу, то в Камчатку, к Охотскому морю. Первые русские поселения на Амуре были водворены им. От этих экспедиций у меня оставалось, кроме вещей, вывезенных отцом из Китая, много рисунков и картин. Самые интересные — четыре вида, рисованные пастелью работы некоего Майера; изображают: два поселка, одну высадку на берег и путешествие на собаках, по снегу мчащийся обоз».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 84.

355. Вид Байкала.
Неизвестный художник.
Бумага, карандаш. 15.6×23.3.

На обороте слева — наклейка, на ней детской рукой чернилами: «Розен 24 Июня 1843. Вид Байкала». На обороте справа внизу чернилами: «Очевидно рисунок сделан на пути из ссылки».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ — № 4897, XXVб. 58₃.

356. Солдино. Вид дома и служебных построек.

(Подпись художника неразборчива). 1851.

Бумага, карандаш. 12.5×25.

Справа внизу карандашом: «Солдино 23 Мая 1851 ‹подпись неразборчива›».

На обороте чернилами: «Родовое имение б. Розена „Солдино“ Эстлянд. губ.».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ — № 4897, XXV б. 58₂.

357. Солдино. Вид деревянного дома.

Неизвестный художник.

Бумага, карандаш. 17.9×23.7.

В центре рисунка деревянный дом, за ним деревья. На обороте чернилами: «„Солдино“ род. имение б. Розена».

Хранится в Рукописном отделе ИРЛИ — № 4897. XXV б. 58₁.

IV. ПАМЯТНЫЕ ВЕЩИ

358. Перстень Волконской, Марии Николаевны (1805—1863).

Золото, сердолик. 0.8×1.0 (камень); 1.9×1.8 (диаметр внутренней окружности).

В гладкий перстень вставлен сердолик с вырезанным изображением трех амуров в ладье.

Перстень был пожертвован А. С. Пушкиным для лотереи в доме Раевских и выигран М. Н. Волконской.

Дар С. М. Волконского.

«Была в нашей семье и вещественная память о Пушкине. Однажды у Раевских разыгрывалась лотерея. Пушкин положил свое кольцо. Моя бабушка его выиграла. Это кольцо я подарил Пушкинскому Дому».

Сергей Волконский. О декабристах (по семейным воспоминаниям). Пб., 1922, стр. 42.

359—361. Лицейские рисунки Вольховского, Владимира Дмитриевича (1798—1841).

а. Иоанн Креститель, сидящий на скале, с жезлом в руке.

Бумага, итальянский карандаш. 37×23.7 (изображение) — № 486/4.

б. Античная голова.

Бумага, итальянский карандаш. 33×24 (изображение) — № 486/5.

в. Портрет князя Куракина.

Бумага, итальянский карандаш. 29.5×24 (изображение) — 486/6.

На обороте рисунков — штамп Пушкинского лицейского музея.

Из числа рисунков, подаренных лицеистами 1-го курса в знак памяти Анне Андреевне Самборской.

362. Детский рисунок Васи Давыдова (сына декабриста В. Л. Давыдова).

Парусная лодка на воде.

Бумага, акварель. 12.5×19 — № 3145.

Внизу чернилами: «Вася, Оспну Адамовичу 1838 года».

Рисунок был подарен О. А. Лепарскому (плац-майору Нерчинского рудника).

363. Шкатулка Ивашева, Василия Петровича.

Сделана, по преданию, им самим из его кандалов.

Железо, масляные краски. 12×18.4×7.2 — № 42660.

Прямоугольная. На крышке изображена комната Ивашевых в Туринске (?). В. П. Ивашев стоит с письмом в руке; рядом сидит К. П. Ивашева (жена декабриста). В комнате круглый стол, диван, кресло, клавесин, ширма, шкаф.

На боковых стенках шкатулки — растительный орнамент.

На крышке шкатулки — подпись художника: «П. П. К.».

Поступила от Т. Л. Левицкой, правнучки К. П. Ивашевой, в 1936 г.

364. Чашка В. П. Ивашева.

Из сервиза, заказанного П. Н. Ивашевым (отцом декабриста) в Париже и предназначавшегося для отправки В. П. и К. П. Ивашевым в Сибирь.

Фарфор с позолотой; высота чашки 5.5, диаметр 8.5, диаметр блюдца 13 — № 3257.

Белая фарфоровая чашка в форме круглой вазочки с подставкой и высокой золоченой ручкой со змеиной головкой. На тулове чашки — золотая монограмма из букв «С» и «В» (начальные буквы имен Ивашевых: Camille—Basile; по верхнему краю чашки и на подставке — золотые ободки. Блюдце с такой же позолотой, с углублением для чашки и низенькой, золоченой по краю, подставкой.

Дар Е. П. Александровой-Ивашевой и В. П. Фандерфлит (внучек В. П. Ивашева).

365. Цепочка, сплетенная из волос К. П. Ивашевой ее мужем, Василием Петровичем, после ее смерти.

Дар Е. П. Александровой-Ивашевой (внучки В. П. Ивашева).

Длина — 1 метр. Оправлена золотом (замок, перемычка). № 64305.

366. Пенал Кюхельбекера, Вильгельма Карловича (1797—1846).

Дерево, 21 (длина) — № 1886.

Круглый, карельской березы.

На шейке чернилами: «Пенал Кюхельбекера, подаренный А. С. Пушкиным М. Г. Золотареву, а сестрою последнего, Е. Я. Золоторевою, отданный Е. Ф. Залоге, который подарил его Н. В. Шеметовой. От Н. В. Шеметовой перешел к Анатолию Егоровичу Залоге».

Дар Анатолия Георгиевича Залоги, 1916 г.

367. Чернильница Муравьева, Артамона Захаровича (1794—1846).

Перламутр, бронза, медь. 20×16×10 — № 62990.

Круглая бронзовая чернильница и такая же песочница вставлены в створку большой овальной перламутровой раковины с резьбой, оправленную чеканным бронзовым ободком на четырех лапках, с ажурным бортиком и плоским выдвижным ящичком. Сверху на раковине три литых бронзовых фигурки: амур в раковине и два дельфина.

Дар Ии Алексеевны Муравьевой, Ленинград, 1949.

368. Барометр Муравьева, Артамона Захаровича.
Красное дерево, стекло, ртуть, медь. 94×12 — № 62991.
На деревянной рейке укреплена стеклянная трубка с резервуаром для ртути, защищенным круглой деревянной крышкой; к резервуару подведен винт. Вверху — медная шкала с гравированными надписями: «Барометр Вели. Сушь» и т. д. и пустые гнезда для термометра.
Дар Ии Алексеевны Муравьевой, Ленинград 1949 г.

369. Три фотографических портрета декабристов. Из семейного архива Муравьевых.
а. Портрет С. Г. Волконского (описание см. пор. № 62191).
б. Портрет М. С. Лунина (с литографии А. Скино) 9×6 — № 62992.
в. Портрет И. Д. Якушкина (с литографии А. Скино) 9×6 — № 62993.
В одинаковых коричневых кожаных рамках, оторванных одна от другой.
На каждой фотографии — следы проколов (внизу и вверху).
Дар Ии Алексеевны Муравьевой, Ленинград, 1949.

370. Медальон Муравьева-Апостола, Матвея Ивановича (1793—1885).
Золото. 2.8×2 (медальон); 82.5 (цепочка) — № 3257.
Овальный, гладкий. На крышке с внутренней стороны вырезано: «Анна. 1810. 28 Мар.[1] Елисавет. 1814. 28 Сент. Ипполит. 1826. 3 Ген.[2] Сергей. 1826. 13 Июля.[3] Екатери. 1849. 8 Сент.[4] И. Д. 11 Авг. 1857.[5]».

371. Нательный крест Муравьева-Апостола, Матвея Ивановича.
Золотой. 2×1.5 — № 3257.
Все три предмета — медальон, крест и цепочка — на синей бархатной дощечке в застекленном кожаном футляре.

372. Кольцо Пущина, Ивана Ивановича (1798—1859).
Из его кандалов.
Железо, золото, 2.2 (диаметр) — № КП 2256.
Гладкое, железное, с внутренней стороны подложено золотом.
Поступило от Н. М. Аничковой, Москва, 1938 г.

373. Кольцо Пущина, Ивана Ивановича (1798—1859).
Из его кандалов.
Железо, серебро, 2.2 (диаметр) — № 2257.
Гладкое, железное, подложено серебром.
Поступило от Н. М. Аничковой, Москва, 1938.

В 1828 г. коменданту Нерчинских рудников Лепарскому разрешено было снять железа с тех государственных преступников, которых он найдет того достойными. «Лепарский. . . приказал снять со всех железа, пересчитать их и принести к нему. Потом все эти железа хранились у Смольянинова, горного

[1] День смерти матери декабриста.
[2] 23 января 1826 г. застрелился брат декабриста, Ипполит Иванович, раненный во время восстания Черниговского полка.
[3] День казни брата декабриста, Сергея Ивановича.
[4] День смерти сестры декабриста, Екатерины Ивановны Бибиковой.
[5] День смерти декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина.

заводского чиновника, женатого на побочной дочери Якоби, а она приходилась сродни Аннепкову, и потому всегда была возможность добывать эти железа по частям на разные поделки».

Записки И. Д. Якушкина. М., Изд. «Современные проблемы», 1925, стр. 142.

«. . . мысль делать кольца из желез, в которых мы были закованы в Чите, мне первому пришла в голову» (<мне» — М. А. Бестужеву).

Воспоминания братьев Бестужевых. Пгр., Изд. «Огни», 1917, стр. 274.

«Под руководством брата <Николая> мы сделались искусными слесарями и золотых дел мастерами, токарями и литейщиками».

Там же, стр. 206.

374. Лицейский рисунок Пущина, Ивана Ивановича, 1813 г.
Сельский пейзаж: домик, мост, женская фигура.
Бумага, итальянский карандаш. 8.5×14.5 (изображение).
Вшизу чернилами: «1813 года 28 Июня. Рисовал Пущин».
На обороте — штамп Пушкинского лицейского музея.
Из числа рисунков, подаренных лицеистами 1-го выпуска Анне Андреевне Самборской.

375. Письменный стол Тургенева, Николая Ивановича (1789—1871).
Красное дерево, кожа. 73 (высота стола), 20 (высота шкафчика), 129×64 (доска) — № 58304.
На точеных ножках, с тремя выдвижными ящиками и съемным шкафчиком с шестью ящиками. Доска стола оклеена темнокоричневой кожей с золотым тисненнем по краям.

376. Кресло Тургенева, Николая Ивановича.
Красное дерево, кожа. 114 (высота спинки), 58×63 (сиденье) — № 58305.
Вольтеровское (с боковыми выступами для головы). Обито желтой кожей, на колесиках.

377. Подставка для бумаг из архива братьев А. И. и Н. И. Тургеневых.
Дерево, кожа. 32 (высота), 21×8.7 (основание) — № 47173.
Настольная, желтой тисненой кожи, с тремя кармашками.

378. Бювар из архива братьев А. И. и Н. И. Тургеневых.
Кожа, металл. 35.4×25.8 — № 47171.
Из зеленой кожи с золотым тисненнем, с двумя отделениями и замком.

379. Портфель из архива братьев А. И. и Н. И. Тургеневых.
Кожа, металл. 27.5×20.5 — № 47172.
Из красной кожи, с двенадцатью отделениями и металлическим замком.

380. Чарка Муравьева-Апостола, Сергея Ивановича.
Серебро, 4.2 — высота, 5.5 — диаметр — № 64933.
Круглая, золоченая внутри, с монограммой «С. И.».
Дар. На сопроводительной записке: «. . . от младшего поколения Муравьевых: Валериана — рожд. 1941, Сергея — рожд. 1947 г. и Никиты — рожд. 1950 г. 22 XII 50 г. Ленинград. Сергей Муравьев».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

Аврамов И. Б. 261
Аврамов П. В. 176, 262, 322, 342, 362, 363
Адарюков В. Я. 280, 287, 294, 295
Адлерберг В. Ф. 341
Азадовский М. К. 212, 293
Айхенвальд Ю. И. 204, 205
Аксаков И. С. 274
Акулов Н. П. 260
Аладьин Е. В. 41
Александр I. 14, 140, 148, 149, 159, 167, 173, 176, 189—191, 198, 243, 278, 339.
Александр II. 73, 205, 209, 210, 263, 277
Александрова-Ивашева Е. П. 368
Алексеев М. П. 1, 335, 336
Алексей Михайлович, царь 183
Алоф М. 337
Альба Ф.-А., герцог 106
Альбрехт А. И. 31
Альбрехт И. Л. 31
Альфонская Е. А., рожд. Муханова, 273
Альфонский А. А. 273
Андреев А. Н. 261
Андреевич 2-й, Я. М. 283, 363 (Андриевич)
Андриевич, см. Андреевич Я. М.
Анисья Давыдовна 58, 60
Аничкова Н. М. 369
Анна Андреевна, см. Глинка А. А.
Анна Егоровна 78
Анненков, поручик 226
Анненков И. А., 85, 86, 259, 262, 265, 267, 268, 271—273, 275, 277—279, 287, 341, 352, 359, 363
Анненков Н. Н. 275, 278
Анненкова О. И. 268, 270
Анненкова П. Е., рожд. Гебль 286, 288, 322, 359
Аннушка, см. Кюхельбекер А. М.
Антинг Ф. 177
Антонин М. 316
Антонович П. 222
Аракчеев А. А, 12, 14—16, 19, 21, 25, 26, 149, 190, 198, 200, 260, 278
Арсеньев А. И. 358
Арбузов А. П. 137, 363
Артенова Д. И., см. Кюхельбекер Д. И.
Афанасьев К. Я. 299
Ахвердов Ф. И. 66
Ахвердова П. Н. 65, 66

Б. 109, 127
Багалей Д. П. 103, 151
Базанов В. Г. 129, 136
Базилевич В. М. 104, 107
Байрон Дж. 56, 83
Бакунин А. П. 339, 340
Бакунин М. А. 277
Балашов С. Т. (Закревский М.)30—32
Бантыш-Каменский Д. Н. 247
Баранов А. В. 339
Барановская М. Ю. 281, 282, 293, 303, 346, 348, 352
Баратынский Е. А. 18, 28, 135, 143, 148, 149
Барклай де Толли М. Б. 190
Барков Д. Н. 126, 127
Барро Б. 322
Бартелеми Ж.-Ж. 202
Бартенев, юнкер 136
Бартенев П. И. 275
Барятинский А. П. 88, 261, 274, 341, 358
Басаргин Н. В. 85, 262, 265, 274, 294, 312, 322, 363 (Басоргин)
Баснин В. Н. 268
Басоргин, см. Басаргин Н. В.
Батеньков Г. С. 262—264, 278, 288, 322, 323, 326, 330
Батюшков К. Н. 105, 113, 116, 117, 194, 273
Бахман В. 292
Башмаков Ф. М. 85
Беггров К. П. 298
Бегичев С. Н. 28, 38
Безобразов М. А. 277
Безродный А. В. 38
Белинский В. Г. 79, 102, 103, 110, 138, 139, 142, 154
Белоголовый Н. А. 273, 280—284, 312, 313, 317
Беляев, вымышленное лицо 176
Беляев 1-й, А. П. 44, 137, 204, 261, 265, 274, 323, 363
Беляев 2-й, П. П. 137, 261, 363
Бенкендорф А. Х. 27, 29, 38, 58, 72, 73, 223, 227, 231, 232, 241, 242, 248, 249, 260, 270, 272, 273, 341
Беннигсен Л. Л. 166

Баргамаско, фотограф 335
Беригоф А. А. 40, 41
Бернштейн Э. Б. 343
Берстель А. К. 260
Берх В. Н. 5, 6
Бестужев, см. Бестужев-Рюмин М. П.
Бестужев А. А. (Марлинский) 6—11, 14—26, 38, 52, 97—100, 102, 123, 159, 178, 219, 220, 230, 260, 265, 276, 285, 288—293, 341, 343
Бестужев М. А. 204, 260, 265, 266, 269—271, 274, 276—278, 281, 285, 290, 292, 293, 319, 320, 323, 345, 346, 348, 352—355, 358—364, 366
Бестужев М. Н. 269
Бестужев Н. А. 8, 9, 19, 26, 98—100, 263, 265, 266, 270, 274—277, 280, 281, 285, 287—290, 292, 293, 296, 297, 304, 305, 309, 310, 312, 313, 318—320, 323, 326, 338, 345, 346, 348—350, 352, 353, 355—358, 360, 363—365
Бестужев Пав. А. (Сухолужицын) 97—100, 266
Бестужев Петр А. 261, 266
Бестужева Е. А. 98, 265, 269, 275, 291, 293, 353
Бестужева М. А. 98, 220, 293
Бестужева О. Н. 98, 293, 345
Бестужева П. М. («матушка») 98, 99, 318
Бестужев-Рюмин А. П. 118
Бестужев-Рюмин М. П. 158, 266, 314 (Бестужев), 339
Бестужевы, братья, 8, 9, 15, 83, 98, 99, 204, 220, 259, 265, 266, 269, 281, 290—293, 318—320, 348, 353—356, 359, 364
Бечаснов В. А. 262, 265, 293, 342, 363 (Бечасный)
Бечасный, см. Бечаснов В. А.
Бибикова Е. И. 369
Бирон Э.-И. 193
Благой Д. Д. 206, 210, 348, 353
Блохин А. Д. 268
Блудов Д. Н. 272
Бобрищев-Пушкин 1-й, Н. С. 261
Бобрищев-Пушкин 2-й, Н. С. 88, 88, 273, 274, 323, 342, 363 (Пушкин)
Боде М. А. 220
Бодиско А. А. 266
Бодиско Б. А. 266
Бок Т. Е. 189—203
Бок, его брат 191
Бок, его жена 191
Бок, его сын 191
Бонапарт Луп 138
Борель П. Ф. 299
Борисов 1-й, 261, 267, 268, 339, 363
Борисов 2-й, П. И. 137, 261, 266—268, 293, 294, 297, 312, 363
Бороздин А. К. 11
Бортнянский Д. С. 194
Боссюе Ж.-Б. 247
Бошан А. 117
Брауер Д. 248
Брейткопф Е. Ф. 33, 39, 70
Брейткопф Н. Ф. 39
Брейткопфы 65
Бригген А. Ф. 85, 261, 262, 266—269, 273, 274, 279, 294
Брискман М. А. 7—22, 204—213
Броглио К. 270
Бродский Н. Л. 42
Брюллов К. П. 282
Брянский Я. Г. 194
Булгарин Ф. В. 80, 99, 100, 144, 175, 265, 314
Булла К. 334
Буренин В. П. 264, 273, 275
Бурцев А. Е. 28
Бурцов И. Г. 155—188, 294
Бухштаб Б. Я. 210
Быстрицкий А. А. (Быстрицкой) 363

Вагин (Wagien) 191
Вадковский Ф. Ф. 262, 267, 274, 312 (Батховский), 341 (Ватковский), 363
Васильевский А. 308
Васильчиков И. В. 172, 227
Ватковский, см. Вадковский Ф. Ф.
Ватховский, см. Вадковский Ф. Ф.
Вебб Ф. Б. 139
Вегелин А. И. 324, 363
Веденяпин А. В. 1-й 261
Веденяпин А. В. 2-й 260
Вейс А. Ю. 280—285, 287
Вельтман А. Ф. 98
Вельяминов А. А. 277
Вельяминов И. А. 269, 273, 277
Венгеров С. А. 103, 139, 144, 154, 316
Вентурини 202
Веригин 214
Верховский Ю. Н. 212
Виго, фотограф 331
Вильчинский Р. 292
Виноградов П. В. 221, 241
Висковатов С. П. 35
Витгенштейн П. Х. 190
Вишневский Ф. Г. 260
Владимир, архиерей 88
Владимир, князь 122, 123, 125, 126, 145
Владиславлев В. А. 98
Власов М. 267
Власов Н. В. 312
Восйков А. Ф. 6, 28, 134, 145
Волков А. А. 223, 231
Волков Ф. Г. 127
Волконская А. Н., рожд. Репнина 268
Волконская Е. С., в замужестве Молчанова, Кочубей, Рахманова 263, 267, 268, 274, 282, 283, 285, 288, 295, 320, 322, 324, 327, 359
Волконская З. А. 295
Волконская М. Н., рожд. Раевская 85, 214, 259, 260, 262, 267, 268, 271, 272, 274, 280, 281, 286, 295, 296, 324, 325, 327, 344, 348—350, 354, 359, 367
Волконская С. Г. 324
Волконский М. С. 86, 267, 268, 274, 286, 295, 296, 320, 348, 349, 366
Волконский Н. С. 324, 325

Волконский П. М. 12, 15, 16, 191, 198
Волконский С. Г. 85, 87, 152, 214, 259, 262, 265—268, 270, 271, 274, 279, 280, 283—286, 288, 294, 296, 312, 320, 323—328, 330, 338, 339, 352, 359, 363, 366
Волконский С. М. 267, 270, 280, 282, 288, 296, 304, 324, 326, 349, 356, 359, 366, 367
Вольтер Ф. М. 58, 61, 109, 126, 127, 136
Вольф Ф. А. 139
Вольф Ф. Б. 86, 88, 262, 268, 363
Вольховский В. Д. 27, 155—157, 160, 164, 173—176, 181, 187, 270, 275, 298, 367
Врангель Н. Н. 282
Враницкий В. И. 261, 269
Всеволожский И. А. 326
Всеволожский Н. В. 125, 145, 344
Выгодский П. Ф. 261
Вяземский П. А. 6, 11, 38, 42, 187, 209, 210, 260, 275, 277
Вяземский П. П. 209, 211
Вяземские 211
Вязьмитинов С. К. 190

Гагарина Е. К. 262, 322
Гаевский В. И. 131
Гаевский В. П. 271
Галич А. И. 169
Ганбурцев А. А. 225
Ганцова-Берникова В. А. 232
Гедеонов Н. М. 334
Гейне Г. 79
Гейне Х. Г. 139
Гейст А. 332
Геккерн Я. Т. (посланник) 97
Гербель Н. В. 206, 212
Гердер И. Г. 65, 66
Герман К. Ф. 169
Гернет М. Н. 226, 228, 239
Герцен А. И. 221, 222, 230, 240, 277, 283, 284
Герцог Ф. И. 80
Гессен С. Я. 6
Гёте И. В. 27, 78—80
Гиероглифов А. С. 256
Гизо Ф. П. 277
Глебов М. П. 265, 363
Глинка А. А. 32
Глинка А. Г. («Сашинька») 28, 45, 46, 49, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 70, 71,75, 84, 86, 271
Глинка Б. Г. 35, 37, 56, 74
Глинка В. А. 77, 80, 85
Глинка Г. А. 35, 50, 77, 157
Глинка Д. Г. 35, 36, 43, 44, 50
Глинка Е. А. 58, 60, 62
Глинка Е. П. 327
Глинка М. П. 281
Глинка Н. Г. («Наташа») 27, 30, 32, 33, 43, 45, 46, 49, 50, 56—60, 62—64, 66—68, 70, 71, 74—78, 81, 82, 84, 86, 271
Глинка Ник. Г. 35—37, 43, 44, 46—48, 52—57, 80—82, 271
Глинка Ф. Н. 23—25, 102, 112, 113, 118, 129, 131, 132, 145, 150, 153, 159, 172, 298, 299, 327, 331
Глинка Ю. Г. («Таня», «Танинька») 45, 46, 49, 50, 52, 56—58, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 84
Глинка Ю. К., рожд. Кюхельбекер 27, 29, 31—37, 44, 46—48, 56, 58, 60, 68, 70, 71, 77, 78, 81, 84, 86, 157
Глумов А. 16
Гнедич Н. И. 28, 31, 35, 101—154, 171, 270
Гоголь Н. В. 75, 282, 311
Голенищев-Кутузов П. В. 248, 341
Голицын А. Н. 26, 192, 341, 343
Голицын В. М. 261, 327
Голицын Д. В. 226
Голицын С. П. 268
Голицына О. П. 315
Голлербах Э. Ф. 339
Головачев П. М. 280
Гольштейн-Готторп 227, 228, 240, 241
Гомер (Омер) 102, 111, 112, 138, 139, 142
Гонтаева М. П. 285, 287, 343
Гончарова Е. Н., свояченица А. С. Пушкина 97
Гончарова Н. Н., в замужестве Пушкина 40, 42, 97
Горбачевский И. И. 248, 260, 265, 266, 269, 274, 327, 363
Гордиджиани Дж. 297
Гордиджиани Н. 296, 297
Горсткин П. Н. 239, 240
Горчаков А. М. 270
Горчаков П. Д. 261, 266, 275
Горяйновы 272
Гофман В. В. 314
Гофман М. Л. 131
Гофман Э.-Т.-А. 33, 52
Гох Ж. 327
Гохштейн М. М. 343
Грабе-Горский 269
Граве-де, майор 247, 248
Грачев Г. П. 288, 292, 309, 310
Греч Н. И. 10, 24, 25, 98—100, 132, 144, 265, 282
Греч Н. Н., сын Греча Н. И. 98
Грибоедов А. С. 27—30, 35, 38, 45, 66, 82, 97, 101, 229, 237, 260, 265, 270, 303
Григорьев, унтер-офицер 31
Громницкий П. Ф. (Громницкой) 363
Громов 353
Грот К. Я. 27, 113, 114, 302
Грот Я. К. 134
Грузинский А. Е. 283, 304
Губарев П. К. 290
Губер Э. Л. 212
Гуров Ф. П. 225, 230
Гурьев Д. А. 198

Давид Т. Н. 343, 344
Давиньон А. 286, 321, 322
Давыдов В. В. («Вася») 367
Давыдов В. Л. 269, 272, 274, 299—301, 339, 352, 359, 362, 363, 367

Давыдов Д. В. 260, 270, 278, 299
Давыдов К. А. 265
Давыдова А. П. 269, 274, 286, 327, 350
Давыдова Н. Д. 272
Давыдовы 344
Данзас Б. К. 339, 340
Данилевский Г. П. 208—211
Данилов В. В. 23—26, 259—279
Данилова М. 194
Данте А. 344
Дантес Ж. 97
Дау Дж. 325
Дашков П. Я. 259, 265
Дельвиг А. А. 23, 27, 28, 33, 38—41, 82, 113, 130—132, 135, 155, 157, 160, 164, 187, 271, 276
Денисов Г. 31
Державин Г. Р. 114, 125, 146, 194, 276
Дибич И. И. 15, 279, 341
Дивов В. А. 260
Диттер, проповедник 46
Диоклетиан 52, 190
Дисдери, фотограф 325
Дмитриев И. П. 112, 194, 260
Дмитрий Донской 196
Дмитрий Ростовский 43
Добровольский Л. М. 256—258
Докторов, офицер 229
Долгорукова В. С. 44
Доленга-Ходаковский 3, 24
Дорохов Р. П. 231
Дорохова М. А., гражданская жена П. А. Муханова 274
Дороценко П. 144
Достоевская А. Г. 331
Дохтуров Д. С. 83
Дохтуров М. А. 83
Дружинин Н. М. 121, 125
Дубельт Л. В. 278
Дурылин С. Н. 80
Дыньков С. 222
Дюбокаж 117
Дюсси Ж.-Ф. 35
Дюф, см. Дюфо
Дюфо П.-А. (Дюф) 202

Евгеньев-Максимов В. Е. 339
Егоров А. Е. 194
Екатерина II 161, 194, 197, 243, 244
Елагина А. И. 323
Енгелька К. Ф., см. Энгельке К. Ф.
Енохин И. В. 275
Ентальцев А. В. 261, 269, 328
Ентальцева А. В. 269, 272, 342, 343, 350
Ермак 246
Ермолов А. П. 237
Ерыгина У. З. 77, 78
Ершов П. П. 88, 209, 210, 276
Есаков С. С. 31
Ефимовский 123
Ефремов, полициймейстер 282
Ефремов П. А. 178, 323

Жан-Поль, см. Рихтер
Жихарев С. П. 103—105, 107, 108
Жорж-М.-Ж. 105, 109, 127

Жуковский В. А. 24, 27, 28, 33, 69, 73, 79, 81, 85, 113, 160, 190, 191, 194, 260, 266, 271, 277, 311, 316

Завалишин 1-й, Д. П. 16, 27, 86, 262—265, 269, 270, 274, 301—328, 363
Завалишин 2-й, И. П. 363
Загорецкий Н. А. 270, 273, 328
Запкин Н. Ф. 261
Зак Я. Г. 313
Закревский А. А. 15, 16
Закревский М., см. Балашов С. Т.
Залога А. Г. 368
Залога А. Е. 368
Залога Е. Ф. 368
Земенков Б. С. 344
Зенефельдер А. 316
Зензинов М. М. 280, 294, 318, 341, 348, 358
Зильберштейн И. С. 282, 283, 285
Зиновьев Павел В. 65
Зиновьев Петр В. 65
Зиновьева У. В. 33, 65
Знаменский М. С. 318, 342, 343
Знаменский С. Я. 342, 343
Золотарев М. Г. 368
Золотарева Е. Я. 368
Зорков 214
Зотов Р. М. 291
Зотов В. Р. 306—308, 312, 316, 318
Зубков В. П. 339, 340
Зубчанинов А. И. 303, 306, 307, 318

Иван Алексеевич, царь 197
Иваницкий А. М. 335
Иванов, протоиерей 243
Иванов Г. 327
Иванов И. И. 261, 362, 363
Иванова О. И., рожд. Анненкова 262
Ивановский А. А. 260, 265, 270, 294, 297, 300, 301, 305, 316, 341
Ивашев В. П. 270, 286, 328, 329, 359, 363, 368
Ивашев П. П. 270, 368
Ивашева К. П., рожд. Ледантю 265, 270, 329, 368
Игельстром К. Г. 363
Изабе Ж.-Б. 297, 320
Измайлов А. Е. 131
Изяслав Ярославич, князь 122
Илличевский А. Д. 38, 113, 114, 171, 271, 302, 339
Илличевские 171
Иловайский, казак Донской, см. Ситников С. П.
Ильинский Д. З. 345, 353
Инзов И. Н. 166
Ипсиланти Ал-др 140, 141
Искрицкий А. М. 159
Искрицкий Д. А. 158—160
Истомин, казачий атаман 82

Кадушин И. 316
Казимирский Я. Д. 269, 278, 319
Каменский М. Ф. 117
Канакин, дьякон 228
Канкрин Е. Ф. 272

Каикрина Е. З., рожд. Муравьева 272
Каикрины 272
Каинист В. В. 125
Каинцевич П. М. 249
Каразин В. Н. 24, 129—134
Карамзин Н. М. 112, 115, 118—125, 145, 190, 194, 271
Каратыгин П. А. 271, 303, 316
Кардовский Д. И. 339
Кардо-Сысоев, поручик 185
Карнаухова М. Г. 280, 294, 304, 316, 334
Каррик В. 333
Катенин П. А. 126, 127, 171, 301
Катерина Андреевна, см. Глинка Е. А.
Каховский П. Г. 17, 276, 314, 340
Качеповский М. Т. 120, 121
Кашевский П. А. 222—226, 233
Кашкин Н. С. 336
Кашкин С. И. 329
Кемерский Л. 175
Кери А. П. 317
Кестерер, фотограф 327
Киов Э. 299
Кипренский О. А. 287, 314
Киреев А. И. 329
Киреев В. П. 353
Киреев И. В. 274, 329, 342, 345, 349, 353, 363
Киреевский П. В. 263
Киренский, писарь (Киренской, Керенский) 356
Киселев Н. С. 159
Киселев П. Д. 169, 176, 275
Клопшток Ф.-Г. 302
Кноблах А. 222
Княжнин Я. Б. 63, 75, 184, 185
Кобеко Д. Ф. 27
Ковалев П. Г. 277
Ковалевская Е. А. 286
Кожевников П. П. 260
Козлов П. И. 38, 153
Козодавлев О. П. 196
Колесников В. П. 222, 363
Колечицкая А. П., в замужестве Рачинская 158
Колечицкий П. П. 158
Коллет Л. И. 247
Колосова А. М. 126—128
Колошин М. И. 161
Колошин Павел Ив. 155, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 169, 170, 172, 178, 181, 187, 339, 340
Колошин Петр Ив. 157, 160, 161, 164, 166, 168, 181, 187
Колошин 157, 160, 164, 168, 172
Колошины 161, 164, 168, 172, 187
Колычев 184
Кольман К. И. 340
Кольрейф Ю., пастор 222
Кольцов А. В. 75
Комовский С. Д. 27, 271
Коновницын П. П. 260
Константин Павлович, вел. князь 31, 167, 177
Корнелий Непот 137
Корнель П. 62, 126, 128
Корнилович А. О. 24, 26, 260
Корсаков А. 34, 35
Корф М. А. 247
Корюхов 214, 218
Костенецкий Я. 222, 223, 226
Костров Е. И. 115
Костюшко Т. 37, 112, 131
Котляревский Н. А. 204, 205, 210, 323
Коханов 99
Кочубей В. П. 130, 131, 140, 198
Кочубей А. В. 326
Кочубей Е. С., см. Волконская Е. С.
Кочубей Н. А. 284
Кочубей П. А. 326
Кочубей С. Н. («Serge») 326
Кошанский Н. Ф. 170
Краевский А. А. 208, 309
Крамковская 260
Красногорский, см. Краснокутский С. Т.
Краснокутский С. Г. 88, 270
Красовский А. А. 247
Критские, братья 222—225, 228, 229, 231—233, 235, 237
Критский В. И. 229
Критский И. 222
Критский П. И. 225
Криштофович («Криштофовичева») 34
Криштофович Евм. О. 29, 39, 40, 43
Криштофович Егор 29, 30
Кронеберг П. Я. 231
Крузе А. Н. 331
Крылов А. А. 130
Крылов П. А. 105, 113, 114, 171, 194, 282
Крюднер 182
Крюков 1-й, А. А. 341, 363
Крюков 2-й, Н. А. 363
Крюковский М. В. 109
Кубалов Б. Г. 67
Кубасов П. А. 205, 208, 210, 211, 348
Кудржинский М. А. 257, 258
Кудрявцев Р. 306
Кузьмин П. В. 340
Кукольник Н. В. 52, 53
Кукулевич А. М. 142
Куницын А. П. 169, 170, 179
Куракин, князь 367
Курбский А. 144
Куст, фельдъегерь 267
Кутузов М. И., фельдмаршал 117, 118
Кутузов П. В., см. Голенищев-Кутузов П. В.
Кучевский А. Л. 363
Кюхельбекер А. М. («Аннушка») 58, 68, 72, 75, 77, 81, 87
Кюхельбекер А. С., рожд. Токарева 58, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 82
Кюхельбекер В. К. (Подмастерников П.) 3, 7, 22, 23, 26—96, 102, 113—115, 130, 132, 133, 138, 140, 155—157, 160, 164, 172—174, 177, 179, 184, 187, 270, 271, 274, 277, 301—303, 339, 342, 368
Кюхельбекер Д. И., рожд. Артенева 28, 69—78, 81, 82, 84—88
Кюхельбекер И. В. («Иван») 85

Кюхельбекер К. (отец) 28
Кюхельбекер М. В. (Васильев) 69, 77, 78, 80—82, 84—86, 88
Кюхельбекер М. К. 33, 34, 37, 44, 45, 57, 58, 62, 67, 68, 72, 75—78, 80—82, 84—88, 274, 342, 363.
Кюхельбекер Ф. В. («Фединька») 75
Кюхельбекер Юл. К. («Julie», «Улинька») 32—34, 44, 45, 47, 49, 53, 70, 72, 77, 78, 80—82, 271
Кюхельбекер Ю. М. («Тишинька») 71, 72, 75, 77
Кюхельбекер Ю. Я. («матушка», «бабушка», «маминька») 32, 34, 43, 44, 46, 49, 58, 60, 66, 69, 82, 84
Кюхельбекер-Косова Ю. В. (Васильева) 28, 85—88

Л. Б. 344
Лаваль И. С. 344
Лаверн 117
Лавинский А. С. 216, 218
Лавров В. И. («Володя») 56
Лавров И. С. 31, 56
Лаврова С. А., рожд. Глинка 56
Лавровский, священник 228
Ламартин А. 47
Лаппа М. Д. 260
Ларионов, повар 278
Лачинов Е. Е. 329
Лебедев А. И. 298
Лебедева Л. А. 97—100
Левашев В. В. 341
Левицкая Т. Л. 368
Левицкий С. Л. 321, 326, 327, 334, 337
Лекторский, священник 228
Лелевель И. 24
Лемке М. К. 228
Ленин В. И. 3, 8, 123, 183, 222
Лепарский О. А. 269, 276, 278, 319, 367, 368
Лепарский С. Р. 218, 272, 273, 278, 279, 317, 319, 341, 345, 347, 348, 355, 369
Лерберг А.-Х. 190
Лермонтов М. Ю. 75, 261
Лессинг Г.-Э. 78
Липранди И. П. 275
Липовский Н. Ф. 261
Лихарев В. Н. 261
Лобанов, см. Лобанов-Ростовский Я. И.
Лобанов М. Е. 102
Лобанова-Ростовская К. И. 270
Лобанов-Ростовский Я. И. 198
Лобойко И. Н. 23—26
Логинов, письмоводитель 267
Лопухин П. В. 198
Лорер Н. И. 205, 212, 267, 329, 341, 342, 363
Лукашевич А. 273
Лукин 98
Лунин М. С. 259, 267, 268, 271, 273, 285, 303, 304, 349, 351, 363, 369
Лушников И. Ф. 222, 225, 227, 228, 230, 231, 233, 235, 240, 241
Львов Л. Д. 83
Лыжин Н. 191
Любич-Романович В. И. 38
Любушка (Лаврова Л. П.?) 56
Ляцкий Е. А. 324, 325

М. Б., см. Боде М. А.
Магницкий М. Л. 253, 254
Магомет 61
Мазепа И. С. 144
Мазер К. И. 282, 283, 285, 297, 313, 317 334
Майков Л. Н. 340
Максимов С. В. 209
Максимович 3-й, поручик 226
Малиновская Е. Ф. 275
Малиновский А. И. («Антон») 275
Малиновский В. Ф. 275
Малиновский И. В. 275
Мальнева М. М. 327
Мальцев М. И. 39, 40
Манассеин В. С. 318, 342, 343
Манассеин П. П. 39, 40, 42
Мандрыкина Л. А. 3, 18, 221—246
Мани Г. 337
Маньяни 308
Маракуев В. И. 256
Марбах О.-Г. 78
Маркевич Н. А. 17, 276
Маркс К. 138
Маркова-Виноградская 317
Марлинский, см. Бестужев А. А. (Марлинский)
Марони 163
Мартынов И. И. 153
Мартынов С. М. 266
Масанов П. Ф. 209
Масанов Ю. И. 212
Маслов 226—228
Матеузов С. Т. 282, 314
Матюшин И. И. 287—290, 293, 299, 302, 303, 306, 307
Машковцев Н. Е. 296
Медведева И. Н. 3. 101—154
Мейер Е. Е. 366
Мейер К. Б. 339
Мейлах Б. С. 1
Мек 301
Меньшиков А. Д. 276
Менцель В. 78, 79
Мережковский Д. С. 274
Мещевский А. 156, 159, 160, 173, 176, 201
Милорадович М. А. 340
Минин Кузьма 194, 226, 232, 236
Миних гр. 104
Минский Н. М. 102
Митьков М. Ф. 259, 262, 265, 271, 272. 304, 363
Митьков П. Ф. 259, 272
Михайловский, юнкер 136
Михайловский-Данилевский А. И. 266
Михаил Павлович, вел. князь 17, 28, 32, 72, 291, 341
Мицкевич Адам 10, 20, 24, 37, 38, 40—42
Модзалевский Б. Л. 27, 113, 124, 127, 172, 267, 270, 294, 317, 324, 326, 339, 354—356

Мозалевский А. И. 248, 339
Мозгалевский Н. О. 261, 363
Мозган П. Д. 260, 261
Моисеев, фотограф 334
Молотович 358
Молчанова Е. С., см. Волконская Е. С.
Мольер Ж.-Б. 62
Монтескье Ш.-Л. 186, 202
Моньо, художник 307
Мордвинов Н. С. 6, 168
Мордвинова Н. Н. 168
Мордовченко И. И. 5, 6
Моренгейм 31
Муравьев А. А. 272
Муравьев А. З. 163, 259, 272, 274, 285, 304, 305, 320, 321, 363, 368, 369
Муравьев А. М. 9, 189, 282, 304, 306, 329, 360, 362, 363
Муравьев А. Н. 42, 155—188, 272, 330, 341
Муравьев В. 368
Муравьев З. М. 272
Муравьев М. А. 269
Муравьев Мих. Никитич 116, 160, 171
Муравьев Мих. Николаевич 155, 160, 161, 164, 166, 168, 172, 180
Муравьев Никита А. 370
Муравьев Н. А. 272
Муравьев Никита М. 102, 116—119, 121, 123—125, 136, 149, 150, 153, 160, 161, 170—172, 262, 268, 273, 278, 282, 305, 306, 308, 341, 352, 359, 360, 363, 364
Муравьев Николай М. 162
Муравьев Н. Н., генерал 160, 161, 164, 167
Муравьев Н. Н., см. Муравьев-Карский Н. Н.
Муравьев С. рожд. 1947 г. 370
Муравьев С. 370
Муравьева А. Г., рожд. Чернышева 262, 282, 308, 348, 350, 356, 359—361
Муравьева В. А. 269, 272, 273, 277
Муравьева Е. Ф. 102, 104, 116, 153, 171, 268
Муравьева Н. А. 327, 368, 369
Муравьева С. Н. («Нонушка») 273, 274, 364
Муравьевы 160, 161, 164, 165, 171, 172, 327, 369
Муравьев-Апостол Ип. И. 153, 369
Муравьев-Апостол И. М. 153, 331
Муравьев-Апостол М. И. 17—19, 153, 158, 160, 162, 163, 165, 172, 271, 273, 286, 294, 306, 307, 312 (Муравьев), 330, 331, 339, 342, 343, 366 (Муравьев) 369
Муравьев-Апостол С. И. 17, 153, 158, 160, 162, 172, 248, 273, 307, 314, 339, 341, 369, 370
Муравьева-Апостол А. М. («Аннушка»), приемная дочь М. И. Муравьева-Апостола 343
Муравьева-Апостол А. С., мать декабристов 369
Муравьева-Апостол М. К. 343
Муравьев-Карский Н. Н. 156, 160, 162—170, 172, 174, 177, 178, 184—186
Мусин-Пушкин Е. С. 260
Муханов П. А. 208, 259, 272—274, 276, 308, 321, 331, 363
Муханова Н. А. 259, 273—285
Мюллер А. И. 283
Мюллер И. 78
Мюнстер А. З. 294, 298
Мякотин В. А. 280
Мясоедов И. Н. 339
Мясоедова Е. П. 28

Набгольц, фотограф 324
Назаревский В. В. 257
Назимов М. А. 181, 261, 273, 275, 285, 308, 313, 324, 329, 331, 332, 334
Назимова Н. И. 308, 313, 331
Назимова П. А. 332
Назимовы 313
Найт Р.-П. 139
Наполеон I 55, 112, 164, 165, 168, 171, 193, 196, 276
Нарежный В. Т. 115
Нарышкин М. А. 267
Нарышкин М. М. 176, 210, 273, 274, 332, 352, 363, 364
Нарышкин П. 228
Нарышкина А. Н. 276
Нарышкина Е. П., рожд. Коновницына 267, 273, 286, 332, 350
Наталия Васильевна 57
Наумов, букинист 318
Наумов В. 247
Начокин П. В. 282
Неклюдов Н. 256
Неклюдова А. И. 319
Некрасов Н. А. 214, 260
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 10
Немцевич Ю. 24, 25, 37, 38, 144, 276
Нерон 196, 344
Нечай 144
Нечкина М. В. 3, 155—188, 212, 237
Никитенко А. В. 274, 291
Никитин А. А. 26
Никитин В. Н. 256
Николаев 40
Николай I («Незабвенный», князь) 3, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 28, 31, 38, 39, 43, 73, 153, 158, 191, 221—223, 227, 228, 231—233, 235, 236, 239—241, 246, 262, 263, 266, 273, 277, 278, 286, 294, 303, 305—308, 312, 313, 316, 319, 340
Николай Иванович, см. Греч Н. И.
Николай Михайлович, вел. кн., см. Романов Н. М.
Николай Павлович, см. Николай I
Нил, архиепископ 268
Новосильцев Н. М. 24, 198
Ностиц 326

Оболенский Е. П. 17, 20, 22, 27, 80, 82, 84—86, 176, 178, 214, 259, 261, 262, 265—270, 272—278, 308, 333, 342, 363, 364
Оболенский С. С. 38, 39, 271

Обольянинов Н. А. 288, 295
Овидий 67, 68
Огарев Н. П. 75, 240, 277, 284
Огарева Н. А. 337
Огинский А. 215
Одоевский А. И. 7, 22, 204—213, 217, 273—275, 309, 310, 348, 349, 352—354, 363
Одоевский В. Ф. 27, 28, 85, 205, 270
Одынец Э.-А. 37, 38
Озеров В. А. 63, 64, 105, 109, 126, 128, 194
Озерский А. 212
Оксман Ю. Г. 17, 280, 314, 317, 354—356
Октавий 132
Олег, князь 145
Оленин А. Н. 132, 139, 282
Онегин А. Ф. 320
Опперман, генерал 43
Оржицкая М. В., рожд. Ушакова 310
Оржицкий Н. Н. 260, 310
Орлов А. Ф. 27, 85, 86
Орлов В. Н. 27—88
Орлов М. Ф. 132, 262, 310, 311, 333, 339
Орлова Е. Н. 311
Орловский 313
Оскоченский, см. Аскоченский В. И.

П. П. К., художник 368
Павел I 25, 28, 194, 198
Павлова Н. 313
Палей 144
Пален П. А. 198
Пальмин П. 231
Пальчиков В. П. 339, 340
Панин Н. И. 198
Паннемакер Э. 340
Панов Н. А. 275, 286, 312, 321, 363
Парисов, генерал 227
Паскаль 272
Паткуль 202
Паулуччи Ф. 190, 191, 199
Пащенко А. П. 344
Пекарский Я. А. 331
Перетц Г. А. 159
Перини Л. 333
Перов П. И. 246—255
Перов П. (отец) 247
Перовский А. А. 231
Перовский В. 163
Перовский Л. 163
Перхалов, юнкер 136
Пестели 158, 171
Пестель Е. И. 157, 171, 312
Пестель И. Б. 171
Пестель П. И. 137, 150, 151, 157, 158, 170, 172, 174, 181, 187, 275, 312—314
Пестов А. С. 363
Петр I 197
Петр III 18, 194, 241
Петрашевский Н. Е. 23
Пигарев К. 6
Пиксанов Н. К. 226, 227, 280
Пиндар 111
Писарев А. А. 260, 278
Питч, художник 280
Пихлер К. 34
Платон 194
Платонов С. Ф. 313
Плетнев П. А. 28, 134, 142, 247
Плуталов, генерал 191
Плутарх 137, 272
Плюшар Е. 333
Повало-Швейковский П. С. 85, 274, 363
Погодин М. П. 119, 121, 125
Погонкин В. 294
Подгорный, фельдъегерь 29, 270
Поджио А. В. 137, 268, 275, 280—285, 313, 333, 334, 359, 362
Поджио В. А. («Варя») 334
Поджио И. В. 281, 282, 286, 321, 322, 333, 334
Поджио Л. 268
Поджио Н. И. («Наташенька») 322
Поджио С. И. («Сонечка») 321
Подмастерьков И., см. Кюхельбекер В. К.
Пожарский Д. М., князь 194, 232, 236
Познанский Ю. 38
Полевой К. А. 98, 99, 265
Полевой Н. А. 75, 98, 265, 291
Полежаев А. И. 223, 230, 231
Полетика 147
Полибина Нина, незаконная дочь И. И. Пущина 274
Поллонин И. 226
Полье В. П. 49
Пономарев Г. 230
Попов Ф. И. 257, 258
Потапов А. Н. 12, 14, 15, 29, 341
Потемкин, генерал 167
Похвиснев Н. Н. 73
Прадт Д.-Д. 202
Предтеченский А. В. 189—203
Прийма Ф. Я. 122
Пропердий 25, 26
Протасов А. В. 274
Протопопов Е. А. 246—255
Пушкин, см. Бобрищев-Пушкин П. С.
Пушкин А. С. 3, 16, 27—30, 35, 37—40, 42, 52, 53, 57, 66—70, 73, 74, 82, 85, 86, 97—100, 101—103, 113, 114, 116, 123, 125—134, 138, 140, 141, 143, 144, 149, 150, 152, 153, 155, 164, 165, 171, 172, 177, 179, 182, 186—188, 210, 229—232, 255—257, 265, 268—271, 273, 275—277, 282, 283, 339, 340, 342, 350, 366, 368
Пушкин В. Л. 171
Пушкин Л. С. 42
Пушкин П. С., см. Бобрищев-Пушкин П. С.
Пушкина А. Т. 69
Пушкин Н. И., см. Гончарова Н. И.
Пущин И. И. («Жанно») 17, 69, 85, 86, 152, 155—157, 160, 164, 169, 172—179, 181, 182, 187, 262, 265, 267, 269, 271, 274, 275, 283, 286, 294, 297, 312, 313, 323, 330, 334, 335, 339, 340, 342—344, 347, 348, 350, 354, 355, 358, 360, 363, 366, 369

Пущин М. И. («брат») 155, 157, 160, 164, 172, 176, 182, 187, 274, 275, 335
Пущина А. И. 275, 363
Пущина А. К., рожд. Рылеева 274, 276
Пущина М. Я. 275
Пущина Н. Д., в первом браке Фонвизина 88, 262, 273—275, 277, 278, 286, 337, 350, 352
Пыпин А. Н. 148, 204
Пыпина В. А. 324, 325
Пятницкий А. В. 83, 264

Р. М. 314
Радищев А. Н. 107, 110, 115, 183—186
Раевская М. Н., см. Волконская М. Н.
Раевская С. Н. 325
Раевские 172, 367
Раевский А. Н. 172, 320, 339
Раевский В. Ф. 7, 135, 136, 230, 314, 335
Раевский Н. Н. 172, 269
Раевский Н. Н., генерал 172, 281, 296, 320
Разгильдеев А. И. 80
Разгильдеева А. А. («Аннушка») 83, 84, 85, 87
Разгильдеева В. А. («Василька») 84, 85, 87
Разгильдеева, их мать 84, 85
Разгильдеевы 82, 85, 87
Разумовская М. Г. 270
Расин Ж.-Б. 61, 62, 109, 126, 127
Расторгуев Е. 210
Растопчин Ф. В. 198
Растопчина Е. П. 11, 18
Рачинская Н. А., рожд. Глинка 50, 58, 60, 62, 157
Рачинские 158
Рачинский 1-й 157
Рачинский 2-й 157
Рачинский 3-й 157
Рачинский 4-й 157
Рачинский Ал-др А. 157, 158, 160
Рачинский Алексей А. 158
Ребиндер Г. М. 319
Ремизов А. 158
Ренар О. 207, 208, 331
Репин Н. И. 217, 261, 280, 293, 341, 342, 345—347, 349, 350, 352, 359, 363
Решко 286, 329, 333, 336, 338
Решко Е. К. 270
Ржевуский В. 41, 42
Ризенер Г. 310, 311
Рикорд П. И. 260, 278
Рихтер В. Ф. 256, 257
Рихтер Ж.-П. 62
Робеспьер М.-М. 196
Рогнеда (Гориславa) 145
Родионов С. 248
Родофиникин К. К. 5, 6
Розалион-Сональский В. 223, 231
Розанов И. И. 159
Розе, врач 80
Розен А. В. рожд. Малиновская 272, 274, 335
Розен А. Е. 156, 158, 206, 208, 246, 256, 261, 262, 265—267, 272, 274, 275, 277, 281, 294, 296, 305, 309, 310, 319, 322, 323, 327, 330, 332, 333, 335—337, 341, 342, 345, 347, 349, 352, 353, 356, 358, 359, 362—364, 367
Розен В. А. 274
Розен И. А. 274
Розен К. А. 274
Розенкампф 200
Романов П. М. 309, 326
Романов, см. Николай I
Ростислав Ярославич, князь 122
Ротчев А. Г. 230
Рудзевич М. И. 363
Румянцев-Задунайский П. А. (Румянцев) 117
Руперт В. Я. 268
Руссо Ж.-Ж. 79, 162, 163, 177, 186, 200
Ручьева А. 321
Рылеев К. Ф. 3, 5—10, 14, 17—26, 37, 38, 101, 102, 123, 128, 131, 134, 135, 139, 143—147, 152, 153, 159, 226, 228—233, 235, 236, 239, 240, 243, 246, 259, 262, 265, 266, 274—276, 314, 315, 335, 336
Рылеева А. К., см. Пущина А. К.
Рылеева А. Ф. 276
Рылеева Н. М. 147, 276, 314, 315
Рыпинский 40, 41
Рыскин Е. И. 208

Сабашниковы М. и С. 283
Сабуров А. И. 225—228, 238
Савеныус, пастор 45
Савоини, см. Савоини
Савоини Е. Я. 226 (Савоин)
Сагайдачный 144
Сазонович А. П. 366 (Созанович)
Сазонович (дети) 343
Сакулин П. Н. 205
Салтыков Н. И. 198
Самарин Ю. Ф. 159
Самборская А. А. 367, 370
Свербеев А. Д. 323
Свиньин П. П. 292
Свистунов И. И. 85, 86, 182, 262, 267, 336, 363
Святослав Ярославич, князь 117, 122, 123, 125, 143, 145
Селивановский С. И. 6
Семевский В. И. 330
Семевский М. И. 259, 263, 265, 266, 269—271, 275, 278, 286, 289, 290, 304, 322—338
Семен, см. Балашов С. Т.
Семенов А. В. (Василий) 155, 157, 158, 160, 164, 166, 178
Семенов И. И. 16
Семенова Е. С. 105, 109, 126—128, 194
Семенова Н. С. 127
Семечкина Т. Б. 339, 340
Сенека Л.-А. 55
Сенковский О. И. 55, 99
Сенявин Д. Н. 163
Серяков Л. А. 310, 311, 319
Сеченов И. М. 277

Симаков И. 340
Симонов Е. М. 336
Сиротинин А. И. 204
Ситников С. И. (Иловайский) 223, 225, 227—237, 239—241, 243, 244
Сиянов 231
Скино А. 283, 293, 297, 303, 306, 307, 309, 312, 317, 318, 369
Скопин-Шуйский М. 76
Скржадлевский Ф. Э. 40—42
Слонимский А. Л. 339
Смирдин А. Ф. 98, 211, 290, 291
Смирнов И. 288
Смирнова-Россет А. О. 16
Смолянинов; см. Смольянинов С. И.
Смольянинов С. И. 353, 369
Снегирев И. 294
Собаньский 343
Соболевский А. А. 267
Соболевский Д. М. 313, 339, 340
Соколов Н. 304
Соколов П. Ф. 281, 296, 297, 303, 305, 306, 308, 317, 320, 324, 325
Соловьев, чиновник 255
Соловьев В. Н. 363
Сомов О. М. 276
Софокл 111, 153
Соханский, лекарь 253, 254
Соц В. 115
Сперанский М. М. 153, 246, 247, 249, 263, 264, 270, 277, 289
Спиридов М. М. 274, 363
Степанов Н. А. 275, 299
Степовая Л. И. 320
Стравинский 318
Стрекалов С. С. 232
Стрижевский С. А. 329
Строганов С. Г. 232
Суворин А. С. 289, 340
Суворов-Рымникский А. В. 117, 118
Сулима И. Я. 161
Сулла 196
Султан-Шах М. П. 262
Сумароков А. П. 34, 35, 63, 64
Сунгуров К. К. 225, 226, 263
Сунгуров Н. И. 222—226, 229, 230, 232, 233, 237, 238
Сутгоф А. Н. 274, 276, 312, 336, 337 (Сутгов), 341
Сухинов И. И. 247

Таптиков см. Таптыков Д. П.
Таптыков Д. П. 222, 363
Татищев А. И. 342
Тацит К. 55, 122, 202
Тейх 294
Тенова Д. И., см. Кюхельбекер Д. И.
Теребовльский В. Р. 122, 123, 143
Тиберий 198
Тизенгаузен В. К. 276, 342, 343
Тимашев А. Е. 256
Тимирязева 312
Тимофеева-Починковская В. В. 331
Тиртей 37
Тиханов Н. 108, 118, 119, 121, 150, 154
Тихонов 40
Тихонравов Н. С. 191
Токарева А. С., см. Кюхельбекер А. С.
Толстой А. И. 278
Толстой В. С. 261
Толстой Л. Н. 265
Толстой Н. И. 278
Толстой Ф. П. 194, 282
Толстой Я. Н. 125, 126, 128
Томазиус Х. (Тамазиус) 78
Томашевский Б. В. 89—96, 131
Торсон Е. И. 277
Торсон К. И. 276, 277, 363, 366
Торсон Ш. К. 366
Трегубова Е. Е., в замужестве Бестужева 98
Троцкий А. О. 33
Трубецкая Е. И., рожд. Лаваль 33, 214—218, 271, 272, 274, 277, 344, 348, 350, 359
Трубецкой С. П. 87, 145, 162, 172, 214—216, 218, 265, 267, 271, 274, 277, 281, 315, 316, 330, 337, 342, 352, 359, 363 (Трубецкий)
Трунов Г. В. 328, 329, 334
Трусов 344
Трухин С. С. 247, 248
Туманский В. И. 27, 28, 275
Турбин С. 318
Тургенев А. И. 26, 160, 188, 190, 259, 277, 368
Тургенев И. С. 268
Тургенев Н. И. 124, 127, 131, 144, 188, 259, 267, 277, 294, 316, 337, 370
Тургеневы, братья 262, 316, 343, 370
Тучков А. А. 178, 337
Тынянов Ю. Н. 28, 32, 33, 35, 45, 156—158
Тюрин Д. 222
Тюрины, братья 225
Тютчев А. И. 363

Уварова Е. С., рожд. Лунина 268, 271
Ульяна Засимовна, см. Ерыгина У. З.
Улыбышев А. Д. 113, 124
Унгер Б. 295—297
Унженин В. А. 291
Успенский М. М. 312
Уткин Н. И. 194, 317
Уфимцев, унтер-офицер 278
Ушаков Ф. В. 185, 186
Ушакова Е. Н. 42

Фаленберг П. И. 262, 277, 337, 345—347, 350, 352, 362—364
Фандерфлит В. П., рожд. Ивашева 308, 368
Федосеева Е. П. 214—220
Феокрит 142
Феоктисов Е. М. 257
Фидлерман Я. Я. 329, 343
Филипп II 106, 196
Филипс Э. 355
Фингалов 126
Фишер К. А. 311
Флавий Иосиф 55
Фонвизин Д. И. 128
Фонвизин М. А. 265, 267, 268, 277, 278, 341, 342, 347, 358, 359

Фонвизина Н. Д., см. Пущина Н. Д.
Фонякова Н. И. 287
Фориеель К.-Ш. 141
Фохт И. Ф. 268
Фридрихс 170
Фридриц И. И. 309
Фролов А. Ф. 363
Фукидид 111
Фукс Е. Б. 117
Фурман А. Ф. 261, 278
Фусс П. Н. 113, 114

Хелмицкий И. 315
Хераскоп М. М. 63, 145
Хмелевская Е. М. 246—255
Хмелевский И. Ц. 330
Хмельницкий Богдан 121
Хованская 344
Ходаковский, см. Доленга-Ходаковский З.
Ходзько-Борейко А. Л. 41
Хомяков А. С. 53, 75
Христовская 168
Хрущовы 273

Цампиери Доменико 53
Цебриков Н. Р. 265, 274—276, 278, 338
Цезик, ссыльный уголовник 329
Цейдлер И. Б. 214, 215, 218, 272
Цейтлин А. Г. 6, 9—11, 17, 37, 38
Цицерон 111
Цшокке (Чокке) 78, 79
Цявловский М. А. 171, 231

Чаадаев П. Я. 160, 277
Чарторижский А. А. 24, 198
Чепцов Н. М. 27, 208, 257, 280, 283, 294, 306, 316, 323, 334
Черевин П. Д. 172
Черкасов А. И. 278
Черкасский П. Д. 339, 340
Черпецкая, И. М. 287
Чернов С. Н. 280
Чернышев А. И. 229, 248, 249, 279, 341
Чернышева А. Г., см. Муравьева А. Г.
Чернышев-Кругликов И. И. 304
Чернышевский Н. Г. 146
Чижов И. А. 209, 210, 261
Чичерин Д. И. 254, 255
Чокке, см. Цшокке
Чулков П. П. 161, 303

Шадуров, художник 311, 312
Шамиссо Л.-Ш. 314
Шамфор С.-Р. 62, 63
Шарлемань А. П. 340
Шахиров А. И. 261
Шаховская В. М. 272
Шаховской А. А. 75, 109, 144
Шаховской К. Я. 6
Шаховской Ф. П. 261, 278
Швейковский, см. Повало-Швейковский П. С.
Шекспир В. 34, 35, 48, 63, 69, 79
Шеметова Н. В. 368
Шенфельд, фотограф 328
Шерер, фотограф 323
Шиллер Фр. 79, 107, 148, 151, 229
Шилов А. А. 279, 294, 304, 316, 334
Шильдер Н. К. 294, 303, 305—308, 312, 313, 316, 340
Шимановская М. 40—42
Шимков И. Ф. 363
Шипилов П. А. 273
Шишков А. А. 39—41, 230, 231
Шишков А. С. 24, 156, 159, 160, 173, 176
Шматковский, юнкер 136
Шпак В. 310, 311
Штейбе 260
Штейнгель А. В. 338
Штейнгель В. И. 26, 85, 260, 262, 265—267, 276, 278, 338, 355, 356, 363, 364
Штрайх С. Я. 156, 165, 175, 179, 182, 205, 350, 363
Шубарт Х.-Ф. 139
Шубин А. 278
Шубинский С. Н. 269, 270, 289
Шувалов П. А. 256
Шушерин Я. Е. 194
Шюблер 288, 289, 299, 305

Щастный В. Н. 38, 40, 42
Щеголев П. Е. 218, 231, 256, 344, 350, 354
Щепин-Ростовский Д. А. 85, 363
Щербатов 157
Щукин И. И. 27, 340

Эгезипп 55
Элькан 191
Энгельгардт Е. А. 28, 85, 175, 270
Энгельке К. Ф. 88
Эри, гравер 295
Эссен Н. К. 324
Эттингер П. Д. 42

Ювенал 55
Юлий Цезарь 266
Юлия Гавриловна 33
Юрковский 164
Юрченко, художник 344
Юстиниан 195
Юшневская М. К. 104, 107, 272, 274, 278, 355
Юшневский А. П. 102—108, 151—153, 278, 316, 338, 339, 349, 357, 363
Юшневский С. П. 107, 108
Юшневские, братья 104

Якоби 370
Якоби Ф. О., в замужестве Смольянинова 370
Яковлев М. Л. 271
Якубович А. И. 214, 272, 274, 278, 316, 317, 338, 362, 363
Якубович В. Е. 257
Якушкин В. И. 279, 294, 297, 312
Якушкин Д. И. 341, 343
Якушкин Е. И. 17, 262, 274—276, 279, 283, 286, 294, 297, 312, 318, 322, 323, 326, 330, 334
Якушкин И. Д. 157, 166, 167, 172, 173, 183, 246, 267, 278, 283, 294, 297, 312, 317, 318, 338, 339, 341—345, 347, 350, 352, 362, 363, 369, 370
Якушкина А. И. 279
Якушкина Е. Г. 279, 317

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ [1]

Стр.

К. Ф. Рылеев. Гравюра неизвестного художника. Восходит к миниатюре, принадлежавшей Н. М. Рылеевой. (См. № 136) . . . . . Фронтиспис
Письмо В. К. Кюхельбекера к Н. Г. Глинке от 13 февраля 1837 г. Первое письмо после выхода из крепости. Первая страница 59
То же письмо, последняя страница 60
Привал декабристов по пути из Читы в Петровский завод. Акварель А. П. Одоевского. 1830. (См. № 323) 207
Письмо Е. П. Трубецкой к И. Б. Цейдлеру 215
Чита. Жены декабристов у острога. Рисунок сепией А. П. Одоевского или Н. П. Репина. 1827—1830. (См. № 316) 217
Страница «Записок Батенькова, написанных в Алексеевском равелине». 263
Последняя страница из «Записок Батенькова, написанных в Алексеевском равелине» 264
А. В. Поджио. Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1833. (См. № 126) . . . . . 280—281
А. В. Поджио. Рисунок К.-П. Мазера. 1849. (См. № 127) . . . . . —
А. В. Поджио. Дагерротип А. Давиньона. 1845. (См. № 167) . . . . . —
А. В. Поджио. Фотография Л. Перини. Венеция. 1863. (См. № 238) . . . . . —
М. Н. Волконская. Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830. (См. № 42). 296—297
В. Л. Давыдов. Рисунок А. А. Ивановского. 1826. (См. № 60) 300
Д. И. Завалишин. Рисунок А. А. Ивановского. 1826. (См. № 64). 301
С. Г. Волконский. Дагерротип А. Давиньона. 1845. (См. № 161). . . . . 320—321
М. А. Бестужев. Фотография С. Левицкого. Пб., 1860-е годы. (См. № 177). 324—325
И. И. Пущин. Фотография на жести. (См. № 245) . . . . . 336—337
Чита. Церковь и улица. Акварель Н. П. Репина и П. Н. Фаленберга. 1828—1830. (См. № 308) 347
Чита. Тын и часть двора Читинского острога. Акварель М. С. Лунина. 1828—1830. (См. № 313) 351
Хара-Шибир. Акварель Н. А. Бестужева (?). 1830. (См. № 326) 357
Петровский завод. Дом А. Г. Муравьевой. Рисунок тушью неизвестного художника-декабриста. 1830—1835 (?). (См. № 336) 361
Петровский завод. Каземат. Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1839. (См. № 348) 365

[1] В скобках даны указания на №№ описания этих материалов в обзоре: «Декабристский фонд изобразительных материалов, хранящихся в Музее Института русской литературы (Пушкинский Дом)», см. стр. 287—370.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От Института русской литературы 3
Письма К. Ф. Рылеева. Публикация *И. И. Мордовченко* 5
Агитационные песни декабристов. (Новые материалы). Сообщение *М. А. Брискмана* 7
Воспоминания о Рылееве П. П. Лобойко. Публикация *В. В. Данилова* . . . 23
В. К. Кюхельбекер в крепостях и в ссылке. (Новые материалы). Публикация *В. Н. Орлова* 27
Забытый отрывок из «Аргивян» В. Кюхельбекера. Публикация *Б. В. Томашевского* 89
Письмо Павла Бестужева к А. Бестужеву (Марлинскому) о смерти Пушкина. Публикация *Л. А. Лебедевой* 97
И. И. Гнедич и декабристы. Сообщение *И. И. Медведевой* 101
Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг. (Материалы к предыстории декабризма и изучению формирования мировоззрения молодого Пушкина). Сообщение *М. В. Нечкиной* 155
Записка Т. Е. Бока. Публикация *А. Б. Предтеченского* 189
Мнимые стихотворения А. И. Одоевского. Сообщение *М. А. Брискмана* . . . 204
Письмо Е. П. Трубецкой о поездке ее к мужу на каторгу. Публикация *Е. П. Федосеевой* 214
Стихотворение, посвященное памяти Александра Бестужева. Публикация *Е. П. Федосеевой* 219
После 14-го декабря 1825 г. (Агитаторы конца 20-х—начала 30-х годов). Сообщение *Л. А. Мандрыкиной* 221
Дело о коллежских секретарях Перове и Протопопове. Сообщение *Л. М. Хмелевской* 246
Запрещенные книги о декабристах. Сообщение *Л. М. Добровольского* 256
Декабристские материалы в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР. Обзор *В. В. Данилова* 259
Неизвестные портреты декабриста А. В. Поджио. (Из собрания Пушкинского Дома). Сообщение *А. Ю. Вейса* 280
Декабристский фонд изобразительных материалов, хранящихся в Музее Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР. Составители — *А. Ю. Вейс* и *М. И. Гонтаева* 285
I. Портреты 287
а. Живопись, рисунки, гравюры, литографии. Составил *А. Ю. Вейс.* 287
б. Дагерротипы. Составила *М. И. Гонтаева* 320
в. Фотографии. Составила *М. И. Гонтаева* 322
II. Группы и события. Составил *А. Ю. Вейс.* 339
III. Виды мест. Составил *А. Ю. Вейс* 343
IV. Памятные вещи. Составила *М. И. Гонтаева* 367
Указатель имен 371
Список иллюстраций 382

Печатается по постановлению
Редакционно-Издательского совета
Академии Наук СССР

Редактор издательства *В. А. Брайловский*
Художник *С. И. Тарасов*
Технический редактор *Р. С. Певзнер*
Корректоры *О. Г. Крючевская* и *А. С. Малютина*

РИСО АН СССР № 4441. Подписано к печати 18/VII 1951 г. М-27822 Печ. л. 32.88+7 вклеек. Уч.-изд. л. 33.6. Бумага $70\times108/_{16}$. Бум. л. 12. Тираж 8000. Зак. № 1. Цена в переплете 31 руб.

1-я тип. Издательства АН СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, д. 12.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*	*По чьей вине*
48	8 сверху	nou senvie	nous envie	Корректора
122	13 снизу	и чей. . .убийственный топор	и часто убийственный топор	Автора
194	6 снизу	Бортянского	Бортнянского	Корректора
286	22 сверху	генерал-губернатором	генерал-губернаторам	»
372	Левая колонка, 1 сверху	Баргамаско	Бергамоско	»
381	Левая колонка, 3 сверху	Фориеель	Фориель	Автора